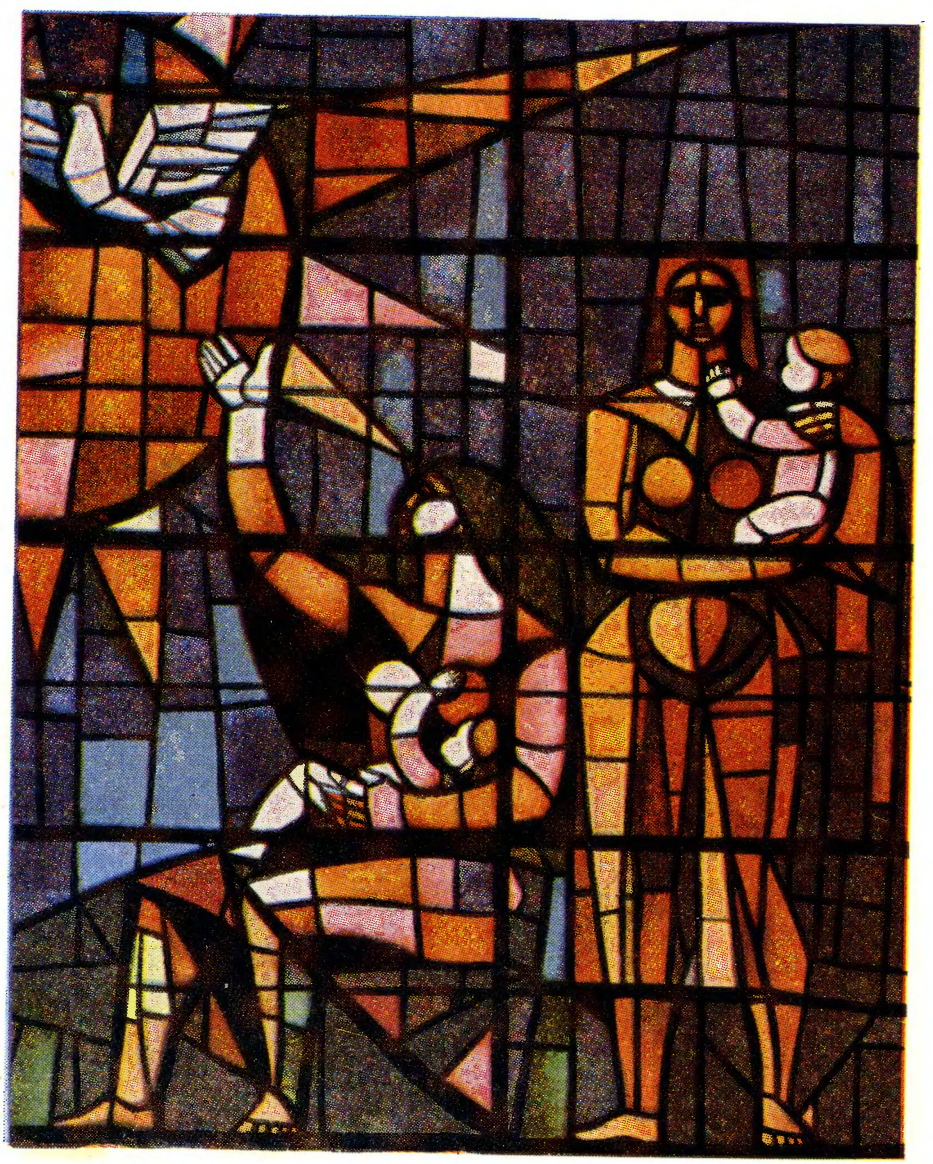
4.1971

Иностранная литература



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

4 АПРЕЛЬ 1971

СОДЕРЖАНИЕ

ПАБЛО НЕРУДА — Руки поэта *(Фрагменты поэмы)* 3

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД — Потаенный огонь *(Роман. Окончание)* 7

ГАУСУ ДИАВАРА — Поэма Ленину 97

Из чехословацкой поэзии. ВИЛЕМ ЗАВАДА. ИВАН СКАЛА *(Вступление Евг. Долматовского)* 99

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — Рассказы 106

МЕЧИСЛАВ ЯСТРУН — Посвящение *(Стихи)* 140

ХАННА МИНА — Парус и буря *(Роман)* 142

ВАСИЛЕ ВОЙКУЛЕСКУ — Монастырские утехи *(Рассказ. Предисловие Ю. Кожевникова)* 175

Настоящее и будущее литературы

(«Круглый стол» журнала «Иностранная литература». *Окончание*)
КРИСТИАН ГЕЙСЛЕР. НОРМАН МЕЙЛЕР. ГАБОР ГАРАИ. СТЕФАН ХЕРМЛИН. ИШТВАН ШИМОН. АРТ БУХВАЛЬД. ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ. ЧЕДО ВУКОВИЧ. ФАИЗ АХМАД ФАИЗ. ГАБРИЭЛЬ СЕЛАЙЯ. МАРТИН ВИКРАМАСИНГЕ. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ. МИХАИЛО ЛАЛИЧ 192

Критика

Е. КНИПОВИЧ — Ответственность за будущее 204

Наши публикации

ГЕНРИХ МАНН В ПЕРЕПИСКЕ СО СВОИМ БРАТОМ (К столетию со дня рождения. *Предисловие Т. Мотылевой*) 216

Дневники, воспоминания

НИКОЛАЙ Т. ФЕДОРЕНКО—Из зарубежных встреч *(Глава из книги)* 235

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

С. Вадимов — Идеи, обогащающие искусство. Ариадна Громова, Рафаил Нудельман — К спорам о фантастике 245

Наши гости

М. САЛГАНИК — «Театр — моя жизнь» (Бадул Сиркар в «Иностранной литературе») 253

Изобразительное искусство за рубежом

Д. ЮРЬЕВ — Габриэль Брачо, художник-борец 256

Отклики, встречи, впечатления

Ю. КУЗЬМЕНКО—Оружие единства (К итогам IV конференции писателей стран Азии и Африки) 257

Среди книг

Издано в СССР

Ф. Наркирьер — Последний роман Франсуа Мориака ◇ Н. Анастасьев — Обыденная Америка 261

Издано за рубежом

Г. Шарбатов — Арабская поэма о Ленине ◇ Виктор Пресс — Гордость демократической культуры США ◇ Ю. Архипов — Без божества, без вдохновенья... 265

Из месяца в месяц (Хроника) 272

Авторы этого номера 287

На обложке — витраж венгерского художника ЯНОША БЛАШКИ (фрагмент).

На вкладке работы венесуэльского художника ГАБРИЭЛЯ БРАЧО.

ПАБЛО НЕРУДА

Руки поэта

(Фрагменты поэмы)

Перевод с испанского Ю. ПАВЛОВА

I

Признаюсь, я виновен в том,
что своими руками не сделал
ни единой метлы.
Почему же не сделал?
Для чего мне нужны были руки,
для чего они были даны,
если только видел я камыши,
и лишь слышал, как свищет в них ветер,
но не срезал ни прутика
для метлы,
не расстелил просыхать
упругие стебли зеленых еще камышинок,
не собрал их в сноп золотой,
не приделал оструганной ручки
к желто-нарядной юбке,
не пустил ее в пляс по дорогам?
Но так было...
Не знаю, как
прошла моя жизнь,
что я не увидел и не постиг,
как связуются части
в целое.
Не отрицаю, времени
мне хватало,
время было —
не было рук.

На каком же тогда основании
я рассчитывал на величье,
не сумев за целую жизнь
даже сделать метлы,
всего лишь одной,
одной?

III

Все в мире сидят:
за столом
иль на троне,
на собранье
и в поезде,
на молебне,
на корабле,
в самолете, школе, на стадионе.
Все в мире садятся или сидят,
но что-то я не припомню
стула,
сделанного моими руками.
Как случилось? Почему же судьба,
начертавшая мне сидячую жизнь,
не научила меня прикреплять
четыре точеные ножки
к сиденью со спинкой,
чтоб сделать стул для себя
или ближнего,
который на нем сторожил бы рождение —
а может быть, смерть — любимого существа?

Я не только не сделал — я не мог сделать стула,
естество материала
нарушить, превратив
в банальную вещь
таинственный сумрак деревьев.

Как диск пилы,
упавший, словно
планета из ночи,
на спящую землю,
все искромсал,
в зубья изрезал горы,
рядом со мною промчался, но меня пощадил,
исчезнув в собственном вое,
так же и я — с топором пробираясь
в зарослях сельвы,
в аромате божественном —
не калечил бессмысленно леса,
не давал рукам своим воли,
ни уменья, ни силы
красоту живую губить,
стулья делая
из покорного дерева,
делая стулья,
чтоб любой мог на них садиться.

IV

А кто меня видел хоть раз
за пахотой иль молотьбой?
Кто ж я такой, не знакомый с трудом?
Ведь любой деревенский парень

щупал землю
и бросал в нее что-то
входившее, будто ключ
в свою замочную скважину,
и земля сама раскрывалась навстречу...

Мне всегда не хватало уменья
или желанья...
Я берег свои бледные руки
мертвеца городского,
сторонился дегтя и грязи дорожной,
что вместе с чистыми нравами укрылись от нас
на далеких окраинах, где никто моих не читал
не нужных в крестьянстве книг.
Чем я жил? Кабачки и стихи... А теперь,
когда время идет к концу, познаю с опозданием
и удивленьем рукотворную сущность привычных вещей:
лишь навеки простившись с оливковым маслом, я узнал про оливы,
и с вином, что казалось мне чудом природы, распрощался я тоже,
только тут и узнав, что его создавали руками люди...
Сколько сделано в мире прекрасного,
а мои бесполезные руки не участвовали ни в чем!

V

Руки мои только белья и тел
касались,
только рубашек, и бедер,
и книг, книг, книг.
Эти бесплотные тонкие руки
были — как сети без рыбы,
повисшие в воздухе,—
лишь свидетелями
героизма чужого труда
и преемственности созиданья:
то, что начали руки умерших,
продолжается ныне руками живых.

Мои же руки не знают прошлого:
не помнят труда землепашцев,
кровь которых
течет во мне;
не дошла до них и добротная сила
прадедов-кузнецов,
умевших делать
гвозди и клещи,
болты и гайки,
якоря и копья
и создавать паровозы и рельсы,
чтобы потом кочегары,
словно боги огня и движенья,
неторопливо шуруя в топках
ручищами черными, мчали
сквозь зеленые струи дождей
поезда моего далекого детства.

VIII

И у тех, кто вернулся
из пустынь или с гор,
с рудника или с моря,
ничего не добыв;
у лихого наездника,
скакуна не сдержавшего
и упавшего
насмерть изломанным
прямо в могилу;
у волшебной ткачихи,
той, что нить
потеряв нечаянно,
сама превратилась вдруг
в ком перепутанной пряжи;
у звонаря, что свалился
с высоты колокольни,
оступившись в усердии,
в кладбищенский мрак,—
руки у них
истерты не ласками,
а временем
и враждебными
силами:
ветром, волнами,
веревками, углем,—
потому что работа была
им написана на роду,
и в каждом их шраме — частица
прожитой жизни.

IX

Дай мне судьбы твоей знамя —
зримое, осязаемое, веское:
глины податливой ком, шпатель железный, лопату,
солнце созревшей луковицы.
Я прошу потому, что за долгие годы
на земле не воздвиг ничего, а сейчас,
уходя навсегда, я хочу подготовиться к смерти,
чтоб идти не с пустыми руками.
И когда меня спросят у выхода,
сколько сделал я в жизни вещей,
сколько выковал, вырастил, сшил, починил
и оставил служить голодным и нищим,
я бы выложил все и ответил бы так:
«Вот что создано мной — то есть создано нами».
И не лгал бы: все время я чувствовал,
как незримо участвовал в повседневных делах
своих братьев и даже врагов,
как они из того ничего, что я брал ниоткуда,—
моего ничего — что-то взяли,
и поэтому жизнь моя тоже
не была для людей бесполезной.

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД

Потаенный огонь

РОМАН

Перевод с английского И. ПОЛЕТАЕВОЙ и И. АРХАНГЕЛЬСКОЙ

Часть II

Глава I

Не успели Мифф и Дэвид въехать в тень старого эвкалипта возле калитки, как навстречу им из дома кинулась Герти. — Она умерла! — вскричала Герти и разразилась рыданиями.

Потрясенные, отец и дочь молча смотрели на старый дом — в нем вдруг будто поселилась тайна этой непостижимой смерти. Осевшие стены, замшелые плитки шифера расплывались перед глазами. Там, за соснами вдоль ограды, сомкнулась сумеречная гьма.

Невозможно было осознать то, что случилось, что Клер суждено было умереть так мгновенно, так неожиданно... Всю жизнь она ничего не делала, не посоветовавшись с семьей, никогда ничего не предпринимала по собственной инициативе. А вот тут решила сама: умерла, не предупредив их ни словом.

Дэвид и Мифф направились в гостиную, где их ждали Нейл и Гвен. Они обнялись и заплакали. Дэвид крепко прижал к себе Гвен — она выглядела такой измученной и несчастной. Он чувствовал вину и перед ней, и перед Клер, словно именно он почему-то был ответствен за то, что обрушилось на семью.

Клер лежала на постели с легкой улыбкой на губах, и он опустился перед ней на колени. Если бы только он успел попросить у нее прощения за недавнее невнимание! Он сказал бы о своей нежной любви к ней, о том, как много для него значила ее преданность ему и детям все эти годы, что они прожили вместе. Пусть у них разные взгляды на жизнь, но все-таки они были счастливы, если не считать последних нескольких месяцев. Ему вспоминалась хорошенькая, прелестно одетая девушка, в которую он влюбился. Она была на пять лет старше, а выглядела моложе его.

В первые годы их совместной жизни она усвоила лишь одно: с деньгами не стоит обращаться с той легкостью, как это делали ее процветавшие мамочка и папочка. Сколько бы Дэвид ни заработал, Клер не хватало ни на себя, ни на все увеличивавшееся семейство. Когда финансовые затруднения миновали, она немного успокоилась, однако по-прежне-

Окончание. Начало в № 3.

му проявляла полнейшее безразличие к деньгам и не обращала внимания на цены. Лишь бы у нее и у детей было все, что нужно,— остальное ее не волновало.

Клер растворилась в детях. А они выросли и отдалились от нее, занятые собственными делами. Приобщиться к этим делам Клер не могла; им же казалось, что не хотела.

Печальную тишину дома, скорбевшего по усопшей, нарушал лишь терьер Клер, который вдруг начинал выть, да всхлипывания Герти, уговаривавшей его.

— Господи! — простонал Дэвид, когда Мифф вошла в комнату.— Надо что-то сделать с собакой!

— Я уведу ее в сарай,— пообещала Мифф.— Знаешь,— продолжала она, стараясь вывести отца из оцепенения,— надо послать сообщение в газеты... и заняться формальностями...

— Да, да.— Дэвид заторопился. Только бы не думать о прошлом, сбросить с себя эту тяжесть.— Я прослежу за всем.

Он встал, заходил по комнате. Надо получить свидетельство о смерти, зарегистрировать его, переговорить с похоронным бюро. Кремировать или хоронить — что бы предпочла Клер? И где священник должен отслужить заупокойную — над ее могилой или в крематории?

Эти хлопоты и бесконечные формальности пугали его: казалось, не останется времени, чтобы оплакать Клер. В похоронной фирме, куда он позвонил, были очень внимательны и вежливы, однако разговоры с угодливыми представителями относительно качества и стоимости услуг били по нервам. Какой гроб следует доставить? (Причем гроб деликатно называли «изделием»). Быть может, с инкрустациями, из черного дуба, с серебряными ручками, выстланный белым атласом? Катафалк, без сомнения, современный? И сколько машин для траурного кортежа?

— Бог мой! Делайте все, что полагается,— только и смог выговорить Дэвид.

На следующее утро непрестанно звонил телефон: родственники и друзья выражали соболезнования; пришла пачка писем: мастера по надгробным памятникам предлагали свои услуги.

В день похорон дом был полон цветов. Несли и несли венки, за ними тянулся тонкий аромат, слетали на пол легкие лепестки. Длинный, сверкающий черный автомобиль, в который ее положили, медленно двинулся мимо темных сосен и следом за ним траурный кортеж: две черные машины и пестрая вереница старых и новых машин с родственниками и друзьями. Под серым моросящим дождем печальная процессия потянулась по пригородным улицам.

Потрясенная столь быстро свершившейся церемонией, убитая горем семья вернулась из крематория. Теперь им предстояло привыкать к мысли, что от Клер осталась всего лишь горстка пепла. Дом без нее стал заброшенным и пустым.

Глава II

— Как дела в лаборатории? — спросил Дэвид, когда Нейл собрался ехать в больницу.

— Делаю по два-три вскрытия в день,— увлеченно сказал Нейл.— Случается, по двадцать в неделю.

— Судя по твоему виду, похоже,— усмехнулся Дэвид.— Тебе следует чаще бывать на солнышке, сынок. Ты столько времени проводишь с мертвецами, что скоро совсем потеряешь интерес к жизни.

— Ничуть! — воскликнул Нейл.— За этим следит Линди. Улучит момент и тащит меня играть в теннис. А эти проклятые вечеринки! И по-

том, послушай, отец, разве ты не понимаешь, что именно ради живых я хочу узнать, почему люди умирают. На анатомическом столе я могу извлечь мозг человека, изучить каждую его клетку, каждое сплетение. Каждая кость и мышца, каждый орган его тела, его артерии и нервы — все перед моими глазами, чтобы ответить на вопрос: почему он умер? За последнее время, сравнивая первоначальные диагнозы и заключения после вскрытия, я собрал любопытнейший материал.

— Вот как! Интересно было бы послушать,— проговорил Дэвид, радуясь возможности получше узнать то, что так поглощало его сына.

— Ну, я очень тщательно изучал историю болезней пациентов,— продолжал Нейл, увлекшись разговором.— Наблюдая симптомы и лечение, я довольно часто обнаруживал, что мои диагнозы не совпадают с диагнозами лечащих врачей. Часто я предугадывал причину летального исхода. «У него раковое новообразование в легком,— такой диагноз поставил один из наших почтенных светил пациенту, которым я интересовался.— Безнадежный случай». «Вы в этом уверены? — спросил я.— Я предполагаю, сэр, что он умер от острого аппендицита... однако приходите посмотрите сами». Вскрытие подтвердило, что я был прав.

— Блестяще! — Дэвиду хотелось, чтобы Нейл еще что-нибудь рассказал о своей работе.— Теперь я понимаю, почему ты так увлечен патологоанатомией.

— Более того,— горячо продолжал Нейл,— разве ты не понимаешь, как мертвые могут помочь живым? Люди умирают от всего, в том числе и просто от тяжкой, неустроенной жизни. Вот почему, если мы сумеем создать условия, благоприятные для жизни, а не для смерти, люди смогут жить до двухсот лет. Ведь так?

— А что по этому поводу думают твои коллеги?

— И в медицине попадаются идиоты! — Нейл словно оттолкнул от себя этих «идиотов» взмахом сильной нервной руки.— Они говорят, что я сумасшедший, а я говорю: нет, это не я сумасшедший, а вы, если думаете, что люди могут нормально жить в трущобах. Вечная нужда, заботы, болезни оставляют след и на психике.

— А знаешь, Мифф согласилась бы с тобой.

— Я думаю о людях,— настойчиво продолжал Нейл,— хоть она и не верит мне. Да, да, о живых людях — именно о живых, хотя имею дело с мертвыми.

Взглянув на свои часы, он вдруг заспешил:

— Бог мой, надо мчаться, а я еще не принял душа и не переоделся. Да и за Линдой надо заехать.

Они пошли по садовой дорожке. Весь энтузиазм Нейла слетел с него, как веточка розмарина, которую он отшвырнул прочь. На лбу пролегла сердитая морщинка. Он снова ушел в свою раковину, стал сдержанным, непроницаемым.

— А как твой эксперимент? Удался? — небрежно бросил он.

Растерявшись от столь резкой перемены тона и явной непочтительности, Дэвид не сразу нашелся с ответом. Неужели Нейл уже сожалеет об их доверительном разговоре? Боится, что отец может повлиять на выбор пути, от которого зависит его карьера: продолжать ли усиленно заниматься научной деятельностью или же поспешить с женитьбой, которая обеспечит ему положение в обществе?

У Дэвида не было ни малейшего намерения склонять сына в ту или иную сторону. Пусть Нейл все взвесит и решит сам. Только так. Дэвид тревожился лишь о том, чтобы не утерять теплоту их вернувшейся дружбы.

— Я кое-что понял — и про себя, и про других,— ответил он добродушно.— И, наверно, пойму еще больше. Я потрясен тем, что увидел в утробе города. Но я еще ни в чем толком не разобрался, иду ощупью.

Если бы я мог положить все это на анатомический стол, как делаешь ты, Нейл, может быть, я до чего-нибудь и докопался бы. Но как быть с глупостью и жадностью, жестокостью и предрассудками? Похоже, что большинство людей принимает войну как какую-то неизлечимую болезнь.

— Ты взялся за игру посложнее моей.— Нейл повернулся к нему, все с той же отчужденностью во взгляде.— И что это тебе взбрело в голову, право, не понимаю. Бросил прекрасную работу! Сэр Марк считает это чистейшей шизофренией, но я-то знаю, что у тебя это не органическое заболевание. Как бы то ни было, чем скорее ты бросишь эту затею, тем лучше, поверь мне. Вот на таких безнадежных делах люди и теряют рассудок.

— Я не шизофреник. И дело не безнадежное,— сказал Дэвид.

Они подошли к маленькому серому «остину» Нейла, стоявшему на дорожке у ворот. Нейл повернулся к отцу спиной, открыл дверцу, наклонился, достал шоферские перчатки. Молча и хмуро стал натягивать их, сначала одну, потом другую. Не хочет продолжать этот разговор, понял Дэвид.

Машина тронулась с места. Нейл помахал рукой в черной перчатке, Дэвид помахал в ответ: на душе у него было тяжело.

В доме он наткнулся на Гвен — вид у нее был несчастный: волосы непричесаны, бледное, убитое горем лицо. Мифф говорила ему, что она плохо спит, клянет себя за то, что причинила матери столько волнений, мучается из-за собственной беды.

— Не казнись, родная моя,— шепнул ей Дэвид, улучив момент, когда они остались одни.— Все будет хорошо.

— Ах, папа, помоги мне! — взмолилась она.— Я не знаю, что делать.

— Помогу,— заверил ее Дэвид.— Только скажи, чем тебе помочь...

Нежно обняв плачущую Гвен, он выслушал историю ее любви, историю о том, как переменилось ее чувство к человеку, которого она еще недавно так любила, как после разрыва ею овладело разочарование и отвращение.

Гвен плотнее запахнулась в халатик: ведь, наверно, уже заметен ее округлившийся живот. Блестящие, падающие на плечи волосы, бледное, заплаканное, усыпанное веснушками лицо — совсем девочка, несчастная девочка, подумал Дэвид. Но ее глаза с покрасневшими, распухшими веками храбро встретили его взгляд.

— Должна тебе сказать,— заявила она уже не таким несчастным голосом,— что один человек хочет на мне жениться. Он знает и про Арнольда, и про это...— Она посмотрела на свой живот.

— А тебе этот человек нравится? — спросил Дэвид.

— Он хороший,— помедлив, ответила Гвен.— Мы подружились с того дня, как он рассказал нам про Роба. Помнишь Брайана Макнамару? Он был с Бобом в Корее.

— Помню, конечно.— Дэвид задумался над этим странным переплетением судеб.

— Он говорит, что любит меня,— продолжала Гвен с горечью,— что он больше никогда никого не полюбит. Говорит, если я не хочу выходить за него замуж теперь, он будет ждать, может быть, я все-таки соглашусь потом. Только я не знаю, соглашусь ли... Хватит с меня. Больше не поверю ни одному мужчине.

— Милая моя, скоро ты будешь думать совсем иначе.

— Может быть,— устало вздохнула Гвен.— Но один из них заставил меня так страдать, что мне кажется, теперь я буду ненавидеть всех мужчин.

— Вот это зря,— сказал Дэвид.

— Нет, я не доставлю удовольствия Арнольду — не испорчу себе

жизнь, если ты это имеешь в виду,— твердо заявила Гвен.— Когда я выпутаюсь из этой истории, я буду знать, что́ отвечать на всю эту болтовню, которой задуривают голову глупым девчонкам.

Она пошла к себе, устало и понуро, но в улыбке, которой она улыбнулась на прощанье отцу, мелькнуло что-то озорное, что-то от прежней Гвен.

Глава III

В ту неделю после похорон Клер, занимаясь устройством семейных дел, Дэвид не раз вспоминал о пареньке, которого он выволок из канавы в переулке за рестораном. Как только выдался свободный день, Дэвид отправился в город и отыскал дом, где он сдал Тони на руки бабушке.

Улица стандартных обшарпанных домишек захолустного предместья, побеленный низенький дом. Дэвид постучал в дверь — осторожно, потом громче. Звякнула цепочка, заскрипела задвижка, но дверь все не отворялась.

— Это друг Тони,— поспешил сказать Дэвид.

— Кто, кто? Не слышу,— проворчала старуха, разглядывая его в щелку приотворенной двери.

— Моя фамилия Ивенс,— сказал Дэвид.— Помните, я тогда привел Тони домой. Когда его избили. Хочу узнать, как он.

— Ничего, в порядке.— Дверь отворилась.

Перед Дэвидом стояла старуха, кутая плечи в драный платок и сердито глядя на него.

— А вам-то что до этого?

— Да я просто так.— Дэвид улыбнулся, чтобы успокоить ее.— Хотел справиться, не могу ли я чем-нибудь помочь.

— Нет,— отрезала старуха.

— А повидать его можно?

— Нет.

— Кто там, бабушка? — крикнул мальчишеский голос из комнаты.

— Лучше бы вам уйти, мистер,— сказала старуха.— Мы тут не любим топтунов.

Но за старухой уже возник Тони — он удивленно глядел на Дэвида, видимо не помня ни его, ни их первого знакомства. На щеке у него краснел шрам, рука была подвешена на грязной ситцевой тряпке.

— Что вам надо? — грубовато спросил он.

— Ну что ж,— улыбнулся Дэвид,— выглядишь ты гораздо лучше, чем в тот раз, когда мы познакомились.

— Ах, это вы меня домой привели? — Паренек смутился.— Это вы здорово сделали, мистер! Только, если вы пришли о чем-то спрашивать, я вам ничего не скажу.

— Спрашивать? Да нет...— Дэвид запнулся. Он и сам не знал, почему пришел, чем заинтересовал его этот юноша.— Я верю, что ты честный парень. Просто попал в неприятность, с кем-то не поладил. Может, я могу тебе помочь?

— Да вы и помогли. Разве нет? — На хмуром лице юноши мелькнула усмешка.— Что же мы тут стоим, заходите, поболтаем.

Бабушка отступила с порога, пропуская Дэвида, потом задвинула задвижку и поплелась по коридору. За ней, сутулясь, двинулся Тони. Дэвид прошел за ними в маленькую старомодную гостиную с круглым столом, тремя облезлыми стульями и продавленной софой, которая занимала чуть ли не половину комнаты.

— Садитесь.— Тони опустился на софу. Он достал из кармана пиджака сигареты и спички, закурил, затем протянул пачку Дэвиду.— Жаль, что дешевые.

— Спасибо! — Дэвид извлек свою трубку и кисет.— Я подымлю трубкой, если не возражаете.

Тони выдохнул облачко дыма и бросил из-за этой завесы на Дэвида пристальный взгляд.

— А вы, случаем, не из полиции? — спросил он.

— Упаси бог!

— Я ведь, кажется, видел вас в ресторане — и не раз?

— Может, и видел.— Дэвид набил трубку.— Я туда захожу поесть. Но ни с кем не знаком. Ничего ни о ком не знаю.

— Тогда ладно,— успокоился юноша.— Здорово они меня отделали, черт побери! Да в общем-то я сам виноват. Но я им такого удовольствия больше не доставлю.

— Правильно.— Дэвид чиркнул спичкой, и трубка затеплилась. Он попыхивал трубкой, обдумывая, что сказать.— Можешь мне не рассказывать, что случилось. Я видел итог. Когда парня так бьют, ему надо уходить. Уходить из этого района, уходить от таких дружков. Послушай, Тони, я и сам не знаю, почему меня тянет вмешаться в это дело. Но у меня был сын таких же лет, как ты. Он умер. Убит в Корее. Я не сделал для него того, что должен был сделать. И потому, так мне кажется, я хочу сделать что-то для тебя.

— Значит, свой грех замаливаете? — невесело ухмыльнулся Тони.

Бабушка то подслушивала их разговор в коридоре, то входила, делая вид, будто ей что-то понадобилось в комнате.

— Скажи-ка ему,— обратился к ней юноша.— Я ведь конченый, зря он думает меня переделать. Чудак он, видно. Вот и взбрело ему в голову, что он может чудеса сотворить.

— Не слушайте его,— взмолилась вдруг бабушка.— Это его приучили, он таким не был. Тони хороший мальчик, а они его втянули, приучили к этой отраве — марихуана, что ли, называется или как еще, не знаю я. И теперь он думает, что не может жить без этой дряни.

— Замолчи, бабушка! — Плечи у Тони резко дернулись, он вскочил.— Вот так...— Он с вызовом повернулся к Дэвиду.— Видите: не стоит обо мне беспокоиться.

— Чепуха,— твердо сказал Дэвид.— Если хочешь, можно избавиться от любой привычки. Только хочешь ли — вот в чем вопрос.

— Господи! Не гоняться за ними, не стрелять по сигаретке! — У парня перехватило дыхание.— Если бы я мог! Если бы мог послать всех их к черту и жить сам по себе!

— Можешь! — уверенно сказал Дэвид.— Ведь это болезнь, такая же, как другие болезни. У меня сын — врач. Он устроит тебе лечение в больнице, а потом можно будет подыскать и работу, какая тебе по вкусу. Идет?

Бабушка кинулась к Дэвиду, схватила его руку.

— Помогите ему! — Она задыхалась от волнения.— Помогите избавиться от них! Ах, Тони! — умоляла она.— Не отказывайся. Мы ведь не знаем этого джентльмена. Но, по-моему, он правду говорит. Он не даст тебе погибнуть. Верно, мистер?

— Ну конечно.— Дэвид пожал дрожащую морщинистую руку.— Сделаю для Тони все, что смогу. Но пусть и Тони постарается, не подведет меня.

— Обещать ничего не могу,— пробормотал Тони.— Но я попытаюсь...

— Милый ты мой! — Поблекшие старушечьи глаза просияли.— Знать бы мне, что у тебя все в порядке, тогда и помирать можно.

Трубка потухла — Дэвид только теперь это заметил. Он наклонился над столом к пепельнице, чтобы поворошить спичкой табак. Планы относительно Тони были самые смутные, он понимал, что берется за очень

сомнительное и опасное дело, и в то же время не мог противиться настойчивой внутренней потребности попытаться помочь пареньку.

— Как только я договорюсь о лечении, я зайду к вам опять,— проговорил Дэвид.— Но пока что,— продолжал он в расчете на одобрение бабушки,— не стоит никому рассказывать, о чем мы тут беседовали.

— И маме тоже? — поднял голову Тони.

— Тоже,— решила бабушка.— Янк вытянет из нее все, что захочет. Пусть об этом будем знать только мы трое — если что-то вообще получится.

— Понятно, Тони? — Дэвиду хотелось удостовериться, что юноша не отступил от своего решения.

— Понятно,— хмуро согласился Тони.

— Ты все сможешь, Тони! Все, что задумал. У тебя хватит сил,— с чувством сказал Дэвид.— Я верю в тебя! — Он протянул ему руку. Тони схватил ее.

— Господи, может, вы и правы, мистер! — воскликнул он.— Может, вы и правы!

Бабушка проводила Дэвида до двери, отодвинула болт, сняла цепочку.

— Спасибо вам, мистер,— хрипло зашептала она.— Простите, что я так грубо говорила с вами, ведь никогда не угадаешь, кто к нему идет. Если бы вы смогли что-то сделать... Хоть бы он попытался...— Слезы катились по ее увядшим, сморщенным щекам.— Только все понапрасну... Если бы вы знали, как мне хочется помочь Тони... Чтоб он уехал отсюда, вырвался от них... Дать ему возможность встать на ноги...

— Не тревожьтесь,— мягко сказал Дэвид.— Я постараюсь дать ему такую возможность.

Глава IV

— Надо поговорить с Тревором Макдонеллом,— сказал Нейл, когда Дэвид пришел к нему в больницу посоветоваться насчет Тони.— У Трева тут больше опыта, мы учились на одном курсе, он славный малый. Года три тому назад был назначен главным врачом при лечебнице для несовершеннолетних правонарушителей.

— Похоже, что как раз он мне и нужен.— Дэвид записал адрес.

— Только не знаю, чего ради ты заменяешь Армию спасения. Всех несчастных все равно не спасешь, как их ни жалей.

— Конечно нет,— согласился Дэвид.— Но если можно, я должен сделать что-то для Тони.

Разговор с Тревором Макдонеллом ободрил Дэвида: молодой доктор заинтересовался историей Тони, и видно было, что, несмотря на некоторую резкость, он может быть тактичен и терпелив. Методы лечения, казалось бы, простые: трудотерапия, спорт, хорошее питание, режим, самодисциплина. Это дает прекрасные результаты, хотя, может быть, сказал Макдонелл, в отношении некоторых пациентов еще рано делать такие выводы.

Хорошо, что Тони сам захотел лечиться,— можно больше сделать, чем если бы его доставили в больницу принудительным порядком и стали лечить насильно.

Дэвид сам привел Тони для первого разговора с Макдонеллом. Тони принарядился, тщательно причесал непокорные вихры. В отутюженных черных джинсах и синем свитере он хорошо выглядел, только по-прежнему хмурился и настороженно поглядывал на незнакомца, который непонятным образом втянул его в эту историю. «Не захочу, и ничего вы со мной не сделаете»,— говорил он всем своим видом.

По пути к кабинету доктора Тони выжидательно молчал. И чего

он с ним возится, этот джентльмен? Если думает, что Тони Дарру можно вот так легко приручить, то очень ошибается. Он еще не уверен, стоит ли ему ввязываться в это дело.

И все-таки этот человек ему чем-то нравился: ведь он его спас, приволок домой после драки. Вот и бабушке кажется, что ему можно верить. Да и какая ему от всего этого выгода? Просто Тони похож на его погибшего сына, потому он и разыскал его, это он правду сказал.

Он ведь не совал нос в чужие дела, не выспрашивал про драку и про банду, что видел в ресторане. Правда, Тони сам никогда на них не донесет — это уж точно. А что, если банда станет мстить этому джентльмену за то, что он не оставил Тони подыхать в канаве? Что, если они зверски изобьют его за то, что он посмел встать между ними и Тони?

Мысли неслись вскачь в голове у Тони, пока он ждал перед кабинетом Макдонелла, листая журналы, которые его совершенно не интересовали.

Наконец хорошенькая, нарядная сестра повела его в кабинет. Тони с независимым видом, вразвалочку последовал за ней. Из кабинета он вышел час спустя — уже не вразвалочку, с удивленным, растерянным лицом.

— Ну, как дела? — будто между прочим спросил Дэвид, когда они шли к трамвайной остановке. Он немного опасался, что Тони отпугнула резковатая манера Макдонелла. Может быть, надо успокоить юношу, сгладить неприятное впечатление...

Но Тони был поглощен своими мыслями.

— Хорошо,— только и сказал он. Потом, помолчав немного, он глубоко вздохнул и добавил: — Чего я хочу: обратно в банду или избавиться от них — вот о чем он меня спросил. Либо то, либо другое. Я должен решить.

Дэвид остановился возле кафе.

— Зайдем? — предложил он.— Надеюсь, ты не откажешься от чашечки кофе? Я-то наверняка не откажусь.

За кофе с пирожным Тони разговорился.

— Черт возьми! — воскликнул он.—Задал он мне работку: заставил раздеться и всего насквозь простукал. Сказал, что у меня прекрасные физические данные: рост, грудь, плечи. Сердце, легкие и живот пока что в порядке. Могу быть классным спортсменом или просто обыкновенным нормальным парнем. Понимаете?

— Конечно,— поддакнул Дэвид, стремясь показать Тони, что принимает близко к сердцу все его страхи и волнения.

— Но ни вы, ни он даже не представляете себе, в какой я попал переплет! — в отчаянии вскричал Тони.— Я вовсе не наркоман — это бабушка так считает. К опиуму и кокаину я даже не прикасался... Честное слово... Слишком дорого стоят. Сигаретки с марихуаной — за ними я гоняюсь, да и то не всегда. Янк и ребята знают об этом.

— Успокойся, Тони,— посоветовал Дэвид.— Думай о себе, а не о них. О том, что нужно тебе.

— Да, конечно,— удрученно сказал Тони.— Но только они меня не отпустят.

— Если ты твердо решишь, тебя никто не остановит.

— Не остановит,— словно убеждая себя, повторил юноша.— Еще посмотрим, кто кого. Вы так считаете, мистер?

— Именно так, Тони.— Дэвид улыбнулся: приятно, что Тони с ним советуется.— Держу пари — ты сумеешь настоять на своем!

Тони снова помрачнел, задумался.

— Вы ему что-то будете платить за меня? Этому доктору.

— Ничего,— заверил его Дэвид.— Если Макдонелл тобой заинтересовался, он сделает все, что надо. А это очень важно.

— Только вы одного не знаете! — Тони наклонился вперед, лицо его вдруг исказилось яростью.— Если я уйду... если сделаю так, как говорит доктор... перестану курить эту отраву, всем нам тогда несдобровать. И еще как несдобровать-то! Мать донесет, и тогда они кинутся за вами.

— Обо мне не тревожься. Когда же тебе теперь к Макдонеллу?

— Завтра.— Тони взял маленькое пирожное, откусил от него.— А знаете, он молодец, этот доктор! — снова вернулся он к взволновавшему его разговору с Макдонеллом.—Говорит мне: «Ты ведь не получал удовольствия от этих сигарет, да, Тони? Просто привык, втянулся?» — «Верно»,— говорю я. И тогда он показал мне фотографии парней и девушек. Господи, как безумные! Да так оно и есть. Я сам таких видел: рыщут, как бешеные псы, лишь бы затянуться или нюхнуть, душу продадут за одну затяжку. Да и со мной такое бывало — вот в тот вечер, когда я ворвался в ресторан. Кровопускание пошло мне на пользу — малость башку просветлило.

Дэвид не хотел прерывать эти излияния — они говорили ему больше, чем Тони предполагал. Но тот снова насторожился, будто испугавшись слишком внимательного слушателя.

— От этих фото я весь затрясся,— пробормотал Тони.— Если я не брошу, стану таким же, как они — грязным, вонючим паразитом. Им дорога — в сумасшедший дом.

— Ты вырвешься,— убежденно сказал Дэвид, будто Тони уже принял твердое решение.— Может, это будет и трудный рывок, но...

— Что верно, то верно — трудно мне будет, мистер.— Тони откинул назад черные, напомаженные ради сегодняшнего визита волосы, и лицо его стало тверже, решительнее.— Если у меня хватит духу — а вы говорите: хватит,— тогда все, конец. А вам, я считаю, надо теперь отойти в сторону. Хочу действовать сам. И не надо наводить их на ваш след. Я сам договорюсь с доком насчет того, когда прийти к нему. А если что случится, бабушка даст вам знать.

— Вот адрес.— Дэвид написал на краешке меню адрес миссис Баннинг.— Если захочешь меня найти.

Тони оторвал от меню адрес, открыл молнию на заднем кармане и положил туда. Потом задернул молнию и поднялся.

— Только бабушку Янк и боится.— Жесткая мальчишеская усмешка мелькнула на помрачневшем лице Тони.— Она, как встретит, такое ему говорит: будто она написала письмо и спрятала его в надежном месте, и пусть он только тронет ее, маму или меня,— письмо будет в полиции.

— Молодец бабушка! — засмеялся Дэвид.

— Она что надо, моя бабушка,— согласился Тони.— А вы ей понравились. До скорого свидания, мистер!

Он двинулся к двери. Дэвид видел, как он прошел по улице мимо окна. Худенький, угловатый, но храбрится, ишь как гордо шагает. Чем-то кончится схватка, на которую он решился? Теперь, когда он остался один, оптимизма у Дэвида поубавилось.

Макдонелл сказал: «Из этих малолетних наркоманов спасти удается одного из десяти. И дело тут не в тяге к наркотикам, а в связях с преступным миром — с ворами и мелкими мошенниками из городских шаек».

Глава V

Перси встретил Дэвида хриплым приветствием.

— Он по вас скучал, этот негодник,— засмеялась миссис Баннинг.— И Чезаре Маттеро тоже. Все спрашивал меня: «Куда девался этот писака?» Вот Перси это и подхватил.

«Куда девался этот писака?» — услужливо загорланил Перси.

Насвистывая себе под нос какую-то мелодию, словно школьник, у которого есть своя тайна и он гордится ею, Дэвид принялся перечитывать свои записи для статей и рассказов — записи, которые он делал, пока на него не обрушилась смерть Клер.

Он с грустью подумал о ней и о распавшейся семье. Купив «Элуеру», он отдал ей все документы на владение; теперь по ее завещанию все имущество переходило детям — кроме небольшой суммы, оставленной Герти.

С Гвен все было улажено: Дэвид нашел опытного хирурга, у которого была своя больница. Экстренная операция по поводу аппендицита, так это называлось. Домой она вернулась бледная, но повеселевшая, словно сбросив с себя непосильную тяжесть.

Нейл намеревался продолжить свои исследования в области патологоанатомии и приобрести больший опыт в общей медицине, прежде чем жениться, но отъезд родителей Линды в Европу ускорил свадьбу. Опустошив свой банковский счет, Дэвид предложил ему денег в долг, и Нейл смущенно принял их. Но Миффанви тоже готовилась к свадьбе, и они с Гвен согласились на предложение Нейла продать «Элуеру».

Несколько недель спустя старый дом с большой усадьбой был продан земельному агентству за двадцать тысяч фунтов. Как объяснил Миффанви покупатель, ценность представлял не сам дом, а земельный участок. Дом снесут и на его месте построят современный многоквартирный дом.

Гвен, получив свою долю, предвкушала поездку в Англию и уже заказала место на океанский лайнер; но она не в силах видеть в доме незнакомых людей, заявила она, не в силах слушать, как аукционист будет продавать их старую софу.

В день аукциона Макнамара зашел за ней рано утром, и они с Гвен уехали в Южный Квинсленд навестить его мать.

Покинуть «Элуеру» — все равно что покинуть старого друга, думал Дэвид, затворяя широкие ворота и в последний раз глядя на дом. Тот тоже смотрел на него — пустыми окнами, словно слепой. По затоптанному саду ветер гнал обрывки бумаги.

— Едем, родная,— сказал Дэвид, усаживаясь в машину рядом с Мифф. Она отправлялась в новый район, где поселилась в маленьком домике вместе с Биллом.

Дэвид почувствовал себя совсем одиноким. Как старый баклан на скале, сказал он себе с кривой усмешкой. Но скалой была его работа — больше он не в силах был подавлять в себе желание писать, желание высказать переполнявшие его мысли и чувства.

Предвидя все рифы и мели на своем пути, нарушая все запреты своего клана, Дэвид писал статью за статьей, уверенный, что может превратить свое перо в подлинную силу.

По утрам, прежде чем сосредоточиться на очередной статье, которую он продумал накануне вечером, рассеянно что-то насвистывая, Дэвид перебирал на столике у маленького тусклого окошка свои записи. В окошко виднелся кусочек улицы и облезлая стена дома напротив. Засохшая акация вздымала вверх пук почерневших веток. Но вот работа увлекала его, и Дэвид уже ничего не видел и не слышал — ни шума машин, ни голосов соседей.

Время шло незаметно; наконец рукопись запечатывалась в длинный конверт и адресовалась более или менее подходящему редактору одной из ежедневных газет. И тогда снова наплывал приглушенный шум уличного движения, снова Дэвид видел в окне засохшую акацию.

Во второй половине дня Дэвид часа два проводил в зале периодики публичной библиотеки, просматривая австралийские и заокеанские

газеты и журналы, чтобы быть в курсе новостей и использовать острые темы.

Члены Совета защиты мира, чьи собрания он посещал, восторженно приветствовали заявление конференции австралийской лейбористской партии по вопросам международной политики. В нем декларировалась дружба со странами Азии, протест против испытаний ядерного оружия на территории Австралии, требование объявить Южное полушарие зоной, свободной от ядерных испытаний.

— Значит, мы уже чего-то добились! — воскликнула Шарн.— Мнение профсоюзов и трудящихся всегда действует на политических деятелей.

— Ну конечно,— весело поддакнул Дэвид.

— А вот вы,— Шарн явно издевалась над его самонадеянностью,— вы даже не знаете, против чего боретесь. Ведете игру в одиночку, да еще ожидаете бог весть каких необыкновенных результатов.

— Разве? — Дэвид задумался над ее словами. Да, пожалуй, Шарн права, решил он. Может, он и вправду ждет от своих статей слишком многого? И все же он упрямо придерживался своей теории: не идти по проторенной дороге, не связывать себя ни с какой политической партией, и тогда, думалось ему, он сможет найти общий язык с гораздо более широким кругом людей. Ему казалось, что он сумеет проложить новый путь, привлечет пассивного обывателя, вытащит его из трясины равнодушия, убедит в необходимости поддерживать всеобщее — не политическое, а просто гуманное — движение за мир и разоружение.

Посещая всевозможные собрания и митинги, Дэвид понял, как случилось, что страх коммунистического влияния в движении за мир ослепил бесчисленное множество простых благонамеренных граждан. Им даже в голову не приходило, что правительство Советского Союза, первым выдвинув предложение о том, чтобы великие державы заключили договор о запрещении производства ядерного оружия, сделало это не только ради советских граждан, но и ради всего человечества.

Политика мира, призыв к переговорам, к прекращению губительной гонки вооружений — все это ко благу. Как же может это не найти одобрения у всех разумных мужчин и женщин? Оказывается, может, обнаружил Дэвид.

Те, кто заправляет экономикой, те, кому ненавистно все, что несет с собой социализм, ведут лживую пропаганду и разжигают религиозный фанатизм, чтобы посеять слепую и бессмысленную предубежденность. Она — как болезнь, от которой может спасти лишь вмешательство врача. Но если на собраниях Дэвид спрашивал оратора, как тот относится к вопросу о запрещении ядерного оружия и предложениям о разоружении, со всех сторон неслись крики: «Комми!»

На улицах и на рынке, где уже привыкли к этому опрятно одетому мужчине и его расспросам, Дэвид стал пользоваться известностью и получил прозвище Мирный Чудак. Женщины, сплетничавшие у бакалейной лавочки, говорили друг другу: «Смотрите, Мирный Чудак идет!» И когда он проходил мимо или останавливался поболтать с ними, весело приветствовали его: «Добрый день, мистер!»

Вечером за бутылкой вина толстяк Чезаре со смехом пересказывал свои споры на рынке.

— Они мне твердят: да он просто сумасшедший, твой друг! — смеялся Чезаре.— А я им говорю: нисколько. Это вы сумасшедшие — не понимаете, что он правильные вещи говорит.

Дэвид с усмешкой рассказывал Шарн о репутации, которой он удостоился, и о своих вечерних беседах с Чезаре во дворе за домиком миссис Баннинг, перед тем как Чезаре с напарником отправлялись в ночную смену. Каждый раз, увидев рядом с Чезаре этого парнишку, Дэвид

вспоминал о Тони. Как-то он там лечится? Приспособился ли к жесткому больничному режиму?

Дэвид несколько раз звонил директору, тот говорил, что все в порядке.

Три месяца спустя, когда Дэвид пришел навестить его, Тони прекрасно выглядел и, казалось, был вполне доволен жизнью. Он готовился к состязанию по боксу и изучал корабли и навигацию — старый морской капитан раз в неделю вел у них занятия.

— Когда выпишусь, я немедленно смоюсь, мистер.— Голос Тони звучал энергично.— Сразу же уйду в море. Капитан даст мне письмо, что в моряки я гожусь. Янк меня больше не увидит.

— Отлично! — одобрительно улыбнулся Дэвид.— Я же знал, что ты парень с головой, времени тут зря терять не станешь.

— Я так рад, что пошел сюда! — воскликнул паренек.— Скажите бабушке, что у меня все хорошо... Только, ради бога, пусть она молчит. Если банда узнает, где я...

— Не узнает,— пообещал Дэвид.

Но когда две недели спустя Дэвид позвонил директору, чтобы справиться о Тони, его ожидал удар: Тони исчез.

— Что случилось? — спросил Дэвид.

— Неизвестно.— Наступила пауза, затем в голосе на том конце провода появились резкие нотки: — Просто удрал. Мы считали, что Дарра — один из наших удачных случаев, а вышло наоборот. Еще один срыв в наших опытах.

— Все шло так хорошо,— не отступался Дэвид.— Что же вдруг произошло?

— Мы сами ничего не понимаем,— сухо ответил директор.— У нас только одно подозрение: тут к нам привезли парня, который, кажется, знал Дарру. Довольно темная личность. Полиции он известен. Участвовал в побоище между бандами.

— Это многое проясняет,— ответил Дэвид.

— Полиции мы о Дарре не сообщили,— сказал директор.— Он пришел к нам по доброй воле, ну и...

— Полиции он и не нужен,— поспешно сказал Дэвид.— Большое спасибо, извините, что доставил вам столько хлопот... Я сообщу, если он объявится.

Дэвид расстроился, не мог ни сидеть в библиотеке, ни идти на свидание с Шари. Он решил тотчас же повидать бабушку Тони, рассказать ей о случившемся, выяснить, не знает ли она, где он. Он был почти уверен, что Тони пошел не к ней и что он убежал из лечебницы, чтобы банда снова не пристала к нему. Но где он? Куда он надумал спрятаться?

Как и предполагал Дэвид, бабушка даже не подозревала о том, что Тони исчез, и ужасно расстроилась. Она понятия не имела, где он мог быть.

— Он даст о себе знать — и очень скоро,— постарался утешить ее Дэвид.— Уверен, что ничего страшного с ним не произошло. Когда я видел его в последний раз, он держался молодцом. Готов был вступить в бой за свою мечту — он ведь решил стать моряком. Может, он уже на корабле, в полной безопасности.

Бабушка тихо плакала. Дэвид и сам чуть не плакал, идя по улице с ветхими домишками и с грустью думая о том, как рухнули все его надежды, связанные с Тони. По правде говоря, он был настроен далеко не оптимистически и вовсе не был убежден, что Тони не возьмется за старое, довольствуясь случайными мелкими заработками, добывая сведения для букмекеров.

Прошел месяц. От Тони не было никаких вестей. «Еще одна неудача,— огорчался Дэвид.— Хочу помочь людям, а ничего не выходит».

Понемногу он начал забывать о пареньке, с головой ушел в подроб-

ное изучение программы разоружения и новых заключений ученых о последствиях ядерных взрывов.

Дэвиду хотелось, чтобы статьи его были интересны и увлекательны, он вкладывал в них весь свой профессиональный опыт и ум, старался писать понятно, излагать ученые доводы простыми словами, комментировал цитаты из выступлений известных генералов, сенаторов, писателей, а также приводил высказывания никому не известных граждан, с которыми сталкивался каждый день.

Он бомбардировал газеты короткими и длинными материалами в самых разных жанрах, вплоть до диалогов и юморесок о смешных происшествиях.

К концу года, словно в насмешку над его радужными надеждами, сбоку на его столе высилась уже целая груда возвращенных рукописей.

Дэвид полагал, что журналистское мастерство, осведомленность и точная информация, умение придать широкое звучание даже новостям местного характера выделят его статьи, принесут им успех. Но статьи возвращались с автоматической регулярностью — из ежедневных и еженедельных газет, отовсюду, куда бы он их ни посылал.

Правда, он получил два или три небольших чека за безобидные заметки о перелетных птицах, селившихся в заводях устья Ярры, и о памятниках старины, затерявшихся в закоулках трущоб. Но такие статьи, как «Ядерная опасность», «Почему мы за разоружение?» или «Паспорт в будущее»,— статьи, над которыми он много думал и так упорно работал, как правило, возвращались, красноречиво свидетельствуя о том, что редакции придерживаются политики замалчивания этих вопросов. Дэвид утешал себя: этого и следовало ожидать. Ни пощечины отказов, ни тактика игнорирования, которую избрали газетные синдикаты, не собьют его с толку. Он не отступит, он будет бороться.

Мифф за последние два месяца он видел только дважды. Он знал, что она очень занята: работа да еще эти «заботы домовладелицы». Когда она наконец зашла к нему, то первым делом сообщила, что беременна.

— А что слышно от Гвен? — спросил Дэвид.

— Все письма о том, как прекрасно она проводит время в Лондоне,— сказала ему Мифф.

— Здорова и счастлива?

— О Гвенни можно не беспокоиться. Она себя в обиду не даст,— засмеялась Мифф.— Устроилась на работу к знаменитой портнихе. Пишет, что работа не из легких, но зато весело: как-никак известная манекенщица и шикарная женщина.

— Какой у нее адрес? Она мне еще ни разу не написала.

Мифф уловила горькие нотки в его голосе. Она записала ему адрес и уж собралась было уходить, но тут со стыдом вспомнила, что не спросила у отца, как идет его работа. Он очень переменился, стал каким-то тихим.

— Как твои дела, отец? — после некоторого колебания спросила Мифф.

— Отлично,— небрежно ответил он.

Мифф приходилось только догадываться, что скрывалось за этим небрежным ответом.

— Не отдаляйся от нас, папочка,— горячо сказала она.— Заглядывай почаще к нам с Биллом вечерком. Как только у тебя будет настроение.

— Спасибо, дорогая.— Он посмотрел на нее с веселой усмешкой, как в былые времена.— Загляну, станет мне получше и загляну обязательно. А пока что, как говорят американцы: «Хвали себя сам, если другие не хвалят». Что я и делаю.

— Ну, мне ты можешь ничего не объяснять,— заметила Мифф.

— Конечно, дорогая! — Он поцеловал ее, и она ушла.

И все же ему не хотелось рассказывать о стопке возвращенных рукописей на своем столе, и он так и не заглянул к Мифф и Биллу, пока у него не появился внук.

Дверь отворила Герти.

— Мисс Мифф родила сыночка! — взволнованно объявила она.— Восемь фунтов. Назвали Ян.

— Страшно себя ругаю, что не пришел раньше! — покаянно воскликнул Дэвид, увидев Мифф с младенцем на руках. Она очень похорошела.

— Этот маленький негодник задал нам уйму хлопот,— ликующе сообщил Билл.— Они с Мифф только что прибыли из больницы. Вы как раз вовремя, папа.

Он пошел на кухню и вернулся с бутылкой в одной руке и бокалами в другой.

— Выпьем в честь нового борца за права человека,— провозгласил Билл. Гордость и счастье переполняли его.

— И за мирное будущее всех детей в мире! — добавила Мифф.

Дэвид разделил с ними торжественный ужин, который Герти приготовила в честь возвращения домой Мифф.

Мифф рано легла спать, а Дэвид остался поболтать с Биллом и распить еще парочку бутылок пива. Говорили о многом: о внутренней и внешней политике, борьбе профсоюзов, растущей мощи движения за запрет ядерных испытаний. В свою комнатку к миссис Баннинг Дэвид возвращался нетвердым шагом.

Глава VI

Все последние месяцы Дэвид много читал, работал в библиотеке и писал. Пользуясь данными авторитетных статистиков, он составил таблицу цен, чтобы показать, что несет с собой гонка вооружений.

Шарн помогла ему составить эту таблицу и снабдить ее небольшими диаграммами.

Странная дружба установилась между ними — чуть сдержанная и недоверчивая, словно они боялись спугнуть ее. Дэвид ценил помощь Шарн, ее советы. Он принимал ее прежде всего как товарища по работе, умного и преданного, хотя, случалось, ее откровенная критика и бескомпромиссность раздражали его. Она не позволяла себе ни малейшего кокетства, никаких женских уловок — ничего, что могло бы повлиять на их товарищеское содружество, и он восхищался этим, восхищался ее чистотой. А может, в ней и нет ничего женского, может, она и не способна на кокетство, думал он иной раз. Он понимал, что Шарн осуждает его склонность к компромиссу, его идеализм, его позу независимого интеллектуала. Ему и в голову не приходило, что ее резкость и сдержанность, которые порой приводили его в замешательство,— всего лишь попытка защититься, противостоять его мужскому обаянию.

Шарн стыдилась этой резкости, но не могла же она объяснить Дэвиду, что еще ни один мужчина не искал ее общества, не радовался беседе с ней. Она догадывалась, что молодым людям она кажется слишком серьезной и скучной,— с такой не позабавишься, не покуролесишь на вечеринке. Ей льстило внимание Дэвида, но она боялась, что придает его дружбе слишком большое значение и может вдруг лишиться этой тайной радости.

— Прекрасная идея — эти наглядные доводы против вооружения,— заметила Шарн, когда они проверили цифры и разметили диаграммы.— Только вот как отнесутся к этому газеты?

— Напечатают ли? Нет, не напечатают,— сказал Дэвид.— Разве наша «свободная пресса» пойдет на это? Но надо бомбардировать их такими статьями. Мы не должны отступать ни на шаг. Чтобы сохранить мир, нам нужно единство.

— Единство!..— с горечью воскликнула Шарн.— Иной раз мне кажется, что единство — это такая же утопия, как и мечта о разоружении.

Дэвид процитировал ей Эмерсона:

— «Когда люди объединятся, они будут жить, общаться друг с другом, пахать и снимать урожай и управлять так, словно их наделили неземной силой, и в едином дыхании четверо поднимут пятого с земли за один мизинец и не почувствуют веса его».

— Когда люди объединятся. Но как добиться этого единства — вот в чем вопрос,— сказала Шарн.

— Все до единого не объединятся никогда.— Дэвид улыбнулся.— Такое единение невозможно. Но пусть за нами пойдет хотя бы часть — и мы обретем эту «неземную силу»!

— Единство противоположностей — основной принцип философии,— задумчиво сказала Шарн.— Это определяло прогресс человечества на протяжении веков.

— Но я ведь не марксист, я еще неоперившийся птенец...

Иронические нотки в его голосе разозлили ее.

— Пора бы и оперяться,— резко сказала она и отвернулась.

— Ну что вы, Шарн...— Он уже пожалел о том, что слегка подшутил над ее проповедническим тоном.— Я всегда считал вас, дорогая, и образованнее и способнее меня. Просто мне хотелось хоть немного проявить самостоятельность. Только и всего. Какие мы глупые!

— Простите меня.— В глазах у Шарн блеснули слезы.— И что я вдруг на вас налетела... просто нелепо... Зря вы меня хвалите, я этого не заслужила.

Это было одно из многих примирений, которые еще больше сближали их. Шарн смотрела на него радостным и преданным взглядом. Глаза у нее были красивые: глубокие, таинственные. Они вспыхивали лучистым светом от стихотворной строки, от птичьей трели, от вида залитой солнцем реки. По ним можно было угадать, что перед тобою тонкая и страстная натура.

Не раз Дэвиду хотелось протянуть руку и снять с нее очки: ему казалось, что они заслоняют ее суть. И еще ему хотелось поцеловать ее на прощанье, как в тот первый день, когда они были на пляже,— так мечтателен и чист был ее взгляд. Но нет, невозможно — ведь он ей в отцы годится.

Кроме того, Дэвид не хотел, чтобы Шарн почувствовала, что его привлекают в ней не только ее образованность и ум.

Ну что ж, значит придется избегать встреч с Шарн, их долгих бесед. Она, конечно, будет огорчена, но лучше огорчить ее сейчас, чем дать волю чувству,— вот тогда-то и возникнут сложности. К тому же, напомнил себе Дэвид, ему не следует налагать на себя новые семейные путы.

Работа — вот что важно. Важнее, чем что бы то ни было. Хотя похоже, что она важна лишь для него одного и ни для кого больше.

Дэвид не видел Шарн несколько недель, обходил стороной те места, где они могли встретиться.

Он зарылся в статьи и статистические данные по экономическим проблемам разоружения.

Советское правительство заявило, что оно не будет прибегать к оружию массового уничтожения, если не произойдет нападения извне. Оно поддерживало движение за всеобщее и полное разоружение, в том числе и требование прекращения всех испытаний ядерного оружия.

Но как вызывающе звучали заявления американских военных властей! Они явно были против налаживания отношений, они шли на риск развязывания новой мировой войны, угрожающей всеобщим уничтожением.

Дэвиду хотелось крикнуть заокеанским поджигателям войны: «Но земля вертится! Вертится испокон веков, вы глупцы!»

Однажды вечером, когда он, распугивая голубей и что-то рассеянно насвистывая, спускался по ступенькам библиотеки, его догнала Шарн.

— В чем дело, Дэвид? — спросила она, запыхавшись.— Я чем-то вас обидела?

— Я оперяюсь,— коротко ответил он на ходу.

Она посмотрела ему вслед обиженно и недоуменно.

Неделю спустя к нему заглянула Мифф, и Дэвид догадался, что Шарн поведала ей о его странном поведении.

— Что с тобой происходит? — спросила Мифф, обеспокоенная его видом: Дэвид похудел, в нем не было прежней подтянутости.— Целый век к нам не заходил... Да и Шарн говорит, что ты дал ей отставку.

— Я был занят,— хмуро ответил он.

Мифф бросила взгляд на рукописи, громоздившиеся на письменном столе и на шкафчике рядом.

— Это не причина для того, чтобы запираться в духоте,— сказала она.— Очень жаль, если ты думаешь, что надо жить отшельником.

Он не мог признаться ей в своем бесславном поражении в той партизанской войне, которую вел с прессой. К тому же его угнетало, что он не может зарабатывать себе на жизнь журналистской работой.

— Видишь ли,— его вдруг осенила мысль, как пресечь ее докучливые вопросы,— я хочу заняться книгой. Все эти статьи,— он посмотрел на отвергнутые рукописи,— ведь можно объединить в книгу. Надо только над ними еще немного поработать, сократить. Они от этого лишь выиграют.

Мифф выслушала это сообщение с некоторым недоверием.

— Как бы там ни было, папа, но я действительно беспокоюсь за тебя,— сказала она.— Скоро у меня опять прибавление семейства... и мне хотелось бы, чтобы ты иногда к нам заглядывал.

— Дорогая,— он обнял ее,— я не хочу беспокоить тебя. Сам как-нибудь выпутаюсь. Мои дела не должны мешать твоему счастью.

Именно поэтому, сказал он себе, когда она ушла, он не признается ей, что не может позволить себе писать книгу, которая неизвестно когда будет опубликована. Ему не на что писать эту книгу: те небольшие деньги, которые у него были, уже кончились.

Мифф ужасно расстроится, он это знал. И он никогда не попросит у нее в долг, поскольку у него нет никаких надежд вернуть этот долг. Они с Биллом купили дом на ее долю от «Элуеры», и теперь у них уйма расходов: выплата налогов, дети и взносы в различные организации, с которыми они связаны. Нет, он даже подумать не мог о том, чтобы еще увеличить расходы Мифф.

Нейл? Гордость не позволяла ему обратиться к Нейлу за «финансовой помощью». Со времени женитьбы Нейл ни разу не подумал о том, чтобы вернуть отцу хоть часть той суммы, которую Дэвид одолжил ему. И с семейством Мифф Нейл тоже не поддерживал отношений. Слишком занят своей медициной и карьерой, решил Дэвид.

Однако статьями он денег не заработает. Над этой истиной следовало поразмыслить, от нее никуда не уйдешь.

Дэвид отдавал себе отчет в том, что потерпел поражение, не выполнил поставленной перед собой задачи. Он не зажег сограждан своей энергией, не поднял на борьбу за великое дело.

Подавленный и пристыженный, он не шел к Мифф, не ходил больше в библиотеку, страшась встретить Шарп или кого-нибудь из знакомых. Каждое утро, просыпаясь, он с тоской в сердце думал о том, что начинается еще один пустой день, за который он не напишет ни строчки, а до вечера пробродит по окраинным улицам — лишь бы устать до изнеможения и хоть ненадолго забыться сном.

Он перестал заботиться о своей внешности: не все ли равно, какая на нем рубашка, чистая или грязная, и давно ли он стригся? Поймав случайно свое отражение в витрине магазина, он с трудом узнавал себя: сутулый, плохо одетый мужчина. Ботинки он изредка чистил, но они совсем износились, подошвы разлезлись от мокрых тротуаров, носки на пятках прохудились. Дэвид со страхом сообразил, что даже не может позволить себе купить ботинки и носки. Его банковский счет иссяк, а за два года беспрерывной работы он получил всего лишь несколько фунтов; их елеле хватало на еду, бумагу и табак.

Когда миссис Баннинг стала уклончиво отвечать на просьбы об отсрочке платы за квартиру, он научился пользоваться ломбардом. Клюшки для гольфа, часы, радио перекочевали в ломбард, дабы умиротворить миссис Баннинг. До последнего времени он был уверен, что всегда сумеет заработать какой-нибудь занимательной статьей или рассказом, послав их в один из журналов, где хорошо платят. Однако теперь и это не удавалось. Либо он разучился писать такие рассказы, либо отпугивала фамилия автора.

Так или иначе, дольше себя обманывать было нельзя: он не мог больше зарабатывать себе на жизнь журналистикой. Что же делать?

«Вот я и нищий,— заключил он, плохо соображая, куда идет и почему он вообще бродит ночью по улицам.— Вот как бывает, когда у человека нет работы. И впереди полная безнадежность. И стыд...»

А он-то так верил в «здравый смысл простого человека»! Теперь он понял, что «здравый смысл простого человека» — всего-навсего лишь ходячий софизм.

Сколько Дэвид ни пытался, он не мог объяснить себе невежества и апатии, которыми отгородилось от жизни большинство людей. Мрачные мысли овладевали им. Стоит ли вообще спасать от уничтожения это слепое стадо? Может, и правы скептики, говоря, что люди испугаются только тогда, когда в небе повиснет грибообразное облако и когда бомба упадет на их собственные крыши. Но ведь тогда уже будет слишком поздно!..

Последнее, что осталось у Дэвида, была машинка. Он не ожидал, что расставаться с нею будет так мучительно — словно он терял старого, преданного друга. Но что делать? Пришел срок платить за комнату, и он в отчаянии отнес машинку к скупщику. Последние остатки веры в себя и в свое призвание, желание вернуться к журналистской работе ушли вместе с ней.

Весь день Дэвид провалялся в постели, стараясь не смотреть на то место, где стояла машинка. Он так привык к ней, самый вид ее действовал на него успокаивающе. Нервы сдали — у него не было ни сил, ни желания продолжать борьбу. К вечеру следующего дня он с трудом заставил себя выйти глотнуть свежего воздуха и что-нибудь поесть.

Шел дождь. Дэвида познабливало. Он забрел в кабачок, залпом выпил кружку пива, отчего ему стало немного лучше, принялся за вторую, но к горлу вдруг подкатила тошнота. Дэвид успел выбежать на улицу, и его стошнило в канаву. Потом, пошатываясь, он дотащился до небольшого парка и повалился на траву. Там он и пролежал до поздней ночи,

пока полицейский, обходя парк, не направил на него лучик фонаря и не посоветовал убраться подобру-поздорову во избежание неприятностей.

Дэвид в оцепенении еле выговорил:

— Спасибо, констебль...

Он с трудом поднялся на ноги и побрел прочь, усмехаясь про себя: хотелось ему сказать полицейскому, что он и так уже по уши в неприятностях и не знает, как из них выпутаться.

Хорошо бы где-нибудь поесть, думал он, тащась под дождем. Но вокруг была темень, он никак не мог выйти на освещенную улицу с магазинами и кафе. Потом слабость одолела его, и он опять тяжело опустился на землю под деревом. Бог знает сколько времени он там пролежал, пока не проснулся, промокший и окоченевший. Проснулся от резких заводских гудков и по ним догадался, что уже утро. Откуда-то со стороны города нарастал шум транспорта. Ноги не гнулись, едва он пошевелился, в спину вступила острая боль. Он с трудом поднялся, голова качалась над плечами, точно воздушный шар. Дэвид еле различал дорогу.

«Дожил! — зло попрекнул он себя.— Валяюсь под деревом, как старый бродяга».

В голове была лишь одна мысль: скорее добраться до своей комнаты и сбросить мокрую одежду. Но он никак не мог до нее добраться — все шел и шел и никак не мог дойти. Дышать было трудно, он спотыкался, то и дело останавливался, тщетно борясь с подступавшим головокружением. Но вот, наконец, и старый побеленный домик — он узнал его, услышал пронзительный крик Перси: напряжение отпустило. Дэвид вошел в свою комнатку, сбросил промокшую, грязную одежду и повалился на кровать, натянув на себя одеяло. Его тряс озноб.

Через два дня в комнату влетел Чезаре. Миссис Баннинг сказала ему, что Ивенс, как ей кажется, заболел: не показывается из комнаты, и она слышит, что он «так кашляет, как будто вот-вот разорвется, и все что-то вскрикивает».

— Si, si[1],— сказал Чезаре.— Иду смотреть, что такое.

И поглядев, вынес решение:

— Тут без доктора не обойдешься.

Но Дэвид и слышать не хотел о докторе.

— Я поправлюсь,— с трудом произнес он.— Похоже, простудился... грипп... Вот согреюсь и отдохну.

Чезаре знал: зачастую за отказом позвать доктора скрывается страх перед полицией, и потому взял все заботы о больном на себя. Он ухаживал за своим соседом, мыл его, кормил, давал лекарства и с тревогой ждал, когда исчезнут симптомы болезни. Но после того, как его пациент впал в беспамятство, он решил все же послать за доктором. Однако ночью Дэвид исчез.

Глава VII

Что привело его к зданию «Курьера»? Дэвид помнил только, как он лежал ослабевший, с тяжелой головой и вдруг его охватило нестерпимое желание куда-то пойти, что-то сделать. Ему казалось, что он вот-вот задохнется в маленькой тесной комнатушке, она словно сдавила его тисками. Дэвид чувствовал, как уходят последние его силы. Если он сейчас не вырвется на свежий воздух, сознание совсем угаснет, решил он, и, беспомощный и безгласный, он будет лежать тут, пока его не увезут в морг или в сумасшедший дом. Эта мысль заставила его натянуть на себя одежду, ботинки, надеть старое пальто и шляпу и выбраться на улицу

[1] Да, да *(итал.)*.

Дэвид брел, не ведая куда. По обе стороны темных улиц поднимались высокие стены магазинов и учреждений. Свернув за угол, он споткнулся о ступеньки подъезда квадратного здания, белевшего в ночи, и опустился на них. Силы оставили его, от слабости его подташнивало. Когда спазм отпустил, Дэвид отодвинулся подальше в тень, чтобы еще немного передохнуть.

Он сидел, сжавшись, обхватив руками колени. В голове немного прояснилось, и он увидел ступеньки, на которых сидел, двери наверху, распахивавшиеся в освещенный холл. Все было до странности знакомым. Где-то глухо гудели машины — он чувствовал их вибрацию. И вдруг Дэвид все понял — и вскочил на ноги.

«Курьер», «Экономический еженедельник» — прочел он сверкавшие в туманной мгле гордые слова.

Что же привело его сюда? Захотелось полюбоваться былым своим величием? Или, как убийца, он вернулся на место собственного преступления? А может быть, он жаждал уверенности — и только здесь она могла прийти к нему,— уверенности, что он преодолеет неудачу и добьется успеха, большего успеха, нежели тот, каким был для него когда-то «Курьер»?

Да, теперь тут многое переменилось, он знал об этом. С тех пор как он уволился, газета перешла на ежедневный утренний выпуск. И тихие вечерние часы ушли в прошлое: теперь здание пульсировало день и ночь, заряженное энергией людей и машин. Кончала работать дневная смена, заступала ночная.

Словно в кошмарном сне перед Дэвидом то и дело проносились какие-то люди, взбегали вверх по ступенькам, толкали качающуюся дверь, и их, словно пчел, поглощал гудящий улей.

— Кого я вижу! Мистер Ивенс...— пропел у него над ухом женский голос.

Дэвид отшатнулся: ему не хотелось, чтобы кто-то узнал его. Но незнакомка уже стояла рядом.

— Да вы больны! — сказала она, схватив его за руку.

Дэвид вырвался, шагнул в тяжелую мглу, в ветер и дождь. Скорее скрыться, уйти от нее.

— Я просто пьян...— пробормотал он. И пошатнулся.

Она поддержала его.

— У меня тут машина,— поспешно сказала она.— Я отвезу вас...

Дэвид понял только, что его волокут к машине, втискивают внутрь, но тут же снова впал в беспамятство.

Женщина за рулем отвела взгляд от дороги и посмотрела на бессильно привалившегося к ней Дэвида. Что случилось с Дэвидом Ивенсом? Почему у него такой изможденный вид, словно он голодает и болен? — спрашивала она себя. Он еле дышит. Нет, он не пьян, но ужасно грязный, шляпа давно потеряла форму, он ее нахлобучил на самые уши, и от нее шел пар — в машине было тепло.

Что ей теперь с ним делать? Где он живет? Куда его везти? Она знала, что жена его умерла, а дом пошел на слом. Если он сейчас не придет в себя и не скажет ей, куда ехать, она заберет его к себе, заставит выпить рюмку бренди и чего-нибудь съесть, может быть, тогда он что-нибудь объяснит.

Кое о чем она слышала: будто он увлекся сумасшедшими проектами преобразования мира, кто-то видел, как он ходил по городу с этими бездельниками. Она не верила сплетням, он остался у нее в памяти таким, каким она видела его в тот вечер, когда он сказал ей, что уходит из «Курьера». Именно ей, и никому другому! Совершенно случайно она обнаружила потом, что узнала об этом даже прежде, чем Клод Мойл.

Для нее это оказалось как нельзя кстати: его увольнение открыло ей дорогу в «Курьере» и в приложении — журнале для девушек. Когда вскоре после Ивенса ушла и Колючка, мисс Мэрфи заняла ее место. Клод нажал на все кнопки, и дело было улажено. Она доказала, что может быть хорошей журналисткой, хотя Ивенс почти впрямую заявил ей тогда, что она никуда не годится.

Он был очень суров с нею, когда она начала работать в газете. Сколько воды утекло с тех пор! Но она помнит, как он исчеркал ее статью вдоль и поперек, швырнул на пол и сказал заведующему персоналом: «Какого черта вы ее держите?»

Мисс Колючка самолично пожаловалась Ивенсу на то, что ей насильно подсунули «эту рыжую сексбомбу». Ну и задали же они ей жару вдвоем, вспоминала Джэн. И все же она питала к Ивенсу необычайное уважение и работала, как одержимая, лишь бы он похвалил ее. Она с обожанием смотрела на него, подтянутого, мужественного, восхищалась, как легко он управлялся со всеми делами и будто радовался им — улыбка всегда таилась в глубине его зорких глаз, в уголках четко очерченных губ. Он игнорировал все ее попытки привлечь его внимание, догадываясь, быть может, о том, что она предприняла, чтобы попасть в его газету, и презирая ее за это.

— Мистер Ивенс! — заговорила она, чтобы разбудить его.— Вам получше?

Он шевельнулся, застонал.

— Проснитесь,— громко сказала Джэн.— Мы уже подъезжаем. Я везу вас к себе, отдохнете немного.

— Куда, куда? — вздрогнул Дэвид, силясь сбросить с себя оцепенение.

Поставив машину неподалеку от дома, Джэн решительно встряхнула его.

— Пошли! — сказала она и выволокла его из машины.

Он кое-как шел. Она подвела его к дому, отперла дверь. На пороге комнаты он споткнулся. Она подтащила его к дивану и заставила лечь. А когда зажгла свет, испугалась: он был похож на привидение — спутанные волосы, серое лицо на желтых шелковых подушках. Прежде всего бренди, решила она.

Достав бутылку и рюмку из бара, она налила бренди и поднесла к его губам. Он закашлялся, но она терпеливо и осторожно вливала в него жидкость. Наконец черты его лица смягчились. Она видела, как порозовели похудевшие небритые щеки, как зачастило, а потом стало ровным дыхание. Еще немного — и он открыл глаза: как раз когда она склонилась над ним. Он смотрел на нее невидящим взглядом. Но сознание постепенно возвращалось. Он сел.

— Что такое? Где я? — спросил он слабым голосом.

— Видимо, у вас был обморок,— объяснила Джэн.— Послать за доктором?

— Нет, нет! — поспешил ответить обеспокоенный и удивленный Дэвид.— Все пройдет. Я просто устал.

— Тогда ложитесь,— мягко сказала Джэн.— Сейчас я сделаю вам кофе.

Он снова опустился на подушки. Ему уже было все равно, где он находится и кто эта женщина. Лишь бы лежать на этой удобной кушетке, а на остальное — наплевать.

Джэн вернулась с подносом, на котором стояли чашки с дымящимся кофе и тарелка с гренками.

— Не угодно ли, мистер Ивенс?

— Кто вы? — спросил Дэвид.

Она подкатила столик с подносом к дивану, придвинула табурет.

— Как, вы даже не догадываетесь? — поддразнила она, со смешком передавая ему чашку кофе.

— Кажется, я знаю вас,— нерешительно сказал он.— Но кто вы?

— Никогда не забуду нашу последнюю встречу! — продолжала она, смущая его еще больше.— Ну-ну, ешьте гренки! Я тоже голодная. Сумасшедший был день, не успела пообедать.

Она потянулась за гренком, и свет из-под абажура позади нее заиграл на золотисто-рыжих волосах.

— Вспомнил! — слабо воскликнул Дэвид.— Вы та девушка, что влетела ко мне в кабинет в тот вечер, когда я ушел из «Курьера»!

— Она самая,— подтвердила Джэн, жуя гренок.— И, по-моему, вы ужасно грубо со мной обошлись.

Ей хотелось поддразнить его, рассказать о «тайной страсти», которую она питала к нему в первые, трудные дни работы в газете, но сейчас он был так непохож на прежнего Дэвида Ивенса, что она промолчала. Напротив, она прониклась к нему сочувствием — таким растерянным и подавленным он выглядел. К тому же он был слишком слаб, чтобы продолжать разговор.

— Сегодня я вам ничего больше не скажу,— поспешила заявить она.— Пейте кофе и укладывайтесь спать на этом вот диване. Мне тоже пора на покой.

Она взяла чашки и поднос, отметив, что он съел почти все гренки.

— Уборная в конце коридора. Если вы в силах, можете принять горячую ванну. Спокойной ночи — и не волнуйтесь, что вы здесь остались. Я сама себе хозяйка. Поступаю так, как мне нравится. А утром поговорим...

Дэвид слышал, как она заперла входную дверь, задвинула засов. Он пошел в уборную и, вернувшись, обнаружил на стуле чистую пижаму. Слишком велико было искушение сбросить с себя грязную, промокшую одежду, встать под горячий душ и натянуть чистую пижаму. Хоть стыдно было ему принимать милости от девушки, к которой он так плохо отнесся — теперь он все вспомнил,— но Дэвид решил воспользоваться ее гостеприимством. Отдохнуть и выспаться — больше он ни о чем не мог сейчас думать.

Снимая перед зеркалом косметику с помощью душистого жидкого крема и розовато-лиловой шелковой бумаги, Джэн слышала, как ее гость проследовал в ванную. Шум душа засвидетельствовал, что он моется. Хорошо!

Посмеиваясь, немного взволнованная, она раздумывала над этой неожиданной встречей. Теперь в ее власти свести с Дэвидом Ивенсом счеты. Но, видно, он в беде, и ей стало жаль его... Никакого другого чувства она не испытывала. Однако если он примет ее дружеское участие... если она сумеет немного подкормить его, прилично одеть, найдет ему работу и он снова обретет уверенность в себе, то, может быть... кто знает... может быть, он ей снова понравится. А она ему...

Занятная перспектива! Джэн распустила волосы. Гладкими волнами они упали ей на плечи. Рыжее золото! Вся ее сила, все обаяние — в этой копне волос. Когда она была помоложе, они и вправду сияли золотым блеском, а теперь этот блеск ей довольно дорого обходится, однако стоит того: они ей неплохо служат, когда ей кто-то бывает нужен по деловым или иным соображениям.

Ее любовники, казалось Джэн, и не догадывались, что под этим «рыжим колдовством» кроется цепкий, настойчивый ум. И вовсе не такая уж страстная натура, как они ожидали. Ну да, она, конечно, гордилась своей рыжей копной и научилась ее использовать. Она давно задумала добиться независимости и обеспеченной жизни. Безусловно, тут много сде-

лал Клод: дал ей работу в «Курьере» и в приложении «Для вас, девушки». Но теперь-то этот журнальчик скорее принадлежал ей, чем ему.

Ко всему прочему, он сейчас за океаном, и они давно уже не верны друг другу.

Сняв косметику, Джэн принялась рассматривать себя в зеркало. Курносая, круглолицая и не такая уж молодая — тридцать пять. Только рыжая грива да зеленые глаза — зеленые, как у кошки ночью,— вот и все ее оружие.

— Джэн, милочка,— вдруг объявила она себе,— это же потрясающе — стащить у Ивенса его старье, и пусть он тут сидит, как под арестом. А завтра вечером я принесу ему все новое...

Надо надеяться, он не рассердится, поймет, что она просто хочет помочь ему снова обрести то высокомерное превосходство, с каким он относился когда-то к неумелым девицам. Простит ли он ее? Впрочем, это не важно. Либо она выиграет, либо проиграет.

И все-таки она поволновалась, стоя под дверью и прислушиваясь, как беспокойно ворочался Дэвид, пока не заснул. Тогда она подкралась к стулу, на котором он развесил свой промокший пиджак, несвежую рубашку, брюки и ветхий серый свитер. Бесшумно ступая босыми ногами, она сграбастала их и вернулась к себе.

Там она засунула все в чемодан и задвинула подальше под кровать, а сама свернулась калачиком, довольная, как нашкодивший мальчишка.

Глава VIII

Дэвид проснулся от звонкого смеха, чей-то голос, словно молния, прорезал тяжелую сонную темень.

— Хэлло, проснитесь! Пора завтракать!

Возле него маячило странное видение — женщина в золотых драконах. Может, он еще спит? И ему снится сон? Он сел, кашляя и сморкаясь, комкая несвежий платок.

— Ну-ка, держите! — прозвучал где-то в отдалении голос, и к нему полетела белая салфетка.

Видение померкло, потом снова возникло, и тогда он уже отчетливо разглядел драконов, пляшущих на черном халате, и женское лицо в пламени рыжих волос. Он все вспомнил и невольно провел рукой по небритому подбородку.

— Боже мой...— запинаясь, произнес он,— простите... Не знаю, что и сказать...

— Молчите! — весело ответила она.— Не надо ничего объяснять. Больной, под таким дождем. Я и пса подобрала бы, если бы увидела, что он болен.

— А я и есть больной пес.— Губы Дэвида дрогнули в усмешке.

— Чепуха! — Она взяла с подноса на столике чашку с чаем и протянула ему.— У вас грипп или простуда. Одному господу богу известно, с чего это вы вдруг вздумали бродить по такой погоде. Пока что вам не лучше, а потому оставайтесь-ка здесь, отдохните денек-другой. Мой доктор утверждает, что лучшее лечение при гриппе — это отдых и сон.

Себе она тоже налила чашку чая и взяла хрустящую, поджаристую булочку с тарелки, которую поставила возле него.

— Вы очень добры,— сказал Дэвид,— но мне надо идти. Я только...— Приступ кашля заставил его смолкнуть.

— Ни в коем случае,— твердо заявила Джэн.— Уйду сейчас я, и вся квартира останется в вашем распоряжении. Вот тут, на столике, апельсиновый сок, булочки, сыр и мед, чтобы вы не умерли с голоду, хоть это и не лучшая еда для больного.

— Нет, право,— запротестовал Дэвид,— к чему вам столько хлопот!

— Прошу не спорить! — Она приложила руку к его лбу — жестом с рекламных плакатов аспирина.— Пересядьте-ка на минутку на стул,— добавила она,— хочу устроить вас поудобнее.

Ноги у Дэвида подгибались, когда он, завернувшись в плед, шагнул к стулу. Джэн откинула спинку дивана — теперь это была широкая, удобная постель.

— Видите, как это может быть кстати, когда кто-нибудь из моих друзей остается ночевать,— болтала Джэн.— Ну вот и готово.— Она взбила подушки.— Укладывайтесь, мистер Ивенс. И ни слова больше.

— Черт побери,— удрученно пробормотал он,— и чего вы обо мне так хлопочете? Нет, право...

— Я всегда делаю только то, что мне нравится,— заявила Джэн. Этот коварный ход был рассчитан на то, чтобы подавить его сопротивление.— А в данный момент мне нравится вами помыкать.

Еще с минуту китайский халат порхал где-то возле него, затем он услышал шлепанье ее туфелек, и комната опустела: ни драконов, ни пламенеющих волос.

Спустя минуту-другую он услышал веселый голос:

— До скорого! И не делайте глупостей. Я вас запру — убежать не удастся!

Она мелькнула в дверях комнаты — нарядная, в отлично сшитом костюме, в маленькой зеленой шляпке. И тут же исчезла. Потом щелкнул ключ в замке, и по ступенькам крыльца простучали легкие каблучки.

Дэвид почувствовал облегчение: ее присутствие тревожило и будоражило его, а он был так слаб и беспомощен. Он улегся поудобнее в мягкой, теплой постели, и на него снизошли тишина и покой. Он то дремал, то погружался в сон, а проснувшись, пил сок или воду, чтобы смочить пересохший рот и утолить жажду.

К вечеру голова его прояснилась. Он с интересом огляделся: два больших удобных кресла с желтыми шелковыми подушками, зеленый ковер, на столике пишущая машинка, листы бумаги, сбоку, на полу — стопки журналов в ярких обложках; книжные полки забиты книгами; бутылка бренди и стаканы в баре напомнили ему о вчерашнем вечере; маленький камин с включенным радиатором, а на каминной полке застыли в причудливом танце маленькие стеклянные и фарфоровые зверьки. И еще выше, на стене, большая картина маслом — нагая женщина с пылающими волосами.

«Моя хозяйка, вне всякого сомнения». Дэвид улыбнулся: смешная история!

Он отметил грубые, размашистые мазки и увидел еще две такие же картины на другой стене — абстрактная рыже-красная мазня. Обозрев все это, Дэвид удовлетворенно откинулся на подушки, решив, что в этой уютной, пестрой комнате он выглядит не более странно, чем причудливые фигурки на каминной полке. И отчетливо представил себе ее хозяйку: деловую, чуждую условностей, веселую и дерзкую особу.

Почувствовав себя бодрее, Дэвид встал с постели и прошелся по комнате, радуясь, что исчезла противная дрожь в ногах. Скоро вернется Джэн, и ему захотелось побриться и привести себя в божеский вид к ее приходу. В ванной, увидев себя в зеркале, он испугался. Да еще эта невообразимая пижама — он только сейчас заметил, какого она цвета: ярко-оранжевая, как апельсин.

Дэвид принял горячий душ и побрился, затем стал искать свою одежду. Какая бы она ни была, все-таки он будет выглядеть более пристойно. Но ни рубашки, ни свитера, ни брюк, ни пиджака нигде не было. Он решил, что Джэн развесила их посушить, и, завернувшись в полотен-

це, обыскал кухню, заглянул в шкаф в коридоре и даже в спальню Джэн, которую чуть ли не от стены до стены занимала широченная кровать под зеленым покрывалом. Его одежда таинственно исчезла.

Ничего другого не оставалось, как снова натянуть на себя нелепый рыжий балахон.

Он сидел в кресле, завернувшись в плед, когда услышал звяканье ключа в замке. Пахнув холодом зимнего вечера, в комнату вихрем влетела Джэн.

— Вот как! — воскликнула она.— Пациент становится буйным.

— Уже пора,— улыбнулся он: Джэн была явно недовольна тем, что он поднялся с постели.

— Я еще отругаю вас,— заявила она, освобождаясь от свертков и сбрасывая с ног туфли.— Но сначала я должна вылезти из всех этих ужасных приспособлений. Нет, каких только не принимаешь мук, чтобы выглядеть элегантной! Идешь как в футляре, да еще на этих проклятых шпильках. Кроме шуток. И я толстею, черт побери!

Она швырнула шляпку и в одних чулках потопала в спальню снимать костюм, который делал ее такой стройной. Через несколько минут, когда она выпорхнула в гостиную, на ней был китайский халат с золотыми драконами, распростертыми на черном шелке, и золотые сандалии на босу ногу.

— Глотнем немножко? — спросила она, поворачиваясь к бару.— Мне — виски, австралийского, если вы не против.

— Не против,— без особого энтузиазма сказал Дэвид.

— А может, хотите шерри?

— Лучше виски.

Она достала бутылку и стаканчики и начала наливать.

— Говорите сколько. Я пью неразбавленное.

Дэвид взял протянутый стакан, плеснул туда воды из кувшина, чокнулся с Джэн.

— До дна! — весело буркнула она и выпила стоя.— Уф, вот так-то оно лучше! — вздохнула Джэн и плюхнулась в кресло.— Устала, как черт. Ну и денек!

— Тяжелый? — Дэвид был полон вежливого сочувствия.

— К вашему сведению, мистер Ивенс, на мне теперь весь женский отдел «Курьера»,— весело бросила Джэн. Она взяла сигарету из пачки с подставки возле кресла, потом пододвинула пачку Дэвиду.— И журнал «Для вас, девушки» — тоже.— Она щелкнула зажигалкой, передала ее Дэвиду и затянулась сигаретой, окутав себя завесой дыма.— Ну да, Клод Мойл одолжил мне денег для начала, когда я задумала издавать журнал. Но вообще-то это мое собственное детище. Для денег даю рекламу, чтобы не прогореть, а все материалы пишу сама — почти все. И гранки тоже сама читаю и хожу в типографию.

— Ничего себе работка!

— Да, хватает. Но мне нравится, люблю делать дело. И хочу что-то значить — в меру своих возможностей. Предпочитаю зарабатывать деньги тем, что доставляет мне удовольствие.

— Кто не предпочтет!

— Вот и вся история моего успеха,— она лукаво улыбнулась,— несмотря на ваши прогнозы, что я никогда ничего не добьюсь в журналистике.

— Значит, я ошибся.

Она кивнула, не замечая его сдержанного тона.

— Никогда вам этого не прощу! — В глазах ее блеснула затаенная месть.— Но вы поступились бóльшим, чем то, чего добилась я и вообще когда-либо добьюсь. Что вас заставило?

Она налила себе еще и добавила виски в его стакан.

— Надеялся сделать кое-что серьезное,— медленно проговорил он, разглядывая прозрачную янтарную жидкость.

— Например? — Джэн поудобнее уселась в кресле, подобрав под себя ноги и не сводя с него глаз.

— Чтобы люди поняли, что надо бороться за... мир.

— Вот чудак! — Она насмешливо рассмеялась.— И топчетесь с вашей великой идеей на одном месте?

— Я бы не сказал,— возразил Дэвид.— Просто идея настолько велика, что мне не по силам. Не тяну, вот и все.

— Значит, спасовали?.. — Джэн резко повернулась, нетерпеливым жестом загасила сигарету.— И не стыдно вам? Такой талантливый человек и...

— ...до чего докатился,— договорил за нее Дэвид.

— Я не то хотела сказать,— возразила она.— Позволил себе потерпеть поражение — вот что я хотела сказать.— Она помедлила в нерешительности: терзать его дальше или пощадить? — Знаете ли, Дэвид,— мягко продолжала она, решив, что лучше ей залучить его в свои сети, нежели восстанавливать против себя,— знаете, я вас просто боготворила, когда пришла в «Курьер» и увидела, как вы работаете. Считала вас гением и тому подобное. А вы на меня и глядеть не хотели. Видно, думали: вот пробивная девица, которая умеет устраиваться в жизни. Собственно, вы были недалеки от истины. И все-таки что-то в вас притягивало меня. Может быть, ваша честность. И уж конечно сила, уверенность. Не понимаю, как вы могли бросить «Курьер» и дойти...

— Благодарю вас, мисс Мэрфи.— По губам Дэвида пробежала легкая усмешка.— Очень вдохновляющий разговор! — Он глотнул виски.— Хотя ваши комплименты вряд ли можно отнести к моей персоне.

Он решительно откинул плед, и перед Джэн предстала нелепая фигура в оранжевой пижаме. Джэн чуть не задохнулась от хохота. Засмеялся и Дэвид.

— Если вы вернете мне мои штаны, может быть, я смогу заняться делом, за которое взялся.

— Только не сейчас,— твердо заявила она.— Сейчас я вас накормлю. Я хочу, чтобы вы отдохнули здесь денек-другой.

— Вы очень добры,— смущенно пробормотал он.— Но мне уже лучше, пора отправляться домой.

— Ни в коем случае.— Она поднялась с кресла, отошла к двери.— Вы под домашним арестом. И никуда не денетесь, пока я не куплю вам новую одежду — ваша старая отправлена в мусоропровод.

Джэн приостановилась в дверях, взглянула на него и, радостно хмыкнув, объявила:

— Через пять минут — обед!

Дэвид был в полном замешательстве. В чем дело? Почему эта рыжая красотка так о нем заботится? Ну, допустим, движимая состраданием, она хотела спасти его от дождя и ветра и потому привела к себе. Однако к смущению и благодарности теперь прибавилось и другое: его трогала ее обезоруживающая, беззаботная доброта. Но пора все это кончать.

— Жареный цыпленок с гарниром! — объявила Джэн, вкатывая в гостиную сервированный столик.— Купила по пути домой, а горошек — консервированный. Надеюсь, вы достаточно проголодались и не погнушаетесь таким импровизированным обедом. Я так просто умираю с голоду.

Она разложила по тарелкам цыпленка и горошек.

— И бутылка рислинга — из запасов Клода. Отметим ваше выздоровление!

— Но, Джэн... — Он попытался что-то возразить: нельзя же, чтоб она распоряжалась им по своему усмотрению!

— Рада, что уже не «мисс Мэрфи»,— заметила она.— И не беспокойтесь насчет Клода. Раньше эту квартиру оплачивал он, а теперь я сама оплачиваю, хотя мы по-прежнему добрые друзья. У него тут запас вин, и когда он, случается, обедает, я даю ему его собственное вино.

Джэн никак не могла справиться с пробкой и протянула ему бутылку и штопор.

— Держите, вы это сделаете лучше.

Пробка раскрошилась, когда он ее вытаскивал, и в вине плавали кусочки.

— Пусть себе плавают! — рассмеялась Джэн.— А я-то думала, вы ловкий!

Она выловила кусочки пробки из своего бокала и потянулась к нему. Глаза у нее искрились, как вино в бокале.

— За вас, мой дорогой Дэвид. И за наше знакомство!

— Хорошо бы мне одеться!.. — вздохнул он.

— Не будьте злюкой и не портите обед,— осадила его Джэн и принялась за еду.

Когда он, поставив тарелку себе на колени, последовал ее примеру, она продолжала:

— Если бы я получила заверения, что высокий гость не будет на меня нападать, мы могли бы прийти к некоему соглашению... — Она поперхнулась и закашлялась.— Вот что значит плохое воспитание: говорю с полным ртом! — Она вытерла глаза, откашлялась и продолжала с легким смешком: — ...к соглашению, по которому вы могли бы получить новую пару брюк, чистую рубашку и белье, а также теплый свитер под цвет ваших глаз.

— Это исключается,— сказал Дэвид более жестким тоном, чем того хотел.— Я не могу позволить вам покупать мне одежду, за которую я не сумею расплатиться.

— Сумеете.— Весело посматривая на него, Джэн обгладывала цыплячью ножку.— У меня блестящая идея: я помогу вам, если вы поможете мне.

— Каким образом?

— Расскажу все подробно, когда увижу вашу пустую тарелку.

Дэвид снова энергично взялся за еду, чтобы доставить удовольствие хозяйке. Он вполне вошел в роль почетного гостя, которую она ему предназначила: пил за ее прекрасные глаза, развлекал хозяйку легкой светской беседой. Обедая с дамами, он предпочитал не вести умных разговоров.

Джэн была в восторге: отвечала взрывами смеха, сплетничала об их общих знакомых, острила. На какое-то время оба забыли сложность и странность их отношений.

Но после кофе и сигарет наступило молчание, и с ним вернулись сложности. Джэн разглядывала Дэвида: как он нравился ей когда-то, умный, ироничный. А он смотрел на нее серьезно и грустно, сбросив с себя маску веселости. Это его молчаливое ожидание растрогало ее.

Джэн вскочила с кресла и, извинившись, поспешно вышла из гостиной.

Вернулась она с большим черным портфелем. Плюхнув его на пол возле своего кресла, она извлекла оттуда целый ворох гранок.

— Вот! — воскликнула она.— Это все материалы для следующего номера «Девушек». И сидеть мне сегодня над ними всю ночь, если... если вы мне не поможете, Дэвид. Конечно, не ночью, а завтра, если будете себя хорошо чувствовать...

— С радостью,— не задумываясь, ответил он.— Но...

— Проблемы ваших брюк это не разрешит,— прервала его она.— Вы ведь это хотели сказать? Может, и разрешит... если вы мне дадите передышку: возьмете на некоторое время журнал на себя.

Он рассмеялся — настолько все было шито белыми нитками:

— Организуете мне работу?

— Не совсем так,— возразила Джэн.— Честное слово, я схватила больше, чем могу прожевать: и работа в «Курьере», и этот журнал. Сейчас я в ловушке: тираж падает, денежные дела в жутком состоянии. Мне надо бросать либо журнал, либо работу в «Курьере». Меня это просто бесит: не хочу отдавать ни то, ни другое. Вот если бы мне кто-то немножко помог...

— Хотите убедить меня, что вы действительно нуждаетесь в моей помощи? — усомнился Дэвид.

— Еще как нуждаюсь! Сами увидите, когда возьметесь за дело.— Она бросила взгляд на ворох отпечатанных листов у своих ног.— Господи, как было бы чудесно взвалить все это на вас! К тому же,— она хитро улыбнулась ему,— вы ведь сможете писать тут и о мире — только не слишком всерьез, конечно. Ну, что-нибудь посентиментальнее.

Дэвид рассмеялся.

— Что же тут смешного? — обиделась Джэн.— Журнал «Для вас, девушки» рассчитан и на молоденьких, и на не очень молоденьких. Посмотрите нашу рекламу.

— Ну что же,— сказал Дэвид,— с удовольствием расскажу им, как и для них важен мир.

Глава IX

— Ничего особенного тут нет,— рассмеялась Джэн, глядя на Дэвида, совершенно оцепеневшего при виде разложенных перед ним вещей.— Всего лишь из магазина готового платья. Примеряла на продавца, который меня обслуживал. Очень приятный молодой человек, как раз вашего роста и такой же в плечах. Рубашки две: голубая и белая, бумажная майка и трусы, серый свитер и галстук. Подбирала под глаза. Ботинки, может быть, великоваты, но можно их поменять.

Дэвид рассматривал вещи.

— Вам остается лишь надеть это на себя,— подсказала Джэн.— Выбора у вас все равно нет. И не смотрите на меня так, будто вы сейчас перережете мне глотку.

— И перережу,— улыбнулся Дэвид.— Тем не менее благодарю вас.

— Тогда покончим с разговорами,— решительно заявила Джэн.— Забирайте все это в ванную и одевайтесь.

Дэвид собрал одежду и не без удовольствия отправился в ванную: все-таки приятно будет сбросить с себя эту нелепую пижаму, в которой он похож на клоуна-трагика, и надеть обыкновенный костюм. Во всяком случае, в нем он хоть будет чувствовать себя уверенней.

Твидовый серый костюм, который она ему выбрала, был в самый раз. Он пригладил волосы и состроил гримасу своему отражению в зеркале. Слишком широкий воротник рубашки и яркий галстук напомнили ему, как он был придирчив к своей одежде в былые времена. Но все же до чего приятно чувствовать себя во всем новом и чистом, даже как-то бодрее становишься.

— Вот так-то лучше,— весело прокомментировала Джэн, когда он вернулся в гостиную.— Теперь я узнаю вас, мистер Ивенс.

На столике уже стоял ужин, и Джэн, взяв на себя роль обаятельной хозяйки, обращалась со своим гостем так, словно он нанес ей неожиданный визит и она счастлива принять его у себя в доме. Поев, посмеяв-

шись, покурив и посостязавшись с ним в остроумии, Джэн освободила столик и разложила свои бумаги.

Когда Джэн подробно объяснила, чего она от него хочет, Дэвид понял, что она и вправду приготовила для него нешуточную работу. Она хотела, чтобы он взял на себя редактирование всех материалов для журнала и чтение гранок, а также помогал ей строить номер, располагать статьи и иллюстрации, вести дела с типографией, следить за счетами и распродажей. А она займется рекламой, ответами на письма и финансами в целом, хотя в общем производство журнала перейдет в его руки.

«Ничего себе — взяла меня в оборот»,— подумал Дэвид, улыбаясь. Но нищие не выбирают. И потом — не прикован же он к ней навечно.

Джэн настояла, чтобы он работал в ее квартире. Так ей будет удобнее. Днем квартира в его распоряжении, кроме двух дней в неделю, когда приходит делать уборку женщина. Редакция журнала ютится в тесной, душной комнатушке позади какого-то склада на Флиндерс-лейн— это просто почтовый адрес, не более. Работать там невозможно.

К тому же лучше Дэвиду там не появляться, иначе пойдут всякие шуточки: вот, мол, сотрудничает в «Девушках». Много писать ему не придется — лишь общие заголовки и названия статей, подписи к иллюстрациям и т. д. Конечно, если он захочет, найдется место и для его собственных статей. Но это непременно должно быть что-то милое, девичье. Для Сьюзи, Пегги и Мэй — что-то в этом роде.

Дэвид пробормотал нечто вроде благодарности за оказанную честь. Джэн продолжала: поначалу она устанавливает ему жалованье в восемь фунтов в неделю, однако она надеется набрать побольше рекламных объявлений, и тогда Дэвид перейдет на полную ставку. Он может, если хочет, писать и для других изданий.

Сколь ни смешна была перспектива работать для женского журнала, Дэвид решил, что дареному коню в зубы не смотрят. Тем более, сказал он себе, что он уже в долгу у Джэн за еду и одежду.

— Спасибо, Джэн,— спокойно сказал он.— Я к вашим услугам, сделаю все, что в моих силах. Но сейчас мне надо уйти,— добавил он.— Я должен показаться моей квартирной хозяйке, чтобы она знала, что я еще жив. И Чезаре, моему соседу, тоже. Он так трогательно за мной ухаживал, когда я заболел. Представляете, в каком он там смятении: больной как в воду канул! Скажу им, что некоторое время поживу у друзей, что нашел работу. Но комнату оставлю за собой.

— А вы не сбежите? — подозрительно спросила Джэн.

— Ну что вы!

Дэвид посмотрел на свой костюм.

— Ах, простите меня! — Джэн снова заулыбалась.— Я просто паршивая дрянь. Я и вправду дрянь, Дэвид, вы ведь знаете...

— Вот как?

— И вовсе не такой уж приятный человек — работать со мной не легко. Вы это сами увидите. Хотя, мне кажется, мы поладим. Во всяком случае, пока вам не осточертеют и я, и «Девушки».

Интересно, когда это произойдет? — думал Дэвид, идя потихоньку по направлению к дому своей хозяйки миссис Баннинг. Он с удивлением обнаружил, что идти он может только медленно: он вспотел и еле передвигал ноги.

Удивительная все-таки женщина эта Джэн! И удивительная встреча. Кто бы мог подумать, что их знакомство возобновится таким образом! Он был безгранично благодарен ей за все, что она для него сделала. И все-таки что подвигло ее на такое участие? Что тут кроется? Впрочем, какое это имеет значение? Важно другое: он обязан отблагодарить ее, сделать то, о чем она его попросила.

Кстати, и для него это выход из положения, пусть хоть на время! Он

сможет нормально питаться и оплачивать комнату. Нечего делать вид, что перспектива работы не радует его. Ведь в кармане у него ни цента, нет даже на трамвай. Он вспомнил об этом, присев на скамейку отдохнуть — ноги словно налились свинцом и отказывались повиноваться.

Что ж, начнем все сначала, решил он. И нечего ждать каких-то сногсшибательных результатов. Надо работать тихо и скромно — как один из тех муравьев, о которых ему рассказывала Мифф, получать удовлетворение от самой работы, работать неутомимо, настойчиво, ставить перед собой доступные цели, чтобы достичь главной.

Глава X

— Ага, явились! Наконец-то! — раздался голос миссис Баннинг. Она выскочила во дворик под яркое утреннее солнце: голова в бигуди, пухлые щечки дрожат от любопытства и чувства оскорбленного достоинства.— А мы с Чезаре ужасно перепугались, все гадали, что с вами могло приключиться?!

— Тысяча извинений! — Дэвид кормил Перси остатками бисквита, которые обнаружил у себя в шкафу.— Сейчас я вам все объясню...

— Хорошенькое дело — разыграть с нами такую шутку! — горячилась миссис Баннинг.— Чезаре решил, что у вас белая горячка и, может, вы свалились в реку и утонули. Я хотела вызвать полицию, но он мне не позволил. Подождем, говорит, денек-другой.

— Господи! — воскликнул Дэвид, напугав Перси.— Я и не подозревал, что вы будете так беспокоиться.

Услышав голос Дэвида, прибежал из своего сарайчика Чезаре и сжал его в объятиях.

— Очень рад! Очень рад! Я, Чезаре, очень рад, что ты здоров, compagno[1]!

— Я уж тут начал рассказывать миссис Баннинг,— смущенно объяснил Дэвид,— у меня от этой лихорадки немножко помутился рассудок,— он постучал себя по лбу,— вот я и отправился куда-то... неведомо куда. Конечно, хотел вернуться обратно. Меня увидел друг... забрал к себе домой и заставил целый день пролежать в постели. Вот приодел меня и устроил на работу.

— Хорошо! — засмеялся Чезаре.— И теперь тебе море по колено, si?

— Не совсем, конечно.— Морщинки в уголках рта у Дэвида задрожали в улыбке.— Но вот снова пускаюсь в плаванье...

Он с интересом слушал миссис Баннинг и Чезаре: те болтали о своих делах, словно они не виделись по крайней мере несколько месяцев.

Уничтожив обильный завтрак, приготовленный миссис Баннинг, он поспешил обратно к Джэн, чтобы успеть к девяти.

Приятное чувство, которое вызвала в нем встреча с Чезаре и миссис Баннинг, не оставляло его, пока он разбирался в письмах, счетах, записках на клочках бумаги, которые Джэн разложила для него, размечал верстку и просматривал старые номера «Девушек». Дешевая бумага, плохая печать, не говоря уже о содержании,— впечатление было не из приятных. Но когда вечером в комнату заглянула Джэн, он уже разработал четкий план: журналом он будет заниматься днем, чтобы вечера оставались для чтения и собственной работы.

Джэн сняла шляпку, туфли, закурила сигарету и клубочком свернулась в кресле, приготовившись слушать его. В общем, она одоб-

[1] Товарищ (*итал.*).

ряет все, что он задумал, беззаботно заявила она, только лучше им обсудить это после обеда.

— Но ведь мы начинаем строго деловое сотрудничество,— попробовал возразить Дэвид.

— Строго деловое — это жутко скучно! — Джэн пустила в него колечко дыма.— Не могу я все время быть деловой, Дэвид. Работать я умею, только работаю, когда мне хочется. А сейчас я смертельно устала. Дайте-ка мне чего-нибудь выпить, ну, право, дорогой, не будьте таким деловым.

Она улыбнулась ему в спину, пока он доставал из бара бутылку и стакан. Он поставил их на столик возле нее.

— Еще один стакан, пожалуйста, или я немедленно вас уволю!

Дэвид поставил на столик еще один стакан и пошел на кухню за водой.

— У вас очень упрямая спина,— лениво заметила Джэн, когда он сел напротив.— Но я рада, что вы здесь уже освоились.

— Что это должно означать? — улыбнулся Дэвид, разливая виски.

— Надежду, что вы приспособитесь ко мне и к моим недостаткам.— Джэн медленно потянула виски, настороженно вглядываясь в него.

— Смотря какие недостатки,— отпарировал Дэвид.

— Вот это уже лучше,— удовлетворенно хмыкнула Джэн.— Ну, а теперь говорите, какого вы мнения о «Девушках»?

— Увы, невысокого.— В этом Дэвид не мог слукавить.— Но я просто поражен вашей энергией,— поспешил добавить он.— Непостижимо, как вы справляетесь одна, да к тому же еще при другой работе!

— Это меня и доконало,— призналась Джэн.— Но ведь журнал можно сделать процветающим, Дэвид, хотя, очевидно, вы так не думаете. Ну да, я совсем запуталась, признаюсь, но если вы мне поможете и делом, и советом...

Перед такой лестью не устоит ни один мужчина, подумала Джэн. Мужчины любят, когда у них просят совета.

— Попробую,— пообещал Дэвид.

— Мы с вами сможем выпускать интересный журнал,— добавила Джэн.— Или хотя бы получать от него хорошую прибыль.

Но перспектива их сотрудничества мало волновала Дэвида. Все, что он хотел,— это расплатиться с Джэн и подзаработать на их сделке, чтобы хотя бы выкупить машинку.

Всю следующую неделю он работал над очередным номером, стараясь сделать его позанимательнее. Количество писем в адрес журнала поразило его. Это подтверждало слова Джэн, что журнал для девушек и женщин, которым так и не суждено повзрослеть, может стать очень доходным изданием.

Дэвид восхищался энергией Джэн, одобрял некоторые ее идеи. Работалось им легко. Занятно было наблюдать, с каким удовольствием она играет роль «Джейн Мэрфи» — высшего божества для сотен «одиноких душ» на страничке, отведенной под ответы на письма.

— Нет, вы только послушайте! — говорила она и читала ему отрывок из какого-нибудь письма.

Джэн смеялась над нелепыми и трагическими дилеммами своих корреспонденток, но непременно и очень серьезно отвечала им. Она придумывала разные способы: то разбирала пачку писем и отвечала всем сразу одним и тем же коротким советом, то каждой писала отдельное письмо, полное проникновенных слов и сочувствия. Как бы она ни уставала, каждый вечер Джэн садилась за машинку и отстукивала несколько писем.

— Я не бог весть какой психолог,— весело говорила Джэн,— но немножко участия и здравых советов — это только на пользу делу.

Джэн любила рассказывать, как она затеяла это издание.

— Все было проще простого. Уговорила нескольких агентов по рекламе войти со мной в альянс. Клод — Клод Мойл — одолжил мне небольшую сумму для начала, и «Девушки» пошли в печать... Только вот не так легко это тянуть,— признавалась она, вспоминая все осложнения и препятствия, которые пришлось преодолевать.— Клод укатил в Европу, и осталась я одна-одинешенька, а плата за все растет, счета накапливаются. Если бы не вы, Дэвид, я бы погибла. Вы спасли меня от жутких неприятностей.

— Ну что вы! — Дэвид считал, что он всего лишь привел в порядок финансы и отладил техническую сторону производства.

— Не скромничайте,— удовлетворенно хмыкнула Джэн.— Рекламодатели приносят мне поздравления в связи с последними двумя номерами, и разошлись они значительно лучше...

Дэвид же думал о том, что перед ним открылось широкое поле, где он может сеять семена мира. И он начал их сеять.

Поначалу Джэн не возражала. Однако она нахмурилась, увидев заметку, в которой описывались последствия взрыва атомной бомбы.

— Такие статейки мне не нравятся, Дэвид. Это для девушек не годится,— сердито сказала она.— Владелица и главный редактор журнала — Джейн Мэрфи, не забывайте об этом. Мое слово — закон.

— Прошу прощения, мэм,— покорно ответил Дэвид.— Но я так понял, что мне позволено время от времени упоминать слово «мир», ибо это лучший друг всех девушек на свете. Жду ваших указаний...

Он стоял в позе официанта с блокнотом в руке и карандашом наготове, и Джэн расхохоталась.

— Просто я не хочу пугать девиц,— настаивала она.

— А не лучше ли напугать их немного и тем самым помочь запрещению ядерных испытаний, чем губить их здоровье и способствовать распространению лейкемии?

— Будьте благоразумны! — взмолилась Джэн.— Что скажут мои дельцы? Кто мне даст объявления? Такое мне не простят.

— Ладно, буду помнить,— согласился Дэвид.

Были и другие столкновения и конфликты, но совместная работа и постоянное общение мало-помалу сближали их.

После утомительных часов в пыльной и душной типографии и бесконечных препирательств с пьяным наборщиком Дэвид всегда с удовольствием думал о том, как он вернется в уютную квартирку Джэн и как она сама возвратится вечером из редакции — стремительная, благоухающая дорогими духами. Он сознавал, что ее присутствие приятно ему.

По вечерам он любил за стаканом с виски слушать ее отчет о прошедшем дне и рассказывать о своих делах.

— Как вы думаете, кого я сегодня встретила? — весело воскликнула Джэн во время одной из таких вечерних бесед.— Нашу старую знакомую мисс Колючку. У нее большие события: вышла замуж и выпустила два романа!

Дэвид посмеялся вместе с ней: действительно, потрясающая новость. Он любил слушать переливы ее смеха и часто нарочно смешил ее.

— О, Дэвид, дорогой, это бесподобно! — восклицала она, вознаграждая его за все остроты и колкости.

Это вскользь бросаемое «дорогой» хитро прокралось в их разговоры. Сначала Дэвид не замечал, что это что-либо означает. «Дорогими»

были и два молодых человека, которые наведались как-то вечером, когда они с Джэн разбирали счета.

— О, мои дорогие! — воскликнула Джэн.— Рада вас видеть. Но сегодня у меня деловой вечер. Это Дэвид, мой помощник по журналу. А это Руди, самый замечательный абстрактный художник Австралии. И его друг — Лю Сондерс. Поэт, так ведь, Лю? Оба незаслуженно обойдены признанием.

— Истинная правда,— мрачно подтвердил Руди.— Но я-то вот что хотел узнать: почему ты меня совсем забыла последнее время?

— Отнюдь, дорогой,— запротестовала Джэн.— Просто я... я очень занята, ты же сам видишь.

— Вижу.— Руди размашисто шагал по гостиной — зеленые вельветовые брюки, пылающая всеми красками рубашка навыпуск — и сердито поглядывал на Дэвида.— Я знаю, когда мое присутствие нежелательно,— хмуро заметил он.— Но мы тут затеяли вечеринку в студии, в субботу вечером. И если бы ты могла выкроить время, дорогая...

Он гордо прошествовал к двери, а за ним, подмигнув Джэн и помахав ей рукой, удалился и молодой поэт.

— Он очень славный, этот Руди,— пробормотала Джэн, доставая сигарету,— только в личных отношениях он отнюдь не абстракционист. Надеюсь, вы меня поняли, Дэвид?

— Надеюсь.

Сухость ответа привела ее в восторг.

— Вы прелесть! — Джэн встряхнула головой, откидывая назад волосы.— Но я не позволю ему нам мешать... когда мы заняты.

Встревожил ли Дэвида визит Руди? Гораздо больше его тревожила рыжая копна волос. Он моментально лишался самообладания, как только эти волосы вспыхивали рядом под лучом света, а уж если они случайно касались его щеки, по нему словно проходили магнитные волны.

Это волнение огорчало его — он думал, что оно уже никогда не вернется. Джэн, казалось, не догадывалась ни о чем. Она то беззаботно целовала его, то склонялась над ним так, что он не мог не увидеть в низком вырезе легкого платья ее грудь.

Зачастую под тем или иным предлогом она оставляла его пообедать или провести с ней конец недели. Иногда по пятницам или субботам они отправлялись в ресторан, причем Дэвид настаивал на роли хозяина.

Он выкупил машинку и приобрел новый костюм, убедив себя в том, что это необходимо, чтобы чувствовать себя независимым, когда он обедает с Джэн в ресторане. Ему было приятно повести ее в дорогой ресторан, как когда-то других женщин, и дать на чай официанту.

В таких случаях, словно по уговору, они никогда не вспоминали о делах и заботах, занимавших их днем. Джэн блистала в роли высокочтимой спутницы столь респектабельного мужчины, а он делал все, чтобы она блистала еще больше. Они мило болтали, чувствуя, как их все больше и больше влечет друг к другу. Разговор все чаще обращался к одной и той же теме — к непостижимому таинству отношений между мужчиной и женщиной, к необоримой силе инстинктов. Что это? Почему это определяет всю человеческую жизнь?

— Значит, любовь не имеет с этим ничего общего? — спросил Дэвид.

— Очень мало.— В глазах Джэн вспыхивали и гасли искорки.— Я не эротоманка и не нимфоманка, Дэвид, и все-таки мне скучно жить, если я не чувствую отклика на мое желание...

Что это? Намек? Дэвид не решался даже помыслить об этом. Для нее он скорее умудренный жизнью советчик, а не партнер для любов-

ных утех. У нее другие мужчины — молодые, сильные, ей есть из кого выбрать. Руди, например, или кто-то из тех высокоценимых рекламодателей, с кем она иногда, как она говорила, «уезжала порыбачить».

После этой весьма поучительной беседы, прощаясь с ним возле дома, Джэн вдруг весело объявила:

— Вы совсем пьяны, Дэвид! Может, переночуете у меня на диване?

— Да нет, я не пьян,— запротестовал Дэвид.— Хотя, может быть...

— Что — может быть?

— Может быть, чуть-чуть...— нерешительно закончил он.

Она рассмеялась.

Дэвид и прежде часто спал на диване в гостиной, чтобы с утра они могли вместе поработать над очередным номером журнала. Но сейчас он лежал на диване с открытыми глазами и мучительно раздумывал над признанием Джэн. Неужели она говорила о нем? Или она поднимет его на смех, скажет, что он бог знает что спьяну возомнил?..

Его терзания и сомнения разрешились самым неожиданным образом — перед ним появилась Джэн. Он протянул руки — не призрак ли это? Прохладная гладкость кожи удостоверила ее реальность. Ошеломленный, сгорая от страсти, он дал ей увести себя в спальню.

За утренним кофе Джэн была оживленной и деловой, как обычно, словно ничего не произошло. Дэвид прикатил сервировочный столик на кухню. Она вымыла чашки и тарелки в сверкающей белизной раковине. Сняв с крючка полотенце, Дэвид вытер тарелки, поставил их в китайский шкафчик.

— Какая идиллия! — хихикнула Джэн и отправилась убирать гостиную.

Дэвид, бреясь, слышал гудение пылесоса: Джэн чистила ковер в гостиной, что-то двигала, хлопала хлопушкой — видимо, била мотыльков на занавесках. До него доносилась веселая песенка. Любовь и нежность — щемящая нежность — пронизывали Дэвида. Она сказала, что любит его,—он все время помнил об этом. Неужели это в самом деле правда?

Но почему он должен сомневаться? Не лучше ли поздравить себя с успехом и насладиться неожиданным счастьем? Стоя под душем, под прохладными струями, туго хлеставшими по его поджарому телу, Дэвид чуть ли не пел от радости — впервые за последние годы. Он чувствовал себя бодрым, полным сил.

— Ба! Да ты совсем другой, мой милый! И уже нет мешков под глазами! — восхищенно воскликнула Джэн, когда он вошел в комнату, распространяя вокруг себя травяной запах ее мыла и вновь обретенную уверенность.

Весь день Джэн работала с ним над новым номером журнала и ни разу, ни единым жестом не выдала, что что-то изменилось в их отношениях. Может быть, только была более нетерпелива, чем обычно. Дэвид же, как всегда, сохранял спокойствие и острил. После того, как они обсудили все до последней мелочи, Джэн как бы между прочим объявила:

— Я иду к Руди на вечеринку, так что можешь располагать сегодняшним вечером, как тебе заблагорассудится.

— Благодарю вас, мэм,— пробормотал несколько озадаченный Дэвид.— Очень рад.

— Какая любезность! — фыркнула она и выскочила из комнаты.

Дэвид еще некоторое время приводил в порядок стол, насвистывая «Сердце красавицы».

Джэн не появлялась, поэтому он крикнул ей: «Желаю хорошо повеселиться, дорогая!» — и, захлопнув за собой дверь, сбежал по ступенькам крыльца.

Глава XI

На следующий день Дэвиду не хотелось идти к Джэн, хотя по воскресеньям они обычно работали. Он поболтал часок с Чезаре и миссис Баннинг на солнышке во дворе. Перси, как водится, комментировал их беседу хриплыми репликами. Так приятно было посидеть с добрыми друзьями! Дэвид ничуть не жалел, что пролентяйничал все утро. Потом он почитал и поспал, наслаждаясь редким отдыхом и чувством полной свободы, которого он давно уже не испытывал. И тогда, впервые со времени болезни, он вспомнил о рукописях на своем письменном столе. Тихонько насвистывая себе под нос какую-то песенку, он перебирал и раскладывал исписанные листы, перечитывал их и то вдруг исправлял какое-то слово, то переписывал целый абзац, пока не явился с бутылкой вина Чезаре и не пригласил его к ужину.

В понедельник утром Дэвид засел за работу над верстками, которые Джэн раскидала по столу в своей гостиной. Он терпеливо корпел над ними, как вдруг в полдень в гостиную влетела Джэн.

— Ах, ты здесь! — сухо констатировала она.— Значит, все-таки соизволил явиться?

— Почему же нет? — Дэвид вскинул брови, сдерживая улыбку.

— Но я ждала тебя вчера! — Швырнув шляпку и сбросив туфли, она плюхнулась в кресло, нетерпеливым движением откинула назад волосы, достала из сумочки сигареты и зажигалку. Зажигалка дала осечку, она попробовала еще раз — резко, нетерпеливо — и, выругавшись, швырнула ее в угол.

Дэвид подошел к ней и чиркнул спичкой. Она прикурила, и лицо ее на мгновение скрылось за завесой дыма.

«Она дурнеет, когда не в настроении»,— подумал он.

— Ну,— нетерпеливо бросила она, раздраженная его молчанием,— не кажется ли тебе, что ты должен объяснить свое поведение?

— Отнюдь,— сказал он.

Она еще больше помрачнела, услышав его холодный и твердый голос.

— Это ужасно, Дэвид,— сбивчиво заговорила она.— Ты не должен был так исчезать!.. Я просто измучилась...

Она бросила сигарету в пепельницу и разрыдалась. Потрясенный Дэвид опустился перед ней на колени.

— Не плачь! Ради бога, не плачь, Джэн! Ведь ничего не случилось.

Когда рыдания стихли, Джэн подняла заплаканное лицо.

— Прости,— вздохнула она.— Вот распустила нюни, сама не ожидала. Это просто... Нет, не могу объяснить. Дай мне глотнуть виски, и забудем об этом.

Она высморкалась, промокнула тончайшим платочком краску на ресницах. Дэвид открыл бар и налил ей чистого виски. Джэн пила мелкими глотками, жалобно улыбаясь.

— Ну как, лучше? — спросил он.

Она кивнула. Он сел на ручку кресла, и она приникла к нему, обессиленная этой вспышкой жалости к самой себе. Он нежно гладил ее волосы.

— Ты такой милый, Дэвид,— вздохнула она.— Когда-то давно я была в тебя по уши влюблена. А ты меня ни во что не ставил. И я поклялась расквитаться с тобой. Но вот уж не думала, что буду так страдать от того, что... внушаю тебе отвращение.

— Отвращение?! Господь с тобой!

— Разве нет? — Джэн поморщилась.— Руди — животное. А ты совсем другой.— Она передернула плечами, словно пытаясь стрях-

нуть недобрые мысли о себе.— Не позволяй мне обманывать тебя, мой дорогой.

— Не позволю,— пообещал он.

Это примирение еще больше их сблизило. Внешне ничто не изменилось — разве что Дэвид проводил теперь у нее больше времени. Он жил, словно в каком-то трансе: готовил номера, ходил в типографию, и всюду с ним была ее нежность, сияние ее волос. Теперь он частенько покупал что-нибудь и готовил ужин, чтобы Джэн после утомительной работы и погони за рекламодателями могла полежать на диване и немного отдохнуть.

— Ради чего так изматываться? — уговаривал ее Дэвид.— Ведь все в порядке — тираж растет. А о рекламе я могу договариваться по телефону.

— С журналом в порядке,— соглашалась Джэн.— Благодаря тебе, дорогой. Ты все так хорошо наладил. И все же с рекламодателями должна вести дела я сама. Не забудь — это главное, а все эти женские статейки уже потом. Рекламу упускать нельзя.

Джэн считала себя невероятно деловой женщиной, хотя счета скапливались месяцами и платила она только после нескольких напоминаний. Впрочем, в какой-то степени она и вправду была очень деловой. Во всяком случае, с журналом она управлялась неплохо, а в отношениях с людьми проявляла очень трезвый практицизм.

И в то же время сколько сердечности и бескорыстной доброты дарила она друзьям! Руди и его банда художников, которые вряд ли сумели продать хотя бы одну свою картину, нередко пользовались ее добротой, да в сущности и он, Дэвид, тоже. То, что сделала для него Джэн, не могло быть измерено никакой благодарностью. Она дала ему возможность вновь обрести силы, вернула чувство собственного достоинства. Теперь, когда Дэвид обрел душевное равновесие, когда между ними установились близость и понимание, им было очень хорошо вместе, несмотря на все различие характеров и интересов.

Но шли месяцы, и хотя они с Джэн продолжали согласно работать над журналом и были счастливы, Дэвид все чаще испытывал угрызения совести, что он не говорит Джэн главного, что он предает самого себя и свое дело.

Джэн сердилась, когда он изредка отправлялся переночевать в свою комнатку, чтобы убедить миссис Баннинг, что он не собирается от нее отказываться. Однажды, когда он вернулся утром, Джэн сказала:

— Я в вечном страхе, что ты вдруг покинешь меня, дорогой. А я уже не могу без тебя. И дело не только в журнале. Мне так хорошо с тобой...

— Но когда-то должно же все кончиться.

— Может быть, но пока что...

— Пока что это тебя устраивает!..— рассмеялся он.

— Нет, ты просто ужасен! — Она вырвалась из его объятий.— Иногда ты такой мрачный. Мне кажется, ты первый обнаружишь, что позолота слетела...

А ведь она права, признался себе Дэвид. Он неотступно думал о том, что предал свое дело, терзался, укорял себя. Как-то вскоре после разговора с Джэн, бреясь утром, он услышал донесшуюся откуда-то увертюру к «Тангейзеру». С тех пор песня пилигримов неотступно преследовала его. Он упрекал себя в том, что проводит время в любовных утехах с Джэн, вместо того чтобы, подобно пилигриму, упорно идти к заветной цели. И никак не мог заставить себя порвать с Джэн.

Это не просто увлечение, убеждал он себя. Он стольким ей обязан. Да и этот проклятый журнал: она ведь во всем положилась на него.

И все-таки ясно одно — он не избавится от мучительного чувства недовольства собой, пока не вернется к своему делу.

С тех пор, как он начал работать у Джэн, он лишь однажды видел Мифф. Тогда он постарался уклониться от ответа на вопрос, чем он занимается.

— Да тут одна работа... Не из приятных,— смущенно улыбаясь, сказал он.— Чтобы продержаться, пока я не смогу зарабатывать себе на хлеб статьями.

Мифф знала, что он болел. Об этом ей сказал Чезаре, когда она зашла справиться об отце; она только не знала, в каком состоянии подобрала его Джэн. Он не решился рассказать Мифф об этом и о своем романе с Джэн.

— Шарн говорит, что ты уже давно не ходишь на собрания Совета защиты мира,— сказала Мифф.

— Не хожу.— Дэвид отвел глаза.— Я все забросил, Мифф. И оргкомитет — тоже. Пока я не начну снова работать, мне стыдно смотреть людям в глаза. К тому же я не хочу быть им помехой.

— У каждого бывают такие периоды, отец.— Мифф не сводила с него встревоженных глаз.— Никто не поставит тебе это в вину.

— Я сам себе судья,— горько сказал он.— И пока снова не буду уверен в себе и независим...

Но он уже почти обрел и то, и другое, дело было гораздо сложнее. Он не мог объяснить все Мифф. Про Джэн он еще мог бы ей рассказать. Но только не про то, что он занимается выпуском журнала «Для вас, девушки», что работа эта отнимает у него все время и потому он не ходит на собрания и митинги. Естественно, в оргкомитете поинтересовались бы, что именно он делает. Тут бы все и началось, стоило ему только заикнуться об этом. Шила в мешке не утаишь. Вот бы подняли его на смех: Дэвид Ивенс у Джэн Мэрфи на побегушках, стряпает вместе с ней журнальчик «Для вас, девушки». Это стало бы дежурной шуточкой в пресс-клубе и в каждом баре, где собирается журналистская братия.

Нет, у него не хватит сил на такое признание. Дэвид мучился, терзался. Он то решал подождать еще немного, отсрочить события, то презирал себя за малодушие. И все-таки Дэвид твердо знал: если он не дезертир, если не хочет отступаться от поставленной цели, он должен положить конец своей любовной идиллии.

Догадывалась ли Джэн о его терзаниях? С недавних пор ее отношение к нему изменилось. Она стала замкнутой, раздражительной. И уже не уговаривала его остаться выпить и поболтать. И уже не было счастливых ночей. Они ушли в прошлое.

Глава XII

Дэвид шел из типографии к дому Джэн. Осеннее солнце вызолотило листву на деревьях Фицрой-парка. Над кучками палой листвы вились между деревьев голубоватые дымки. Дэвид остановился, завороженный этими пожелтевшими деревьями, пронизанными солнцем и голубыми дымками, и вдруг с удивлением услышал, что кто-то окликает его по имени. На скамейке сидела пожилая дама. Он подошел к ней.

— Бог мой, мисс Пикетт! — воскликнул он, радуясь, что узнал свою старую, верную союзницу по «Курьеру» — худенькую и неказистую мисс Колючку, как ее все называли.

— Нет, я уже не мисс Пикетт,— сказала она,— а миссис Уильям Ли-Бересфорд.

— Простите! — Дэвид улыбнулся.— Помнится, я что-то слышал, хотя давно уже не читаю светской хроники.

— Так я и поняла.— Она подвинулась, приглашая его сесть рядом, и продолжала своим сухим колючим голосом, который был ему так хорошо знаком.— Про нас сочинили почти поэму. Роман века! Биллу исполнилось восемьдесят, когда мы поженились, да и мне почти столько же. Но нам было все равно — мы были счастливы.

Она вздохнула, задумалась.

— Были? — повторил Дэвид.

— Он умер год назад,— сказала она, возвращаясь к действительности.— А я без него — наполовину мертва.

Только молчанием мог выразить Дэвид свое сочувствие ее глубокому горю. И быть может, ободренная этим молчаливым сочувствием, миссис Ли-Бересфорд продолжала:

— Они не знали, эти сплетники, что когда-то, в далекой юности, мы с Биллом любили друг друга. Но он уехал куда-то на Восток корреспондентом агентства Рейтер, и мы потеряли друг друга.

— Бересфорд! Как же, я помню Ли-Бересфорда! — воскликнул вдруг Дэвид, и в его памяти всплыли телеграммы и репортажи, которые когда-то производили сенсацию.— Отличный журналист!

— Да, да, вы тоже так считаете? — горячо подхватила миссис Бересфорд.— Какое счастье, что я провела с ним хоть этот последний год... Билл говорил,— продолжала она,— если ты хочешь стать популярной, моя дорогая, пиши о пьяницах, проститутках, слабоумных и гомосексуалистах, подбрось десяток неприличных слов и наряду с радостями и горестями героя и героини опиши их естественные отправления. Но я не хочу так писать, сказала я ему. Меня интересуют самые обыкновенные, нормальные люди, как они живут каждый день и как они смеются и плачут. Чего ради мне употреблять слова, от которых тошнит? Вонючие слова, я так их называю.

— Пьянство, проституция, сексуальные извращения и тупость — это явления нашей повседневной жизни,— возразил Дэвид.

— Явления, но не вся жизнь,— стояла на своем миссис Бересфорд.— Человеческая натура богата: тут и сила духа, и смелость, борьба за счастье, за хорошую жизнь — выбирай любое. История — тому свидетельство.

— Согласен с вами,— признал Дэвид.— Если не считать жестокости инквизиций, войн, всего того, что творилось именем божьим, и всех периодов реакции, которые мы выстрадали,— эволюцию вела гуманность.

Его серьезный тон и что-то новое в нем самом, что она уловила, пробудили в ней любопытство.

— Я от кого-то слышала, что вы перешли к коммунистам.— Она пытливо вглядывалась в него.

— Не совсем так,— ответил Дэвид,— хотя по мере сил и возможностей я принимал участие в борьбе за мир, а коммунисты играют в ней не последнюю роль. Но кто вам сказал об этом?

— Клод Мойл, если вас это интересует. Он вернулся из кругосветного путешествия и зашел ко мне поговорить по поводу публикации мемуаров Билла в «Курьере».

— Ясно,— протянул Дэвид. Его интересовало, что она сообщит дальше.— Каким же образом разговор зашел обо мне?

— Он, между прочим, упомянул, какая это трагедия, что вы бросили свой пост в «Курьере» и связались с Джэн Мэрфи и ее паршивеньким изданием, стали ее доверенным лицом.

Дэвид вздрогнул, хотя и воскликнул саркастически:

— Вот как?

— В любезностях в ваш адрес он не рассыпался.— Язвительные нотки снова вползли в ее голос и напомнили Дэвиду мисс Колючку.— Короче говоря, он был довольно раздражен. Раздражен тем, что вы захватили его даму да еще прививаете ей коммунистические идеи. Хотя одной женщиной меньше или больше — это для Клода не проблема. Но я просто понять не могу, как это вы дали втянуть себя в такую работу и позволили этой похотливой сучонке сцапать вас.

Дикобразу не расстаться со своими колючками, подумал Дэвид.

— Это длинная история,— сказал он, поднимаясь.— Слишком длинная, мне не хочется вас утомлять. Рад был встретиться. И желаю успеха вашим новым книгам!

Сколько она ему наговорила неприятного! А он еще так расчувствовался, вспомнил их былую дружбу. Но Дэвид улыбнулся, как будто ничего не произошло, приложил руку к виску, хотя был без шляпы, и зашагал по газону, распугивая птиц, кроша сухие, опавшие листья.

Если бы так же легко он мог раскрошить, развеять нахлынувшие на него мысли — как опавшие листья, они кружились и словно шуршали у него в голове. Почему она ни словом не упомянула о возвращении Мойла? Почему не рассказала, что виделась и разговаривала с ним?

Теперь Дэвид все понял. Джэн снова с Мойлом. Ему, Дэвиду, она ничего не сказала, потому что не хочет торопить разрыв, не хочет лишаться его услуг, которые ей так необходимы.

Так вот чем объясняется то, что она переменилась к нему: порой вдруг проявляет непонятную враждебность, потом полна раскаяния и ищет примирения.

Их недолгая любовь и совместная работа принесли им доверие друг к другу — так считал Дэвид. И как ему было горько и больно, что Джэн, очевидно, не ценила этого доверия.

Только на то время, что отсутствовал Мойл, взяла она его, Дэвида, в любовники и, может, не его одного, как он подозревал. Джэн не скрывала своего «вольного образа жизни». Однако она утверждала, что с Дэвидом ее связывает более глубокое и сильное чувство, настоящая близость.

Дэвида бесило, что Джэн нарушила их уговор — рассказала Мойлу, что он, Дэвид Ивенс, не только тащит на себе журнал, но к тому же временно заместил его на посту любовника.

Он мучился от боли, от злости на самого себя. И не столько предательство Джэн терзало его, сколько сознание того, что он отступил, проявил слабость. Джэн предала его, но не предал ли и он себя?

Теперь, когда он все себе сказал, ему стало легче. И нечего метать громы и молнии на Джэн, решил он. Как бы она ни повела себя теперь, он никогда не забудет, что она для него сделала. Но теперь он объяснится с ней, он не будет медлить ни одной минуты. И положит конец их «джентльменскому соглашению».

Очередной номер журнала в печати. Он уйдет, оставив все дела в порядке. Слава богу, сбросит с плеч эту ответственность!

Дэвид повернул обратно. Спускались сумерки, но где-то в душе, пробившись сквозь отвращение к самому себе, словно зажегся огонек. Как ни стыдно ему было за потерянный год, он поклялся никогда отныне не отступать.

Глава XIII

К Джэн в тот вечер он не пошел.

Надо успокоиться, решил он, чтобы каждый нерв стал на место, прибегнуть к спасительному юмору, быть абсолютно уверенным в себе, когда они встретятся.

Ему захотелось пойти к Мифф, поглядеть, как они там. Только теперь он вдруг осознал, что вот уже несколько месяцев ничего не слышал о ней — с тех пор как появилась Джэн.

Вспомнил он и о том, что давно уже не справлялся о Тони. Два-три раза он звонил в лечебницу Тревору Макдонеллу, но тот тоже ничего не знал о пареньке. Похоже было, что Макдонелл позабыл о его существовании, как и сам Дэвид. Может быть, наведаться к бабушке, спросить, нет ли от Тони каких вестей?

Из кармана выпала листовка, которую он подобрал на улице. Она вдруг слетела откуда-то к нему, когда он шел по городу,— тоненький желтый листочек, запачканный сбоку,— словно умоляя спасти его от беспощадных бесчисленных ног. Прочитав довольно слепо отпечатанный текст, Дэвид неожиданно разволновался. Это был призыв ко всем людям доброй воли принять участие в массовом митинге на берегу Ярры в воскресенье — в знак солидарности с конгрессом за международное сотрудничество и разоружение, который будет проведен одновременно с такими же конференциями и конгрессами в других странах.

Дэвиду казалось, что этот призыв обращен лично к нему. Он вдруг живо ощутил свою причастность к этой листовке, и ему еще сильнее захотелось как можно скорее снова вернуться к друзьям, посвятившим себя великой цели.

Утром он только и думал о митинге. О том, чтобы пропустить его ради отчета, который он делал Джэн по воскресеньям, не могло быть и речи.

На левом берегу Ярры в то утро прогуливалось гораздо больше народу, чем обычно, хотя дул резкий холодный ветер и по небу ползли темные тучи.

Дэвид и прежде часто прохаживался в конец прибрежной аллеи, туда, где она упиралась в лысую, выжженную солнцем лужайку. Тут был своеобразный городской форум, где люди изливали свои жалобы, говорили о своих убеждениях.

Но вот уже почти год — с тех пор как он стал работать у Джэн,— Дэвид здесь не появлялся.

Толпа переливалась от одного оратора к другому, привлеченная мощным голосом или взрывами смеха, сопровождаемая детьми и собаками, а также детективами в штатском. Где-то сбоку неизменно торчало несколько полицейских в форме.

Двигаясь в общем потоке, Дэвид замер от призыва розовощекого умильного евангелиста «омыться в крови агнца». Хор женских голосов грянул в ответ где-то совсем рядом: «Приди к Христу! Приди к Христу, брат!»

— Работал ли у вас сегодня желудок? — громогласно вопросила с соседней трибуны миловидная молоденькая женщина. Слушатели оцепенели от удивления, а она пустилась в подробнейшие описания преимуществ лечения запора травами.

Чуть в сторонке дородный, напыщенный старец с седой шевелюрой и пожелтевшими от табака моржовыми усами обрушивал громы и молнии на «красного тигра — социализм». Он уже не первый год вещал все о том же и все с того же места: клоун, таскавший за собой несколько своих дружков, чтобы они аплодировали ему.

Все остальные общества — политические или религиозные — довольствовались ящиком или наскоро возведенным деревянным помостом фута в четыре высотой. Обрывки молитв и гимнов наплывали на обличения в вивисекции и коммунизме. Воинственно настроенный молодой рабочий призывал докеров к забастовке, товарищи поддерживали его возгласами одобрения. Дэвид хотел было остановиться и по-

слушать его, но увидел голубой флаг с белым голубем — трибуну Совета защиты мира. Перед ней стояли несколько мужчин и женщин, и Дэвид присоединился к ним, надеясь, что народ еще соберется. Так и произошло, едва лишь председатель, сказав несколько вступительных фраз, объявил, что слово имеет преподобный Фрэнк Хартли.

Толпа вокруг преподобного Хартли набухала и разрасталась, люди стояли вплотную друг к другу, внимательно вслушиваясь в слова оратора.

— Разоружение или гибель! Вот проблема, перед которой мы стоим,— заявил Хартли со страстной убежденностью человека, который твердо знает, что говорит правду.— Мы, австралийцы, и люди других континентов должны заставить великие державы и свои собственные правительства это понять.

Он привел цифры, показывающие страшную разрушительную силу современного атомного оружия. В них не было ничего нового, вряд ли кто не знал их, эти цифры. И все же невозможно было слушать это спокойно — в речь Хартли врывались возмущенные крики и восклицания.

— В конце года у нас в Австралии состоится конгресс,— объявил он.— Международное сотрудничество и разоружение — вот о чем пойдет речь. Конгресс покажет, сколь необходимо убедить правительства в том, что они должны реалистически смотреть на мир и терпимо относиться к существованию различных социальных, политических и экономических систем. Профессор Лайнус Полинг, выдающийся американский ученый, сказал: «Это десятилетие — самое важное в истории человечества. Мы стоим на перепутье: одна дорога ведет к разрушению, другая — ко всеобщему миру».

Хартли не просил поддерживать конгресс. Он требовал. Требовал от всех матерей и отцов, бабушек и дедушек, от молодых людей, которые когда-нибудь станут матерями и отцами, бабушками и дедушками, от всех, у кого есть здравый смысл и кто хочет бороться за мирное и счастливое будущее для себя и своих детей.

— Если вашему дому угрожает лесной пожар,— говорил он,— вы сделаете все, чтобы остановить его. А сейчас всему миру угрожает самый ужасный, самый страшный пожар. И только от нас зависит, остановим ли мы его! Мы должны объединиться с народами других стран, чтобы предотвратить отравление атмосферы дальнейшими испытаниями ядерного оружия. И тогда мы уже сможем не бояться, что наша прекрасная земля превратится в ад.

Хартли захватил слушателей. Вот он кончил говорить, какую-то долю минуты стояла напряженная тишина, потом грянули аплодисменты.

Дэвид прислушивался к разговорам вокруг, к репликам, восклицаниям. Ему хотелось понять, насколько серьезно относятся люди к тому, что сказал Хартли. Похоже, что он сбил апатию и безразличие, за которыми любят прятаться добропорядочные горожане, пробудил в них инстинкт самозащиты, который, естественно, не чужд и австралийцам.

— Новый выпуск «За мир» — один шиллинг! Карточки сторонников конгресса!

Дэвид оглянулся. Сквозь толпу пробивался девичий голос, знакомый певучий голосок.

— Шарн! — воскликнул он, когда она подошла ближе.

— Хэлло, Дэвид! — Шарн перевела дыхание.— Вы уже видели этот выпуск?

Дэвид купил номер и несколько брошюрок с ее лотка, чувствуя неловкость и понимая, что должен как-то объясниться.

— Замечательная речь! Не правда ли? — спросила Шарн, чтобы что-то сказать и сгладить неловкость.— Я так боялась, как бы дождь нам все не испортил.

— Великолепная! — горячо поддержал Дэвид.— Этот конгресс растопит лед.

— Я очень надеюсь.— На лице Шарн появилось серьезное выражение.— Но сколько еще предстоит сделать! Сбор средств, организация митингов по районам, надо снять залы для заседаний, приготовить номера в гостиницах для почетных гостей из других стран. Организационный комитет работает круглые сутки.

— Может быть, я могу чем-то помочь?

— О, Дэвид! — в ее глазах был искренний упрек.— Надо ли об этом спрашивать?

— Я приду. Обязательно. Через два-три дня. И буду делать все, что нужно,— сказал он, уклоняясь от ее вопросительного взгляда, и поспешно ушел.

Мимолетное осеннее солнце скрылось. Из тяжелых, бродивших все утро по небу туч хлынул дождь. Где-то вдалеке прогромыхал гром, сверкнула молния. Стихли последние причитания молящихся. Поспешно демонтировались трибуны и помосты. Зазывалы, шаманы от медицины и проповедники безумных доктрин поспешно упаковали свои товары и брошюры и пустились наутек от бури. На вытоптанной лужайке остались лишь обрывки бумаг и сухие листья да трое яростных спорщиков, которые никак не могли оторваться друг от друга. Старый бродяга подбирал окурки.

Дэвид вместе со всеми устремился к прибрежной аллее.

Глава XIV

На следующий день Джэн обнаружила его на обычном месте в своей гостиной — он сидел за столом, на котором аккуратными стопочками были разложены счета и деловые письма.

— Ах, вот и ты! — воскликнула она, бросая на него испепеляющий взгляд.— И, конечно, никаких извинений за то, что заставил меня вчера ждать целый день?

— Никаких,— спокойно ответил Дэвид.— Апрельский номер в печати. И надеюсь, все эти счета в полном порядке. Письма, на которые надо ответить,— в верхнем ящике бюро.

— Что это значит? — Раздраженно нахмурив лоб, она опустилась в кресло, машинально достала из сумочки позолоченный портсигар, вынула сигарету, закурила.

— Я прошу об отставке с поста вашего доверенного, мисс Мэрфи.— Улыбка несколько смягчила вежливо-официальный тон Дэвида.

— Ах, вот как! — с обидой воскликнула она.— Значит, нашим деловым отношениям пришел конец. Не сочтешь ли за труд объяснить почему?

— Охотно.— Дэвид сделал паузу, чтобы объяснение прозвучало спокойно и ровно.— И нам вовсе не надо ссориться. Я всегда буду благодарен тебе за то, что ты для меня сделала...

— Ради бога, забудь об этом! — нетерпеливо прервала она.— Сколько воды утекло уже с тех пор!

— Именно поэтому я и не хочу терять приятных воспоминаний,— мягко заметил Дэвид.

Джэн молчала, и он продолжал:

— Ты не сказала мне, что вернулся Мойл и что он знает, почему я здесь.

— Я хотела, Дэвид,— запротестовала она,— но это так трудно... Я была в ужасном состоянии... Во-первых, Клод настаивает, чтобы я бросила журнал... Говорит, что это невозможно — работать в «Курьере» и издавать журнал, конкурирующий с их журналом для женщин. Директора сказали ему, что они этого не потерпят.

— Что же ты собираешься делать?

— Продам «Девушек». Жалованье в газете важнее, чем эта затея. Тем более что и ты меня покидаешь... Я думала, это будет мой реванш — чтобы ты полюбил меня. Моя победа. После того как ты меня так третировал когда-то... Вот уж не думала, что ты будешь столько для меня значить!

— Ну, какая же я «победа»?! — засмеялся он и шагнул к двери.— До свидания, дорогая. Желаю тебе более славных побед!

— Минуточку! — окликнула его Джэн.— Ты еще не все знаешь.

Он остановился, глядя на нее.

— Клод намерен бросить меня.— Голос ее стал резким и злым.— Говорит, что безумно влюбился в девушку, которую встретил на пароходе. Хочет поскорее взять развод и жениться на этом птенчике.

— Плохо твое дело!

— Ты заговоришь иначе, когда узнаешь, кто эта девица.

— Вот как?

— Ее зовут Гвен Ивенс.

При виде его испуга глаза Джэн радостно зажглись.

— Но это ведь не наша маленькая Гвен?

— Именно ваша «маленькая Гвен»,— передразнила она его.— Не правда ли, в хороший переплет мы попали? Но не тревожься: она его не получит.

— Это он ее не получит! — подавив волнение, сказал Дэвид.— Только не знаю, хватит ли у меня на это сил. Если Гвен взбредет что-то в голову, она упряма как осел. Я и не знал, что она вернулась,— задумчиво добавил он.— Надо мне зайти к Мифф. Она разузнает, правда ли это.

— Буду очень рада, если она ему даст отставку,— вяло сказала Джэн.— Только вряд ли она это сделает, если ее интересуют деньги и положение. Клод—большой ловкач, теперь он уже «сэр Клод». И все же в мужья я бы его не порекомендовала. Скажи ей, что он сделает ее несчастной. Уж кто-кто, а я-то знаю. Во всяком случае, от меня она пусть не ждет пощады.

— Благодарю,— сухо сказал Дэвид, снова направляясь к двери.

Она догнала его.

— Прости меня, дорогой! — Джэн уткнулась головой в его рукав.— Я чудовище... Я не хотела быть такой. Мне было с тобой так хорошо. Как ни с кем. Поверь мне!..

Он поцеловал ее склоненную голову и исчез. Джэн вернулась в пустую гостиную.

Глава XV

— А где Гвен?

Миффанви кормила детей ужином, когда он вошел. Краснощекие, перемазанные кашей малыши удивленно таращили на него глаза.

— Отец! — обрадовалась и забеспокоилась Мифф, уловив в его голосе тревогу.— Что случилось?

— Ничего, насколько мне известно.— Он поцеловал ее с виноватым видом. Только тут он заметил, что цветастый халатик еле сходится на ее округлившемся животе.

Но выглядела она превосходно. Цветущая и жизнерадостная, она сновала по кухне.

Дэвид отодвинул от стола стул, сел.

— Я к тебе так неожиданно ворвался, прости, пожалуйста,— извинился он.— Но я только вчера узнал, что вернулась Гвен. Решил, ты мне скажешь, где ее искать.

— Я должна была тебе сообщить, конечно,— сокрушенно сказала Мифф.— Но я совсем закрутилась с тех пор, как Герти вышла замуж.

— Герти — замуж?

— Представь себе! — засмеялась Мифф.— Вот был сюрприз. «Брат Джо все за мной ухаживал с тех самых пор, как умерла его жена,— объявила нам она.— Восемь ребятишек у него, и все мал мала меньше, а последнему так и годика нет. Брат Джо хочет на мне жениться, чтобы у ребятишек мать была. Вот я и думаю: разве откажешь? Как вы считаете, мисс Мифф? Что мне ему сказать?»

— Бедняжка Герти! Надо не терять ее из виду.— Дэвид чувствовал себя в какой-то мере ответственным за эту несчастную овцу, которую он привел к себе в дом и сделал членом семьи.

— Герти сама не теряется.— Мифф вытерла нагрудником мордашку сыну и дала ему такое же румяное яблоко, как он сам.— Приходит время от времени чуть ли не со всем своим выводком и все рвется мне помочь, хотя, видит бог, у самой хлопот по горло. Ну, конечно, мне ее очень не хватает. Когда приехала Гвен, я как раз стирала. Что тут творилось — не представляешь! Гвенни тотчас словно ветром сдуло, не успела появиться. Но я была уверена, что она разыскала тебя.

— Нет.

— Я приглашала ее пожить у нас,— продолжала Мифф,— но она не захотела. Тут ей было бы трудно, конечно, в этой суматохе. Она сказала, что несколько дней поживет в отеле. А теперь у нее квартира на южном берегу Ярры. Адрес вон там, на календаре.

Календарь висел возле камина, и сначала Дэвид увидел сельскую идиллию: лес, коровы под деревьями. Сбоку Мифф нацарапала адрес.

— А теперь, радость моя,— сказала Мифф сыну,— можешь выйти из-за стола и крепко-крепко обнять своего деда.

— И я! И я! — защебетала Сью.— Я тоже хочу крепко-крепко...

Дэвида затормошили, зацеловали, поцелуи пахли молоком, он смеялся, счастливый.

— Хорошо, когда они есть, правда?

Мифф кивнула.

— Совсем другая жизнь. Ужасно смешные человечки, но я их обожаю. И благодарю судьбу. А к нам ты чувствовал то же самое, папа?

— И сейчас чувствую.— Улыбка сошла с его лица, и он сказал, не скрывая беспокойства: — Вот потому-то я и тревожусь за Гвен.

Мифф убирала со стола, ставила чашки и тарелки в мойку.

— Не удивляйся, если Гвен покажется тебе немного другой...

Мифф открыла кран с горячей водой, и ее окутало облако пара.

— Она же три года провела за границей,— нерешительно заметил Дэвид.— Стала старше, искушеннее...

Мифф ополаскивала тарелки и ставила их в сушилку — он только видел мельканье ее рук.

— Да нет, не в том дело. И даже не в том, что ей нравится изображать из себя шикарную девицу. Она славная, как и прежде, приласкала детей. И пришла в восторг, что они называли ее тетя Гвен. Но что-то в ней появилось жесткое, она словно стала немножко чужая. Во всяком случае, мне показалось, что ей не очень-то хочется откровенничать со мной.— Мифф повернулась к нему, теперь она стояла спиной к окну, и лицо ее было затенено — С Брайаном Макнамарой она обра-

щается просто ужасно. Он мне сам рассказывал, когда приходил сюда. Кажется, они довольно регулярно переписывались, и он надеялся, что как только она вернется...

— А он все еще сохраняет ей верность?

— Похоже, что да,— кивнула Мифф.— Брайан приобрел ферму в Южном Квинсленде. Он телеграфировал Гвен, что приедет встретить ее. Но она у него под носом удалилась с каким-то мужчиной — познакомилась с ним на пароходе. Брайан просто места себе не находит.

— Да, нехорошо,— пробормотал Дэвид. Он решил не расстраивать Мифф и ничего ей пока не рассказывать.— Ну что ж, пожалуй, мне пора...

Он спустил внука на пол, Мифф сняла у него с колен Сью. Дэвид поцеловал дочь. У двери он обернулся.

— Надеюсь, она еще не совсем стала нам чужая, наша маленькая Гвен,— сказал он.

Глава XVI

Латунная горгулья на водосточной трубе злобно усмехалась, уставясь на него пустыми глазницами, когда он стучался в дверь квартиры Гвен. Дэвиду казалось, что чудище заметило его нерешительность и злорадствует.

Дверь отворилась, и перед ним предстала тонкая фигурка в туго обтягивающих черных брючках и золотых босоножках на высоких каблуках, в черном шелковом жакете, накинутом на плечи, по которым рассыпались блестящие светлые волосы. Глаза под густо намазанными ресницами зажглись радостью, как только Гвен узнала человека, стоявшего на коврике перед дверью.

— Папа! — вскричала она и кинулась ему на шею.— Я так по тебе соскучилась.

— Гвен, малышка! — шептал он.— Моя маленькая Гвенни.

Гвен затворила дверь и увлекла его в холл.

— Я только что узнал, что ты вернулась,— объяснил Дэвид.— Мифф дала мне твой адрес.

— Ужасно затосковала по дому и решила устроить вам сюрприз.— Гвен провела его в гостиную, где был накрыт на двоих маленький столик.

Удобно устроившись на диване, обитом коричневым шелком, Гвен постучала по нему ладошкой, указывая Дэвиду место рядом с собой. Дэвид сел. Гвен с улыбкой смотрела на него. Все тот же «хитрый маленький зайчонок», которому ничего не стоит «обвести папочку вокруг мизинца», как говорили когда-то в семье. Ребенком она была упрямой и своенравной, вспоминал Дэвид; может, и сейчас такая же.

— Только один Макнамара знал, что ты приезжаешь, как сказала мне Мифф.

Гвен беспокойно заерзала.

— О, Брайан! Боюсь, что я с ним плохо обошлась.

Она вскочила, порывисто шагнула к столу.

— Он меня встречал, а я... Я прямо с парохода уехала с другим.

Она взяла сигарету из серебряной индийской сигаретницы ручной работы, стоявшей на столе.

— Хочешь? — Гвен протянула ему сигаретницу.— Ах, забыла: ты ведь не любишь сигареты.— Она поставила ящик на столик.— Где же твой старый «бриар»? Или ты бросил курить?

— Не бросил.— Дэвид извлек трубку и кисет с табаком.— Только по-прежнему предпочитаю вот это.

Он набил трубку. Гвен курила сигарету, глядя, как он аккуратно ссыпает остатки табака с ладони обратно в кисет. Потом он чиркнул спичкой и раскурил трубку.

— Правда, красивая? — Она снова взяла индийскую сигаретницу и протянула ее Дэвиду полюбоваться.— Клод подарил мне...

— Клод? — Дэвид вопросительно вскинул брови.

— Клод Мойл. Ты его знаешь.

— Это не мой ли бывший директор из «Курьера»?

— Именно.

Саркастическая усмешка Дэвида дала ей понять, что имя Мойла не вызвало у него одобрения. Гвен воинственно застыла перед Дэвидом, чуть наклонясь — словно цапля на своих высоких каблучках.

— Старый греховодник! — воскликнул Дэвид.— Волочится за тобой?

— Не такой уж он старый,— возразила Гвен.— Ничуть не старше тебя.

— Да, конечно,— со спокойной иронией продолжал Дэвид.— Но только никто не считает меня «грозой дам».

— Мне все известно,— сказала Гвен.— Но Клод говорит, что он ни в кого еще не был так влюблен, как в меня.

— Ты когда-то уверяла меня,— напомнил ей Дэвид,— что ни за что не поверишь ни одному мужчине, который так говорит.

— А я ему и не верю.— Гвен затянулась сигаретой и лукаво улыбнулась сквозь дым.— Не такая уж я безмозглая дурочка, как ты считаешь, отец.

Дэвид улыбнулся ей в ответ, радуясь, что она с ним вполне откровенна.

— Дурочкой я тебя никогда не считал, ты это прекрасно знаешь. Только иногда ты идешь напролом и не хочешь ничего замечать.

— Это верно,— безмятежно согласилась Гвен, опускаясь в старое потертое кресло.— Но, может быть, тебе небезынтересно будет узнать, что Клод хочет на мне жениться?

— Вот как! Действительно? — Он помедлил, в голосе его снова зазвучали саркастические нотки.— Ты, конечно, знаешь, что он уже женат?..

Гвен поджала одну ногу под себя, другую перекинула через ручку кресла. Золотая босоножка повисла на кончиках пальцев. Она с явным удовлетворением созерцала свою розовую пятку, выглядывавшую из-под черной штанины.

— А я отказалась с ним спать.

— Это очень утешительно.

— Мне не нравится его затылок.

— Что ж, вполне достаточное основание.— В глазах у Дэвида мелькнул веселый огонек.

— Ты надо мной смеешься! — обиделась Гвен.

— Вовсе нет, дорогая.— Дэвид принял серьезный вид.— Просто восхищаюсь твоей проницательностью. Затылок — предательская штука. Его не спрячешь. А по нему ясно, что под ним.

— У него он такой костлявый и плоский, просто противно,— заявила Гвен.— Но со мной он ведет себя очень благородно.— Гвен снова встала на защиту своего поклонника.— Уговаривает своего друга из большого универмага взять меня на работу. Я ведь работала манекенщицей в Лондоне, ты знаешь. В детский сад я больше не пойду.

— Почему же?

— Ну, я привыкла весело проводить время и иметь деньги, чтобы можно было и учиться, и красиво одеваться, и разъезжать на роскошных машинах.

— И больше тебе ничего не надо? — спросил Дэвид.

— М-м-м.— Гвен задумалась.— Пожалуй, ничего. Я все спрашивала себя, когда решила вернуться домой, хочу я замуж за Брайана или нет. Он мне, правда, очень нравится. Но какая из меня фермерша, отец? Нет, это абсолютно не для меня. Не могу я жить, как Мифф, в маленьком домике. Ребятишки орут и дергают ее без конца...

— Мифф счастлива,— сказал Дэвид,— и дети вовсе не орут без конца. Они очень славные и спокойные малыши. И у нее полное согласие с мужем. Дай бог каждому.

— Может быть, для Мифф это и хорошо — семейная идиллия. Но только не для меня. Забастовка или дебаты на берегу Ярры — вот и все их развлечения.

— В чем ты меня хочешь убедить?

— Да нет, ни в чем.— Она села, закинув ногу на ногу.— А как поживает твоя «великая идея»? — беззаботно спросила она. И, заметив его смущение, добавила: — Как видно, не слишком хорошо?

— Не слишком.— Улыбка в его глазах померкла. Он наклонился вперед и, обхватив колени, так крепко сжал руки, что косточки суставов побелели.

— Не огорчайся,— сказала Гвен с неожиданным сочувствием.— Не всегда выходит так, как мы хотим.

— Вот в чем мне очень тяжело признаться,— напряженным, изменившимся голосом начал Дэвид,— видимо, я не смогу тебе помогать.

— Ради бога, не беспокойся! Я сама о себе позабочусь. Если меня не возьмут манекенщицей и дела пойдут совсем худо, выйду за Клода. Пусть он только получит развод.

— Я совершенно случайно слышал, что жена вовсе не собирается давать ему развод,— медленно проговорил Дэвид.

— Ты имеешь в виду, что она отказала в разводе, когда он завел шашни с Джэн? — безмятежным тоном спросила Гвен.— Но леди Мойл ненавидит Джэн. Клод считает, если он отдаст супруге особняк и увеличит сумму на содержание, она не станет слишком упрямиться.

— Он обманывает себя. И тебя тоже.

— Я ужасная негодяйка,— вздохнула она.— Однако тебе надо идти, если ты не хочешь встретиться с Клодом.— Она взглянула на осыпанные бриллиантами платиновые часики, сверкавшие у нее на руке.— Он скоро придет ужинать. Пока что я держу его поцелуями. Один-два поцелуя, и он становится ручным. Но он отлично знает, что меня не купишь. Даже такими вот штучками... — Она посмотрела на часики.

Дэвид поднялся. Вид у него был довольно удрученный и несчастный. Гвен в порыве нежности бросилась к нему на шею, как при встрече, крепко обняла его.

— Ты только не беспокойся обо мне,— попросила она.— Все будет хорошо. Справлялась же я до сих пор.

— Если бы я мог защитить тебя от бед! — грустно сказал он.

— «Гвенни всегда падает на ноги»! Помнишь, как ты говорил?

Он улыбнулся:

— Я и забыл. Спокойной ночи, детка.

Он поцеловал ее и, ссутулившись, уже отходил от двери с ухмыляющейся горгульей, когда Гвен крикнула ему вслед:

— Брайан приезжает из Квинсленда на следующей неделе! И знаешь, он мне все-таки нравится...

Глава XVII

В невеселом раздумье шел Дэвид в тени раскидистых деревьев, смыкавших над ним свои ветви. Ему так хотелось бы защитить Гвен, спасти ее от беды. Но что он мог сделать, чтобы отвратить ее от той жизни,

к которой она так тянулась? Дэвид понимал, что не может спасти ее даже от Мойла.

На следующий вечер Дэвид отправился к Мифф, чтобы сообщить ей о разговоре с Гвен. Дети в полном восторге застыли возле аквариума с золотыми рыбками, который принес им Билл.

— Подарок японских моряков,— объяснил Билл.— Профсоюз помог им уладить дела с портовыми властями, и в знак благодарности они преподнесли нам этот подарок.

Дэвид присоединился к восторгам детей и полюбовался вместе с ними резвыми рыбками. Но мысли его не отрывались от Гвен.

Спать ребятам явно не хотелось, и Ян потребовал от деда давно обещанной игры в лягушки. Дэвид опустился на четвереньки, изображая большую лягушку, через которую должны прыгать лягушата. Малыши с пронзительным визгом карабкались на него и гонялись за ним по комнате. Когда он повалился на пол вместе с радостно визжавшими лягушатами, Мифф сжалилась над ним и, несмотря на сопротивление и шумные протесты, отвела малышей в спальню.

Дэвид совершенно обессиленный опустился в кресло.

— Мои сорванцы совсем тебя измучили, дорогой! Ты даже не можешь отдышаться.— Уложив малышей, Мифф вернулась в гостиную и села с ним рядом.

— Ничуть не измучили,— заверил ее Дэвид.

Мифф положила ноги на соседний стул, усталым жестом поправила волосы.

— Ну, что нового у Гвен?

Дэвид рассказал о том, как обрадовалась ему Гвен, о ее намерении работать манекенщицей в одном из больших магазинов, об отношениях с Мойлом, его разговорах о разводе и женитьбе.

— Если Гвен настроилась на шикарную жизнь, тут уж ничего не поделаешь, отец,— твердо заявила Мифф.— Ты ведь знаешь: сколько ее ни убеждай, все будет бесполезно. Она сделает по-своему, и нам придется с этим примириться. Но у нас-то ведь все останется по-прежнему. Гвен знает, что мы любим ее. И я всегда помогу ей, как только она захочет принять мою помощь.

— Я тоже пришел к такому решению,— признался Дэвид.— Хотя в какой-то мере перелагаю тем самым заботу на тебя, дорогая Мифф. Но что же делать?

— Ерунда! — запротестовала Мифф.— Для Гвен всегда тут найдется место, и я сказала ей, чтобы она приходила в любой момент, как только ей захочется.

— Я так и думал. И все же для меня большое облегчение — еще раз услышать это от тебя.

— К тому же,— смеясь продолжала Мифф,— я посоветовала Макнамаре сыграть роль сильного мужчины и похитить ее... Я знаю нашу Гвенни: ей это понравится. Роковые страсти — вот что ей нужно. Сейчас она затеяла этакую светскую игру с Мойлом, но он мигом получит отставку, если только Мак пойдет ва-банк — продемонстрирует ей всю свою страсть и обожание. А он это сделает.

— Может быть, ты и права.

— Сегодня я видела Шарн,— переменила тему Мифф.— Она сказала, что ты собираешься вместе с ней работать в организационном комитете.

— Мне очень хочется.— Мифф увидела, как прояснилось и помолодело его лицо.— Ведь я совсем все забросил в последнее время. Пожалуй, даже потерял надежду и веру в людей. Но я готов снова вступить в бой, если только Совет разрешит мне работать.

— Вне всяких сомнений,— уверенно, как нечто само собой разумею-

щееся, сказала Мифф.— Нам очень нужны организаторы. Так много людей хочет мира. Надо помочь им объединиться, проявить себя.

— Знаю,— заметил Дэвид.

— Но вот что меня беспокоит, отец,— нахмурилась Мифф.— Можешь ли ты позволить себе работать без жалованья?

Дэвид улыбнулся в ответ.

— На несколько месяцев у меня денег хватит — заработал на своей последней и, прямо сказать, малопочетной работе. Обузой комитету я не буду. А после конгресса я, может, что-нибудь найду — какую-нибудь небольшую подсобную работу, не слишком унизительную.

В комнату тихо вошел Билл, прикрыв за собой дверь.

— Вы говорите о конгрессе? — спросил он, придвигая кресло и садясь напротив Дэвида.— Это будет большое событие — в Южном полушарии такого еще не было. Почти все профсоюзы поддерживают конгресс. Докеры и моряки отлично понимают, за что они борются, когда выступают за разоружение. И эти статьи, что вы послали в «Моряк», они сделали хорошее дело, отец.

— Я и не подозревал, что они напечатаны,— признался Дэвид.

— Мы хотим выпустить их брошюрами,— продолжал Билл.— Кстати, меня просили связаться с вами, получить ваше согласие.

— Рад слышать! — воскликнул Дэвид.— Давненько мне такого не предлагали.

— А может, вы мне поможете и с профсоюзной листовкой? — осторожно спросил Билл.— Но тут нужно что-то попроще, более популярное. Надо ясно и четко изложить причины, почему члены нашего профсоюза решили поддержать конгресс. Ну, к примеру, объяснить, что такое сосуществование и переговоры о разоружении.

— Как вы считаете, может птица летать? — весело ответил вопросом на вопрос Дэвид.— Вы даже не представляете себе, как вы сейчас подбодрили меня этой просьбой, Билл!

И это правда, думал Дэвид, возвращаясь в свою унылую комнатушку у миссис Баннинг. То, что сказал ему Билл, чрезвычайно обрадовало его. Значит, статьи его были все-таки напечатаны и их заметили и оценили! Отвергнутые многими газетами, они тем не менее нашли своего читателя. Тысячи рабочих прочитали их, и еще больше людей прочтет их теперь, когда они выйдут брошюрами.

Глава XVIII

Затерянное среди кабачков, разных лавчонок и маленьких кафе, старое здание на Флиндерс-лейн с торчавшим над входом носом древнего корабля словно противостояло бурному потоку машин, устремлявшихся в порт и обратно.

Дэвид знал, что в этом здании помещается правление Мельбурнской федерации докеров. Он уже раза два-три заходил сюда повидать Мифф и каждый раз легко отыскивал этот дом, но сейчас, договорившись о встрече с Биллом, едва узнал его: дом был отремонтирован и покрашен. И не торчал уже над входом нос древнего корабля.

Билл и здесь вел себя столь же скромно и сердечно, как дома. Они обсудили содержание, размер и композицию листовки. Билл во всем советовался с Дэвидом, выслушивал его мнение с почтительной вежливостью.

— Если бы вы только знали, что для меня значит ваше предложение написать листовку,— растроганно сказал Дэвид.

— Надо, чтобы она попала в цель,— живо ответил Билл,— и тогда все в профсоюзе будут довольны.

На следующий день рано утром Билл привел его в большое неуютное здание под рифленой крышей, возле Северной верфи. Тут теснились здоровенные плечистые докеры в ожидании нарядов на дневную смену. Они собирались возле доски объявлений, где вывешивали названия пароходов с указанием количества людей, требующихся для работы. Чуть дальше тянулся ряд окошечек, за которыми сидели клерки портовой компании.

Билл показал Дэвиду отжившую свой век «вышку», с которой когда-то шел набор рабочих и которую либо брали с бою, либо «подмасливали» десятника, либо просто пускались на мошенничество.

— Федерации здорово пришлось побороться, чтобы покончить с этой порочной практикой. Так ведь, Чиппер?

Билл обратился к двум докерам, сидевшим на скамье перед длинным столом. Один из них, средних лет мужчина, широкоплечий, с красивым грубоватым лицом и темными с проседью волосами, хитро прищурившись, посмотрел на Билла.

— Еще как пришлось-то,— сказал он хрипловатым голосом.— И до сих пор боремся, Билл. Они тут без конца выкидывают разные трюки.

— Это мой друг, Чиппер.— Билл представил Дэвида:— Дейв Ивенс, писатель. Делает сейчас для профсоюза одну работу. Хочет к вам сюда походить, понять, что к чему.

— Ясно.— Чиппер протянул руку — много потрудившуюся, огрубевшую, в шрамах и отметинах — и сдавил пальцы Дэвида в железном рукопожатии.— Мы с товарищами проследим, чтобы его пропускали. Познакомьтесь: мистер Ивенс — Уинди.

Его приятель, чуть постарше, кряжистый и светлоглазый, тоже протянул руку. И когда Дэвид пожал ее, спросил:

— А он ненароком не хозяйский ли прихвостень? А, Билл? Не из топтунов?

— Можете быть спокойны! — заверил Билл.

Австралийская портовая ассоциация объявила о своем намерении не выдавать наряды на работу грузчикам, освобожденным от тяжелой работы в трюмах, пока не будут обеспечены работой все другие докеры. Это было воспринято как попытка лишить последней возможности заработка пожилых или получивших увечья докеров.

Две тысячи докеров прервали работу, собрались на митинг и объявили о своем решении отстоять права престарелых и увечных членов профсоюза. Дэвид присутствовал на митинге. Он восхищался единством докеров.

День ото дня конфликт разрастался. Дэвид проводил в доках гораздо больше времени, чем это требовалось для того, чтобы понять, что особенно важно сказать в листовке, которую он готовил по просьбе профсоюза.

Листовку он набросал сразу же и представил Биллу и Чарли Берду, секретарю федерации, для обсуждения. Они одобрили ее, сделав несколько мелких поправок и добавлений.

В доках к Дэвиду постепенно привыкли и стали считать его профсоюзным активистом.

В забастовке итальянских моряков он принял уже непосредственное участие. Она охватила корабли во всех портах мира. Австралийские моряки и портовые рабочие объявили итальянские корабли, стоявшие на причале в мельбурнском порту, «черными» — в поддержку забастовки итальянцев. Надо продемонстрировать братство моряков всего мира, сказали они и отказались работать на судах. Докеры и члены других профсоюзов взяли на себя заботу об итальянских моряках: кормили их, дали приют в своих домах.

На время забастовки оргкомитет конгресса предоставил Дэвиду полную свободу действий, освободив его от присутствия в комитете.

Он втянулся в забастовку, помогал Биллу давать информацию и делать заявления прессе, участвовал в митингах, ходил в пикеты, организовывал еду и жилье для иностранных моряков на берегу.

А какое поднялось ликование, когда итальянцы выиграли забастовку! Потом все отправились в бары — отметить победу кружкой пива.

В день отплытия «Нептунии» в порт пришли жены моряков и докеров вместе с детьми и родственниками — все те, кто готовил еду и проявлял заботу об итальянских моряках. Среди них была и Миффанви. «Нептуния» отдала швартовы и просигналила флажками: «Победа! Да здравствует профсоюз!»

Толпа на пристани начала скандировать лозунги. Итальянцы, сгрудившиеся у борта, растроганно и весело кричали последние «Addios»[1] и «Tante grazies»[2].

Сияющий белый корабль вошел в Ярру. И тут грянула победная песня — и с берега, и с корабля, на двух языках и на одном дыхании. Весело сигналя флажками, «Нептуния» плыла по реке, и со всех стоявших на причале судов ей в ответ неслись разноязычные приветствия. Наконец она скрылась за лесом труб и мачт.

Глава XIX

Весь день в комнатах оргкомитета конгресса стрекотали машинки, звонили телефоны, что-то докладывали прибывавшие или отбывавшие с очередным поручением помощники. Шли лихорадочные приготовления к началу заседаний, и, хотя впереди был еще не один месяц, организаторы уже потеряли покой и сон, волнуясь, справятся ли они с той грандиозной задачей, которую они на себя взяли.

Дэвид приступил к своим обязанностям и с первого же дня закрутился в водовороте дел. Стол ему выделили рядом с секретарем комитета. В ведении Дэвида была вся пресса, а также различные неотложные дела: связь с типографией и доставка листовок, транспорт, переговоры с отелями, да еще сбор средств. Он брал интервью у известных деятелей и советников муниципалитета, обращался к ним за поддержкой и денежной помощью. И уже совсем поздно вечером проводились летучки с председателями или членами районных комитетов.

Шарн днем преподавала в колледже, но все вечера проводила в комитете или же выступала на митингах в предместьях.

«Это уже не мечта — запрещение войны, это долг каждого правительства,— говорила она своим слушателям, повторяя лозунги конгресса.— Запретить войну — дело народа. И вполне реальное дело».

На одном из митингов подняла шум банда фашиствующих эмигрантов. Однажды вечером они подстерегли Шарн на пустынной улочке, сбили с нее очки, растоптали их, изорвали в клочья ее бумаги. С тех пор Дэвид решил, по возможности, сопровождать ее, когда она шла выступать или разносила листовки.

Между ними снова установились непринужденные дружеские отношения, ни она, ни он ни словом не упоминали о недавней размолвке. Они много говорили о конгрессе, обсуждали организационные дела, рассказывали друг другу о письмах, которые приходили от знаменитых ученых, писателей, артистов и самых обыкновенных людей со всего мира. Среди них были и очень грустные послания с небольшими денежными вклада-

---

[1] До свиданья *(итал.)*.

[2] Большое спасибо *(итал.)*.

ми от старых пенсионеров, матерей, потерявших своих сыновей, и вдов.

— Вот что, Дэвид,— твердо заявила однажды Шарн,— пришел ваш черед выступить с трибуны на берегу Ярры.

— Ни за что! — Дэвид и слушать не хотел.— Я не оратор. Могу думать только на бумаге.

— Чепуха! — Шарн обратила на него полный негодования взгляд.— Разве можно от чего-то отказываться, если это нужно для общего дела?

— Вы правы,— согласился Дэвид.— Но есть вещи, которые один делает лучше, другой — хуже.

— Я же вас слышала, вы прекрасно выступали на собраниях комитета,— настаивала Шарн.— И на митингах в районах, когда вы рассказывали о задачах конгресса.

— Это совсем другое дело,— возразил Дэвид.— Там друзья и доброжелатели...

Однако когда заболел член комитета, который должен был выступать в очередное воскресенье с трибуны на берегу Ярры, и Шарн поручили его заменить, она, ни секунды не колеблясь, потребовала, чтобы первым на митинге выступил Дэвид.

— Вы привлечете людей, вас услышат,— просила Шарн.— На открытом воздухе, с моим голосом, я не соберу народ.

— А я, вы думаете, соберу? — сомневался Дэвид.

Однако он пообещал. Шарн пройдет через огонь и воду ради дела, которому посвятила себя,— Дэвид это знал. И он должен быть с ней рядом, помогать чем может, решил он.

Он заранее подготовил речь и заучил ее, чтобы не подвести Шарн. Но как только он ступил на маленький шаткий помост, сооруженный из каких-то ящиков, горло у него перехватил нервный спазм, и все нужные слова вылетели из головы.

Ощущение множества людей вокруг — пытливых, любопытных, недоверчивых, враждебных и доброжелательных — было подобно психологическому шоку, мысли путались, Дэвид не мог говорить спокойно и последовательно. Он перепрыгивал с одного на другое, бессвязно нагромождал цифры и факты. И так смешался, что не мог уже остановиться. Он слышал едкие замечания, сыпавшиеся на него со всех сторон, взрывы смеха. Наконец председатель тронул его за плечо, и он, спотыкаясь, ничего не видя перед собой, спустился с помоста. Ему хотелось одного — провалиться сквозь землю.

И тут зазвенел ясный, четкий голос Шарн — она сменила его на трибуне. Поначалу ей нелегко было пробиться сквозь беспорядочный шум толпы: люди разбились на группки и что-то обсуждали, о чем-то яростно спорили друг с другом, страсти так разгорелись, что кто-то пустил в ход кулаки.

Но Шарн не сдавалась. И тогда послышались крики: «Тише! Тише! Замолчите! Дайте послушать, что там говорит эта малютка!» В конце концов шум утих, и Шарн завладела вниманием слушателей, хотя какие-то хулиганы и пытались ей помешать. Как она усмирила их! Посмеиваясь, уверенно, Дэвид только диву давался. Он смотрел на нее, словно завороженный,— хрупкая девушка в синем платье, без шляпы, светлые волосы развеваются по ветру. Казалось бы, такая беззащитная, однако насмешки и оскорбления словно отскакивали от нее, она все больше и больше овладевала вниманием толпы, рассказывая о том, какими лишениями грозит людям гонка вооружений и как важно сейчас объединиться и вести решительную борьбу против ядерного оружия.

Люди одобрительно слушали, а когда она кончила, раздались дружные аплодисменты. Практическим ответом на призыв Шарн поддержать конгресс были серебряные монеты и фунтовые банкноты — в гораздо большем количестве, чем обычно.

— Вот выставил себя на посмешище! — воскликнул Дэвид, когда они вместе пошли домой.

— Ничего.— Шарн явно хотелось утешить его.— Раньше я тоже мучилась перед выступлениями, просто умирала от страха, заснуть не могла. Да и сейчас тоже всегда боюсь, что будет неинтересно. И вообще я не бог весть какой оратор. Но когда ты убежденно говоришь разумные вещи — это встречает отклик. А вам надо начать упражняться: каждое утро — сеанс глубокого дыхания.— В Шарн заговорила учительница.— Надо читать стихи и отрабатывать дикцию.

Глава XX

Всю следующую неделю Дэвид по совету Шарн тренировал голосовые связки.

Ранним утром на заднем дворике он горячо возвещал Перси:

— «Римляне, землепашцы и влюбленные! Слушайте, о чем я поведаю вам; судите меня своей мудростью и откройте сердца навстречу мне, чтобы судить по справедливости».

Поначалу Чезаре и миссис Баннинг решили, что он немножко не в себе — что это за странные разговоры с попугаем? — а когда Дэвид объяснил им, что он учится ораторскому искусству, отрабатывает голос, чтобы говорить перед большой аудиторией, заподозрили, что он над ними подшучивает.

Перси комментировал речь Дэвида пронзительными криками — он будто понял свою задачу изображать шумную аудиторию и старался как мог.

Покончив с упражнениями, Дэвид с легким сердцем обращался к своим обычным делам. Ему не терпелось поскорее приняться за работу; он спешил принять душ, побриться и одеться, затем быстро поглощал завтрак в веселой солнечной кухоньке миссис Баннинг.

Любил он и свой путь в город ранним свежим утром. Приятно было ощущать себя частицей потока, льющегося к громаде зданий, смутно маячившей в утренней дымке, быть единым с людьми на улице — такими же, как он сам, неважно одетыми, старыми и молодыми, спешащими на плохо оплачиваемые работы; с мальчишками-посыльными, которые, весело насвистывая, обгоняли его; с идущими с рынка женщинами, нагруженными тяжелыми сумками; с хорошенькими фабричными девчонками, покачивавшимися на высоких каблучках. А по проезжей части улицы несся поток машин, звенели трамваи, слышались хриплые окрики шоферов.

Едва войдя с залитой светом улицы в просторное здание, где разместился оргкомитет конгресса, Дэвид погружался в его проблемы, дискуссии и неотложные дела. Он завоевал полное доверие комитета и был бесконечно счастлив этим. К его мнению прислушивались, с ним советовались по всем делам, связанным с прессой.

— Да вы становитесь мастером на все руки, Дэвид,— с недовольным видом говорила Шарн,— всему радуетесь, что на вас ни взвалят.

— Радуюсь,— простодушно ответил он.

Но в тот вечер, зайдя после митинга к Мифф, он думал о Гвен.

— Как Гвен? Ты давно ее видела? — спросил он.

— Забегает время от времени,— ответила Мифф, поудобнее устраиваясь в кресле и принимаясь за шитье: возле нее возвышалась стопка детской одежды с оторванными пуговицами.— Разъезжает в роскошном голубом «седане». Говорит, что это Клод подарил ей, хотя она еще не решила, оставить «седан» себе или все-таки дать Клоду отставку.

— И что она? Весела? У нее все в порядке? — встревоженно спросил Дэвид.

— Наслаждается жизнью на собственный лад,— ответила Мифф, откусывая нитку крепкими белыми зубами.— Коктейли, балы, скачки, уикэнды в Морнингтоне — поместье Мойла,— в кругу его друзей, насколько я понимаю.

Дэвид тяжело вздохнул:

— Только бы она не попала в беду!

— Что толку тревожиться.— Мифф задумчиво вертела в руке пуговицу.— Хотя у меня она тоже не выходит из головы. Но Гвен все равно будет поступать по-своему, и мы тут бессильны.

— Да, пожалуй. Только вот что...— Дэвид помедлил, стараясь отогнать от себя дурные предчувствия.— Не теряй с ней связи, дорогая, поддержи ее, если понадобится.

— Ну конечно! — Мифф подняла на него глаза.— Слушай, папа,— продолжала она.— У тебя такой измученный вид. Лицо просто серое.

— Ерунда! — Дэвид улыбнулся ей — в темных глазах Мифф была тревога.— Все в порядке. Никогда не чувствовал себя лучше. Это так здорово — тратить свои силы на что-то стоящее!

— Билл говорит, что листовка получилась что надо. И во время забастовки ты им столько помогал, просто молодец.

— Я рад был помочь чем мог! — Дэвид улыбнулся.— У меня теперь столько друзей в доках.

Дэвид не рассказал Мифф о разговоре, который очень его встревожил. Это случилось дня три назад, и сейчас все отчетливо всплыло у него в памяти.

Он ждал Чиппера — тот получал наряд,— когда из дальнего угла, где играли в покер, отделился какой-то верзила и вразвалочку направился к нему.

— Эй, мистер,— сказал он,— чего это ты тут околачиваешься? Видишь вон там моих дружков? Не любим мы, когда тут слоняются вонючие ищейки.

— Знаешь ли, обижаться на тебя я не стану,— ответил Дэвид, окинув взглядом склонившуюся к нему тяжелую фигуру: неприятный тип, обрюзгший, неряшливый, брюки сползли вниз с толстого живота.— Но я не ищейка.

Наверно, какой-нибудь скандалист, подумал он. Верзила придвинул к нему оплывшее лицо, зло осклабился.

— Да я тебя еще в итальянском ресторане приметил, вынюхивал там что-то. Не ты ли, случаем, помог смыться Флориному парнишке?

У Дэвида перехватило дыхание.

— А вы тут при чем? — резко спросил он.

— Ни при чем,— отрезал верзила.— Держи свой паршивый нос подальше, мистер. Не лезь не в свои дела.

— А я и не лезу,— сказал Дэвид,—но Тони...

— Он объявился,— ухмыльнулся верзила,— и теперь под присмотром. Но не вздумай к нему опять соваться. И здесь тоже довольно околачиваться, не то плохо будет...

— Что этот Громила Педро пристал к вам? — спросил Уинди, когда Дэвид подошел к нему и к Чипперу и они втроем направились к шестому причалу, где стал на разгрузку корабль с мукой.

— Заподозрил, что я тут шпионю,— засмеялся Дэвид.— Говорит, плохо мне будет, если я отсюда не уберусь.

Уинди взорвался:

— Это вот из-за таких, как он, про нас бог знает что говорят! А стоит полиции что-то заподозрить, мы их еще и прикрываем, считаем зазорным выдать. Но мы не должны прикрывать всякие темные дела!

— Если бы у нас были хоть какие-то доказательства,— возразил Чиппер.— А у нас что? Одни подозрения — и только. Громила Педро и

его дружки как-то всегда умудряются попадать на разгрузку кораблей, которые приходят из Гонконга. И что-то уж очень веселятся, когда после проверки ни у кого ничего не обнаруживают.

— А помнишь, месяца два назад Громила Педро спрашивал меня, не хочу ли я подзаработать? — сказал Уинди.— «Подзаработать я всегда не прочь, Громила»,— сказал я. «И неплохо подзаработать,— сказал он мне тогда,— но работка непростая, груз будет особый». «Ах, вот оно что! — сказал я.— Нет, Громила, спасибо, это мне ни к чему». «Ну, как желаешь,— говорит он.— Только держи язык за зубами». «Будь спокоен»,— говорю я.

— Не дело с ними якшаться. До добра это не доведет,— рассудил Чиппер.

— Убей меня бог, не пойму, куда они девают свой товар! — Уинди в раздумье сощурил светлые глаза.— У ворот такая строгая проверка, и таможенники, как говорится, заглядывают в каждую щелочку, лазают по всему кораблю. Улов-то у них неплохой: с начала этого года девяносто два фунта опиума да еще целый груз в шкафчике у одного молодого моряка, на днях тут за ним гонялись, искали по всей пристани.

— Да тут где угодно можно спрятаться.— Чиппер окинул взглядом причалы, где теснились корабли.— Полно потайных местечек и на судах, и на реке.

— Да уж, хватает.— Уинди покосился на Дэвида.

— Страшное это дело — торговля наркотиками,— сказал Дэвид, решив, что друзья, верно, недоумевают, почему это Громила Педро заподозрил, что он сыщик.— Я согласен с Уинди: надо это прекратить, хотя ни с полицией, ни с таможней я никаких дел не имею.

— Да хоть бы и имел, я бы тебя не осудил,— заметил Чиппер.— Пьяниц, штрейкбрехеров, тех, кто позорит профсоюз, надо призывать к порядку — так записано в нашем профсоюзном уставе. И вряд ли кто возьмет под защиту Громилу Педро и его дружков, если мы только сможем доказать, что они занимаются этим грязным делом.

— Да разве мы сможем, если даже таможенники и полиция ничего не находят? — Уинди, казалось, извинялся перед Дэвидом.

Неужели Тони взялся за прежнее? Дэвид и тогда, в доках, подумал об этом, и сейчас у него снова мелькнула эта мысль. Что же все-таки случилось? Почему Тони не пришел к нему?

— О чем ты задумался, папа? — Голос Мифф напомнил ему об ее присутствии.— Говорю с тобой, а ты меня не слышишь.

— Прости, дорогая! — Дэвид наклонился к ней.— Я просто вспомнил то, о чем не должен был забывать.

Глава XXI

Теперь Дэвид сам искал случая выступить перед большой аудиторией — ему хотелось поскорее приобрести опыт,— и раз от разу он чувствовал себя все свободнее. Теперь он занял свое место среди постоянных ораторов, выступавших по воскресеньям с трибуны Совета защиты мира на берегу Ярры. Дэвид стал с радостью замечать, что между ним и слушателями постепенно устанавливается дружеское взаимопонимание.

Во всяком случае, едва он появлялся на помосте, толпа одобрительно гудела, а кое-кто даже аплодировал. Каждое свое выступление Дэвид начинал коротким, ставшим традиционным обзором международных событий.

Дэвид с удивлением замечал, что появляются все новые и новые слушатели, видел с интересом обращенные к нему лица. Случалось, приходили старые солдаты — ратовать за воинские подвиги — и религиозные

фанатики — возгласить, что Судный день вот-вот наступит и вся эта борьба за мир — пустая трата времени. Дэвид, добродушно подшучивая, давал им высказаться.

Труднее было справиться с хулиганами-подростками.

Однажды они свалили помост, на котором стоял Дэвид. Он тяжело упал, поранил себе щеку. Буянов схватили, у поломанного помоста началась драка. К месту происшествия направились два полицейских в форме, и хулиганы поспешно скрылись в толпе.

С тех пор у него появилась охрана: около помоста всегда стояло несколько дюжих слушателей. Дэвид увидел среди них Чиппера и Уинди: друзья решили защитить его и других ораторов от диких выходок хулиганствующих юнцов, хоть Дэвид и шутил, что, мол, такие драматические инциденты лишь привлекут еще больше слушателей.

Однажды в самых последних рядах он заметил Герти с ее престарелым мужем и стайкой ребятишек.

Стала появляться на берегу Ярры и миссис Уильям Ли-Бересфорд со складным стулом и белой собачкой на поводке. Она усаживалась в первом ряду напротив трибуны и слушала с надменным вниманием, вытянув вперед ноги и уперев в грудь двойной подбородок.

— Очень мне занятно наблюдать за вами, Дэвид,— сказала она ему.— Вы так горячо призываете к разоружению.

— Вот как! — весело глядя на нее, воскликнул он.— Тогда, надеюсь, вы одна из новообращенных?

— Каждую неделю кладу в вашу проклятую копилку фунт стерлингов,— фыркнула мисс Колючка.

— Отлично!

Ей было приятно, что Дэвид оценил ее щедрость.

— Почему бы вам не вступить в наши ряды? — продолжал Дэвид.— Одолжите ваше имя известной романистки оргкомитету конгресса — и вы окажетесь в неплохой компании: Пристли, Жакетта Хоукс, Мулк Радж Ананд. Все они приедут на конгресс. Кроме того, среди наших сторонников есть несколько известных австралийских писателей.

— Не выношу комитетов.— Мисс Колючка сложила свой стул и направилась к аллее, потом остановилась, оглянулась на Дэвида.—А впрочем,— сказала вдруг она,— я сделаю все, о чем бы вы ни попросили, если это нужно вам. Хоть я и не верю, что конгрессы и резолюции способны остановить этих преступников, если они захотят развязать войну.

— Спасибо! Большое спасибо! — крикнул ей вслед Дэвид; она уже зашагала дальше, тяжело ступая больными ногами, и белая собачка побежала следом за ней.

— Ну, что я вам говорила! — торжествующе заявила Шарн. Она стояла рядом с ним и слышала разговор.— Кто только ни приходит теперь послушать Дэвида Ивенса!

— Благодаря вам,— напомнил Дэвид.— Удивительное дело: когда говоришь, чувствуешь живой отклик людей. Это не статьи писать.

— Зато статьи прочтут тысячи,— возразила Шарн,— а тут, на берегу Ярры или на каком-либо другом собрании, вы сумеете убедить человек двадцать или около того. К тому же печатное слово дольше живет, а то, что вы произнесли, быстро забывается, улетучивается, как туман над рекой.

— Так вы сожалеете, что сделали из меня оратора? — пошутил Дэвид.

— Я надеюсь, что вы не разучитесь писать.

— Конечно нет,— заверил ее Дэвид.— Но я уже жду встреч с моими слушателями. Жду с каким-то особенным чувством, иду к ним, словно к братьям.

— Какой же вы идеалист! — вздохнула Шарн.— Надо смотреть

правде в глаза, не забывать о том, что нас может ожидать в борьбе за мир и социализм. Какой-нибудь скандал или приступ шпиономании может сразу все испортить, вы же знаете. А газеты будут лишь подстегивать «патриотическую» истерию.

— Но ведь кое-кто из политических деятелей и сейчас пытается помешать конгрессу,— заметил Дэвид.— Только народ поумнел, понимает, кто за, а кто против него.

— Может, вы и правы.— Шарн поддалась его неистребимому оптимизму.— Во всяком случае, похоже, что конгресс пройдет с успехом. Посидим тут немного, посмотрим на закат,— предложила она, когда они проходили мимо деревянной скамейки под зазеленевшими молодой листвой деревьями.

В туманной дымке мигали огни города, длинными зыбкими нитями отсвечивая на воде. На небе набегали одно на другое легкие, окаймленные светлыми ободками облака.

— О, Дэвид! — Шарн неожиданно положила голову ему на плечо, словно была не в силах больше сдерживать свои чувства.— Не покидайте меня, как тогда...

— Простите меня! — Дэвид не мог объяснить ей всего, рассказать, в каком он был тогда смятении, почему так жестоко обошелся с ней.— На меня нашел какой-то мрак,— пробормотал он.— Я чуть было не стал отступником, Шарн.

— Я не хочу знать почему,— сказала она.— Быть рядом с вами — вот все, что мне нужно.

Часть III

Глава I

Дэвид заканчивал свою статью «Самый разумный путь — разоружение» уже поздно ночью.

Он поднял глаза от машинки — за окном была глухая темнота, дул ветер, и дождь хлестал по освещенному стеклу, ручьями сбегая вниз. Какая-то тень мелькнула в полосе света и исчезла за сеткой дождя — или ему показалось?

Дэвид снова углубился в свои доводы в пользу разоружения. Он начинал статью с уже известного вопроса: «Что нужно сделать, чтобы миллиарды долларов, которые мир сейчас приносит в жертву смерти, стали служить жизни?» и затем анализировал ответы, в основу которых были положены доклады экспертов Организации Объединенных Наций и других крупных экономистов.

Нахмурившись, Дэвид глядел на стопку книг, брошюр, бюллетеней, статистических отчетов и сводок, из которых он пытался сделать выжимку. Едва уловимое движение за окном прервало его мысли: он почувствовал, что за ним кто-то наблюдает.

Дэвид снова поднял глаза — прямо перед ним было лицо, бледное, залитое дождем, с безумными глазами и полуоткрытым ртом. Где-то он видел его, но где?

— Мистер! — донесся до него сдавленный шепот.

— Тони! — Дэвид оттолкнул стул и выбежал на улицу, ветер и дождь накинулись на него.

Юноша стоял под окном, прижавшись к стене. Дэвид повел его к себе в комнату, тот сопротивлялся, хотя и слабо.

— Зря я к вам пришел, мистер, зря! Меня ищут! А бабушка умерла, и куда деваться, я не знаю.

— Очень хорошо сделал, что пришел,— стал успокаивать его Дэвид.— Ну-ка раздевайся — ты совсем мокрый, сейчас я дам тебе что-нибудь. А потом расскажешь мне, что у тебя стряслось,— если хочешь.

Тони сбросил промокшую одежду и надел рубашку и брюки, которые дал ему Дэвид,— худой, невысокий паренек чуть не утонул в них. Дэвид захохотал, но Тони даже не улыбнулся.

На его худом, измученном лице застыли тоска и страх. Он потянулся к брошенному на пол мокрому пиджаку за пачкой сигарет. Дэвид зажег спичку и поднес к зажатой в трясущихся пальцах сигарете. Тони жадно затянулся. Едва вдохнув едкий дым, Дэвид понял, что́ тот курит.

— Ты опять взялся за старое,— сказал он тихо.

— Я не хотел,— всхлипнул Тони,— не хотел даже глядеть на них. В лечебнице я не выкурил ни одной... А потом Янк поймал меня — две недели назад — и начал заставлять насильно... чтобы я делал то, что ему надо...

— Понятно.— Дэвид произнес это слово машинально: понять то, что говорил Тони, было довольно трудно.

— Не верите, да? — с отчаянием крикнул Тони и швырнул пачку с сигаретами.— Вот, возьмите, они мне не нужны. Жил же я без них — и опять буду жить... Эх, только бы уйти мне в море!

Дэвид поднял пачку, повертел с любопытством и положил на стол среди бумаг.

— Бы не думайте, я не за помощью пришел.— Голос Тони срывался.— Вы мне только скажите, что мне делать, как скрыться? Я перед вами виноват. Удрал из лечебницы... но ничего больше не оставалось: полицейские привели одного парня, он меня узнал... я испугался, вдруг он скажет Янку, где я.

Тони тяжело опустился на стул, который подставил ему Дэвид, и затих, беспомощный, несчастный.

Дэвид не стал его расспрашивать — пусть парень сначала немного успокоится — и включил электрический чайник, чтобы приготовить ему кофе.

Когда Тони выпил кофе, Дэвид спросил мягко:

— Итак, ты убежал. А потом?

Ему важно было узнать, что происходило с Тони, пока они не виделись. Видимо, и Тони хотелось обо всем ему поведать, и, понемногу успокаиваясь, совладев со страхом, который пригнал его сюда, Тони стал рассказывать:

— Потом пробрался на «Димбулу» — она как раз отплывала на Запад — и спрятался на ней.— Глаза у Тони посветлели.— Ну и худо же мне было, мистер! Суток трое выворачивало. Матросы нашли меня — двое их было,— пожалели... принесли воды, дали поесть... Как-то ночью я вылез на палубу подышать и попался на глаза второму помощнику. У него был нюх на зайцев. Каждый рейс ловил парочку и во Фримантле сдавал полиции. Но мне повезло.— Тони оживился.— За меня заступился один человек, он ехал четвертым классом на палубе. Пожилой такой. Он видел, как второй помощник на меня накинулся. Вы не поверите, мистер, он сам пошел к капитану и сказал, что позаботится обо мне, если меня не сдадут в полицию. Болди мне потом рассказывал, он признался капитану, что тоже удрал на пароходе, когда был мальчишкой: «Ребятам хочется приключений, вы же знаете, сэр. А в тюрьме, с ворами, чему хорошему парень научится?» И знаете, что сказал ему капитан? Я, говорит, мистер Болдуин, тоже убежал из дому, когда был мальчишкой, и ничего, все обошлось. Только, говорит, не могу же я разрешить всем ездить зайцами. Ну да ладно, если вы станете за ним приглядывать, мы не будем сообщать в полицию.

Дэвид обрадовался, увидев на хмуром лице Тони улыбку.

— Хороший человек этот капитан, правда, Тони?

— Еще какой хороший-то! И Болди тоже. Его все называли Болди, хотя на самом деле его зовут Монтегю Болдуин. Он взял меня к себе

жить, устроил на работу — я убирал мясной магазин и разносил заказы. Но знаете,— прервал себя Тони,— меня так тянуло в море! Недаром я любил занятия с нашим старым капитаном в лечебнице. А когда жил у мистера Монтегю, чуть не каждый день ходил в порт, болтал с матросами со всех судов, которые там стояли. И вдруг как-то раз слышу: «Привет, Тони! Как дела?» Гляжу, Тэд Диксон, матрос с «Димбулы», который тогда помог мне. Я ему говорю: «Все в порядке», а он: «Зря ты время теряешь в своей лавке, приятель. Почему бы тебе не зафрахтоваться на какой-нибудь люгер, что ходит вдоль побережья? Ты парень крепкий, попытай-ка счастья».— «Думаете, возьмут?» — спрашиваю. Тогда Тэд замолвил словечко своему приятелю на «Вечерней звезде». Ну, и в общем капитан Питерс взял меня в камбуз помогать коку. А через месяца два кто-то из команды списался, и я стал матросом второго класса. Честное слово, мистер, моряки самые лучшие люди в мире! Помогли мне разобраться в такелаже. Никогда не ругали, если я делал чего не так. В первый же рейс я много чему научился. Знал все румбы, мог стоять у штурвала, делал все наравне с другими, чинил, грузил. Через год встретил Тэда во Фримантле, сказал ему, что получил звание матроса,— вот он обрадовался. Когда мы пришли в Мельбурн, я так расхрабрился, что решил показаться домой, повидать мать с бабушкой, рассказать, что у меня все идет на лад... все прекрасно...

Он сжал кулаки и усмехнулся.

— И тут — осечка. В порту есть одна сволочь по прозвищу Громила Педро. Он меня узнал, сказал Янку, что моя посудина ходит в Китай и я могу пригодиться. Янк меня выследил. «Выполнишь порученьице в Гонконге, говорит, я извещу своих приятелей, а они передадут тебе сверток. Ты его спрячешь и доставишь мне». «Не дождешься,— говорю я,— хоть сдохни». А он: «Смотри,— говорит,— это как бы тебе не сдохнуть, если откажешься». Что мне было делать, мистер? Знали бы вы, как я испугался в Гонконге, когда увидел на своей койке чемоданчик! Конечно, спрятал его среди своих вещей в шкафчике, только разве таможенников проведешь, они вмиг отыскали эти проклятые игрушки, начиненные героином. Я успел удрать, но полиция меня ищет... Пропал я, мистер. Меня поймают, это уж точно. И придется мне тихо-молча идти за решетку. А выдам Янка — банда меня прикончит... Ведь это он убил ее! — весь дрожа, вдруг выкрикнул Тони.— Слышите, он! Он убил миссис Росси, а я все видел. Янк боялся, что я расскажу полиции.

— Миссис Росси?.. Расскажешь полиции? — переспросил Дэвид. Из глубины памяти стали всплывать смутные воспоминания.— И поэтому ты у него в руках?

Он не понимал, почему Тони так боится. И вдруг вспомнил: вечер после возвращения из загородного домика Мифф! Последний номер «Курьера» пестрел заголовками об убийстве некой Росси. Когда он забрел в ресторанчик неподалеку от дома, где произошло убийство, официантка приняла его за сыщика. Вот, значит, что тут выясняется, подумал он, однако по-прежнему спокойно глядел на Тони.

— Ты должен рассказать мне все,— наконец прервал он молчание,— иначе я не смогу тебе помочь.

— Она была очень добрая,— сказал Тони еле слышно.— Разрешала с ней спать. Мне было тогда всего шестнадцать, но она говорила, что я настоящий мужчина, многие ее дружки мне в подметки не годятся. С ними она спала из-за денег, а я... у меня-то не было ни гроша. Я ее очень любил... прямо как сумасшедший. Она тоже говорила, что я ей нравлюсь. Альберто, мужу Лиллы, было наплевать на ее дружков. Он работал на Янка. «Какой от него прок? — говорила она.— Ему кроме марафета ничего не надо». Но я не знал, что Янк тоже к ней заглядывает. Я в тот вечер вхожу и слышу, что они разговаривают, Янк и Лилла. А я

как раз наловил на молу рыбы и принес ей. Они были в кухне. Чего-то спорили и кричали. Лилла говорит, я ясно слышал: «К черту все, я уезжаю, отдай мне мою сотню. Не отдашь — натравлю на тебя легавых». Янк к ней кинулся и схватил за горло. Они упали, начали бороться, я слышал — Лилла крикнула. Тут я вбежал, а Янк уже поднимается с полу. «Ты только сейчас пришел?» — спрашивает. Я гляжу на него во все глаза, ничего не соображаю. «Нет,— говорю,— не только сейчас». Как он в меня вцепится — ну, думаю, конец, тоже сейчас задушит. «Пикнешь хоть слово, щенок, и крышка тебе Ты ничего не видел, ничего не слышал, ясно?» Лилла лежала мертвая, я прямо ошалел от ужаса и горя... В общем, струсил я, мистер, не пошел против Янка...

Тони обхватил голову руками и зарыдал.

— Ты еще кому-нибудь рассказывал об этом?

— Бабушка вытянула из меня всю историю, когда я пришел домой,— прошептал Тони.— Она уложила меня в постель и сказала Янку, что я заболел. Но он стащил меня с постели и привел к себе. Пока полиция рыскала вокруг, искала убийцу — он глаз с меня не спускал.— Тони истерически расхохотался.— И никому не пришло в голову допросить меня, никому! А сам я признаться боялся. Альберто исчез: Янк куда-то его спрятал. Полиция-то его искала.

— И потом ты начал работать на Янка?

— Ага,— жалобно всхлипнул Тони,— доставлял товар уличным торговцам. В Ричмонде была одна забегаловка, мы там всегда встречались. Они налетали на меня, как голодное воронье. Но скоро и сам я стал такой же, ни о чем, кроме марафета, думать не мог. Янк увидел, что держать меня теперь накладно, и решил отделаться от лишней обузы: я воровал товар, меня обсчитывали... Он велел ребятам избить меня. А вы меня подобрали в переулке за рестораном.

Знал ли Дэвид в ту ночь, какую ношу взваливает на себя, какая огромная ответственность на него ложится? Но теперь отступать было поздно, нельзя оставить дело на полпути, невозможно бросить Тони — ведь паренек ему поверил...

«Значит, я не обманулся,— подумал Дэвид.— Не напрасно я старался вытащить его из грязи, в которую он попал». Тони так быстро встал на ноги, сумел стать хорошим моряком, а ведь совсем еще мальчишка. Если его вытянуть из этой истории, он наверняка оправится и будет честно трудиться.

Да, Тони обязательно нужно помочь. Это решено. Но как? Пока что Дэвид ничего не придумал.

— Я рад, что из тебя вышел хороший моряк,— сказал он Тони.— Не вешай нос, сынок, мы еще потягаемся с твоим Янком. А сейчас тебе не мешает вздремнуть. Ложись-ка на мою кровать, утром поговорим.

Глава II

Измученный усталостью и страхом, Тони сразу заснул. Дэвид поднял с полу его куртку и брюки, повесил на стул сушиться, подвинул башмаки к батарее. Потом поглядел на разбросанные по столу страницы своей статьи. Мысль, так ясно и логично развивавшаяся всего несколько минут назад, сбилась. Он начал читать последнюю страницу, еще не вынутую из машинки, но буквы прыгали и сливались, он не понимал ни слова. Невидящими глазами он глядел в дождь и темноту, из которых, словно призрак, появился Тони.

На глаза Дэвиду попалась пачка сигарет, которую швырнул ему Тони,— она все еще лежала на столе. Он рассеянно повертел ее в руках и бросил в шкаф, куда складывал рукописи.

Дэвид не сомневался, что юноша рассказал ему правду. Если он

втянется в эту историю с Тони, его, вероятно, ждут неприятности. Дэвид жадно курил, раздумывая, что делать и как быть.

Тони спал тревожно, вскрикивал, что-то бормотал во сне. Дэвид поглядел на него — в крепком молодом теле, в резких чертах лица угадывалась скрытая сила.

Это был уже не тот жалкий, растерянный мальчишка, которого он когда-то подобрал на улице ночью. Море закалило его, но он еще не до конца изжил неуверенность и страх, иначе не попался бы в ловушку, куда его заманила банда торговцев наркотиками. Нужно спешить, сказал себе Дэвид, пока эта ловушка не захлопнулась.

Он осторожно вытащил из-под головы спящего одну подушку и расстелил на полу коврик.

Дэвид разделся и лег на пол, но сон не шел.

Мозг его лихорадочно работал, и скоро Дэвид отказался от надежды забыться и отдохнуть. Он перебирал в уме все сколько-нибудь реальные возможности помочь Тони. Действовать нужно было немедленно.

Во-первых, Тони надо спрятать, и спрятать так, чтобы банда Янка его не нашла.

Дэвид не сомневался, что Янк пришлет к нему своих молодчиков. Они знают, что Дэвид уже раз помог Тони ускользнуть от них, и теперь наверняка заподозрят, что он укрывает Тони от них и от полиции.

Они, по всей вероятности, боятся, как бы полиция не опередила их и не арестовала Тони. Юноше же они страшнее, чем полиция. Янк хоть и грозил выдать его властям, но никогда этого не сделает: ему это невыгодно, он просто запугал юношу и держит таким способом в руках. Сейчас Тони подлежит аресту за то, что пытался тайно ввезти наркотики в страну. Янк и его банда уверены, что, если на Тони нажмут, он во всем сознается и их предприятие накроют.

Дэвид понимал, что, помогая Тони, он ставил себя в сомнительное положение — получалось, что он занимался укрывательством.

Оставаться в его комнате Тони опасно — но куда же его отвезти, где бы ему не грозила опасность?

И вдруг Дэвид вспомнил: дачный домик Мифф. Ну конечно! Он спросит ее, можно ли отвезти туда Тони, и возьмет у нее на день машину. За окном уже почти рассвело, когда он решился пойти к Чезаре и поручить ему Тони, пока он, Дэвид, договорится с Мифф.

Глава III

Чезаре, не раздумывая, согласился присмотреть за Тони. Дэвид немедленно отвел юношу к нему в каморку, и Чезаре снова лег — поспать немного, пока не наступит день.

Теперь Дэвид немного успокоился: банда не сразу сумеет найти Тони. Но полиция его тоже ищет, об этом нельзя было забывать. О себе Дэвид сейчас и не думал — о наказании, которое ожидает тех, кто оказывает помощь и содействие людям, укрывающимся от правосудия. Для этого будет время потом, говорил он себе. А пока надо помешать банде снова затащить парня в трясину.

Тони и Роб — почему они связаны в его сознании? Может быть, помогая Тони вернуть свою гордость и независимость, он заглушает упреки совести в том, что не уделял достаточно внимания Робу? А, не все ли равно, какова глубинная, подсознательная основа его побуждений?

Дэвид чувствовал ужасную усталость. Незаметно он заснул, да так крепко, что не слышал ни фабричных гудков, ни звонков трамваев, ни шума машин, устремившихся к центру.

Разбудил его только громкий стук в дверь.

— Уже половина десятого! — кричала миссис Баннинг.— Если хотите завтракать, поторапливайтесь. Не буду я вас целый день дожидаться.

Она была вне себя. Каша у нее подгорела, сказала она Дэвиду, молоко ушло — и все из-за того, что она не хотела дать завтраку остыть.

— Уж простите меня на этот раз,— покаянно сказал Дэвид,— больше не буду просыпать, даю слово.

Он проглотил яичницу с высохшим беконом, откусил кусочек подгоревшего гренка, выпил кофе и сказал с самой милой, обаятельной улыбкой:

— Не сердитесь, миссис Баннинг, голубушка. Я всю ночь работал и заснул только под утро.

— По-моему, вы ночью с кем-то разговаривали.

— Я с кем-то разговаривал? Да что вы, это вам приснилось! — засмеялся Дэвид.

Но, идя по окутанной липким туманом улице к магазину на углу, он с тревогой думал, много ли из его разговора с Тони она могла услышать.

Сказав миссис Баннинг, что он забыл кое-что дома, Дэвид вернулся и осторожно прошел через черный ход в каморку Чезаре.

Он тихо открыл дверь, чтобы не разбудить Чезаре. Тони стоял у маленького оконца и тоскливо глядел во двор.

— Хозяйка ни в коем случае не должна видеть тебя,— предупредил его Дэвид.— Пока Чезаре спит, она сюда не войдет. Но лучше ей вообще не знать, что у Чезаре кто-то есть.

— Хорошо, мистер.— Тони отошел от окна.— Я глядел на птицу под дождем, у нее такой несчастный вид. Почему никто не возьмет клетку в дом?

— Это мой приятель Перси,— засмеялся Дэвид.— Я скажу миссис Баннинг — пусть поставит его на террасу.

Погруженный в свои мысли, Дэвид петлял среди потока машин, пробираясь к высокому зданию, где помещался оргкомитет. Придется просить секретаря освободить его на какое-то время от работы. Он сейчас вряд ли сможет бывать на собраниях. И потом, если, укрывая Тони, ему придется столкнуться с бандой Янка или с полицией, лучше комитету прервать на время с ним отношения.

За столом, где обычно сидел секретарь, он с удивлением увидел Шарн.

— Сэм уехал в Сидней, там сейчас конференция,— пояснила она.— А у меня каникулы, вот я и провожу их здесь.

Дэвид придвинул стул и сел. Он избегал ее взгляда, она же сразу заметила, какое у него усталое, измученное лицо.

— Что с вами, Дэвид? — встревожилась она.— Вы заболели?

— Нет, я здоров.— Он криво усмехнулся.— Но попал черт знает в какую мерзкую историю.

— Вы мне можете рассказать?

— Пока нет. Свалилось на меня прямо как снег на голову. Но пасовать нельзя. Самое скверное, что мне какое-то время, видимо, нельзя здесь появляться.

— Неужели дела обстоят так худо?

— Не знаю, чем все кончится,— признался Дэвид.— Речь идет о несовершеннолетнем правонарушителе. Мне, наверно, будет нужен адвокат. Вы не знаете, есть у нас кто-нибудь, с кем можно посоветоваться?

— Ллойд Мейджериссон,— не задумываясь, сказала Шарн.— Он нас поддерживает, и юрист он неплохой, дело свое знает. За послед-

нее время он несколько раз защищал несовершеннолетних правонарушителей.

— Кажется, это то, что мне нужно,— сказал Дэвид, делая, однако, вид, что это не очень его занимает.

Шарн стряхнула с сигареты пепел и ждала, что он скажет дальше.

— Мне очень тяжело отказываться сейчас от работы, Шарн. Я давно не чувствовал такого подъема, не испытывал такой радости от своего дела. Но обстоятельства сильнее меня. Это как раз такой случай, когда человек не имеет права отойти в сторону, хотя меня, наверно, начнет преследовать банда хулиганов... и вообще эта история сулит массу неприятностей.

— Понятно.— На миг лицо Шарн словно осветилось изнутри.— Но что бы ни случилось, Дэвид, помните: я с вами. Одно только слово — и я сделаю все, что в моих силах. Я не верю, что вы способны совершить бесчестный поступок и нанести вред тому, чему мы оба с вами служим.

— Спасибо, славная вы моя девочка.

Шарн вспыхнула от радости.

— А теперь мне пора,— продолжал Дэвид смущенно.— Скажите нашим, пусть не думают обо мне плохо, ладно?

Он вышел на улицу и направился к трамвайной остановке, чтобы ехать к Мифф. Трамвай скрипел и дребезжал, и в голове у него, казалось, тоже что-то скрипело и дребезжало.

Мифф гладила в кухне, залитой бледным светом солнца. На стуле рядом с ней стояла корзина с детскими вещами.

— Это ты, папочка! — радостно вскричала она, удивившись, что он пришел в такое необычное время.— А я как раз о тебе думала.

Он подошел к ней, и она выдернула шнур.

— Собиралась позвонить тебе в комитет и позвать сегодня к нам обедать.

Как и Шарн, она тоже немедленно почувствовала, что на душе у Дэвида неспокойно.

— Что случилось? — встревоженно спросила она.

— Понимаешь, я попал в довольно неприятную передрягу,— неохотно начал Дэвид,— тебя я в нее впутывать не хочу. Но мне нужна твоя машина на сегодняшний вечер и на несколько дней ваша хижина.

— Ты ведь знаешь, куда мы кладем ключ? Под старую колоду во дворе. И таратайку нашу тоже, ради бога, бери, только помни: на подъемах у нее иногда мотор глохнет. Билл говорит, пора ее на свалку, надо купить что-нибудь поприличнее. Но я считаю, пока обойдемся — сейчас деньги нужны партии и движению за мир.

— Черт знает, как все нескладно. Дело в том, что мне придется на время прекратить работу в оргкомитете,— озабоченно сказал Дэвид.

— Господи, да что же стряслось? — совсем встревожилась Мифф.

— Скоро узнаешь — особенно если то, что я задумал, сорвется,— добавил он, усмехнувшись.

Ему не хотелось рассказывать Мифф, как мало у него шансов перехитрить банду, да и полицию тоже,— зачем ее волновать?

— Как ребятишки? — Легче всего было отвлечь Мифф, переведя разговор на детей.

— Ребятишки отлично,— заулыбалась она.— Только кончился дождик, побежали играть во двор. Позвать?

— Лучше не надо. Сегодня мне не до чехарды. Я ведь всего на несколько минут заскочил. Что у Гвен? Я ее давно не видел.

— Как? — засмеялась Мифф.— Ты ничего не слышал? О ней-то я и хотела поговорить с тобой сегодня вечером. Брайан послушался

моего совета и похитил ее: пригласил прокатиться и привез на свою ферму возле Орбоста. Хозяйство там ведет его мать, она с распростертыми объятиями приняла девушку, из-за которой ее Брайан совсем потерял голову. Гвен в нее влюбилась, и в ферму тоже, и в животных. Решила, что ей там нравится, а Брайана она любит больше, чем сама думала. Через месяц свадьба.

— Давно не слыхал таких приятных новостей! — Дэвид тоже засмеялся, но тут же умолк.— А где будет свадьба? — спросил он, представив себе Гвен в подвенечном платье и себя в черном костюме в свадебной процессии.

— Гвен не хочет возвращаться в город: боится, что Клод Мойл устроит скандал. Она его прогнала, судя по всему. Брайан подвернулся как раз в тот момент, когда ее роман с Клодом зашел в тупик. Она говорила, Клод приставал к ней с ножом к горлу и до того ей опротивел, что она имени его слышать не может. Брайан — совсем другой, перед ним она не устояла.

— И прекрасно сделала, что не устояла.— Дэвид помолчал. Он был немного огорчен, что Гвен ему ничего не сообщила.

— Во всяком случае, она не хочет никакого шума, пастор их обвенчает под эвкалиптом. Страшно романтично и необыкновенно. Гвен в восторге, нас всех приглашает в Орбост на неделю. Знаешь, что она написала? «Надеюсь, папа согласится сыграть роль любящего родителя, который выдает свое чадо замуж».

— Она сама могла бы попросить меня,— тихо сказал Дэвид.— Мне бы это было приятно.

— Ты же знаешь Гвен! — Мифф уловила скрытый в его словах упрек.— Она считает, раз мы с тобой видимся, то я и передам тебе приятную новость.

— Ну что ж, Гвен счастлива, и скоро у нее будет своя семья, теперь можно о ней больше не тревожиться. Так ведь, детка? — сказал Дэвид.

Слава богу, подумала Мифф, у него уже не такой удрученный вид, как полчаса назад, когда он вошел в ее солнечную кухню. Вести о Гвен немного развеселили его.

Дэвид нежно поцеловал ее.

— Спасибо за все, дорогая моя. А теперь мне пора.

Мифф смотрела вслед старенькой, потрепанной машине, за которой он к ней приходил. Зачем она ему понадобилась? И жаль, что она не допыталась, почему он так встревожен.

Глава IV

Когда они выезжали из города, Тони ужасно нервничал.

Вечером Дэвид зашел к Чезаре и спросил, может ли он незаметно увезти Тони из дому в своем грузовике, когда поедет в ночь работать на рынок. Дэвид поставит старенький «форд» Мифф на углу и будет ждать в нем, Тони быстро пересядет к нему, и они поедут дальше.

Он не рассказал ни Тони, ни Чезаре, как обрадовала его миссис Баннинг, когда он вернулся домой:

«Должна признаться, странные у вас друзья, мистер Ивенс. Сегодня утром приходили какие-то мальчишки, по виду настоящая шпана, спрашивали вас. Двое их было».

Дэвид постарался изобразить крайнее изумление.

«Сказали, ищут своего приятеля, а вы, наверно, знаете, где он. И до чего же наглые! Хотели открыть вашу комнату и войти. Но я живо их выставила за дверь».

«И правильно сделали! — засмеялся Дэвид.— От таких друзей подальше».

«Они мне сразу не понравились,— сказала миссис Баннинг.— И Перси тоже. Увидел их и так раскричался, хоть святых выноси...»

Дэвиду хотелось отвлечь Тони от мрачных дум, занять его разговором, и он начал рассказывать ему о Чезаре, какой это добрый и веселый человек и какой преданный, отзывчивый друг.

Но на всех перекрестках юноша съеживался, прячась от света. Или ему вдруг начинало казаться, что черный «седан», который он видит в зеркальце, едет за ними. Он курил сигарету за сигаретой, проклиная задержки у светофоров, медленный поток машин. И только когда они выбрались из города и покатили по шоссе, он вздохнул с облегчением — их никто не преследовал.

Дорога углубилась в лес, и все внимание Тони переключилось на машину, он еле успевал удивляться тому, какие чудеса вытворял старенький «форд» Мифф: он лихо нырял в ямы, вырытые в крутом склоне зимними дождями и бегущими с гор потоками, и с грохотом подскакивал на ухабах.

— Ух ты, прямо как на море в шторм! — сказал Тони.

Дэвид молился, чтобы у них не сломалась ось и не погасли фары,— это была бы катастрофа. Они подъехали к владениям Мифф в глубокой, беспросветной темноте. Тони выпрыгнул из машины и открыл ворота.

— Ну и ну! — воскликнул он, когда машина обогнула купу деревьев и свет фар выхватил из темноты маленький коттедж.— И как вы только нашли его, мистер?

— Это домик моей дочери,— объяснил Дэвид.— Они здесь живут летом, иногда приезжают на субботу и воскресенье.

Ключ лежал под колодой, как и сказала Мифф. Дэвид отпер дверь в кухню, осветил ее фонариком и зажег керосиновую лампу. Тони внимательно наблюдал за его действиями.

— Вроде как у нас на баке, там, на «Вечерней звезде»,— заметил он.

— Здесь нет электричества.— От Дэвида не укрылось удивление Тони, когда тот так и не нашел выключатель.—И водопровода тоже нет. Воду берут из дождевой бочки. Зато имеется душ.

Тони помог Дэвиду перенести из машины продукты, которые тот захватил с собой.

— Завтра утром ты тут останешься один, сынок,— объяснил он Тони.— Я должен вернуться в город.

Вырвавшийся из уст Тони возглас несколько озадачил Дэвида. Он-то считал, что юноша готов на все, лишь бы выбраться из сложного положения, в которое он попал.

— Тут тебе будет хорошо,— сказал Дэвид.— Людей поблизости нет, а этого блока сигарет тебе дня на два хватит, пока я не приеду обратно.

— Господи, и почему вы столько со мной возитесь, мистер,— прошептал Тони,— никак не пойму!

— Я и сам не пойму, Тони,— признался Дэвид.— Просто сердцем чувствую, что должен помочь тебе выпутаться.

В ящике возле камина были дрова. Дэвид развел огонь и подвесил над ним чайник.

— Расскажи мне о Болди,— попросил он, усаживаясь в кресло.

— О Болди? — Тони заулыбался.— Да, мне повезло, таких, как он, не часто встретишь.

Дэвид положил отбивные на сковородку и стал заваривать чай.

Когда они кончили ужинать, Дэвид набил трубку и откинулся на

спинку кресла, задумчиво попыхивая. Тони закурил сигарету. Он глядел на огонь в камине и о чем-то думал.

— Ты, должно быть, немало повидал за это время, Тони? — спросил наконец Дэвид.

— Это верно, мистер,— живо отозвался Тони.— Я во многих местах побывал — Ява, Целебес, Филиппины, Йокогама, Гонконг. Когда мы ходили из Сиднея в Китай, я подружился с двумя ребятами — Уолли Пайком и Бобом Ридом. Вот здорово втроем проводили время на берегу!

— А как же случилось, что ты снова связался с бандой? Ты же сказал, что не согласился тогда работать на Янка? — задал вопрос Дэвид.

— Вы думаете, я по своей воле? — Тони зло выругался, но объяснять ничего не стал.

Дэвида одолевала усталость: бессонная ночь, напряжение долгой поездки, а горный воздух и дым от огня в камине довершили дело.

Он встал, потягиваясь и зевая.

— Пожалуй, сейчас самое время вздремнуть.

В кухне у Мифф стояла раскладушка. Дэвид бросил на нее два одеяла и подушку с дивана для Тони.

Сам он лег в комнате Мифф и крепко проспал до утра. Когда он проснулся, в окно светило яркое солнце, а на траве лежал иней.

Тони уже развел огонь. Они позавтракали яичницей с беконом, которую Дэвид поджарил на большой черной сковороде и выложил на синие тарелки Мифф. Потом Дэвид стал собираться.

— Два-три дня ты тут легко пересидишь, сынок, а там я вернусь,— сказал он Тони,— и постараюсь переправить тебя в другой штат. На тот случай, если у тебя кончатся сигареты, вот деньги. На холме есть магазинчик, до него четыре мили, но мой совет — не высовывай носа. Полиция, чего доброго, сообщила твои приметы по участкам.

— Да уж надо думать! — Тони, похоже, примирился с необходимостью сидеть в лесной хижине и ждать.

Дэвид направился к старенькому драндулету дочери.

— День сегодня будет великолепный. Завидую я тебе, Тони, такая тут тишина и красота. Ну, счастливо, сынок!

Глава V

— Такие вот дела,— закончил Дэвид свой рассказ Ллойду Мейджериссону.

Мейджериссон встал и заходил по узкому пространству кабинета между письменным столом и стеной в полках с папками, обдумывая то, что сообщил ему Дэвид, что-то про себя решая и прерывая свои размышления то вопросом, то замечанием.

Он рано начал лысеть и располнел, но все же казался моложе своих лет — круглое румяное лицо и добрые карие глаза за толстыми стеклами очков сбивали с толку тех, кто его не знал, вызывая сомнение в его опытности. В действительности это был очень дельный и способный юрист, добрый и мягкий человек, но находчивый и беспощадный противник в суде.

— Дело очень непростое, Ивенс,— наконец сказал он, садясь за свой заваленный папками стол.— Не знаю, понимаете ли вы это.

Он снял очки и тщательно протер стекла платком.

— Речь идет не только о том, чтобы вырвать парня из рук этой банды. Заодно вы навлечете на себя месть торговцев наркотиками.

— Да, об этом забывать не следует,— согласился Дэвид.— Но я не вижу другого выхода. Допустить, чтобы Тони стал жертвой шантажа?

— А как доказать, что это шантаж? — спросил Мейджериссон.

— Не представляю себе. Но я верю, что его принудили.

— Я должен поговорить с Тони.— Он нашел пятнышко на стекле и энергично принялся его тереть.— Пока нужно держать парня вне досягаемости этих хулиганов. Вы это сможете?

— Попробую,— сказал Дэвид.— Но если они его разыщут...

— Тогда придется вмешаться полиции. Вести дело будет довольно сложно, если, как вы говорите, парень отказался давать показания против банды. А тут еще это убийство...

— Не сообщая полиции имя убийцы, мы ведь таким образом занимаемся укрывательством уголовного преступника, не так ли?

— Совершенно верно.

— Янк грозился приписать убийство Тони,— заметил Дэвид,— но, по-моему, он его просто запугивает.

— Разумеется. А знаете ли, дело начинает меня интересовать. Не успокоюсь, пока не обезврежу этого мошенника — как его там зовут?

— Тони называет его Янк Делмер. Не знаю, настоящее это имя или у него есть другое.

Мейджериссон записал что-то в блокноте.

— И вы говорите, он часто бывает в этом ресторанчике, который открыт всю ночь...

— Хуже всего то, что у Тони нет никаких доказательств.

— Доказательства мы добудем,— пообещал Мейджериссон.— Я договорюсь с одним знакомым сыщиком, он последит за рестораном и разузнает о Делмере. Если они попытаются украсть парня, мы будем знать, что делать.

— А пока держать Тони под замком?

— Непременно.

— Я отвез его в горы. Там у моей дочери Миффанви домик. Вы со мной можете связаться через нее. Или я вам позвоню с почты неподалеку.

— Мифф — это жена Билла Берри? Я с ней познакомился, когда ваш профсоюз возбудил дело о пособиях. Она мне помогала. Очень толковая женщина.

На этом их разговор окончился. Дэвид поведал все Мейджериссону, и теперь ему стало легче.

Прежде чем идти к нему, Дэвид поставил в гараж машину дочери, но не посидел у нее, как обычно.

— Старушка не подвела меня,— сказал он Мифф.— Я ее сегодня заправил, имей в виду. Но мне хотелось бы воспользоваться ею еще и завтра.

— Конечно, папочка, в любое время,— ласково улыбнулась Мифф.

Он поцеловал ее и убежал, и она осталась стоять в раздумье, слегка встревоженная. Почему он ведет себя так таинственно?

А Дэвид спешил, чтобы поговорить с Чезаре, который примерно в это время вставал, отоспавшись после ночной смены; он втиснулся в переполненный трамвай, чтобы поскорее доехать до своего перекрестка.

— Сегодня эта шпана не появлялась,— сообщила миссис Баннинг, увидев, что Дэвид по обыкновению кормит Перси арахисом.

— Видно, поняли, что с вами шутки плохи,— засмеялся Дэвид.

— Еще бы,— сердито сказала она,— я в своем доме таких молодчиков не потерплю!

Дверь каморки Чезаре отворилась, он вышел и направился к ним.

— Ну, как делишки? — спросил он.— У меня есть бутылочка — винцо что надо! Один compagno принес. Не то, что ваша водичка. Пошли, пропустим по рюмочке, si?

— Пошли,— согласился Дэвид.

У себя в комнате Чезаре извлек из шкафа бутылку и поставил на стол — там оказался на редкость скверный самогон, мутноватый и жгучий, как огонь.

— Ну, что Тони? Ты его увез? — озабоченно спросил он Дэвида.

— Пока он в безопасности. Но я вот что надумал: если переправить его в другой штат, скажем, в Западную Австралию, он смог бы устроиться матросом на пароход? Для него это лучший выход.

— Si, si,— закивал головой Чезаре,— он хороший парень, Тони.

— А есть у тебя знакомые шоферы на дальних перевозках, чтобы захватили его с собой? — спросил Дэвид.

— Сейчас мы возим картошку,— сказал Чезаре,— на пару с Миком Райаном: я кончаю смену, он садится за баранку. Жаль, мой прежний напарник заболел, он из Западной Австралии.

— Вот бы с ним сговориться! — ухватился за эту мысль Дэвид.

— Он сказал, будет сегодня спать целый день.— Чезаре с минуту подумал.— Попробую замолвить ему словечко.

— Пожалуйста, Чезаре, и устрой, чтобы я с ним завтра увиделся.

Дэвид спешил. Он должен был еще встретиться с Шарн, чтобы договориться с ней о выступлениях на митингах, которые ему придется пропустить.

— Мне пора,— сказал он.— Спасибо тебе, Чезаре, за все. Утром увидимся

Глава VI

Шарн назначила ему свидание на другой день в маленьком тесном ресторанчике по соседству с Литтл-Коллинз-стрит.

Ожидая ее, Дэвид проглядывал вечернюю газету, которую купил у метавшегося среди потока машин на мостовой мальчишки-газетчика. Подняв глаза от газеты, он с удивлением увидел приближавшуюся к нему мисс Колючку.

— Ну, как дела? — крикнула она еще издали.— Как ветряные мельницы?

— Скрипят, но вертятся,— весело отозвался Дэвид.

— Можно мне посидеть с вами? — Она тяжело опустилась на стул напротив него.— Я уже отужинала.

И тут же накинулась на него по всегдашней своей привычке:

— Неужели вы до сих пор не убедились, что с вашими избитыми, устаревшими методами пропаганды далеко не уедешь? Чтобы люди поняли, чем грозит новая война — ядерная война,— их нужно хорошенько встряхнуть.

— Но как? — покорно спросил он.— Мы делаем все, что в наших силах. Приводим данные науки, убеждаем людей, что для их спасения и спасения других нужна организация, иначе предотвратить конфликт будет невозможно.

— Нужна кровавая жертва. Кто-то должен отдать свою жизнь за людей. Смерть на кресте — все еще символ для нашего поколения.

— Я не верю в такие драматические призывы. Эмоциональные потрясения быстро проходят.— Дэвид почувствовал, что высокомерные сентенции Колючки раздражают его, несмотря на его доброе к ней отношение.— Нет, жажде разрушения, которая охватила мир, можно про-

тивопоставить только взаимопонимание между народами, только совместные усилия, направленные на благо людей. Уже миллионы жизней были принесены в жертву под тем предлогом, что война даст миру мир. Гитлер хвастался, что зальет Европу кровью, чтобы создать свою Великую Германию. Мы должны сделать все, что можем, не жалеть ни сил, ни жизни, лишь бы такая бойня — а может быть, еще более страшная — не началась снова.

— Ну еще бы, господи! — воскликнула Колючка, пораженная страстностью и горечью в его голосе.

— Ах, миссис Ли-Бересфорд! Здравствуйте. Простите, Дэвид, я немного опоздала.— Перед ними стояла Шарн.— Не уходите! — попросила она отодвинувшую было свой стул Колючку.— Я знаю, вы с Дэвидом старые друзья, вам ведь приятно поговорить друг с другом.

Шарн нравилась Колючке — славная искренняя девушка, и голос у нее приятный. Она много раз видела Шарн на берегу Ярры, когда та раздавала брошюры, слышала ее выступления с трибуны Совета защиты мира.

— Мы тут с ним ссорились,— весело сказала она,— он не чает от меня отделаться.

Она с трудом поднялась, кляня артрит, и, прихрамывая, пошла к выходу.

— Это я ее прогнала,— огорчилась Шарн.— Но мне нужно с вами кое-что обсудить.

Им принесли еду, и Шарн рассказала, что комитет удовлетворил его просьбу, хотя все жалели, что он какое-то время будет отсутствовать.

— Надо же было этой вашей истории случиться именно сейчас!— На лоб ее набежала морщинка, она огорченно вздохнула.— Дэвид, а вы не можете мне рассказать?

Ее глаза смотрели на него с тревогой, голос звучал печально. Дэвид был растроган.

— Лучше не надо,— улыбнулся он.

— Ну что же, не хотите поделиться со мной своей заботой, не надо, я не обижусь. Я все равно верю вам и люблю вас.

— Святая вы моя простота! Не сердитесь, я только хочу уберечь вас от ненужной боли.

— Разве это поможет? — возразила Шарн.— Раз плохо вам, значит плохо и мне.— На ее бледном лице появилось хорошо знакомое ему упрямое выражение.— Если даже я никогда вас больше не увижу и вы никогда не будете относиться ко мне так, как я отношусь к вам, знайте, что я готова быть для вас тем, чем вы пожелаете — дочерью, матерью, возлюбленной или просто другом.

— В жизни не встречал такой глупенькой маленькой девочки! — Против его воли усмешка прозвучала ласково.

— Ничего не могу с собой поделать,— призналась Шарн.— Не отталкивайте меня, Дэвид! Я ведь только хочу быть там, где вы, что бы ни случилось.

Шарн надо было идти на собрание. Попрощавшись с ним у дверей ресторана, она обернулась и весело крикнула:

— До встречи, Дэвид!

Глава VII

Когда Дэвид подходил к дому, был уже почти вечер, зажигались огни рекламы.

Слава богу, насчет отъезда Тони он договорился Интересно, как-

то он там поживает, в лесу. Надо будет снова взять у Мифф машину и сообщить Тони о том, что завтра на рассвете Райан захватит его на своем грузовике.

Он сидел за столом и собирал страницы статьи, которую писал в тот вечер, когда увидел за окном Тони...

Прежде чем скрепить страницы и положить статью на стопку других рукописей, он решил пробежать ее глазами. Пока он читал, стало темнеть. Он поднял голову и не поверил своим глазам: за стеклом, смазанное сумерками, белело лицо Тони.

Дэвид бросился за дверь и втащил парня в комнату. Вид у Тони был пристыженный и в то же время вызывающий.

— Я там не выдержал, мистер,— прошептал он.— Все один да один. Хоть вой с тоски. Вы обещались приехать и не приехали.

— Я как раз собрался ехать,— сердито ответил Дэвид.— Вчера я разговаривал с адвокатом, который согласился защищать тебя, если в этом возникнет необходимость. А сегодня я нашел шофера грузовика, который едет в Западную Австралию и согласен захватить тебя с собой.

— Простите меня, мистер, пожалуйста, простите,— пробормотал Тони.— Там такая тишина, я прямо не знал, куда от нее деваться. Некому слова сказать, одни деревья да птицы, черт бы их побрал. Хуже, чем в тюрьме. Честное слово, мистер, я бы свихнулся, если бы не убежал!

Какая нелепица! Дэвид невольно вспомнил, как он жил в лесном домике, слушал шум деревьев и пение птиц, наслаждался уединением, красотой девственного леса. Ему не пришло в голову, что Тони может не вынести тишины и одиночества.

— Как ты сюда добрался? — спросил он.

— Дошел по тропинке до деревни, дождался на вокзале электрички и сел. Хорошо, что вы мне дали денег, а то пришлось бы топать пешком.

— За тобой не следили, ты уверен?

— Даже если следили, я легавых все равно перехитрил, мне не впервой,— похвастался Тони.

— В газетах напечатаны твои приметы,— озабоченно сказал Дэвид.— Что же мне теперь с тобой делать?

— Я могу пойти к этому вашему приятелю, к итальянцу, пересижу у него до рассвета, пока не приедет тот тип с грузовиком.

— Видно, так и придется поступить,— согласился Дэвид.— Только надо пойти спросить Чезаре...

Тяжелый топот ног по коридору прервал его слова. Дверь в комнату распахнулась. Вошли два сыщика. Дэвид их сразу узнал. Те самые, что разговаривали с ним вскоре после того, как он снял комнату у миссис Баннинг.

— Вот ты где, голубчик! — Один из них шагнул к Тони и схватил его за руки.— Давно мы за тобой охотимся!

От самонадеянности Тони не осталось и следа. Он стоял перед полицейскими без кровинки в лице.

— Пусти! — крикнул он, стараясь вывернуться, но державшие его пальцы сжались еще сильнее.

Все произошло так быстро, полицейские ворвались в комнату и бросились на Тони так неожиданно, что Дэвид растерялся не меньше юноши. Овладев собой, он спросил:

— У вас есть ордер на арест этого парня, сержант?

— Все в порядке, можете не волноваться,— сказал сыщик, который держал Тони за руку.— Парня разыскивает Британская таможенная служба. Но местная полиция тоже подключилась к этому

делу, поскольку молодой человек сбежал с корабля и пытался скрыться.

— Я друг этого юноши и прошу обращаться с ним вежливо.

— Вежливо? Скажите пожалуйста! — ухмыльнулся полицейский.— Знаем мы таких друзей. Мальчишка-то ведь оказался у вас в спальне...

Тони вырвался и, сжав кулаки, бросился на сержанта. Но тот снова схватил его за руку, заломил ее и с силой ударил Тони по голове. Еще раз и еще. Тони покачнулся, из носу хлынула кровь.

— Прекратите! — закричал Дэвид.— Вы не смеете его избивать!

— Избивать? Кто сказал, что я избиваю его? — спросил сержант таким тоном, словно это была лишь милая шутка.

— Я сказал,— ответил Дэвид.— Если нужно, я подтвержу под присягой, что вы ударили его по голове, и не один раз.

— Ты слышишь, Болл?

Полицейский, которого звали Боллом, дюжий, коренастый детина средних лет, захохотал:

— Слышу. Только вряд ли он станет выгораживать своего дружка. Пусть лучше подумает о своей шкуре, если мы дадим показания, как он тут развлекается.

Ярость и омерзение душили Дэвида. Он ничего не ответил на эту гнусность — боялся, что наговорит лишнего.

— И к тому же,— продолжал сержант (видно, сыщик в нем так и взыграл),— и к тому же сдается мне, что он со своим дружком в одной компании по части наркотиков.

— Неправда, неправда! — простонал Тони и тут же получил еще один удар.

— Ну-ка, Болл, обыщи комнату на всякий случай,— сказал сержант.— Чует мое сердце, тут не все чисто.

Болл принялся выбрасывать из шкафа книги. Потом выхватил из-под кровати чемодан и перевернул все, что там было, перерыл белье в комоде и обшарил карманы висевшего в шкафу выходного костюма Дэвида и пальто.

— Вы не имеете права! — возмущенно протестовал Дэвид.— Это черт знает что — избили парня, вверх дном все перевернули!

— Чего волнуетесь, разберемся,— пообещал Болл.

Из стенного шкафа полетели на пол рукописи. И вдруг Дэвид вспомнил: сигареты Гони, которые он туда положил.

Полицейский бросился на них, как коршун, открыл пачку, понюхал и просиял.

— Прошу вас! — с торжествующим видом заявил он.— Ну и чутье у тебя, Холл. Если не ошибаюсь, марихуана.

— Совершенно верно, Болл, она самая. Арестуй этого типа. Предъявим ему обвинение в хранении наркотиков.

— Но это просто нелепость! — возмутился Дэвид, однако, испугавшись, как бы они не приписали их Тони, тотчас добавил: — Они сюда попали случайно. Я никогда в жизни не курил марихуану.

— Мои это сигареты, мои! — выкрикнул Тони.— Он их у меня отобрал, чтобы я не курил.

Вырвавшись, он кинулся на Болла, который положил руку на плечо Дэвида. Но сержант снова схватил Тони и нанес такой удар в челюсть, что юноша рухнул у его ног. Дэвид бросился вперед, чтобы заслонить Тони от ударов, и получил их два или три. Что говорить, драться Болл умел, однако вид лежавшего на полу Тони так разъярил Дэвида, что он попытался защищаться и схватил полицейского за руку. Болл отшвырнул его, и в этот миг инстинкт самозащиты подсказал Дэвиду усвоенный в юности прием дзюдо: он согнул ногу и ударил Болла

коленом в пах. Болл грохнулся наземь. Когда он, ругаясь сквозь зубы, с трудом поднялся на ноги, в холодных глазах Холла мелькнула усмешка.

— Что, Джон, не ожидал? — спросил он.

Потом он ухватил Тони под мышки и попытался поставить на ноги, но тот бессильно качнулся и снова рухнул на пол.

— Помоги мне стащить его в машину,— попросил он Болла.

Боллу пришлось оставить Дэвида, и вдвоем они поволокли Тони из комнаты.

— И ты давай за нами,— обернулся Болл к Дэвиду.— В участке тебе предъявят обвинение в хранении наркотиков и в сказании сопротивления полиции. И не рыпайся, если не хочешь, чтобы на тебя надели наручники.

На дворе стояла миссис Баннинг, с изумлением глядя на полицейских, которые волокли к своей машине Тони, и на шедшего за ними бледного, растерзанного Дэвида.

Глава VIII

Сообщил Мифф об аресте ее отца Ллойд Мейджериссон: ему позвонили из полиции и сказали, что Дэвид Ивенс задержан вместе с молодым парнем по имени Антонио Дарра и находится в полицейском участке. Дэвид просил известить своего адвоката и позволить ему переговорить с ним. Ллойд сказал, что сегодня уже поздно что-либо предпринимать, но утром он первым делом выяснит, что произошло. Насколько он понял, мистер Ивенс оскорбил действием представителя власти.

Как бы то ни было, он, Мейджериссон, завтра утром явится в городской суд в качестве защитника мистера Ивенса и этого молодого человека, из-за которого, судя по всему, полиция и арестовала его, поговорит с мистером Ивенсом и сообщит Мифф, в чем именно обвиняется ее отец.

Мифф едва понимала, что говорил ей Мейджериссон. Ее ужасал не сам факт ареста — и Билл, и многие друзья не раз сидели в тюрьме за политическую деятельность,— нет, ее приводила в отчаяние мысль, что отцу придется находиться среди воров, пьяниц и убийц.

Уж если кому и известно, что в последнее время делал отец и почему им заинтересовалась полиция, так это, видимо, Шарн, решила она. Несмотря на поздний час, Мифф набрала номер Шарн. Для Шарн новость оказалась таким же ударом, как и для нее.

— Мне только одно известно,— сказала Шарн,— Дэвид очень боялся, как бы история, в которую его вовлекли, не повредила комитету. И сказал, что именно поэтому какое-то время не будет приходить на заседания.

— Господи боже мой,— всхлипнула Мифф,— да что же это за история?

С Шарн они договорились встретиться завтра в суде. Рано утром Мейджериссон позвонил ей, но все подробности рассказал, только когда она пришла в суд.

Мифф ушам своим не поверила. Но Ллойд был не склонен относиться к тому, что произошло, юмористически, хотя накануне вечером и сам посмеялся, представив себе, как Дэвид оскорбляет действием представителя закона. Теперь-то он видел, что обвинения против Дэвида выдвигались серьезные: ему грозило не меньше месяца тюрьмы. Многое, конечно, будет зависеть от показаний полиции и от настроения судьи. Но сегодня заседание должен вести Бернард Стразерс, а он недавно зая-

вил, что его начинают тревожить нападения на представителей власти и порядка, и обещал суровую кару тем нарушителям, которые попадут к нему

Дюжий полицейский провел Мифф и Шарп на галерею для публики. Они сели впереди. Когда вышел судья, они встали вместе со всеми. Наконец шарканье ног и тяжкие вздохи утихли. Начали разбирать дела по обвинению в пьянстве, хулиганстве, в краже, в нарушении порядка.

Но вот Мифф и Шарп насторожились — секретарь возгласил:

— Дело номер двадцать три: Дэвид Делайн Ивенс!

Дэвид вошел через боковую дверь в сопровождении полицейского. Лицо у него было серое и словно грязное — наверно, оттого, что не спал ночь и нечем было побриться, решила Мифф. Но густые, зачесанные назад волосы по-прежнему поднимались непокорной копной, а глаза, встретившиеся с глазами Мифф, улыбались. С возвышения, где находится скамья подсудимых, он сразу же разглядел среди сидевших на галерее дочь. И рядом с ней Шарп.

Судья прокашлялся и монотонным голосом начал читать:

— Дэвид Делайн Ивенс, вы обвиняетесь в том, что вечером второго октября в доме номер тридцать пять по Беллэйр-террас, Парквилл, вы оказали сопротивление сержанту полиции Холлу, находившемуся при исполнении своих обязанностей. Признаете себя виновным или нет?

— Не признаю,— твердо ответил Дэвид.

Судья зачитал второй пункт:

— Далее вы обвиняетесь в том, что вечером второго октября в доме номер тридцать пять по Беллэйр-террас, Парквилл, вы ударили констебля Болла. Признаете себя виновным или нет?

— Не признаю,— не задумываясь, повторил свой прежний ответ Дэвид.

Вызвали свидетеля Холла.

Он поднялся на возвышение и приступил к изложению фактов, послуживших основанием для ареста. Вечером второго октября ему сообщили, что матрос, разыскиваемый таможенной службой за тайный провоз в Австралию наркотиков, находится в городе. Он и констебль Болл пошли по адресу, который им был дан — Парквилл, Беллэйр-террас, дом тридцать пять,— и нашли укрывавшегося от правосудия преступника, а именно: матроса Антонио Дарру, в спальне обвиняемого Дэвида Ивенса. Им, как представителям закона и порядка, вменяется в обязанность оказывать в случае необходимости содействие таможенным властям, что они и сделали.

— Дарра пытался помешать мне и констеблю Боллу в выполнении наших обязанностей,— закончил он.— При аресте оказал сопротивление, а Ивенс стал его защищать и набросился на Болла. Тогда Болл заявил обвиняемому, что он арестован, и тот сбил его с ног запрещенным приемом. Падая, констебль Болл разбил себе о спинку стула правую щеку, и ему потребовалась медицинская помощь.

С каждой новой подробностью, которую сообщал сержант Холл, лицо мистера Стразерса принимало все более мрачное выражение, нижняя губа угрожающе выпячивалась.

— С позволения вашей чести,— заявил Ллойд Мейджериссон,— мой подзащитный отказывается признать себя виновным, поскольку имела место провокация, вызвавшая необходимость самообороны. Он утверждает, что грубость сержанта Холла в обращении с юношей граничила со зверством. Что касается второго пункта обвинения, то он говорит, что был вынужден защищать себя от возможного увечья.

Настал черед Дэвида. Прежде, чем приступить к допросу, секретарь протянул ему потрепанную Библию и отбарабанил стандартную

формулу, которую тот должен был повторить: «Клянусь говорить правду, только правду и ничего кроме правды, и да поможет мне бог».

Раздался спокойный, твердый голос Дэвида:

— Прошу согласно положению о свидетельских показаниях разрешить мне не давать клятвы, а просто сделать заявление о том, что я буду говорить правду.

Секретарь суда пришел в замешательство. Он принялся листать книги, шептаться с прокурором.

— Ну, что там такое? — раздраженно спросил судья.— Чего мы ждем?

Секретарь встал.

— Просьба обвиняемого столь необычна, ваша светлость, что я в растерянности. В моих справочниках нет другой формулы. Вот и сержант Холл говорит то же самое.

— Я надеюсь, ваш подзащитный отдает себе отчет, мистер Мейджериссон,— сказал судья, крайне недовольный нарушением судебной процедуры,— что его отказ принести установленную клятву ставит суд в затруднительное положение?

— Я не советовал ему делать это, ваша честь,— ответил Мейджериссон,— но мой подзащитный — человек кристальной честности. Он заявил, что может принести только такую клятву, в которую сам верит. У меня тут есть подходящая формула. Если ваша честь не возражает, мы воспользуемся ею.

Он протянул листок бумаги секретарю, тот передал его судье. Судья прочел напечатанные на машинке строки и положил листок перед прокурором, который и зачитал текст с явным неодобрением. Дэвид повторил за ним: «Я, Дэвид Делайн Ивенс, заявляю с полным сознанием ответственности, которая на меня ложится, что буду говорить правду, только правду и ничего, кроме правды».

После нескольких обычных вопросов прокурор — коротышка с багровым лицом — спросил, двусмысленно осклабившись:

— Значит, вы находились с этим молодым человеком, матросом Даррой, в таких близких отношениях, что он рассказал вам...

Мейджериссон вскочил.

— Я протестую, ваша честь, я протестую против постановки вопроса в такой форме!

Судья понял, на какие «близкие отношения» намекает прокурор.

— Возражение принято,— буркнул он.

— Меня прервали, ваша честь,— обиделся прокурор,— но своим вопросом я хотел только установить, знал ли обвиняемый, какого рода проступок совершил Дарра, и имел ли основания желать, чтобы тот оказал сопротивление при аресте.

Судья поглядел на прокурора поверх съехавших на нос очков.

— Ну да, понятно,— примирительно сказал он,— но можно было и не касаться личных отношений.

Прокурор задал следующий вопрос:

— Скажите, а вы знали, почему сержант Холл хотел задержать Дарру?

— Знал,— не колеблясь ответил Дэвид.

Судя по всему, прокурор решил, что его намек уже достаточно навредил подсудимому, и теперь лишь спросил:

— Скажите, а вы хотели, чтобы Дарра, после того, как он бежал с парохода, скрылся от преследования полиции?

— Да,— сказал Дэвид.

— Сделали бы вы все, от вас зависящее, чтобы помешать аресту Дарры?

— До того, как его арестовали,— да. После ареста — нет. Я понимал, что теперь юноше может помочь только закон.

— Все ясно,— кисло резюмировал прокурор.— Тот самый случай, когда человек от всего отделывается одними «да» и «нет». Я думаю, ваша честь, продолжать допрос не имеет смысла.— И он сел.

Теперь Мейджериссон приступил к допросу сержанта Холла.

— Когда вы подошли к Дарре и сказали, что он арестован, оказал он какое-либо сопротивление? — спросил он.

— Нет.

— Значит, вы подтверждаете, что он не сделал никакой попытки уклониться от ареста?

— Совершенно верно.

— А затем вы позволили себе замечание, оскорбительное для мистера Ивенса, обвиняемого, не так ли?

— Оно напрашивалось само собой,— неохотно признал сержант Холл.

— И ваше замечание привело Дарру в такой гнев, что он попытался вырваться от вас. Тогда, естественно, вам пришлось прибегнуть к силе.

— Совершенно верно.

— Но какая была необходимость применять приемы, на которые жалуется мой подзащитный, выразившиеся в зверском обращении и грубом превышении власти?

— Это я решаю, мистер Мейджериссон,— поспешно прервал его судья,— имело в данном случае место грубое превышение власти или не имело.

Еще несколько вопросов — и сержанту Холлу пришлось признаться, что в комнате обвиняемого был незаконно произведен обыск. В шкафу нашли пачку сигарет с марихуаной, что, как они считают, оправдало их действия.

Констебль Болл повторил показания своего шефа. Заплатка пластыря на его правой скуле служила эффектной иллюстрацией к рассказу о бандитском нападении на него подсудимого. Накануне вечером доктор наложил на рану шов и рекомендовал освободить его на несколько дней от службы.

Снова поднялся Мейджериссон. После нескольких самых обычных вопросов он с невинным видом спросил:

— Скажите, мистер Болл, сколько вы весите?

— Девяносто два килограмма.

— И вы, надо полагать, хорошо владеете приемами самообороны, которые столь необходимы полицейскому?

— Конечно.

Судья прервал Мейджериссона.

— Я не понимаю, мистер Мейджериссон,— он снял очки, протер стекла и снова надел их,— какое все это имеет отношение к данному делу?

— Прошу вашу честь взглянуть на обвиняемого. Его трудно назвать атлетом, и к тому же он явно немолод.

— Вижу, ну и что?

— Мой подзащитный был свидетелем недопустимого поведения сержанта Холла по отношению к этому юноше, матросу Дарре. И когда констебль Болл прибегнул к непозволительному насилию при аресте, мой подзащитный, опасаясь телесных повреждений, вынужден был применить против более сильного и тренированного противника известный прием дзюдо.

— Это не оправдание, мистер Мейджериссон,— ядовито заметил Стразерс.

— Я и не оправдываю его,— сказал Мейджериссон,— но объясняю, почему мой подзащитный был поставлен перед необходимостью применить в целях самозащиты прием, усвоенный им в юности.

Пока суд совещался, Мифф и Шарн сидели, сцепив руки.

Мейджериссон сказал им, какого приговора следует ожидать, но к тому, что огласил судья Стразерс, они никак не были готовы.

Когда Стразерс дошел до слов: «шесть месяцев тюремного заключения за сопротивление при аресте и побои, нанесенные констеблю сыскной полиции Боллу», его угрюмое лицо просветлело, зловеще сжатые губы заулыбались. Воспользовавшись случаем, он произнес небольшую проповедь о том, как важно поддерживать престиж полиции, и предупредил, что всех, кто посмеет по примеру подсудимого Ивенса совершить коварное нападение на представителя власти, ждет суровое наказание.

Услышав следующий пункт приговора, Мифф и Шарн тихо ахнули. Таможенная служба обвиняла Дэвида в хранении запрещенных товаров, а именно: пачки сигарет с марихуаной, в чем он признал себя виновным. За это Дэвид приговаривался к десяти фунтам штрафа или к одному месяцу тюремного заключения.

Мейджериссон, как и Мифф, считал, что оба приговора неоправданно суровы. Но Дэвид отказался подавать апелляцию, когда Мейджериссон пришел к нему после суда в камеру предварительного заключения.

Глава IX

При виде серых каменных стен и зубчатых башен Пентриджа Дэвида охватила тоска, знакомая всем, кто входил в двери тюрьмы, построенной по образцу средневековой крепости.

У него отобрали все личные вещи, и он поступил в распоряжение надзирателя, который отвел его в душ и дал грубую, не по размеру арестантскую одежду.

Дэвида отвели в отдельную камеру и объявили, что он назначен на работу в тюремную библиотеку: начальство решило использовать его журналистский опыт, и ему поручалось редактировать издаваемый арестантами журнал «В заключении».

Дэвид надеялся, что во время прогулок он познакомится с другими заключенными, узнает их истории, подружится со своими горемыками-соседями, но арестанты держались обособленными группами и ни одна не допускала к себе преступников другого ранга. Все это объяснил Дэвиду библиотекарь, отбывавший здесь пожизненный срок за убийство. Советы этого человека — его звали Артуром — во многом ему помогли.

Едва Дэвид кое-как приспособился к местным порядкам и втянулся в общую рутину, как она нарушилась дракой в тюремном дворе. Надзиратели растащили арестантов, а зачинщиков посадили на двадцать один день в одиночку и лишили всех тюремных радостей.

Все это время Дэвида не оставляло ощущение, что он отделен от внешнего мира каким-то странным, невидимым веществом, которое всосало его в себя и никогда не отпустит обратно. Изо дня в день он видел одни и те же лица — жестокие, злобные, ничтожные, жалкие, калейдоскоп этих лиц преследовал его даже во сне. Но странно — в глазах тех, кто был осужден пожизненно, он замечал иногда свет доброты и мягкую усмешку на губах. Словно люди, примирившись с горькой безнадежностью, сбрасывали маски, которые они носили в той, другой жизни. И почти в каждом из этих искалеченных обществом, отвергнутых париях Дэвид видел добротный человеческий материал.

Считалось, что арестанты не имеют никакой связи с внешним миром, однако новости с воли просачивались в тюрьму поразительно быстро. Когда в первых числах ноября разыгрывался кубок страны, уже через несколько минут после окончания матча обитатели тюрьмы знали его результаты. Почти с такой же быстротой они были оповещены о налете полиции на известный притон, где торговали наркотиками.

Всякий раз, когда Дэвида выводили во двор на прогулку, он ловил злобные взгляды одной из групп — как будто, попав в эту историю с Тони, он оказался повинен в начавшихся обысках и арестах.

— Держитесь-ка вы от этой кодлы подальше,— посоветовал ему Артур.— Похоже, они что-то замышляют, как бы не было беды.

Через Артура, имевшего свои пути общения с внешним миром (причем тюремные власти о них знали, но почему-то не вмешивались), Дэвид узнал некоторые подробности о суде над Тони. Кроме того, он имел доступ к газетам, которые попадали к заключенным после прохождения цензуры. Полиция произвела обыск в итальянском ресторанчике и на одном из складов обнаружила наркотики. По подозрению в торговле наркотиками было арестовано несколько человек. Среди них оказались владелец одной из самых крупных в городе аптек и дама, которой принадлежало несколько галантерейных магазинов в Ричмонде и других пригородах.

Янка Делмера пока не нашли, но приказ об его аресте был подписан. За ним числилось немало интересовавших полицию дел, начиная с въезда в Австралию по фальшивому паспорту.

Дэвид с нетерпением ждал свидания с Мифф: она расскажет ему, как идет подготовка к конгрессу, как вел себя Тони во время процесса. Он знал, что Тони приговорили к месяцу тюрьмы за сопротивление, оказанное полиции при аресте, и к двенадцати месяцам за ввоз в страну наркотиков и побег с парохода. Его отправили в колонию несовершеннолетних преступников — Лэнджикелкл.

Хотя разговаривать с Мифф пришлось через решетку, в присутствии надзирателя, встреча с ней принесла Дэвиду большую радость. Словно он сам увидел цветущие деревья в Орбосте, под которыми венчалась Гвен.

— Гвен была такая хорошенькая в подвенечном платье,— рассказывала Мифф.— Она шлет тебе нежный привет. Надеется, что через несколько месяцев будет принимать тебя в своем доме.

Дэвид спросил ее о детях.

— Ребятишки в порядке, слава богу. А у Билла дел по горло, как всегда. Он сейчас готовит следующий номер бюллетеня и жалуется, что ему тебя очень не хватает. На все корки честит Тони.

— А что слышно о Тони?

— Ты, конечно, знаешь, что его приговорили по трем пунктам, хотя Мейджериссон выступал очень хорошо. Он строил защиту на том, что Тони — жертва этих бандитов. Ему очень понравилось, как Тони вел себя на суде. Мейджериссон сказал ему, чтобы он держался, иначе подведет тебя. Билл разыскал Тэда Диксона — матроса, который помог Тони,— он сейчас второй помощник на торговом судне. Он выступил как свидетель защиты и очень хорошо говорил о Тони. Обещает, что, когда парнишку выпустят, профсоюз о нем позаботится, опять устроит матросом. Диксон сказал Мейджериссону, что те двое приятелей Тони — Уолли Пайк и Боб Рид — еще на берегу. Они подтвердили показания Тони о том, как ему навязали этот самый чемодан в гонконгском порту.

А полицейские очень злились, потому что Тони ничего не желал говорить о связях Делмера с торговцами марихуаной и героином, о том, кто занимается распространением наркотиков и где находятся их

притоны. Ни Холл, ни Болл ничего от него не добились, он все время твердил: «Не знаю, ничего не знаю, мне с легавыми не о чем разговаривать».

Мейджериссон рассказал кое-что о Тони следователю О'Ши, и тот попробовал подступиться к парню с другой стороны, попытался завоевать его доверие дружеским участием. Ему, сказал он Тони, понятно, как тот относится к Холлу и Боллу после всего, что они сделали с ним и с мистером Ивенсом. Он-де догадывается, что Тони смертельно боится Делмера, и тут Тони дал ему ключ, который может пригодиться. «С тех пор, как мать спуталась с Янком Делмером, я жил у бабушки»,— сказал он.

Счастливые минуты с Мифф пролетели так быстро! Заключенным разрешалось только одно свидание в месяц, и Мифф решила, что в следующий раз к нему придет Шарн.

— Ты обо мне не горюй, детка,— сказал он ей.— Мне здесь даже интересно, честное слово! Я ведь не буду сидеть в тюрьме годы, не то, что другие. Не успеешь оглянуться, как я уже выйду на волю и буду играть с твоей ребятней в чехарду.

— Свидание окончено! — крикнул тюремщик.

Мифф послала Дэвиду воздушный поцелуй через прутья клетки, и его снова увели туда, где в угрюмой тишине томились заживо погребенные люди.

Глава X

Недели через две после свидания с Мифф Дэвид обнаружил, что уже достаточно хорошо узнал тюремную жизнь, и она потеряла для него всякий интерес. Окружающее словно затягивало его, и он уже не горел прежней решимостью выдержать до конца, а все больше и больше жалел себя. Он судил себя строго и беспристрастно и потому знал, что это временный упадок духа, он не ослабит его волю и не изменит его убеждений.

Приближался день открытия конгресса, и Дэвид стал понемногу оживать. Он ждал этого дня с таким радостным волнением и теперь остро ощущал свою вынужденную отстраненность от участия в деле, которому отдал так много сил.

Поскорее бы увидеть Шарн. Ища в газетах каких-нибудь сведений о конгрессе, Дэвид наткнулся на заметку в «Курьере», где сообщалось, что при обыске квартиры, хозяина которой подозревали в торговле наркотиками, был арестован Джошиа Эзра Джонс, он же Янк Делмер. Полиция обнаружила довольно большой запас опиума и героина и предъявила Джонсу обвинение в хранении наркотиков. Еще через несколько дней Дэвид прочитал, что Джошиа Эзра Джонс обвиняется в убийстве, совершенном пять лет назад. У полиции имеются улики, подтверждающие его вину. Дело будет слушаться в первой декаде января.

Когда Дэвид увидел Шарн сквозь прутья клетки, его кольнуло в сердце — как дорого ему сделалось это бледное, мягко очерченное лицо, эти лучистые глаза и волосы цвета меда! Холодок и сдержанность, которыми он до сих пор всякий раз отгораживался от нее, начали таять.

Он стоял по ту сторону решетки в арестантской одежде, и глаза Шарн налились слезами. Она сняла очки и стала протирать их, чтобы скрыть волнение, хотела что-то сказать, горько всхлипнула и полезла в карман за платочком.

— Простите меня, Дэвид! Я такая дуреха.

— В самом деле? — Дэвид ласково усмехнулся.— Но не будем это обсуждать. Как прошел конгресс?

— Прекрасно! Организовано все было великолепно, никаких срывов,— оживилась Шарн.— Из Нового Южного Уэльса и Квинсленда прибыл целый поезд делегатов. Его назвали «Поезд мира». Члены оргкомитета встречали почетных гостей и развозили по гостиницам. Во время шествия к Олимпийскому стадиону начался дождь, день был пасмурный, хмурый, а нам казалось, что светит солнце. Зал дворца — огромный, но был переполнен. А когда на трибуну поднялись Лайнус Полинг с женой, им устроили настоящую овацию.

— Расскажите мне о Полинге,— попросил Дэвид.— По-моему, это необыкновенный человек — по силе ума и духа.

— Он высокий, худой, с густым седым ежиком на голове, говорит ненавязчиво и спокойно, но с сознанием своего авторитета. Держится очень скромно, но невольно обращает на себя внимание цельностью натуры и мужеством. И его жена всем очень понравилась — такая милая, обаятельная старушка,— и говорила она так искренне и взволнованно! Цифры, которые привел в своем выступлении ее муж, она пыталась связать с нынешним положением женщин и детей.

— А Пристли?

— Кто-то мне про него сказал: «Правда, он похож на маленького кенгуру?» — Шарн хихикнула.— Явился в самый последний момент, за минуту до открытия конгресса, поднялся на сцену и побрел себе вразвалочку, посасывая трубку. Его жена Жакетта Хоукс уже давно сидела в президиуме. Мне она очень понравилась, такая искренняя и убежденная. А вот Дж. Б. Пристли, по-моему, просто пижон, презирает всех, кроме Дж. Б. Пристли. Но говорил он довольно дельные вещи.

— Судя по тем обрывкам сведений, которые до меня дошли, открытие прошло как праздник,— сказал Дэвид.

— О, да! Зал ратуши был набит до отказа,— радостно подтвердила Шарн.— Люди стояли у стен и в проходах — всюду. Мы сделали очень большое и нужное дело, конгресс всех воодушевил. Только вот вас там не было, Дэвид,— добавила она упавшим голосом.

Время свидания кончилось, а Шарн не успела рассказать Дэвиду и половины всего, что хотела: где комитет достал средства и как решил использовать тот широкий интерес, который вызвала его деятельность.

В последнюю минуту Шарн вспомнила, что ей сообщил Мейджериссон относительно Тони: его собирались вызвать в качестве свидетеля по делу Янка Делмера. Она обещала Дэвиду пойти в суд, когда начнется процесс, и обо всем рассказать Мифф, а Мифф придет к нему через месяц, и тогда он наконец узнает точно, какую роль играл в этом странном и темном деле Тони.

Глава XI

Все сообщения о делах, разбираемых в полицейских и уголовных судах, тщательно вырезались из газет, которые поступали в тюремную библиотеку, однако вести об этом передавались из одного конца тюрьмы в другой с неизменно поражавшей Дэвида быстротой.

Артур объяснил, в чем дело: тюремщики иногда соглашаются пронести для кого-нибудь из приговоренных пожизненно не подвергнутую цензуре газету, а те делятся прочитанным с остальными. Новости так быстро облетают всю тюрьму потому, что ее обитатели перестукиваются. Из этого-то источника да из обрывков разговоров во дворе и в библиотеке Дэвид узнал, что присяжные признали Джошиа Эзру Джонса виновным в убийстве Лилиан Мэри Росси.

Если кто из заключенных и знал Янка Делмера, то имя Джошиа Эзра Джонс было для всех пустым звуком. Многие из них частенько забегали в итальянский ресторанчик перекусить и знали, что там собираются уличные торговцы наркотиками; некоторые похвалялись, что тоже работали на Янка, пока не пристрастились к наркотикам, которые должны были продавать. Янк был беспощаден к своим людям, когда те становились наркоманами, рассказывали они; заметив жадный блеск в глазах и трясущиеся руки, он тут же вышвыривал человека на улицу.

— Я такого зверя в жизни не встречал,— признался один заключенный, который когда-то был связан с Янком.

Никто не сказал о Янке Делмере доброго слова. Даже воры и убийцы не хотели считать его своим — он действовал в одиночку.

Но когда после приговора он предпринял отчаянную попытку бежать — к воротам тюрьмы подогнали «роллс-ройс», он вырвался от конвойных и бросился к машине, но был убит выстрелом в спину,— все его жалели.

Настал черед Мифф идти в тюрьму на свидание. Дэвид надеялся узнать от нее о Тони, о его участии в процессе Делмера.

Мифф пришла энергичная, жизнерадостная, как всегда, и в комнате словно сразу стало светлее. Даже присутствовавший при свидании надзиратель не устоял перед ее задорным «Здравствуйте, господин офицер» и улыбнулся.

Она рассказала отцу о Билле и о детях, и он спросил ее о Тони.

— Господи, ну что тебе этот мальчишка, зачем ты ввязался в его неприятности? — вырвалось у нее. Неужели отец не понимает, как горько ей видеть его за решеткой, в арестантской одежде!

— Из-за Роба,— тихо ответил Дэвид.

— Так я и думала. Папочка, милый, перестань винить себя в его смерти, прошу тебя!

— Я мог удержать его и не удержал.

— Значит, ты сейчас сидишь в тюрьме потому, что пытался заменить этим мальчиком Роба?

— Не совсем так,— улыбнулся Дэвид.— Но мне казалось, что я должен помочь этому парнишке — может быть, потому, что не сделал для Роба того, что должен был сделать.

— Какое счастье, что в следующий раз мы увидимся уже не здесь! — воскликнула Мифф.— Через месяц к тебе придет Шарн, а потом ты выйдешь, и тебя встретят уже трое внуков.

Они попрощались, но она снова окликнула его:

— Да, знаешь, умерла твоя старая приятельница миссис Ли-Бересфорд. Неделю назад. В «Курьере» поместили очень трогательный некролог.

Бедная, милая Колючка, с грустью подумал Дэвид.

Глава XII

По мере того, как близился день освобождения, тюремные порядки угнетали Дэвида все сильнее. Он стал нервным, раздражительным.

Артур сразу распознал симптомы.

— А у вас начинается тюремная лихорадка, мой друг,— сказал он ему насмешливо.— Смотрите, как бы она не задержала вас здесь дольше срока.

— Как вы все это терпите? — не выдержал Дэвид.— Как люди вообще могут терпеть такое? Зверь и тот рвется из клетки!

— Замолчи, дурак,— сказал Артур.— Я буду сидеть здесь, пока не сдохну, и молю бога, чтобы мне сдохнуть поскорей. А ты смеешь ныть!

Дэвид постарался держать себя в руках. За безупречное поведение ему сократили срок.

У ворот тюрьмы его встретила Шарн. Мифф поехать не смогла: у старших ребят была корь, а маленькому всего три недели — как их оставишь. Она дала Шарн свою машину и велела привезти Дэвида обедать, к тому же Билл хотел с ним поговорить.

Яркий, солнечный свет ослепил Дэвида, он снял шляпу, поднял голову и вдохнул полной грудью вольный воздух.

— Шарн, милая, теперь я знаю, что такое ад,— я только что вырвался оттуда!

Шарн предупредила Чезаре и миссис Баннинг, что Дэвид выходит, и попросила убрать его комнату. Оказывается, Чезаре переселился к Дэвиду, чтобы охранять его рукописи и машинку. Он по секрету признался Шарн, что хозяйка хотела продать пожитки Дэвида, но он от нее откупился.

Шарн после смерти дяди переехала жить к тетке в Хоторн и передала Дэвиду от нее приглашение провести у них несколько дней. Но ему хотелось поскорее вернуться к своим рукописям, снова впрячься в упряжку.

Мифф бросилась к отцу, прижалась к его груди. Третий внук Дэвида, которого решили назвать в его честь, возмутился, что прервали кормление, и поднял отчаянный рев. Услышав голос Дэвида, старшие дети громко закричали, требуя, чтобы он немедленно шел к ним в комнату.

Билл крепко сжал его руку:

— Рад вас видеть, отец!

Как все радуются ему, как любят его здесь. Мифф приготовила вкусный обед, а Билл открыл бутылку вина.

Однако Дэвид среди этого всеобщего веселья и ликованья чувствовал себя немного чужим: он так долго был оторван от близких и любимых.

Мифф он показался молчаливым и немного замкнутым. Билл же понимал, что должно пройти время, пока Дэвид придет в себя после тюрьмы. Шарн глядела на него восторженными, обожающими глазами и не находила никаких перемен, которые могли бы поколебать ее веру в него.

— В мой костюм въелся тюремный запах,— как бы извиняясь, заметил Дэвид.— Он меня преследует.

— Ну что ж, придется тебе потратиться на новый,— весело сказала Мифф.

— Это мысль!

Но его веселый тон и улыбка не обманули ее. Сердце у нее сжалось: снова ему придется голодать и жить в душной комнатушке. Как все это скажется на его здоровье, на его душевных силах? А к ней он никогда не обратится, гордость не позволит.

Она встревожилась еще больше, когда он заявил ей через несколько дней, что нашел себе работу.

— Отличное место! Буду получать два-три фунта в неделю,— весело похвастался он.

— А что тебе придется делать?

— Вывозить с рынка мусор,— с озорной усмешкой похвастался он.— В ночную смену, вместе с Чезаре. Вернувшись, я смогу поспать несколько часов, а утром, как прежде, буду ходить в Совет защиты мира.

— Мне все это вовсе не кажется таким уж веселым,— холодно сказала Мифф.— Интересно, сколько ты собираешься протянуть, работая круглые сутки?

Она уже давно думала, что пора бы ее брату вернуть отцу долг. Конечно, Нейл не знает, как бьется сейчас Дэвид, но должен же он понимать, что журналист без постоянной работы вовсе не гребет деньги лопатой! Нейл ни разу не поинтересовался, на что существует отец, хотя сам процветает, у него большая практика, и он живет на широкую ногу.

Глава XIII

Боль и гнев душили Мифф. Ее отец, такой умный и талантливый, будет зарабатывать себе на жизнь, убирая мусор на рынке! Она поехала к Нейлу. Когда ее наконец допустили в кабинет модного врача, она весело объявила ему с порога:

— Не пугайся, Нейл, я пришла не как пациентка. Но у тебя так же трудно добиться аудиенции, как у заезжего принца крови. Несколько раз звонила тебе домой, но ты неуловим.

— Не сердись, сестренка.— Открытая и обаятельная, как у отца, улыбка согнала с лица Нейла профессиональную озабоченность.— Линди решила ограждать меня от телефонных звонков, когда я не работаю.

— Я это поняла,— сухо заметила Мифф.— Но я ведь объясняла, что звонит твоя сестра... Бог с ней, я хотела поговорить с тобой о папе.

— Господи боже мой! — Нейл сердито нахмурился.— Что еще стряслось? Он уже раз свалял дурака, вляпался в неприятности из-за этого мальчишки и угодил в тюрьму.

— Немногие способны сделать то, что сделал отец,— вспыхнула Мифф.— Он пожертвовал своей репутацией и любимым делом, чтобы вырвать вступающего в жизнь человека из рук преступной банды и не дать ему стать наркоманом.

— Все это прекрасно,— отрезал Нейл.— Но от слухов, которые о нем сейчас ходят, страдает репутация других людей.

— Уж не твоя ли?

— И моя тоже. Ты не представляешь себе, какие гадости о нем говорили. Псевдофрейдистская чепуха... Один известный психиатр, например, заявил, что в основе всех отцовских эксцентричностей лежат гомосексуальные наклонности. Каково мне было это слышать, как ты думаешь?

— Надеюсь, ты ему всыпал как следует, хотя он и известный психиатр?

— Конечно, всыпал. Только это отнюдь не улучшило моих отношений со стариком, то есть с отцом Линди.

— Нейл, я не об этом приехала говорить с тобой. И к тому же пациенты ждут. Дело вот в чем. Отец сейчас сидит без денег, а ему нужен приличный костюм и башмаки — и немедленно. Пора тебе начать выплачивать ему долг.

— Неужели до этого дошло? Что же он раньше не сказал, что дела обстоят так скверно? Конечно, я дам ему, сколько смогу, но не думай, что мне это так легко и просто. Все, что я зарабатываю, куда-то исчезает. Пойми, я очень хочу помочь отцу, но у нас дома сейчас такие расходы, я все время ломаю голову, где достать денег. Папа выбрал ужасно неподходящее время.

— Это не папа,— сказала Мифф.— Он ничего не знает. Я сама решила пойти к тебе и поговорить. Я думала, ты сам захочешь послать ему чек, когда узнаешь, в каком он положении.

— Конечно, конечно,— уныло согласился Нейл.— Только много я сейчас дать не могу. Две тысячи фунтов — это совершенно нереально.

Телефон на столе зазвонил. Нейл снял трубку.

— Да, да,— сказал он,— я занят. Попросите ее подождать. Ну, хорошо, сейчас я приму ее.

— Что ты расстраиваешься, Нейл, я вовсе не говорю, что надо вернуть весь долг сразу,— заторопилась Мифф.— У меня есть идея: ты будешь выплачивать ему регулярно какую-то сумму, скажем, по пять фунтов в неделю, долг постепенно уменьшится, папа сможет как-то существовать, да и тебе станет легче.

— Значит, двадцать фунтов в месяц.— Нейл задумался.— Только, ради бога, не проговорись жене: Линди решит, что отец сел мне на шею. Она не может ему простить, что он «опозорил семью».

— А почему ты не объяснишь ей, чем вы оба обязаны папе? — Голос Мифф задрожал от гнева.

Нейл пожал плечами.

— Это ничего не изменит. Ты не знаешь Линди. Я даю ей возможность делать и покупать все, что она хочет, и ни во что не вмешиваюсь, лишь бы дома был мир.

— Господи, как же ты до этого допустил?

— Что теперь говорить? Поздно,— горько усмехнулся Нейл.— Я пожертвовал наукой ради семейного счастья, теперь мне только и остается им наслаждаться.

К горлу Мифф подступил комок. Привычная маска безликой любезности на миг спала с лица Нейла, и она увидела, как он устал и как ему плохо, а ведь он еще так молод, и, наверно, ему трудно понять, почему жизнь не оставила и следа от его надежд.

Мифф поцеловала его. Что она еще может для него сделать? Как утешить? Он порывисто прижал ее к себе, и она уткнулась в его белый халат.

— Мифф, сестренка!

В кабинет быстро вошла сестра.

— Прошу прощенья, сэр, но миссис Меллоу уходит. Она говорит, что ждала больше часа.

— Да, да, сестра. Я ее сейчас приму.

Подавив волнение — вот она, выдержка! — Нейл посмотрел на Мифф рассеянно и отчужденно.

— Я сделаю для папы все, что в моих силах,— холодно сказал он.— Спасибо, что пришла, Мифф. Если у тебя что-нибудь случится, обращайся ко мне в любое время. Обещаешь?

— Спасибо, Нейл.

Выходя следом за сестрой в открытую дверь, Мифф с улыбкой оглянулась на брата, но он уже погрузился в лежавшую перед ним историю болезни и не поднял головы.

Глава XIV

На заседании Совета защиты мира, куда пришел Дэвид, его встретили так тепло, что он даже растерялся. Какие все они славные, прекрасные люди, хотя, конечно, у каждого есть свои недостатки и заблуждения

Многие любили говорить долго и порой не по существу. Председатель, его преподобие Пол Спэрроу, выслушивал всех терпеливо и внимательно и, когда выступающего совсем уж заносило, прерывал его очень деликатно и добродушно.

Дэвид чувствовал себя не в своей тарелке: столько в мире за это время произошло событий, обстановка накаляется, где-то уже вспыхнуло пламя, а он все это время жил словно на другой планете. Организация Объединенных Наций решает вопрос о принятии в свои члены четырнадцати вновь образовавшихся независимых государств, причем тринадцать из них — африканские страны; это поднимет вес и авторитет ООН, но тем нелепее будет выглядеть отсутствие в ее рядах Народного Китая.

Шарн возмущалась, что Совет защиты мира и все существующие в Австралии организации борцов за разоружение не смогли помешать атомному взрыву на островах Монте-Белло — они и по сей день радиоактивны.

Председатель прочел призыв Всемирного Совета Мира ко всем людям доброй воли.

— В ноябре прошлого года,— сказал он,— Генеральная Ассамблея приняла поддержанную Советским Союзом и Соединенными Штатами резолюцию, в которой объявляет всеобщее и полное разоружение самой важной проблемой современности.

На заседании решили провести большой митинг на берегу Ярры и несколько собраний по пригородам. Дэвида попросили выступить на берегу Ярры. Он заколебался: слишком много ему надо наверстать, слишком многое осмыслить.

Но тут член Совета доктор Крейн напомнила, что во время подготовки конгресса мистера Ивенса всегда слушали с огромным вниманием, и Дэвида уговорили.

— Я ведь совсем отвык выступать,— признался он Шарн после заседания.— Волнуюсь, как в самый первый раз, когда потерпел фиаско.

— Вы боялись, что вас плохо встретят в Совете,— возразила ему Шарн.— И видите, как все обрадовались!

— Хорошие они все, добрые! — В глазах Дэвида вспыхнула улыбка.— Я не жду оваций, Шарн, но ведь на берег Ярры придут не только они.

Мифф заявила, что для такого важного события ему необходим новый костюм, но он весело отмахнулся: сейчас важнее всего подготовка к выступлению. Как и раньше, он стал работать по утрам над дыханием и дикцией, излагая Перси мысли Бертрана Рассела о мире без войны.

— Прошу тебя, Мифф,— сказала ей однажды встревоженная Шарн,— уговори отца бросить работу на рынке. Она ему не по силам! В десять утра он уже сидит в Совете. Он недосыпает. У него начались головокружения.

— Ах, я убеждала его. Ведь он работает круглые сутки. Кто это сможет выдержать!

— Я тоже убеждала,— вздохнула Шарн.— А он смеется и говорит, что лучше гореть, чем гнить.

Мифф задумалась:

— Наверно, он прав. Только уж не знаю, нужна ли такая правота и бескомпромиссность.

Напечатали и расклеили афиши о митинге на берегу Ярры с именами ораторов — профессор Джордж Пруст. доктор Констанс Крейн, мистер Дэвид Ивенс.

А за неделю до знаменательного воскресенья Шарн узнала, что их противники готовят демонстрацию. После тюрьмы Дэвид еще ни разу не выступал на трибуне Совета защиты мира, и Шарн боялась, как бы фашиствующие хулиганы, которых медом не корми, дай только сорвать митинг, не выбрали его объектом своих выходок.

Настал день митинга, Дэвид и Шарн шли по дорожке вдоль бере-

га. Дождь только что кончился, выглянуло солнце, в ясном, прозрачном воздухе тихо кружились желтые листья.

Шарн чувствовала, что к Дэвиду вернулась часть его прежней уверенности в себе. Она заметила, что на нем новая белая рубашка, а костюм вычищен и отглажен. Его густые пышные волосы почти совсем поседели, но в зеленоватых зорких глазах таилась улыбка.

Эта улыбка и разлет бровей делают его таким молодым и сильным, думала Шарн, пробираясь с ним через толпу и здороваясь с друзьями и знакомыми.

— Отличный у нас сегодня будет день, Шарн! Смотрите, сколько народу! Никогда еще столько не собиралось.

Билл помогал сооружать помост для выступления докеров. Мифф с детьми сразу же завладела Дэвидом, и Шарн побежала посмотреть, готова ли трибуна, с которой будут говорить члены Совета защиты мира.

Среди воскресной какофонии звуков, пробиваясь сквозь гомон толпы, автомобильные гудки и звонки велосипедов, слышались голоса ораторов, взывавших к своим единомышленникам и случайным зрителям.

Со всех сторон люди пробирались к трибуне Совета защиты мира, над которой развевался голубой флаг с белым голубем. Пол Спэрроу приветствовал пришедших на митинг. Его приятный долг, сказал он, представить ораторов; первым будет выступать профессор физического факультета Мельбурнского университета мистер Джордж Пруст.

На помост поднялся лысый, осанистый профессор. Говорил он суховато и неуверенно, чувствовалось, что он нервничает, а шум толпы и голоса других ораторов сбивали его.

Выступавшая за ним Констанс Крейн не нуждалась в представлении. Она говорила живо и увлекательно, на митингах сторонников мира ее знали хорошо.

— Вы должны доказать, отцы и матери, юноши и девушки,— страстно закончила она,— что можете и хотите сделать все, что в ваших силах, чтобы прекратить испытания смертоносного ядерного оружия. Это и будет первый шаг к разоружению. На карту поставлена наша жизнь, жизнь наших детей и наших внуков. Вспомните, что недавно сказал Джон Кеннеди: «Человечество должно покончить с войной, иначе война покончит с человечеством».

Доктору Крейн аплодировали горячо и долго.

Дэвид, как главный оратор, должен был говорить о значении резолюции, принятой на Генеральной Ассамблее.

При его появлении люди захлопали. Он обвел взглядом толпу — лица, множество лиц, доверчивых, бесхитростных, доброжелательных, глядевших на него с ожиданием и надеждой, потому что то, ради чего созвали этот митинг, было всем этим людям так же дорого, как и ему.

Многих он узнал — вот остренькое личико Герти, рядом с ней возвышался брат Джо. Не было миссис Ли-Бересфорд с ее неизменной собачкой; впереди, там, где она обычно сидела на своем складном стуле, он увидел низкий лоб и тяжелый подбородок известной провокаторши — Шарн называла ее Бесноватая. Она пришла в окружении единомышленников, одержимых неукротимой ненавистью ко всему, что имело хотя бы отдаленное отношение к коммунистам. Кто-то из них уже успел отпустить язвительное замечание.

Дэвид обычно начинал свое выступление с какой-нибудь забавной истории: это помогало ему побороть волнение и создать непринужденную обстановку.

Прочитав резолюцию Организации Объединенных Наций и разъяснив ее значение, он стал рассказывать о конференциях, которые прово-

дятся сейчас во всех странах земного шара в ответ на призыв Всемирного Совета Мира. Они состоялись даже в Аргентине и в Исландии, а в Англии, Дании, Индии, Ливане, Бельгии и Франции народ решительно требует от своих правительств выполнения резолюции ООН.

По краям толпы Дэвид заметил нескольких юнцов из того разряда шпаны, которая обожает устраивать на митингах всякие бесчинства. Но стоявшие под голубым флагом люди слушали его серьезно и внимательно, и Дэвид продолжал:

— Эта резолюция, которую приняла сейчас Генеральная Ассамблея,— блестящее доказательство того, что и мы, и все люди земного шара, борющиеся за мир и разоружение, заставили правительства своих стран прислушаться к нашему голосу. Укрепив теперь свои позиции, простые люди Австралии и других стран смогут с гордостью сказать, что помогли человечеству избавиться от угрозы войны. Вы спросите, какие конкретные шаги следует предпринять? У каждого из нас возможностей немало. Например, Сидней направил к своему члену парламента ряд делегаций от заводов и предприятий, от профсоюзов и просто от разных районов города, которые требовали, чтобы все члены парламента голосовали за разоружение, поддерживая страны, которым предстоит осуществлять меры в этой области. Мы все можем написать своим членам парламента, убеждая их голосовать за эти меры...

— Нет, вы только послушайте: это коммунистическое отребье учит меня жить! — перебил его чей-то хриплый выкрик.

— Кого я вижу, наш друг миссис Байат,— приветливо сказал Дэвид.

— Друг? Нет, Ивенс, я таким уголовникам, как ты, не друг! — заявила Бесноватая. Ее свита злобно захихикала, молодчики, маячившие в задних рядах, разразились свистом, улюлюканьем и гоготом.

— Ты нам лучше расскажи, как сидел в тюряге, Ивенс! — крикнул один из них.

— Небось скучаешь по своему дружку-то, а, Дэви? — подхватил другой.

— А без марафета ты хоть что-нибудь можешь?

Друзья Дэвида бросились на них в атаку:

— Замолчите, подонки!

— Фашистская сволочь!

— Мы не вас пришли слушать, а Ивенса!

В нескольких местах вспыхнула драка. Дэвид растерялся.

В волнении он стал призывать слушателей к порядку, пытался объяснить, что все это выходки провокаторов, которые пришли сюда, чтобы сорвать митинг. Но голос его потонул в криках разъяренной толпы.

Мысли Дэвида спутались, в висках застучало, перед глазами понеслось видение, преследовавшее его в тюрьме,— хоровод жестоких, искаженных злобой лиц. Ему казалось, что череп его сейчас расколется, не выдержав мучительного напряжения.

Кто-то завопил:

— Огонь по нему! Пли!

В Дэвида полетели гнилые помидоры и тухлые яйца. Он беспомощно вскинул в воздух руки, покачнулся и упал с платформы.

Преподобный Пол Спэрроу растерянно пролепетал в микрофон, что митинг окончен. Раздались свистки полицейских. Участников сражения повели под конвоем с поля боя.

Дэвид лежал на земле, возле него хлопотала Шарн. Он, видимо, был без сознания, не говорил и не двигался. Боясь, что он сильно ударился при падении, Шарн попросила мистера Спэрроу вызвать «скорую помощь».

Мифф и Билл, услышав, что у трибуны Совета защиты мира была потасовка, побежали туда, и Мифф тут же бросилась звонить брату.

Сидя в карете «скорой помощи» возле Дэвида, Шарн, потрясенная случившимся, беззвучно плакала всю дорогу.

Глава XV

В больнице к Дэвиду вернулось сознание, но он был словно оглушен тяжелым дурманом и не мог пошевелиться. Из клубящейся темноты до него доносился голос Нейла, тело ощущало прикосновение уверенных, прохладных рук.

Спокойный, властный голос сына с трудом пробивался сквозь окутывавшую его пелену, и Дэвид смутно почувствовал благодарность к сыну за то, что тот пришел.

Нейл поставил диагноз: церебро-васкулярное поражение, сопровождающееся потерей речи и движения.

То, что отец не потерял сознание полностью, он счел хорошим признаком и сказал, что при тщательном выполнении предписаний и хорошем уходе здоровье отца может почти полностью восстановиться.

— Только бы он не умер, только бы он не умер! — рыдала Шарн.

— Нет, отец не умрет. Он не захочет доставить удовольствие этим сволочам и ублюдкам. Его не так-то легко одолеть.

Нейл ушел, и Дэвид на много дней погрузился в мучительный хаос ускользавших мыслей и неожиданно всплывавших откуда-то образов.

Воспоминания обрушивались на него из томительной, опустошающей агонии бреда. Весь взмокший, он потом часами лежал с закрытыми глазами, не зная, ночь сейчас или день.

Иногда волны тьмы, среди которой он бился в одиночестве, отступали, и он видел глаза Шарн. Полные боли, они молили его жить, мешали ему снова погрузиться в темноту. Шарн каждый день приходила в больницу и сидела возле него, но он этого не знал.

— Кто эта девушка? — спросил как-то у сестры Нейл, войдя в палату.

Шарн при его появлении встала со стула у постели Дэвида и отошла.

— Не знаю,— сказала сестра.— Наверно, друг вашего отца. Она действует на него успокаивающе.

Нейл внимательно следил за состоянием Дэвида. Он поправлялся, но слишком медленно, и у Нейла возникло опасение, что его пациента все глубже затягивает апатия, из которой его непременно нужно вырвать.

— Папа, ты должен бороться, слышишь! — в гневе крикнул он ему однажды.— Ты не смеешь предать меня. Где твоя воля к жизни?

Голос сына донесся до Дэвида глухо, будто сквозь толщу воды, но все-таки донесся.

В этот день Нейл решил поговорить с Шарн.

— Разбудите его! — сказал он ей.— Надо, чтобы он захотел жить.

— Хорошо!

Нейл почувствовал, как страстно она этого желает.

Немного погодя Дэвид открыл глаза — на него глядела Шарн.

— Дэвид, вы должны жить! — с мольбой прошептала она.— Вы должны хотеть жить! Я не вынесу, слышите, не вынесу, если что-то случится с вами.

Он улыбнулся ей. Темнота разомкнулась. Через несколько дней мысли его постепенно обрели ясность, и он понял, что время, которое он провел в больнице, надо рассматривать как передышку.

Когда Шарн однажды вечером привела к Дэвиду Тони, он встретил юношу, уже сидя в кресле.

Тони несколько месяцев назад выпустили из тюрьмы. Он уже заходил в больницу, но потом ушел в море и только сейчас вернулся в Мельбурн. Дэвид радовался, глядя на Тони,— он возмужал, загорел, и настроение у него было прекрасное.

— У меня все хорошо, мистер,— весело рассказывал юноша.— Опять плаваю, и девушка у меня есть — Тэда Диксона дочка.

Пришло время выписать Дэвида из больницы, и Шарн предложила Нейлу, чтобы Дэвид пожил у нее в доме: там ему будет лучше, чем у миссис Баннинг или у Мифф.

— Мифф, конечно, с радостью возьмет папу, я знаю.— Нейл подумал немного.— Только ведь эти ее сорванцы изведут его. А ему сейчас нужен покой. Что же, пусть живет у вас, только не заставляйте его выступать на митингах,— поддел он ее,— и не впутывайте в неприятности с полицией!

— Ну как он мог такое подумать! — с негодованием говорила она потом Мифф.

— Не обращай внимания! — засмеялась Мифф.— В переводе на человеческий язык он тебе признался, что, по его мнению, ты имеешь на папу влияние.

Глава XVI

Когда Нейл пришел навестить отца, он застал его в маленькой уютной гостиной среди выцветших акварелей и старомодной мебели в ситцевых чехлах. На подоконнике стояла ваза с розами, в окна сквозь зелень весенней листвы лилось яркое солнце.

— Ну, отец, наделал ты дел! — сказал он, присаживаясь на кушетку возле лежавшего среди подушек Дэвида.— Знаешь, я не понимаю, как ты мог отдавать этой затее столько сил. Неужели ты все еще считаешь, что игра стоит свеч?

— Считаю?! Да, я убежден, что это единственная игра, ради которой вообще стоит жить.

Нейл встал.

— Кстати, папа,— заметил он как бы мимоходом,— я хочу вернуть тебе деньги, которые ты дал мне, когда я женился.

— Забудь о них, сынок, это был мой подарок тебе.

— Нет,— возразил Нейл,— сейчас я могу их вернуть и сделаю это с радостью.— Он закрыл свой докторский чемоданчик.— И учти,— суровым докторским тоном сказал он,— я разрешаю тебе оставаться здесь только при одном условии: никаких глупостей, не переутомляйся и не волнуйся. Сестра будет по-прежнему делать тебе уколы, а я загляну через неделю.— Нейл взялся за ручку двери.

— Благодарю вас, доктор!

От мягкой насмешки в голосе Дэвида Нейл вздрогнул. Он любил отца, и ему было стыдно за ту роль, что он сейчас сыграл.

— Ты не думай, папа, что я ничего не понимаю.— Неловкость сковывала ему язык.— С тех пор как мы с тобой последний раз говорили, я много думал о мире и о войне. Но, как большинство людей, я чувствую себя бессильным остановить накопление оружия массового уничтожения. Кто положит этому конец?

— Мы.

— Хотел бы я верить в это! — Нейл задумался.— Мы боремся с болезнями, лечим, спасаем людей,— взволнованно заговорил он,— а кто-то

изобретает оружие смерти. И какой жестокой смерти! Я часто спрашиваю себя: зачем мы рожаем детей, стараемся сделать их честными, мыслящими людьми, заботимся об их здоровье, когда самый воздух, которым они будут дышать, отравлен?

Дэвид слушал его с волнением. Слепец, как же он не разгадал своего сына, не понял, что безукоризненная, непроницаемая светскость сына — лишь профессиональная маска, за которой таится внутренний разлад?

А Нейл уже раскаялся в своем порыве.

— Но не биться же головой о стенку,— сказал он спокойнее.— Вот я и живу, стараясь не видеть противоречий и добросовестно делая свое дело. У меня не хватает мужества бороться, как борешься ты. Я выбрал путь наименьшего сопротивления, даже вон оставил научную работу, а ведь я мог бы, наверно, сделать что-то интересное и нужное.

— Почему ты так поступил? — спросил Дэвид.

— Я твержу себе, что ради Линди и детей, только это ложь, мне просто хотелось жить спокойно, без сложностей и тревог. Но я и тут обманулся.

В голосе Нейла прозвучала такая горечь, что сердце Дэвида сжалось.

— Плохо тебе, сын,— сказал он тихо.

— Я процветающий модный врач.— Нейл вскинул голову и саркастически усмехнулся.— Лечу самые легкие болезни общества. У меня дом, которому все завидуют, красивая жена и очаровательные дети. Чего еще человеку желать? Мифф говорит, я погряз в трясине буржуазной респектабельности,— что ж, она права. Но я верю, что победит в конце концов то, что несет людям благо. Я не раздаю готовых рецептов.— Привычная уверенность вернулась к Нейлу.— В отличие от Мифф. Мы с ней по-прежнему не соглашаемся друг с другом, многие ее идеи я не приемлю. По-моему, она слишком спешит. Путь, которым идет наука, вернее приведет к цели.

— Даже если эта наука несет людям атомные бомбы, гонку вооружений и угрозу ядерной войны?

— Вот вывод, к которому я пришел: наука сделала невозможной мировую войну с применением современных видов оружия, ибо такая война грозит гибелью всему человечеству. Великие державы это знают. Если бы они прекратили свои эксперименты с бомбами и перестали заражать атмосферу, а вместо этого обратили бы атомную энергию на мирные цели, я простил бы науке весь этот кошмар и бессмысленные траты. Но...

— По-моему, мы пришли к одному и тому же выводу, только разными путями,— прервал его Дэвид.

— Вы с Мифф — да.— Нейлу не хотелось больше говорить об этом, он решил, что и так был слишком откровенен.— Я же не могу позволить себе роскошь раздумывать над всеми «почему» и «отчего», которые множатся с каждым днем. Я врач, я должен работать, чтобы моя семья не знала нужды. Но если тебя хоть немного утешит мое признание, знай, что я чувствую себя предателем, потому что стою в стороне от борьбы.

Он снова повернулся к двери. Сколько усталости было в его опущенных плечах, в походке. Дэвида кольнула боль. Чтобы хоть немного ободрить сына, он сказал:

— Ты знаешь, я не удивляюсь, что больные считают тебя чуть не волшебником. Какое счастье, когда возвращается здоровье! Кстати,— добавил он,— я сейчас чувствую себя вполне прилично. Миффанви предлагает мне пожить в ее домике в горах. Хочу поехать туда на месяц и вернуться уже совсем здоровым.

— Один? — неодобрительно спросил Нейл.

— Нет, Шарн требует, чтобы я ее тоже взял: говорит, что будет ухаживать за мной.

Нейл лукаво прищурился.

— Слушай, почему бы тебе на ней не жениться? Вот и Мифф так же считает. Так что решайся!

Дверь хлопнула, и Нейл ушел.

Глава XVII

Среди зеленых зарослей, во мху, Шарн собирала дикие фиалки, тихонько напевая что-то себе под нос. В руках у нее был букетик хрупких белых цветов с розовыми сердцевинками.

Дэвид прилег на склоне неподалеку и наблюдал за ней. Шарн расстелила для него одеяло на солнышке, положила подушки и развела небольшой костер, чтобы отгонять комаров и москитов. Над костром вился легкий голубоватый дымок.

День был по-летнему теплый, и Шарн надела открытое ситцевое платье. Сквозь полуопущенные веки Дэвид видел золотившиеся на солнце волосы девушки.

— Что вы поете, Шарн? — спросил он лениво.

— Это песенка о тропинке, которую проложил влюбленный.

Она вьется по круче к водопаду,
Туда, где ждет меня покой и любовь.

— Хорошо вам? — спросил Дэвид, садясь.

Шарн подошла к нему с фиалками и опустилась рядом.

— Правда, красивые? Я их так люблю.

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Хорошо ли мне? — Она на минуту задумалась.— Да, мне очень хорошо. Никогда не думала, что так может быть.— Она спрятала лицо в цветах.— Я с вами, и вы поправились. И еще я радуюсь, что в Москве подписан договор,— наконец-то прекратятся ядерные испытания. Это только начало. Подумайте, Дэвид, ведь там говорится, что цель его — ускорить соглашение о всеобщем разоружении.

— Да, это для нас большая победа. Но надо идти вперед и вперед. Нас будет становиться все больше и больше, правительство почувствует, как мы сильны. Наступит день, когда мы будем жить в мире, из которого изгнаны войны. Но само собой это не произойдет, за этот мир надо бороться, а я тут бездельничаю чуть не целый месяц. Нет, Шарн, хватит, пора в город и за дело!

— Дэвид, милый, но работать вдвоем легче, чем одному.— Она говорила очень серьезно, хотя в голосе ее еще слышались отзвуки безмятежной радости.— Не будем разлучаться! Я сумею поддержать потаенный огонь вашей веры, чтоб он разгорелся светло и ярко. Я во всем стану помогать вам, буду вашим секретарем, экономкой, кухаркой. Я ведь хорошо стряпаю — теперь вы это знаете. И потом, Нейл говорит, что я не должна позволять вам переутомляться.

— Нейл почему-то уверен, что вы можете позволить или не позволить мне что-то! — Дэвид вспомнил совет, который дал ему сын, и усмехнулся. Когда он повернул голову к Шарн, в его усмешке проступила нежность.

— Он знает, что я вас люблю,— сказала она просто.— И что я все сделаю для вас.

— А я вот все думаю,— медленно произнес Дэвид,— имею ли я право на эту любовь?..

— Вы не любите меня... Я люблю вас больше,— печально сказала Шарн.— Ну что ж, пусть... мы можем быть просто друзьями, как здесь.

— Всегда? — лукаво спросил Дэвид.— Нет, милый мой друг, я начинаю думать, что это невозможно.

Он лег навзничь и закрыл глаза. Солнце лило сверху ласковый свет, ветви тихо шелестели. Тишина леса спустилась на поляну, пронизанная щебетом птиц. Шарн показалось, что Дэвид заснул. Да, теперь ей уж никогда не убедить его, что им надо быть вместе.

Но он открыл глаза и улыбнулся.

— Поцелуйте меня, Шарн.

И обнял ее.

— Когда мы вернемся в город, придется нам заглянуть к регистратору — пусть они там запишут нас в свою книгу.

Шарн засмеялась, потом ей на глаза навернулись слезы.

— Правда? Неужели я слышу все это наяву?

— Правда, Шарн. Я люблю и буду любить и беречь тебя, пока я жив.

Он собрал фиалки, которые она рассыпала, и протянул ей:

— Твой свадебный букет.

Когда они вернулись к домику, начало смеркаться. Дурманяще пахли нагретые за день солнцем мирты, кизил и лавр. Разведенный Шарн огонь курился медленным серебристым дымком. В небе зажглась звезда.

— Смотри! — обрадовался Дэвид.— Это звезда надежды, Шарн, нашей общей надежды.

ГАУСУ ДИАВАРА

Поэма Ленину

Перевод с французского М. АКСЕНОВА

Вхожу
В эту поэму,
Как иду в нелегкий поход,
С сердцем,
Полным любви к Ленину.
Я вновь и вновь возвращаюсь к Ленину,
Как волна возвращается к берегу,
Как птица возвращается в свое гнездо,
Я возвращаюсь
К его звонкому имени,
Которое огненным метеором
Рассеяло мрак ночи.
Его имя —
Маяк, к которому стремятся народы,
Свет для всех томящихся в тюрьмах.
Идеи Ленина —
Это динамит будущих революций.
Атомная энергия на службе мира —
Это Ленин.
Ленин — это совесть эпохи.
Нил не крутил бы турбины Асуана —
Не будь Ленина.
Ленин —
Счастливое будущее Арабского Востока.
Для того чтобы слаборазвитые страны
Победили невежество и болезни,
Чтобы восторжествовала правда Патриса Лумумбы.
Погибшего за свободу Африки,
Ленин подарил Миру
Университет Дружбы народов.
Ленин — это Братство народов всех рас и национальностей.
Поддержанные другими народами,
Африканские народы
Порвали с нищетой и рабством
И с удвоенной энергией

На ладьях Зари
Завоевывают Дорогу к Солнцу.
Близко время,
Когда Земля будет полниться
Счастьем,
И тогда Ленин будет жить
В сердце каждого.
Как апрельское солнце сгоняет снег с вершин,
Так Ленин разогнал сумерки старых времен.
Он был первым среди бойцов.
И самым человечным Человеком,
Он разбил цепи рабства,
Он открыл Млечный Путь.
Ленин, как Геракл,
Поднял весы Истории.
И пока на земле
Есть хоть одна Бастилия,
Компас Ленина
Будет вести нас в порт Справедливости.
Так, сражаясь с ночными волнами,
Спешит корабль
На дальний свет маяка.

Из чехословацкой поэзии

Перевод с чешского и вступление ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

В прошедшем, 1970 году я побывал в Чехословакии и встретился в Праге со своими старыми знакомыми — поэтами Вилемом Завадой и Иваном Скалой.

Наша долгая дружеская беседа перешла в чтение стихов: читали друг другу лирику, совсем новые стихи, поэты делились замыслами, вернее — замыслами, только что обретшими стихотворную форму. Мне было радостно, что мои чешские друзья энергично и крепко держат в руках поэзию как фонарь, светом которого можно озарить глубины человеческой души.

Вилем Завада и Иван Скала принадлежат к разным поколениям: первый—к старшему, условно говоря, к предвоенному, а второй—к послевоенному, его тоже ныне никак не назовешь молодым. Мне кажется, что оба они в последнее десятилетие стали писать усложненнее — как переводчику мне приходилось доискиваться до первоначального замысла каждого стихотворения, проникать в глубину многослойных образов, прежде чем предложить русскую версию стихов.

Чем крупней поэт, тем труднее переводить его. Необходимо сохранить его причудливый, необычный и непривычный почерк.

Я и старался это сделать.

ВИЛЕМ ЗАВАДА

Знаменье весны

У снега тающего свой напев.
Туман стекает с крыш, звеня капелью.

Из-под воды и льда
в гниющих стеблях
вдруг искоркою вспыхнет маргаритка.

В бой со скалой седой
вступает зелень травки,
в жестокий бой — и не на жизнь, а на смерть.

В одном из каменных домов на Кампе
лучи окно упруго распахнули.
Под сводчатым угрюмым потолком
удары бубна,
пение трубы
и плач кларнета, а быть может, флейты.

И с юношами что-то происходит...

А в древнем парке,
где деревья-старцы
стоят, как бы застывшие в полете,
пульсирует неслышно
трепет жизни.
Усталый, сладкий — зна́менье весны.

Воскресная прогулка

Фабрики тихи по воскресеньям...

На дорогах, как на серых лентах,
разноцветные автомобили
в отблесках металла и стекла
километры быстрые глотают,
выдыхая черно-белый яд.

От других всегда ты отстаешь...

Сжав свое хромающее сердце
и согнувшись, чтоб к земле поближе,
ты бредешь дорогою горбатой,
словно бы вершинами души.

Ты идешь, да вот дойти не хочешь...

Заслонив глаза ладонью тонкой,
зачарованный, всмотреться жаждешь
в край оставленный и в новый путь.

В этом солнечном и светлом мире
ты всего лишь
ослепленный и незоркий взгляд.

Сжавшись
и себя в себя запрятав,
крылья окровавленные все же
ты расправишь смело — и взлетишь.

Праздник лета

Загипнотизировало землю
небо желтым оком. И в экстазе
горы колыхаются и воды,
и бежит, струится вверх лоза.

Тянутся былинки с горьким корнем
к божеству, сверкающему в небе.
Лето раскалилось добела,
и сверчки в полях, как в гулких залах,
тишину вызванивают в воздух.

Лес органной музыкой наполнен,
и звучит неведомо откуда
колокол иль колокольчик детства,
замирая и едва мерцая.

Замерло дыхание природы.
Паровозный дым окаменевший
громоздится над трубой вдали.
Под знаменами живого света
мы толпимся в ожиданье чуда.

Реки задыхаются от рыбы.
Небосвод от звона жаворонков.
В этот миг вдыхаю небо в душу,
и хочу парить над водной гладью,
и смотреть на мир глазами детства.

Но душа немного пригорела,
в собственном соку устала плавать
и чадит и, кажется, горчит.

Без возврата

Я вам завидовал, пасущим ко́ней,
однако с вами не ходил в ночное,
чтобы лежать под серою попоной,
негромкой песней оглашая мрак.

Я и теперь завидую пасущим
ночных коне́й. Но не бывать мне с вами,
ушедшему от синей и зеленой
беспечной жизни посреди лугов.

Не быть мне с вами, не сказать — подвиньтесь,
и у костра не сесть, в огонь уставясь.
Как хорошо мне было б с вами вместе,
но мой костер горит внутри меня.

Finisterre

Сигнальные звонки везде слышны,
и залы ожидания полны.
Звучит извечно городов «тик-так».
И разбегаются пути во мрак,
и очень много их до той поры,
когда сожмется мир и все миры
в тропинку, что уходит в никуда...

Но зная все, с волнением в груди
мы жизнь, как в детстве, видим впереди,
как будто на засохшей щепке лет
еще расцвесть сумеет яркий цвет
твоей судьбы... Как будто смерти нет!

Кто встанет на другом конце земли,
почувствует, как ветры замели,
пожухла голубая краска дня,
и солнце вянет, крону наклоня,
и на груди свинцовый груз тяжел,
и кажется — твой поезд отошел.

Теперь в седло осталось пересесть
в надежде, что еще осанка есть,
но всадником ты станешь и конем,
себя сжигая внутренним огнем.

Беспомощно опустишь удила,
едва не вылетая из седла.
И конь оставшуюся часть пути
тебя как груз сумеет пронести.

И снова через горы путь лежит.
Бежит твой конь. Бежит, бежит, бежит,
бежит твой конь, и, значит, жизнь не вся.
Бежит он, глазом яростным кося
на скалы, на живой пейзаж земной,
посеребренный мертвою луной.

ИВАН СКАЛА

Дерево

Я видел египетские пирамиды —
одно из семи чудес света,
об этом в учебниках говорится.
Безжалостно-синее небо неслышно
с плаща истории ниспадало
на воспоминанья об их величье.

Я видел египетские пирамиды
в две тысячи древних локтей высотою
и сфинкса, который, не смея ответить
на вечный вопрос о жизни и смерти,
его на решенье и обсужденье
оставил нашим земным заботам.

Я видел седую скалу Кавказа,
к которой был Прометей прикован,
и солнце — то, что его сжигало,
и гордых потомков орлов античных.

Не каждому притча о Прометее
стала уроком и назиданьем.
С огнем давно уже возятся дети...
Но есть Прометеева мера отваги.

Я по песку ходил в Сиракузах,
где сохранились круги Архимеда.
Он начертал их и полил кровью.
А сколько падений империи Римской
эти круги на песке пережили,
по памяти я и не сосчитаю.

В один августовский горячий полдень
тысяча девятьсот шестьдесят седьмого
я стоял на Малаховом кургане,
на жгущей подошвы бетонной площадке.
С плаща истории — мне казалось —
сбегала кровь
по гранитным плитам,
и вновь поднималась она над заливом
по горным склонам памяти нашей.

Как по древним кругам Архимеда,
другой солдат здесь топал когда-то
по склонам кургана, по тем окопам,
что защищали внуки Толстого.
По тем кругам, что для мира остались
историей, совестью и спасеньем.
Но жалкий наемник не верил тоже,
что сгинет, а эти круги бессмертны.

Фашистских «юнкерсов» хищные клювы
клевали тот распростертый город,
пока не остались среди развалин
лишь семь домов.
И тогда отвага
достигла своей Прометеевой меры.
Она по ступеням руин спустилась
на землю. И своды руин горящих
держала над головами потомков.

Бесстрастное небо, ослепшая вечность,
как сфинкс, вопрошала каменным взглядом
о судьбах всего бытия людского.
Земля ответила по-земному —
зеленым деревцем на кургане,
одним-единственным, пережившим
огонь, железо, руины, гибель.
Оно вознеслось, устремилось к небу —
зеленый ствол и живая крона.

Однажды я августовским утром
тысяча девятьсот шестьдесят седьмого
прочитал на коре объясненье тайны,
что жизнь дарует, рождает силу,
что вечность переживет непременно,
как севастопольский этот тополь.

Я спрашиваю

Глезос, друг Патрокла,
сын Фидиевых изваяний,
законодателей правнук,
неужели настало утро?
Глезос, не ты ли сбросил
с Акрополя флаг фашистский?

Золотую истории косу
расчесывая, притупился
Пантеона мраморный гребень?
Возможно ли это, люди?

Патруль сволочей еженощно
прочесывает Афины.
Ужели это возможно?
Возможно ль терпеть такое?

Слабых в пропасть бросали спартанцы.
Бездонна ль земная пропасть?
А если она бездонна,
почему палачей не поглотит?

Кровавы Аттики росы.
Лишь изгнанник, изгнанник, изгнанник
настоящим наследником станет.

Одиссей свою родину ищет,
а из дома доносятся крики
женихов ее самозваных.

Греция!
Вот какая
история бесконечна:

ты снова своих героев
возле рвов волочишь по грязи...
Греция, Греция, Греция,
твои древние лавры безмолвны.

Давно засыпана прахом
щель пророчицы Пифии в Дельфах,
и никто не предскажет, что будет.

Неужели для этого Байрон
плыл сюда по тревожному морю
и за это жизнь свою отдал?

Дома

Под мерцаньем звезды и под крыльями чаек
ты колеблешься, словно приподнят волной.
Словно старую оперу, дом свой родной
я люблю и в короне весенней встречаю.

Раньше чем я доверю кому-нибудь
это чувство любви, дорогая долина,
оборви у порога стремительный путь
и ко мне заходи в серебре соловьином.

И не надо теперь говорить ничего:
я природу и мир осязаю всем телом.
Как на крыльях цикад, растворенных листвой,
до меня золотая пыльца долетела.

Ну, а вечером тихой тропинкой спущусь
я к реке, и плывущие медленно звезды,
словно рыбки, к ногам моим бросятся пусть.
Стать богатым таким, вероятно, не просто!

Кровь быстрей пролетает по жилам в ночи,
и стихи надо мною висят, как мечи.

ДЖЕЙМС БОЛДУИН

Рассказы

Блюз Сонни

Я прочел об этом в газете в метро, по дороге на работу. Прочел — и не поверил своим глазам, и прочел снова. Я не мог оторваться от этого газетного листа, где стояло его имя, где рассказывалось о нем. Эти строки виделись мне в качающихся огнях над головой, в лицах и фигурах людей, в моем собственном лице, пойманном тьмой, ревевшей вокруг вагона.

«Этого быть не может»,— твердил я себе всю дорогу от станции метро до школы, где́ я работаю. И в то же время я знал, что это правда. Мне было страшно, страшно за Сонни — он как бы снова ожил для меня. В желудке у меня появилась вдруг откуда-то здоровенная глыба льда, которая целый день, пока я учил свои классы алгебре, все таяла, таяла и никак не могла растаять. Странная была она, эта глыба: таяла, посылая ручейки ледяной воды по всем моим жилам, но меньше не становилась ничуть. Временами она даже твердела и как будто росла, и тогда мне казалось: вот-вот вывалятся наружу мои кишки, вот-вот я задохнусь или зайдусь криком. Так бывало каждый раз, когда я вспоминал то, что когда-то, давным-давно, делал или говорил Сонни.

Когда ему было столько же лет, сколько мальчикам в моих классах, лицо у него (оно отливало медью) было открытое и светлое, а глаза — карие и удивительно искренние и был он безгранично мягок и застенчив. Каким же он стал теперь? Накануне вечером полиция задержала его на частной квартире где-то в центре по подозрению в употреблении и продаже героина.

Я не мог этому поверить — вернее, во мне просто не было места для этой новости. А она давно уже требовала, чтобы ее впустили. Но мне не хотелось знать. У меня были подозрения, но я не искал для них слов, а, напротив, упорно гнал их прочь. Я убеждал себя, что Сонни, какой он ни сумасброд, все-таки не сумасшедший. И потом, он всегда был таким хорошим, добрым мальчиком и никогда — озлобленным или невежливым; а ведь малыши такими становятся очень часто, особенно в Гарлеме. Мне не хотелось верить, что я увижу когда-нибудь, как катится вниз, сходит на нет мой брат, как гаснет в его лице прежний свет,— увижу его в том состоянии, в каком мне столько раз доводилось видеть других. И все же это случилось с ним, и хорош я был теперь, рассуждая об алгебре перед голпой мальчишек, которые, судя по тому, что я о них знал, наверняка

всаживают в себя иглу каждый раз, как зайдут в уборную. Видно, героин дает им больше, чем алгебра.

Готов поклясться, что когда Сонни кололся в первый раз, он был не намного старше этих мальчишек. А они, эти мальчишки, жили сейчас точно так же, как в свое время жили мы, они вырастали ужасающе быстро и больно стукались головой о низкий потолок своих реальных возможностей. Их переполняла ярость. Две тьмы — вот все, что они знали по-настоящему: тьма их жизни, которая скоро должна была сомкнуться вокруг них, и тьма кинозалов, где они делались слепыми для той, другой тьмы и могли мстить за себя хотя бы в мечтах, где они сбивались вместе тесней чем где-либо и были более чем где-либо одиноки.

Прозвенел звонок, последний урок кончился. Наконец-то я мог вздохнуть свободно. У меня было такое чувство, будто весь день до этого я не дышал. Одежда на мне взмокла от пота; наверное, выглядел я как человек, который целый день просидел, не раздеваясь, в парилке. Время шло, а я все сидел один в классе и слушал, как на школьном дворе кричат, ругаются и смеются мальчишки. Впервые их смех поразил меня. Это не был веселый смех, какой обычно (неизвестно почему) связан в представлении людей с детством. В нем были издевка и отчужденность, за ним таилось желание испачкать и оскорбить. Он был горьким и разочарованным, этот смех, и звучавшая в нем горечь придавала особую весомость их взрослой ругани. Быть может, я так внимательно прислушивался к их голосам потому, что думал о брате и слышал в них брата — и самого себя.

Один из мальчишек насвистывал мелодию, очень сложную и вместе с тем простую. Она лилась легко, как песня птицы, и безучастная нежность этой мелодии глубоко трогала здесь, в этом резком, ярком свете дня, где только чудом ей удавалось устоять среди бесчисленного множества других звуков.

Я встал, подошел к окну и выглянул во двор. Было начало весны, в мальчишках бродили соки. Время от времени между ними проходили учитель или учительница — торопливо, словно подгоняемые желанием убраться поскорее с этого двора, не видеть больше этих мальчишек, не думать о них. Я начал складывать бумаги в портфель: пожалуй, лучше всего было пойти домой и поговорить обо всем с Изабел.

К тому времени, когда я спустился вниз, во дворе уже почти никого не осталось. И тут я увидел в тени дверного проема этого парня: выпитый Сонни! Я уже раскрыл было рот, чтобы позвать его, но тут же понял, что это вовсе не Сонни, а другой — знакомый парень из нашего квартала, приятель Сонни. Я не общался с ним никогда — он был много моложе меня и вообще был мне не по нутру. Он и теперь, уже совсем взрослый, по-прежнему бесцельно слонялся по кварталу, по-прежнему часами торчал на углу и всегда был оборванный и на взводе. Время от времени я на него натыкался, и обычно он пользовался этим, чтобы выклянчить у меня пол или четверть доллара. У него всегда наготове были объяснения, и я всегда давал — сам не знаю почему.

Но сейчас вдруг я возненавидел его. Во мне все вскипело от этого его взгляда, собачьего и в то же время как-то по-детски коварного. И я уже открыл было рот, чтобы поинтересоваться, какого дьявола ему нужно на школьном дворе, но он скользнул ко мне и, подойдя вплотную, сказал:

— Я смотрю, вы с газеткой. Так что уже знаете.

— Это ты насчет Сонни? Да, знаю. Но вот как ты не загремел?

Он ухмыльнулся. Это было отвратительно, и в то же время он как бы предстал передо мной таким, каким был в детстве.

— Мое дело сторона, меня там не было.

— Твое счастье.

Я дал ему закурить. Между нами встало облачко дыма, но я по-прежнему, не отрываясь, смотрел на него.

— Ты такой конец сделал специально для того, чтобы сказать мне о Сонни?

— Ага.

Голова у него чуть-чуть тряслась, а глаза были странные: казалось, они вот-вот начнут косить. В ярком свете солнца заметнее стал землистый оттенок его влажной шоколадной кожи, белки у него были желтые, а всклокоченные волосы давно не мыты. От него плохо пахло. Я слегка отступил от него и сказал:

— Что ж, спасибо. Но я уже все знаю, и меня ждут дома.

— Я немного пройду с вами,— отозвался он.

Мы пошли. Во дворе еще болтались двое или трое мальчишек, и один из них сказал мне «До свиданья» и как-то странно поглядел на моего попутчика.

— Что думаете делать? — спросил меня тот.— Это я насчет Сонни.

— Я Сонни больше года не видел — так что я могу думать? Да и что вообще я могу сделать?

— Это точно,— сразу согласился он,— ничего вы тут не сделаете. Теперь уж старику Сонни, пожалуй, ничем не поможешь.

Так же точно думал и я, и именно поэтому мне казалось, что он говорить так не имеет права.

— Вообще-то Сонни меня удивил,— продолжал он. Странная была у него манера: когда говорил, смотрел куда-то в пространство, и поэтому создавалось впечатление, что разговаривает он с самим собой.— А я-то думал, Сонни ушлый. Думал: кто-кто, а уж Сонни не попадется.

— Наверное, он то же самое думал,— отрезал я,— потому и попался. А твои дела как? Уж кто ушлый, так это ты — что, не так разве?

Он поднял глаза и с минуту смотрел на меня в упор, не отрывая взгляда.

— Я не ушлый,— сказал он помолчав.— Был бы ушлый, так у меня хватило бы духу протянуть руку за пистолетом и пустить себе пулю в лоб.

— О своей горькой жизни расскажи лучше кому-нибудь другому — у меня пистолета нет. А был бы — дал бы тебе его обязательно.— И тут мне стало стыдно-стыдно, наверное, потому, что мне и в голову не приходило, что у этого бедолаги может быть какая-то своя жизнь, да к тому же еще горькая; и я поспешно спросил: — Что же теперь с ним будет?

Он не ответил: мысли его были заняты чем-то совсем другим.

— Странное дело,— сказал он таким тоном, будто мы обсуждали, как быстрее доехать до Бруклина,— когда я утром увидал газету, я сразу спросил себя: а ты здесь совсем ни при чем? И вроде как почувствовал себя виноватым.

Я навострил уши. Метро было на углу, прямо перед нами, и я остановился. Остановился и он. Совсем рядом была распахнутая настежь дверь бара, и он слегка согнулся, чтобы заглянуть туда, но, видно, того, кого он искал, там не было. Из музыкального автомата выскакивали и бились о стены звуки, и я следил краем глаза, как барменша, пританцовывая, идет к своему месту за стойкой. Я видел ее лицо, когда она отвечала кому-то, смеясь и не переставая двигаться в такт музыке. Когда она улыбалась, глядящему на нее вдруг открывалась маленькая девочка, какой она была когда-то, и в то же время под маской истасканного лица полупроститутки угадывалась обреченная, молчаливо борющаяся с судьбой женщина.

— Чтобы я Сонни что-нибудь давал — такого не было,— опять заговорил он,— но один раз прихожу я в школу хороший, и Сонни спрашивает меня, как оно.

Он замолчал. Я не мог заставить себя взглянуть на него — я смотрел на барменшу и вслушивался в музыку, от которой, казалось, трясся тротуар.

— Я сказал ему: сила.

Музыка оборвалась, барменша застыла, уставившись на автомат, и отвела от него взгляд только тогда, когда музыка зазвучала снова.

— Это и вправду была сила!

Его слова уводили меня куда-то, куда я совсем не хотел идти. Не хотел я знать, «как оно». «Оно» наполняло угрозой все: людей, дома, музыку, темную и живую как ртуть барменшу; главным и подлинным во всем была эта угроза.

— Что же с ним теперь будет? — снова спросил я.

— Отправят куда-нибудь и будут лечить.— Он покачал головой.— Может, ему покажется даже, что он отвык. Тогда его выпустят... — Он широко повел рукой, бросая окурок в сток.— Вот и все.

— Что значит — все? — спросил я, хотя прекрасно понимал, что это значит.

— Значит — все.— Он повернул голову и, насупившись, посмотрел на меня.— Будто вы не знаете, что это значит,— мягко сказал он.

— Да откуда же мне знать? — Эти слова я почему-то почти прошептал.

— Что верно, то верно,— сказал он в пространство.— Откуда ему знать?

Он снова повернулся ко мне, спокойный и исполненный терпения, однако у меня было такое чувство, что внутри у него все дрожит мелкой дрожью, будто он вот-вот развалится на куски. Я снова ощутил в животе тот прежний лед, снова ко мне вернулся ужас, не оставлявший меня весь этот день; и снова остановившимся взглядом провожал я барменшу — смотрел, как она обходит бар, моет стаканы, напевает.

— Очень просто. Его выпустят, и все начнется сначала. Вот что это значит.

— Значит... как только его выпустят, его снова потянет к прежнему. И это значит, что ему никогда не отвыкнуть. Ты ведь это хочешь сказать?

— Точно,— весело ответил он.— Наконец-то вы поняли.

— Скажи,— не выдержал я,— почему он хочет умереть? А он явно хочет умереть — ведь он убивает себя.

Он удивленно посмотрел на меня и облизал губы.

— Да не хочет он вовсе умирать. Он жить хочет. Никому на свете умирать не хочется.

Мне хотелось спросить его еще о многом, но на мои вопросы он все равно не смог бы ответить, а если бы и ответил, ответов я не смог бы перенести. Пора было двигаться.

— Что ж, это, пожалуй, не мое дело,— сказал я.

— Старику Сонни туго придется,— отозвался он.

Мы дошли до входа в метро.

— Вы здесь сядете? — спросил он. Я кивнул и стал спускаться вниз.— Будь я проклят! — воскликнул он вдруг. Я повернул голову. Он снова ухмылялся.— Будь я проклят — оставил дома все деньги. У вас не найдется доллара? На пару дней только.

Что-то треснуло внутри меня, что-то, казалось, вот-вот прорвется. Ненависти к нему у меня больше не было. Я чувствовал: еще секунда — и я разревусь, как ребенок.

— Конечно,— сказал я.— Что за разговор.— Я заглянул в бумажник. Доллара там не оказалось, была одна только пятидолларовая бумажка.— Вот. Подойдет тебе?

Он не посмотрел на нее — он не хотел на нее смотреть. Его лицо стало непроницаемым, и это было страшно: как будто цифра на бумажке

была тайной, которую ему хотелось скрыть от меня и от себя самого.

— Спасибо,— сказал он, и теперь уже ему явно не терпелось, чтобы я поскорей ушел.— За Сонни не переживайте. Может, я напишу ему.

— Конечно,— отозвался я.— Обязательно напиши. Пока.

— До скорого.

И я пошел вниз по ступенькам.

Я долго не писал Сонни и ничего ему не посылал. А когда написал — это было сразу после смерти моей маленькой дочки,— он прислал мне ответ, и, прочитав его, я почувствовал себя подлецом.

Вот что там было:

«Дорогой брат!

Если бы ты знал, как я ждал письма от тебя. Я много раз хотел написать тебе, но вспоминал, сколько я всем принес огорчений, и потому не писал. Но теперь у меня такое чувство, какое бывает у человека, который долго-долго пытался выбраться из глубокой, жутко глубокой и вонючей ямы и, наконец, увидел солнце — там, наверху. Во что бы то ни стало надо выбираться наверх.

Не буду рассказывать, как я попал сюда. То есть я просто не знаю, как про это рассказать. Вроде я чего-то боялся или хотел от чего-то убежать, и ты ведь знаешь, голова у меня всегда была слабая (улыбнись). Я рад, что мамы и отца уже нет в живых и они не могут увидеть, что стало с их сыном, и клянусь тебе: знай я, что я делаю, никогда бы я так не огорчил тебя, тебя и многих других людей, которые делали мне добро и верили в меня.

Не думай, пожалуйста, что все это из-за того, что я музыкант. Дело не только в этом — а может, и совсем не в этом. У меня в голове сейчас полная неразбериха, и я стараюсь не думать о том, что будет, когда я вырвусь отсюда. То мне кажется, что сорвусь и никогда уже отсюда не выберусь, а то кажется, что если и выберусь, все равно быстренько вернусь обратно. Одно могу сказать: скорее я пущу себе пулю в лоб, чем снова пройду через все это. Но я слышал, так все говорят. Если дам знать, когда приеду в Нью-Йорк, и ты сможешь меня встретить, буду очень рад. Привет Изабел и ребятам; так жалко было, когда узнал про малышку Грейси. Хотел бы я быть вроде мамы и говорить: на все божья воля, но только, по-моему, плохому конца нет; и не знаю, стоит ли сваливать все на всевышнего. Но, может, это и помогает, если веришь.

Твой брат

Сонни».

После этого я уже не порывал с ним связи и посылал ему все, что только мог, а когда он вернулся в Нью-Йорк, я пошел встречать его. Я увидел его, и на меня нахлынули воспоминания о вещах, которые, казалось, навсегда ушли из моей памяти. Наверное, потому, что теперь я, наконец, задумался о Сонни, о той жизни, которую Сонни там вел. Какова бы она ни была, эта жизнь, он от нее постарел и исхудал, и еще заметнее стала всегдашняя мягкая сдержанность его движений. Он был совсем не похож на моего младшего брата. И все же, когда он улыбнулся, когда мы пожали друг другу руки, мой младший брат, которого я никогда по-настоящему не знал, выглянул из глубин своего внутреннего мира как зверек, который ждет, чтобы ему помогли победить страх и лаской выманили из темной норки.

— Ну, как ты? — спросил он меня.

— Нормально. А ты?
— Лучше некуда.— Он весь сиял.— Рад тебя видеть.
— Я тоже.

Семь лет разницы в возрасте лежали между нами как пропасть; перекинется ли когда-нибудь через эти годы мост между нами, спрашивал я себя. Я вспомнил — и у меня перехватило дыхание,— что присутствовал при его рождении, что я слышал первые слова, которые он произнес. Когда он начал ходить, от мамы он пошел прямо ко мне; и я поймал его, когда он, споткнувшись, упал после первых своих шагов в этом мире.

— Как Изабел?
— Хорошо. Страшно хочет тебя увидеть.
— А ребята?
— Нормально. Ждут не дождутся своего дядюшки.
— Брось. Они меня и не помнят.
— Да что ты, в самом деле? Помнят великолепно.

Он заулыбался во весь рот. Мы сели в такси. Так много надо было сказать друг другу — так много, что мы не знали, с чего начать.

Такси тронулось с места, и я спросил:
— Ты все еще хочешь поехать в Индию?
Он засмеялся.
— А ты все еще помнишь? Нет уж. Вот она, моя Индия.
— Тут в самом деле когда-то жили индейцы,— сказал я.
И он снова рассмеялся.
— Они знали, что делали, спихивая нам эту землю.

Когда ему было лет четырнадцать, он вдруг загорелся идеей поехать в Индию. Он зачитывался книгами о людях, которые в любую погоду — особенно в плохую — голые сидят на скалах, ходят босиком по раскаленным углям и обретают мудрость. Я говорил ему, что, на мой взгляд, они, наоборот, бегут от мудрости — и бегут так быстро, как только могут. По-моему, он тогда из-за этого презирал меня.

— Ты не против,— спросил он меня,— если мы велим шоферу ехать вдоль парка? По западной стороне — я ведь не видел города целую вечность.

— Конечно, нет,— сказал я. Я боялся, что ему покажется, будто я снисхожу до него, и в то же время надеялся, что он не будет так думать.

И мы покатили — между зеленью парка и каменной, неживой красотой отелей и многоквартирных домов, покатили к кипящим жизнью, убийственно прекрасным улицам нашего детства. Улицы эти не изменились, хотя теперь над ними, как скалы над бушующим морем, высились новые дома. Большинство домов, в которых мы росли, бесследно исчезло — как исчезли лавки, из которых мы таскали все, что плохо лежит, подвалы, где мы впервые узнавали любовь, крыши, с которых мы швыряли жестянки и кирпичи. Старые дома исчезли, но стояли другие, точно такие же, как дома нашего прошлого, и мальчишки, точно такие же, как мы когда-то, задыхались в этих домах, шли за светом и воздухом на улицы, и там их подстерегала беда. Кое-кому удавалось избежать капкана, большинству не удавалось. Те, кто выбирался, всегда оставляли в нем какую-то часть себя, как иные животные, которые, попав в капкан, отгрызают себе лапу, чтобы уйти. Наверное, можно считать, что мне удалось вырваться — я все-таки стал школьным учителем; и Сонни тоже: ведь столько лет уже прошло с тех пор, как он расстался с Гарлемом. Однако теперь, в такси, удалявшемся от центра по улицам, на которых сразу как будто стемнело от темнокожих людей вокруг, я, изучая тайком лицо Сонни, понял вдруг, что оба мы ищем, каждый глядя через свое окошко, ту часть себя, которая осталась здесь. В час испытания, в час очной ставки с самим собой отсутствующая конечность ноет сильнее.

Мы проскочили 110-ю улицу и покатили по Ленокс-авеню. Эту авеню я знал всю свою жизнь, но снова, как в тот день, когда я впервые услышал о беде, в которую попал Сонни, мне почудилось, что она полна тайной угрозы, что вся атмосфера вокруг дышит этой угрозой.

— Почти приехали,— сказал Сонни.

— Почти.

Ни он, ни я не знали, что еще сказать,— слишком волновались оба.

Мы живем в новом доме. Выстроили его совсем недавно. Несколько дней после заселения он оставался неправдоподобно новым; теперь он, конечно, загажен до предела. Теперь это пародия на правильную, чистую, безликую жизнь, и надо признать, что люди, которые живут в нем, очень стараются придать своей жизни вид пародии. Затоптанной травы вокруг дома слишком мало, чтобы скрасить их жизнь, кустам не остановить вторжения улицы, и люди знают это. Большие окна никого не одурачат: не настолько они большие, чтобы создать простор там, где простора нет. Да окна и не волнуют тех, кто здесь живет,— для них куда интересней экран телевизора. Площадка для игр больше привлекает тех ребят, которые не играют в камешки, не прыгают через скакалку, не катаются на роликах, не качаются на качелях,— они собираются здесь после наступления темноты. Мы переехали в этот дом отчасти потому, что отсюда не так далеко до моей работы, а отчасти из-за малышей, но, по правде говоря, нет никакой разницы между этим домом и теми, где прошло наше с Сонни детство. Все то же, и воспоминания у детей будут те же. Когда мы с Сонни вошли в дом, мне показалось, что я просто возвращаю его назад, в прошлое, к той угрозе, попытка уйти от которой чуть не стоила ему жизни.

Разговорчивостью Сонни не отличался никогда, так что сам не знаю, почему я был так уверен, что после ужина, в тот первый вечер, он будет умирать от желания поговорить со мной. Все прошло великолепно: мой старший сын помнил его, а младшему он понравился, да и Сонни не забыл привезти подарки для того и другого; а Изабел, которая вообще, человечески, намного мягче меня, проще и душевней, была искренне рада видеть Сонни и не пожалела сил, чтобы ужин получился на славу. Она всегда умела добродушно поддразнить его — я этого не умею. Так приятно было видеть ее оживившееся лицо, слышать, как она смеется сама и заставляет смеяться Сонни. Она не испытывала или, во всяком случае, не обнаруживала ни малейшего смущения. Она болтала так, будто не было тем, которых лучше не касаться, и не дала Сонни завязнуть в скованности первых минут. И слава богу, что она была тут, потому что я снова почувствовал тот, прежний, леденящий ужас. Все мои движения казались мне неуклюжими, а слова звучали так, будто я вкладывал в них скрытый смысл. Мне вспоминалось все, что я когда-либо слышал о наркомании, и я непроизвольно начинал выискивать у Сонни ее симптомы. Делал я это без дурного умысла: просто мне хотелось узнать побольше о своем брате. И мне страшно хотелось услышать от него, что теперь он в безопасности и ему ничто не угрожает.

«Безопасность! — бывало, бурчал отец, когда мать заводила разговор о том, что не мешало бы нам переехать в более безопасное для детей место.— Безопасность ей, видите ли, нужна! Да разве сыщешь на свете место, где бы детям или кому другому безопасно было?!»

Он всегда так рассуждал, но на самом деле он был добрее, чем казался, всегда добрее, даже по субботам, когда бывал пьян. Он всю жизнь искал «что-нибудь поинтереснее», но так и умер, ничего не найдя. Умер он совсем неожиданно — во время одной из субботних пьянок в середине войны, когда Сонни было пятнадцать лет. Уживались они с Сонни не ахти как, и отчасти потому, что для отца Сонни был свет в окошке. Отец любил Сонни и ужасно за него боялся, и именно оттого все время с

ним воевал. А воевать с Сонни — дело пустое. Сонни просто съеживается, уходит в себя, и уж тогда до него не добраться. Но главное, они никогда не могли поладить из-за того, что были страшно похожи друг на друга. Отец был крупный, грубоватый в обхождении, разговаривал всегда громко — казалось бы, полная противоположность Сонни; но оба были какие-то одинаково замкнутые.

Мама пыталась рассказать мне об этом, когда сразу после смерти отца я приехал на побывку из армии.

Тогда я в последний раз видел маму живой, но все равно это время как-то путается у меня в голове с тем, когда она была моложе. Я всегда вижу ее такой, какой она бывала во второй половине дня в воскресенье, когда старшие беседовали после большого воскресного обеда. Вспоминается мне она всегда в бледно-голубом. Обычно она сидела на диване, а отец в кресле неподалеку от нее. В комнате полно родственников и братьев по вере. Вот они сидят, комната сплошь заставлена стульями, а снаружи подкрадывается ночь, но об этом еще никто не знает. Ты видишь, как за окном сгущаются сумерки, временами слышишь уличный шум, иногда — ритмичное звяканье бубна в какой-нибудь из ближайших церквей, но в самой комнате тихо-тихо. На минуту все умолкли, но все темнее становятся лица, как небо за окнами. И мама, сидя, чуть раскачивается, а глаза отца закрыты. Все смотрят на что-то такое, что недоступно глазам ребенка. На время дети забыты. Может быть, один из них лежит полусонный на коврике. Другой, может быть, примостился на чьих-то коленях, и кто-то рассеянно гладит его голову. Может быть, третий малыш, тихий и большеглазый, прикорнул в большом кресле в углу. Молчание, темнота за окнами и темнота в лицах взрослых внушают ребенку смутный страх. Он надеется, что рука, которая гладит его голову, никогда не перестанет гладить, никогда не умрет. Он надеется, что не придет такое время, когда старшие уже не будут сидеть в комнате, рассказывая о том, откуда они родом, что они видели и что было с ними и их родными.

Но что-то в душе ребенка, глубоко спрятанное, недремлющее, знает, что конец неминуем, что он уже близок. Еще мгновение — и кто-то встанет, чтобы зажечь свет. Тогда старшие вспомнят про детей, и разговоров в этот день больше не будет. И когда комнату наполнит свет, ребенка наполняет мрак. Он знает: каждый раз, как это происходит, он оказывается чуть ближе к мраку за окнами. Мрак за окнами — это то, о чем говорили старшие. Мрак — это то, откуда они пришли. Мрак — это то, что им приходится терпеть. Ребенок знает: старшие не будут больше говорить, ибо если он будет знать слишком много о том, что было с ними, он раньше времени узнает о том, что будет с ним самим.

Помню, во время того, последнего, разговора с матерью я сидел как на иголках. Мне хотелось поскорее сбежать из дому к Изабел. Мы еще не были женаты, и многое в наших отношениях оставалось для нас неясным.

Мама сидела, вся в черном, у окна. Она тихонько напевала старый псалом «Издалека привел меня господь». Сонни куда-то запропастился. Мама не отрывала глаз от улицы.

— Не знаю,— сказала она,— увижу ли я тебя еще когда-нибудь, но надеюсь, ты не забудешь того, чему я тебя учила.

— Не надо говорить так,— улыбнулся я.— Тебе жить да жить.

Она тоже улыбнулась, но ничего не сказала. Долго молчала она. И я стал ее успокаивать:

— Не беспокойся ни о чем, мама. Я все время буду писать тебе, и ты будешь получать деньги...

— Я хочу поговорить с тобой о твоем брате,— сказала она вдруг.— Случись что-нибудь со мной, за ним некому будет приглядеть.

— Мама,— сказал я,— ни с тобой, ни с Сонни ничего не случится. О Сонни беспокоиться не надо. Он хороший мальчишка и соображает хорошо.

— Дело не в том, хорош ли он и хорошо ли соображает,— ответила мама.— Не только плохие пропадают и не только глупые.

Она умолкла и посмотрела на меня.

— Когда-то у твоего отца был брат,— сказала она, и хотя она улыбнулась, я почувствовал, как ей больно.— Ты не знал этого?

— Нет,— сказал я,— не знал.

Я смотрел на нее и ждал, что она скажет дальше.

— Да,— повторила она,— у твоего отца был брат.

Она опять посмотрела в окно.

— Я знаю, ты никогда не видел, чтобы твой отец плакал. Но я видела — и сколько раз за все эти годы!

— Что же случилось с его братом? — спросил я.— Почему никто никогда о нем не говорил?

Тут я впервые заметил, как постарела мать.

— Его брата убили,— сказала она,— когда он был чуть моложе, чем ты теперь. Я знала его — очень хороший был парень, немножко взбалмошный, но никому не хотел зла.

Она замолчала, и в комнате наступила тишина — такая же, какая иногда воцарялась в те воскресные вечера. И по-прежнему мама то и дело поглядывала в окно, на улицу.

— Он работал на заводе,— начала она свой рассказ,— и как все молодые, любил повеселиться в субботний вечер. Наступает суббота, и его с твоим отцом куда-нибудь несет — на танцы или еще куда-нибудь, а то и просто идут посидеть с приятелями, и обычно брат твоего отца пел (у него был прекрасный голос) и подыгрывал себе на гитаре. В тот субботний вечер они с отцом возвращались домой откуда-то, оба немного выпивши, а ночь была лунная, светло было, как днем. У брата твоего отца было хорошее настроение, он шел и насвистывал, а через плечо у него висела гитара. Они спускались с холма, а внизу была дорога, развилок шоссе. Брат твоего отца всегда любил порезвиться, и тут он решил сбежать с холма и сбежал, и гитара у него за спиной ужасно бренчала и звенела, и он перебежал дорогу и встал за деревом помочиться. Твоему отцу было немножко смешно смотреть на это, и он шел себе не торопясь, вниз по склону. А потом он услышал шум мотора, и как раз в это время его брат шагнул из-за дерева на дорогу, в лунный свет, и начал переходить дорогу. И твой отец побежал вниз по склону — говорил потом, сам не знал почему. Машина была битком набита белыми, они были все пьяные; и когда они увидели брата твоего отца, они подняли страшный крик и повели машину прямо на него. Они просто развлекались, просто хотели попугать его, знаешь, как они иногда любят. Но они были пьяные. А наш-то парень, который тоже был выпивши и к тому же еще напуган, наверное, растерялся. Он прыгнул в сторону, но слишком поздно. Твой отец говорил, что слышал, как брат закричал из-под колес, слышал, как раздавило гитару, слышал, как лопнули струны, и слышал крики белых, и машина, не замедляя хода, помчалась дальше, дальше — и не остановилась по сей день. И когда твой отец сбежал со склона, он нашел на дороге кровавое месиво.

На лице у матери были слезы. Я не мог вымолвить ни слова — у меня будто отнялся язык.

— Он никогда не говорил об этом,— сказала она,— потому что я не позволяла ему говорить об этом при вас, детях. Твой отец был как безумный в ту ночь и много ночей потом. Он говорил, что ничего темнее той дороги после того, как огни машины исчезли вдали, он за всю свою жизнь не видал. Ничего, никого не было на той дороге — только твой отец, его

мертвый брат и раздавленная гитара. Да. Твой отец с той ночи никогда уже не был прежним. Он до самой смерти был уверен, что каждый белый, которого он видит,— тот самый, что убил его брата.

Она умолкла, достала носовой платок и вытерла глаза, а потом снова посмотрела на меня.

— Я рассказываю тебе все это не для того, чтобы напугать тебя или озлобить, и не для того, чтобы ты кого-то возненавидел. Я рассказываю потому, что у тебя есть брат, а мир не переменился.

Этому мне не хотелось верить, и она, должно быть, прочла это на моем лице. Она повернулась к окну и снова окинула взглядом улицу.

— Но я благодарю спасителя,— заговорила она наконец,— за то, что твоего отца он призвал к себе раньше, чем меня. Не хочу хвалиться, но должна прямо сказать: мысль, что я помогла твоему отцу благополучно пройти до конца его жизненный путь, спасает меня от отчаяния. Твой отец всегда вел себя так, будто его ничем не проймешь, будто человека сильнее его на свете нет. И все его за такого принимали. Только вот если бы с ним не было меня — я-то видела его слезы!

Она снова заплакала. Внутри у меня все окаменело.

— Боже мой, боже, мама, я не знал, что так было.

— Ох, сынок, ты многого не знаешь. Но узнаешь еще.— Она оторвала взгляд от окна, встала и подошла ко мне.— Не бросай своего брата,— сказала она,— и поддержи его, если он будет падать, что бы ни случилось и как бы ты ни был на него зол. А зол ты на него будешь — и не раз. Но не забывай того, что я рассказала тебе, слышишь?

— Я не забуду, мама,— ответил я.— Ты не волнуйся, не забуду. Я не допущу, чтобы с Сонни что-нибудь случилось.

Мама улыбнулась, как будто что-то в моем лице ее рассмешило. И добавила:

— Может, тебе не удастся не допустить. Но он всегда должен знать, что у него есть ты.

Через два дня я женился, а потом снова уехал. Голова у меня была забита другим, и я начисто забыл про обещание, которое дал матери, пока по специальной увольнительной не приехал домой на ее похороны.

И после похорон, когда мы с Сонни остались одни в опустевшей кухне, я попытался хоть что-нибудь узнать о нем.

— Чем думаешь заниматься? — спросил я его.

— Я буду музыкантом,— сказал он.

Оказывается, за время моего отсутствия он от танцев под автомат перешел к выяснению того, кто, что и как играет, и уже купил себе ударную установку.

— Так ты хочешь быть ударником?

Почему-то мне казалось, что быть ударником, возможно, хорошо для других, но уж никак не для моего брата Сонни.

— Нет,— сказал он, глядя на меня очень серьезно,— хорошим ударником мне, пожалуй, никогда не стать. Но мне кажется, я смогу играть на рояле.

Я нахмурился. Никогда до этого я не входил так серьезно в роль старшего брата, больше того: я даже никогда ни о чем Сонни не спрашивал. Я чувствовал, что столкнулся с чем-то, что ставит меня в тупик, с чем-то, чего я не понимаю. Поэтому я нахмурился еще больше, задавая ему новый вопрос:

— Каким же музыкантом ты хочешь стать?

Он еле удержался от смеха.

— А какие, по-твоему, бывают?

— Я тебя серьезно спрашиваю,— сказал я.

Откинув голову, он рассмеялся, а потом взглянул на меня.

— А я серьезно и отвечаю.

— Тогда, ради бога, перестань ребячиться и ответь мне на серьезный вопрос. Ты хочешь стать концертным пианистом, играть классическую музыку или... или как?

Я еще не кончил, а он уже хохотал вовсю.

— Ради бога, Сонни!

Хоть и с трудом, но он взял себя в руки.

— Извини. Но ты... так испугался!

И он снова залился смехом.

— Ладно, бэби, сейчас тебе очень смешно, но тебе будет не до смеха, когда придется зарабатывать себе на жизнь — уж тут ты мне поверь! — Я был вне себя от ярости, так как видел, что он надо мной смеется, но не понимал почему.

— Нет,— сказал он, уже совсем овладев собой и, возможно, испугавшись, что обидел меня,— я не хочу играть классику. Меня интересует другое. Я... — Он сделал паузу, устремив на меня пристальный взгляд, словно взглядом хотел помочь мне понять, а потом сделал несколько беспомощных жестов, словно взмахом руки хотел помочь мне понять. — ...Мне придется много учиться, и учиться с самого начала, но играть я хочу только в джазе.— Он перевел дух.— Я хочу играть джазовую музыку.

Пожалуй, никогда слово «джаз» не звучало для меня так весомо, как теперь, в устах Сонни. Я хмуро смотрел на него — и не находил слов. Я не мог понять, чего ради хочет он тратить время, болтаясь по ночным клубам, паясничая на эстраде над толпой танцующих. Это было как-то... недостойно его. Я никогда не задумывался над этим раньше — просто не приходилось, но, пожалуй, я всегда относил джазистов к числу тех, кого отец называл «любителями легкой жизни».

— Ты это серьезно?

— Да, черт возьми, серьезно.

Видно было, как глубоко он задет, как раздражен, как беспомощен — таким беспомощным я не видел его никогда.

Из самых лучших побуждений я спросил наудачу:

— Вроде... Луи Армстронга?

Его лицо стало замкнутым, как будто я ударил его.

— Ну нет, уж во всяком случае, не как это заплесневелое дерьмо!

— Ладно, Сонни, прости меня. Не надо заводиться. Просто до меня не совсем доходит — вот и все. Назови кого-нибудь — ну, какого-нибудь джазового музыканта, который приводит тебя в восторг.

— Птица[1].

— Кто-кто?

— Птица! Чарли Паркер! Неужели вас ничему не учат в вашей проклятой армии?

Я закурил сигарету. С удивлением, а потом даже слегка подтрунивая над собой, я обнаружил, что меня трясет.

— Я поотстал немного,— сказал я.— Ты уж наберись терпения. Ну, так кто же все-таки этот Паркер?

— Всего-навсего один из величайших живых джазистов,— сумрачно буркнул Сонни. Руки его были в карманах, и стоял он спиной ко мне.— Может быть, самый великий,— добавил он с горечью.— Потому, наверно, ты о нем и не слыхал.

— Хорошо,— сказал я.— Я невежда. Извини. Сейчас же иду и покупаю все пластинки этого лабуха — ты доволен?

---

[1] Птица — прозвище знаменитого саксофониста, обновителя джаза Чарли Паркера, умершего от наркомании.

— Мне все равно,— с достоинством сказал Сонни.— Мне совершенно безразлично, что ты слушаешь. Не делай мне, пожалуйста, одолжений.

Только теперь я начал понимать, что никогда прежде не видел его таким расстроенным. Но другая часть моего «я» упорно продолжала считать, что его увлечение джазом — всего-навсего болезнь роста и мне не стоит особенно нажимать на него, чтобы не фиксировать его внимания на этом джазе. И все же мне казалось, что не произойдет ничего страшного, если я спрошу его:

— Но ведь на все это тебе потребуется уйма времени, верно? А на жизнь себе ты этим сумеешь заработать?

Он повернулся ко мне лицом и присел на край кухонного стола.

— Время требуется на все,— сказал он,— и... конечно, я заработаю этим себе на жизнь. Но, кажется, я никак не втолкую тебе одну простую вещь: это — единственное, что меня интересует.

— Знаешь, Сонни,— мягко сказал я,— люди не всегда могут заниматься тем, что их интересует.

— Нет, не знаю,— к великому моему удивлению заявил Сонни.— По-моему, люди обязаны заниматься именно тем, что их интересует,— для чего еще они живут?

— Ты уже взрослый парень,— сказал я в отчаянии,— тебе пора подумать о своем будущем.

— Я думаю о своем будущем,— ответил он мрачно.— Все время думаю.

Я отступился. Я решил, что если он сам не изменит своих планов, мы всегда сможем поговорить об этом позже.

— А пока,— сказал я,— тебе надо закончить школу.

Еще до этого разговора мы решили, что он будет жить в семье Изабел. Я знал, что это не идеальное решение: родные Изабел любили, чтобы все было так, как они хотят, и к тому же они вовсе не были в восторге от того, что Изабел вышла за меня замуж. Но другого выхода я не видел.

— А теперь надо заняться твоим устройством у Изабел.

Последовало долгое молчание. Он перешел от кухонного стола к окну.

— Хуже ничего не придумаешь. И ты сам это знаешь.

— А ты можешь подсказать что-нибудь лучшее?

Сонни прошелся по кухне несколько раз взад и вперед. Он был моего роста, он уже брился. Внезапно я подумал, что совсем не знаю его.

Он остановился у стола и взял мои сигареты. Глядя на меня с шутливым вызовом, он зажал одну из них в губах.

— Не возражаешь?

— Ты уже куришь?

Он закурил и кивнул, не отрывая от меня пристального взгляда.

— Я просто хотел проверить, хватит ли у меня смелости закурить при тебе.— Он широко улыбнулся и выпустил к потолку облачко дыма.— Оказывается, это совсем не трудно.— Он снова посмотрел мне прямо в лицо: — Давай поспорим, что ты курил в моем возрасте. Что, неправда?

Я ничего не ответил, но все было написано на моем лице, и он рассмеялся. Только теперь в его смехе было что-то принужденное.

— Ну конечно. И могу поспорить, что ты делал еще кое-что.

Мне стало немного не по себе.

— Хватит трепаться,— прервал его я.— Мы ведь решили, что ты переезжаешь к Изабел. Что это на тебя вдруг нашло?

— Это ты решил. Я не решал ничего.— Он остановился передо мной и прислонился спиной к плите, скрестив на груди руки.— Брат, пойми: я не хочу больше оставаться в Гарлеме. Не хочу, слышишь? — Он сказал это очень серьезно, и в глазах его было что-то такое, чего я никогда не

видел прежде: какая-то тайная тревога, озабоченность, которой он не хотел делиться ни с кем. Он потер плечо.— Надо мне выбираться отсюда.

— Куда же ты пойдешь, Сонни?

— В армию. Или во флот — все равно. Если я скажу, что подхожу по возрасту, мне поверят.

И тут я взорвался. Наверное, потому, что мне стало страшно.

— Да ты с ума сошел! Ну, зачем тебе в армию, дурак ты этакий?

— Я уже сказал: чтобы выбраться из Гарлема.

— Сонни, ты ведь школы даже не кончил. И если ты вправду хочешь стать музыкантом, то как ты думаешь учиться музыке в армии?

Он посмотрел на меня взглядом загнанного животного.

— Ну, уж как-нибудь. Может, что и придумаю. И потом, когда я вернусь, у меня будут льготы.

— Если вернешься.

Наши взгляды встретились.

— Ну, пожалуйста, Сонни, не лезь в бутылку. Знаю, что плохо, но ничего лучшего не придумаешь.

— Школа ничему меня не учит,— сказал он.— Даже когда я хожу туда.— Он повернулся к окну, открыл его и бросил окурок наружу, в узкий проход между домами. Я смотрел ему в спину.— А если и учит, то не тому, чему тебе хотелось бы меня научить.— Он с такой силой захлопнул окно, что стекло чуть не вылетело, и повернулся ко мне.— И потом, меня тошнит от вони этих мусорных баков!

— Сонни,— сказал я ему,— я понимаю, каково тебе сейчас. Но если ты не кончишь школу теперь, позже ты будешь жалеть об этом.— Я схватил его за плечи.— И осталось-то тебе всего год — не так уж страшно. И когда я приеду, то, клянусь, помогу тебе заняться, чем ты захочешь. Только потерпи до моего возвращения. Согласен? Ради меня.

Он не отвечал и не смотрел на меня.

— Сонни! Ты меня слышишь?

Он высвободился из моих рук:

— Я-то тебя слышу. Но вот ты никогда не слышишь меня.

Я не знал, что на это ответить. Он посмотрел в окно, потом снова на меня.

— Ладно,— вздохнул он, наконец,— попробую.

Тогда я добавил, чтобы хоть немного поднять ему настроение:

— У Изабел дома есть пианино. Сможешь заниматься.

И правда, на минуту настроение у него поднялось.

— Верно,— сказал он как будто самому себе.— Я об этом совсем забыл.

Лицо его слегка прояснилось. Но тревога, озабоченность по-прежнему играли на нем — как играют тени на лице, глядящем в огонь.

Потом я не знал, куда мне деваться от этого пианино. Сначала в письмах ко мне Изабел умиленно рассказывала, как серьезно относится Сонни к своим занятиям музыкой и как сразу же по приходе из школы или еще откуда-нибудь, где он был в то время, когда ему полагалось быть в школе, он идет прямо к пианино и не встает из-за него до самого ужина. А после ужина снова садится и перестает играть, только когда все семейство укладывается спать. Он просиживал за пианино целый день в субботу и целый день в воскресенье. Потом он купил проигрыватель и начал крутить пластинки. Случалось, что целый день с утра и до вечера он прокручивал одну и ту же пластинку, одновременно импровизируя на пианино. Или прокрутит какую-то часть записи, один аккорд, один такт, одну секвенцию — и повторяет то же самое на пианино. Потом снова к проигрывателю — и снова за пианино.

По правде говоря, я просто не представляю себе, как они все это выносили. В конце концов Изабел призналась, что выглядит это так, будто музыка, а не человек поселилась под одной крышей с ними. Музыка, которая для нее, да и для всех ее родных, была, разумеется, лишена всякого смысла. Присутствие Сонни начало действовать на них угнетающе — как если бы в доме их поселилось какое-то божество или чудовище. Его окружала атмосфера, совсем не похожая на ту, в которой жили они сами. Они кормили его, и он ел; он мылся, входил и выходил через их дверь; он не был грубым с ними, не был колючим или злым — эти качества абсолютно чужды Сонни,— но он был словно окутан каким-то облаком, пламенем, видением, открытым только его взгляду, и не было пути к нему для других.

В то же время он еще не стал мужчиной, он был еще ребенком, и за ним во всем был нужен присмотр. Выгнать его они не могли, устроить скандал из-за пианино тоже не осмеливались, потому что даже они смутно чувствовали, как чувствовал я через тысячи миль, что для Сонни музыка была делом жизни и смерти.

Однако в школу Сонни не ходил. В один прекрасный день от школьного совета пришло письмо, и получила его мать Изабел; раньше, наверное, тоже были письма, но Сонни их перехватывал. Когда Сонни пришел, мать Изабел показала ему письмо и спросила, где он проводит время. И в конце концов вытянула из него, что он бывает в Гринвич-Вилледже, с музыкантами и другими типами, в квартире одной белой девушки. Это напугало мать Изабел, и она подняла крик, дальше — больше, и под конец наговорила ему (хоть она и отрицает это по сей день), на какие жертвы они идут, чтобы у Сонни был приличный дом, и как мало он это ценит.

В тот день Сонни не подходил к пианино. К вечеру мать Изабел приутихла, но оставалось еще выяснить отношения со стариком и с самой Изабел. Изабел говорит, что изо всех сил старалась сохранить спокойствие, но ее на это не хватило и она разревелась — просто оттого, говорит она, что глядела на Сонни. По его лицу она видела, что́ с ним происходит. А произошло с ним то, что они проникли в его облако, добрались наконец до него. Даже если бы их пальцы были в тысячу раз нежнее обычных человеческих, все равно бы он чувствовал себя так, будто с него сорвали одежду и плюют на его голое тело. Ибо он понял, что его присутствие и музыка, в которой для него заключалась вся жизнь, для них были пыткой и выносили они эту пытку вовсе не ради него, а ради меня. И вот этого уже Сонни перенести не мог. Сейчас он такое переносит лучше, но все равно болезненно — да я, откровенно говоря, не знаю людей, которые переносили бы это безболезненно.

Молчание последующих дней было, наверное, оглушительнее всей музыки, которая когда-либо звучала в мире от начала времен. Потом утром, перед уходом на работу, Изабел зашла за чем-то в его комнату и вдруг увидела, что его пластинки исчезли — все до единой. И она поняла, что он ушел, и так оно и было. Ушел за тридевять земель — куда только мог занести его флот. Наконец, он прислал мне открытку откуда-то из Греции, и я узнал, что он еще жив. Снова увидел я его только тогда, когда оба мы вернулись в Нью-Йорк, война уже давно кончилась.

Конечно, к тому времени он стал взрослым мужчиной, но я упорно не хотел этого замечать. Иногда он заглядывал ко мне, но почти всякий раз мы ссорились. Мне не нравилось, что он держит себя этаким мечтателем без руля и без ветрил, и не нравились его друзья, а музыка его казалась мне просто предлогом для оправдания той жизни, которую он вел. Для меня, во всяком случае, она была такой же беспорядочной и непонятной, как и сама эта жизнь.

Потом как-то раз мы сцепились, сцепились крепко, и прошло не

меньше полугода, прежде чем я увидел его опять. Я отыскал его в Гринвич-Вилледже, в меблированной комнате, где он жил, и хотел с ним помириться. Но в комнате было много народу, и Сонни даже не поднялся с постели и не пожелал выйти со мной на лестницу, и держался он со всей этой публикой так, будто они — его родные, а я — чужой. Это меня взорвало, и тогда его тоже взорвало, и я сказал, что лучше бы ему умереть, чем жить так, как он живет. Тогда он встал и сказал, чтобы я больше никогда о нем не беспокоился, что для меня он умер. Потом он толкнул меня к двери, и другие смотрели на это так, будто ничего особенного не происходит, и он захлопнул за мною дверь. Я стоял в коридоре и смотрел на нее и тут услышал, как кто-то засмеялся в комнате, и у меня на глазах выступили слезы. Я начал спускаться вниз, насвистывая, чтобы не расплакаться, насвистывая: «Ты меня еще вспомнишь, бэби, в холодные и дождливые дни».

О том, что Сонни попал в беду, я прочитал весной. Крошка Грейс умерла осенью. Очень красивая девочка была Грейс, но прожила она немногим больше двух лет. Она умерла от полиомиелита — умерла в страшных мучениях. Дня два у нее была повышенная температура, но никто не подозревал, что это может быть что-то серьезное, и мы решили просто подержать ее в постели. И, конечно, мы вызвали бы врача, но температура спала, Грейс как будто выздоровела. Мы думали, что это была обычная простуда. Потом как-то Грейс играла наверху, а Изабел на кухне готовила еду для мальчиков, которые вот-вот должны были прийти из школы, и вдруг услышала, что девочка упала на пол. Когда детей у вас много, вы не срываетесь с места всякий раз, когда кто-то из них падает, если только он не поднимает при этом рева. Грейс молчала. И, однако, говорит Изабел, когда она услышала глухой удар, а потом стало тихо, у нее сердце оборвалось и ей стало страшно. И она бросилась в комнату и увидела ее, маленькую Грейс: она билась на полу в судорогах и не кричала только потому, что не могла вздохнуть. А когда закричала, то это был самый страшный звук, какой, говорит Изабел, ей довелось слышать в своей жизни, и она до сих пор слышит его иногда во сне. Временами я просыпаюсь от ее тихих, глухих стонов, и тогда нужно поскорее разбудить ее и обнять, и ее уткнувшееся мне в грудь, рыдающее лицо кажется смертельной раной.

Точно не помню, но возможно, я написал ему в тот самый день, когда похоронили маленькую Грейс. Я сидел один в комнате, в темноте, и вдруг подумал о Сонни. Своя беда напомнила мне о его беде.

Как-то к концу субботнего дня, когда Сонни прожил с нами или, во всяком случае, у нас в доме уже почти две недели, я бесцельно слонялся по гостиной, прихлебывая из жестянки пиво и стараясь набраться духу, чтобы обыскать его комнату. Самого Сонни не было, его обычно не бывало, когда я был дома, а Изабел пошла с детьми навестить стариков. И вдруг я замер перед окном, бессмысленно уставившись на Седьмую авеню. Замер я от внезапно пришедшей мне мысли обыскать спальню Сонни. Я сам не решался признаться себе в том, что́ я там буду искать. И я не знал, что я буду делать, если найду это. Или если не найду.

На тротуаре напротив, у входа в закусочную, несколько человек устроили старомодное религиозное собрание. В дверном проеме стоял и смотрел на них повар в грязном белом переднике, с сигаретой в зубах и с искусственно выпрямленными волосами, которые в лучах заходящего солнца отливали медью. Малыши и взрослые, шедшие по своим делам, замедляли шаг и останавливались там, где уже стояло несколько пожилых людей и две задиристого вида женщины, которые на все, что проис-

ходило на улице, смотрели так, будто улица была их владением — или, вернее, владелицей. Ну, и на это они тоже смотрели. Собрание вели три сестры в черном и один брат. У них не было ничего, кроме собственных голосов, библий и бубна. Брат возносил хвалу, и пока он возносил хвалу, две сестры стояли, тесно прижавшись друг к другу, и всем своим видом, казалось, говорили «аминь», а третья сестра с бубном в протянутой руке обходила всех стоящих вокруг, и два или три человека бросили в него несколько монет. Потом брат умолк, и сестра, собиравшая пожертвования, высыпала монеты себе в ладонь и переложила их в карман своего длинного черного платья. Потом она подняла обе руки и, ударяя бубном то о воздух, то о другую руку, начала петь. И вместе с ней запели брат и две другие сестры.

Вдруг мне стало как-то очень странно смотреть на это, хотя такие уличные собрания я видел всю свою жизнь. И не только я, но и все, кто был сейчас там, на улице. И, однако, они останавливались, смотрели и слушали, и я тоже, замерев, стоял у окна. «Это старый корабль Сиона,— пели они, и бубен в руках сестры ритмично позвякивал,— на нем тысячи душ спасенных!» В пределах досягаемости их пения не было ни одной души, которая слышала бы этот гимн впервые,— и ни одной из них не удалось спастись. Да и не видели они, чтобы так уж много делалось вокруг для их спасения. Да и не особенно верили они в святость брата и трех сестер: слишком много они знали о них, знали, где они живут и как. Женщину с бубном, чье лицо сияло радостью, а голос перекрывал остальные, очень немногое отделяло от женщины, которая стояла и смотрела на нее, женщины с сигаретой в мясистых потрескавшихся губах, со взбитыми волосами, с лицом в шрамах и синяках от постоянных побоев, с горящими, как угли, глазами. Возможно, обе они это знали, и потому, когда они заговаривали друг с другом, что случалось с ними редко, одна называла другую сестрой. Когда все вокруг наполнилось пением, в лицах смотревших и слушавших людей произошла перемена, глаза увидели что-то внутри, музыка словно вытянула из них весь яд, и само время, казалось, отступило от мрачных, озлобленных, измятых лиц — как будто, прозрев то, что их ждет, они стали искать прибежища в том, что когда-то было. Повар тряхнул головой, улыбнулся, а потом бросил сигарету и скрылся в своем заведении. Какой-то мужчина нашарил в карманах мелочь и теперь стоял с монетами в руке, всем своим видом выражая нетерпение, как будто он только что вспомнил о неотложном свидании дальше, на той же улице. Он казался очень рассеянным. А потом, чуть в стороне от них, я увидел Сонни. У него в руках был тонкий, большого формата блокнот в зеленой обложке, и поэтому оттуда, где я стоял, он выглядел почти школьником. В меди заката медный отлив его кожи казался ярче обычного; он стоял, неподвижный как статуя, чуть заметно улыбаясь. Пение оборвалось, бубен снова стал тарелкой для сбора пожертвований. Рассеянный бросил туда свои монеты и исчез, его примеру последовали две-три женщины. Сонни тоже бросил в тарелку какую-то мелочь, глядя на женщину в упор и чуть заметно улыбаясь. А потом он стал переходить улицу. Походка у него медленная, скользящая, как у гарлемских хипстеров, только ходит он этой походкой в своем собственном ритме. Раньше я этого как-то не замечал.

Я стоял у окна, испытывая одновременно облегчение и, неизвестно почему, тревогу. Когда Сонни исчез из поля моего зрения, они снова запели. И они еще пели, когда его ключ щелкнул в замке.

— Привет,— сказал он.

— Привет. Хочешь пива?

— Нет. Хотя, пожалуй.— Но вместо того, чтобы взять пиво, он подошел к окну и, став рядом со мной, посмотрел вниз.— Какой теплый голос,— сказал он.

Они пели «О, если бы я снова мог молитву матери услышать».

— Да,— сказал я,— и с бубном она знает, что делать.

— Но песня — просто жуть,— добавил он и рассмеялся. Потом бросил блокнот на диван и скрылся в кухне.

— А где Изабел и дети?

— Наверное, пошли к старикам. Ты голодный?

— Нет.

Он появился из кухни с банкой пива.

— Хочешь пойти со мной в одно место?

Не знаю почему, но я почувствовал, что сказать «нет» нельзя.

— Хочу — куда?

Он сел на диван, взял блокнот и начал его перелистывать.

— Я иду посидеть кое с кем в одном логове в Гринвич-Вилледже.

— То есть играть будешь?

— Угадал.— Он отхлебнул пива и опять вернулся к окну, искоса взглянув на меня.— Выдержишь?

— Постараюсь.

Он улыбнулся словно про себя, и мы оба стали смотреть, как на другой стороне улицы заканчивается собрание. Три сестры и брат, склонив головы, пели «Храни вас бог до новой встречи с нами». Лица слушавших казались отрешенными. Потом песня кончилась, кучка людей рассеялась. Мы смотрели, как три женщины и одинокий мужчина медленно пошли по улице.

— Когда она пела,— сказал Сонни резко, будто пересиливая себя,— ее голос на минуту напомнил мне то, что чувствуешь под героином, когда он у тебя в венах. От него жарко и холодно сразу. И уходишь куда-то. И... появляется уверенность.

Не глядя на меня, он отпил из банки. Я не отрывал глаз от его лица.

— Под героином ты... хозяин положения. Иногда без этого чувства не обойтись.

— И ты тоже? — Я медленно опустился в кресло.

— Иногда.— Он подошел к дивану и снова взялся за свой блокнот.— Некоторым это нужно.

— Чтобы... играть?

Злоба и презрение обезобразили мой голос до неузнаваемости.

— Видишь ли,— он посмотрел на меня большими, какими-то раненными глазами, и казалось, будто он пытается сказать ими то, что не мог бы сказать иначе,— так они думают. А уж раз они так думают...

— А как думаешь ты? — спросил я.

Он сел на диван, а банку с пивом поставил рядом, на пол.

— Не знаю,— сказал он, и у меня не было уверенности, что он отвечает на мой вопрос, а не на свои собственные мысли. По его лицу узнать точно было нельзя.— Дело не в игре даже, а в том, чтобы продержаться, вытянуть. Во всем.— Он нахмурился, потом улыбнулся:— Чтобы не рассыпаться на куски.

— Но эти твои дружки — они, похоже, рассыпаются с дьявольской быстротой.

— Возможно.

Он стал играть своим блокнотом. И что-то мне подсказало, что лучше мне прикусить язык, что Сонни и так говорить трудно и лучше мне послушать, что он скажет.

— Ты знаешь только тех, кто рассыпался — и это понятно. Но некоторые не рассыпаются или, во всяком случае, еще не рассыпались — вот что любой из нас может сказать на это.— Он помолчал.— А потом, есть такие, которые живут в аду, в самом настоящем, и они это понимают — и понимают, на что идут, и идут до конца... Так что... не знаю.— Он

вздохнул, бросил блокнот и сложил руки на груди.— Есть ребята, ты по их игре видишь: всегда они под героином или еще чем-нибудь. И никуда не денешься — что-то это им дает. Ну и конечно,— он взял с пола пиво, сделал несколько глотков и поставил банку на прежнее место,— их еще и тянет к этому. Даже кое-кого из тех, кто говорит, что его не тянет,— кое-кого, не всех.

— А тебя? — спросил я, не мог не спросить.— Ты-то как? Тебя... тянет?

Он встал, и подошел к окну, и долго-долго стоял там, не говоря ни слова. Потом вздохнул.

— Меня... — сказал он. Потом: — Когда я внизу, по дороге домой, слушал эту женщину, меня вдруг словно ударило: сколько же она должна была перестрадать, чтобы петь так! Тошно делается, как подумаешь, что люди столько страдают.

— Но ведь нет способа избежать страданий — разве не так, Сонни?

— Наверное, нет,— улыбнулся он,— но это не мешает людям пытаться их избежать.— Он посмотрел на меня: — Может, я ошибаюсь?

И видя этот насмешливый взгляд, я понял, что между нами встал, встал навсегда тот неподвластный силе времени или прощению факт, что я молчал — и так долго! — когда только человеческое слово могло помочь ему. Он снова подошел к окну.

— Да, способа избежать страданий нет. Но люди бьются, барахтаются, идут на все, чтобы не потонуть в страдании, чтобы удержаться на поверхности и делать вид... ну, ты сам знаешь. Как будто ты что-то натворил и за это страдаешь. Тебе понятно?

Я молчал.

— Скажи, ты понимаешь,— его голос требовал ответа,— за что страдают люди? Может, стоит и вправду что-нибудь сделать, чтобы оправдать страдание — хоть чем-то?

— Но мы ведь только что согласились,— сказал я,— что способа избежать страданий нет. Не лучше ли тогда просто... смириться?

— Но ведь никто не смиряется,— воскликнул Сонни,— вот о чем я тебе толкую! Любой и каждый старается увильнуть, открутиться; просто один из способов, каким это делается, тебе не по нутру, не твой это способ — и все!

Лицо мое покрылось потом, начало зудеть.

— Неправда это,— сказал я.— Мне наплевать, что там делают другие, меня даже страдания их не трогают. Меня трогают только твои страдания.

Он посмотрел на меня.

— Прошу тебя, поверь мне в одном,— сказал я,— я не хочу видеть, как ты... бежишь от страданий... в могилу.

— Я не побегу от страданий в могилу,— сухо ответил Сонни,— а если и побегу, то не быстрее других.

— Да и зачем это нужно, убивать себя? — сказал я, силясь засмеяться.

Я хотел сказать еще что-то, но не мог. Насчет силы воли и о том, например, как прекрасна может быть жизнь. Я хотел сказать ему, что все в нас самих,— но так ли это? Или, лучше сказать, не в этом ли именно вся беда? И я хотел обещать ему, что никогда больше его не брошу. Но все это были бы только слова — лживые и пустые.

И я обещал это себе, моля бога, чтобы он дал мне силы сдержать обещание.

— Иногда так жутко бывает на душе, вот ведь беда в чем,— сказал он.— Бродишь по этим улицам, черным, вонючим, холодным, и поговорить не с кем, ни одной живой задницы нет, и хоть бы что где стряслось, и не знаешь, как от него избавиться — от этого урагана внутри

тебя. И говорить не можешь, и любить не можешь, а когда, в конце концов, пробуешь прийти в экстаз и сыграть все это, оказывается, что тебя некому слушать. И приходится слушать самому. И ты слушаешь.— Он пошел от окна к дивану и снова сел, как будто силы внезапно его оставили.— Бывает, что ты готов на все, лишь бы играть, готов даже перерезать горло собственной матери.— Он засмеялся и посмотрел на меня: — Или своему брату.— Потом вдруг сразу протрезвел: — Или себе самому.— И после короткого молчания добавил: — Ты не волнуйся. Сейчас у меня все в порядке, и думаю, что так и останется. Но я не могу забыть... где побывал. Не физически — я не это хочу сказать, а — где я *был*. И *чем* я был.

— Чем же ты был, Сонни? — спросил я.

Он улыбнулся, но продолжал сидеть вполоборота ко мне, облокотившись на спинку дивана, поглаживая пальцами рот и подбородок, глядя куда-то в сторону.

— Я не знал, не подозревал, что могу быть тем, чем я был. Или что вообще кто-то может быть таким.— Он умолк, погрузившись в себя, беззащитно молодой — и такой старый.— Я рассказываю тебе об этом не потому, что чувствую вину или что-то в этом роде,— может, и лучше было бы, если бы чувствовал, не знаю. Так или иначе, по-настоящему рассказать об этом я не могу. Ни тебе, ни кому другому.— И он повернулся ко мне лицом: — Знаешь, иногда, когда я был где-то далеко-далеко, я чувствовал, что — вот оно, во мне, ты понимаешь? И тогда я играл... нет, даже не я: оно само лилось из меня, было во мне — и все. Сейчас я не помню, как я играл тогда... не помню, в те времена случалось, что я делал с людьми страшные вещи. Не то чтобы нарочно, а просто они для меня как будто не существовали.— Он взял с пола банку; пива в ней не было. И он стал катать ее между ладоней.— А бывало, я оставался без приюта, без места, где приклонить голову, где можно было бы *слушать*, я не мог найти такого места и сходил с ума, делал с собой страшные вещи, был страшен для себя.— Его ладони сдавили банку из-под пива, и я увидел, как мнется металл. В его руках банка сверкала как нож, я боялся, что он порежется, но ничего не сказал.— О, этого нельзя передать. Я был один, совсем один на дне чего-то, вонючий, потный, плачущий, трясущийся, и нюхал ее — понимаешь ли ты? — нюхал собственную вонь и думал: умру, если не смогу вырваться из нее, и в то же время знал: что я ни делаю, я только глубже и глубже в ней увязаю. И я не знал...— Он смолк, продолжая сдавливать банку.— ...Не знал, до сих пор не знаю, в чем тут дело... но что-то мне все время нашептывало, что, может, это так нужно — нюхать собственную вонь, но я считал, что не делаю этого в меру своих сил... и... кто бы мог это вынести?

Внезапно он разжал руки, и расплющенная жестянка упала на пол. Сонни посмотрел на меня с неподвижной и почти незаметной улыбкой, а потом встал и пошел к окну — оно притягивало его как магнит. Он смотрел на улицу, я — на его лицо.

— Я не мог сказать тебе этого, когда умерла мама... но я так рвался из Гарлема потому, что мне нужно было уйти от наркотиков. И когда потом я убежал, я бежал от них. Когда я вернулся — ничего не изменилось, не изменился и я, просто... стал старше.

И он замолчал, барабаня пальцами по стеклу. Солнце ушло, густели сумерки. Я продолжал смотреть на его лицо.

— Все может начаться заново,— словно про себя сказал Сонни.— И, повернувшись ко мне, повторил: — Все может начаться заново. Хочу, чтобы ты знал это.

— Ну и ладно,— сказал я, наконец.— Пусть начинается заново — ну и ладно.

Он улыбнулся, но улыбка получилась печальной.

— Я должен был как-то сказать тебе.

— Да. Я все понимаю,— отозвался я.

— Ты мой брат,— сказал он, глядя на меня в упор и уже не улыбаясь.

— Да,— повторил я,— да. Я все понимаю.

Он снова повернулся к окну и стал смотреть.

— Сколько ненависти,— сказал он,— сколько ненависти, страданий и любви. Чудо, что они еще не взорвали эту улицу.

Мы вошли в ночной клуб, единственный на темной короткой улочке где-то в центре, и через узкий, галдящий, до отказа набитый людьми бар пробились ко входу в небольшой зал с эстрадой. На миг мы остановились, потому что свет в зале был очень тусклый и мы ничего не могли разглядеть.

— Хэлло, малыш,— произнес чей-то голос, и в этой полутьме возник огромный черный человек, много старше Сонни и даже меня. Он обнял Сонни за плечи.— А я тут сижу, жду тебя.

Голос у него был такой же могучий, как он сам, и головы в темноте повернулись в нашу сторону.

Сонни широко улыбнулся и, попытавшись высвободиться из его объятий, сказал:

— Креол, это мой брат. Я тебе о нем рассказывал.

Креол пожал мне руку.

— Рад познакомиться с тобой, сынок,— прогудел его голос, и было ясно, что познакомиться со мной он рад именно здесь — рад из-за Сонни.— Ваша семья может похвастаться настоящим музыкантом,— улыбнувшись, добавил он и, сняв руку с плеч Сонни, легко и любовно хлопнул его по спине.

— А я все слышал,— сказал кто-то у нас за спиной.

Это тоже был музыкант, один из друзей Сонни, небольшой, коренастый, черный как уголь весельчак. С места в карьер он принялся громогласно рассказывать мне по секрету самые ужасные вещи про Сонни, и зубы его при этом сверкали, как прожектор на маяке, а клокотавший в нем смех чем-то напоминал землетрясение. И оказалось, что здесь, в баре, Сонни знают все или почти все: одни были музыканты, работавшие здесь или по соседству или вообще не работавшие, другие просто ошивались тут, а остальные пришли послушать игру Сонни. Меня представили им всем, все они были со мной очень любезны, и тем не менее было ясно, что для них я всего лишь его брат. Здесь я был в мире Сонни. Или, лучше сказать: в его царстве. Здесь ни у кого никогда не возникало сомнений в том, что в жилах Сонни течет царская кровь.

Скоро они должны были начать, и Креол усадил меня одного за свободный столик в темном углу. Оттуда я смотрел, как все они — Креол, черный малыш, Сонни и другие — дурачились, стоя у эстрады. Свет с эстрады не падал на них, хотя был совсем рядом; и когда я смотрел, как они смеются, жестикулируют и ходят, мне казалось, что они все время страшно заботятся о том, чтобы внезапно не вступить в круг света; будто если кто-то из них войдет в этот круг слишком стремительно, не раздумывая, он тут же погибнет в пламени. А потом я увидел, как один из них, тот, маленький и черный, точно сажа, вступил в этот круг, пересек эстраду и принялся возиться с барабанами. Потом, паясничая и в то же время очень церемонно, Креол взял Сонни за локоть и повел к роялю. Женский голос выкрикнул имя Сонни, кто-то захлопал. И Сон-

ни, тоже паясничая и тоже церемонно, но тронутый, по-моему, до слез — хотя он вовсе не старался показать это всем и каждому и не старался скрыть, а держал себя, как подобает мужчине,— Сонни заулыбался во весь рот, приложил обе руки к сердцу и поклонился.

Креол пошел к контрабасу, а другой, не известный мне, худощавый и светло-коричневый, одним махом взлетел на эстраду и взял в руки трубу. Теперь все они были на своих местах, и атмосфера на эстраде и в зале стала меняться, густеть. Кто-то подошел к микрофону и объявил их. Голоса затихли не сразу, и у стойки зашикали. Официантка, как безумная, носилась между столиками, принимая последние заказы, парочки начали усаживаться потесней, и свет, падавший на эстраду, на квартет, стал синим. В нем, в этом свете, все четверо казались теперь совсем другими. Креол в последний раз обвел эстраду взглядом, словно желая удостовериться, что весь его курятник на насесте, подпрыгнул и ударил по контрабасу. И они начали.

Я знаю о музыке лишь то, что немного найдется людей, которые по-настоящему хоть раз ее слышали. И даже в тех редких случаях, когда что-то отворяется внутри нас и музыка входит, то, что нам слышится в ней или о чем нам рассказывают,— всего лишь личное, частное, преходящее. Но человек, который творит музыку, слышит иное, он вступает в единоборство с ревом, поднимающимся из бездны, и обуздывает его в тот миг, когда рев этот готов сотрясти воздух. То, что слышит он,— совсем иного порядка, более страшное, потому что без слов, и потому— торжествующее. И если торжествует творящий музыку, его торжество— также и наше. Я не сводил взгляда с лица Сонни. Лицо у Сонни было смятенное, он старался вовсю, но вдохновение не приходило. И мне казалось, будто все на эстраде ждут его — ждут и в то же время подталкивают. Но приглядевшись к Креолу, я понял, что это он, Креол, всех их сдерживает. Он их держал на коротком поводке. Там, на эстраде, отбивая такт всем своим телом, причитая на струнах, с полузакрытыми глазами, слушая всех, он слушал Сонни. Между ним и Сонни шел диалог. Он хотел, чтобы Сонни оторвался от берега и вышел на глубокую воду. Он свидетельствовал, что тот, кто плывет по глубокой воде, не обязательно должен потонуть: он бывал там и знает. И он хотел, чтобы Сонни тоже знал. Он ждал, чтобы пальцы Сонни на клавишах сказали ему, Креолу, что Сонни уже плывет.

А пока Креол слушал, Сонни где-то глубоко внутри себя маялся, как под пыткой. До этого я никогда не задумывался над тем, как страшны взаимоотношения между музыкантом и его инструментом. Он должен наполнить его, этот инструмент, дыханием жизни, собственным своим дыханием. Он должен заставить его выполнять то, что он хочет. А рояль — это всего лишь рояль: столько-то дерева, проволоки, больших молоточков и маленьких и слоновая кость. Ты можешь выжать из него столько-то и не больше, но единственный способ узнать, сколько именно,— это снова и снова заставлять его делать все, что только можно.

А ведь прошло уже больше года с тех пор, как Сонни последний раз сидел за роялем. И не намного лучше, чем тогда, ладил он теперь со своей жизнью, во всяком случае — с той, которая простиралась перед ним. Он и инструмент запинались, бросались в одну сторону, пугались, останавливались; бросались в другую, ударялись в панику, кружили на месте, начинали сначала; вот они как будто нашли направление, но нет — снова заметались в панике, опять застряли. Никогда прежде не видел я у Сонни такого лица. Все было выжжено в нем, и в то же время как будто продолжалось сожжение того, что обычно скрыто внутри, сожжение жаром и яростью битвы, которая шла в нем сейчас там, на высокой эстраде.

И все же, наблюдая за лицом Креола, когда заканчивался первый

номер, я почувствовал: что-то случилось, что-то, чего мои уши не услышали. Потом они кончили, раздалось несколько хлопков, и почти без паузы Креол начал нечто совсем другое, оно звучало прямо-таки сардонически: «Разве я грущу?». И будто по команде, Сонни начал играть. Что-то стронулось — и Креол отпустил поводок. Сухой, маленький, черный человек сказал что-то страшное на барабанах. Креол ответил, барабаны огрызнулись. Труба начала настаивать нежно и тонко, немного отчужденно, быть может,— и Креол слушал, комментируя время от времени, сухой и сумрачный, прекрасный, спокойный и старый. А потом все они встретились снова, и Сонни снова стал одним из членов семьи. Это видно было по его лицу. Как будто нежданно-негаданно он обнаружил под своими пальцами новехонький рояль, черт-те откуда взявшийся. Как будто он прийти в себя не мог от этого своего открытия. И какое-то время, радуясь за Сонни и позабыв обо всем остальном, они словно соглашались с ним в том, что да, новехонькие рояли — это просто здорово.

Потом Креол выступил вперед и напомнил им, что играют они блюз. Он затронул что-то в каждом из них, затронул что-то во мне, и музыка стала пружинистей и глубже, а воздух запульсировал ожиданием. Креол начал рассказывать нам, что такое блюз и о чем он. Оказывается, не о чем-то очень новом. Новым делали блюз он сам и его мальчики, которые там, над нами, рискуя гибелью, безумием и смертью, искали новые пути заставить нас слышать. Ибо хотя повесть о том, как мы страдаем и как наслаждаемся, и о том, как торжествуем победу, совсем не нова, мы должны слышать ее снова и снова. Другой нет, в этом мраке нет для нас другого света.

И повесть эта, как утверждали его лицо, его тело, его сильные руки на струнах, меняет свое обличье от страны к стране и становится все глубже и глубже от поколения к поколению. Слушайте, казалось, говорил Креол, слушайте: сейчас будет блюз Сонни. Он сообщил об этом маленькому черному человеку на барабанах и другому, светло-коричневому — с трубой. Креол больше не подталкивал Сонни к воде — он желал ему счастливого плаванья. А потом он отступил назад, очень медленно, заполнив воздух смелым призывом: пусть Сонни скажет за себя сам.

Они собрались вокруг Сонни, и Сонни играл. То один, то другой из них, казалось, говорил: аминь. Пальцы Сонни наполнили воздух жизнью, его жизнью, но эта жизнь вмещала в себя так много других! И Сонни вернулся к самому началу и начал с простого и ясного — с первой фразы песни. А потом он начал ею овладевать. Это было прекрасно, потому что делал он это не торопясь и потому что теперь в этом не было и следа страдания. Слушая, я будто узнавал, с каким горением он достиг этого, и какое горение нужно нам, чтобы тоже этого достичь, и как нам избавиться от страданий. Свобода была где-то тут, совсем рядом, и мне стало ясно, наконец, что он может помочь нам стать свободными, если только мы будем слушать; что сам он не станет свободным, пока не станем свободны мы. Но полем битвы лицо его больше не было. Я знал теперь, через что он прошел и через что ему еще предстоит пройти, прежде чем тело его упокоится в земле. Он овладел ею, этой длинной нитью, из которой мы знали только отца и мать, и сейчас он отдавал ее — как должно быть отдано все, чтобы, пройдя через смерть, жить вечно. Я снова увидел лицо мамы и впервые почувствовал, как больно камни пути, который она прошла, должны были ранить ее ноги. Я увидел освещенную луной дорогу, где умер брат моего отца. И другое возникло передо мной. Я снова увидел свою дочурку, и снова ощутил на своей груди слезы Изабел, и почувствовал, что у меня самого на глазах вот-вот выступят слезы. И в то же время я знал, что это совсем не-

надолго, что мир ждет нас снаружи, голодный, как тигр, и беда простерлась над нами, и нет ей ни конца, ни края.

Потом все кончилось. Креол и Сонни облегченно вздохнули, насквозь промокшие, улыбающиеся до ушей. Было много аплодисментов, частью — стоящих. В темноте появилась официантка, и я попросил ее подать на эстраду выпить. Был длинный перерыв, они весело болтали там, наверху, в синем свете, и минуты через две я увидел, как девушка ставит на рояль виски с молоком для Сонни. Он, казалось, этого не заметил, но перед тем, как они снова начали играть, Сонни отпил из стакана и посмотрел туда, где я сидел, и кивнул. Потом он поставил его назад, на крышку рояля. И для меня, когда они заиграли снова, стакан этот светился и вспыхивал над головой моего брата, как библейская чаша гнева, ставшая зримой.

Перевод с английского РОСТИСЛАВА РЫБКИНА

Наследник

Когда солнце начало клониться к закату и Эрик почувствовал, что надвигается ночь, он — восьмилетний, светловолосый, весь испачканный грязью, усталый — пустился через поля домой. Он жил со своим отцом, который был фермером и сыном фермера, и матерью, которую когда-то, в ту давнюю, святотатственную, почти неправдоподобную ночь, покорил его отец и которая с той поры никогда уже не могла освободиться от своих оков. Она не сознавала ни того, что находится в оковах, ни того, что в ней все еще живет страх той ночи. Одно их дитя — младшая сестра Эрика, ее хотели назвать Софи — лежит на кладбище. После ее смерти мать долго болела и была очень бледна. Говорили, что она никогда не поправится и никогда больше не станет такой, как прежде. Но не так давно что-то начало толкаться у нее в животе, так что Эрик, когда лежал подле нее, мог ощущать эти толчки. Его отец был доволен. «Я это сделал!» — говорил он, огромный, веселый, рыжий, устрашающий, и Эрик знал, как это делается: ему случалось видеть лошадей и разъяренных, страшных быков. Но потом мама его опять заболела, и ее пришлось увезти из дому, а когда она вернулась, в животе у нее уже ничего не толкалось: там больше ничего не было. Теперь его отец смеялся реже, а в лице матери будто что-то умерло.

Эрик спешил, потому что солнце почти зашло и он боялся, что ночь застигнет его в поле. И мама будет сердиться. Она не любит, когда он бродяжит один. Она и вовсе запретила бы ему эти прогулки и никуда не отпускала бы от себя, но тут она была бессильна: отцу Эрика нравилось думать, что его сын любознателен и достаточно смел, чтобы самостоятельно, собственными глазами исследовать окружающий мир.

Отца не было дома. Он, очевидно, ушел со своим другом Джейми, который тоже был фермером и сыном фермера, вниз, в таверну. Таверна называлась «Стропила». Они ходили туда каждый вечер, чтобы, как выражался отец Эрика, подражая одному англичанину, которого знавал в военные годы,— «расшатать стропила, сэр». Они начали «расшатывать стропила» задолго до того, как Эрик шевельнулся в материнской утробе, потому что отец и Джейми вместе выросли, вместе пошли на войну и оба остались в живых — кажется, они не разлучались никогда в жизни. Они вместе целыми днями работали на полях, которые принадлежали теперь отцу Эрика. Джейми вынужден был продать свою ферму, и купил ее не кто иной, как отец Эрика.

У Джейми была собака, рыжая с коричневыми пятнами. Она почти всегда находилась при нем; вспоминая Джейми, Эрик представлял его себе только с собакой. Они всегда были вместе — так для Эрика сливались воедино отец и мать или же земля, деревья и небо. Джейми с собакой бродили вдвоем по проселочным дорогам. Джейми шел медленно — так ходят деревенские жители: кажется, что они ничего не замечают, голова слегка опущена, ноги ступают уверенно, тяжело и никогда не спотыкаются. Он шел так, будто собрался на другой конец земли и, понимая, что это долгий путь, знал тем не менее, что ему надо попасть туда к утру. Иногда он разговаривал с собакой: голова его при этом склонялась чуть ниже обычного, едва заметная улыбка играла в углах его твердых, словно высеченных из гранита губ; а собака вскидывала голову и прыгала на хозяина, который легко, одной рукой сбрасывал ее вниз. Джейми по большей части молчал. Голова его вечно была окутана облаком голубоватого трубочного дыма. Сквозь это облако, словно корабль в туманный день, смутно проступало его бесстрастное, спокойное лицо. Глубоко посаженные под каким-то необычным углом глаза, задумчивые, словно затуманенные, казалось, всегда были устремлены к горизонту. У него были такие глаза, в которые никто никогда не заглядывал — только Эрик, да и то лишь однажды. Уже много лет подряд Джейми, выйдя вечером из дома Эрика, подзывал свистом собаку и в молчании брел по тем же дорогам, через те же поля. Он был когда-то женат, но жена от него сбежала. Теперь он жил один в деревянном доме, мать Эрика стирала и гладила ему белье, и Джейми всегда у них обедал.

Эрику случилось заглянуть в глаза Джейми в день его рождения. Они устроили настоящий праздник. Мать испекла пирог и украсила дом цветами. Двери и окна большой кухни были распахнуты настежь, а кухонный стол вынесли во двор. Земля еще не была грязной, как обычно зимой,— она была твердой, сухой, светло-коричневой. Цветы, которые его мать так любила и за которыми столько ухаживала, пламенели узкими бордюрами около каменной стены дома; а в дальнем углу двора зеленый виноград покрывал стену из серого камня. За стеной начинались амбары и поля, и Эрик видел вдалеке коров — неподвижных на яркой зелени. День был ясный, жаркий, безмолвный, и казалось, что солнце совсем не движется по небу.

Это случилось незадолго до того, как его маму должны были увезти в больницу. Живот у нее сделался огромный; она была в синем платье и казалась ему в тот день моложе, чем когда-нибудь.

Хотя к столу позвали рано, отец и Джейми были уже совсем пьяные. Они явились с поля, подталкивая друг друга плечом, хохоча и наперебой рассказывая разные истории. Чтобы выразить свое неудовольствие, а, может быть, еще и оттого, что она слышала раньше все эти рассказы и ей было скучно, мать Эрика перед тем, как усадить их за стол, лишь коротко обронила:

— С днем рождения, Джейми!

Когда они принялись за еду, в соседней деревне зазвонили колокола.

Может быть, потому, что это был день рождения Джейми, что-то в его лице привлекло внимание Эрика. Джейми, конечно, очень старый. Ему исполнилось тридцать четыре, он даже старше отца, которому только тридцать два. Интересно, каково это, когда тебе столько лет? И внезапно Эрик с тайной радостью подумал, что ему всего восемь. Джейми сегодня и выглядел стариком. А может, это самый последний год так его состарил — и с ним именно сегодня, у них на глазах, произошла перемена, заставившая Эрика с дрожью вспомнить о том, что ему скоро девять. Кожа на лице Джейми казалась влажной, чего никогда не бы-

ло, а его твердо очерченный рот как-то размяк. Слово «размякший» вообще было самым подходящим определением для него сегодня. Это относилось к тому, как он держал руки и плечи, как сидел за столом, слегка раскачиваясь взад и вперед. И не потому, что он был пьян. Эрик видел его более пьяным. В таких случаях Джейми держался прямо, будто снова был в армии. Нет, он просто состарился. Это произошло с ним вдруг, в день его рождения. Он сидел за столом, и волосы ниспадали ему на глаза. Он ел, пил, время от времени смеялся каким-то странным смехом, теребил собаку, лежавшую у его ног, так что она рычала сквозь сон и огрызалась в течение всего праздничного обеда.

— Перестань! — сказал, наконец, отец Эрика.

— Что «перестань»? — спросил Джейми.

— Перестань приставать к этой вонючей, идиотской собаке. Отвяжись от нее.

— Оставь животное в покое,— сказала мать очень усталым голосом, так она часто говорила с Эриком.

— Ах вот что! — сказал Джейми, скривив рот и поглядев сперва на отца Эрика, потом на мать.— Это ведь *мое* животное-то. А человек имеет право делать все, что захочет; с тем, что ему принадлежит.

— Собака тоже имеет право укусить тебя,— коротко бросила мать.

— Она не решится меня укусить,— сказал Джейми.— Знает, что тогда я ее пристрелю.

— Собака знает, что ты никогда не сделаешь этого,— сказал отец Эрика.— Ведь тогда ты останешься совсем один.

— Совсем один,— повторил Джейми и посмотрел на сидевших за столом.— Совсем один.

И уставился в тарелку. Отец Эрика наблюдал за ним.

— Остаться совсем одному в твоем возрасте — дело серьезное,— сказал он и улыбнулся.— На твоем месте я призадумался бы над этим.

— А я об этом и думаю,— сказал Джейми и покраснел.

— Нет, не думаешь,— сказал отец Эрика,— ты всегда витаешь в облаках.

— Черт побери! — сказал Джейми, покраснев еще больше.— Как будто я не пытался.

— Ну,— сказал отец Эрика,— то была *настоящая* мечта, ничего не скажешь. А я вот каждую субботу подцеплял такую мечту на улице в нашем городе.

— Наверняка,— сказал Джейми.— Держу пари, что так и было.

— Не думаю, чтобы она была такая скверная, как о ней говорят,— примирительно сказала мать Эрика.— Мне она нравилась. Я очень удивилась, когда она убежала.

— Джейми не умел с ней обращаться,— сказал отец.—Он посмотрел на сына и пропел:

Джейми пузо тыквой набил,
Удержать жену нету сил.

Джейми поднял голову и посмотрел ему в глаза. Эрик громко, пронзительно засмеялся — больше от страха. А Джейми сказал:

— Ну что ж, говори, говори.

— Я-то чем виноват,— сказал отец Эрика,— если ты стареешь, и некому принести тебе шлепанцы, когда наступает вечер, и маленькие ножонки не топают по полу...

— Да оставь ты Джейми в покое,— перебила мать,— он еще не старый, отстань от него.

Джейми засмеялся каким-то особым, высоким, булькающим смехом — такого Эрик раньше никогда не слышал, и этот смех ему не понравился, так что ему захотелось отвернуться и в то же время хотелось смотреть на Джейми.

— Черт подери! Конечно, я не старый! — сказал Джейми.— Я еще могу делать все, что мы проделывали раньше.— Он поставил локти на стол и ухмыльнулся.— Я никогда не рассказывал тебе, нет?

— Нет,— сказала мать,— у меня нет никакого желания слушать об этом.

— Он ничего тебе не расскажет,— сказал отец Эрика,— он знает, что́ я с ним сделаю, если он только попробует!

— Ну, конечно, конечно! — сказал Джейми и снова засмеялся. Он взял кость со своей тарелки.— Послушай,— сказал он Эрику,— почему бы тебе не покормить мою несчастную, замученную собаку?

Эрик взял кость, встал с места и свистнул собаку — та отбежала от хозяина и вцепилась в кость зубами. Джейми наблюдал за ней с улыбкой, потом открыл бутылку виски и налил себе. Эрик уселся на землю возле собаки, и на ярком солнце дрема стала одолевать его.

— Малыш растет,— услышал он голос отца.

— Да,— согласился Джейми,— они растут быстро. Теперь уже недолго.

— Что — недолго? — услышал он голос отца.

— Да недолго ждать, пока он начнет бегать за юбками, как его папочка.

За столом негромко засмеялись, однако голоса матери Эрик не расслышал. Он лишь услышал — или думал, что слышит,— ее привычное, с присвистом дыхание. Казалось, никто не обратил внимания, вернулся он к столу или нет. А он лежал на спине, глядя в небо, и представлял себе, что́ он будет чувствовать, когда станет старым,— и вскоре заснул.

Когда он проснулся, голова его лежала на коленях у матери, а сама она находилась рядом с ним на земле. Джейми с отцом по-прежнему сидели за столом — он догадался об этом, не открывая глаз, по их голосам. Не хотелось ни двигаться, ни говорить, только бы лежать вот так, как сейчас, под охраной матери, пока не кончится этот яркий, ослепительный день. Потом он вспомнил о праздничном пироге. Он был уверен — голос Джейми, ставший теперь более хриплым, убедил его в этом,— что они еще не разрезали пирог; а если даже разрезали, то наверняка оставили кусочек для него.

— ...наелся, набил себе живот и спит на солнце, как маленький звереныш.— Это говорил Джейми.

Мужчины засмеялись. Отец — хотя он едва ли когда-либо напивался так, как Джейми, а наоборот, частенько приводил Джейми домой из таверны — тоже немного захмелел.

Эрик чувствовал руку матери на своих волосах. Если чуточку приоткрыть глаза, то поверх изгиба материнского бедра можно увидеть, как сквозь вуаль, зеленый косогор вдалеке, а за ним — вечное, неподвижное небо.

— ...она была никудышная шлюха.— Это сказал Джейми.

— Она была красивая,— прозвучал голос матери где-то над ним.

Значит, они снова говорили о жене Джейми.

— Красота! — закричал Джейми, распаляясь.— Подумаешь! Разве от красоты будет порядок в доме? Разве она способна согреть постель?

Отец Эрика рассмеялся.

— Ты был настроен так поэтично в те дни, Джейми,— сказал он.— Кто бы мог подумать, что ты придавал подобным вещам такое значение! Боюсь, она была того же мнения.

— Нет, придавал,— сказал Джейми.

— А она считала,— продолжал отец Эрика,— что тебе это безразлично, я точно знаю.

— *Откуда* ты знаешь?

— Она сама говорила мне,— сказал отец Эрика.

— Что ты хочешь этим сказать,— спросил Джейми,— что это значит: она сама тебе говорила?

— А вот то и значит, что она говорила мне.

Джейми молчал.

— В те дни,— продолжал отец немного погодя,— тебя занимали только две вещи: днем ты шатался один по лесу, а вечером сидел со мной в «Стропилах».

— Вы ведь всегда были вместе,— вставила мать.

— Твоя правда,— резко сказал Джейми.— Хоть тут до сих пор ничего не изменилось.

— Позволь,— мягко возразил отец,— кое-что все-таки изменилось. У меня есть жена и сын, мы ждем второго...

Мать провела по волосам Эрика более ласково и в то же время как бы встревоженно, и он догадался, что она подумала о ребенке, который лежит на кладбище и который мог бы быть его, Эрика, сестрой.

— Да,— сказал Джейми,— у тебя действительно все устроено. У тебя есть и жена, и сын, и ферма, и вся земля.

— Я же не украл у тебя ферму. Не моя вина, что тебе пришлось продать ее. Я дал за нее отличную цену, вряд ли кто другой заплатил бы тебе столько.

— Я не виню тебя. Я знаю, что за многое должен быть тебе благодарен.

Наступила короткая пауза, которую нарушила мать Эрика.

— Одного не могу понять,— нерешительно сказала она,— почему ты не остался тогда в городе? Ведь тебя же ничто здесь не держит.

Было слышно, как льется в стакан вино или виски. Потом раздался голос Джейми:

— Верно, меня здесь ничто не держит. Просто здесь все мне давным-давно знакомо — все... все, что мне когда-либо было дорого.

— Человек не для того родится на свет, чтобы сидеть, нос повеся, и хандрить,— раздраженно сказал отец.— Какой толк вздыхать о том, чего больше нет, с чем уже давно покончено, что больше никогда не начнется и не повторится. Вот почему я говорю, что ты витаешь в облаках. Если бы ты только спустился с небес на землю, не упрямился бы так долго, ты не был бы теперь один.

— Ну что ж,— сказал Джейми мягко, с какой-то даже нежностью в голосе,— я знаю, что ты — победитель великанов, охотник, покоритель дамских сердец, ну, словом, вылитый старина Адам, вот ты кто! Я знаю, ты собираешься расплодиться по всей земле. Знаю, что мир стоит на таких людях, как ты!

— Ты прав, черт подери! — воскликнул отец после некоторой неловкой заминки.

Над головой Эрика послышалось жужжанье — пчела или толстая мясная муха, а может быть, оса. Он надеялся, что мама заметит ее и отгонит, но она не шевельнула рукой. И он поглядел снова, сквозь завесу своих ресниц, на косогор и небо и тогда увидел, что солнце сдвинулось с места и скоро зайдет.

— ...и уже вылитый ты,— говорил тем временем Джейми.

— Ты считаешь, что парнишка похож на меня? — Эрик знал, что в эту минуту отец улыбается: он почти ощущал на себе отцовские сильные руки.

— Он похож на тебя, у него твоя походка, и говорит он как ты,— сказал Джейми.

— И такой же упрямый,— вставила мать.

— Угу,— сказал Джейми и вздохнул.— Ты вышла замуж за самого

упрямого, самого решительного, самого эгоистичного человека, какого я когда-либо знал.

— Вот уж не думал, что ты обо мне такого мнения,— сказал отец, продолжая улыбаться.

— Я бы предупредил тебя насчет его,— со смехом добавил Джейми,— жаль, времени не было!

— Всякий, кто тебя знает, думает так же,— сказала мать, и Эрик почувствовал, как вдруг напряглась мышца на ее бедре.

— Вот-вот! Я знаю, что ты именно так думаешь,— сказал отец.— Женщинам приятно так думать, это возвышает их в собственных глазах. Но...— Он снова перешел на тот задиристый тон, которым говорил с Джейми сегодня: — ...я не знал, что мой прекрасный дружок Джейми...

Просто странно, до чего не хотелось Эрику открывать глаза. Однако он чувствовал на себе солнечный луч и сознавал, что ему хочется встать до того, как зайдет солнце. Он не понимал, о чем они сегодня говорят, эти взрослые, которых он знал всю жизнь. Он плотно прикрыл глаза, и разговор их зазвучал в отдалении. Материнская рука покоилась на его голове, она как бы защищала и благословляла его. И жужжанье прекратилось — видно, улетела та пчела, муха или оса.

— ...если на этот раз родится мальчик,— говорил его отец,— мы назовем его в твою честь.

— Тронут,— сказал Джейми,— но это не принесет ни мне, ни малышу ничего хорошего.

— Джейми может жениться и иметь собственных детей, стоит ему захотеть,— сказала мать Эрика.

— Нет,— возразил отец после длинной паузы,— Джейми слишком долго раздумывает об этом.

И вдруг он громко расхохотался, ударил Джейми по колену. Эрик сел, а Джейми подпрыгнул, разлив виски, опрокинул стул и что-то закричал. Собака рядом с Эриком проснулась и залаяла. Секунду Эрик таращил глаза и не видел во дворе ничего, кроме этой кутерьмы и яростной вспышки.

Отец медленно поднялся и уставился на Джейми.

— Что это с тобой?

— Что со мной? — передразнил его Джейми.— Что со мной? Да разве тебя интересует, что со мной? Какого черта ты издеваешься надо мною весь день? Чего тебе надо? Чего тебе надо, я спрашиваю?

— Мне надо, чтобы ты умел держаться, когда пьян,— холодно сказал отец.

Мужчины смотрели в упор друг на друга. Лицо у Джейми побагровело, и слезы стояли в глазах. Собака, лежавшая у его ног, запрыгала и принялась яростно лаять. Джейми нагнулся и одной рукой изо всей силы ударил ее; собака с воем перевернулась и побежала прятаться в тень у дальней серой стены.

Тогда Джейми отбросил со лба волосы и, весь дрожа, снова уставился на отца Эрика.

— Возьми-ка себя в руки,— сказал отец и, обращаясь к жене, добавил: — Принеси ему кофе. Он выпьет и будет в порядке.

Джейми поставил свой стакан на стол и поднял перевернутый стул. Мать встала и пошла на кухню. Эрик продолжал сидеть на земле, глядя на обоих мужчин — на своего отца и на его лучшего друга, которые вели себя так необычно. Джейми сидел у стола, опустив голову. Отец смотрел на него, и в его лице Эрик увидел нечто такое, чего никогда не видел прежде,— нежность, печаль; впрочем, кажется, с таким выражением отец подходил к теленку, которого собирался убить.

— Ты все воспринимаешь слишком серьезно,— сказал он.— Ты всегда этим отличался. Пойми, я поддеваю тебя для твоей же пользы.

Джейми не отвечал. Отец посмотрел на Эрика и улыбнулся.

— Пошли,— сказал он.— Погуляем вдвоем.

Эрик, обойдя стол так, чтобы держаться подальше от Джейми, подошел к отцу и взял его за руку.

— Приди в себя, слышишь? — сказал отец, обращаясь к Джейми.— Мы разрежем твой праздничный пирог, как только вернемся с прогулки.

Они прошли мимо серой стены, где все еще поскуливала собака, и вышли в поле. Отец шел слишком быстро, а Эрик, не поспевая за ним, спотыкался на неровной почве. Когда они немного отошли от дома, отец внезапно остановился и взглянул вниз, на Эрика, с улыбкой.

— Прости,— сказал он,— я, кажется, сказал, что мы пойдем погулять, а не побежим тушить пожар.

— Что с Джейми? — спросил Эрик.

— Ох,— вздохнул отец и посмотрел на запад, где закатывалось солнце, теперь уже бледно-оранжевое, окрашивая небосвод в медно-золотистые тона и, словно волшебник, показывая, каким разнообразием красок оно располагает.— Ох,— он еще раз вздохнул,— ничего особенного с Джейми не происходит. Он просто много выпил.— Отец опять усмехнулся.— И слишком долго сидел на солнце, а ты ведь знаешь, волосы у него не такие густые, как у тебя,— он взъерошил Эрику волосы,— и потом эти дни рождения, видно, выбивают его из колеи. Черт побери,— добавил он,— они и меня выбивают из колеи.

— Джейми очень старый, правда? — сказал Эрик.

Отец рассмеялся.

— Ну знаешь, малыш, в его возрасте еще не ложатся в могилу. И Джейми еще покоптит небо. Послушай,— он снова взглянул на сына,— ты, верно, думаешь, что я тоже старик?

— Нет,— возразил Эрик,— я знаю, что ты не такой старый, как Джейми.

Отец снова рассмеялся.

— Спасибо, сынок! Значит, ты в меня по-настоящему веришь. Я постараюсь не подвести тебя.

Они прошли еще немного в молчании, потом отец сказал, не глядя на Эрика, словно обращаясь к самому себе или просто так, ни к кому не обращаясь:

— Нет, Джейми еще не стар. Вовсе не так стар, как должен был бы быть.

— А сколько же ему должно было бы быть?

— Он должен был бы вести себя соответственно возрасту,—ответил отец и, взглянув вниз, на лицо Эрика, вновь рассмеялся.— Знаешь что.— Он положил руку на голову сына и сказал очень мягко и очень грустно:— Пусть тебя не тревожит то, чего тебе сейчас не понять. Придет время, когда это должно будет тебя тревожить, но оно еще не настало.

Они подошли к крутому косогору, который спускался вниз, к железнодорожной колее, а далеко внизу полз маленький поезд,— он, казалось, шел без конца через эту местность и никак не мог ее пересечь; из трубы игрушечного локомотива струился — олицетворение праздности — дымок. Эрик подумал с обидой, что ни разу не видел поезда, когда приходил сюда один. За железнодорожными путями текла река, куда они летом иногда бегали купаться. Теперь река пряталась от них за высоким берегом, на котором стояли дома и росли большие деревья.

— Здесь кончается твоя земля,— сказал отец.

— Что? — не понял Эрик.

Отец присел на корточки и положил руку на плечо сына.

— Ты знаешь дорогу от дома досюда?

Эрик кивнул.

— Так вот, это твоя земля.

Эрик посмотрел назад, на длинный путь, который они прошли, чувствуя, что отец наблюдает за ним.

Рука сильнее сжала плечо и заставила Эрика повернуться.

— И по ту сторону тоже все твое.— Он опять повернул сына.— И там твоя земля.

Эрик посмотрел на него.

— А где она кончается?

Отец встал.

— Я покажу тебе как-нибудь в другой раз,— сказал он.— Но это очень далеко, тебе не дойти.

Они медленно пошли в сторону солнца.

— А когда она стала моей? — спросил Эрик.

— В тот день, когда ты появился на свет.— Отец поглядел на него и улыбнулся.— Мой отец,— продолжал он, немного помолчав,— владел частью этой земли, а когда он умер, она стала моей... Он удерживал ее ради меня. А я делал и делаю все, что в моих силах,— ради тебя.

Он посмотрел на Эрика, чтобы удостовериться в том, что сын его слушает. Эрик слушал; он внимательно глядел на отца и на земли, что лежали вокруг.

— Когда я и вправду состарюсь,— сказал отец,— буду даже старше старины Джейми, тебе придется взять на себя заботу обо всем этом. А когда я умру, земля достанется тебе.

Он замолчал и остановился. Эрик взглянул на него.

— Когда ты станешь взрослым мужчиной, таким, как твой папа, ты женишься и у тебя родятся дети. И все это перейдет к ним.

— А когда они женятся? — спросил Эрик.

— Все это перейдет к их детям.

— Навсегда?

— Навсегда.

Они повернули назад, к дому.

— А сколько земли у Джейми? — вдруг спросил Эрик.

— У Джейми нет земли.

— Почему? — спросил Эрик.

— Он не заботился о ней,— сказал его отец,— и потерял ее.

— У Джейми и жены нет? — спросил Эрик.

— Нет,— сказал отец.— Он о ней тоже не заботился.

— У него и сына нет? — спросил Эрик очень грустно.

— Нет.— Отец усмехнулся.— Зато у меня есть ты.

— Почему у Джейми нет сына? — спросил Эрик.

Отец пожал плечами.

— У одних есть дети, Эрик, у других — нет.

— А у меня? — спросил Эрик.

—Что у тебя? — спросил его отец.

— Когда я женюсь, у меня будет маленький сынок?

Это и развеселило отца и приструнило. Его губы растянулись в медленную странную улыбку.

— Конечно, будет,— сказал он наконец,— а как же! — Он протянул Эрику руки.— А ну-ка, забирайся ко мне на плечи. Я покатаю тебя.

Эрик вскарабкался к отцу на плечи и таким образом проследовал к дому через просторные зеленые поля, которые принадлежали ему, во двор того дома, где когда-нибудь раздадутся первые крики его детей. Его мать и Джейми сидели за столом, мирно беседуя в отливавших серебром солнечных лучах. Джейми вымыл лицо и причесал волосы, он, видимо, успокоился, он улыбался.

— Ага! — воскликнул Джейми.— Прибыл владетельный лорд, хозяин дома сего! Он несет на плечах своих принца, сына, наследника!—

Он склонился в нарочито низком поклоне.— Милорды! Взгляните на вашего смиренного, должным образом наказанного слугу, жаждущего вашего сострадания, вашей любви и вашего прощения!

— Честно говоря,— сказал отец Эрика, опуская сына на землю,— я не уверен, что ему стало лучше.— Он посмотрел на Джейми, нахмурился, потом усмехнулся: — Давайте разрезать пирог!

Эрик стоял на кухне возле матери, пока она зажигала свечи — тридцать пять, одну лишнюю, чтобы Джейми, как говорится, подрос еще, хотя Джейми, разумеется, давно перестал расти,— потом пошел за ней следом, когда она понесла пирог во двор. Джейми взял большой блестящий нож и с улыбкой поднял его.

— Поздравляем, Джейми! — воскликнули отец с матерью, а Эрик не произнес ни слова; потом мать сказала:

— Надо сначала задуть свечи, Джейми, прежде чем разрезать пирог!

— Он такой красивый, не хочется ничего трогать,— сказал Джейми.

— Ну, приступай к делу! — сказал отец и хлопнул Джейми по спине.— Будь мужчиной.

В эту минуту собака, снова улегшаяся подле своего хозяина, проснулась, зарычала, и это всех насмешило. Громче всех смеялся Джейми. Потом он задул свечи, все сразу, и Эрик стал наблюдать, как он взрежет пирог. Джейми поднял глаза и посмотрел на Эрика — как раз в этот миг кроваво-красное солнце коснулось верхушек деревьев,— и Эрик заглянул в глаза Джейми. Джейми улыбнулся непонятной улыбкой старого человека, и Эрик теснее прижался к матери.

— Первый кусок — Эрику! — сказал Джейми и протянул ему кусок пирога на серебряном лезвии.

Это было в конце лета, месяца два назад. Вскоре после дня рождения Джейми мать Эрика заболела, и ее отправили в больницу. Отец теперь гораздо больше времени проводил в «Стропилах»; они с Джейми возвращались домой по вечерам вдребезину пьяные. Пока мать Эрика лежала в больнице, Джейми вообще перестал ходить к себе домой, а ночевал на ферме; и раз или два Эрик, проснувшись среди ночи или под утро, слышал, как Джейми ходит взад и вперед, взад и вперед по большой нижней комнате. Это было страшное, жуткое время — время ожидания, напряженной тишины и молчания. Отец забросил полевые работы, он едва заставлял себя отдавать распоряжения поденщикам — неестественно, страшно было видеть, как он целыми днями слонялся вокруг дома, и Джейми всегда был с ним — Джейми и его собака. Потом как-то отец сказал Эрику, что мама на днях возвращается домой, но она не привезет с собой маленького братика или сестричку — ни теперь, ни когда-либо вообще. Он собирался еще что-то добавить, потом взглянул на Джейми, который стоял рядом, и вышел из дому. Джейми медленно побрел за ним следом — руки в карманах, голова опущена. С того дня рождения то ли он раскаивался в своей вспышке, то ли она напугала его, но он стал еще более молчаливым.

Мать по возвращении выглядела старше — почти совсем старой. Она словно ушла в себя, далеко от них всех, и даже — в своей одержимости любовью и беспомощности — от Эрика; но особенно, как это ни странно,— от Джейми. Это не выражалось ни в речи ее, ни в поступках — а с другой стороны, присутствовало во всем, что она говорила и делала. Она стирала и готовила для Джейми, как и раньше, по-прежнему считала его членом семьи, дважды накладывала ему еду на тарелку, с улыбкой желала «доброй ночи», когда он уходил к себе домой, но что-то в ее

отношении к нему неуловимо изменилось. Она делала все машинально — так, словно находилась где-то далеко. Вместо прежней непринужденности в ней появилось что-то другое, какая-то странная напряженная настороженность, как будто она открыла новую грань в том, что давно знала. Раз или два за ужином Эрик ловил ее взгляд, устремленный на Джейми, который рассеянно ел. Эрик не мог понять, что выражал этот взгляд, но ему вспоминались глаза Джейми, когда он заглянул в них на дне рождения. Его мать смотрела на Джейми так, будто удивлялась, почему она не смотрела на него раньше; или как если бы она вдруг с удивлением обнаружила, что никогда в действительности не любила его, но одновременно чувствовала, слабая и усталая, что это, собственно, не имеет никакого значения.

Сейчас, войдя во двор, Эрик увидел мать, стоявшую в дверях кухни и смотревшую из-под ладони на сверкающее закатное солнце.

— Эрик! — сердито крикнула она при виде сына.— Я ищу тебя повсюду вот уже целый час. Ты достаточно взрослый мальчик, чтобы отвечать за свои поступки, и я хочу, чтобы ты не огорчал меня, тем более, ты знаешь, что я нездорова.

Она заставила его почувствовать себя виноватым, но в то же время он со смутной обидой сознавал, что она не во всем права. Она притянула его к себе и довольно резко, одной рукой, повернула его лицо к своему.

— Какой ты грязный! — сказала она.— Ступай к насосу, умойся. И побыстрее: я накормлю тебя и уложу спать.

Она повернулась и ушла в кухню, прикрыв за собой дверь. Он обошел дом вокруг и подошел к насосу.

На деревянном ящике рядом с насосом лежал кусок мыла и влажная тряпка. Эрик, засыпая на ходу, взял мыло — он думал не о матери, а о прошедшем дне и о том, куда пойдет завтра. Он качнул вверх и вниз, вода хлынула и замочила ему носки и башмаки — мама, конечно, рассердится, но он слишком устал, чтоб беспокоиться об этом. Все-таки он машинально отступил немного назад. Мыло он держал в руках, а руки — под струей воды.

Он сегодня побывал во многих местах, проделал долгий-предолгий путь, видел много всяких разностей. Он спустился к железной дороге и побродил возле путей, ожидая, чтобы прошел поезд. Он все говорил себе, что вот сейчас поезд пройдет, вот последний раз сосчитаю до трех, но поезда так и не было, хотя он много раз считал до трех. Тогда Эрик ушел с путей и поднялся по склону и пошел через высокие, покрытые душистыми травами луга. На одном из них паслись коровы; когда Эрик проходил мимо, они тупо глядели на него своими большими глупыми глазами и мычали. Человек на дальнем краю луга заметил его и окликнул, но Эрик не знал, кто это: работник, нанятый отцом, или нет, поэтому он повернулся и убежал, нырнув под проволочную изгородь. Он прошел мимо яблони — яблоки лежали вокруг нее на земле,— и Эрик подумал: интересно, эти яблони тоже принадлежат ему или нет, и он ходит по своей земле или же это чужая; во всяком случае, он съел одно яблоко, а несколько штук рассовал по карманам, глядя на гнедого жеребца, который на лугу, в низине, одиноко щипал траву, помахивая хвостом. Эрику представилось, что он — это уже не он, а его отец оглядывает все спокойным, хозяйским взглядом, радуясь при мысли, что все вокруг принадлежит ему. И он остановился посреди поля, широко расставив ноги, и помочился, как это делал отец. Еще ему представилось, будто он курит и говорит точно так же, как отец. Потом он двинулся в путь, и вся земля в ту минуту — так он думал — славила его, Эрика.

Завтра он опять пойдет гулять. Потому что скоро зима, снег покроет землю и он не сможет бродить один.

Он держал мыло в руках, руки — под струей воды; вдруг он услы-

шал тихий свист позади и почувствовал тяжелую руку на своей голове; мыло выпало из его рук и скользнуло между ног на землю.

Он обернулся и увидел Джейми — Джейми, который был без собаки.

— Пошли-ка, малыш,— шепнул Джейми.— Мы что-то покажем тебе в коровнике.

— Неужели теленочек уже родился? — спросил Эрик. Он так обрадовался, что даже не удивился, почему Джейми говорит шепотом.

— Твой отец там,— сказал Джейми. И потом: — Пошли скорей, теленок вот-вот родится.

И он взял Эрика за руку, и они пересекли двор, прошли мимо закрытой кухонной двери, мимо каменной стены, через поле — к сараю.

— Но ведь здесь нет никаких коров! — воскликнул Эрик. Он вдруг посмотрел на Джейми, а тот закрыл за ним дверь сарая и, улыбаясь, смотрел вниз, на Эрика.

— Правда,— сказал Джейми,— коров здесь нет.— И он прислонился к двери, будто силы оставили его.

Эрик увидел, что лицо у него влажное, а дышит он так, словно долго бежал.

— Пойдем посмотрим коров,— прошептал Эрик.

«Почему я говорю шепотом?» — подумал он и страшно испугался. Он посмотрел на Джейми, который не сводил с него глаз.

— Сейчас,— ответил Джейми и выпрямился. Он вынул из карманов руки. Эрик при виде их стал пятиться.

— Где мой папа? — спросил он.

— Да, наверно, внизу, в «Стропилах»,— сказал Джейми.— Я вскоре должен там с ним увидеться.

— Мне надо идти ужинать,— сказал Эрик. Он попробовал продвинуться к двери, но Джейми не шевельнулся.— Мне надо идти,— повторил Эрик, и когда Джейми шагнул к нему, тугой шар страха, забившийся где-то внутри, стал надуваться, расти, подкатился к горлу и наконец взорвался: Эрик открыл рот, чтоб закричать. Но пальцы Джейми сжали ему горло. Он все смотрел, смотрел в глаза Джейми.

— Это не поможет тебе,— сказал Джейми, как бы отвечая Эрику, и улыбнулся.

Эрик, задыхаясь, боролся, боролся с болью и страхом. Джейми немного ослабил свою хватку и одной рукой взъерошил спутанные волосы мальчика. Медленно, каким-то чудом выражение его лица изменилось, слезы выступили на глазах и покатились по щекам.

Эрик застонал, и, может быть, оттого, что он увидел слезы Джейми, или оттого, что горло у него так распухло и горело, что он не мог справиться с дыханием, а может быть, от страха, он стал рыдать, горько, неудержимо, так, как рыдают взрослые.

— За что ты ненавидишь моего папу? — Эта фраза вырвалась сквозь рыдания.

— Я люблю твоего папу,— сказал Джейми. Но он не слушал Эрика. Он был далеко — он словно взбирался с превеликим трудом на высокую, высокую гору, борясь за каждый свой шаг. А Эрик словно бежал за ним, не разбирая дороги, охваченный острой жаждой жизни, стремясь догнать его, остановить, прежде чем тот достигнет вершины.

— Джейми,— шептал Эрик,— ты можешь забрать всю эту землю.

Джейми сказал:

— Я не хочу земли,— но эти слова не относились к Эрику.

— Хочешь, я буду твоим сыном,— сказал Эрик.— Я буду твоим сыном навсегда, навсегда, и у тебя будет эта земля, и ты будешь жить вечно! Слышишь, Джейми?

Джейми перестал плакать. Он внимательно смотрел на Эрика.

— Мы пойдем завтра гулять,— сказал Эрик,— и я покажу ее всю — даю тебе слово,— и если ты убьешь моего папу, я стану твоим маленьким сынком, и она вся будет наша!

— Эта земля,— сказал Джейми,— не будет принадлежать никому.

— Пожалуйста! — закричал Эрик.— О, пожалуйста, пожалуйста!

Он слышал, как его мать поет в кухне. Сейчас она выйдет на двор — звать его. Руки на несколько секунд отпустили его. Эрик открыл было рот, собираясь крикнуть, но руки вновь сомкнулись на его горле.

«Мама! Мама!»

Пение доносилось все слабее и слабее. Глаза смотрели в его глаза, в них застыл вопрос, руки все сильнее сжимали горло. Потом рот стал улыбаться. Такой улыбки Эрик прежде никогда не видел. Он забился всем телом.

«Мама! Мама! Мама! Мама! Мама!»

Далеко-далеко — он услышал — мама звала его.

«Мама!»

Больше он ничего не видел — только знал, что находится в сарае, и слышал страшное, шумное дыхание подле себя, похожее на сопенье животного; он вспомнил солнце, железнодорожные пути, коров, яблоки и землю. Подумал о завтрашнем дне — он ведь собирался завтра снова пойти побродить куда-нибудь. «Я возьму тебя с собой»,— хотел он сказать. Еще он хотел узнать, что это за вопрос был тогда в глазах Джейми, хотел сказать: «Я пожалуюсь папе, зачем ты мучаешь меня!» Потом ужас, нестерпимая боль и мрак настигли его, дыхание со свистом вырвалось из груди, он упал ничком на солому, и его белокурая головка беспомощно повисла на сломанной шее.

Ночь опустилась на землю, и то тут, то там, как эмблемы, зажглись огоньки. Женский голос все звал: «Эрик! Эрик!»

Джейми подошел к своему дому и, открыв дверь, свистнул; собака выскочила откуда-то из темноты, бросилась на него; он ударил ее — не сильно, одной рукой. Потом запер дверь и пошел вниз по дороге, засунув руки в карманы; собака бежала рядом. Он остановился раскурить трубку. Услышал пение, доносившееся из «Стропил», и вскоре увидел огни. Потом огни и звуки песни остались позади. Когда песня совсем стихла вдали, он стал насвистывать ее мелодию.

Перевод с английского Н. ТОЛСТОЙ

МЕЧИСЛАВ ЯСТРУН

Посвящение

Перевод с польского БОРИСА СЛУЦКОГО

Если когда-нибудь способ открою
словом сердца будоражить людские,
прежде всего опишу вас, герои,
чтобы все знали — вот вы какие:

немногословные, скромные, честные,
не было в мире проще людей.
Вас опишу, храбрецы неизвестные.
Вы ведь стесняетесь славы своей.

Это был год сорок третий, а стужа —
жестче веревки, и суше, и туже.
Я и сегодня, глаза лишь закрою,
тотчас вас вижу, зимы той герои.

Меж спекулянтов и трусов роенья,
меж равнодушных, никчемных, безвольных
слышал я вашего сердца биенье,
слышал я грохот свершений подпольных.

Взрывом гранаты и выстрела вспышкой
вы из могилы на свет выносили
город, который застыл как ледышка
и обучился законам насилья.

Новый закон краской на тротуарах
вы написали тогда. Оттого-то
слушала вас вся в дыму и пожарах
Польша сорок четвертого года.

То, что историк прославит томами,
то, что гранит монументов покроет,
ночью глухой в предрассветном тумане
вы написали надеждой и кровью.

На Свентоянской, в извилинах Фрета [1],
где б ни сверкнуло восстания пламя,
всюду летала смерти комета.
«Вам не воскреснуть!» — смеялась над вами.

В каждом комке этой почвы кровавой,
в перекореженной этой панели
вы навсегда залегли под Варшавой,
тысячи смелых навек онемели.

Я, не способный стоять на котурнах,
произносить разудалые речи,
без ухищрений литературных
павших за вольность увековечу.

1945

[1] Улицы Варшавы.

ХАННА МИНА

Парус и буря

РОМАН

Перевод с арабского Л. МЕДВЕДКО и В. ШАГАЛЯ

Часть первая

ГЛАВА 1

Человек видит не только глазами. Сила воображения позволяет ему проникнуть взором за далекий горизонт, а стены дома, которые отгораживают его от людей, становятся прозрачными. Когда человек влюблен или тоскует вдали от родины, он способен не только остро чувствовать, но и отчетливо видеть сердцем все, что, казалось, навсегда исчезло с экрана его жизни. Перед его глазами снова и снова возникают видения прошлого, один за другим мелькают кадры старого фильма, в котором он когда-то играл главную роль.

Видениями прошлого жил и этот человек, которого жизнь выбросила на берег Латакии. Он существовал, ходил, смотрел по сторонам, но его сердце оставалось в прошлом и терпеливо ожидало свершения своих надежд и чаяний.

Берег Латакии не был для него чужим. Он изгибался полумесяцем у подножья чернеющих вдали гор. По берегу можно дойти от форта до самого маяка, огибая бухты, пересекая русла пересохших речушек, шагая по гальке, перепрыгивая с камня на камень и обходя отвесные скалы.

А если устанешь — садись на любой большой камень, как на трон. Взберись на скалу и вообрази, что ты находишься на необитаемом острове, или свесь ноги прямо в море и взбивай теплую пену. Эту пену можно зачерпнуть рукой и держать ее в ладонях, пока она не просочится между пальцев. Ну, а если выйдешь на маленький пляж, то можно палочкой или камешком начертить на песке дорогое тебе имя. Только море сразу же слижет его... Да, море — это великая тайна. Оно прячет много секретов, и, поглотив еще один, оно никому его не откроет, как бы его ни уговаривали...

Пусть на миг, но люди все равно пишут на песке чьи-то имена. Зачем? Для кого? Они и сами не знают. Да и не задумываются над этим... Пишут просто так, машинально. Когда на пути попадается вот такая девственно чистая гладь песка, как тут удержаться от соблазна и не оставить на ней какой-то след. Нацарапать, например, свое имя или имя любимой. А можно и просто пройти по песку, оставив на нем след своих подошв. Но море их тоже быстро смоет. Оно ревниво и не потерпит, чтобы песок долго хранил следы человека.

Летом берег устлан полунагими телами. Люди жарятся на солнце, переворачиваясь со спины на живот и с бока на бок, копаются в песке, строят пирамиды, прорывают в нем туннели. А море не обращает внимания на их забавы. «Играйте, играйте! — говорит оно, приоткрывая один глаз.— Вот придет зима, тогда я вам покажу!» И люди продолжают резвиться. Бегают, прыгают, бросаются песком, брызгают водой. Играют с морем, как шаловливые дети с терпеливым дедом — взбираются ему на спину, щекочут бока, дергают за кончики усов, расчесывают пальцами бороду. Когда же наступает время возвращаться домой, они с неохотой покидают море, так и не насытившись им до конца, не постигнув великие тайны этой бескрайней голубой пустыни.

Море тихо воркует и улыбается людям только до поры до времени. Всякому терпению есть предел. Приходит конец и терпению моря. Тогда берегись его! Зазеваешься — мигом волна накроет тебя с головой и швырнет на острые камни. Тогда с морем шутки плохи. И в такие часы люди стараются держаться от моря подальше. Но Мухаммед Таруси, или, как просто звали его друзья, Абу Зухди, никогда не убегал от моря. Коснется волна его ног, он отскочит, словно приглашая море продолжать игру: «Попробуй достань меня!»

Даже когда разыгрывался настоящий шторм, он не уходил с берега. Да и куда идти? Здесь его жизнь, его дом. С морем связано его прошлое и будущее. Он всматривается в бескрайнюю даль. Там, за горизонтом, он видит другой, бесконечно дорогой его сердцу мир — бухты, порты, гавани, где когда-то бросала якорь его «Мансура». Его любимая «Мансура», которую взбесившееся море разнесло в щепы и навсегда похоронило в своей зловещей пучине.

И, наконец, здесь, на берегу — его кофейня. Он обосновался на этих скалах, зацепился за них будто якорем, чтобы всегда быть рядом с морем. Зимой и летом, весной и осенью.

Даже когда кофейня пустовала, Таруси оставался на скалах наедине со своими мыслями. И никто не знал, о чем он думает, о чем мечтает. В том числе и Абу Мухаммед, его неразлучный товарищ и помощник. На вопрос постоянных завсегдатаев «Где Таруси?» он отвечал односложно: «Там» — и неопределенно показывал куда-то в сторону берега. А к самому Таруси, когда он уединялся, лучше было не подходить.

Однажды Абу Мухаммед по-дружески посоветовал быть полюбезнее с клиентами, но Таруси оборвал его на полуслове:

— Занимайся своим делом и не суй нос куда тебя не просят!

Потом он остыл.

— Ты не обижайся на меня, дядя,— сказал он тихо, с неподдельной грустью.— Не могу я, как другие торговцы, угождать всем подряд. Не для этого я создан. У меня, видно, другое призвание.

Таруси говорил правду. Не по характеру ему было содержать кофейню. Но разве их мало — несчастных, которые вынуждены заниматься не своим делом? Разве он один такой? Моряк становится официантом, а официант — моряком; ткач — кузнецом, а кузнец — ткачом. И нелегко им всем живется! Но живут, как с нелюбимой и давно опостылевшей женой. Повеситься бы от такой жизни, бежать куда глаза глядят. И все же каждый почему-то мирится с такой жизнью и продолжает тянуть лямку.

Каждый день человек говорит себе: «Все брошу, завтра же убегу!» Но приходит завтра, и он остается. Хотя нет у него на ногах кандалов и к стене он цепью не прикован. Но он остается. Не настал еще его час. Час, которого он ждет и, быть может, никогда не дождется. И все же он терпеливо продолжает ждать и верить в его приход.

Верил и Таруси. И не только верил. Упорным, нелюбимым трудом старался приблизить его приход. Он был искренен в своей вере и настойчив в своем труде.

ГЛАВА 2

Хотя Таруси считал, что удачно пришвартовался к этим скалам, тем не менее его томило беспокойство, как всякого, кто вынужден остановиться на полпути к цели. Да, у него были и вера и силы. Но идти вперед он не мог, а путь назад был отрезан. Оставалось только ждать. И он ждал.

И когда он сидел, прислонившись к скале, и когда машинально что-то делал в кофейне, он все время продолжал думать. Но его мысли были известны только ему самому и, может быть, еще черту. В нем кипела ярость против чужого для него мира. Ему хотелось разорвать на части всех тех, кто делает и без того трудную жизнь еще более мрачной и невыносимой. Но что он мог предпринять, остановившись на полпути? Этот вопрос постоянно терзал его. Заставлял вспоминать о существующей несправедливости и подлости. Хлестал по натянутым до предела нервам...

Он услышал какой-то шум. Потом донесся звон разбитого стекла. Раздались крики. Вперемежку с отборной бранью прозвучало и его имя. Из кофейни к нему бежали люди. Размахивая руками, они возбужденно вопили:

— Таруси! У тебя в кофейне драка!

Стряхнув с себя оцепенение, Таруси стремглав бросился в кофейню. Там все было перевернуто вверх дном. На полу валялись осколки стекол, перевернутые стулья и столики. В одном углу несколько моряков держали за руки Салиха Барру. Тот осыпал их бранью, вырывался и хрипло кричал:

— Пустите! Пустите! Я из него котлету сделаю!

В другом углу моряки сгрудились вокруг Абу Мухаммеда. Одна его щека багровела — наверно, от пощечины Салиха. Из глаз вот-вот готовы были брызнуть слезы.

— Что здесь произошло? Тебя ударили? — спросил у него Таруси.

Моряки заговорили все разом, возмущенно размахивая руками. Абу Мухаммед тоже что-то виновато бормотал. Вцепившись в Таруси, он пытался его удержать. А Салих все еще вырывался из рук моряков и кричал:

— Пустите, пустите меня!..

Таруси поднял руку. Моряки расступились. Давно копившийся гнев вырвался наружу. Он почувствовал, что больше не владеет собой. Чаша терпения переполнилась. Злоба душила его, и он должен был дать ей волю. Ведь он не случайно здесь, не по чьей-то чужой воле решил обосноваться на скалах. Пусть же произойдет то, что неминуемо должно свершиться рано или поздно.

Ведь Салих Барру только выдает себя за моряка. Но морю он чужой. Он —

убийца. Этого он и сам не скрывает. Даже хвастает. «Меня еще мать не родила,— говорил он,— а я уже сжимал в руке нож». Конечно, его подослал в кофейню хозяин лодок, чтобы припугнуть Таруси или заставить покинуть эти скалы навсегда. Но не на того напал. Таруси не подчинится. Он готов защищать свое право, драться до смерти, до последнего вздоха. Отступать некуда. Сейчас можно идти только вперед.

Салих продолжал бесноваться. Моряки вытолкнули его из кофейни. Таруси выбежал следом за ним. Одни посетители предпочли сразу удалиться, чтобы не попасть в историю, другие высыпали из кофейни, предвкушая драку. Большинство, конечно, было на стороне Таруси. Салиха многие в порту не любили. Его уже давно хотели проучить за хвастовство и наглое вымогательство. А сейчас он совсем распоясался. Разгромил кофейню. Ни за что ни про что избил Абу Мухаммеда и угрожает самому Таруси. Теперь Таруси остается одно: закрыть свою кофейню и убраться восвояси. Или же, наконец, проучить этого мерзавца.

— Думаешь запугать меня, сволочь? — крикнул Таруси и, схватив палку, бросился на Салиха.

Но прежде чем он успел ударить, в воздухе молнией блеснул нож, и Таруси ощутил жгучую боль в плече. Один моряк закрыл лицо руками, чтобы не видеть крови.

— Салих! Не надо, не убивай его! — пронзительно взвизгнул Ахмад.

Барру опять замахнулся, метя прямо в грудь. Но Таруси резко ударил его по руке, нож выпал из разжавшихся пальцев, покатился по склону и упал в воду.

В толпе моряков раздался вздох облегчения.

— Ну, вот и все, отбили быку рога,— радостно сказал кто-то.

Однако это был еще далеко не конец. Но первый раунд выиграл Таруси. И эта победа влила в него уверенность. Правда, мешала рана в плече. Удар был профессиональный. Салих умеет владеть ножом, ничего не скажешь. Но теперь нож, с которым Салих появился на свет божий из чрева матери, покоился на морском дне. Попробуй достань-ка!

Таруси, не давая опомниться противнику, снова бьет его по руке, по плечу — удары так и сыплются. Салих шатается, опускает голову. Потом вдруг вытаскивает пистолет и в упор стреляет в Таруси. Но рука его дрожит. Даже с такого короткого расстояния он промахивается. Пуля пролетает мимо, никого не задев. Таруси бросается на Салиха, и раздается второй выстрел. Пуля задевает бок Таруси, но он не чувствует боли, бьет Салиха ногой в живот. Салих вскрикивает, роняет пистолет и чуть не падает. Таруси ударяет его еще раз. Салих шатается и летит со скалы в море.

Мокрый, растрепанный, Салих Барру уцепился дрожащими руками за выступ скалы. Он с трудом подтянулся и на четвереньках выполз на берег. Ему никак не удавалось встать на ноги. Едва приподнявшись, он снова падал. Моряки брезгливо смотрели на него, и никто даже не шелохнулся, чтобы помочь ему. Так и надо подлецу! Молодец Таруси — расплатился с ним за всех.

Таруси отошел от обрыва и прислонился к стене кофейни, готовый в любую секунду снова броситься на врага и добить его. Но пусть сначала Салих встанет на ноги. Он ему мешать не будет. Не в его правилах бить лежачего.

К месту происшествия наконец явилась полиция. Арестовали обоих. Моряки и Абу Мухаммед провожали их до самого участка. Абу Мухаммед шел, обхватив голову руками. Он чувствовал себя виноватым. Лучше бы ранили его, чем Таруси. За что человек пострадал? Какая-то чашечка кофе... Ведь ссора началась из-за пустяка... Нет. Конечно, дело не в кофе. Салих искал ссоры. Он хотел свести счеты с ними. А может быть, даже убить Таруси. Но не вышло. Сам получил по заслугам. Жаль — мало. Надо было бы его прикончить...

По дороге толпа стремительно росла. К свидетелям присоединялись любопытные. Они расспрашивали о подробностях. Очевидцы чувствовали себя героями и, рассказывая о драке, прибавляли то, чего и не было. Другие их поправляли и сами еще добавляли. Но все сходились на одном: Таруси здорово проучил Барру.

«Проучить-то проучил,— думали многие про себя.— Но этим дело не кончится. Узелок только завязался, и неизвестно, как он развяжется...»

Латакия — город небольшой. Но это не просто город. Это окно, вернее, даже ворота Сирии в Средиземное море. Через них она связана со всем миром. Посылает одни товары и получает другие. И пользуется этими воротами не только Сирия, но и соседние страны.

Этот город, прижавшийся к морю на северо-западе страны, сохранил и старинные постройки, и древние традиции. Городом правят богатые феодалы. Власть над городскими кварталами принадлежит их кланам. Они диктуют свои законы, хозяйничают, как хотят, распоряжаются и землей, и людьми, строят козни друг другу, подкармливают угодливых и стирают в порошок строптивых. И все это они проделывают «согласно правилам», «по чести», не нарушая древних традиций, а потому слывут людьми порядочными и пользуются почетом и уважением!

Время от времени в каком-нибудь квартале находился смельчак. Он поднимал голос против их власти или, воспользовавшись распрями между сильными, пытался выйти из-под их контроля. Тогда они объединялись и находили способ быстро его обезвредить, а то и вовсе убрать с дороги.

Весь город был поделен между влиятельными семьями. Семейство Мазхар, например, было полновластным хозяином квартала Шейх Захир, где находятся гаражи. Мазхары держали в своих руках всю перевозку грузов в порт и из порта. Как-то один торговец возмутился и попробовал вывезти свой груз из порта без их посредничества. В назидание другим его товар сожгли на площади, а самого публично избили.

В порту хозяйничала семья Абу Рашид. И каждое судно, каждая фелюга, даже каждая лодка, выходившая в море или возвращавшаяся в порт, платила дань Абу Рашиду. А власти действовали заодно с феодалами.

Таруси повезло. Он открыл кофейню на скалах, которые не принадлежали никому. И вначале им никто не интересовался. Но когда он стал защищать моряков и вмешиваться в портовые дела, он тем самым бросил вызов Абу Рашиду. Этого ему простить не могли. И следовало ожидать любых неожиданностей, любых каверз.

Иногда Таруси ругал себя и клялся, что больше не будет ни во что вмешиваться. Но совесть не давала ему покоя. Он не мог молчать, видя, как Абу Рашид обманывает и обсчитывает моряков, доверчивых и простодушных. Волей-неволей он становился не только свидетелем, но и судьей этих вопиющих беззаконий. Тщетно он говорил себе: «С меня хватает своих забот в кофейне». Он много раз давал себе слово не вмешиваться в портовые дела, но ни разу так и не сумел промолчать, выслушивая жалобы на бесчинства Абу Рашида.

Неделю назад он громко обругал Абу Рашида в присутствии посетителей. Конечно, Абу Рашиду это стало известно, и он, очевидно, решил заставить Таруси прикусить язык.

Весть о драке в кофейне быстро разнеслась по всему городу. Это событие оживленно обсуждали и в квартале Шейх Захир, и в порту, и в богатых особняках, и в бедных лачугах.

Салиха за ношение огнестрельного оружия посадили в тюрьму, а Таруси отпустили. Но он наотрез отказался лечь в больницу и, когда ему перевязали раны, вернулся в кофейню. Таруси понимал, что в покое его не оставят. Теперь над ним нависла постоянная опасность. Он был не из пугливых. Вызов брошен и принят. Отступать некуда. Он будет бороться до конца. Другого выхода нет. Он не может расстаться с морем. Без него он нигде не найдет себе утешения.

Да и почему он должен бежать? Это ведь его родной город, с которым связана вся его прошлая жизнь. Здесь жила его семья. Пусть старые корни засохли, листья развеяло ветром, но дерево продолжает стоять. Умерли родители, эмигрировали куда-то в дальние страны его дядья, переселился в Триполи старший брат, там же вышла замуж сестра. А он остался здесь один. Постепенно отдалился от своих родных. Что у него с ними общего? Они — торговцы, а он — моряк.

Таруси начал пробивать себе дорогу сам.

ГЛАВА 3

Через два дня вечером в кофейню Таруси пожаловал редкий гость — сам начальник порта Абу Амин. Таруси не скрыл своего удивления, но не выразил никакой радости. Правда, гостя он принял достойно: ведь что ни говори — сам начальник порта. Таруси подошел к его столику, предложил ему наргиле и кофе.

Абу Амин был высокого роста, крепкого сложения. Он производил впечатление весьма солидного человека. Но постоянно помня о своем положении, старался казаться еще более солидным и важным. Говорил он неторопливо, басом и постоянно щеголял в кителе с погонами. Но в действительности начальник порта был марионеткой в руках Абу Рашида.

— Ты ведь знаешь, Абу Зухди, как я тебя люблю и уважаю,— издалека начал Абу Амин.

Он говорил медленно, с достоинством, стараясь придать своим словам особую многозначительность.

— Верю тебе, Абу Амин, и всегда к твоим услугам,— скороговоркой ответил Таруси, бросив на него настороженный взгляд.

— Спасибо... И мы — к твоим. Вот решил зайти повидать тебя. Меня несколько дней не было в порту. Думаю, давно не навещал Абу Зухди. Мы ведь все братья друг другу, надо заглянуть к брату.

— Добро пожаловать! Рад тебя видеть. Да пошлет аллах тебе долгую жизнь.

— И тебе тоже! Мы всегда помним, что ты свой человек, и мы перед тобой в долгу.

Таруси промолчал, показывая, что не намерен продолжать дальнейший обмен традиционными любезностями. Он прекрасно понимал, что начальник порта пожаловал к нему неспроста. Уж, наверно, причина этого визита — арест Салиха, и пришел он сюда не по своей воле, а прислал его Абу Рашид.

— Когда я узнал, как вел себя Салих в твоей кофейне, я очень расстроился. И Абу Рашид тоже возмущен,— продолжал начальник порта, словно прочитав мысли Таруси.— Если бы ты сгоряча не оскорбил Абу Рашида на людях — пусть накажет аллах того, кто ему об этом донес! — он и сам бы не отказался зайти к тебе выпить чашку кофе.

«Э-э-э, да он, кажется, не угрожать пришел, а мириться! — подумал Таруси.— Что бы это могло значить? Наверно, поняв, что их затея провалилась, они решили замести следы, пока не поздно».

— Рад это слышать. Я ценю хорошее отношение Абу Рашида ко мне. Надеюсь, что питает он такие же чувства ко всем морякам. Передай от меня привет Абу Рашиду и скажи, что двери моей кофейни открыты для всех. Я готов забыть старое — что было, то прошло. Если же он, используя свое влияние, вызволит Салиха из тюрьмы, то к добру это не приведет. И ничего не изменит. Пусть он оставит меня в покое, а я обещаю, что не приду наниматься к нему лодочником. Эта работа теперь не по мне. Ну, а наша ссора с Салихом, каковы бы ни были ее настоящие причины, пусть будет нашим личным делом. Время разрешит наш спор.

На этом разговор кончился. Абу Амин поднялся и величественно пошел к двери. Выйдя из кофейни, он еще более важно надулся и величественной походкой, не спеша, направился к порту.

ГЛАВА 4

Через неделю Таруси, весь в бинтах, прихрамывая и опираясь на палку, пришел к прокурору. Он подал ему официальное заявление, в котором брал назад свою жалобу на Салиха. Этот шаг Таруси сделал по собственному почину, без чьей-либо подсказки.

Тем, кто осуждал и даже ругал его за это, он отвечал:

— У нас с Салихом свои счеты. Истцам и ответчикам тут места нет. Я уважаю закон, но жаловаться не хочу. Если же Салих опять ворвется в мою кофейню или начнет приставать к кому-нибудь в порту, тогда пусть пеняет на себя. Аллах ему будет судьей.

«Молодец Таруси»,— с нескрываемым восхищением говорили вчерашние дружки Салиха, обсуждая в кофейнях и винных погребках последнюю городскую сенсацию.

На следующий день после визита Таруси к прокурору в его кофейню ввалилась шумная компания восторженных поклонников. Они пришли, чтобы засвидетельствовать ему свое уважение и объявить себя его новыми друзьями.

— Это вы напрасно,— отмахивался от их похвал Таруси.— У меня такое правило: не трогай меня и я тебя не трону. Ну, а кто тронет, ему же будет хуже. Получит, как Салих.

— Но ты про Салиха не забывай. Он еще может показать клыки.

— Ничего. Двум смертям не бывать, одной не миновать.

— Ну, он в тюрьме поостынет и наберется ума-разума.

— Я уже ходатайствовал, чтобы его выпустили.

— Ты что же, хочешь, чтобы Салих гулял на свободе? Это ведь бешеный пес. От него всего можно ожидать. Но теперь он будет иметь дело с нами. Мы с ним за тебя еще посчитаемся.

— Лучше не надо. Я уж сам как-нибудь справлюсь.

— Ну, как знаешь. Только про нас ты все-таки не забывай. Салих ведь бешеный пес.

От этого разговора у Таруси остался неприятный осадок. Все как на подбор бездельники и хвастуны, а набиваются в друзья. Ничего хорошего от них не дождешься. Слушать каждый вечер в кофейне их болтовню? Да еще и угощать их? Нет уж, спасибо! И он приказал Абу Мухаммеду подавать им кофе, как всем, за плату.

— Не бойся, Абу Мухаммед, бери! Бери со всех, без исключения!

— И даже с Абу Рашида?

— И с него тоже,— отрезал Таруси и сразу почувствовал в плече, под бинтом, острую ноющую боль.

Простое упоминание имени Абу Рашида испортило Таруси настроение. Он вспомнил разговор с начальником порта. Конечно, тот тут же побежал к Абу Рашиду. Что-то он теперь сделает? Оставит его в покое или, наоборот, будет мстить еще ожесточенней? Наймет какого-нибудь другого головореза? А может быть, притворится, что все забыл, чтобы усыпить осторожность, а потом нанесет удар?

«Ведь мне деваться некуда. Прикован к суше. Но в порт к нему наниматься не пойду!»

Когда Таруси плавал на «Мансуре», порядки в порту были другие. Тогда судов было меньше. И грузов тоже. Суда приходили, разгружались и уходили. Тут же швартовались и рыбацкие фелюги. Конечно, случались иногда драки и ссоры, так в каком порту их не бывает? А сейчас порт стал совсем другим. Теперь суда бросают якорь на рейде. А для разгрузки подают баржи. Снуют взад-вперед баркасы и лодки. На берегу сотни грузчиков, носильщиков, рабочих. И всем этим заправляет и распоряжается один человек — Абу Рашид. Если сейчас, во время войны, судов в порту проходит не так уж много, то после войны жизнь в нем забьет ключом. Дел у Абу Рашида будет много.

Абу Рашид и правда времени зря не терял. Действовал он энергично, с размахом. Еще до того, как Александретский порт перешел к Турции, он сумел прибрать к рукам всю разгрузку и погрузку судов на рейде. Скупил все баржи, баркасы и лодки, хотя и выдержал нелегкий бой с конкурентами. Пришлось пойти на риск, поставить на карту все. Но Абу Рашид был азартным игроком.

— Мне бояться нечего,— говорил он своим конкурентам.— Начинал с пустого места, так хуже не будет.

Все знали: Абу Рашид слов на ветер не бросает. И если он что-то задумал, его никто и ничто не остановит. Он был властолюбив, настойчив и решителен. Он был невысокого роста, худощав. Одевался Абу Рашид всегда скромно. Матросские штаны, старый пиджак и выгоревший на солнце тарбуш, который он никогда не снимал с головы, придавали ему сходство с простым грузчиком, каких сотни работали в порту. В любой час его можно было найти или в портовой кофейне, или на пирсе. Люди, наслышанные о его могуществе и всесилии, при встрече с ним никак не могли поверить, что перед ними — тот самый знаменитый Абу Рашид. Особенно, если рядом оказывался надутый важностью начальник порта со свитой щеголеватых капитанов.

Абу Рашид не носил никакой личины. Он действительно был таким. Незаметно ходил по порту, за всем следил хозяйским глазом, отдавал распоряжения, руководил погрузкой и все это — не повышая голоса, скромно, чуть ли не с виноватой улыбкой. Но если кто-нибудь — конкурент, какой-нибудь портовый чиновник, руководитель профсоюза, владелец судна, матрос или грузчик — становился ему поперек дороги, он сразу преображался. От его улыбки и вежливости не оставалось и следа. Он сбрасывал их, как ненужную маску, и становился властным, злым и беспощадным стариком, а разделавшись с противником, вновь улыбался и участливо выслушивал тех, кто обращался к нему с просьбой.

Судьба каждого моряка и грузчика в порту зависела от прихоти Абу Рашида. Пришелся по нраву — будешь работать, чем-то не угодил или, не дай бог, разгневал — лучше уходи сам подобру-поздорову из порта, а то в один прекрасный день и пузыри можешь пустить.

А работа в порту была адской. Однажды Таруси стал невольным свидетелем того, как в порту соблюдаются законы. Грузили баржу. На какого-то беднягу взвалили такой ящик, что он даже присел под ним. Потом медленно, неуверенно он пошел по качающейся доске. С каждым шагом его ноги слабели, он сгибался все ниже и ниже. Казалось, что он вот-вот рухнет под непосильной ношей, но он все-таки продолжал брести вперед, как-то странно покачиваясь, будто шел с шестом по канату. Но когда он уже почти достиг борта баржи, ящик вдруг накренился и полетел вниз, а вслед упал и потерявший равновесие грузчик. Все, кто стоял на набережной, бросились на помощь бедняге. Он лежал на земле, обливаясь кровью. У каждого от сострадания к нему сжалось сердце. И только один человек остался равнодушным. Это был помощник Абу Рашида. Он набросился на пострадавшего с бранью. Тогда другой грузчик вступился за товарища. Помощник Абу Рашида грубо оттолкнул его, потом схватил за ворот рубахи, притянул к себе и наотмашь ударил по лицу.

Таруси, наблюдавший за этой отвратительной сценой, не мог остаться безучастным. Ему было жаль искалеченного, окровавленного грузчика и до боли обидно за его заступника. Он попытался пристыдить помощника Абу Рашида. Однако тот только смерил его презрительным взглядом и небрежно оттолкнул. Неизвестно, чем кончилось бы дело, если бы на месте происшествия не появился сам Абу Рашид. Он извинился перед Таруси, заверил его, что произошло недоразумение, и тут же при всех отчитал своего помощника, громко заявив, чтобы все слышали, что впредь он не потерпит подобного обращения с рабочими.

Насколько Абу Рашид был искренен, трудно сказать. Во всяком случае, к изувеченному грузчику он проявил сострадание не только на словах. А вот его заступник вскоре поплатился за свой благородный поступок — в тот же день его жестоко избили и посоветовали больше в порту не появляться. Таруси узнал также, что Абу Рашид остался недоволен и его поведением.

— Я не люблю,— сказал он в присутствии портовых рабочих,— чтобы в дела порта вмешивались посторонние. Кто бы они ни были, нечего совать нос не в свои дела!

Выгнанный грузчик пришел к Таруси поделиться с ним своим горем и попросил замолвить за него словечко Абу Рашиду.

Таруси задумался. Отказывать грузчику ему очень не хотелось, но еще больше ему не хотелось просить о чем-то Абу Рашида. К тому же он не сомневался, что тому все равно придется уйти из порта, даже если Абу Рашид и сделает вид, будто готов принять его обратно. Все-таки Таруси поговорил со знакомым капитаном Кадри Джунди и упросил его подыскать для грузчика работу — ведь у человека большая семья! Кадри Джунди из уважения к Таруси пристроил грузчика. Узнав об этом, Абу Рашид вскипел.

— Опять этот Таруси! — закричал он.— Сует свой нос куда его не просят! Грузчиков подстрекает! Чего ему здесь надо?

Таруси был оскорблен. Значит, он, Таруси, который побратался с морем, посторонний человек в порту?! Вмешивается в дела порта! Неужели он не имеет права проявить простое участие к человеку? Может быть, море и порт тоже принадлежат Абу Рашиду? Да кто такой Абу Рашид? Найдется же и на него управа!

Так размышлял Таруси, и его душила ярость при мысли, что в мире существует подобная несправедливость.

Но не только вражда с Абу Рашидом лишала Таруси душевного спокойствия. Жизнь на суше была совсем не такой, как в море. Она казалась гораздо более сложной и трудной. Да и сам Таруси, бросивший якорь на суше, был уже не похож на того юнца, который когда-то носился по морю под всеми парусами. Теперь он стал чаще и глубже задумываться над всем, что происходило вокруг.

А происходило много непонятного. На суше оказались свои рифы, штормы, смерчи. И город, и порт, и его кофейня были вовлечены в странный водоворот событий. По всему миру бушевал бешеный шторм.

Вот Абу Хамид все время твердил ему:

— Если немцы победят, победим и мы. Почему? А потому, что французы и англичане наши враги. А враг нашего врага — это наш друг. И выходит, что немцы — наши друзья. Как только Германия победит, мы сразу обретем свободу и независимость. Выгоним всех иностранцев и их прихвостней, станем хозяевами в своем доме!

Таруси только посмеивался. Он не относился к словам Абу Хамида серьезно. Но, поразмыслив, он пришел к выводу, что в рассуждениях Абу Хамида есть доля истины. В самом деле, сколько можно терпеть в своей стране чужеземцев? Так жить больше нельзя! Он не очень верил Абу Хамиду. И то, что болтало берлинское радио, его не интересовало. Ему надоели споры, которые каждый вечер вспыхивали в кофейне.

«Почему,— спрашивал себя Таруси,— их всех политика задевает за живое? Почему, например, учителя Камиля куда меньше волнуют дела его школы? А взять Абу Хамида. Почему радиопередачи из Берлина интересуют его больше, чем собственные дела? И в то же время, почему Абу Хамид так ненавидит учителя Камиля? Наверно, потому, что учитель ругает Германию. Ну, а я за кого? С кем я? Учитель Камиль по-своему прав. С ним нельзя не согласиться. Как нельзя отказать в правоте и другим моим клиентам».

ГЛАВА 6

Абу Рашид никогда не открывал всех своих карт.

Когда начальник порта сообщил ему про свой разговор с Таруси, Абу Рашид только улыбнулся.

«Таруси пока для меня не опасен,— размышлял Абу Рашид.— Своего судна и даже лодки у него нет, так что мне он не конкурент. Но он плохо влияет на других. Это опасно. Особенно в такое неспокойное время, когда моряки и грузчики создают профсоюзы, выдвигают требования, пытаются установить свой контроль».

Абу Рашид твердо решил, что распоряжаться в порту будет только он, он один. Кого захочет — наймет, кого захочет — прогонит. Ведь недаром же он подкармливает все портовое начальство. А для чего он снабжает деньгами своих кандидатов во время выборов? А сколько подарков и бакшишей он раздает всяким чиновникам?

Конечно, будь Таруси более сговорчив и покладист, с ним можно было бы найти общий язык. Он бы и не возражал выпить в кофейне Таруси чашечку кофе и мирно побеседовать с ним. Но Таруси напрашивается на неприятности. Надо будет все-таки проучить Таруси. Выжить его отсюда. А можно и вообще его убрать. Потеря будет невелика. И уж он-то, Абу Рашид, ничего не потеряет. Останется, как всегда, в стороне: мало ли бывает в порту всяких драк.

— Значит, можно зайти к Таруси выпить кофе? — спросил Абу Рашид у начальника порта.— Ну, а кофе хоть хорошо варят?

— Кофе у него отличный. Правда, сам он человек колючий. Ну, да ты его знаешь лучше, чем я. Но не думай, я не напрасно пил у него кофе. Я постарался убедить Таруси, что его благополучие зависит от него самого. Так зачем ему себя обременять лишними хлопотами?

— Ну и как? Убедил?

— Убедить его не так-то легко. Но, во всяком случае, он попритих. Так что я свое дело сделал, Абу Рашид. Начальник порта тебя не подведет. Можешь на него всегда положиться.

— Да благословит тебя аллах! Спасибо.

Абу Рашид зашагал по набережной, продолжая размышлять:

«Обрадовался дурак! Таруси попритих! А если я приду к нему в кофейню? Как он себя тогда поведет?»

Он шел, заложив руки за спину, придирчиво, как хозяин, глядя по сторонам, а мозг сверлила все та же мысль: как ему поступить с Таруси? Конечно, Абу Амин чего-то не досказывает. Надо что-то придумать. Можно послать в кофейню еще кого-нибудь или даже двоих. Но, пожалуй, спешить не стоит. Лучше повременить, обдумать все как следует. Куда ему торопиться? Ну, а Салих пока пусть посидит в тюрьме.

Вот, кстати, и участок! Абу Рашид вошел, и, как всегда, его встретили с распростертыми объятиями. Выпив с начальником полиции кофе, Абу Рашид остался поговорить с ним наедине.

ГЛАВА 7

И снова в кофейню Таруси пожаловал нежданный гость. На этот раз им оказался Надим Мазхар, представитель могущественного семейства, которое держало в своих руках почти весь городской транспорт. Сам Надим был некоронованным королем квартала Шейх Захир. Увидев Надима, Таруси сразу догадался, зачем он пришел. Мазхары враждовали с Абу Рашидом. Они всегда старались ему чем-нибудь досадить. Хотя в открытую войну не вступали. Им больше нравилось действовать исподтишка, чужими руками.

«Пришел натравить меня на Абу Рашида»,— подумал Таруси, но встал и почтительно поздоровался с Надимом.

Надим был молод, как говорится, в самом расцвете сил. Статный, широкоплечий, румянец во всю щеку. Одевался всегда франтом, ходил степенной походкой, важно задрав голову. Весь его вид говорил, что у него есть все — и деньги, и сила, и власть. Так оно и было. Но в отличие от Абу Рашида семейство Мазхаров не поддерживало тесной связи с городскими властями. Они вели дела главным образом с промышленниками и крупными торговцами.

Таруси предпочитал Надима Абу Рашиду, но ничего общего между ними не было, а становиться пешкой в чужой игре Таруси никак не хотел.

— Твою кофейню все хвалят, вот я и решил попробовать твой кофе,— сказал Надим, удобно усаживаясь за столиком.

— Милости просим. Наш дом — ваш дом!

— Для моего прихода есть еще одна причина. Мы с твоим братом были друзьями. Хочу быть и твоим другом.

«Говорил бы сразу и о главном!» — подумал Таруси, но решил терпеливо ждать.

— Ну, как поживаешь, дружище? Как дела?

— Да ничего. Слава богу, идут себе,— уклончиво ответил Таруси.

— Надо надеяться, дальше пойдут лучше. Раз уж ты расстался с морем, такая кофейня — замена неплохая.

— Нет, я с морем не расстался. И никогда не расстанусь. Просто обстоятельства сложились так. Раз мое судно затонуло, а на новое денег пока нет, придется в кофейне дожидаться лучших времен.

— Верно. Но если ты хочешь быстрее вернуться в море и нужна помощь, так я к твоим услугам.

— Спасибо. Поживем — увидим. Может, и потребуется.

— Зачем тебе откладывать? Ты не стесняйся. Друг другу надо помогать.

— Сейчас я больше полагаюсь на божью помощь.

— В божьей помощи мы все нуждаемся. Но стоит ли полагаться только на бога?

— А почему бы и нет?

Дружески хлопнув Таруси по плечу, Надим сказал с подкупающей улыбкой:

— Молодец! Другого ответа я от тебя и не ждал. Я ведь и сам такой. Полагаться нужно на свои силы и на милость божью. Но если мне протягивают руку, я ее не отталкиваю. По-моему, и тебе не стоит этого делать.

— Будем откровенны! — сказал Таруси.— Тебе нужна рука друга: у тебя есть враги. А у меня врагов нет. Во всяком случае, я не хочу их заводить. И я ни к кому зла не питаю. Даже к Абу Рашиду.

— Ну, а если он сам начнет?

— Тогда посмотрим.

— А Салиха Барру ты тоже не считаешь своим врагом?

— С ним у нас свои счеты. Что было, то прошло.

— Говорят, его завтра выпускают под залог.

— Что ж, пускай выходит. Надо будет — мы с ним продолжим наш разговор.

— И когда же ты собираешься с ним говорить?

— Когда время придет. Первым не начну, но и врасплох не дам себя застать.

Надим скептически улыбнулся. Но в душе он почувствовал уважение к хладнокровию и мужеству Таруси. Доверять друг другу они не доверяли, но все-таки прониклись взаимной симпатией, как люди со схожими характерами.

Когда Надим ушел, Таруси взял вторую чашку кофе и закурил. Ему было о чем подумать. Даже такие влиятельные люди, как Надим, находят нужным искать его знакомства. Надим просто так никого не навещает. Хотя его власть ограничивалась в основном кварталом Шейх Захир, ему требовались надежные люди и в других районах города. И на территории его врага, в порту.

Но Таруси не хочет быть ничьим орудием. «Нет,— решил он,— на такую роль я не соглашусь. Пусть они сами между собой разбираются».

Таруси вышел из душной кофейни и сразу опьянел от свежего, соленого запаха моря. Он устремил взгляд на далекий горизонт, за которым ему всегда рисовалась его прошлая жизнь. Жизнь, полная странствий, приключений, счастья. Сумеет ли он возвратить ее? Эта мысль постоянно его преследовала Она молотом стучала в мозгу, властно требуя ответа

А ответ было дать нелегко. Будущее окутывал туман неизвестности. Таруси верил, что достигнет своей цели, но когда возвратится прежняя жизнь, он не знал. Он знал только, когда она кончилась. Таруси хорошо помнит тот день, после которого он перестал быть моряком. В тот день затонула его «Мансура», которая и сейчас покоится на дне моря. Ему тогда было сорок пять лет. Все называли его капитаном. На своей «Мансуре» он возил зерно из Сирии на Кипр, в Александрию, в Хайфу, в Яффу, а из Румынии вез в Сирию, Ливан и Палестину лес, пиломатериалы. Средиземное море было для него родным домом. Он знал его, как свои пять пальцев, как проводник знает в пустыне каждую тропу, каждый колодец. Он не нуждался в компасе. Дорогу ему указывали звезды. Иностранных языков он тоже не знал и обходился родным арабским. Но в каюте у него висела красивая карта, которую он выменял у итальянского моряка за бочонок вина. По-итальянски Таруси читать не умел. Карта нужна была ему только для украшения каюты. Проложить курс и ориентироваться в море он прекрасно мог и без карты. Расстояния между портами он знал наизусть, но измерял их не милями, а временем — столько-то часов ходу. Скорость он тоже умел определять безошибочно, на глаз. Поднимет ладонь вверх и скажет, откуда и с какой силой дует ветер, и даже мог предсказать изменения в направлении ветра. А по дрожанию палубы умел определить приближение шторма.

Он знал, когда можно рисковать. К морю относился не просто с уважением, а почти с благоговением. Считал грехом плевать в море.

— Вот оно, бескрайнее царство! Самое богатое, самое могущественное! — страстно восклицал он, разводя руками, и казалось, что он поклоняется божеству.

А когда налетал ветер, он словно пьянел.

— А ну, ребята! — кричал он возбужденно.— Ставьте все паруса. Ведь ветер капризен и непостоянен, как женщина. А если женщина вам подмигнула, неужто вы пройдете мимо и не попробуете ее обнять?

Ночью и в часы рассвета он, как дозорный, обходил палубу, заглядывал во все уголки, проверял паруса, спускался в трюм, заходил в кубрик, где спали матросы,— вдруг кто-нибудь заболел? Он ведь для них все равно что отец.

Да и матросы не раз говорили Таруси:

— Ты для нас и отец, и старший брат. И мы любим тебя, как родного.

— Ну, раз у меня нет детей, значит, вы мои дети,— отшучивался Таруси.

У него действительно не было ни жены, ни детей.

— А почему, капитан, ты не женат?

— Да уж так получилось... Когда надо было жениться, боялся расстаться с холостой жизнью, а когда холостая жизнь надоела, жениться было уже поздно. А потом есть еще одна причина. Семья для моряка, по-моему, лишняя обуза. Уходишь в море, как солдат на войну. Не знаешь, вернешься или нет. Сколько есть вдов и сирот моряков! При одном их виде у меня сердце кровью обливается. Вот я и побоялся завести семью. А если уж правду сказать, так просто не сумел поймать в свои сети ни одной женщины.

Таруси говорил искренне, хотя, как правило, он не любил рассказывать о себе. Но в такие минуты, когда он и правда чувствовал себя среди своих матросов, как в родной семье, он становился откровенным. Он был человеком большой и щедрой души и часто выручал матросов, когда они оказывались без гроша. Поэтому многие думали, будто он из богатой семьи. Однако детство у Таруси было тяжелее, чем у многих матросов. Он вырос, можно сказать, в порту и проводил там все дни напролет. Родители не знали, что и делать. То он убежит с занятий в школе, то подерется с мальчишками, то заплывет далеко в море. Отец, чтобы утихомирить сорванца, привязывал его к столбу во дворе и оставлял там стоять на целый день. Но тут ему на помощь приходила старшая сестра Фатьма. Сколько раз она избавляла его от этого позора! Таруси любил ее, как мать. Потом она вышла замуж и уехала в Триполи. Они стали видеться редко. А когда умерли родители, еще больше отдалились друг от друга. У каждого — своя жизнь. Ведь недаром говорят: с родителями умирает и семья. Старая семья исчезает, появляются новые. Таков закон жизни.

В начале жизненного пути Таруси испытал немало трудностей и невзгод. Был он и грузчиком в порту, и матросом, и рыбаком. Потом купил фелюгу. Через некоторое время продал ее, купил баркас. Затем продал и его, нашел компаньона и на паях с ним купил «Мансуру». Чтобы накопить нужные деньги, отказывал себе буквально во всем. И в конце концов, стал единственным хозяином «Мансуры». Теперь он мог распоряжаться и кораблем, и командой, и главное — своей судьбой. Дела не всегда шли хорошо. Выпадали месяцы вынужденного безделья. Приходилось тратить все, что было отложено на черный день, залезать в долги, снова отказывать себе в самом необходимом. Но с «Мансурой» он не расставался.

В 1936 году в Средиземном море разыгрался небывалый шторм. Он настиг Таруси где-то на полпути между Латакией и Мерсином. Ему с матросами чудом удалось спастись в шлюпке. Но «Мансуру» разбило в щепы. Он потерял ее. Потерял навсегда.

Как ни старался Таруси купить новое судно, он не смог. Долгое время он вообще ходил без работы. Потом, наконец, нанялся на чужое судно. Однако не поладил

с хозяином. Ведь они почти все скряги и самодуры. На матросов смотрят, как на свою собственность.

Но как певец не может жить без песни, так моряк не может жить без моря. Подумал, подумал Таруси, решил снова стать рыбаком. И рыбаки встретили его, как родного. На суше говорят: «Наш дом — твой дом», а рыбаки говорят: «Наша фелюга — твоя фелюга». Стал Таруси рыбачить. Море то же, как будто рыба та же, но вот времена изменились. Ловят рыбаки много, а им ничего не остается. Все забирают скупщики: сами не ловят, только продают, и весь барыш им достается. У рыбака же — ни рыбы, ни барыша. Стали рыбаки батраками. Таруси батрачить не захотел и начал подыскивать себе другое занятие.

Долго бродил Таруси в раздумье по знакомому берегу. Думал и не находил выхода. Он был согласен на любую работу, но только чтобы не расставаться с морем. Наконец ему пришла в голову спасительная мысль. А почему бы ему не последовать примеру старых моряков, которые открывают в портах кабачки или погребки? Он немало видел подобных заведений в Румынии, Италии, Египте, Турции. Винная лавка ему, конечно, не по карману. А вот кофейню он открыть сможет. Как-нибудь прокормится, и будет все время рядом с морем. К нему будут заходить моряки. Он снова будет чувствовать себя в своем кругу. Но и на кофейню нужны деньги. А где их взять? У кого одолжить? Его старые друзья-моряки рассеялись по всему свету: кто совсем уехал, кто плавает неведомо где, а кто уже обрел вечный покой. К владельцам судов лучше не обращаться: у кого есть деньги — тот не даст, кто дал бы — тот сам на мели. Богачи водили с ним знакомство, пока он был хозяином «Мансуры» и перевозил их грузы. А кто он для них теперь? Никто. Просто безработный моряк. Есть еще, правда, ростовщики и посредники. Те, кто не плавает, а наживается за счет моряков. Они, если попробовать, дадут. Но их Таруси глубоко презирал и кланяться к ним идти не хотел, считал их хуже разбойников и воров. Те ведь грабят из-за нужды, чтобы не умереть с голода. А эти грабят для наживы. Важнее денег для них ничего нет.

Таруси снова задумался. Он часами просиживал у моря, будто ожидая от него помощи или совета. Однажды к нему подошел его старый приятель, с которым они когда-то вместе плавали. Они разговорились, и Таруси рассказал про свой план — он бы хотел открыть кофейню на берегу моря, да денег нет. У его товарища тоже не было лишних денег. Но у него была смекалка и добрая, отзывчивая душа.

— И открывай, чего же ты раздумываешь! — сказал он.— Вот тут, прямо на этих скалах. Вбей несколько столбов, сделай навес, поставь столы и стулья — вот тебе и кофейня. Сюда, чтобы полюбоваться морем, каждый придет. Я сам буду первым твоим клиентом.

И он, не дав Таруси даже опомниться, куда-то убежал. Вернулся он с деньгами. Где он их раздобыл, Таруси так и не узнал. Может, это были его последние сбережения, может, он взял их в долг, может, продал или заложил какую-либо драгоценность жены? Таруси ничего не оставалось, как только поблагодарить своего товарища.

На следующий же день Таруси принялся за работу. Выбрал ровную площадку на скале. Натаскал камней и песка, засыпал все выемки, сровнял выступы, ломом выдолбил пять углублений и вбил колья. Потом раздобыл досок, несколько жердей и соорудил навес. В естественном гроте поставил мангал. Купил несколько столиков и стульев. Работа так и закипела. Ему начал помогать Абу Мухаммед. И к исходу дня кофейня была готова, обещая им кров и работу.

ГЛАВА 9

Так возникла кофейня Таруси, так кончились его скитания. Но ему предстояло выдержать еще немало битв, чтобы выжить. И Таруси готов был бороться до конца за это море, за эти скалы.

Навес примыкал к скале. Над ним — ветви платана. С трех сторон открывался вид на море. Здесь можно было дышать морем, слушать шепот волн и шум прибоя. Успокаиваться, глядя на его лазурную гладь, и вдохновляться его бурным кипением. Каждому хотелось заглянуть сюда, посидеть часок-другой, выпить чашку кофе, покурить наргиле. Здесь, под этим навесом, был оазис тихого покоя и умиротворения.

Внутри кофейни не было ни штор, ни ковров, ни картин. Посредине вздымался могучий ствол платана, на котором были наклеены афиши довоенных фильмов. Внизу, у корня, было вырезано сердце, пронзенное стрелой. Слева стояла длинная деревянная скамья, выкрашенная голубой краской. Ночью она служила кроватью. Иногда Таруси оставался ночевать в кофейне. Абу Мухаммед спал здесь всегда. В углах стояли удочки, прямо у входа свалены были сети.

За каждым столиком сидели, прижавшись плечом к плечу, моряки. Они громко спорили, стараясь перекричать друг друга, решали всяческие вопросы, делились горестями, отмечали удачи и праздники, ссорились, мирились, заключали пари, а иногда и сделки. Сюда заходили, чтобы найти своего товарища, матросы — своего капитана, капитан — своих матросов.

Рыбаки привыкли являться в кофейню со всей своей снастью, даже с веслами. Свою ношу они сваливали на пол у двери, загромождая проход. Таруси потребовал,

чтобы рыбаки оставляли свою снасть за дверью. Кроме того, он попросил, чтобы они в кофейне не орали во всю глотку и даже в спорах умеряли свой пыл. С трудом он добился своего. Каждая кофейня должна иметь свой дух, свою атмосферу. А ему нравился этот порядок. Он, став хозяином кофейни, остался моряком. И вел себя на суше, как в море.

А суша — это не просто песок, камни, скалы. Это сложный, постоянно меняющийся мир, со своими приливами и отливами, с нелегкими судьбами, с запутанными и извилистыми путями. Сколько раз Таруси ни пытался внушить себе, что портовые дела его не касаются, водоворот событий затягивал его, и волей-неволей ему приходилось высказывать свое мнение. Вот каким образом он встал поперек дороги Абу Рашиду. Вот почему ему пришлось схватиться с Салихом Барру. И он поклялся себе, что не покинет эти скалы, не отступит, какое бы коварство ни замыслил Абу Рашид.

ГЛАВА 10

А жизнь шла своим чередом. Постепенно драка с Салихом Барру ушла в прошлое, и о ней уже почти не вспоминали. В кофейне все было, как прежде. Приходили посетители, беседовали, спорили, играли в карты. Таруси, как обычно, сидел в углу на скамье, выпивал утреннюю чашку кофе, курил, смотрел, что происходит вокруг, и размышлял.

В кофейне всегда стоял смешанный запах моря, рыбы, смолы и лавра. Обрыв над кофейней весь зарос лавровыми кустами. Таруси вдыхал этот запах и прислушивался к словам моряков, но в их беседы не вмешивался. За свою жизнь он достаточно наслышался этих бесконечных историй о штормах, приливах, подводных камнях, богатых уловах и всяких необыкновенных случаях.

Вдруг где-то внизу раздался глухой взрыв.

— Глушат рыбу динамитом! — захохотали моряки.

Таруси быстро выскочил из кофейни, спустился к морю, осмотрелся, прислушался, но ничего не увидел и не услышал. Хмурясь, возвратился в кофейню.

— Все равно узнаю, кто этим занимается! — буркнул Таруси.— Завтра я с ними поговорю.

Все промолчали, и только Халиль Арьян по обыкновению не удержался.

— Чего ты? Мы же знаем — ты человек добрый, Таруси. Не все ли равно, как добывать рыбу? Сегодня — сетью, завтра — тралом, послезавтра — динамитом, а потом можно и на тюремный паек. Такая уж наша жизнь.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать, Халиль. Для того, чтобы ловить рыбу, законы не нужны, верно? И многие так считают. Только разве глушить рыбу — значит ее ловить? Это значит ее уничтожать. Такой способ не по мне. Сколько мальков гибнет зря! Не понимаю, какое вы находите в этом удовольствие?

— Ну, нам об удовольствии думать не приходится. На кусок хлеба заработаешь, и то ладно.

— Хорошо,— согласился Таруси.— Допустим, кто-то хочет есть. Ну, а мне как прикажете поступать? Приходит полиция, спрашивает у меня, кто тут взрывал динамит. Я, конечно, знаю или, по крайней мере, догадываюсь, но вру, будто никакого понятия об этом не имею. Только ведь в полиции не дураки сидят.

Таруси вышел. В кофейне наступила неловкая тишина. Опять первым ее нарушил Халиль.

— Таруси дело говорит — не в бровь, а в глаз.

— И не в глаз, а в спину,— недовольно буркнул Мухаммед Суфи.— Нож в спину рыбаку! По-моему, Таруси много на себя берет...

— Да брось ты ворчать! — перебил Халиль.

— Я не ворчу. Но и Таруси надо показать его место. Чего он от нас хочет? Почему это он распоряжается? Море — это ему не кофейня!

— Да не в море дело,— возразил Халиль,— а в динамите. Зачем тут работать с динамитом? Под самым носом у полиции. Уж если тебе не терпится, так иди к маяку или в Рамлу, в Ибн Хане, наконец, места везде хватит!

— Хватит не хватит. Не о том речь! — стоял на своем Суфи.— Распоряжаться морем никто права не имеет. Если он зол на Салиха, так нечего срывать сердце на рыбаках.

Абу Мухаммед, варивший кофе на мангале, поднял голову. Но он не успел ничего сказать, как в кофейню вошли два полицейских в штатском.

— Где Таруси? — спросил один из них.

— Аллах его знает.

— Он нам нужен,— подчеркнуто сухим тоном сказал полицейский.

— Я же не знаю, где он,— пожал плечами Абу Мухаммед.— Он мне не докладывает, куда уходит.

Полицейские потоптались немного и ушли.

«И с чего их сюда принесло? — с тревогой размышлял Абу Мухаммед.— Наверно, думали разнюхать, кто глушил рыбу динамитом. А может быть, опять из-за Салиха Барру? Ладно, завтра узнаем».

Вечером в кофейню снова пришли те же полицейские. Сели за столик, вроде бы только заглянули на огонек. Но, обшарив глазами все углы и не увидев Таруси, громко спросили, где он.

— Я его с утра не видел,— ответил за всех Халиль Арьян.

— А где Абу Мухаммед?

— Заболел.

Полицейские пошептались между собой.

— А где Абу Хамид?

— Не знаю.

— Он заходил сегодня в кофейню?

— Не видел.

Хмурый полицейский, который задавал вопросы, нахмурился еще больше. Он как будто собрался еще что-то спросить, но второй, заговорщически подмигнув ему, толкнул его локтем, и они вышли.

Снаружи бушевал ветер. По кофейне гуляли сквозняки. Пламя в лампе содрогалось, и чудилось, будто содрогаются стены, на которых плясали зловещие тени. В углу моряки с мрачным видом сосали мундштуки наргиле и молчали. За столом при слабом свете лампы с самодельным абажуром из синей бумаги четверо матросов молча играли в карты. Надоедливо скрипела дверь. Волны с грохотом обрушивались на скалы. Соленые брызги били по крыше, точно крупные капли дождя.

Халиль со стаканом чаю в руке подошел к морякам, сидевшим в углу. Он пришел сюда провести вечер и ни о чем не хотел думать. Пропади все пропадом! Море и рыба — а больше ему ни до чего и дела нет!

Матросы пододвинулись поближе к Халилю. Молодые ребята, для которых порт был домом, любили слушать его рассказы, особенно когда погода была плохая. Истории Халиля переносили их из этого жестокого, неуютного мира в волшебную сказочную страну, куда каждый из них настойчиво стремился и никак не мог попасть. И сегодня они пришли в кофейню с тайной надеждой послушать Халиля, а он, как назло, молчал.

Закрыв глаза, Халиль медленно отхлебнул несколько глотков чая. От него пахло араком. Нижняя губа отвисла. Казалось, он не сможет выговорить ни слова. Но моряки знали, что Халиль, когда пьян, врет особенно увлекательно и вдохновенно.

Но сегодня Халиль как будто в самом деле был не в духе. Он только вздыхал и время от времени повторял:

— Бутрос... Бутрос...

Так звали его сына. Это имя не сходило у него с языка. Для него оно вмещало весь мир. Бутрос был его помощником, его надеждой. Халиль ничего не жалел, чтобы вырастить и выучить сына. Учеба ему давалась легко. Как счастлив был Халиль, когда Бутрос кончил начальную школу. «Мой Бутрос получил свидетельство! Без всякого труда получил,— хвастался он всем соседям.— А читает книги, будто глотает их...» Бутрос поступил в среднюю школу. Халиль не мог на него налюбоваться. Сын вытянулся, стал еще красивее. Уже почти мужчина. И вот какой-то пьяный француз сбил его автомобилем. С тех пор, о чем бы ни заходила речь, Халиль обязательно упоминал Бутроса. Призывал его в свидетели, клялся им.

Халиль, прежде высокий, даже стройный, с тех пор стал сутулиться, будто стесняясь своего роста. Когда он бывал пьян, его толстые губы отвисали, лицо и глаза наливались кровью. Но своего красноречия он не утрачивал. Он мог часами рассказывать всякие истории и небылицы, причем так складно, что трудно было разобрать, где кончается правда и начинается вымысел.

Рядом с Халилем сидел Ахмад — молодой рыбак, почти еще мальчик. Потягивая маленькими глотками чай, он готовил наживку для завтрашней ловли. Ахмад пил чай всегда медленно, умудряясь растянуть один стакан на весь вечер.

— Да, рыбной ловлей семью не прокормишь,— пожаловался Абу Фадал, который обычно ловил сетью.

— Я вчера весь день просидел и ничего не поймал,— наконец заговорил Халиль.

— А ветер вчера откуда дул, с востока? — спросил Ахмад.

— Нет, с запада.

— Тогда почему же не клевала?

— Видно, не повезло.

— Надо было бы мне прийти на твое место! — сказал кто-то, посмеиваясь.

— Это как же? — сразу насторожился Халиль.

— А вот так. Просто ты не умеешь ловить.

— Это я-то?

— Да, ты. А кто же еще?

— Нет, ты слышишь, Абу Фадал?

— Да бросьте вы! Как дети. Моря вам мало, что ли? С рыбой, бывает, везет, а бывает, что и нет. На все воля аллаха. Я вчера вот тожэ растянул сети от входа в порт до Хадары, а попалось всего три окунька. Отнес их домой. А хлеб пришлось

в долг взять у пекаря Ибн Баира. Ничего не поделаешь — не повезло. Зато сегодня аллах, видно, сжалился. Поставил сети около форта. На час — не больше. Вытаскиваю, а они полны рыбы. Как тут не скажешь: хвала аллаху! — Он молитвенно поднял руки и закончил:— Уж такая наша жизнь: сегодня сыт, завтра бит.

— Да,— согласился Халиль,— такая наша жизнь.

— Жизнь? — отозвался другой моряк.— Разве это жизнь? Чаще бит, чем сыт. Одни только беды и страдания. Будь она проклята, такая жизнь. А может, ремесло у нас проклятое? Вместо счастья аллах наделил нас терпением. Другие, особенно которые побогаче, не выдержали бы такой жизни, руки бы на себя наложили.

— Ну, они-то и так с жиру бесятся и кончают с собой. Слышали небось про дочку богача Милу?

— Это которая утопилась? — вставил Ахмад.— Так она, говорят, от несчастной любви...

— Я был сам свидетелем, клянусь Бутросом,— вмешался в разговор Халиль.— Своими глазами видел. Даже искупаться из-за нее в море пришлось. Я как раз осьминогов ловил около той скалы. Уже совсем стемнело. В одной руке у меня фонарь, в другой острога, а на спине — корзина. Нашел осьминога, навел фонарь и только подцепил острогой, как вижу, что-то в море — бух! Потом вынырнула чья-то голова и исчезла. Опять вынырнула и снова исчезла...

— Ну ты, конечно, струсил и бежать...

— Я? Бежать? Клянусь Бутросом — стоял на месте как вкопанный. Моряк от моря не побежит. Да и весь берег я там знаю, исходил его вдоль и поперек. На своем веку чего только не приходилось видеть! Однажды попался мне осьминог — ну целая тонна!

— Так-таки тонна?

— Ну, может, полтонны.

— Хватил!

— Пускай четверть тонны.

— Все равно много!

— Ну, пятьдесят килограммов хватит?

— И это много.

— Да ну вас к черту! — разозлился Халиль.— Не буду больше вам ничего рассказывать! Зубоскалы!

— Ну все-таки, дядя Халиль, килограмм он потянул или половину?

Все дружно захохотали. Ахмад даже со стула свалился, пролив свой недопитый чай.

— Во дает! Осьминог, говорит, весом в тонну! — никак не могли успокоиться моряки.

— Ей-богу, рта больше не открою в этой кофейне! — продолжал клясться Халиль.

— Нет, а сколько он весил?

— Да что вы пристали? — взмолился Халиль.— Не взвешивал я его! Что я, весы с собой ношу, что ли?

— Вот это другой разговор.

— Пусть будет по-вашему,— сдался Халиль.— Пусть полкило. Но осьминог — всегда, какой бы он ни был,— это тебе не лягушка. Короче говоря, увидел я большого осьминога и подкрадываюсь к нему с острогой. Только я замахнулся, как меня сбила с ног волна. Острогу я метнул, но промахнулся. Задел только щупальца. Он, проклятый, весь изогнулся и вдруг хвать меня за ногу. Присосался и давай меня сжимать — аж в глазах потемнело. Жмет, а сам к другой ноге тянется. Ну, думаю, прощайся с жизнью, Халиль. Настал твой конец! Но с жизнью-то никому не хочется расставаться. Хоть и клянем ее, а она ведь, ребята, хороша! Я ухватился за камень и выполз на берег. Одна-то нога на берегу, а за другую осьминог меня в море тянет. Собрался я с силами и как заору. А на берегу ни души. Зима, никого нет, и помощи ждать неоткуда. Бросил я острогу, вытащил из-за пояса нож и давай пилить щупальца осьминога. Резал, пока он совсем не ослаб. Ну, тут я его вытащил на берег и добил. Отнес его на рынок и хорошие деньги выручил. Вот как бывает. А испугался бы я или растерялся, он бы всю кровь у меня высосал и утянул бы в море, как Ибн Кувейдра. Только бы вы меня и видели! С морем шутки плохи! Оно пострашнее, чем даже африканские леса. Поэтому я, когда увидел голову...

— Какую еще голову? — перебили его моряки.

— Да голову дочери Милу.

— Наконец-то она опять вынырнула! — съязвил кто-то.— Ну ладно, рассказывай, что дальше было.

Халиль хотел опять вспылить, но раздумал.

— Увидел я, что кто-то тонет, ну и бросился в море. Минут пятнадцать шарил, пока не нащупал тело. Вытащил на берег, смотрю — и не верю глазам своим. Молоденькая девушка, вся в белом, невеста. Положил я ее на песок и бегом в полицейский участок. «Помогите! — кричу.— Помогите!» Прибежали, а помогать уже некому. Лежит не дышит. Виском о подводный камень ударилась. Если бы упала хоть на полметра дальше, я бы ее, может быть, и спас. До сих пор она у меня перед глазами стоит. Красавица! Красивее в жизни никого не видел. Да простит ее аллах! Если бы

я ее спас, отец, наверно, озолотил бы меня. У него, говорят, золото в сундуках не помещается. Вот ведь как бывает! Отец золото не знает куда девать, а дочь в море бросается.

— А чего удивляться! — философски заметил Абу Фадал.— Счастье не в золоте, а в покое.

— Что это еще за покой?

— Покой находит тот, кто не суетится, не жадничает. Надо во всем знать меру.

— Меру, говоришь? — переспросил Халиль.— Я вот и меру знал, и терпеть умел, а в награду получил могилу...

— Я же вам сказал, что дочь Милу покончила с собой из-за несчастной любви,— вмешался Ахмад.— А вы верите, что бывает такая любовь? Вот ты, дядя Халиль, мог бы покончить с собой, если бы влюбился? Скажи честно!

— Это уже другой вопрос. В наше время про любовь не знали. Я женился на Умм Бутрос без всякой любви, даже не видел ее. Мать сказала: «Женись, она девушка хорошая»,— и я женился. Теперь времена другие. Молодые газеты читают, в кино ходят.

— Из-за этого кино все беды! Оно молодым вбивает в голову всякую дурь. И кто только его придумал?

— Не кино ругай,— заметил Халиль,— а тех, кто людей одурачивает. Мой Бутрос и в кино ходил, и книги читал. Сам ума набирался и меня не забывал. Все, что прочтет, расскажет, а я запоминаю.

— И про Синдбада-морехода ты от него слышал?

— Нет, это я от моряков слышал. Про море я сам Бутросу рассказывал всякие были и небылицы.

— Расскажи сейчас, дядя Халиль, хоть одну,— попросил Ахмад.

— Как-нибудь в другой раз...

— Расскажи, Халиль! Чего там! — поддержали Ахмада другие моряки.— Ведь сейчас зима, ветер, дождь. Самое время сказки рассказывать. Их для этого и придумали, чтобы такие длинные вечера коротать...

ГЛАВА 12

Таруси возвращался в кофейню поздно ночью. Ветер свирепствовал, старался сбить его с ног, сбросить со скалы. Он выл, свистел, бесновался, будто тысячи джиннов с воплями устремились на землю.

Таруси шел ощупью, ничего не видя. Ну и ночка! «А каково сейчас в море?» — невольно мелькнула у него мысль.

И словно в ответ на его вопрос над морем, рассекая небо, вспыхнула молния. Он увидел огромные волны, которые табунами взбесившихся белогривых коней неслись, сшибаясь друг с другом, чтобы потом стеною, ощетинившись клокочущей пеной, обрушиться на скалы.

Когда, преодолев сопротивление ветра, Таруси все-таки открыл дверь, ветер в неистовстве чуть не сорвал ее с петель и не давал ее закрыть. С трудом захлопнув дверь, Таруси глубоко вздохнул, вытер мокрое лицо, снял промокшие до нитки пиджак и брюки и надел халат. Его лицо было спокойным, и на нем не отражалось ни тени волнения, которое обычно испытывает человек, когда бушует стихия. Таруси привык к бурям. Ему даже нравилось их неистовство.

Таруси зажег лампу. «Неплохо бы сейчас выпить чашечку горячего кофе и покурить»,— подумал он и присел на стул, дымя сигаретой. Его мысли невольно уносились в бушующее море, куда недавно ушли рыбаки.

Ведь он говорил им сегодня: «Не ходите — будет шторм!» Не послушались! Советовал быстрее возвращаться. Но разве их уговоришь? Мальчишки! Щенки! Не хотят слушать добрых советов.

Каждый раз, когда в море разыгрывался шторм, Таруси невольно вспоминал старинную легенду, которую он когда-то услышал от одного моряка-книголюба.

...В бездонной пучине моря в самом разгаре пир. Бушуют волны, пляшут ветры. На троне восседает морской царь. Волны смиренно падают ниц к его ногам, словно приглашая оседлать их, и почтительно откатываются. Перед царем — красавицы русалки. Но вот величественно появляется царица. По мановению ее руки русалки исчезают. Красота царицы неописуема, а могуществу царя в море нет предела. Он окидывает всевидящим взором свое бескрайнее царство и видит дальние дали, клокочущие, бушующие волны. Видит он, как мечутся в море застигнутые бурей корабли. На его устах играет довольная улыбка. Но царица, трепеща, прижимается к нему. «Что с тобой? — спрашивает царь.— Почему ты побледнела? Уж не больна ли ты?» «Нет,— отвечает царица,— я не больна. Но посмотри, мой повелитель, туда! Видишь, плывет человек. Он послан сюда из земного царства, чтобы покорить и осквернить наше морское царство. Я боюсь его. Прижми меня крепче к своей груди. Еще крепче, милый... Защити меня от него. Не давай ему приблизиться ко мне. Его дыхание обжигает меня огнем. Пусть ветер порвет его парус. Пусть волны станут на его пути стеной и повернут его корабль назад. Отомсти человеку за его дерзость!» Царь только снисходительно улыбается. Ему ли бояться какого-то человека? Кто он такой?

Слабое земное создание. Стоит ли на него обращать внимание? Пусть волны вдоволь с ним наиграются, а потом поглотят по первому знаку.

Но царица говорит царю: «Он не такой слабый, каким кажется. Не позволяй ему приблизиться ко мне. Он убьет меня». Крепко обнял царь свою возлюбленную и успокаивает ее такими речами: «Не бойся его, моя царица, я сделаю его твоим рабом, а его матросов отдам на съедение рыбам. Все трепещут передо мной в море, я заставлю людей трепетать передо мной и на суше. Чего тебе опасаться? Пусть он идет навстречу своей гибели, как бабочка летит на огонь! От меня он никуда не скроется. Я его оставлю, только чтобы позабавиться с ним. Гром оглушит его, молния ослепит, и его сердце наполнится страхом. Волны увлекут его в свой хоровод. Потом священная вода выбросит его посиневший труп на берег, на потеху воронам. Не бойся, моя любимая! Положи голову мне на грудь. Но что с тобой? Почему ты все еще дрожишь? И твои глаза полны тревоги!» Отвечает царица: «Ты говоришь правду, любимый. Да, все они боятся тебя и трепещут перед твоими бурями. Все признают твое могущество. Стоит только тебе встать, как страх и ужас охватывают твоих подданных. Они прячутся кто куда или разбегаются в разные стороны. Бегут все: от маленького головастика до огромного кита, от летающей рыбы до ползающего краба, от осьминога до голавля — все они страшатся тебя и покорны тебе. А люди на земле отказывают тебе в покорности. Они становятся все более строптивыми. Но никто не может сравниться с тобой! Прислушайся! Человек земли уже совсем близко, мой любимый. Что ты с ним сделаешь? Обрушишь на него бурю? Ты уже приказал ей?»

Заглянула царица в глаза царя и увидела в них растерянность. «Что с тобой, любимый? Почему ты не отвечаешь? Почему не приказываешь буре?» И вдруг царь беспомощно развел руками: «Я уже приказал. Буря бушует повсюду, но он обогнал ее и проник к нам!» Встрепенулась царица: «Как! Человек земли сумел бурю покорить?! Осмелился бросить вызов твоему могуществу! Так прикажи волнам, ветру и молниям остановить его! Пусть затопят его корабль! Разорвут парус! Сломают мачту! Разобьют в щепы руль! Сзывай, царь, всех своих подданных. Зови под свои знамена всех полководцев и воинов! Иди и сражайся с ним!»

И царь скрылся в пучине. Забушевало море. Закипели волны. Рассвирепел ветер. А человек продолжает плыть — он все ближе и ближе. Царица стоит на волне и не может отвести от него взора: «Это он, я узнаю его. Как он красив, этот человек земли! Какой смелый и сильный! Ветер бьет ему прямо в лицо, волны перекатываются через корабль, захлестывают человека с головой, но вода стекает с него как серебряный поток. Но вот разверзлось море. Парус накренился и, кажется, рухнул. Победил мой царь, мой повелитель! Но что это? Парус снова возник над волнами. Человек устоял и сумел поднять парус. Поднял и удержал его сильными руками. О, как упорен этот человек, стоящий у руля! Как смел! Но ты не победишь моего повелителя. О, ветры, рвите его одежду, сломайте его руки, разбейте руль. О, могучий гром, оглуши его! Ослепи его, молния! Уничтожь его, буря!..»

Но Таруси уже не слышал ни громыхания грома, ни завываний ветра. Прислонив голову к стене, он заснул на стуле, не досказав самому себе прекрасную легенду, которую он когда-то услышал от одного моряка...

ГЛАВА 13

— Таруси! Таруси!

— Ну, чего тебе?

— Вставай! У тебя шея не переломилась? Разве можно спать на стуле?

— Как видишь. Который час?

— Поздний. Посмотри, как высоко стоит солнце.

Таруси сладко потянулся и попытался встать, но ноги его не послушались. Он протер глаза и попросил Абу Мухаммеда сварить кофе.

Абу Мухаммед скрылся за стойкой. Что толку расспрашивать Таруси? Все равно он ничего не ответит. Пусть лучше выпьет сначала чашку горячего кофе. За время их совместной жизни Абу Мухаммед успел хорошо это усвоить. Нынче оба проснулись в мрачном настроении. Абу Мухаммеду снился его сын, который несколько лет назад умер от туберкулеза. Таруси снилось море и «Мансура», но почему-то в этом сне он дрался с Салихом Барру.

Абу Мухаммед распахнул дверь, и в кофейню ворвались солнечные лучи. Таруси зажмурился, затем широко открыл глаза и увидел спокойное море, искрящееся на солнце. Море, казалось, улыбалось земле, земля — солнцу. Весь мир был полон света, радости и спокойствия. Таруси взял чашку кофе, вышел и сел на камень у обрыва. Утро было таким светлым и безмятежным, что он вдруг ощутил необъяснимую радость. Чистые, вымытые дождем скалы сохли под ласковыми лучами солнца. Усталые волны лениво ластились к берегу, словно прося прощения за вчерашнее буйство. Белые чайки, которые вчера перед бурей с тревожным криком кружили над водой, теперь беззаботно парили над лазурной гладью моря. Рыбаки, спустившись к своим фелюгам и лодкам, начали приводить в порядок свое нехитрое хозяйство. Вот они уже идут к воде, кто с сетью, кто с удочкой, надеясь на богатый улов.

Постепенно к кофейне начали сходиться завсегдатаи: одни несли сети, чтобы

заняться тут их починкой, другие хотели выпить кофе перед тем, как спуститься в порт, а кто-то уже тащил улов, держа удочку наперевес, как копье. Но многие шли в кофейню, чтобы просто убить время.

Появился и Халиль Арьян — его лицо было опухшим, красным, волосы взъерошенные. По-видимому, вчерашнее «лекарство» не пошло ему впрок. Хмель выветрился, а заботы остались. Наступил новый день, и надо зарабатывать на кусок хлеба.

— Как ты чувствуешь себя, Абу Мухаммед? — спросил он небрежно.— У тебя, случайно, нет наживки?

Он выпил чашку кофе, взял свои удочки, баночки, маленькую корзинку и медленно спустился к воде.

Начался обычный день. Точно в свой час в кофейню один за другим входили постоянные посетители. Одни заказывали чай, другие — кофе, кое-кто — наргиле. Облако табачного дыма становилось все гуще. Голоса звучали все громче.

Ахмад пришел позднее обычного. Еще с порога он крикнул:

— А ну, кто хочет сыграть в «басиру»?

Абу Мухаммед недовольно покосился на него: «Ну вот, явился, паршивец. Опять шум поднимает!»

Около десяти часов в кофейню вошли полицейские, которые накануне наведывались дважды. Таруси поднялся им навстречу.

— У вас есть ко мне дело? — спросил он сухо.

— Нет, просто так зашли... Ты что, посетителям не рад?

— Почему же? Гостям тут всегда рады. Кофейня открыта для всех. Добро пожаловать! Только вот беда — угощать нечем. Война. На рынке ничего хорошего не найти — разве что чесотку подхватишь от одичалых собак.

Полицейские поняли намек Таруси и натянуто улыбнулись. Чесотка и в самом деле стала бичом города. Ее лечили серной мазью или просто примочками с морской водой. Многие верили, что ее занесли к ним английские и французские солдаты. Некоторые, правда, утверждали, что все дело в плохом питании. Но другие резонно возражали:

— Все беды в любом случае от них — от этих одичалых собак.

В городе иностранных солдат называли только одичалыми собаками. И намек Таруси был более чем прозрачен.

— Мы приходили вчера, но тебя не застали.

— Жаль, я не знал, что вы пожалуете, а то бы я никуда не ушел.

— Ну, это не обязательно! У нас есть к тебе одно дельце. Хотели бы спросить у тебя...

— Пожалуйста.

Полицейские замялись, не зная, как лучше начать.

— Ну, как ты вообще живешь? — осведомился один.

— Слава аллаху, ничего, не жалуюсь.

— К вечеру, наверно, посетителей собирается побольше?

Таруси посмотрел полицейскому прямо в глаза:

— Ты это о чем?

— Да ни о чем. Просто так поинтересовался. Разве и спросить нельзя?

— Почему же нельзя? Только все-таки к чему ты клонишь?

— Мы хотели узнать у тебя вот что. Абу Хамид заходит к тебе по вечерам?

— Это что, официальный вопрос или неофициальный?

— Неофициальный.

— Тогда я ничего не отвечу.

— А если официальный?

— Все равно не отвечу. Хоть в тюрьму сажайте.

— Ну, до тюрьмы дело, будем надеяться, не дойдет, Таруси. А вот ответить ты должен. Скажи прямо: придет он сегодня или нет?

— Не знаю.

— Что же, и на этом спасибо.

— Всего доброго!

Полицейские ушли, явно недовольные.

Проводив их взглядом, Таруси подошел к Абу Мухаммеду:

— Беги к Абу Хамиду и скажи, что там узнали. Он поймет, о чем речь. А если полицейские опять придут, без меня ничего им не говори. Здесь кофейня, а не участок! Я к ним на службу не нанимался.

Таруси сел и закурил сигарету. «Да, Абу Хамиду больше не придется слушать радио в кофейне,— подумал он.— Но какой подлец донес на него?»

Таруси встал, спустился к морю, походил и снова вернулся в кофейню. Он ломал голову, стараясь понять, кто же все-таки мог донести в полицию.

Тут в дверях Таруси увидел своего старого знакомого капитана Салима Рахмуни.

— Кого я вижу! — воскликнул Таруси, поднимаясь ему навстречу.— Добро пожаловать, капитан Салим!

Они обнялись.

— Ну-ка, дай на тебя посмотреть,— сказал Рахмуни, дружески ударив его по плечу.

— Всегда рад служить тебе, капитан! — воскликнул Таруси.

— Ну что ж, принимай гостя, Таруси! Да хранит тебя аллах, дружище! Дай я тебя еще раз расцелую. Я только сегодня пришел и сразу в порту узнал, что Таруси проучил Барру, да еще как проучил! Тот, кто молодец на море, остается молодцом и на суше. Но поцеловать тебя за это стоит. Нарочно пришел тебя поздравить.

— С чем поздравлять, капитан? Барру не стоит того, чтобы о нем столько говорить. Обычная портовая крыса. Но пакостит много. С ним давно следовало бы разделаться.

— Только с ним? А может, и с тем, кто действует за его спиной?

— И тот тоже не вечен. С любого трона рано или поздно слетают.

— Ну что же, говорят, лиха беда начало. Но ты теперь держи ухо востро. Можно ожидать всяких козней.

— Похоже, эти козни уже начались.

— А что такое? — насторожился Рахмуни.

— Полиция стала часто захаживать.

— А почему? Тебя в чем-то подозревают?

— Пока нет... Просто так, интересуются.

— Кем? Тобой?

— Нет, Абу Хамидом.

— И что же ты будешь делать?

— Я уже предупредил Абу Хамида, чтобы он был осторожнее!

— Ты думаешь, их кто-нибудь подослал?

— Об этом и спрашивать нечего.

ГЛАВА 14

Утром на городском базаре жизнь била ключом — город встречался с деревней и обманывал ее как только мог. Крестьяне продавали свой товар оптовикам — мясникам, бакалейщикам, зеленщикам, а те с соответствующей наценкой продавали его в розницу городским жителям. Для каждого товара отведено свое место, свой ряд. На большой площади шла торговля овощами и фруктами. Утром она бывала запружена толпами народа. По сторонам площади ютились лавчонки и ларьки, где продавалось все, что могло понадобиться крестьянину. В центре в хаотическом беспорядке стояли повозки и тележки с овощами, зеленью, фруктами. Между ними толкались носильщики, мальчишки-разносчики с корзинами за плечами, бродяги, ищущие случайного заработка, и просто зеваки, которых, наверно, было больше, чем покупателей и продавцов, вместе взятых. Чтобы пробиться сквозь эту пеструю, шумящую, бурлящую толпу, необходимо было потратить столько усилий и времени, что пропадало всякое желание делать покупки. Тем не менее торговля шла оживленно. Но еще оживленнее кричали продавцы и покупатели: одни, надрываясь, расхваливали свой товар, другие торговались, называли свою цену. В воздухе жужжали тучи огромных назойливых мух. В эти часы площадь напоминала поле боя. Тому, кто оказывался здесь впервые, могло почудиться, что началось новое вавилонское столпотворение или что он попал в приют буйных сумасшедших.

От овощного базара отходил кузнечный ряд, размещавшийся в узком грязном переулке под старинной аркадой. В этой вонючей каменной пещере кузницы соседствовали с мясными лавками и харчевнями. Здесь можно было сразу купить и молоток, и баранью ногу, заказать косу и жаркое, приобрести дюжину дешевых ложек и отведать свежего супа с требухой. Никто не мог сказать, когда именно возник этот странный союз кузнецов с мясниками. Возможно, это была случайность, а возможно, это соседство сложилось вполне закономерно, в результате смешения на базаре города и деревни. Но как бы то ни было, этот кузнечно-мясной ряд служил рассадником всякой заразы и воплощением такой же дисгармонии, как и все другие ряды, втиснутые под низкие своды.

Облезлые, грязные стены, пыльные закопченные потолки, густая сеть паутины по темным углам, едкий дым кузниц, мешающийся с жирным чадом от жарящейся баранины,— вот каков был этот ряд. И прохожие затыкали носы, стараясь побыстрее миновать его. И все же почти при каждой мясной лавке имелась харчевня, которая не испытывала недостатка в посетителях. Удары молотов по наковальне и резкое кряканье кузнецов мешались со стуком мясницких топоров и протяжными криками лавочников, зазывавших покупателей.

В окнах лавок висели огромные говяжьи туши, бараньи головы, ноги, требуха. И за этой баррикадой из мяса было почти невозможно разглядеть сидящих в харчевне посетителей, тем более что там всегда колыхалось густое облако табачного дыма. Здесь, то ли перед кузницами, то ли перед лавками — это трудно было понять,— всегда толпилось много приезжих крестьян и бедуинок в черных милайях[1].

Соседство кузнецов с мясниками было удобно не столько покупателям, сколько хозяевам лавок. Когда в харчевню входил посетитель и заказывал шашлык, в мангал

[1] Милайя — верхняя женская одежда, накидка.

был еще не разведен, то хозяин с шампурами, на которые были нанизаны кусочки мяса, бежал к соседу кузнецу воспользоваться огнем его горна. А бывало и наоборот — кузнец, к которому приходил крестьянин починить мотыгу или серп, шел «одолжить» огоньку к соседу мяснику. Их даже по виду трудно было отличить друг от друга.

Когда Абу Мухаммед, наконец, пробился сквозь базарную толпу и вышел к кузнечному ряду, с него успело сойти семь потов. Перед кузницей Абу Хамида, как всегда, надрывно кричал и громко хлопал в ладоши, зазывая покупателей, зеленщик Абу Самира. Абу Хамид не только терпел этого крикливого соседа, но даже бесплатно уступил постоянное место, как он говорил, по «политическим соображениям». А Абу Самира всегда поддакивал Абу Хамиду и полностью разделял его политические взгляды, так как ничего при этом не терял, а только выигрывал.

Абу Хамид был широкоплечим, высоким, немного сутулым человеком средних лет. В коротком пиджаке, в старом помятом тарбуше и в не по росту коротких черных штанах он скорее напоминал торговца, чем кузнеца. Он был женат, но бездетен, и его скудного заработка на двоих хватало. Он говорил, что участвовал в восстании против французов и хотел поехать воевать с англичанами в Палестину, но какие-то непредвиденные обстоятельства заставили его сначала остаться в Дамаске, а затем поселиться в Латакии. Хотя Абу Хамид непосредственного участия в войне не принимал, в душе он считал себя ветераном и при каждом удобном случае разносил Англию и Францию в пух и прах. В искренности его чувств никто не сомневался, так как не нашлось бы араба, который любил бы своих поработителей. Абу Хамид был неграмотен, не умел ни читать, ни писать и в политике не разбирался. А потому, услышав, что Германия воюет с Францией и Англией, он стал по всякому поводу и без повода чуть ли не на каждом углу кричать, что он стоит за Германию. Услышав о какой-нибудь победе немцев, он радовался, как ребенок, и восхвалял ее как долгожданную победу над ненавистным врагом.

— Победа Германии,— кричал он,— это наша победа!

И он действительно верил этому. Потом кто-то надоумил его слушать радиопередачи из Берлина на арабском языке. Услышанные по радио новости он радостно пересказывал всем знакомым и даже незнакомым людям. Когда союзные войска выгнали из Сирии фашистов, слушать берлинские передачи стало небезопасно. Абу Хамид начал все чаще заглядывать в кофейню Таруси. И по вечерам слушал Берлин.

Когда Абу Мухаммед сказал ему, что в кофейню приходили полицейские и наводили о нем справки, он сразу положил молот.

— Только обо мне? — испуганно спросил он.

— Да.

— А чего они хотят?

— Не знаю. Спроси у Таруси. Меня он послал.

ГЛАВА 15

Абу Хамид отправился к Таруси, а кузницу, как обычно, оставил на Абу Самиру.

— Пригляди за кузницей, Абу Самира! Я ушел.

— Иди спокойно и возвращайся с хорошими вестями.

Абу Хамид вбежал в кофейню Таруси, совсем запыхавшись. В спешке он надел свой тарбуш задом наперед, и Таруси невольно улыбнулся, представив, как в таком виде он бежал через весь базар.

— Да, Абу Хамид, видно, мы с тобой попали в ловушку,— сказал Таруси, пряча улыбку.— Сегодня уже нам, пожалуй, не придется слушать радио в кофейне. Полиция что-то пронюхала.

— Да объясни ты толком! — заикаясь, сказал Абу Хамид.

Стараясь скрыть волнение, он опустился на стул и добавил с напускным спокойствием:

— По-моему, тебе, Таруси, опасаться нечего. Тебе эти прихвостни одичалых собак ничего не сделают! Ты ведь знаешь, что Роммель уже в эль-Аламейне.

— Эль-Аламейн, братец, далеко,— усмехнулся Таруси.— А вот за моей кофейней полиция уже следит. Значит, надо что-то придумать.

— Ну, так как же? — спросил Абу Хамид.

— Приемником ты можешь пользоваться по-прежнему. Слушай сколько хочешь. Только не в кофейне.

На следующий день Абу Хамид купил батарейки для радио, с ним ходил Ибн Джамаль, который неплохо разбирался в этих делах. Потом они вместе с Таруси нашли в окрестности подходящую пещеру, очистили ее от всякого мусора и даже приготовили место, куда ставить приемник. Вечером Абу Хамид пришел в кофейню раньше всех. Как обычно, он заказал наргиле и уселся за столик в углу. Держался он очень важно, даже гордо, точно человек, принесший большую жертву во имя своих убеждений и потому имеющий право уважать себя и требовать уважения от других.

Постепенно стали подходить обычные вечерние посетители, в основном студенты, мелкие чиновники и люди без определенных занятий, кормившиеся всякой случайной работой.

Абу Хамид незаметно подмигивал то одному, то другому. Наберитесь терпения. Видите, тут есть посторонние и среди них могут найтись доносчики. Не раскрывать же свои планы перед ними. Так недолго и в беду попасть. Пошел к двери и позвал с собой тех, на кого, по его мнению, можно было вполне положиться.

Ночь была темная, хоть глаз выколи. Сильно пахло травами и цветами. Внизу невидимые волны тихо шептались у берега и порой с плеском разбивались о камни. Абу Хамид хватался за выступы скал, цеплялся, царапая ладони, за какие-то корни и, как слепой, нащупывал перед собой дорогу палкой. Иногда он возвращался назад и помогал остальным перебираться через какое-то препятствие. Шли молча. Нервы у всех были напряжены до предела. Что и говорить, страху натерпелись немало. Особенно Абу Хамид.

Но зато какая была награда! Абу Хамид, войдя в пещеру, присел на корточки перед приемником, установленным на маленькой табуретке. Когда все разместились вокруг, он повернул ручку. Шкала осветилась. Он медленно начал вертеть другую ручку, самозабвенно следя за движениями стрелки. Наконец она достигла заветной черточки, которую Абу Хамид так хорошо знал. Но в приемнике слышался только треск и шорохи.

Абу Хамид еще раз повертел рукоятку настройки и повернул до отказа регулятор громкости, но ...знакомого голоса Юниса, произносящего «Говорит Берлин», так и не услышал. Он вытащил из кармана часы со светящимся циферблатом. Нет, время верное. Что случилось с Юнисом? Почему он молчит?

Остальные начали перешептываться. Кто-то даже закурил, вопреки всем запретам.

— Уходить надо, пока не поздно! — произнес чей-то голос в темноте.

Абу Хамид все больше нервничал. У него даже в груди что-то оборвалось от огорчения. Время шло, ему никак не удавалось нащупать Юниса.

Еще кто-то собрался закурить и зажег спичку, осветив пол. И тут Абу Хамид вдруг подскочил, как ужаленный:

— Хасуна! Чтоб ты сквозь землю провалился, и твой дом, и вся семья с тобой! Сойди с антенны! Стоишь на ней, а я тут мучаюсь!

Он схватил Хасуну за ногу и так дернул, что тот чуть было не повалился на землю. Абу Хамид наладил антенну, и помехи сразу исчезли. Послышался голос. Он звучал сначала слабо, еле слышно, потом все сильнее, все явственнее.

— Ребята! Юнис! Это он, Юнис! — закричал Абу Хамид, хлопнув себя по бедрам, и еще чуть-чуть передвинул стрелку. В пещере загремел бас Юниса. И Абу Хамид наконец успокоился, достал кисет, свернул сигарету и закурил.

ГЛАВА 16

Пробило два часа ночи...

Как ни трудно было уходить от Умм Хасан, но Таруси следовало вернуться в кофейню. Ему не терпелось узнать, приходил ли кто-нибудь из полиции, не разыскивают ли его опять. А может быть, около кофейни уже выставили пост?

Умм Хасан в полусне заметила, что он собирается, но не могла заставить себя открыть глаза.

Таруси по опыту знал, что теперь она будет спать беспробудно по крайней мере до полудня. Обычно Таруси просыпался под утро и, стараясь ее не разбудить, тихонько уходил, а она продолжала спать сладким и безмятежным сном.

Но днем ее неотступно преследовала тревожная мысль, омрачавшая ее долгожданное и, казалось бы, безоблачное счастье,— она жила в постоянном страхе, что он скоро ее разлюбит и бросит, как бросал уже многих женщин. И тогда ей снова волей-неволей придется вернуться к прежнему образу жизни, о котором она не хотела даже вспоминать.

«Потеряю его — потеряю все,— думала она.— Без него мне жизнь не мила. Брошусь в море. Покончу все счеты сразу, навсегда...»

Но внутри у нее все кричало, протестуя против такого исхода: «Нет! Нет! Я буду жить. Он будет все время со мной. Я нужна ему. Я его никуда не отпущу. Никому не отдам. Ведь ни одна другая женщина не сможет его любить так, как я. Потому что сильнее любить уже нельзя. Господи, ну почему, за что я его так люблю!» — И она беззвучно смеялась своему глупому вопросу.

А Закия, пожилая женщина, которая жила у нее, видя, как она мучается, успокаивала ее с доброй улыбкой:

— Ну, чего ты себя терзаешь? Ведь он тоже тебя любит. Поверь мне, доченька, я старая женщина и многое повидала на своем веку! Этот мужчина — не чета другим. Настоящий мужчина — сильный, смелый, честный. Не смотри, что он уже в летах. Только такие и бывают настоящими мужчинами. А от молодых что проку! Я сразу увидела, что он за человек. Потому-то и познакомила тебя с ним. Такого человека поискать. Недаром его все в городе уважают. Как он стал к нам ходить, на наш дом сразу снизошли милость и благословение аллаха. Раньше и камни нам в окна бросали, и дверь мазали, и какими только грязными словами не позорили. А теперь? Даже жандармы и полицейские, которые охраняют тюрьму напротив, стали отно-

ситься к нам с уважением. И соседи по-другому на нас смотрят. Все с почтением спрашивают о Таруси, интересуются им...

— А почему он у нас редко бывает? Почему уходит среди ночи? Ты бы порасспросила у Абу Мухаммеда!

— А я спрашивала. Да разве от него добьешься толку! То, говорит, в кофейне ночует, то еще где-то. Днем, бывает, тоже уходит, а куда — никогда не скажет. Таруси сам лишнего не болтает и не любит, если у него начинают выпытывать, как да что.

— А ты-то что думаешь? Нет ли у него другой женщины?

— Ну, уж не думаю! Да и была бы, так что с того? Уж такая мужская натура. Только тянет-то мужчину в дом, где он сердце оставил. Где его любовь — там и кров. А свое сердце он у тебя оставил, ты уж мне поверь! А хочешь его к себе навсегда привязать, сходи лучше к шейху Ибрагиму. Он тебе даст приворотное питье. Напишешь на тонкой бумажке имя своего возлюбленного, бросишь ее в это зелье, дашь ему выпить,— и уж он навек к тебе привяжется. Шейх Ибрагим все может. Даже брошенной жене мужа возвращает. Вот тебе мой совет: не терзай и не мучь себя понапрасну. Останется Таруси твоим. Уж я-то в мужчинах разбираюсь. Немало их на своем веку повидала.

Но как ни успокаивала ее старая Закия, а сердце Умм Хасан все равно грызла тревога. И только в объятиях Таруси забывала она обо всем. Ведь он был с ней — единственный, долгожданный, самый лучший из всех мужчин. Таруси она ни с кем не могла сравнить. Только ему и никому другому готова была она с радостью подчиняться, служить, помогать, быть для него не просто женщиной, но и другом.

Только теперь стала она настоящей женщиной. Изменился и ее характер, и ее мысли. Она вся светилась тем удивительным светом, который можно увидеть лишь в глазах любящей женщины. Ведь любовь делает женщину такой, какой она должна быть.

О, если бы она сразу стала такой, скольких ошибок она сумела бы избежать! Тогда ее не обманул бы тот бакалейщик, который вскружил голову глупой девчонке всякими подарками, добился своего, а потом выгнал с позором.

И пришлось ей ютиться по грязным углам, сидеть в пропахших винным перегаром и табаком душных погребках и харчевнях. Видела она пьяниц, потерявших человеческий облик, и злобные рожи бродяг. Ей улыбались старые развратники и прыщавые юнцы. А некоторые предлагали ей свое покровительство, искали ее любви, даже обещали жениться на ней. Но она хорошо знала цену этим словам, заверениям и клятвам. Нет, она больше никому не верила. Если даже ей встречался хороший человек, она все равно отворачивалась от него, вспоминая все обиды, оскорбления и побои, которые ей пришлось перенести. У нее мурашки пробегали по коже, когда она вспоминала сутенера, который несколько лет забирал у нее все, что ей удавалось заработать, и безжалостно избивал, если она пыталась сопротивляться ему. В конце концов ей удалось ускользнуть от него.

Переезжая из города в город, она добралась до Латакии. И тут повстречала Таруси. Их познакомила Закия. Вначале все шло, как обычно. Потом они стали видеться чаще, и он оставался у нее все дольше. Они о многом разговаривали и ближе узнали друг друга. Так родилась взаимная симпатия, которая затем перешла в прочную привязанность. Их уже тянуло друг к другу, чтобы делиться мыслями, радостями и горестями. Таруси предложил ей стать его подругой. И впервые она приняла такое предложение с радостью.

Он снял для нее маленький домик и часто приходил туда. Она радовалась каждой встрече с ним — наконец-то она почувствовала себя счастливой. У нее был любимый, единственный мужчина, был свой дом. Она могла больше не бояться голода. Но тут ее нашел сутенер, который часто снился ей в кошмарных снах. Правда, он сразу понял, что должен либо как-то отделаться от Таруси, либо оставить ее в покое. По-видимому, с Таруси он поговорил. О чем был разговор — она не знала, но с тех пор он больше не приходил. Закия сказала, что Таруси заметил его возле дома, вышел и прямо велел ему убираться, пообещав разделаться с ним по-свойски, если он вздумает преследовать его жену. Сутенер предпочел поскорее уйти.

Именно в тот день Таруси сказал ей:

— Ты — моя. И никого не бойся. Тебя никто не посмеет обидеть.

И она действительно успокоилась. Теперь она не одна. Ей есть у кого искать защиты. Таруси тоже был счастлив, что наконец нашел подругу. После долгих скитаний по свету у него появился свой угол, где его ждут, где в нем нуждаются.

Когда он впервые ласково назвал ее Умм Хасан[1], она зарделась от смущения.

— Значит, по-твоему, я уже совсем старуха? — спросила она со счастливой улыбкой.

Она правильно поняла его желание. Что же, если он хочет, чтобы забыла и прежнее имя, и все свое прошлое, она их забудет. Для нее это имя стало символом ее счастья, ее новой жизни.

---

[1] Дословно — мать Хасана. В арабских странах принято уважительно называть замужнюю почтенную женщину именем одного из сыновей, обычно старшего или даже ожидаемого, если у нее нет еще детей.

Но счастье, как и небо, не бывает безоблачным. И тучкой, омрачавшей счастье Умм Хасан, был страх, что она потеряет Таруси. Вдруг он разлюбит, бросит ее, найдет себе другую? Сможет ли она удержать его? Что ей делать? Как себя вести?

ГЛАВА 17

Абу Хамид проснулся рано утром и пошел пройтись по городу — ему не терпелось поделиться последними новостями и послушать, что говорят другие. Он заглянул на рынок, постоял около мастерской Али Хаяты, потом направился в кофейню Абу Заккура.

Солнце стояло уже высоко. На улицах играли босоногие, чумазые, лохматые ребятишки, торопливо шли закутанные в милайи женщины. Начинался рабочий день, и на улицах оставались только те, кто не работал. В кофейне Абу Заккура, которая ютилась у стены полуразрушенного храма, собрались посетители — здесь тоже начинался свой рабочий день.

Абу Хамид сел в том углу, где было больше людей, и выпил чашечку кофе. Показав своей палкой в сторону храма, который как будто построен еще во времена Древнего Рима, он сказал громко, чтобы услышали все:

— О, аллах всемогущий и милосердный! То, что построили римляне, все еще стоит, а их самих в нашей стране и духа не осталось! Так неужто французы будут сидеть у нас вечно?

— Что ты? — ответил хозяин Абу Заккур.— Дай только война кончится, они и дня тут не задержатся.

Абу Хамид еще несколько раз затянулся наргиле и вышел на улицу. Он завернул в парикмахерскую, побрился и с достоинством, не торопясь, направился к Ибн-Амину.

Там несколько молодых парней играли в карты, другие стучали костяшками нард.

Абу Хамид выбрал свободный столик в самом дальнем углу.

Не успел он допить кофе, как к нему подсел Исмаил Куса, а потом еще несколько человек. Скоро в углу не осталось ни одного свободного места. Но Абу Хамид продолжал хранить молчание.

— Абу Хамид, что сегодня нового? — спрашивали его со всех сторон.

— Да ничего особенного.

— Да уж ладно, не тяни. Самому небось не терпится рассказать.

— Я же сказал: нового ничего нет.

— Так мы тебе и поверили!

— Ты же всегда начинен новостями!

— Новости, как рыба. Бывает, ловятся, а бывает, и нет. Ты ведь не каждый день возвращаешься домой с рыбой. Вот и я не всегда прихожу с новостями.

— А где ты был вчера вечером?

— Это тут ни при чем.

— У красивой женщины! — пошутил Исмаил Куса.

— Вот и ошибся, Исмаил! Не знаю, как ты, а я люблю вечера проводить в мужской компании. Вчера, если уж это вас так интересует, я был в кофейне Абу Заккура. Вместе с людьми уважаемыми и достойными, как вы. И ушел оттуда, только когда кофейня закрылась. Так что глупостей про меня не болтай.

— Ладно, не обижайся,— примирительно сказал Исмаил.— Ну, а как вообще дела?

— Да ничего,— уклончиво ответил Абу Хамид.

Он еще раз обвел всех взглядом, словно желал убедиться, что они достойны выслушать его новости.

— Абу Хамид, что с тобой? Давно ли ты стал молчальником? Ну, рассказывай, что нового,— упрашивали его со всех сторон.

— Клянусь аллахом, нечего рассказывать.

— Может, у тебя есть новости, Исмаил?

— Вчера на базаре слышал, будто по всей Сирии народ опять зашевелился. Ожидают выступления.

Все сразу повернулись к Исмаилу. Абу Хамид был сразу забыт и, встревожившись, он поспешил спросить:

— Какого выступления?

— Против французов. Говорят, оно начнется сразу во всех городах — Дамаске, Халебе, Хомсе, Хаме и в Латакии.

Исмаил Куса — человек состоятельный, имеет свою землю и политикой никогда не интересовался. А тут — на тебе, вдруг такая осведомленность! И говорит с таким жаром, что даже уши покраснели.

— Я слышал,— продолжал Исмаил,— что хотят объявить Сирию независимой.

Эта новость настолько всех ошеломила, что никто ничего не сказал.

Абу Хамид заметил в дверях кофейни Абу Мухаммеда, который делал ему знаки. Просто так он не пришел бы. Наверно, его прислал Таруси. Абу Хамид отошел с ним в другой угол и с тревогой спросил:

— Что случилось? Опять обо мне спрашивают?

— Если бы только спрашивали! Они тебя сейчас ищут повсюду. Спасайся, пока не поздно! Не теряй ни минуты!

— Неужто дела обстоят так плохо?

— А ты как думал? Уже арестовали несколько человек.

— Аллах, аллах! Это ты узнал от Таруси? А он не сказал, куда бежать? Где можно скрыться?

Абу Хамид сыпал вопросами, не дожидаясь ответа. Он так растерялся, что вдруг утратил способность думать и действовать самостоятельно. Он ждал, чтобы кто-то другой объяснил ему, что нужно предпринять, куда бежать и вообще как выйти из этого опасного положения.

— Таруси узнал про аресты от Надима Мазхара,— продолжал Абу Мухаммед.— Таруси сказал, чтобы ты спрятался где-нибудь в Шахэддине и никуда оттуда не выходил. Там тебя никто не найдет.

Абу Хамид послушался совета. Он проскользнул в уборную, через заднюю дверь выскочил на улицу и пустился бежать во всю прыть. Запыхавшись, затрусил мелкой рысцой, потом опять прибавил шагу. Он старался держаться подальше от людных улиц и петлял по лабиринту кривых переулков, то и дело испуганно оглядываясь, нет ли за ним погони. Если сзади раздавался подозрительный шум, он бежал еще быстрее и даже не озирался по сторонам.

А в кофейне даже не заметили его исчезновения.

— Вон, посмотрите!

Все обернулись в ту сторону, куда показал Исмаил. По улице важно шествовали четверо вооруженных винтовками молодцов из так называемой «гвардии Сулеймана Муршида» [1].

— Вот они, наши враги,— продолжал Исмаил.— Все помнят, скольких людей они ограбили, скольких убили! Даже хотели создать свое государство, со столицей в Латакии, отколоться от Сирии. Это их французы надоумили. И армию свою уже создали, губернатора назначили. Разве вы успели забыть это?

Нет, предательство Муршида было еще свежо в памяти каждого. Все в городе презирали и ненавидели его гвардейцев. А когда он сам шел по улице, ему вслед летели плевки и проклятия. Все с нетерпением ждали только того дня, когда Муршида и его головорезов вздернут на виселице. Поэтому слова Исмаила оказались солью, посыпанной на рану.

— А как нам избавиться от Муршида?

— Надо восстановить конституцию, созвать Национальное собрание, объединить страну и создать национальное правительство. Вот это нам и обещает от имени правительства свободной Франции генерал Катру.

— Кто это тебе сказал?

— Знающие люди.

— Сколько раз мы это слышали!

— Разве можно верить французам? Одни только обещания. Пока идет война, они с нами заигрывают. А война кончится — и все пойдет по-старому.

— Да, французам верить нельзя.

— Ну, а англичане еще хуже!

— Союзники заигрывают с нами, потому что им сейчас туго приходится. А как победят, примутся и за нас, опять начнут виселицы строить. Нет, независимость нам никто не подарит! Ее надо самим завоевывать!

— Правильно говоришь, Исмаил! — поддержал его подошедший учитель Кямиль.— Только я, с вашего разрешения, хотел бы кое-что добавить.

— Пожалуйста, устаз[2]!

— Ты говоришь, что от Муршида и французов нас может избавить только национальное правительство. Это верно. Но правы и те, которые сомневаются, что Франция и Англия сдержат свои обещания. По своей доброй воле они никогда не предоставят нам независимость. Только мы сами можем завоевать ее. Мы иногда забываем о тех жертвах, которые мы уже принесли в нашей борьбе. Франция будет вынуждена предоставить нам независимость, так как она знает, что иначе мы добьемся свободы силой. И не нужно забывать, друзья, что в мире произошли большие перемены. Сейчас мир не тот, каким был раньше. На нашей стороне Россия. Тридцать лет назад союзники могли дать обещание, а потом от него отказаться. Теперь это у них не получится. Им не удастся нас обмануть, если мы проявим твердость. Мне странно слышать, что есть такие, кто связывает свои надежды с фашистской Германией. А известно ли вам, что Гитлер и арабов считает низшей расой, неполноценными людьми? Если он победит, то оккупирует нашу страну и установит в ней фашистский режим. А вы знаете, что такое фашизм? Хуже его ничего нельзя придумать.

— Погоди, устаз! — нетерпеливо прервал его сидящий напротив мужчина.— Все,

---

[1] Сулейман Муршид — руководитель инспирировавшегося французами сепаратистского движения за отделение района Латакии от Сирии.

[2] Устаз — учитель, форма уважительного обращения к представителям интеллигенции, специалистам в своей области.

что ты говоришь, мы каждый день читаем в газетах. Что же ты нас пугаешь? Мы уже хлебнули французского режима, дай нам попробовать теперь немецкого!

— Если бы речь шла о кушанье, я не возражал бы,— спокойно ответил учитель.— Пожалуйста, отведайте! Но речь идет о судьбе страны. Народу такое любопытство может обойтись слишком дорого. И никто не позволит проводить подобные опыты. Гитлер уже оккупировал почти всю Европу. И что-то никому еще пока независимости не предоставил. Наоборот, всем известно, что люди стонут под его сапогом, голодают, умирают, подвергаются пыткам, страданиям, ждут не дождутся часа избавления, борются кто как может, чтобы приблизить этот час, проливают кровь, гибнут...

— На то и война!

— А кто ее начал? Почему простые люди должны расплачиваться такой дорогой ценой за войны, которые уже не впервые развязывает Германия?

— Она их развязывает потому, что у нее мало земли.

— Ну, вот и договорились! — воскликнул учитель.— Потому, что земли у него мало, Гитлер и решил завоевать весь мир!

— А Франция и Англия лучше, что ли? Учитель, а думать не умеешь! Говоришь только то, что пишут другие. А мы читать и сами умеем.

— Зачем же так? — сказал Исмаил.— Мы ведь дружески обмениваемся мнениями. Зачем оскорблять друг друга?

— Всем известно, что Франция и Англия — империалистические державы,— все так же спокойно продолжал объяснять учитель.— Но ведь Германия тоже не колония, фашисты — те же империалисты, только еще хуже. Следовательно, они наши враги. Нападение Гитлера на Россию — это его гибель. Наполеон тоже вторгался в Россию, а чем это кончилось? Нет, братец, Москва — это не Париж.

Поклонник Гитлера ничего не ответил. То ли он не знал, кто такой Наполеон, и ничего, естественно, не слышал о его походе в Россию, то ли он из осторожности предпочел прекратить спор, увидев, что к их кружку присоединился какой-то незнакомый человек.

Очевидно, тот слышал конец их спора и, как бы подводя ему итог, сказал:

— Время покажет, кто победит.

— Вот именно,— улыбнулся Кямиль.

Часть вторая

ГЛАВА 1

Прошло два с половиной года.

На центральной площади города в просторном гараже Надима Мазхара собрались самые влиятельные люди квартала Шейх Захир. От почти круглой площади веером расходятся длинные улицы и короткие переулки. Ее пересекает главная улица города. Прямо напротив гаража — полицейский участок. По сторонам площади разместились кофейни, рестораны, харчевни. В дальнем углу — школа для мальчиков. В центре площади стоянка для автомашин и извозчиков, а возле — бензоколонка. К площади примыкает небольшой общественный парк, огороженный железной решеткой.

За эти два с лишним года и в стране, и в городе произошло немало важных событий. Наконец был избран парламент — первый парламент после того, как страна была официально провозглашена независимой. Победу на выборах одержал Национальный блок. Был избран президент, сформировано правительство, которому подчинялись местные власти, жандармерия и полиция. Однако подлинная власть — армия, разведка, служба безопасности, некоторые наиболее важные государственные учреждения — по-прежнему находилась в руках французов и англичан. В сущности, вопрос о выводе из страны французских и английских войск обещали обсудить только после окончания войны.

Из-за этой неопределенности все не столько жили, сколько ждали. Немецкая армия была уже разгромлена на полях России. Она откатывалась все дальше и дальше на запад. И тень войны все более отодвигалась от Латакии. На нарушения светомаскировки теперь смотрели сквозь пальцы. Исчезли очереди за хлебом и керосином. Оживилась жизнь в порту.

Латакия вместе со всей страной с радостью приветствовала создание национального правительства и с нетерпением ожидала того момента, когда страна, наконец, обретет полную независимость, создаст свою армию и сама будет распоряжаться своей судьбой.

Франция искала способа остаться в Сирии; Англия прилагала отчаянные усилия, чтобы вытеснить Францию и занять ее место. Монархисты, как могли, подрывали основы республиканского режима, стараясь расчистить путь для монархии. А широкие народные массы требовали немедленного вывода всех иностранных войск, создания своей армии и установления подлинной независимости. Эти вопросы горячо обсуждались по всей стране, вокруг них кипели споры, шла упорная, непрерывная борьба.

— Я слышал, что скоро выпустят часть арестованных,— негромко сказал Надим Мазхар.

— Значит, правительство все-таки предприняло кое-какие шаги?

— Предприняло, да не в том направлении! — желчно заметил Надим.

— А для чего же тогда освобождают арестованных?

— Я ведь сказал, что освободят не всех, а только часть. Тех, кто был раньше влюблен в Гитлера, но теперь делает вид, что раскаялся. Зато истинных патриотов, которые выступают против колонизаторов и их прислужников в правительстве, оставят за решеткой.

— Ну, а доктор Субхи?

— Доктора они были бы рады сгноить в тюрьме. Англичане всячески его истязают, применяют даже пытки. Они ни за что не хотят его выпускать. Но он все-таки выйдет на свободу. Ведь все знают, что он оставил практику и боролся с оружием в руках за освобождение Палестины.

— Что правда, то правда. Достойный человек. Он, говорят, и врач замечательный. Про него просто чудеса рассказывают.

— Если бы он захотел, то мог бы стать самым богатым человеком в городе, а он все оставил и уехал воевать в Палестину. И такого человека держат в тюрьме. А эти краснобаи в Дамаске сидят в мягких креслах и палец о палец не хотят ударить, чтобы добиться его освобождения. У них и своих хлопот полно. Надо о родственниках позаботиться, пристроить на теплые местечки всяких жуликов и проходимцев, чтобы было потом на кого опереться. Вот, например, они подговаривают одного человека открыть здесь, у нас в Шейх Захир свой гараж, только чтобы насолить нам.

Зазвонил телефон. Надим взял трубку. Он слушал и все больше хмурился.

— Опять, наверно, проделки депутатов! — сказал он, зло бросив трубку.— Звонили из порта. Машины простаивают пустые, а люди Абу Рашида нарочно затягивают погрузку. И нам самим не дают грузить. А попробуй пожалуйся, сам же будешь виноват. Можно было бы дать им открытый бой, только я заранее уверен, что мы проиграем. У Абу Рашида и депутаты, и губернатор в кармане. Что ж, поеду посмотрю сам, что там делается.

Надим взял стоявшую в углу палку, с которой он обычно не расставался, и, вскочив в кабину грузовика, мрачно сказал шоферу:

— Поехали!

Остальные стали расходиться. Площадь вдруг заполнилась шумом — это в школе кончились занятия и мальчишки с радостными криками вырвались на волю. Через площадь два жандарма вели какого-то парня в полицейский участок, щедро награждая его по дороге тумаками. На мгновение они замедлили шаг. Перед ними по тротуару пританцовывающей походкой не спеша прошла расфуфыренная девица, распространяя резкий запах дешевых духов. И жандармы, и все мужчины, сидевшие в кофейне напротив, как по команде, повернули головы, провожая ее долгим оценивающим взглядом.

ГЛАВА 2

Собрание портовых рабочих длилось уже больше часа. Когда учитель Кямиль вошел в кофейню Таруси, оно было в самом разгаре. Представители грузчиков (их было не так много) собрались для того, чтобы обсудить некоторые статьи закона о труде, который скоро должен был вступить в силу. Кямиль объяснил грузчикам значение закона и смысл некоторых его статей. Когда грузчики разошлись, Кямиль остался в кофейне. Он устроился за столиком в углу и взял местную газету. В простых, так называемых народных, кофейнях он чувствовал себя как дома. Он мог часами прислушиваться к беседам и рассказам посетителей, а иногда и сам вмешивался в разговор, направляя его в нужное русло. Его все любили за то, что он умел не только понятно, простыми словами объяснить самые сложные вопросы, но и внимательно, не перебивая, слушать, проявляя тем самым уважение к собеседнику.

Таруси, наблюдая за ним со стороны, не переставал удивляться его умению общаться с людьми, его неиссякаемой энергии и юношеской страсти, с которой он был способен часами обсуждать и запутанные политические проблемы, и частные вопросы трудового законодательства, не имевшие к нему лично никакого отношения. Таруси никак не мог понять, что движет такими людьми, как Кямиль, людьми, которые во имя своих взглядов готовы жертвовать собственным благополучием и отдают все силы воплощению в жизнь какой-нибудь идеи.

В кофейню вошел Абу Мухаммед, и Таруси, оставив посетителей на него, сам подошел к столику Кямиля.

— Ну, так на чем вы остановились?

— Остановились пока на полпути...

— А когда же доберетесь до конца?

— Кто идет, тот рано или поздно дойдет.

— В том-то и дело, что мы, мне кажется, топчемся на одном месте, а вперед не продвигаемся.

— Почему? Продвигаемся, но медленно,— возразил Кямиль.— Какой-то прогресс все-таки есть. Надо просто запастись терпением и на все смотреть спокойно.

— Что-то я не очень верю в твое спокойствие,— сказал Таруси, пристально по-

смотрев Кямилю в глаза.— По-моему, у тебя внутри все кипит, но ты умеешь сдерживаться.

— Когда-то я взрывался быстро, а теперь стараюсь держать себя в руках, и иногда это мне удается. Вот видишь,— улыбнулся Кямиль,— и тут есть кое-какой прогресс. Ну, а что у тебя нового?

— Да ничего особенного. Главные-то новости у тебя. Ты ведь теперь больше меня знаешь, что происходит в порту. Как там, кстати, Абу Рашид?

— Абу Рашиду известны все разговоры, которые ведутся в кофейне. Он знает, что тут собираются грузчики.

— Ну и пусть себе на здоровье знает! Если хочет, может еще раз прислать к нам в гости Салиха Барру, мы его угостим как следует,— сказал Таруси, гневно блеснув глазами.

Кямиль засмеялся и дружески похлопал Таруси по руке.

— За тобой, как за каменной стеной, Таруси! Вот почему тебя и любят. Если удастся объединить портовых рабочих, в этом будет и твоя заслуга. Все тебе скажем спасибо.

— Я это делаю не ради благодарности,— ответил Таруси, помолчав.— Это мой долг. Как-никак я ведь моряк и имею какое-то отношение к порту. Вот почему я и хочу знать все, что там происходит. Ну, так расскажи, что там творится, о чем говорят, что собираются делать?

Кямиль подробно рассказал ему все, что узнал от грузчиков, и объяснил, какую важную роль может сыграть создание профсоюза портовых рабочих. Но для этого необходимо провести большую подготовительную работу — как можно чаще встречаться с рабочими и проводить собрания с их наиболее активными представителями. Кямиль сообщил ему о новых стычках рабочих с Абу Рашидом и об их стойкости. Перечислил случаи вопиющего беззакония и самоуправства Абу Рашида.

Таруси то согласно кивал, то вставлял какое-нибудь крепкое словечко, то добавлял к рассказу Кямиля новые факты.

— Вот как ты загорелся! — с улыбкой заметил Кямиль.— А удивляешься, когда другие с жаром говорят о политике.

— Политика далеко, а порт — близко, вот почему дела порта меня и интересуют.

— Разница невелика! Ведь и с политикой мы сталкиваемся каждый день и должны иметь о ней свое мнение. Вот тебя занимают дела порта, и у тебя есть о них свое мнение. Однако твои взгляды находятся во взаимосвязи со взглядами других людей, как и все в мире. Без борьбы мы не сможем добиться независимости, а если не признают нашу независимость, то тем более не признают права рабочих.

— Здесь я с тобой согласен. Судьба нашей страны, борьба за независимость — это и я принимаю близко к сердцу. Я только удивляюсь, что люди готовы полезть в драку, говоря о Германии, о России, о всяких там мировых проблемах.

— Мировые проблемы непосредственно связаны с нашими собственными. Если бы победила Германия, мы попали бы в рабство, оказались бы под игом фашизма. А что такое фашизм, ты сам знаешь. Хуже всякой чумы. Германия проиграла войну. В числе победителей оказались и Англия, и Франция. Теперь они пытаются лишить нас независимости, которую сами же нам обещали. Хотят нас обмануть. Но это им уже не удастся. Почему? Потому что мир уже не тот, многое изменилось. Теперь у нас есть надежный и сильный друг.

— Я, конечно, догадываюсь, кого ты имеешь в виду, и согласен с тобой,— сказал Таруси.— А вот, например, Абу Хамид?

— Абу Хамид рано или поздно разберется, где черное, а где белое.

— Вряд ли. Что-то не верится. Горбатого, говорят, могила исправит.

— Ну зачем же так? Абу Хамид честный человек, только он заблуждается. Но постепенно он поймет, кто прав и где истина,— уверенно сказал Кямиль.

Тут в дверях кофейни появился Надим Мазхар, и Таруси поднялся ему навстречу. Поздоровавшись, они уединились в другом углу, а Кямиль снова углубился в чтение газеты.

ГЛАВА 3

Халиль Арьян на следующий день после того, как его выгнали из порта, пришел поделиться своей бедой с Таруси. В порту к Халилю подошли подручные Абу Рашида и прямо сказали, чтобы он немедленно уходил и больше не смел показываться в порту. Сначала Халиль подумал, что они шутят. Человек он был тихий, покладистый и врагов как будто не имел. Но ему пригрозили, что выкупают его в море, если он попробует прийти в порт. Халиль попытался было пригрозить им, что пожалуется Абу Рашиду. Но они только обругали его и сказали, что он может жаловаться кому угодно. Раз он посещает кофейню, в порту ему делать нечего.

Таруси выслушал Халиля молча. Он сразу понял, в чем дело: Халилю запретили ловить рыбу в порту из-за него. Его долг помочь Халилю, он должен принять брошенный вызов.

— Приходи завтра,— сказал Таруси.— Что-нибудь придумаем. Будешь ловить в Батране.

Халиль медленно побрел в город. Когда он, наконец, продал свой небогатый улов, солнце уже зашло. По дороге домой Халиль заглянул в винный погребок Тауфика и попросил стаканчик арака, который тут же залпом осушил. Арак обжег горло будто огнем, и Халиль невольно поморщился. Внутри тоже вдруг стало горячо.

— Запиши-ка, Тауфик, на мой счет.

— Это ты что еще такое выдумал — пить арак в кредит? — рассердился Тауфик.— Никогда не платишь! Последний раз записываю. Больше без денег не отпущу. Так что завтра рыбы налови побольше, слышишь, Халиль?

— Я-то слышу, а вот слышит ли он там, на небе?—И Халиль ткнул пальцем вверх.

Когда Халиль вышел из погребка, на улице было совсем темно и повеяло ночной прохладой. Он спустился по переулку Анаба и через Сук Балистан и крытый базар, выходивший на каменную лестницу, добрался до круглой площадки, где стояло несколько ветхих домишек. В каждом жило по несколько семей. В одном из них занимал комнату и Халиль. Поселился он там сразу после женитьбы.

Как только Халиль вошел в дом, к нему навстречу бросились дети, заглядывая ему в глаза, стали спрашивать, что он принес. Халиль достал из кармана бумажный кулек с жареным горошком и отсыпал каждому по пригоршне. Жена сразу почувствовала запах арака и строго спросила:

— Опять напился?

Халиль вытащил из кармана бутылку арака, из которой предусмотрительно заранее отпил несколько глотков, и, показывая ее жене, простодушно сказал:

— А я и не отпираюсь. Видишь — вот она, бутылка. По дороге я что-то замерз, вот и выпил немножко.

Жена пристально посмотрела на него и, заметив, как отвисла у него нижняя губа и покраснели глаза, спросила еще строже:

— Небось опять в погребке был? Когда ты отопьешь на два пальца, по тебе не заметишь. Признавайся, сколько выпил в погребке?

— Клянусь аллахом, я в погребок и не заходил!

— А где же ты тогда до самой ночи шатался?

— Рыбу никак не мог продать. Весь рынок обошел, пока не получил хорошую цену. Не буду же я рыбу отдавать даром! Дай что-нибудь поесть да погаси мангал. Не люблю, когда огонь горит понапрасну.

Жена поставила на стол ужин. В комнате сразу стало тихо, слышалось только, как дети хрустят жареным горошком. Халиль взял бутылку, сделал несколько глотков из горлышка и протянул ее жене.

— Выпей и ты немного!

Но она только покачала головой и продолжала испытующе смотреть на мужа.

— Если бы не арак,— начал оправдываться Халиль,— наверно, я давно бы уже ноги протянул. Он хорошо согревает. Вот выпей глоток, и сама увидишь.

ГЛАВА 4

Был конец февраля. Солнце уже припекало по-весеннему. С утра погода стояла ясная и тихая. Казалось, весь мир залит был солнечным светом и даже море нежилось в теплых лучах солнца.

Таруси сидел на корме фелюги «Умм ас-Саад»[1], любуясь с моря скалами, среди которых его кофейня выглядела так естественно, будто стояла там века. Фелюга плавно покачивалась на легкой зыби. Море еле слышно плескалось о ее борта. Вода была такой чистой и прозрачной, что можно было разглядеть рыбу даже на большой глубине, а кое-где виднелось дно. Там били невидимые ключи — о них говорили только цепочки поднимающихся вверх пузырьков. Косяки непуганой рыбы подплывали к самым бортам фелюги.

Таруси бросил в воду несколько хлебных крошек. К ним наперегонки бросилось несколько рыбешек. Они то вместе принимались терзать и толкать один кусочек хлеба, то вдруг без борьбы уступали его друг другу и устремлялись к другому куску. Они носились в воде легко и стремительно, и от движения их хвостов и плавников на поверхности моря возникали сотни крохотных водоворотов.

Только здесь, в море, Таруси дышал полной грудью. Его худощавое смуглое лицо со шрамом на правой щеке, все его складное, крепкое тело с широкими плечами и сильными руками сразу преображались, когда он вдыхал запах моря. Он чувствовал себя снова капитаном, бесстрашным и целеустремленным, готовым к любым трудностям и неожиданностям, которые всегда подстерегают человека в море. Время на все накладывает свой отпечаток. Оставляет оно след и на лице человека, но пока он жив, время бессильно погасить тот внутренний огонь, который придает любому человеческому лицу красоту и одухотворенность.

Фелюга вдруг странно качнулась. Наверно, изменился ветер. Таруси повернулся лицом к западу и поднял ладонь. «Да, теплу в феврале нельзя верить даже на суше, а уж в море — тем более»,— подумал он.

---

[1] Умм ас-Саад — мать счастья *(арабск.)*.

— Абу Мухаммед! — окликнул он друга, который ожидал его на берегу.— Скажи рыбакам, чтобы далеко в море сегодня не уходили. К вечеру, наверно, будет шторм.

Таруси опустил руку в воду. Потом опять посмотрел на запад. Над горизонтом поднималась черная гряда туч. Таруси покачал головой и, ухватившись за швартовы, подтянул фелюгу к берегу. Он легко соскочил на большой камень и остановился, всматриваясь в тучу, наползающую с запада. Он хотел вернуться в кофейню, но вдруг вспомнил, что сегодня должны спускать на воду новое судно и он обещал прийти помочь.

На берегу кипела работа. Рыбаки растягивали на скалах мокрые сети. У фелюг и лодок возились их хозяева с помощниками — кто шпаклевал борта, кто менял доски. Но больше всего людей суетилось около большого нового судна, еще стоявшего на стапелях. Рядом горели костры. Будущие матросы, те, кому предстояло плавать на этом судне, покрикивали на рабочих, а те в свою очередь, не оставаясь в долгу, кричали на них: «Давай, давай, дружнее, ребята! Взялись все сразу!»

— Пора спускать! — подал команду с носа какой-то мужчина, очевидно, капитан.

Рабочие уцепились за канат, а несколько матросов начали подводить под нос судна большой деревянный каток.

— Раз, два — взяли! Еще — взяли! А ну, ребята! Еще дружней! Давай! Давай! — громко скандировали рабочие вместе с матросами, уцепившись за канат.

— Берите правее! — закричал сверху капитан.— Следите, чтобы оно не накренялось. Подложите балласта на корму — вот так! А теперь вперед — взяли!

— Погляди-ка, капитан! — остановил его старый моряк.— Если дернут сильно, оно обязательно накренится. Прежде чем тянуть, пусть выпрямят как следует. На ходу уже не выправишь.

Капитан сделал вид, будто пропустил слова старика мимо ушей. Но тут же отдал новое распоряжение:

— Эй, не тяните вправо! Отпустите канат! А теперь натяните канат слева! Вот так! Эй, Мустафа и Мухаммед, поставьте руль прямо!

Абу Хасан спрятал в усы довольную улыбку — капитан послушался его совета. Теперь судно пойдет как по маслу и благополучно спустится на воду. Было время, когда он сам стоял у руля и отдавал команды. Но он умел прислушиваться к дельным советам. Что ж такого! Есть люди умнее тебя, и воспользоваться их советом не зазорно.

Судно стояло на песчаном склоне. Здесь его построили, и отсюда оно начинает свой путь по морю. Под днище подложили прочные доски, смазанные для лучшего скольжения жиром. С четырех сторон судно было привязано канатами к металлическим столбам, врытым в землю. К корме была прикреплена цепь, намотанная на барабан, который был установлен на пригорке. По команде капитана два рабочих начинали крутить барабан, звено за звеном отматывая массивную железную цепь.

— Вира помалу! — крикнул капитан.

— Раз, два — взяли! Еще взяли! — отозвались снизу матросы, со всех сторон облепившие судно, на носу и корме которого уже красовалось название «Ат-Тауфик».

— Опять дружно! Е-ще нуж-но! — нараспев, тяжело дыша, скандировали моряки. Судно двинулось. Стоявшие поодаль женщины и дети радостно закричали. А один из матросов, обмакнув руку в кровь барашка, специально заколотого ради такого торжественного случая, несколько раз приложил обагренную кровью ладонь к деревянной обшивке, громко читая молитву.

Женщины и ребятишки, толкая друг друга и вопя, устремились к хозяину судна, который, вытащив из кармана суконных брюк пригоршню мелких монет, начал разбрасывать их в разные стороны, срывающимся высоким голосом выкрикивая:

— На счастье! На счастье!

Затем хозяин пригласил всех отведать барашка, когда его разделают и зажарят. Званые и незваные гости, стараясь перекричать друг друга, благодарили хозяина и желали ему всяческих благ.

К берегу, лавируя между лодок и фелюг, подошел небольшой буксир, на мачте которого развевался трехцветный сирийский флаг. Он дал несколько коротких гудков и запыхтел, словно устав.

— А ну ребята, поживее поворачивайтесь! — крикнул капитан буксира рабочим на берегу.— Бросайте свой канат и привязывайте наш! Теперь тянуть будем мы.

Загорелый силач в синих ситцевых шароварах и засаленной кепке несколько раз махнул над головой скрученным канатом и метнул его на берег. Развернувшись в воздухе, канат упал на мокрый песок. Матросы сразу его подхватили и ловко подали конец своему товарищу, стоявшему на носу судна.

Таруси подошел, когда матросы снова облепили со всех сторон судно, приготовившись спускать его на воду. Капитан, увидев Таруси, помахал ему рукой:

— Добро пожаловать, Абу Зухди! Ты пришел вовремя! Пожелай нам удачи.

— Да благословит вас аллах, и пусть он всегда хранит ваше судно! — дрогнувшим от волнения голосом произнес Таруси.— Что это вы, ребята, приуныли? — сказал он, обращаясь к матросам.— Поглядите, сколько людей собралось, а вас что-то не слышно. Ну-ка, возьмемся все вместе! Да дружнее, веселее!

Зеваки, стоявшие на берегу, последовали примеру Таруси, и тоже присоединились к матросам. Все начали толкать судно, не совсем стройно скандируя:

— А ну, давай — раз, два! Еще давай — раз, два!

Таруси, сняв пиджак, бросил его на песок.

— Что-то вы тихо кричите! Ничего не слышно!

— Раз, два — взяли! Еще — взяли!

— Нет, нет,— продолжал подзадоривать их Таруси.— Все равно не слышно. Еще громче, еще дружнее!

И подняв руку, Таруси выкрикнул новую запевку:

— Э-то суд-но — на-ше суд-но!

Вторя ему, моряки дружно подхватили:

— Э-то суд-но — на-ше суд-но!

Голоса сразу окрепли, потные лица матросов повеселели, будто у всех прибавилось сил.

— Э-то суд-но! — еще на полтона выше взял Таруси. И, словно эхо, моряки тут же вслед за ним повторили:

— Э-то суд-но!

— Толк-нем друж-но...

— Толк-нем друж-но!

— Нам на море...

— Нам на море!

— Не-ту го-ря...

— Не-ту го-ря!

— Бу-дет ско-ро...

— Бу-дет ско-ро!

— Суд-но в мо-ре...

— Суд-но в мо-ре!

И судно, как огромные санки, заскользило с горы по смазанным доскам сначала медленно, потом все быстрее, метр за метром приближаясь к морю, к стихии, для которой оно родилось и с которой оно навсегда теперь связывало свою судьбу. Буксир натруженно взревел и, прибавив обороты, задергался на месте, будто начал бурить морское дно. Туго натянутый канат, соединявший буксир с судном на берегу, задрожал и запел, как струна. Металлический барабан на пригорке лениво со скрипом поперхнулся, позволил судну еще на несколько метров приблизиться к морю.

Капитан взволнованно бегал по палубе и, отчаянно размахивая руками, охрипшим срывающимся голосом отдавал приказания и рабочим у барабана, и матросам на корме, и тем, кто толкал судно. Он, как дирижер оркестра, должен был охватывать сразу все, замечать любую фальшь и немедленно ее исправлять, быстро оценивать обстановку и моментально принимать нужное решение. Все зависит от него, от его воли, находчивости и сообразительности. Он — капитан, и в этом слове заключено все.

Хотя горизонт все больше заволакивали зловещие тучи, солнце по-прежнему светило ярко, щедро изливая на землю весеннее тепло. Несколько подростков разделись, вошли в воду и поплыли к катеру, с которого рыбаки наблюдали за спуском нового судна в море.

Таруси толкал судно, прижимаясь щекой к его деревянной обшивке и вдыхая неповторимо душистый запах дерева, который пьянит каждого старого моряка, ступающего на новое судно. Металлический барабан медленно поворачивался, словно нехотя, по два-три звена отпуская накрученную на него цепь. Освобождавшиеся позади судна доски тут же снова подкладывали под нос судна. Капитан самозабвенно дирижировал своим разноголосым оркестром, добиваясь от него той гармоничности и стройности, которые необходимы для победного финала, венчающего благополучный спуск корабля на воду.

— Стоп! — скомандовал вдруг капитан, решительно скрестив руки над головой.

Все сразу остановилось: перестал вертеться барабан, с плеском упал в воду ослабший канат, распрямились спины людей, толкавших судно. О нос корабля ударилась первая волна и, встретив его приветственным поцелуем, быстро откатилась, уступая место своим сестрам, которые тоже осыпали ласковыми поцелуями его нос и деревянные борта.

Судно, словно зачарованное, задержалось на пороге нового, неведомого ему, таинственного и огромного мира — мира моря. Играя белопенными локонами волн, море гостеприимно раскрыло могучие объятия новорожденному, который отныне и навсегда вверял ему свою жизнь. Теперь он неразрывно будет связан с морем.

Капитан проворно спустился с палубы судна и с мальчишеской легкостью взбежал на холм, чтобы оттуда убедиться, прямо ли оно стоит. Сейчас ему был очень нужен совет такого опытного моряка, как Таруси. Но тот, хоть и не прочь был помочь своему другу, оставался на своем месте. Этого требовал неписаный закон. Он не мог без просьбы капитана предложить ему помощь. Нет, он просто пришел посмотреть, посодействовать по мере сил рабочим, а главное, испытать ту особенную радость, которую дарит незабываемое зрелище того, как острый нос судна впервые разрезает трепетные волны моря!

Капитан, возможно, и не догадывался о том, как взволнован был сейчас Таруси. Он любил и уважал Таруси. Его заветной мечтой было хоть раз взять его с собой в море и там доверить ему свое судно. Он узнал бы, на что способен Таруси, и сам оценил бы его мастерство, о котором он так много слышал от других моряков. В море это можно было бы позволить. Но здесь, в этот неповторимый ответственный момент, перед своими матросами и толпой чужих людей он не может допустить, чтобы кто-нибудь, даже Таруси, подсказывал, что следует сделать. А если попробует сам навязать ему свое мнение, он не станет его слушать. Более того, это будет означать конец их дружбы.

С моря повеяло холодом. Обнаженные тела вылезших из воды мальчишек посинели. Но люди, толкавшие судно, не чувствовали холода. Пот струйками катился по их разгоряченным, усталым лицам.

Капитан наклонился с мостика и позвал Таруси:

— Абу Зухди! Возьми несколько матросов и поднимайся сюда. Сейчас начнем спуск. Окажи нам честь!

Таруси очень хотелось принять приглашение капитана, который позвал его в присутствии всех. Разве есть счастье больше, чем стоять рядом с капитаном в эти незабываемые минуты, когда нос корабля все глубже врезается в воду и соленые брызги, как слезы, орошают твое лицо.

И все же Таруси поборол искушение и, поблагодарив капитана, остался на берегу с матросами.

— Так, так, ребята,— подбадривал он матросов и рабочих.— Еще немного, и все будет готово!

Буксир опять запыхтел, вспенив воду. Канат натянулся, задрожал. Лица у всех стали напряженными и серьезными, словно перед решающей атакой. Капитан, как полководец, последний раз окинул взглядом берег, напоминавший сейчас поле боя. Как будто все было готово. Достаточно дать сигнал, и все сразу придет в движение, и судно, навсегда простившись с сушей, соединится с морем.

Капитан резко махнул рукой...

Раздался пронзительный скрежет. Деревянное неуклюжее сооружение на берегу двинулось вперед, немного накренилось и вдруг с неожиданной легкостью врезалось в морскую гладь, обретя сразу и грациозность, и гармоничность, присущую кораблям. Буксир, еще немного поплясав на месте, начал медленно набирать скорость, увлекая за собой новое судно. Впереди и сбоку шныряли рыбачьи фелюги и лодки. Какой-то пароходик протяжно загудел, приветствуя молодого собрата. Матросы, толкавшие судно, быстро попрыгали в лодки и налегли на весла. Позади нового судна ширилась светлая полоса — первый след, оставленный в морских волнах.

Таруси шел по берегу, ничего не видя вокруг себя, кроме моря. Спущенное на воду новое судно уплывало все дальше и дальше. Оно совершит круг с первыми пассажирами и вернется обратно в порт. Постоит несколько дней у причала, пока доски не набухнут как следует. Просолится, приживется в порту. Потом его нарядят, как невесту, и снова выведут в море. Теперь ему в великом царстве моря будут открыты все дороги.

«Неужели у меня когда-нибудь опять будет свое судно? — думал Таруси, бродя по берегу моря.— Неужели мне еще доведется испытать в жизни такое счастье? Да, обязательно! Рано или поздно этот день настанет. Как и раньше, я буду стоять на капитанском мостике, вглядываясь в знакомую и всегда таинственную даль моря. Снова побываю и на Кипре, и в Александрии, и в Константе. Встречу там прежних друзей, вспомню с ними добрые старые времена, узнаю, как они живут и как думают жить дальше. Только пусть быстрее кончится война. Продам кофейню... Нет, зачем продавать? Лучше подарю Абу Мухаммеду. Но он, наверно, не захочет оставаться один. Будет просить, чтобы взял его с собой».

Таруси улыбнулся, представив, как растеряется Абу Мухаммед, узнав, что остается один хозяйничать в кофейне.

«Нет, придется его взять с собой»,— твердо решил Таруси и зашагал в сторону Ар-Рамла, где его уже давно ждала Умм Хасан.

ГЛАВА 5

Квартал Ар-Рамл, хотя и не считался окраиной, лежал на отшибе, в северо-восточной части города, и у него была дурная слава, потому что в нем тюрьма соседствовала с публичным домом. Обычно жители города, прогуливаясь по набережной, никогда туда не заглядывали. Они сразу поворачивали назад, дойдя до какой-то невидимой черты, разделявшей два совсем разных мира.

Возле упомянутых двух заведений ютилось лишь несколько домишек — нужно было обладать немалым мужеством, чтобы построить себе жилище в таком месте. В одном из этих домиков и поселилась Умм Хасан. Она часто задавала себе вопрос, почему Таруси захотел, чтобы она жила именно здесь. Уж не потому ли, что он прячет их отношения от людей?

Как-то набравшись смелости, она прямо спросила об этом Таруси.

— Видишь ли,— ответил он,— я не люблю, когда домам тесно. А тут есть простор, мы тут сами по себе — и в городе, и в то же время нет.

Таруси всегда руководствовался не столько практическими соображениями, сколько стремлением во всем оставаться самим собой, сохранять верность своим взглядам и вкусам. Умм Хасан, хорошо изучившая его характер, понимала и оправдывала его поступки, но ее сердце не всегда было подвластно уму.

— Дурочка,— успокаивала ее Закия,— грех тебе роптать на свою судьбу! Неужто ты тяготишься своим одиночеством? О такой жизни только мечтать можно. Зачем тебе люди, когда с тобой рядом любимый?

Умм Хасан в душе соглашалась со старухой. Но когда она оставалась одна, ей нечем было заняться, и она не знала, чем заполнить страшную пустоту, которую постоянно ощущала в отсутствие Таруси. Иногда она играла с Закией в карты или слушала радио. Готовила для Таруси его любимые блюда. Занималась шитьем. Но все равно у нее оставалось еще достаточно времени, чтобы вспомнить прошлое, подумать о настоящем, попытаться заглянуть в будущее. А в этот день время тянулось мучительно медленно. Накануне Таруси сказал, что обязательно придет утром и побудет до полудня. Но скоро уже полдень, а его все нет. Она надела новое платье с красными цветами. Несколько раз поправила перед зеркалом прическу, надушилась духами, которые особенно нравились Таруси. Поставила на стол бутылку арака и кувшин с холодной водой, не забыла и вазу с цветами. Сделала все, чтобы встретить Таруси как можно лучше. А его все не было.

Когда он, наконец, пришел, Умм Хасан не сумела скрыть огорчения.

— Ты где так задержался? — спросила она с тревогой.

— На верфи. Сегодня спускали новое судно.

— И ты все-таки ушел оттуда?

Таруси лукаво улыбнулся:

— Как видишь, ушел. Матросы приглашали пообедать, но я сказал, что меня ждут.

Таруси притянул ее к себе и крепко поцеловал.

Закия, увидев их в приоткрытую дверь, невольно улыбнулась счастью влюбленных и прежде, чем войти, несколько раз тактично кашлянула. Таруси сразу отпустил Умм Хасан и почтительно поклонился старухе.

Когда они опять остались одни, Таруси спросил, будто читая мысли Умм Хасан:

— Ты, кажется, скучаешь? Может быть, ты стосковалась по своим родным? Хочешь, навестим их вместе?

Умм Хасан ничего не ответила. Да, она иногда вспоминала родных и была бы рада повидаться с ними. Но только не теперь — пока она ни о ком не хочет думать, кроме как о нем. И потом, почему он предлагает поехать именно сейчас? Может быть, он просто хочет избавиться от нее? Нет, не может быть! Она подняла бокал и залпом выпила вино. Прочь, черные мысли! Она будет веселой и беззаботной. Ведь он сейчас с ней. Зачем же терзать себя сомнениями и подозрениями? Лучше их утопить в вине. А еще лучше — заглушить той радостью, которую дарят его ласки, еще более хмельные, чем вино.

ГЛАВА 6

Капитан Рахмуни был опытным моряком. Когда его фелюга выходила на ловлю мармуры, море было спокойно, да и горизонт казался чистым. Правда, там как будто виднелись редкие облачка, но они могли и разойтись. Не возвращаться же домой с пустыми руками! Ведь дома ждут дети, которых надо накормить. А матросам надо платить, поймают они что-нибудь или нет. К тому же он в них уверен. Настоящие моряки — и буря их не испугает. Капитан Рахмуни подумал, подумал и решил попытать счастья в море, в который уж раз положившись на милость аллаха.

Но, видно, не только люди, но и сам аллах не знает, когда и где может разразиться буря. Разве можно предвидеть, в какую именно минуту прорвется наружу долго накапливающийся в сердце гнев? Разве можно предугадать, в каком именно месте в лесу вдруг вспыхнет пожар? Буря это ведь вспышка гнева стихии. Она грознее пожара. Для нее нет преграды ни на суше, ни на воде. Зарождается она где-то в недрах покоя. Сияет солнце. Море тихо. Но гнев накапливается, растет. И вдруг небо заволакивают тучи, сгущается мгла, все выше и выше вздымаются волны. С неистовой силой налетает ураган, все сокрушая и ломая на своем пути. А ведь еще несколько минут назад и небо и море улыбались.

Фелюга Рахмуни, мерно покачиваясь на волнах, уходила все дальше и дальше от берега. Все паруса были подняты. Попутный ветер надувал их, и фелюга летела, точно на крыльях. На носу фелюги лежал якорь. На корме небольшая лодка, в ней — весла. Весь экипаж судна пять человек. Матросы пока отдыхают. Перед уходом в море они плотно поели и теперь покуривают, обмениваясь забавными историями. Только рулевой не участвует в их разговоре. Крепко держа в руках румпель, он пристально всматривается в море. Нельзя сбиться с курса! За это отвечает рулевой. Рахмуни, сидя среди матросов, предался воспоминаниям. Раньше он плавал на судне «Ас-Саад». У него был матрос Джамиль Сауд с острова Арвад. Именно Рахмуни сделал его на-

стоящим моряком. Когда он упомянул о Джамиле, кто-то из матросов добавил: был матросом, а стал хозяином судна.

— На все воля аллаха! — ответил Рахмуни.

— Почему-то аллах не всем посылает удачу!

— Удачу надо не ждать, а искать,— сказал Рахмуни.— И пока ищешь, не раз приходится поглядеть в глаза смерти. Вы думаете, Джамилю удача сама в руки пришла? Нет. Он рядом со смертью был. И не один раз. Жизнь, говорят, в руках аллаха. Она у человека одна. А смерть — как непрошеный гость, по нескольку раз может приходить. И каждый раз одна надежда — на аллаха.

— В таких случаях наш брат всегда аллаха вспоминает,— вставил моряк, стоявший у руля.

Все засмеялись.

— Ничего удивительного,— заметил Рахмуни.— Уж так у нас, моряков, повелось испокон веку. А все потому, что ни у кого нет более опасного ремесла, чем у моряка. И все равно нет такого моряка, который бы сам по своей воле покинул море. Крестьянин не может жить без земли, рабочий — без своего станка, а моряк — без моря. Оно нас кормит, с ним мы связали свою жизнь. В нем мы находим и нашу смерть. А найдется среди вас такой, кто захочет уйти от него? Согласится оставить его?

— Нет, капитан! — отозвались матросы.— Никто не согласится. Ты прав, без моря у нас жизни нет.

— Шамси, ты чего зазевался? — окликнул Рахмуни рулевого.— Право руля! Эй, ребята, поставьте парус по ветру.

Шхуна чуть накренилась и, вдруг выпрямившись, пошла быстрее, словно летя с гребня на гребень.

— Конечно, всякое случается и на берегу, и в море,— продолжал Рахмуни.— Но все равно мы — одна семья. В беде моряк всегда придет на помощь моряку. Иначе на море не может быть. На земле — там другое дело. Если кто-то умирает, люди поплачут, повздыхают и разойдутся. Но что толку в их плаче? Слезами горю не поможешь. Кому-то настало время умереть, а другие живут — вот как рассуждают люди на суше. В море — другой закон. Тут на каждом шагу человека подстерегает опасность. С морем шутки плохи. Поэтому тут один за всех, а все за одного. Настоящий моряк прежде всего подумает о своих товарищах.

Когда Рахмуни замолчал, небо почти все уже было затянуто черными тучами. Но Рахмуни не придал им большого значения. Фелюга подошла к месту лова, и он приказал матросам готовить сети. Но тут сильный порыв ветра властно напомнил им о буре, которая вызывала их на бой.

ГЛАВА 7

Абу Хамид, скрывшись в квартале Шахэддин, нашел убежище в доме Исмаила Кусы. Он провел там много дней. И чуть не каждый день спрашивал своего друга:

— Скажи, Исмаил, обо мне что-нибудь пишут в газетах?

— Нет, Абу Хамид, ничего не пишут.

Это озадачивало Абу Хамида.

— Как же так! — искренне удивлялся он.— Обо всем пишут, а обо мне ни слова. Тут что-то не так. Может быть, хитрость какая-нибудь?

— Кто его знает,— неопределенно отвечал Исмаил.

— Наверно, англичане запрещают упоминать мое имя?

— Может быть,— пожимал плечами Исмаил.

— Вот мерзавцы! Ну, а что нового? Что с нашими?

— С вашими? Что с ними станется? Одни живут себе. Другие, как ты, где-то скрываются, ну, а третьи перешли на сторону блока. И таких больше всех.

— Ну, а что блок?

— Ты же знаешь — добился провозглашения независимости.

— Значит, теперь у нас независимость. Можно кричать «ура»?

— Ты, я вижу, недоволен?

— А чего радоваться? Все говорят: независимость, независимость. Какая тут независимость, если кругом англичане да французы!

— Ничего, уберутся, недолго осталось ждать. Кончится война, и уйдут.

— Все только обещания.

— Посмотрим.

— Что ж, посмотрим! Я вчера выходил ненадолго, так слышал, что люди говорят об этом блоке.

Абу Хамид время от времени осмеливался выходить из своего убежища. Должен же он хоть немного отвести душу с друзьями. Конечно, его могли увидеть полицейские, и потому он долго в городе не оставался, а, как улитка, заползал в свой тайник и пережидал там несколько дней.

Сегодня он намеревался снова отправиться в город. Ему передали, что его разыскивает Надим Мазхар. Исмаил пытался отговорить друга:

— Не ходи, Абу Хамид, вдруг тебя схватят?

— Ну и пусть! Пусть хватают, пусть бросают в тюрьму! Меня этим не испугаешь.

А потом, ты же знаешь, я сумею их провести. Притворюсь неграмотным, меня и отпустят.

— Смотри, Абу Хамид, потом пожалеешь!

— А что, думаешь, отправят из тюрьмы в концлагерь?

— Нет, не думаю. В концлагерь отправляют политических деятелей, с тебя хватит и тюрьмы.

— Да, распалась наша группа. Нет у нее настоящих руководителей!

— Да какая была у вас группа? Только ты да еще несколько таких же чудаков! Меняются времена, меняются и люди,— заключил Исмаил.

— Меняются такие людишки, как ты! — вспылил Абу Хамид.

Исмаил рассмеялся и, чтобы успокоить Абу Хамида, предложил ему кофе.

— Слышал еще одну новость? — спросил Исмаил, меняя тему разговора.— Нашего губернатора вызвали в Дамаск.

—Туда ему и дорога,— огрызнулся Абу Хамид.

— А Муршид-то притих, боится даже высунуться. Это мы его запугали,— похвастал Исмаил.

— При чем тут вы! Это все народ,— возразил Абу Хамид.

— Народ народом, а заслуги руководителей тоже не надо умалять. Просто ты завидуешь.

— Я завидую? — опять вспылил Абу Хамид.— С чего ты взял? Я думаю не о себе, а о народе. Пусть меня даже казнят, я не боюсь. Я о народном движении беспокоюсь. Кто его может возглавить? Ты, твоя группа?

— Вот посадят тебя, послушаем, как ты тогда запоешь! — съязвил Исмаил.

— Меня не испугаешь тюрьмой! Я не из трусливых! Не то что ты! — отрезал Абу Хамид и направился к двери.

Исмаил попытался было его задержать, но безуспешно. Абу Хамид весь дрожал от гнева. По дороге он зашел выпить еще кофе. Потом, оглядываясь по сторонам, стал спускаться к морю. Шел темными проулками и проходными дворами, чтобы запутать следы. Заглянул в мечеть, потом зашел даже в церковь и, пробежав рысцой через парк, добрался до порта. И только тут замедлил шаг. Уже достаточно стемнело, и его никто не узнает.

Он шел и глубоко вдыхал воздух, наслаждаясь свободой после длительного заточения в доме Исмаила Кусы.

Как ему надоело сидеть там, в четырех стенах! Как он соскучился по свободе, по людям, по кофейне, по ее посетителям! Как ему опостылел дом Исмаила, где он вынужден мерить шагами расстояние от одной стены до другой, воскрешая в памяти незабываемые вечера, когда он был со своими товарищами и перед его взором открывался весь мир. А из окна этого дома виден только дворик, где весь день устраивали драку воробьи с голубями из-за зерен, да конюшня, из которой высовывает голову голодная лошадь Исмаила и смотрит на тебя такими жадными глазами, будто съесть хочет. Если бы он мог доставать газеты и журналы, то знал бы, что происходит в мире.

Порог его убежища переступали только два человека — Таруси и Мустафа. Ну, Таруси — это понятно! Абу Хамид считал его своим человеком. Но почему Мустафа, сторож мечети, а не кто-нибудь из его единомышленников?

— Того, кто скрылся с глаз, вычеркивают из сердца,— посмеивался Исмаил.— Забыли тебя твои дружки!

Абу Хамид вошел в опустевший парк на берегу реки, постоял около фонтана и, наконец решившись, самым коротким путем направился к кофейне Таруси. Но подойдя к кофейне, он подумал: «А вдруг там сейчас полицейские агенты? Где гарантия, что их сейчас там нет? Зачем рисковать?» Спрятавшись за скалой, Абу Хамид стал ждать, чтобы из кофейни вышел Абу Мухаммед или кто-нибудь еще из знакомых. Прошла минута, три, пять, но из кофейни никто не выходил.

Вдруг подул порывистый холодный ветер. Небо сразу заволокло тучами. Море закипело волнами. Они ударялись о скалы все неистовее, и их брызги долетали до Абу Хамида. Он совсем продрог. Закутавшись с головой в плащ, Абу Хамид дернул дверь кофейни и остановился на пороге. Увидев Таруси, он поманил его пальцем.

Таруси вздрогнул. Если бы напала на кофейню шайка разбойников или в нее ворвался отряд жандармов, наверно, растерялся бы меньше. Но на пороге стоял человек с закрытым лицом и манил его к себе! «Салих Барру»,— мелькнула у Таруси первая мысль. Он крепче стиснул в правой руке суковатую палку, с которой последнее время никогда не расставался, и резким, неожиданно почему-то дрогнувшим голосом крикнул:

— Если тебе что надо, входи!

В открытую дверь кофейни ворвался холодный ветер, сдул с ближнего столика карты, опрокинул наргиле. Таинственный человек, ничего не ответив, попятился и исчез в темноте. Ветер захлопал дверью, закрутил карты на полу, раскачал светильник. Таруси в ярости выскочил наружу и, ничего не видя перед собой, первым нанес удар невидимому противнику. Он бил ожесточенно, не думая о том, кому достаются удары.

Вслед за Таруси из кофейни выбежали Абу Мухаммед, Ахмад и еще несколько посетителей.

— Ахмад, хватай его за руки,— кричал Абу Мухаммед.— Отними нож! Сейчас мы его скрутим и отведем в полицию.

Абу Хамид, услышав слово «полиция», забыл про боль и что есть мочи закричал:

— Да что вы, это я, Абу Хамид! Остановись, Таруси! Ты же убьешь меня!

Таруси опомнился и сразу остановился.

— Это ты, Абу Хамид? — воскликнул он.— Откуда ты? И зачем этот маскарад? — с виноватым видом, кусая губу, спросил Таруси.

Обняв Абу Хамида, он ввел его в кофейню, кляня по дороге на чем свет стоит шайтана, сыгравшего с ними такую злую шутку.

— Тебе не больно? Я не очень ушиб? — участливо спрашивал он.— Почему ты сразу не сказал, кто ты? А я решил, что это пришел Барру.

— Я боялся, что в кофейне есть кто-нибудь чужой,— ответил Абу Хамид.— Я на тебя не сержусь, Таруси! Ты честный и справедливый человек. Если бы ты даже моего сына побил, я бы и тогда не обиделся. Значит, заслужил!

Но Таруси, чувствуя себя виноватым, продолжал просить у Абу Хамида прощения.

— Ну, выкладывайте новости! Черчилль еще жив? Так и не попал под немецкую бомбу? — не дожидаясь ответа, Абу Хамид шепотом спросил у Таруси: — Ну, а наши где? Собираются слушать радио?

— Без тебя редко приходят. Да и слушать им сейчас нечего. У Гитлера дела совсем плохи... Кстати, нашего губернатора вызвали в Дамаск. Ждем теперь нового.

— Да-а,— помолчав, задумчиво протянул Абу Хамид.— Значит, Германию поддерживают теперь немногие. Гитлер-то, видно, просчитался. Не надо было нападать на Россию.

— Вот так-то, Абу Хамид. Теперь большинство за русских. А про Гитлера, знаешь, что говорят? Такой же разбойник, как Черчилль. А может быть, даже больше.

Абу Хамид насупился. Ему не хотелось больше ни о чем расспрашивать.

«Зачем только я вышел? — думал он.— Новостей много. Но ни одной хорошей. Все-то в мире переменилось. А люди-то, люди! Еще вчера были за немцев, а сегодня уже за русских. Завтра — еще кого-нибудь подыщут!»

В кофейню вошла группа молодых парней. Они громко поздоровались и заняли столик в самом углу.

— А эти ребята разве не из твоих? — спросил Таруси.

Абу Хамид на всякий случай улыбнулся вошедшим и вполголоса спросил у Таруси:

— Нет. А кто они?

— Спроси об этом Ибн Джамаля. Он их сюда привел, он, наверно, и знает.

— А-а, раз их привел Ибн Джамаль, значит, они хорошие ребята. Как ты думаешь, они меня знают?

— Конечно, должны знать. Твое имя всем известно, Абу Хамид.

— А сам Ибн Джамаль когда придет?

— Думаю, что скоро.

— И радио можно будет послушать? — с волнением в голосе спросил Абу Хамид.

— Пожалуйста, Абу Хамид. Радио, как всегда, в твоем распоряжении. Слушай, сколько хочешь.

— Ты поистине благородный человек, Таруси. Если бы не ты, мне бы и делать в этом городе больше было нечего!

— Как же так? А твоя лавка?

— Я ее уже давно не открывал. Даже дорогу к ней забыл.

— Э, да я смотрю, ты от жизни отстал,— с искренним сочувствием сказал Таруси.

В кофейню вошло несколько человек. Среди них Ибн Джамаль и еще кое-кто из старых знакомых Абу Хамида. Тот сразу встрепенулся и, протянув им навстречу руки, радостно воскликнул:

— Привет истинным арабам!

(Окончание следует)

ВАСИЛЕ ВОЙКУЛЕСКУ

Монастырские утехи

РАССКАЗ

Перевод с румынского ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ

Творческая судьба румынского писателя Василе Войкулеску (1884—1964) была далеко не прямолинейной. В 1916 году вышла первая книга его стихов, к 1940 году их было уже восемь. Но даже будучи известным поэтом, Войкулеску не отказывался от первоначально выбранной им профессии — медицины и до конца, пока позволяло собственное здоровье, оставался врачом. Медицина и поэзия — кто знает, чему Войкулеску отдал больше сил и вдохновения... И врачом он был необычным. Его интересовало не только последнее слово науки, но и стародавняя народная медицина, в которой сложно переплетались точные, веками проверенные рецепты и приемы с поверьями, заговорами и различными ритуалами.

У Войкулеску была даже мысль создать «Румынскую фольклористическую энциклопедию». В 1930 году вместе с Г. Д. Мугуром он распространил «Фольклористический вопросник». Войкулеску интересовали «медицинский фольклор и эмпирическая практика. Суеверия. Известные лекарственные растения и их применение». Авторы вопросника собирали сведения «о наиболее характерных обрядах, праздничных, свадебных, во время рождения, крещения, смерти». По словам самого Войкулеску, он все время стремился «проникнуть в душу народа». И это была насущная задача не только для Войкулеску-медика, но и для Войкулеску-писателя. «Этнически мы живем в фольклоре,— писал он.— Вся сила воображения и творчества воплотилась в этом фольклорном материале. В нем мы раскрываем себя, рисуем или проявляем себя такими, какие мы есть, маленькими или большими, ленивыми или энергичными, бездеятельными или активными».

«Румынская фольклористическая энциклопедия» так и не была создана. Разразилась война. Потом пришло освобождение от фашизма и настали годы бурного строительства новой Румынии. Творчество Войкулеску оказалось как бы отодвинутым в область истории.

Но не прошло и года после его смерти, как румынская общественность заговорила о нем во весь голос. Это не было несколько запоздалым признанием его былых заслуг перед литературой, что случается довольно часто. Не было это и результатом тщательной «переоценки ценностей», когда отдается должное тому, что осталось незамеченным в суете повседневной жизни. Войкулеску поразил всех своими новыми произведениями. Мало кто знал, что сороковые и пятидесятые годы были для Войкулеску, пожалуй, самым напряженным творческим периодом в жизни. И вот выходят книги: «Последние вымышленные сонеты В. Шекспира в воображаемом переводе В. Войкулеску» (1964) и два тома прозаических произведений — «Голова зубра» и «Последний Беревой» (1965).

Наибольшей сенсацией для всех была проза Войкулеску, и вовсе не потому, что это был жанр «неожиданный» для поэта, а потому, что в этом жанре Войкулеску удалось, наконец, «проникнуть в душу народа». В своих повестях и рассказах Войкулеску глубоко фольклористичен, но он следует духу, а не букве фольклора, он не берет за основу своих повествований фольклорную форму, не обрабатывает традиционную сказку, не подражает ей. Взяв обыденные, часто бытовые сюжеты, из действительности ли или из недавнего прошлого, он пропускает их через народное мироощущение. В его прозе все время чувствуется, что на события смотрит не кто иной, а именно румынский крестьянин, хотя он далеко не всегда присутствует в рассказах как непосредственный герой. Глядя трезвым и насмешливым взглядом простолюдина, Войкулеску изображает жизнь помещика и горожанина, рисует «монастырские утехи». Он не ведет теологического или философского спора с религиозными догмами, а

ниспровергает эти догмы куда более решительно и ощутимо, просто показывая монастырский быт.

В своих рассказах и повестях Войкулеску запечатлел вековечный и неистребимый дух румынского народа, его проницательный, острый и иронический ум, когда есть над чем посмеяться, рассудительный и доброжелательный, когда нужно сделать доброе дело.

Ю. КОЖЕВНИКОВ

— Ну, на сей раз история будет не выдуманная,— начал он, и взгляд его голубых глаз обжег незадачливого рассказчика.

Вот уже десятки лет отец Илие, настоятель городского собора, прогуливал свою красную камилавку и вишневый пояс протопопа по уезду, объезжая церкви, скиты и монастыри. Прирожденной своей услужливостью он снискал благорасположение обеих конкурирующих политических партий, так что когда одна из них теряла власть, другая неизменно оставляла его как старого, доброго служаку.

Когда он был возведен в протоиерейский сан, волосы его были точно вороново крыло, а борода иссиня-черная. Теперь на щеках у него болтались белые клочья, мягкие, словно пена, и дорожный ветер ласкал их, припудривая пылью.

Поскольку платили ему кое-как, а суточные были — сущий пустяк, отец Илие воплотил в жизнь мысль того скептика законодателя, который, пораскинув мозгами над нашим порядком вещей, определил ему за труды столь скудное обеспечение. Ибо законодатель этот знал, что как бы велика ни была оплата чиновника, путевые расходы и содержание все равно падут на ревизуемых. И вот протопоп нежданно-негаданно рано поутру оказывался в пригородном селе. Здесь отпускал он телегу, на которой приехал, и шел, подобно апостолам, пешком.

Ежели то было воскресенье или какой большой праздник, приходский священник и оглянуться, бывало, не успеет, а протопоп уже в церкви, где с пристрастием наблюдает, как идет служба. И горе тому, кто служил без должного тщания, пропускал молитвы или проглатывал песнопения!

Затем отправлялся протопоп в канцелярию — обычно комнатушку при поповском доме, где просматривал документы, счета, бумаги, приходы и расходы, проверял, сделан ли ремонт, определял, по чьей вине нанесен ущерб храму господню, выслушивал жалобы, собирал заявления, не оставлял без внимания и дела миссионерские и просветительские.

— Почему у тебя ошибки в этой записи о крещении?

Священник заикался, стараясь поскорее перелистнуть церковную книгу, но палец протопопа нависал, подобно гвоздю, над неисправной страницей.

— А где расписки плотника?

— Да, видите ли, ваше высокопреподобие, Стэникэ, плотник...— да то, да се...

— Покажи мне предложения других поставщиков.

— Откуда ж их взять, грехи наши тяжкие,— причитал провинившийся,— нету здесь других поставщиков!..

— Почему не поискал в городе? Устроил ты торги, чтобы покрыть купола?

Поп, припертый к стенке, таращил глаза. Торги? Это ведь когда бьет барабан и выкрикивают, как на аукционе. Да разве такое возможно?

В общем, попробуй потягайся с ним — он заведет дело в такие дебри, что самый ловкий и многоопытный священник запутается!

Ну, поп все-таки мужчина, и если он порой и падал духом, то в конце концов приходил в себя.

Но попадью разбирал страх, и над домом разражалась буря, жертвой которой оказывались сперва ребятишки — им доставалось на орехи, дабы неповадно было проказничать, а потом или поросенок — тот попадал на противень, или цыплята — их протыкали вертелами, а иной раз и то и другое, лишь бы его высокопреподобие были милостивы к прегрешениям священника; последний же, со своей стороны, из кожи лез, чтобы цуйка и вино веселили и умиротворяли.

Протопоп, задав виноватому хорошую баню, быстро смягчался, тем паче что из-за стены вот уж в третий раз доносился зов попадьи.

— Пожалуйте к столу, чорба остывает.

Отцу Илие, который замешкался с ревизией, ничего не оставалось, как принять приглашение. А то где ж ему было найти еду, приличествующую его сану? На постоялом дворе — есть засиженные мухами бублики и пить самогон вместе со всеми странниками? Не станут ли смеяться люди над священником, который отпустил его из дому, не оказав гостеприимства?

Обед под разговоры о детях, о бесчисленных бедах и печалях жизни, о болезнях попадьи и хворобах попа затягивался надолго. Потом, слегка передохнув и подремав, отец Илие, протопоп, угодный обеим партиям, колдовал над актом согласно установленному порядку, подтверждая, что он все нашел в наилучшем виде, а хозяин впрягал лошаденку в бричку или брал у соседа телегу, дабы доставить его высокопреподобие в соседнее село.

Здесь протопоп попадал — будто вовсе неожиданно — в распростертые объятия другого священника, который еще с утра обычно получал депешу от своего собрата о грядущей напасти. Попы всего уезда поклялись предупреждать друг друга об опасности. Так что едва красная камилавка отца Илие показывалась у городской заставы, как вся цепочка сельских попов, находившихся по пути его следования, начинала гудеть почище телеграфа,— это пономари, пыхтя, сновали взад-вперед с криком:

— Протопоп едет! Уже принялся за нашего отца Михая!

И протопопа угощали и ублажали, носили на руках в каждом приходе, а он неуклонно продолжал свой дозор. О его возвращении домой заботились сообща все священники. Тот, до кого доходил черед, отправлялся в город по какому-нибудь делу и загружал в почтовую карету его высокопреподобие со всеми дарами, которые насильно ему вручали: с гор — цуйку и вино, с равнин — сало и муку, а на пасху и живую домашнюю птицу.

Бывало, две-три недели еще не пройдут — снова тревога. Красная камилавка показывалась у другой границы уезда, обращая в бегство, точно зайцев, других священнослужителей. Где только не настигали депеши бедных батюшек! Одних отрывали от отдыха, других от дел, сгоняли с полей, извлекали из трактиров...

— Протопоп! Едет протопоп!

— Значит, отправился протопоп в свой дозор.

Объезд этот не всегда проходил одинаково. Чаще всего события принимали неожиданный оборот, возникали задержки и осложнения: где протопоп замешкается, а где и вовсе свернет в сторону; ежели, например, крестины да еще с обедом — глядишь, целый день пропал. Другой раз, бывало, пышная свадьба: тут уж остановка получалась не меньше чем на три дня и три ночи. А там, смотришь, похороны с долгими, богатыми поминками. Разве уедешь, оставив без утешения людей, собравшихся на тризну? На это тоже надо дня три-четыре.

Не забудьте и про престольные праздники, когда прихожане, точно

овцы, стекались отовсюду и белые стада их с волнением и гордостью внимали протопопу, этому величественному гайдуку в ризах, служившему перед всем собором.

Протопоп не только не избегал подобных случаев, но, напротив, искал их днем с огнем: на праздниках и пиршествах он распускался как цветок.

Как-то в майское воскресенье, проснувшись на заре, протопоп Илие поехал в одну церковь на окраине города, где служили два священника. Одного из них он оставил заканчивать службу, а с другим, отцом Владом, поспешил в его коляске в отдаленную деревню, лежавшую в стороне от большой дороги, куда давно уже не наведывался.

Погода стояла райская. Небо Молдовы, обычно блеклое, а теперь высокое и насыщенно-синее, опускалось своими хрустальными краями к далекому окоему, и солнце вставало из-за него, глядя на мир, точно сквозь гигантскую слезу.

Прохладное дуновение, приносившее с цветущих лугов аромат трав, делало еще осязаемее легкий, свежий и сочный воздух. Он наполнял собою все и, устремляясь вверх, становился прозрачнее и играл всеми цветами радуги. Морем волновались нивы, трещали коростели, стрекотала саранча, выкрикивали свое имя перепелки. Дорога стелилась гладкая, черная, еще влажная от росы и скользкая. Конь бежал бодро и резво, без понуканий. Отец протоиерей чувствовал легкость и одушевление необычайное; через ноздри, которые щекотали запахи, через бороду, которую разглаживала быстрая езда, оно проникало в богатырское тело и разливалось по нему радостью опьянения и урчанием, пробегавшим по пустому животу.

Мысли рвались вперед быстрее рыжего коня, к яствам, которые — это протопоп хорошо знал — его ожидали.

Добравшись до деревни, он направился прямо в церковь. Был полдень, солнце стояло высоко, пора бы уж кончиться заутрене и начаться обедне.

Отец Влад, покинув его у входа в колокольню, вернулся к своей коляске, огрел бичом арабского коня — и был таков. В спешке у него не оказалось ни времени, ни возможности предупредить собрата о владычном объезде, и протопоп Илие возник здесь как из-под земли.

Он величественно проследовал во двор. Какие-то старушонки копошились у могил. Двери церкви закрыты. Оттуда не слышно ни молитв, ни песнопений. Протопоп поднялся по лестнице, нажал щеколду, подергал сильнее — храм божий заперт. Старухи увидели его и, робея, приблизились.

— Где священник? — разгневался он.

— Не знаю, ваше высокопреподобие,— сказала одна из них,— мы сами его с зари поджидаем. Не видать что-то.

— Вечор он сзывал на молитву? — сурово вопрошал благочинный.

— Не слыхала я, отец протоиерей,— поспешно ответила другая.

— А ты помолчи — небось глухая! Не сзывал он, батюшка. Только мы все равно пришли — даром, что ли, зовемся православными?

— А другие прихожане? — продолжал допрашивать благочинный.

— Постояли-постояли да и разошлись, потому как трактир открылся

Протопоп, сердитый, направился в канцелярию, то есть к поповскому дому, старухи — за ним, и от этого он разъярился еще пуще. А здесь попадья хлопотала по хозяйству: босая, в одной юбке, она рубила траву утятам и время от времени отгоняла прутом стайку ребят, не дававших птице спокойно поклевать. При виде красной камилавки она, в забвении чувств, опрокинула на птиц целое корыто кукурузной муки — и шасть в дом! Пострелята в испуге дунули к изгороди.

Отец протоиерей подождал-подождал, да как начал колотить посохом по крыльцу!.. Никого. Потом стали выползать соседи.

— Посмотри-ка, кто там дома,— мрачно обратился протопоп к одной женщине.— Позови кого-нибудь открыть мне канцелярию.

Соседушка пробралась с заднего хода и вернулась со словами, что попадья, мол, просит прощения: она не может выйти, потому что не одета.

— Это ее дело! Мне она не нужна! — гремел протопоп, потрясенный эдаким бесстыдством.— Пускай выходит священник.

— Она говорит, болеет он.

— Так ведь не при смерти!.. Пусть выйдет на минуту со мной поговорить!

Женщина опять скрылась, посовещалась с хозяевами и вскоре принесла ответ:

— Говорит, он совсем был плох, и она отправила его в больницу.

— Кого? — растерялся его преподобие.

— Батюшку,— выпалила женщина.

Протопопа в жар от злости кинуло. Он снял камилавку, вытер пот полосатым платком и поднял глаза к небу. Трудолюбивое солнце уже встало. Голод давал о себе знать. И негде было разжиться пищей или хотя бы повозкой, чтобы доехать до соседнего села, к попу Макарию — небось тот живо, в одну минуту схватит цыпленка, обваляет его в кукурузной муке и зажарит.

— А давно ли болен батюшка? — вспомнил его высокопреподобие свои обязанности христианина, требовавшие жалости и снисхождения к страданиям ближнего.

Женщина, которая как соглядатай переносила вести с улицы в дом и из дома на улицу, смутилась и снова бросилась было бежать к попадье, когда вмешался какой-то мужчина:

— Да какой он больной, когда я его чуть свет видел здесь неподалеку, на Озерной поляне. Много людей там было, задумали они косить траву. Всем миром работали, как обычно в воскресенье. Я спросил, почему он не отложит это дело на после службы. А он говорит — как бы потом дождь не пошел.

Протопоп от удивления рот раскрыл, у него даже пересохло в горле, и он чуть не выругался.

Тут-то и объявился откуда ни возьмись пономарь.

— Сию минуту батюшка бежит сюда,— выпалил он, едва переводя дух.— Нас мальчонка предупредил, что вы изволили пожаловать,— суетился пономарь, целуя руку, вцепившуюся в палку.

— Значит, не болен он и не в больнице! Все это ложь, а? — скрежеща зубами, кричал протопоп.

— Да нет, больной он, только что делать, работа не ждет,— откликнулся пономарь.— Батюшка едва ноги волочит. Да вот и сам он.

Поп Болиндаке еле передвигал ноги, и вид у него был виноватый; извинениями и мольбами он склонил протопопа, все еще гневавшегося, смилостивиться и войти в дом, где все и разъяснилось. Поп был болен и ушел на рассвете, попадья же подумала, что он — как и собирался — в больнице. Но он не решился оставить работу, которую задумали всем миром еще среди недели.

— Хорошо, но служба?! Ведь сегодня воскресенье! Как ты осмелился оставить народ без божественной литургии? — гремел протопоп.

— Да ведь такое дело, ваше высокопреподобие, я-то все равно не могу служить — едва на ногах стою,— ответил греховодник.— Сговорился было тут с отцом Митрофаном, из монастыря, чтоб он за меня отслужил. Ему и поминания принесли, и ладану да еще полтора лея посулили. Разве могло мне в голову прийти, что он не сдержит сло-

ва! — стонал поп, ломая руки. — Кабы знать, я все равно стал бы служить, даже если бы упал прямо в алтаре...

— Почему вечор не сзывал на службу?

— Так ведь я, сами изволите видеть, сильно больной был!

— А звонарь?

Звонарь (его здесь не было, и поэтому о нем говори, что душе угодно), звонарь напился и позабыл.

Туда-сюда, в общем, поп повернул дело так, что виной всему отец Митрофан из монастыря, он-де должен быть в ответе и искупить прегрешения. А так как еда все еще не была готова — попадья ведь тоже хворала,— отцу Болиндаке удалось направить стопы протопопа в монастырь, что был неподалеку, куда они попадали как раз к обеду. На монастырских угодьях есть пруд, и монахи варят чорбу из рыбы и подают сарамурэ[1] с перцем — пальчики оближешь!

И чтобы замолить все свои грехи, поп Болиндаке, исцеленный чудесным образом от соприкосновения с его высокопреподобием, запряг свою прекрасную белую кобылу. Кобылу звали Лиза, и была она знаменита на всю округу, а сам поп на нее молился. Он держал ее взаперти, за семью замками, будто наложницу, и берег как зеницу ока. Запрягая кобылу, он рассказывал его высокопреподобию, как воры раза три или четыре пытались ее выкрасть. Вот и на прошлой неделе взломали конюшню. С тех пор при ней в яслях нарочно спит сторож.

В самом деле, кобыла была отменная: тонкая, нервная морда, глаза большие, горящие и умные, нос словно точеный, дрожащие ноздри, шея напруженная, как тетива, мощная грудь выпячена, живот подтянут, бабки тонкие, точно перетянутые, и маленькие копыта, которыми она то и дело била в нетерпении. На ходу корпус ее будто вытягивался, и она распластывалась, что твоя борзая. Одно удовольствие было смотреть с козел, как играла она мускулами крупа — ровно танцевала, и бежала своею волей...

— Но-о, Лиза! — любовно понукал ее поп.— У воров она всегда на примете. Да и я не плошаю, если что, она и со мной в комнате поспит,— исповедовался Болиндаке протопопу.— Потому что днем ворам из-за детей дорога заказана. У меня детишек пока что семеро. Выходит, помимо меня четырнадцать глаз и еще четырнадцать ушей.

— Ну, с разбойниками ты не связывайся,— насторожился старик.— Вот хотя бы теперь — едешь один. Нет чтобы взять с собою мальчонку.

— Э, если богу угодно, еще засветло будем дома. Перекусим немного — к тому-то времени попадья уж чего-нибудь приготовит,— да и спать, а завтра, в котором часу велите, ваше высокопреподобие, доставлю куда прикажете.

— Да куда ж еще? К отцу Георге...

— К отцу Георге, в Скулени? Чего проще! Туда езды не больше часу с половиной.— И мысленно он сказал себе: «Ну, я ему, отцу Георге, тоже приготовлю гостинец, какой мне этот негодник поп Влад преподнес,— и Болиндаке послал проклятие своему неверному собрату.— Пускай ему протопоп как снег на голову свалится, да и этому старому хрену будет наука — чтоб не совался к людям без предупреждения...»

Обогнув дубовую рощу, спустились в ложбину и взяли правее, проселком, заросшим по обочинам кустами шиповника в цвету, увитыми хмелем и чудоцветом. Вдали, защищенный со всех сторон холмами, поросшими виноградом, выглядывал из зелени монастырь: белый ковчег — церковь — в хороводе келий.

---

[1] Рыба под острым соусом.

Здесь — новая нежданная напасть. Тяжелые ворота из тесаного дуба на замке. Постучал священник концом хлыста, постучал протопоп еще нетерпеливее своим посохом, звали, звали, кричали, кричали, даже бросали камни — никого. Ну просто мертвое царство. Болиндаке, потеряв надежду сунуться со своей белой кобылой и красной камилавкой протопопа в большие ворота, повернул вдоль высокой, точно крепость, монастырской стены до заднего проулка, через который проносили сено, проезжали телеги с дровами, подвозили к погребку бочки с вином. Тут они нашли одну решетку из тонких планок — тронешь пальцем, откроется.

И вот они уже во дворе, а на них, шатаясь, надвигается отец привратник в заплатанном кафтане и монашеском клобуке на взъерошенных волосах, готовый их растерзать. Счастье еще, что в каждой руке у него по плетеной полной бутыли, а на голове — третья, и того тяжелее.

— Чего вам здесь надо, воровское отродье!

Протопоп покраснел как рак и поднял посох наподобие щита. Священник схоронился за спиной кобылы.

Но тут как раз у входа в погреб, что под монастырской гостиницей, показался игумен Иоасаф, который, едва завидев протопопа, подбежал к нему, обнял и радостно расцеловал трижды: в лоб, в подбородок и в плечи — точно крестом осенил. Был отец Иоасаф очень весел, и от него пахло добрым вином. Увидев такое, показался и поп из-за кобылы и тоже удостоился крестообразного приветствия поцелуями.

— Пожалуйте наверх! — И хозяин повел их чуть ли не в обнимку.

— Отец протоиерей пойдет. Мне-то нельзя,— сказал священник, озирая двор.

— Почему?

— Я кобылу одну не бросаю, украдут ее. Пока не найду, где ее запереть или человека какого — посторожить, мне нельзя ступить и шагу.

— Ничего, батюшка, это я устрою.

И игумен приказал отцу привратнику не отходить от животного, ибо ответит за него головою.

Через мгновение они уже поднялись в гостиницу.

— Вы ели?

— Какое! Умираем с голоду.— Протопоп раскрывал рот, как рыба, выброшенная на берег.

Игумен ударил в ладоши.

— Принесите нам закуски... Не посетуйте, вы застали нас врасплох,— оправдывался он.— Мы сами тоже не ели. Вот уже три дня как разливаем вино в погребе — май месяц, и оно, проклятое, забродило. И так, в трудах позабыли о нуждах телесных.

— Служили сегодня? — озабоченно спросил протопоп.

— Там, внизу, в погребе,— со святой невинностью ответил игумен,— ведь бог не в одном только месте, но повсюду.

— Да как же это так?!

— Прочли несколько молитв и поклонились смиренно.

— Среди бочек?

— Бочки, они тоже драгоценную кровь Христову сохраняют,— разъяснил игумен.

Протопоп, оторопев, не сказал ни слова... тем более что прибыли закуски. Удивление он проглотил вместе с несколькими кусками сыра. Затем воспоследовали крутые яйца, нарезанные ломтиками, копченый окорок, пастрама[1] из ягненка, брынза, свежее масло, соленья, свиная кол-

[1] Соленое и копченое мясо.

баса с чесноком... И все это омывалось цуйкой из садов святого монастыря.

По мере того как протопоп утолял голод, мягчал и его гнев, который, видно, возрос от пустоты в желудке.

— А что если, пока приготовят настоящий обед, нам всем спуститься в погреб? Там еще осталось разлить бочку рубинового. Вся братия внизу, не покидать же их, несчастных...

Гости с радостью согласились. Взяв остатки провианта, процессия бодро протиснулась сквозь узкий вход в погреб. Здесь при свете коптилок монахи, подоткнув рясы и засучив рукава, с котелками, с горшками и деревянными ковшами в руках, пошатываясь, бродили от бочки к бочке. Уже у самого входа ударял в нос, душил, пронизывал до мозга костей винный дух, пьянящим паром висевший в спертом, пропитанном плесенью воздухе.

Протопоп, задохнувшись, остановился.

— Смелее,— подбадривал его отец Иоасаф.— Это только вначале тяжко, а потом привыкаешь и нравится.

Так оно и случилось. Протопоп вскорости привык, как будто бы родился там, среди бочонков вина. А захмелев, стал и он слегка пошатываться.

— Что это, отец игумен? Я понимаю ваше высокопреподобие — вы здесь уже три дня занимаетесь. Но я ведь и десяти рюмок цуйки не выпил...

— Тому виною глубина и застоявшийся воздух,— разъяснил хозяин.— Вы не пьяны и не думайте, будто мы все здесь пьяны. Просто захмелели от винных паров, которые вдыхаем,— они во сто раз крепче вина, принимаемого внутрь. А как выйдем на свежий воздух да отведаем жирной пищи — не успеем прочесть и «Отче наш», сразу в себя придем.

Протопоп, поверив, отдался на волю дурманящих паров и попечение игумена, который потребовал плотной пищи и устроил там, под землей, весьма приятную пирушку, употребив кое-какие запасы из тех, что были наверху. Так, прямо стоя, отведали они голубцов из свинины с кислой капустой, которую монахи держали в погребе в забитых бочонках и потому она не портилась до самого липеца, то есть до июня месяца; жаркого из свинины, вымоченной в уксусе со специями, а потом зажаренной на гратаре; колбасы, свежей, как утренняя роса, и прекрасной мамалыги — не слишком жидкой и не чересчур густой, какую умела готовить только та проворная девица, что служила у святой Пятницы[1]. Все это запивали вином из глиняных кружек.

В полдень вышли они веселые на свет божий и сели за настоящий обед, поданный в большую трапезную.

— Теперь закусим и мы, как полагается,— вздохнул игумен и посадил протопопа на противоположный от себя конец стола, а монахов разместил по обе стороны.

Отец привратник, призванный колоколом, дабы не нарушить приказа, привел кобылу к окну трапезной, чтобы была она на виду у хозяина и чтобы за ней следили и защищали ее все святые отцы разом. Кобыла всунула свою умную морду в окно и заржала, словно что-то проворковала хозяину. И ей привязали к морде мешок с овсом, а то бы у нее текли слюнки.

Как раз закончили молитву и собирались сесть, когда, посчитавши, с испугом увидели, что их тринадцать — иудино число.

— Нельзя! Надо найти четырнадцатого,— решил игумен.

Только откуда его взять? Они вертелись по комнате, тщясь отыскать четырнадцатого.

---

[1] Персонаж румынской народной сказки.

— Снимем со стены икону Спасителя, поставим ее на стул, а перед ней — прибор, как в Кане Галилейской,— предложил в конце концов отец Минодор, румяный женоподобный юноша, баловень игумена.

— Замолчи, дуреха! — одернул его игумен.— Во времена брака в Кане Галилейской Иисус был во плоти и ходил среди людей. Теперь же он наш бог и нас накажет!

Женоподобный не унимался, но продолжал, опустив длинные мягкие ресницы:

— Тогда я не буду есть, а постою за вашей спиною и стану вам прислуживать.

— За мной ты постоишь в другое время и на другом месте,— улыбнулся, смягчась, игумен.— А теперь сядь рядом со мною и спой. Недаром ты иеродьякон. Не тревожься, найдем и четырнадцатого.

Вдруг отец привратник, которому надлежало не сводить глаз с окна, дабы видеть лошадь, отчего ему было бы не до еды, вскочил, озаренный мыслью:

— А что если привести в дом кобылу? Тоже ведь божья тварь. Посадим ее во главе стола, чтобы было ей просторнее и чтоб нас не стесняла, повесим ей на шею мешок с овсом, а кадушку с водой на стол поставим.

— Говорят, лошадь равна семи людям,— подтвердил игумен.— Так что мы намного превысим число Искариотово.

Избавление от грозивших препятствий было встречено криками радости.

Угощения следовали одно за другим. Суп с фрикадельками, голубцы, вырезка и отбивные, зажаренный на противне поросенок с капустой и картошкой, тефтели маленькие и большие, величиной с ладонь; шипящие сардельки, из которых, стоит дотронуться вилкой, брызжет сок. И все это окроплено пятью сортами доброго вина, которое пили из глубоких хрустальных бокалов. Поскольку брат Минодор чувствовал больше расположения к женским, сладким винам, игумен, его повелитель, в отеческой своей заботе разъяснял ему когда словом, а когда примером и направлял его к винам мужским, крепким, вселяющим мужество.

В самый разгар трапезы кобыла, которая ела многовато, стала исторгать переваренную пищу с непристойным шумом и дурным запахом.

— Скотина, она скотиной и остается! — с отвращением сказал отец привратник и поспешил перевязать ей мешок с морды на хвост.

Но напрасно. У кобылы были и другие мерзкие нужды. Она без стеснения расставила задние ноги, и полилась пахучая влага, способная отрезвить и пьяницу. Лужа достигла ног святых отцов, отчего те принуждены были поднять их на перекладину стола.

— Выстави ее снова на улицу,— приказал игумен.— Пускай делает у окна, что ей вздумается.

И ее привязали к решетке, а Лиза просовывала сквозь нее голову и, казалось, улыбалась шутке, какую сыграла над монахами.

— Теперь принесите четырнадцатый прибор сюда, ко мне.

И, шаркая ногами по луже, оставленной грешницей, игумен Иоасаф вновь уселся во главе стола. По его приказанию справа и слева ему поставили по миске и по бокалу, а рядом с двух сторон положили по вилке.

— Я,— разъяснял он братьям,— ем по крайней мере за двоих, да вас двенадцать — всего четырнадцать. Но на сей раз, может, одолею и за троих.

Взяв в правую руку ложку, а в левую — другую, он опустил их в суп, потом сунул обе в рот одновременно, как будто ели сразу двое. Тем же манером, вооружив обе руки вилками, он заглатывал сразу по два куска жаркого и два колесика огурца, размалывая их с легкостью зубами и смакуя, точно сладости. А когда взял в обе руки по бокалу и чок-

нулся сам с собою, воцарилось священное молчание. Все с удивлением и завистью смотрели, как ловко он поднес их к губам и опустошил оба разом, слегка откинув назад голову, и при этом ни капли не пролил.

Обед длился до позднего вечера за болтовней, побасенками и историями, но пуще всего за светскими песнями и стихирями. И не прервался бы, кабы не кобыла. Забота о ней протрезвила попа Болиндаке и отца привратника, попечению которого была она вверена. Отцу же привратнику было желательно поскорее вернуться на пиршество, с которого он принужден был уйти раньше.

Где запереть ее на ночь? Поповские страхи — будто ее преследуют разбойники, карауля, чтобы украсть,— усугублялись, подстрекаемые вином, от которого, как известно, тревоги разрастаются по крайней мере вдвое. А тут еще подул ветер и спустилась тьма, так что попу везде мерещились схоронившиеся бандиты.

Монастырская конюшня — развалющий сарай, прохудившийся, грязный, где стояло несколько кляч,— была не для Лизы. Не запереть ли ее в келью? Один черт! Разбойник ударом плеча может высадить дверь. Разве если кто с ней спать будет. Но заботливый хозяин понимал, что кто бы, принеся себя в жертву, ни лег с лошадью, все равно спать будет без просыпу. В кельях для приезжающих, где крашеные стены и циновки на полах, она снова набезобразничает. Да и кельи эти как следует не запираются.

Отец Нафанаил, старик с пучками бровей, точно два хохолка, упавшие на сверлящие глазки, высказал соображение, что стоило бы запереть ее в церкви. Толстые каменные стены, кованные железом двери, стальной замок с потайным запором и окна высоко — сам дьявол на них не вскарабкается.

Но игумен возмущенно воспротивился и принялся бранить Нафанаила на чем свет стоит.

— Как можешь ты, отец, рассуждать, точно юнец неразумный? — распекал его игумен.— Можем ли мы осквернять дом господень?

И снова стали обсуждать, куда бы укрыть кобылу. Пока они изрядно так друг друга мучили, попу вспомнился его забытый дом, попадья, заждавшиеся дети...

— Воротимся домой, отец протоиерей,— забеспокоился он.— Доедем поздненько, однако всех найдем бодрствующими, и стол от еды ломиться будет. Теперь женка, как я ей и велел, зарезала гусыню и двух кур. Пироги испекла из кукурузной муки. У меня и цуйка, и доброе винцо, за которым можно побеседовать.

Протопоп, уже туго соображавший, мешкал с ответом. Игумен же и другие монахи набросились на попа и в один голос со всех сторон возопили:

— Да как такое возможно! Никогда не позволим. Уезжать среди ночи? Чтоб на отца протоиерея разбойники напали? Чтобы у попа украли кобылу? Не разрешаем им уехать, и все тут! Слыханное ли дело — так попирать законы гостеприимства!..

— Беги, брат,— приказал игумен привратнику,— возьми себе когонибудь в помощь, заприте изнутри большие ворота — как зимой. Чтоб никто не ушел и, особливо, чтоб никто не вошел и нас не потревожил. Да задвинь их покрепче на засов — как от бандитов.

И другие гигантские дубовые ворота, что были рядом — у того проулка, через который въехал Болиндаке,— тоже были заперты. Теперь монастырь стал как крепость. Чтобы туда проникнуть, надо было взять его штурмом!

— Ну, что ты теперь скажешь? — спросил игумен.

— Скажу, что кобылу мою скорее здесь украдут, где она сокрыта, чем на дороге,— резонно возразил поп на похвальбу игумена.— Значит,

ночь ей здесь проводить посреди двора, и роса на нее падет или дождик ее намочит. Потому как в конюшню вашу я ее не поведу.

Старец почесал затылок.

— Накроем ее одеялами.

— Нет... Я другое скажу. Оставлю я в монастыре отца протоиерея— пускай поживет тут, сколько заблагорассудится.

— Ему надобно пожить здесь не менее трех дней, как положено в монастыре,— обрезал его отец привратник.

— Пускай остается, сколько вздумается,— продолжал поп,— а вы доставите его дальше, куда ему нужно.

— Нет!.. Такое тоже невозможно! Что ж это, ваше преподобие у нас гостем всего на один-единственный день, как первый попавшийся проходимец? — выговаривал ему игумен. Он сидел, развалившись, расставив ноги и раскинув руки.— Через мой труп, ну, дави меня, топчи! — кричал он.

Тут уж со страху все заголосили, шум стоял точно на поле боя, от гостей потребовали послушания и повиновения, как то приличествует священникам.

— С кобылой мы все устроим, сами знаем, она тоже имеет право на гостеприимство.

В этот миг в мозгу отца привратника жужжала, точно муха, мысль, которую он тем не менее никакими силами не мог изловить. Однако она была там, монах это чувствовал. И вдруг он ухватил ее.

— Погодите! — завопил отец привратник трубным голосом.— Нашел!

— Что? Что?

— Спустим ее в винный погреб...

— Нельзя,— перебил его игумен.— Вино, проклятое, ведь если какая мерзость там случится, оно весь этот запах примет. Довольно кобыла нам трапезную запоганила.

— Да и я не разрешаю,— всполошился поп, задетый тем, что его кобылу унижают.— В погребе сырость, чего доброго, схватит ревматизм, она ведь нежная. И потом запах спирта и страшная плесень, мы-то, люди, и то от этого захмелели, а она совсем отравится. Завтра придем, а она спит или подохла.

— Другое,— рявкнул привратник.

— Что другое?

— Поднимем ее на колокольню. Первое — никому не придет в голову искать ее наверху, будь то хоть вор из воров. Второе — и захочет, так не сможет украсть. Дубовая дверь устоит и перед пушкой. Запоры с немецкими замками не поддадутся, даже если их будет трясти Самсон, разрушивший капище филистимлян. И, наконец, на колокольне чисто и здорово — чахоточному, и тому побыть невредно.

— А ежели у воров разрыв-трава есть и они отопрут замки? — вмешался брат Минодор.

— Ни черта у них нету! — отмахнулся привратник.— Да пусть хоть разрыв-переразрыв-трава будет, и то им с замками не справиться.

Так и порешили. Кобылу напоили-накормили, потихоньку повели под уздцы и, лаская, гладя и похлопывая по спине, довели до входа. Впереди белое животное, а за ним черная толпа — казалось, лошадь тянет за собой погребальные дроги.

У входа — небольшая заминка: лестница узкая, скрипящие и крутоватые ступени. Кобыла замешкалась, отступила, потом испуганно попятилась.

— Не хочет,— забеспокоился поп.

— Захочет, деваться ей некуда! А ну, принесите ведро овса!

И с помощью овса — ведро то подсовывали к самой морде, то ста-

вили как приманку на следующую ступень, чтобы кобыла поднялась к нему, поощряя и завлекая ее — тут, глядишь, ласково подтолкнут в спину, там с сердцем переставят ей ноги,— помучившись изрядно, терпением и ловкостью святые отцы взгромоздили кобылу на колокольню, где и оставили ее гулять непривязанную. Закрыли на лестнице верхнюю дверь, чтобы ей не вздумалось спуститься, а нижний вход замкнули множеством замков, замотали цепями и другими запорами, словно на крепостной башне.

И, покончив с этой заботой, успокоенные, вернулись за стол в трапезную, ибо от таких трудов и раздумий почувствовали голод.

— Сегодня полагалось быть свинине,— объяснил им игумен свои кулинарные замыслы, снова поглощая голубцы, вырезку, отбивные и другое жаркое.— Завтра же день птицы. Позаботься, брат повар. Отыщи откормленную гусыню, поймай того петуха-развратника, который совсем забил нам кур. Да не забудь влить им в глотки две чашки рому. Соверши набег на цыплят, вылупившихся на рождество, наметь десятка с два. Не удалось мне развести фазанов,— с огорчением обратился он к протопопу.— Но мы зарежем несколько каплунов, у них такое же мясо... Слышишь, брат! Да не забудь про голубей для чуламы[1].

Повар кивал при упоминании каждого нового сорта птицы и все брал на заметку.

Пировали без устали и ночью, поддерживая себя дымящимся кофием, который стал появляться все чаще, и сигаретами — их скручивали тут же.

Игумен, развалясь в кресле, тоже курил, держа на выставленном вперед колене брата Минодора. Круглые щеки, темные голубые глаза, еле приметно пробивающиеся на верхней губе черные усики, кольцами вьющиеся волосы, ниспадающие на спину, делали его похожим на ангела, прикорнувшего на груди у святого старца.

Ангел пел мелодичным голосом «Монаха из старого скита», а старец вторил ему. Привратник трубил... отец Нафанаил мурлыкал «Воскресный тропарь», протопоп бормотал заупокойные песнопения.

Заря понедельника застала их за этим благочестивым и веселым занятием. Утро прошло быстро, незаметно и оставило всю братию на том же месте.

В обед прибыли блюда, заказанные накануне, и весь понедельник пиршество разворачивалось под знаком домашней птицы, приготовленной в виде супов, соусов, десятка разных жарких — с картофелем, капустой, на вертеле, на противне, в печке,— вареной с чесноком и уксусом, а также жареной печенки, желудка, петушиных срамных частей и грудки каплуна.

По этому случаю переменили и вина — на сей раз на более легкие и игристые.

Свинина требует вин более терпких, пьянящих, крепких и старых, чтоб растворить ее жир; к птице же идут вина тонкие, воздушные — красное, пенящееся профирэ, белое, из которого, как из минеральной воды, выходят колючие пузырьки, а особливо рубиновое, более спокойное и уравновешенное,— оно подходит к жирным жарким и пирогам из кукурузной муки, а также к пахлаве, печенью с медом и с орехами. Все это выполнялось в точности. Сорта три белого, два — золотистого, как янтарь, и огненно-красное с легким привкусом базилика стояли на столах, разлитые в большие кувшины... И снова песни, на этот раз плясовые, и снова смех, крики и шалости брата Минодора, который, танцуя польку, кочевал из одних братских рук в другие.

Вторая ночь застала их на тех же местах, неколебимых, как во время

---

[1] Птица, приготовленная под белым соусом.

большого и торжественного бдения. За маленькими делами они не выходили, вдохновленные примером кобылы, память о которой жила еще у них под ногами и по-прежнему отдавала в нос. И потом, отхожее место было так далеко, в конце темного зала — добираться туда трудно, только ощупью.

А места у стены — много, хватило бы на целый полк, не то что на тринадцать монахов-отшельников.

Главное же, что на них снизошло просветление, отрешенность, забвение всех забот, точно какое-то колдовство замкнуло их на счастливом острове. Такое, быть может, почувствуем и мы, когда перенесемся в мир иной. А они были там уже сейчас, и на заре третьего дня, то есть вторника, игумен поведал братии об ожидавших их благах, то бишь прочел меню — это будет рыбный день: значит, раки, икра, устрицы, улитки. «Потщись, брат повар! Аминь!»

— Да смотри, как бы не забыть про остропел[1],— не унимался весьма обеспокоенный игумен.

— Остропел из рыбы? — причмокнул протопоп.— Тысячу лет не едал!

— Живите на здоровье еще тысячу, а уж как наш повар его готовит, такого нигде не найдете! Это его гордость!

И игумен проглотил набежавшую слюну, словно нектар.

А потом снова стук, и хлопки, и танцы, и хороводы под кларнет одного из братьев, который таил свой талант, пока не получил приказ от игумена.

Третий день — значит, вторник — был, как и решили, днем рыбным, ихтиос. Монастырские пруды, прочесанные неводами, явили миру и прислали к столу, словно в сказке, готовых, вареных и жареных (ибо как иначе мог успеть отец повар все это приготовить!) лупоглазых сомов, толстопузых карпов, гибких щук, золотистых усачей, сплющенных лещей, линей со змеиной кожицей, угрей, устриц, раков в самых разных закусках и видах: в чорбах, в маринаде, с луком, с капустой, фаршированных изюмом, орехами, под соусами из орехов с чесноком; потом шли пилафы из раковых шеек, гювеч на противне, с оливковым маслом, с маслинами Воло, пена икры, штабеля раков, красных, как щеки святых отцов...

— А знаете, ваше высокопреподобие, что нужно, чтобы икра вышла порядочная? — обратился игумен к протопопу, вонзая свою вилку в гору икорной пены.

Протопоп не знал.

— Нужен расточитель, который без устали лил бы оливковое масло, и безумец, который бы ее сбивал. А вот у нас брат повар, когда речь идет об икре, он сам себе и рука щедрая, и безумец.

К рыбе и вина идут другие. Стало быть, переменили напитки. Сперва дали вино немножко покислее, чтобы перебить тяжелый привкус тины и болота; потом появились другие, более крепкие, прозрачные вина, отдающие коньяком, в которых рыба не плавает, точно в воде, а сразу растворяется.

— Ой! Ты забыл воблу... — огорчался игумен.— Беги, брат мой!

И повар, вспыхнув, поспешил вместе с несколькими пучками лучин принести воблу, которую тут же опалили, побили, посыпали перцем, петрушкой и полили уксусом и постным маслом.

— Форель тоже принести? — спросил повар.

— Принеси немножко, отведаем.

— Форель, здесь? — удивился протопоп.

---

[1] Жаркое, большей частью из барашка или птицы, с чесноком, мукой и уксусом.

— Нет, нам присылают ее братья из горных скитов — из Секу и Дурэу, в обмен на водку, которую мы им дарим...

Целого дня вторника не хватило на то, чтобы истощить все дары господни, хотя монахи, как и гости, бились изо всех сил. Понадобилась третья ночь для завершения трудов — особливо потому, что рыба и рак требуют в еде тщания. Надобно аккуратно отделить их от костей, очистить от панциря, кожи, разрезать, высосать, обглодать — это ведь не чистая и не легкая работа, как, скажем, со свининой или бараниной. Порой и очки наденешь из-за проклятой щуки, а то зазеваешься и придется брату привратнику лезть тебе пальцем в глотку, чтобы вынуть кость, которая не желает выходить ни с вином, ни с хлебной коркой.

Но закончился и «день ихтиос», то есть рыбный.

На четвертый день, иными словами, на среду, заказали баранину, баранину в трех ее ипостасях: жареный молочный барашек, овца и баран, как обычный, так и холощеный, то бишь кастрированный, и все к ним причитающееся — от мозгов, вымени и головы до срамных мест, пирога из ливера, который зовется еще потрохами, холодного борща, баранины тушеной, кушанья с эстрагоном, потрохов на вертеле и, наконец,— кишок, вывернутых наизнанку и вымытых в десяти водах. Само собой разумеется, все подходящие к случаю салаты: из одуванчиков, жабника, кресса, зеленого лука и чеснока, шпината и особливо салата-латука, взлелеянного на монастырских огородах, а в заключение блинчики с вишневым вареньем, пончики, пироги-вертуты и слойки.

Труднее было выбрать вино. Ягненок требовал одного, баран — другого, к овце из-за привкуса сала нужен был особый сорт, примерно такой же, как для свинины, а супу приличествовали сорта вроде тех, что подавали к рыбе. Было решено поставить на стол, чтобы иметь под руками, все сорта, полагающиеся к четырем разным мискам: свинине, птице, рыбе и баранине, пусть каждый пробует и решает, что к чему подходит.

И пятнадцать больших, полных доверху графинов торжественно прошествовали в трапезную и столпились на столе.

— Такой способ, когда вино подается в одних и тех же постоянно наполняемых графинах,— разъяснил игумен,— намного лучше той примитивной манеры, что принята в местах развлечений и в большинстве домов, где вино ставится в бутылках и, опустошенные, они выстраиваются в ряд, подобно плачевным останкам. Это не только портит доброе расположение духа, но и постоянно напоминает гостям, становясь своего рода счетом, сколько они выпили, а у слабых духом пробуждает память о мере и тревожит идею сытости, и равно всех невольно наводит на мысль об определенных нуждах и потребностях, явно связанных с количеством выпитой жидкости, которое, будучи непрерывно у них перед глазами, действует на них и их пугает. Тогда как при постоянно наполненных графинах, не убирающихся со стола, все происходит естественно, потребность возникает сама собой и отправляется свободно, словно по вдохновению.

На этом утром четвертого дня, то есть среды, распахнулись врата праздника в честь барашка.

Только что покончили с предварительными закусками: тушеными почками, жареными мозгами, вареными языками, гландами и другими железами в винном соусе, с вареными глазами под хреном и перешли к срамным частям, огромным, как арбузы, когда вдруг до ушей их, закрытых для всех грешных шумов, донесся принесенный неистовым ветром тревожный звон. Они прислушались и узнали. То был один из больших монастырских колоколов.

Звон становился все громче, все яростнее, точно рука великана вознамерилась расколоть колокол.

Дрожь пробежала по спинам монахов. Что за нечистый дух решил

посмеяться над ними и над монастырем? По всему видать — дьявол. Это его проделки. Ибо никто другой — дитя человеческое — не мог проникнуть через все ворота и двери...

— Полноте! — произнес игумен после краткого раздумья.— Сатана колоколов боится, он к ним не притрагивается, ибо они освящены. Это может быть только делом ангелов! Узнайте же, что один из них снизошел к нам, недостойным... возвестить о вселенском соборе. Мы заслужили милость за наши унижения и смиренную молитву!

Но набат все усиливался. Вступил и другой, еще больший колокол, зазвонил, застонал, то коротко, то протяжно, точно язык его дергал нечистый.

— Не к добру это, братья... — испуганно произнес игумен.— Берите чудотворную икону и по кресту, пойдем посмотрим.

С чудотворной иконой в руках, вооруженные большими и малыми крестами, отцы отважились ступить во двор и издали посмотреть на колокольню, откуда неслись сигналы тревоги. Ничего не было видно. Лишь ураган стонущих звуков сотрясал воздух. Пришлось подойти ближе. Поразмыслили, поразведали, сквозь узкое окошко разглядели, как мечется по площадке привидение в белых одеждах.

— Так и есть, ангел! — подтвердил игумен.— Злые духи — они черные.

Вдруг поп Болиндаке, протрезвев, провел рукою по глазам и завопил, как оглашенный:

— Это кобыла!.. Моя кобыла...

И он стал звать ее:

— Лиза, Лизушка, детка, подожди, я сейчас!

Теперь было труднее отомкнуть запоры и отодвинуть засовы, обмотанные всеми видами проволоки, чем четыре дня назад их запереть. В результате многих усилий дверь поддалась, и все ввалились разом.

Тут и поняли: кобыла, три дня и три ночи без воды и пищи, ржала, тыкалась в окна, пыталась грызть дерево двери, вертелась, металась, билась головой о стены, пока, отчаявшись, не разглядела, подняв глаза, веревки колоколов, висевшие над ней, и не принялась их жевать. Она вытянула шею, схватила веревку и потянула ее книзу. Язык колокола пришел в движение и забил тревогу. Когда колокол закачался на крючке и вырвал веревку изо рта животного, кобыла принялась за другую; она в отчаянье потянула ее, и снова раздался звон. И опять колокол сдвинулся с места — вниз, вверх,— и лошадь выпустила изо рта веревку, но не сдалась. Она вернулась к первой веревке, теперь неподвижной, снова схватила ее в зубы, и колокол, дрогнув, жалобно застонал.

Поп проклинал себя, бил кулаками по лбу: как мог он забыть про кобылу — бедняга осталась без капли воды, без клочка сена! Но теперь она не желала сходить вниз. Карабкаясь вверх, она не видела, какая под ней пропасть. Сейчас, едва высунув голову и завидев крутые ступени, она напугалась, отпрянула и упрямо норовила лечь. Никакими силами нельзя было сдвинуть ее с места. Ей показали ведро с водой, манили вниз мерой овса, ласкали ее, понукали, подталкивали, хватали за ноги, вязали веревкой. Кобыла только больше пугалась. Она вырывалась, била копытами, брыкнула нескольких монахов и, придя в бешенство, стала скалить зубы, кусаться, а то, повернувшись спиною, защищалась, точно от волков.

Поп Болиндаке плакал, игумен в замешательстве чесал свою бороду.

— Давайте завяжем ей глаза,— посоветовал, наконец, игумен.— Она не будет видеть и смело пойдет, куда мы ее потащим.

Закрыли ей глаза платком, завязали его за ушами. Кобыла трепетала, как тростинка, не понимая, чего от нее хотят. Теперь она действи-

тельно шла, но как слепая, ставя ноги куда попало. За дверью она провалилась бы в пропасть, если бы хозяин к ней не кинулся и вовремя не предотвратил несчастья.

— Так не пойдет! — крикнул он.— Надо ломать стену и расширить окошко. Тогда мы спустим ее на веревках.

Брат Минодор тоже пришел и подал свой ангельский совет: пусть кто-нибудь сядет на нее верхом. Почуяв на спине человека, лошадь осмелеет и, ступень за ступенью, спустится вниз. Монахи испуганно переглянулись.

— Что же, вы и садитесь, ваше преподобие,— проворчал, обращаясь к Минодору, привратник,— вы полегче будете.

— Нет, нет,— встревожился игумен, напугавшись, не приключилась бы с любимцем какая беда.— Пускай садится хозяин.

Но тот признался, что кобыла не приучена к верховой езде. Выходит, извлечь ее можно, только если расширить окно... И он попросил инструменты, чтобы разбить стену.

— Погоди! — остановил его отец Нафанаил, старик с кустистыми, нависшими на самые глаза бровями.— Есть у меня управа на твою кобылу! Разрешишь мне сделать, что я намереваюсь?

— Только не изувечь ее,— согласился несчастный.

— Нет, скорее доставлю ей радость,— пообещал старик.— Принесите мне...

Монахи навострили уши, думая, что он просит цепи, колодки и кандалы для лошади.

— Принесите мне полную кадку крепкой водки и бутылку чистого спирта.

Два монаха мигом предстали со странными орудиями, востребованными спасителем кобылы.

Отец Нафанаил подкрался и поставил кадку поближе к злосчастному животному. При виде питья лошадь с жадностью к нему кинулась, опустила морду и, прежде чем разобраться, сделала несколько здоровенных глотков. Потом остановилась, ноздри у нее дрожали, и снова опустила морду, разыскивая воду, глубоко вдохнула пьянящие пары, висевшие в воздухе колокольни, опять притронулась к водке и замотала головой, окропляя святых отцов брызгами. Еще раз с надеждой наклонилась она к кадке, но пить не стала. Однако водочные пары, блуждавшие над кадкой, бросились ей в голову.

В это время отец Нафанаил медленно размешал рукой в ведре овес и щедро полил его водкой из бочонка. Затем тихонько подтолкнул ведро к кобыле. На этот раз немного укрощенное животное, ослабев от голода, принялось за еду; через силу, кое-как стало оно жевать овес, смоченный в водке. Съев полведра, кобыла немного повеселела и успокоилась. Теперь легче можно было к ней подступиться.

— Подержите мне ее, братья, и раскройте ей рот...

Двадцать рук схватили лошадь где ни попадя, в то время как отец Нафанаил, всунув бутыль в раскрытый рот кобылы, влил в него спирт, крепкий, как огонь.

— Теперь погодите немножко, она превратится в ягненка,— предсказал старик.

Кобыла тихонько, нежно заржала, мотая, как колоколом, головой, раскрыла рот, покачнулась в подпитии, опустилась на колени и, окончательно захмелев, улеглась и захрапела.

— А теперь поднимем ее,— распоряжался укротитель, подводя подпруги под седельную луку.

— Тихонько, стойте, помаленьку...

И лошадь, как бесчувственный труп, с передышками, от ступеньки к ступеньке, выволокли на середину двора.

— Положите ее здесь, на свежем воздухе. После обеда она протрезвится и снова будет в состоянии выполнять свой долг.

— А до тех пор давайте за стол, ужас как есть хочется,— молвил отец игумен.— Теперь вы можете спокойно ее оставить,— обратился он к отцу Болиндаке,— никакой вор к ней не подступится.

Так благополучно прошел четвертый день — под знаком барашка, и превеликие почести воздали они отцу Нафанаилу — тому, кто хитростью спустил кобылу с колокольни.

К вечеру кобыла проснулась «смурная», выпила три ведра воды, съела две меры овса, зевнула и заржала в тоске по дому.

— Как бы не пристрастилась она к выпивке,— забеспокоился поп Болиндаке, которому показалось, что кобыла выглядит как-то необычно.

— Позабыли мы о чорбе из птичьих потрохов — и для кобылы и для нас,— хлопнул себя по лбу отец привратник.

— Но кувшин крепкого кофе можете влить ей в глотку,— посоветовал игумен.

Только отец Болиндаке и этого не разрешил.

— Оставьте, не нужно это. Слава богу и отцу Нафанаилу, что мы видим ее внизу. Спасибо и вашим преподобиям за гостеприимство,— крикнул он, приглашая протопопа в телегу.

— Бог вам в помощь! — благословил их игумен.— Счастливого пути и пожалуйте поскорее к нам,— приветствовал он их, размахивая широкими рукавами рясы.— Отвлечете нас снова от монастырской тишины, от постов да молитв.

И гости двинулись, проехав на сей раз под величественным сводом главных ворот, где исчезли, оставив опечаленных, покинутых монахов, красная камилавка протопопа и белый хвост чудесной кобылы, звонившей в колокола точь-в-точь, как ангелы.

Когда за дубовой рощей стали сворачивать, протопоп, точно проснувшись от глубокого сна, вспомнил о ревизии, ради которой приехал в монастырь...

— Эх, отец Болиндаке, позабыли мы расспросить их да распечь отца Митрофана за то, что не сдержал обещания и не служил у вас в воскресенье. Может, вернуться?

Поп, испугавшись, хлестнул изо всех сил кобылу, и она полетела, как борзая.

— Мы больше не вернемся, отец Илие, потому как если нас снова поймают святые отцы, не уйти нам от них раньше чем через неделю, и жена подумает, что нас прикончили...

Протопоп глубоко вздохнул и подчинился.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЛИТЕРАТУРЫ

В этом номере мы заканчиваем публикацию ответов, полученных нами от писателей разных стран мира на вопросы о роли художника и назначении искусства, о месте его в человеческой жизни.

1. Каково Ваше мнение о роли литературы в современном обществе?

2. Каким Вы видите будущее литературы в нашем меняющемся мире?

3. Как Вы понимаете задачу писателя и художника в наши дни?

В предыдущих номерах журнала (№№ 1, 2, 3 за 1971 год) выступили: Жоржи Амаду (Бразилия), Пааво Rинтала (Финляндия), Юлиан Кавалец (Польша), Франц Фюман (ГДР), Эрскин Колдуэлл (США), Михай Бенюк (Румыния), Пьер Гамарра (Франция), Генрих Бёль (ФРГ), Иван Скала (Чехословакия), Ана Мария Матуте (Испания), Хироси Нома (Япония), Джон Чивер (США), Тауфик аль-Хаким (ОАР), Жорж Сименон (Франция), Макс фон дер Грюн (ФРГ), Зигфрид Ленц (ФРГ), Мартти Ларни (Финляндия), Лилиан Хеллман (США), Владимир Минач (Чехословакия), Ивар Лу-Юханссон (Швеция), Эрико Вериссимо (Бразилия), Никита Стэнеску (Румыния), Гоффредо Паризе (Италия), Ив Гандон (Франция), Алан Силлитоу (Англия), Николас Гильен (Куба), Николае Манолеску (Румыния), Роже Шатонё (Франция), Мартин Вальзер (ФРГ), Владимир Достал (Чехословакия), Герман Кант (ГДР), Джованни Арпино (Италия), Алекс Ла Гума (Южная Африка), Камен Калчев (Болгария), Ахмад Сулейман аль-Ахмад (Сирия), Радован Зогович (Югославия), Антал Гидаш (Венгрия), Эктор Агости (Аргентина).

Некоторые предварительные итоги нашего заочного «круглого стола» подведены в статье Е. Книпович «Ответственность за будущее», которая публикуется в этом номере.

КРИСТИАН ГЕЙСЛЕР (ФРГ)

Роль литературы в современном обществе...

Будущее литературы в нашем меняющемся мире...

Задачи художника в наше время...

Хорошо. Но какое общество вы имеете в виду? Какой мир? Какое «наше время»? Общество в Западном Берлине или в Берлине, принадлежащем ГДР? Меняющийся мир в Пномпьене или в Париже? В Праге или в Пекине? «Наше время» в Москве или в Кенте, штат Огайо? На Меконге, на Иордане или на Ориноко?

Как видите, я не мыслю существования человека, а следовательно, и существования писателя вне зависимости от реального, исторически определенного места.

Конечно, есть обязательные в любом месте, во все времена, для всех нас по сути своей совсем простые исходные принципы. Поговорим сначала о них. Например, о тезисе: ПРАВДА РЕВОЛЮЦИОННА — ЛОЖЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННА.

Я считаю, что этот тезис имеет обязательную силу для всякого передового, порядочного человека. Стало быть, и для всякого серьезного писателя, где бы он ни жил. Он верен для любого общества. Он будет справедлив во все времена...

Вы можете, впрочем, увидеть из моих работ, что под «правдой» я понимаю отнюдь не что-то иррациональное; это то, что способен найти и осмыслить в реальной жизни обычный разумный человек. И «ложь» для меня тоже не означает чего-то вообще злого; это хладнокровное, умышленное, связанное со множеством уловок нежелание видеть и изображать действительность такой, как она есть.

Это кажется трудным.

Я мог убедиться, что в этом мире действительно еще очень много лгут — и лгут повсюду.

Трудно сказать, почему это так. Слишком много еще всюду страха, слишком много слабости и беспомощности перед сложными явлениями действительности. Тут-то зачастую и начинают искать самого простого (на вид!) пути — и все становится еще лишь более трудным и запутанным.

Мы, писатели (или мы, товарищи, мы, люди; писательскую работу не надо так уж обособлять, возвышать или выделять), должны перед лицом этих фактов, этой непрерывной лжи стараться действовать более мужественно, с большим знанием дела, лучше, чем до сих пор, объяснять, помогать, звать вперед.

Впрочем, это во все времена и повсеместно означало жизнь довольно рискованную. Потому что всюду и до сих пор еще, к сожалению, те, кто заинтересован в успокоительной, сглаживающей, маскирующей, «успешной» лжи, готовы применить грубую силу. Но еще большую опасность, чем насилие над действительностью, представляет собой обманчиво-заботливая, охранительная ложь, попытка окольными путями, избегая решений, ускользнуть от тяжелой реальности. Ведь, как известно, планомерная ложь и трусость, отказ от критического исследования действительности погубили (и еще погубят) не одно общество. Нам, немцам, надо бы в этом особенно разбираться, потому что фашизм, даже в области экономики, как раз и представлял собой такую вот ложную, мнимую победу над противоречивой, неясной и непростой действительностью. Кое-кто у нас уже в этом разбирается. Но многие, очень многие,— до сих пор нет.

Возведенное в систему искажение действительности, боязнь действительности — вот что, наряду с частной собственностью на средства производства, все еще позволяет господствующим слоям сохранять свою власть над массами. Так что писателю, который старается, например, в моей стране, подойти к действительности серьезно, который хочет, чтобы в этой стране все было честно, разумно, человечно,— хватит дела на целую жизнь.

Вот самый общий, по возможности краткий, ответ на ваши три вопроса.

Теперь нечто более частное — ответ на вопросы: «почему», «куда» и «зачем» применительно лично ко мне и к моей стране, Федеративной Республике Германии.

Общество, к которому я принадлежу, все еще живет, как вы знаете, по старым законам эксплуатации человека человеком. Поразительно, однако, что, живя по таким скверным законам, оно функционирует на вид неплохо — на вид до того неплохо, что огромная масса повседневно эксплуатируемых и планомерно оглупляемых людей готова субъективно расценивать как «счастье» — разумеется, как маленькое счастье, «фольксваген», цветной телевизор, отпуск на Мальорке,— но все-таки как счастье то, что объективно является бедствием. Воспоминание о конкретном, материально ощутимом бедствии (о войне, о безработице и инфляции) у многих (в том числе и у молодых — они ведь учились у старших!) настолько укоренилось в сознании, что они с поразительной глупостью и благодарностью принимают каждую подачку, которую им уделяют от своих огромных прибылей власть имущие. Мы здесь каждый раз сталкиваемся с непростым явлением: тупым терпением масс. Миллионы трудящихся работают на современных машинах, но не требуют (во всяком случае, последовательно) права собственности на эти средства производства. Хотя все эти средства являются продуктом их коллективного труда. Поколение за поколением, изо дня в день тяжело трудятся у нас миллионы рабочих и служащих, но и после пятидесяти лет работы им не принадлежит из продукта их коллективного труда буквально ничего.

И никто не протестует.

Активные, передовые группы, классово сознательные кадры составляют у нас и в самом деле крошечное меньшинство — относительно этой реальности тоже не стоит себя обманывать. Сознательность у нас выглядит чем-то исключительным, она требует такого напряжения сил и так изнуряет, что иные, разочаровавшись, начинают говорить и писать об этой терпеливой, продающей себя массе жестко и цинично. Вам, разумеется, известно, как много действительно незаурядных писательских талантов кончали у нас тем, что принимались цинично описывать глупость и вульгарность масс. Я думаю, что так писать, реагировать так горько и зло на беспомощность и слабость людей — не решение проблемы. Чтобы способствовать осознанию и искоренению общественной несправедливости, надо не высмеивать и не презирать тех, кто наиболее сильно задет этой несправедливостью, то есть массы трудящихся, надо на практике, упорно (несмотря на все трудности и препятствия) доказывать, что это бедствие, в том числе и бедствие массового оглупления,— твое кровное дело, что судьба класса — твоя судьба.

Но как это сделать?

Новая трудность.

Как я смогу, сидя за своим сравнительно спокойным, чистым письменным столом, понять, какому напряжению, какому давлению, какому повседневному износу и изматыванию подвергается в промышленности рабочий и служащий? Как я смогу убедительно — убедительно для тех, кого это касается! — говорить с ними, влиять на них так, чтобы они осознали свое положение, чтобы, несмотря на «фольксвагены» и кока-

колу, они почувствовали бы себя обманутыми, обворованными пролетариями, какими они объективно являются, чтобы они, наконец, поднялись на борьбу и прогнали тех, кто их обманывает и обирает?

Многие мои земляки, вероятно, чувствуют, что эта необходимая борьба, если она разразится, будет стоить крови и слез (а также, возможно, и машин, и прелестной мебели, и одежды, причем надолго). Потому что если имущий класс захотят лишить власти, он, себе на гибель, будет сопротивляться. Это вряд ли подлежит сомнению. И может быть, случится так, что многие у нас смиренно и в общем-то искренне скажут: «Наша жизнь коротка, слишком коротка для таких вещей; то, что у меня сейчас есть, все-таки лучше, чем хаос, борьба и смерть...»

Конечно, это разрушительная вспышка, но если всмотреться глубже, длительный отказ от борьбы за освобождение принесет всем нам больше несчастий, лишений, крови и слез, чем необходимое, резкое, целенаправленное действие масс; потому что чем дольше будет длиться молчание, тем совершенней будут становиться средства господства у власть имущих, тем сильнее будет подавление, а борьба — более рискованной и чреватой бóльшими потерями.

Однако высмеивать страх масс перед этой борьбой не только бессмысленно, но и неправильно. Каждому из нас хочется сохранить свою жизнь, недостаточно долгую, но милую жизнь. И обнаружив, что в нашу, по существу еще мрачно-доисторическую, эпоху необходима насильственная борьба, прежде чем эта эпоха станет по-настоящему человечной и благоприятной для всех, писатель наших дней (во всяком случае, так понимаю я свою профессию) должен терпеливо — с революционным терпением! — день за днем, последовательно объяснять это массам, своим ближним, товарищам по классу.

НОРМАН МЕЙЛЕР (США)

Я разделяю нераспространенное религиозное убеждение, согласно которому люди могут порой оказывать влияние на бога и общаться с ним в своих снах. В той мере, в какой творческое прозрение художника обогащает наши сны, сам он ведет диалог с богом. Вот почему художник бывает в таком отчаянии, когда сознает, что его работа — посредственность. Ведь он совершил не что иное, как предательство, предал бога, людей и самого себя.

ГАБОР ГАРАИ (Венгрия)

1. Естественные и общественные науки почти ежедневно удивляют человечество новыми открытиями. Может ли не отставать от них в занимательности, новизне, популярности литература, если ее предметом является человек, социальный человек, о котором, по-видимому, все уже сказано? Вопрос кажется каверзным, но я думаю, что ответ содержится в нем самом. Если предмет литературы — человек, существо социальное, то именно на литературу и ложится обязанность уяснить и описать, что происходит с «вечно человеческими» качествами, чувствами и формами поведения, как они изменяются в эпоху строительства социализма и коммунизма, освобождения колоний и завоевания космоса.

2. Если литература станет выполнять названную выше обязанность, то всегда, теперь и в будущем, она будет удовлетворять реально существующей потребности. Ведь люди стремятся к полноте жизни — и следует предположить, что с развитием общества число таких людей будет пропорционально расти,— они не могут ограничиться лишь формой научного познания, им необходима и та своеобразная познавательная форма, которую им способна предложить только литература, и в этом заменить ее ничто не сможет.

3. Задачу литературы я попытался сформулировать в ответе на первый вопрос. И тем самым я, по существу, ответил на вопрос о задачах, возложенных на писателя. Могу еще добавить, что в процессе развития социалистического общества разделение труда, специализация все больше углубляются и между людьми, занимающимися ин-

теллектуальной деятельностью. Чем больше совершенствуются метод коллективного руководства и социалистическая демократия, тем менее может рассчитывать писатель, что его призвание быть «общественной» совестью, а не политической. И тем важнее становится для него, наравне с политикой, анализировать процессы развития, законы движения, противоречия, в частности, в своей специфической «отрасли», иначе говоря — в социальном мире, в сфере постоянно меняющихся отношений личности и коллектива.

СТЕФАН ХЕРМЛИН (ГДР)

1. Она достаточна велика, однако в некоторых странах ее переоценивают. Такая переоценка приводит всякий раз к ожиданию, что литература в известной мере сама по себе сможет вызвать поразительные перемены в обществе, поскольку она участвует в формировании общественного сознания,— и всякий раз, когда действительность не оправдывает их волшебных ожиданий, представители этого чистейшего идеализма приходят к заключению, что «настоящей» литературы еще нет и следует принять меры, чтобы ее «организовать».

Когда задним числом оглядываешься на революционные эпохи, какое-либо произведение литературы действительно может показаться знаменем, которое вело за собой народ. В этом есть и своя правда. «Марсельеза», это прекрасное стихотворение и прекрасная песня, кажется, захватила, даже вызвала к жизни целую эпоху. В действительности же она была написана три года спустя после штурма Бастилии.

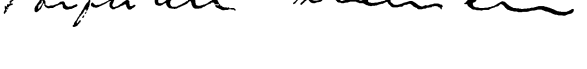
Один великий человек сказал, что великие идеи идут голубиными шагами. Великая литература приходит голубиными шагами. Она воздействует медленно, но долго.

Роль литературы в современном обществе будет возрастать в той степени, в какой удастся добиться ясного понимания, на что она действительно способна. Литературу нередко называют оружием. Порой она бывает и оружием (при условии, что ею умеют пользоваться как оружием). Прежде всего это средство гуманизации человека.

2. Этот вопрос связан с предыдущим. Ибо будущему литературы угрожает не только водородная бомба, но и неверный подход к возможностям новых технических изобретений, недооценка определенных вопросов морали, предположение, что технический прогресс сам по себе разрешит эти вопросы и т. п.

Будущее литературы и искусства отнюдь не кажется мне обеспеченным, так же как и будущее человечества. Значит, нужно бороться, чтобы его обеспечить.

3. Времена меняются. Писатели вместе с ними, в них... Но писательская задача остается всегда той же самой. Поль Элюар так сформулировал ее в одной стихотворной строке: «Я говорю о том, что я вижу, что я знаю, что является правдой».



ИШТВАН ШИМОН (Венгрия)

СПАСИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

За последнее десятилетие среди вопросов, которые обсуждают, о которых спорят во всех странах мира, фигурирует и проблема: как может сложиться в будущем судьба литературы и искусства? Развитие науки и техники бурно воздействует на эмоциональный мир человека, втиснутого в рамки современной цивилизации. Внезапное появление «чудесных машин» способствует совершенно новому — по сравнению с прежним — взгляду на мир.

Большинство спорящих приходит к такому выводу. Если в окружающем мире произошли коренные изменения, если непрерывное техническое развитие вызвало перемены в условиях жизни, то это закономерно должно отразиться и на других сферах, в том числе и на эмоциональной. Искусство и литература — интеллектуальная проекция внешнего мира — должны претерпеть огромные изменения, если вообще они будут играть по милости наук хоть какую-нибудь роль в разумном и почти свободном от противоречий мире будущего, говорят маловеры, те, кто сомневается в будущем

художественной литературы. Это еще не погребальный звон по литературе и искусству, но не случайно же проблема — будут ли они существовать — не сходит с повестки дня и вызывает повсюду страстные споры.

Зададим себе еще раз ставший уже стереотипным вопрос: зачем нам доискиваться смысла бытия и выдвигать другие подобные проблемы, если наука в победоносном своем шествии отыщет способ немедленно ответить на весь их возможный комплекс? Незнание истин, страх перед таинственным мучили людей в течение многих тысячелетий. И вообще положение человека в постоянно меняющемся мире не было и еще очень долго не может быть, а возможно, никогда не будет объяснено исчерпывающе. Надежда на приближение к истине, ожидание ответов на многие вопросы толкали человека к искусству, казавшемуся ему тогда магическим. Поэтому легко себе представить, что с исчезновением мучительных вопросов исчезнут и причины тяготения к искусству, потребность в нем.

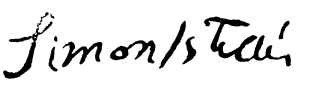
Но как ни удивительно, наши вчерашние предположения не оправдались. Произошло нечто совсем противоположное. Чем крупнее научные завоевания, чем глубже вскрыты истинные законы существования, тем мучительнее терзает души людей вопрос о его смысле, тем с большим количеством нерешенных задач сталкивается все человечество. Возьмем, например, угрозу атомной войны или социальное неравенство, которое — не без влияния неодновременного распространения технического прогресса — сохранилось до сих пор на большей части земного шара и ставит перед будущим самые разнообразные задачи. Логическое толкование вытекающих отсюда истин не может быть однозначным. Даже вычислительные машины при всей своей объективности не всегда могут дать ответ на самые элементарные вопросы. Душевное напряжение продолжает расти, эмоциональный мир современного человека все еще полон тайн, не познан, как не познано человеческим сознанием — и это зависит в том числе и от новых требований к самому познанию — его собственное существование.

И нет ничего удивительного, что именно теперь, наперекор предсказаниям, мы наблюдаем увеличение потребности масс в искусстве. Если мы возьмем одну лишь Венгрию (где нужно, конечно, в первую очередь подчеркнуть роль общественных изменений), то легко заметить: распространение образования вызвало не только потребность в более цивилизованных условиях существования, но и сделало чуткими к духовным проблемам более высокого уровня даже тех, кто еще недавно ими не интересовался. По-видимому, люди все яснее чувствуют, что эмоционально преодолеть часто еще необозримые пространства между ними и окружающим миром можно только с помощью искусства и литературы, ищущих и освещающих путь среди противоречивой действительности.

Так называемый массовый спрос неизбежно поставил перед необходимостью выбора приверженцев модернизма, стремящихся во что бы то ни стало, любой ценой порвать с традиционностью, революционизировать искусство хотя бы пустыми аттракционами и хотя бы таким образом сойти с проторенной тропы. Пропасть между их произведениями и публикой стала так широка, что будущее такого искусства сделалось действительно проблематичным, особенно если смотреть на него с точки зрения широких социальных запросов.

Имеем ли мы право вообще говорить о демократизме в связи с художественными произведениями? Ведь как ни смотреть на вещи, художественная правда влияет на нас — например, в каком-нибудь стихотворении — лишь через выраженную в нем индивидуальность. Требование демократизма охотно подменяется понятием популярности — почти в уничижительном смысле этого слова — всеми теми, кто считает, что искусство должно возвышаться над широкими массами. Но ведь речь идет вовсе не об этом. Во всяком случае, не о популярности в смысле упрощения, примитивизации. В наш век во всем мире в жизнеощущении людей есть много общего. Общие для всех людей, стремящихся к солидарности, социальные, человеческие проблемы требуют и от искусства с его гигантскими возможностями морально и художественно содействовать этому сближению, ковать лучшее будущее. И будет ли тогда преувеличением говорить о демократизме и человечности литературы и искусства?

Раздумья о судьбе литературы, оказывающей существенное влияние на человеческие судьбы, могут очень далеко увести наше воображение. Одно несомненно: ее функция не отмирает, более того, потребность в литературе может увеличиться. Среди надежд, тревог и опасностей мы сохраняем веру и вправе ждать, что спасительную эту веру поддержит искусство, художественное слово.



АРТ БУХВАЛЬД (США)

1. На мой взгляд, назначение литературы в современном мире — говорить правду и заставить читателя понять, как видит эту правду писатель. Правда эта может носить формы вымысла, как, например, в романе, но она тем не менее должна быть правдой.

2. Будущее литературы в нашем меняющемся мире предсказать трудно. В США все большее и большее значение приобретает публицистика. Происходит это, по-видимому, потому, что самый дерзкий вымысел не может сравниться с событиями нашей повседневной жизни. Научная фантастика вышла в наши дни на газетные полосы.

3. Миссия писателя и художника — говорить правду, ставя ее превыше всего. Для писателя не должно существовать верности своей стране или какому-либо флагу. Он должен быть верен лишь самому себе. Писатель должен открывать людям глаза на человеческие пороки, не делая ни для кого никаких исключений. Он должен стараться исправлять недостатки этого далекого от совершенства мира, писатель должен определять моду своего времени, а не идти у нее на поводу.

ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ (Монголия)

1. Наша современность — это священная борьба за будущее. В этой благородной борьбе литературе отведено почетное и суровое место солдата. Литература все больше и больше приобретает мощную наступательную силу. И поэтому писательское дело — чрезвычайно ответственная профессия в современном цивилизованном мире, где струны души человека становятся изо дня в день тоньше.

В нашем взаимосвязанном и взаимовлияющем мире литература имеет огромный общественный вес и влияние. К голосам писателей прислушиваются. Ибо они не просто описывают жизнь, а в известной мере ее организуют или помогают организовать.

Одним из внушительных препятствий, мешающих людям проникнуть глубже в недра жизни, является консерватизм сознания, недостаток воображения. И литература может быть очень удобным средством лечения от этого духовного недуга.

2. Поколение писателей, рожденное бурей Октябрьской революции, впервые в истории несет бремя ответственности за все грядущие поколения человечества. Это нелегкое бремя наполняет сердце писателя горделивым чувством и возвышает его душу. Наше будущее — справедливый, щедрый, прекрасный мир, где человечество превратится в один дружный творческий коллектив и все способности человека будут развиваться гармонически. При коммунизме останутся только творческие профессии, а нетворческие полностью будут заменены машинами. Но поэтический дар останется монополией человеческого мозга. Художественную литературу не даст нам ни одна электронно-вычислительная машина.

Литература полноводной рекой движется вперед человеческим умом. И ей незачем пребывать в тревоге перед будущим. Подлинная литература бессмертна. А секрет ее бессмертия заключается в передовых идеях, народности и общечеловечности.

3. Современные писатели живут в условиях острой, глобальной идеологической борьбы, продиктованной реальной обстановкой наших дней. Поэтому автономия писателя или литературы невозможна. И я бы советовал писателям, моим современникам: делите мир не на север и на юг, не на запад и на восток, но всюду различайте старый мир и новый. И служите новому миру, если хотите идти вперед. А коли хотите бежать назад, то будьте со старым миром, который отживает свои последние дни. Третьего мира нет.

Писатель — человек, работающий в особых условиях. После того как он произнес слово, оно царствует над ним, а до этого он царствовал над словом. Своему слову писатель сам подотчетен. И поэтому современный писатель ответствен больше, чем солдат. Писательское слово звучит даже в отсутствии автора. Написанное пером не вырубить топором!

ЧЕДО ВУКОВИЧ (Югославия)

1. Сегодняшний мир представляет собой весьма пеструю мозаику различных общественных систем, уровней развития, стремлений, разнообразных условий исторического и современного бытия. На одном и том же меридиане всем по-разному светит солнце. А кое-кому оно вообще не светит. Иным же предстоит хмурое утро.

Роль литературы? Насколько я могу определить ее на основе своего собственного опыта, подлинная, оригинальная литература, литература высокой пробы рождается в гуманистическом, страстно ангажированном движении человека к прогрессу. Литература там, где налицо мечта человека о добре — о свободе и общественной справедливости. Литература там, где человек борется за осуществление отношений и создание ценностей, без которых невозможно истинно человеческое существование. Литературу рождает пробудившееся сознание и озаренное изнутри восприятие человеком самого себя, окружающего его мира и времени. Она — главная артерия в кровеносной системе современности.

Для меня книга — такой же человек, как и я.

2. Я не стал бы утверждать, что завтра, в эру весьма бурно развивающейся техники, литература станет своего рода соперницей машинам или эликсиром благородства для человека, зажатого между бетоном и электроникой. Вечно будет продолжаться «борьба непрестанная» (Негош [1]), и в этой борьбе за осуществление общественной и человеческой справедливости литература непременно окажется рядом с человеком, борющимся за прогресс, с человеком страдающим, любящим и надеющимся.

Я говорю о литературе и о борьбе вместе, потому что иначе не могу. Приятнее было бы спокойно побеседовать о красотах и волшебстве слова, об искусстве формы, о беззвучном течении литературы во времени. Приятнее было бы поговорить о подсчетах статистиков, сколько раз Пушкин употребил слово «сердце», заметив, что при этом осталась не затронутой и не раскрытой суть поэзии Пушкина — ведь в этом «поэтическом» слове таится нечто неизведанное, оно в каждом стихотворении и у каждого читателя вызывает иной отклик. Приятнее, говорю, было бы потолковать об этом или о том, как будет складываться в будущем художественная форма, о ее богатстве и чистоте Однако слишком много зла, таящих угрозу и пасмурных дней несет наше время, а ведь с ним мы шагаем в будущее. Вьетнам и другие раны на глобусе свидетельствуют о том, что фашизм в минувшей войне был лишь тяжело ранен. Расистская ненависть продолжает отравлять и опустошать многие человеческие души. Кругом — голод и многоликая нищета. Угрожающая тень разрушения.

Для меня книга — соратник.

3. Каждый писатель сам определяет свою задачу, свое место и свою позицию в этом перенапряженном времени.

Я попытаюсь, предупреждая, что это сугубо личные суждения, сказать несколько слов о роли писателя в моей стране.

Говоря о месте писателя в обществе, обычно противопоставляют друг другу писателя и общественное устройство. Упрощенно говоря, можно сказать, что до недавних пор у нас отношения между ними выглядели таким образом: писатель и социалистическое государство. Теперь, в начале эры самоуправления (которое я понимаю, разумеется, в идеальном виде, как освобождение личности в коллективе, человека как личности), эти отношения существенно меняются, и я уже вижу контуры новой картины, новых типов связей: писатель и социалистическое сообщество в целом. При подобных взаимоотношениях (я учитываю, что мы стоим лишь в начале пути и что на нас оказывает давление немало трудностей, самых причем разнообразных) писатель иначе себя чувствует и иначе ставится проблема. Если писатель в самом деле прогрессивно мыслит и в самом деле не хочет порывать связь со своим народом, то он не может оказаться отчужденным, не может быть изолированным от основного течения времени и общественного движения в стране и во всем мире: писатель, следовательно, в силу самого своего общественного положения находится на стороне рабочего класса, внутри сообщества, стремящегося к определенному идеалу; вместе с тем ему становится чуждым все, что хотело бы утвердиться в качестве силы, навязанной рабочему классу и народу в целом, ему становятся чуждыми окаменевшие бюрократические эталоны, далекие, отчужденные от народа и от литературы судьи и псевдоцелители всех недугов. В этой атмосфере, которая день ото дня становится все более чистой, дышит и созидает писатель так, как дышит и созидает его народ, но писатель созидает по-своему, он неповторим, поскольку каждый писатель в своем роде неповторим.

Таким вижу я сегодняшний день, свой горизонт и небо над собою. И я утверждаю: нет покоя писателю и не должно его быть...

[1] Негош Петр Петрович — великий черногорский поэт и мыслитель. *(Прим. ред.)*

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ (Пакистан)

РОЛЬ ИСКУССТВА В ПОЗНАНИИ

В своей основе искусство — это человеческое умение переделывать материю. Только в сравнительно недавние времена смысл слова «искусство» сузился и стал применяться для обозначения лишь некоторых видов деятельности человека. Искусство обособилось от ремесла, художник — от ремесленника. Искусство приобрело еще одно измерение — эстетическое.

Эта сторона искусства, заставляя нас иной раз забывать его органическое, неизменно ему присущее свойство — умение, приводит к преувеличенному интересу к форме — свойству, постоянно изменяющемуся.

Умение — это знание плюс действие. Это — осмысление чувственных восприятий происходящего вне нас через познание. Затем, это организация психических и мускульных реакций с целью воссоздания наших впечатлений по нашей воле.

Если так, то искусство — это знание, обретшее форму не в теории, а на практике, не мысленно, а материально.

Поэтому не Слово было в начале, а Образ, зрительное воплощение Слова. Позднее другой художник, другими средствами привел в соответствие Образ и Слово, что опять-таки было только одним из вариантов реорганизации разрозненных фактов знания и ощущения в новое чувственное целое.

Этими способами образотворец древности — резчик, художник или ваятель — открывал для первобытного человека зрительный способ опознавания составных частей окружающего его мира. А словотворец — колдун, слагатель песен или жрец — дополнял это знание, уча первобытного человека узнавать и отличать те же явления мысленно, без помощи зрительных образов.

На той стадии развития человека искусство было единственной формой науки, известной ему, единственным способом систематизации разрозненных знаний о явлениях материального мира и их взаимосвязи. Весь физический мир был тогда его лабораторией; и искусство оставалось первичной формой эксперимента, цель которого была — понять состав и свойства материи, их значение для существования человека. Камень, обтесанный в топор, открывал свое новое качество, которое могло быть потом снова вызвано к жизни в любую минуту. Топор, испробованный на бамбуке и сделавший из бамбука стрелу, раскрывал и новое качество бамбука, и новую взаимосвязь между бамбуком и камнем. Когда эти изобретения были использованы для охоты (как и для прочего), у человека оказались в руках новые способы накопления, которые в свою очередь породили новые связи между самими изобретателями. Экспериментируя с издаваемыми им звуками и с движениями своего тела, человек эмпирически пришел к созданию языка и ритма, а они дали прямые, общественно полезные результаты.

В те, давние времена искусство было не только знанием, обретшим форму, но и знанием, функционально используемым в процессе общественной жизни человека. Оно было скорее направлено на физическое приспособление человека к окружающей его среде, чем на внутреннее осмысление человеком тех методов, благодаря которым оно существовало. Иными словами, искусство было в равной мере тогда и трудом и наукой; и одновременно больше, чем трудом, и больше, чем наукой.

Больше, чем наукой, по той причине, что (заимствуя мысль Максима Горького) искусство дополняло образ конкретной действительности элементом «возможного», «желаемого». Произведение искусства, в отличие от произведений природы, не ограничено заранее заданной формой и материалом. Образ, создаваемый художником, может нести в себе частицу воображенного вместе с воспринятым, может добавить к отображению того, что есть, изображение того, как это могло бы быть.

Искусство было больше, чем трудом, по той причине, что оно вносило эмоциональность в целенаправленную деятельность, вносило страстность в материю: преклонение или отвращение, ужас или насмешку, ненависть или любовь. В дальнейшем процессе развития искусства именно эти элементы в сочетании с мастерством приобретали все большую функциональность.

По мере разделения труда — результата возросшего умения человека распоряжаться средствами своего существования — знание и труд все больше специализировались. Задача исследования вне нас находящейся физической действительности перешла от художника к ученому, а ремесленник освободил его от простых рабочих операций. После того как это произошло, делом художника стало не исследование «новых областей нового знания», а открытие «в сердце новых стран». Из инженера палки и камня он становится «инженером человеческих душ». Художник теперь меньше участвует в процессе познания природы и классификации ее компонентов с целью дать человеку представление о мире, в котором он живет. Сейчас художника занимает общественный мир человека и классификация его субъективных компонентов — он стремится помочь человеку осознать социальную ситуацию.

С одной стороны, новая функция художника в какой-то степени обособляет его от процесса производства, но зато она делает искусство методом познания человека

и созданного им мира. Художник утратил свою первобытную анонимность и превратился в носителя характерных особенностей определенного периода истории. И по форме и по содержанию искусство стало сегодня выражением этих особенностей и чрезвычайно гибкой формой познания социально-исторических тенденций.

Искусство создает своеобразный и полный документ, фиксирующий образ определенного социального существования вместе с обусловленными им субъективными или идеологическими реалиями.

На этой стадии своего развития искусство становится умением, направленным к выявлению «сути реальности» в культуре определенного общества. Культура, в свою очередь, отражает самыми разными путями действительность более широкого охвата — всю совокупность социальных связей человеческого общества. Отсюда явствует, что все концепции, системы ценностей, формы и тематика искусства — ценнейший инструмент для познания тех общественных процессов, которые вызвали их к жизни. Верно, конечно, что не искусство и не культура управляют этими процессами,— напротив, они только отражение, но мы ведь знаем, что такого рода отражение — единственное, что было в наших руках,— дало нам возможность познать принцип действия доисторических общественных структур.

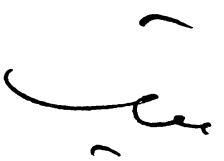
Если говорить о современных общественных структурах, то и здесь искусство, и в первую очередь литература, дает наиболее верное представление о взаимосвязи общественного действия с общественным познанием, о том, как влияют друг на друга элементы базиса и надстройки. Полученное знание позволяет в свою очередь влиять на общественное действие, корректируя и видоизменяя общественное познание.

Искусство и литература, с одной стороны, описывают и объясняют социальную физиологию определенного социального организма, показывают, здоров он или болен, находится ли в состоянии покоя или напряженности, в периоде роста или умирания.

С другой стороны, искусство и литература предлагают решения психологических или идеологических проблем в зависимости от состояния данного социального организма.

Задача художника в нашем мире — как и в тех мирах, что существовали до нас,— помочь современному человечеству понять, осознать, ощутить, что есть добро и что есть зло, где развитие и где разрушение, где расцвет и где застой.

В наш век, когда так четко противостоят друг другу два лагеря, художнику легче дается выбор пути: он выбирает между поработителями и порабощенными, между эксплуататорами и эксплуатируемыми, между борцами за социалистическую справедливость и пропагандистами капиталистического угнетения.



ГАБРИЭЛЬ СЕЛАЙЯ (Испания)

Ответить на заданные вами вопросы, не беря в расчет ту конкретную и своеобразную ситуацию, в которой находится каждая страна, значило бы потворствовать глупой привычке говорить на некоем «всеобщем языке».

Моя страна — Испания, и хотя наша война 1936—1939 годов была международным событием, я не уверен, что всем хорошо известно, что произошло с тех пор. Ибо мир широк, и другие важные события на нашей планете приковали, и не без основания, его внимание. Однако человек, каждый человек, находится в своем «здесь» и «сейчас»; я живу в Испании, и моя жизнь длительно, любовно и болезненно-чутко проникает в ее жизнь, а ее жизнь — не только в исключительные моменты, но ежедневно — в мою; и было бы странно делать вид, что это не определяет того, что я могу говорить и думать о роли поэта.

Я не буду вспоминать известных мучеников испанской поэзии: Федерико Гарсиа Лорку, Антонио Мачадо, Мигеля Эрнандеса. Не буду вспоминать наших великих изгнанников: Леона Фелипе, Рафаэля Альберти, Хорхе Гильена, Луиса Сернуду и др. Достаточно сказать, что в 1945 году молодые испанские поэты были одиноки, разлучены со своими великими учителями, лишены возможности ознакомиться с их произведениями, так же как и с любыми другими испанскими и неиспанскими произведениями, написанными за границей.

Именно в это время, когда все казалось мертвым, словно благодаря чуду неиссякающей испанской жизнестойкости возникло то, что у нас называется «социальной поэзией». И тогда же некоторым из нас показалось, что они ясно увидели, в чем заклю-

чается миссия поэта, по крайней мере в такие критические моменты. Именно в это время я писал: «Поэзия не является самоцелью. Поэзия является одним из инструментов, наряду с другими служащим изменению мира». И далее: «Поэзия не знает нейтралитета. Сегодня ни один человек не может соблюдать нейтралитет. А поэт прежде всего является человеком».

Эта приверженность к «поэзии — оружию, заряженному грядущим» (так называлось одно из моих стихотворений той поры), поэзии, обращенной к «огромному большинству» (как подчеркивал мой друг Блас де Отеро, явственно отмежевываясь от изысканности и герметичности поэтов «хуан-рамоновского» толка, то есть учеников Хуана Рамона Хименеса), находила широкий отклик среди молодых поэтов и студентов вплоть до 1965 года. Юбилеи Антонио Мачадо и Мигеля Эрнандеса были в большей мере политическими актами, чем чествованиями поэтов. Однако затем, по мере движения Испании к «обществу благоденствия», положение дел изменилось. Молодые поэты сбились с пути; они «рассердились» то ли на политику Испанской коммунистической партии, то ли потому, что уже не видели никакой возможности немедленного революционного изменения в определенных марксизмом-ленинизмом формах. Они считают невозможным контакты интеллигенции и студентов с пролетариатом, а заодно и с анархическими, бунтарскими движениями и культивируют авангардистскую, постсюрреалистическую, «битническую» и тому подобную поэзию.

Я не без боли спрашиваю себя, в какой мере мы, те, кого в Испании называют «социальными поэтами», виноваты в том, что вызвали такую реакцию. Ибо речь идет о «реакции» в худшем смысле этого слова. Я стремлюсь в своих последних книгах направить эту, порвавшую с каноническими устоями, молодежь в русло гуманизма. Однако мне представляется, что существо дела заключается в более общих, чем простая смена литературного стиля, сдвигах, против которых я бессилен.

Для сегодняшней молодежи Испании, да, думаю, и других стран у поэта не может быть иной задачи, кроме как утвердить или потерять себя в безличном или туманном мистицизме. Для меня же поэт — это человек, способный чувствовать чужое словно свое, ощущать себя другим и быть им, дать всем этим другим голос и высказать то, что они в себе носят, как свое собственное. Ибо чувствовать чужое словно свое, поскольку оно подлинно человечно,— это значит не потерять себя, а выразить свою собственную суть, слившись с этими другими.

В то же время мне представляется, что новая радио- и телевизионная техника, утверждающая права поэзии и тем, что поэта можно увидеть и услышать, а не только прочитать его напечатанные стихи, отвечает новым социальным задачам, ибо поэзия необходима широким массам. Народная поэзия была всегда поэзией, которую больше слушали, чем читали. На это и указывает вовсе не случайное проникновение поэзии в сферу радио и телевидения — в ответ на потребности и спрос нашего современника.

Gabriel Celaya

МАРТИН ВИКРАМАСИНГЕ (Цейлон)

РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

1. И мир и общество претерпевают быстрые изменения, а быстрота перемен обусловлена двумя основными причинами: развитием науки и распространением социализма и социалистических идей.

Процесс распространения социализма и социалистических идей в разных странах, передовых и развивающихся, становится источником вдохновения для литераторов, различных как по убеждениям, так и по своему художественному темпераменту. Художник идет к отображению человеческой жизни во всех ее проявлениях, и ни классовые, ни расовые предрассудки не должны стоять на его пути.

Буржуазные ученые и политики создают антикоммунистическую и антисоциалистическую литературу, которая либо является откровенной пропагандой буржуазных порядков, либо выступает за них с завуалированных позиций. Следует, однако, отметить, что в таких странах, как Индия или Цейлон, да и в западных странах тоже мало кто из подлинных писателей сознательно занимается пропагандой этого рода.

Марксистские теории понимания общественных процессов вдохновляют всех гуманистов на борьбу против догмы, оправдывающей эксплуатацию человека человеком.

Россия с ее тягой к общинному началу и ее великие писатели, вдохновляемые ее стихийным гуманизмом и признанием братства всех людей, создали великую литературу, разоблачавшую жестокость и эгоизм феодальной и капиталистической эксплуатации. Великие русские классики ввели в русскую литературу беспощадный реализм и показали распад современного им общества. Гоголь, Щедрин, Достоевский, Толстой,

Чехов, Куприн, Горький — создатели русского романа — игнорировали устоявшиеся принципы построения романа, общепринятые в Европе XIX века.

Русские классики — я включаю в их число Горького — подготовили Россию к борьбе против феодальной тирании и против капиталистической эксплуатации. Невозможно представить себе победу русской революции без самоотверженного участия рабочих и крестьян в ней и без участия творческой интеллигенции в ее подготовке.

Думается, что во всяком случае для стран Востока из этого можно сделать вывод, что для социальных перемен нужно не столько выискивать одиночек-революционеров, сколько стремиться к объединению масс, доведенных до отчаяния и ярости, показывая и объясняя им, до какой степени их подавляет, угнетает и эксплуатирует империализм.

Образованная молодежь многих стран Востока — а она по-прежнему является жертвой системы просвещения, навязанной нам нашими бывшими хозяевами,— перенимает сегодня моду на крикливый революционный лозунг.

Революционная шумиха — это способ, к которому обращается молодежь, чтобы выразить свою неудовлетворенность, разочарованность и отвращение к политикам старшего поколения, так и не сумевшим оторваться от английской культуры и языка, от философии индивидуализма, которая служит капитализму. Пренебрегая национальной культурой и языком своего народа, они не способны слиться с ним воедино.

Крикливые лозунги выполняют отчасти функцию предохранительного клапана, выпускающего недовольство и раздражение. Молодежь ничего не может сделать, пока система просвещения и социальные условности отделяют ее от рабочих и крестьян. Чтобы достигнуть социализма — вооруженным ли восстанием или мирным путем,— и народ, и его будущие лидеры должны хорошо знать условия жизни своей страны. Это станет возможным только тогда, когда прогрессивная молодежь найдет общий язык с рабочими и крестьянами, потому что в подлинном смысле слова народ — это они. Архаическая система просвещения по-прежнему ориентирует молодежь на конторскую или преподавательскую работу. Социальная атмосфера цейлонских городов сохраняет еще все следы колониального владычества. Рабочие и крестьяне, как и раньше, считаются существами низшего порядка.

2. Будущее литературы в изменяющемся мире следует рассматривать с позиций социализма.

Марксизм-ленинизм торжествует победу. Социализм стал тем путем, по которому идут многие страны. обогащая его в соответствии с особенностями своего развития.

Теории конвергенции, если их не толковать с позиции идеализма, могут означать только одно: социализм победит в той или иной форме, и будет создано совершенное социалистическое общество, путь к которому — не большой скачок, а планомерное развитие.

Для меня теория конвергенции означает, что какими бы путями ни шли к социализму народы Азии и Африки, они придут к созданию социалистических государств. И это станет возможным благодаря тому, что Ленин и Октябрьская революция нанесли империализму сокрушительный удар. Крах мировой системы империализма открыл возможность для мирных революций и для построения социализма.

Литературе будущего предстоит — и прямо, и косвенно — укреплять в людях чувство их принадлежности к единому братству. Это тоже форма борьбы против капитализма, но борьбы длительной и сложной.

Мне кажется, что Америка уже поняла, что затопление азиатских стран откровенно пропагандистской литературой ни к чему не приведет. Поэтому американская пропагандистская машина производит сейчас более утонченную и интеллектуальную антикоммунистическую литературу. Этим заняты высококвалифицированные специалисты. В Индии и на Цейлоне появляются внушительные фолианты по теории метапсихоза и по оккультным наукам, публикуемые иждивением американских психиатров и оккультистов. Можно предположить, что большинство авторов этих трудов всерьез увлекается всеми этими оккультными предрассудками, но я подозреваю американские пропагандистские организации в использовании даже этого мракобесия для распространения своего влияния.

3. Писатель должен рассматривать жизненные вопросы, не упуская из виду условия, которые исторически сложились в его стране. Но в то же время писатель обязан сочетать свое понимание национальной ситуации с универсальными проблемами человеческой свободы, социализма и гуманизма.

Развитие марксистской философии, возникшей на основе индустриальной цивилизации Западной Европы, за последние полвека определило ее влияние на культурную и социальную жизнь народов Востока. Заслуга здесь принадлежит главным образом ленинизму.

В странах Востока, где пролетариат как класс развивается в особых условиях, роль писателя и художника сложна и трудна. Писатель должен противостоять нападкам не только империалистической печати, он должен бороться и с теми, кто, именуя себя марксистами, действует с позиций маоизма.

Мы живем в эпоху распространения социализма по всему Востоку, и нам важно охранить марксизм-ленинизм от всевозможных его пропагандистских лжеинтерпрета-

ций, которые способны только поощрить политический оппортунизм — противника социализма в развивающихся странах и союзника реакции. Долг писателя — бороться против всего, что тормозит продвижение стран Востока по пути независимости и социализма.

Martin Wickramasinghe

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ (Болгария)

Видоизменение среды в эру технической цивилизации неизбежно будет влиять на видоизменение человеческой природы, на формирование нового человека, соответствующего новой жизненной среде, другой эстетике, строю души и морали.

Литература, занимающаяся душой человека, а точнее, «очеловечиванием» человека, не только не может оставаться безразличной к новым процессам, но призвана принять в них живое участие, чтобы при этих бурных переменах человек не был механизирован, слишком «упрощен», сохранил свою индивидуальность и сущность.

Проблема еще и в том, чтобы держать в руках силы материального и технического прогресса, подчинить его человеческому началу, большим гуманным целям, не допустить, чтобы человек превратился в беспомощный придаток самоцельно существующей бездушной и в конечном счете бессмысленной цивилизации.

Новый социальный строй вызывает у нас переоценку нравственных, духовных ценностей — это сложный и очень важный процесс, который в значительной степени должен идти под воздействием искусства, в частности — художественной литературы.

Я не могу до конца представить себе социальное совершенство коммунизма, если люди не перестанут быть рабами своих инстинктов. С этой точки зрения одна из важнейших задач литературы — участие в борьбе с человеческими инстинктами, за преодоление их свинцовой тяжести.

В наше время, когда технические возможности истребления людей так мощны, литература получает дополнительную задачу — облагораживая человеческую мысль, содействовать миру всеми способами и средствами, которыми она владеет.

Всего этого, мне кажется, достаточно, чтобы считать, что литература сегодня играет важную роль, которая в будущем еще более возрастет.

Ник Хайтов

МИХАИЛО ЛАЛИЧ (Югославия)

1. Я считаю, что литература в современном обществе не имеет никаких особых, новых задач, то есть она не освобождена от задач, которые общество ставило перед ней прежде. Литература должна поучать, развлекая, то есть ставя вопросы и подводя читателя к их решению.

От таланта и культуры писателя зависит, сможет ли он поставить значительные вопросы и уловить, в каком направлении пойдет их решение. При этом литература должна быть одновременно изображением жизни и критикой: изображением жизни поддерживать непрерывный интерес, а критикой нравов и обстоятельств ускорять движение в сторону прогресса.

2. В течение известного периода времени литература еще будет давать пищу для киноиндустрии и телевизионных программ, затем она будет сменена иной техникой информации.

3. В наши дни задача писателя и художника, как и раньше, заключается в том, чтобы пробуждать гуманные чувства — поддерживать борьбу против насилия и несправедливости.

Михаило Лалич

Критика

Е. КНИПОВИЧ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ

Международные конгрессы деятелей культуры в 30-е годы были иными по профилю, чем большинство писательских встреч наших дней. Вопросы, которым они были посвящены, носили более общий и более политический характер.

Амстердамский конгресс в защиту мира, 1932 год. Нет, А. М. Горький не смог произнести свою речь с трибуны конгресса: советская делегация, в которую входили он и Е. Д. Стасова, не получила виз от голландского правительства. Но в собрание сочинений Горького входят строки, озаглавленные «Делегатам антивоенного конгресса — речь, которая не была произнесена». «Я говорю,— стоит в этой непроизнесенной речи,— о тех подлинных творцах общечеловеческой культуры, которые считают деяние основой познания, глубоко чувствуют поэзию труда, о людях, которым человечество обязано неоспоримыми ценностями науки, искусства; я говорю о людях, которых не соблазняет грязный рай буржуазии, о людях, которые хорошо видят, как нищенски бедна творческой энергией современная буржуазия, как отвратителен созданный ею быт и как она отравляет, разлагает массы — резерв творческой энергии...»

Непроизнесенная речь по самой своей сути была неразрывно связана с речами, со всей деятельностью организаторов конгресса. Ромен Роллан, Генрих Манн — великие писатели и демократы — отдали много времени и сил этой замечательной акции. Но душой конгресса, борцом за ясность и последовательность всех его решений был Анри Барбюс — боец и впередсмотрящий армии мастеров культуры стран капитализма, вставших на путь борьбы против угрозы фашизма и войны. Когда одну за другой перечитываешь речи наших делегатов на конгрессах в защиту мира — в 1935 году в Париже, в 1937 году также в Париже, куда конгресс перекочевал из фронтовых городов республиканской Испании,— становится до конца ощутимым то братство передовых деятелей мировой культуры, которое роднит «Слова борца» Барбюса, «Ненависть» Генриха Манна, «Трагическую Америку» Теодора Драйзера, публицистику Ромена Роллана. Голос советских писателей поднимался при поддержке мощных голосов подлинных деятелей культуры других стран.

«Великий вихрь созидания нового общества идет по Советской стране. Это воздвигаются не только корпуса фабрик или гидростанций — это строится колыбель новой лирики, новой поэзии. Великий оптимист стоит за станками страны, за рулем ее пароходов и самолетов, за рулем тракторов и танков, охраняющих границы. Этот великий оптимист — человек сегодняшнего дня... Поэзия наша мужественна, но не шовинистична, она не зовет к покорению чужих стран. Она не знает темы лишнего человека, изгнанного из общества, человека, не нужного жизни...

Оптимизм! Он не кумир, не механический идол, требующий официального фимиама. Он выразитель лучших движений сегодняшнего здорового социалистического человека».

Это из речи Н. Тихонова, молодой, боевой, взбудоражившей «высокое собрание»— Парижский конгресс (1935),— участники которого понимали «защиту культуры» не всегда одинаково и в некоторой своей части чурались самого понятия «исторический оптимизм».

«Я очень хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство: книги наших молодых писателей, наши новые фильмы, театр, музыка, живопись носят оттенок, я бы сказал, мужественности. Это не та мужественность, как ее понимают в некоторых странах, где государственный режим строится на культе насилия... Моральная упругость, мужественность веры в будущее, мужественность оптимизма, мужественность

дружбы народов СССР и окрашивает наше искусство». Это слова одного из членов советской делегации на Парижском конгрессе 1937 года, Алексея Толстого.

Пусть не посетует на меня читатель за длинные выписки, повествующие о делах давно минувших дней.

Но если сейчас мы захотели бы найти нечто вроде «общей формулы» наших писательских международных встреч, дружеских, а порою и не совсем дружеских споров, «точкой отсчета», как мне кажется, и должна стать та традиция, которая воплощена в приведенных мною отрывках.

Интернационализм и сознание высокого долга советского патриота, уважение к чужой культуре и заслугам и гордое ощущение того, сколько «весит» на весах истории звание гражданина первой страны социализма,— вот с чем поднимались на международную трибуну наши «старшие», в большинстве участники революции и гражданской войны, первые строители литературы социалистического реализма.

■

Да, сейчас встречи и конференции писателей стали постоянной формой культурного общения между странами и континентами. Более разветвленный характер международных связей общественных организаций Советского Союза, естественно, обусловил то, что чисто писательские встречи бывают иногда посвящены и чисто литературным вопросам — задачам лирической поэзии или романа в наши дни, образу современника в литературе той или иной страны и т. д.

Любопытно, однако, другое — как часто на этих встречах разговор выходит за рамки чисто «технологических» и «эстетических» проблем: согласие, несогласие, *сущность спора* раскрываются в своем философском, моральном, политическом аспекте. Я отнюдь не хочу уменьшить значение того огромного вклада, который вносят в такого рода встречи прогрессивные писатели стран капитализма. Славные традиции великих мастеров культуры, друзей и современников Горького, по-прежнему живы в этих странах. И все же ведущим в деле четкой и острой постановки и решения основных идеологических проблем, как правило, бывает «сектор» социалистических стран.

Примеров, несомненно, можно было бы привести очень много, но мне думается, что если говорить о встречах, так сказать, «нового времени», то весьма показательной и значительной была та встреча писателей Европы, которая прошла в августе 1963 года и была посвящена проблеме романа.

Причин тому было много. Значительность встречи определило и то, что в ней участвовало немало крупных и талантливых гостей — прозаиков и поэтов разных стран Европы. Не менее важным было и то, что большую советскую делегацию на трибуне речами представляли Федин и Шолохов, Леонов и Эренбург, Твардовский, Сурков, Симонов, Гранин, Анисимов, Рюриков. Существенным было и то, что встреча эта происходила в городе Ленина, колыбели Октября, городе-герое, память о военной судьбе которого — грозной и прекрасной — вновь и вновь вставала перед глазами его гостей.

И естественно то, что первый из мастеров культуры, вышедших на трибуну с развернутым выступлением, К. Федин, вернулся в нем ко дням Октября, к декретам Советской власти в области культуры, к общим положениям о становлении и сущности советской литературы и долге советских писателей.

«Почему говорю я все это в то время, как тема нынешней встречи писателей Европы — роман? — спрашивал аудиторию К. Федин.— Можно ли надеяться сколько-нибудь результативно разрешить спор о романе, опираясь только на представления о романе самих романистов? Дискуссия, как бы она ни развивалась, сводится к вопросу о месте или роли романа в истории и в современности. Она может привести и к спору с самой историей. Но и в таком случае романисты будут лишь одной стороной. Другая будет молчать. Что же это за молчальник? Очевидно, читатель романов, поскольку он представляет собой субъект истории не в меньшей мере, чем романист».

И, несомненно, как бы «замкнуто», «внутрилитературно» ни звучали тогда на дискуссии некоторые мнения о романе самих романистов, отгораживающие форму и прием от «несущественного» с их точки зрения содержания,— у этого аспекта спора с историей есть свой определенный идеологический смысл, имеющий прямое отношение к проблеме субъекта истории, о котором говорил К. Федин.

И, забегая несколько вперед, мне хочется вспомнить ту «общую формулу», вытекающую из всего многообразия мнений, которую к концу дискуссии вывел в своем выступлении И. Анисимов: «Человечество вступило в эпоху великих изменений. Однако современная западноевропейская литература в значительной мере охвачена недоверием к человеку, что отражается в романе. Уже в этом зале разгорелись жестокие споры о том, в каком отношении к человеку находится современный роман и каков этот человек... Попробуем назвать основные пункты спора. Социалистическое понимание человека проникнуто уверенностью в его силах и безграничности его возможностей. Оно мажорно и отвергает мрак одиночества и отчаяния, который так часто нависает над западным романом нашего времени... Мы за цельность человека, за человеческую масштабность, против ущербности и психологического измельчания. Мы против иррационалистической трактовки действительности и человеческого переживания».

В этой речи, а также и в речи К. Федина было названо имя Горького, как первого из «отцов» литературы социалистического реализма.

Во время работы этой конференции

можно было наблюдать и еще одно — не только огромные различия взглядов, творческих принципов, философских основ, но и вдруг проявившееся сходство в оценке важных проблем творчества у писателей разных стран, убеждений и творческих индивидуальностей.

«Сходство» это вдруг появлялось, когда в игру вступало то, о чем всегда говорили выходившие на трибуну деятели литературы социалистического реализма, там, где тезис об «автономности» и «имманентности» искусства наталкивался на столь «старомодные» и «детские» категории, как совесть, ответственность, долг художника перед историей и человеком, короче — когда речь заходила о том, что апостолы «чистого» и автономного искусства презрительно именуют «политикой» или еще чаще «моралью».

Нередко — говорю это не только как сторонний наблюдатель, но и как участник многих бесед с представителями буржуазной интеллигенции капиталистических стран (в том числе и на Ленинградской встрече писателей в 1963 году) — мысль о неразрывности этических и эстетических основ творчества вызывает даже более бурную реакцию, чем прямая «политика».

«Моральность искусства» для множества высоколобых интеллектуалов Запада — это некий «троянский конь», с помощью которого в «автономные зоны» искусства может с наибольшей легкостью проникнуть коммунистическая идеология.

Как только в речах собеседника такой интеллигент Запада почувствует привкус «морали» реакцию его по прямой аналогии можно сравнить только с реакцией «воспитанного» расиста, узнавшего, что в жилах гостя, которого он считал расово полноценным, есть примесь негритянской крови.

И все-таки с моралью в наши дни высоколобому западному интеллектуалу, который не хочет «потерять лицо», управиться не так просто. Может быть, прежде всего потому, что естественное человеческое чувство не позволяет ему сказать, что заживо жечь детей и стариков, отравлять посевы, насиловать, грабить — это похвальное занятие. И тут происходит любопытнейшее расчленение искусства и морали, весьма наглядно сказавшееся, например, в творческой и политической позиции представителей французского «нового романа» в период алжирских событий, о которой в Ленинграде говорил Бернар Пенго. Ратуя за абсолютную имманентность и автономность сферы искусства, последовательно защищая эстетику чистой формы, деятели «нового романа» вместе с тем ставили подписи свои под манифестами прогрессивных организаций.

И это, я бы сказала, даже еще вполне безобидная манипуляция в деле «налаживания отношений» ревнителей «чистого искусства» с моралью и политикой.

Во многих других случаях мы имеем дело с явлениями гораздо более печальными. Возрастание роли нравственных начал в жизни социалистического общества по вполне «реалистическому» ощущению противников социализма делает еще более широким и опасным для реакции всех видов фронт наступления коммунистической идеологии. Отсюда разнообразные формы идеологической самообороны буржуазной реакции, связанные именно с вопросами морали.

И речь тут должна идти не только о проповеди и культе насилия — от радио-, теле-, киномордобоя и вспарывания животов до потока броско оформленных книг, на все лады воспевающих личность и творчество маркиза де Сада. Нет, речь должна идти и о попытках оторвать мораль от ее социального и исторического воплощения, сделать ее некой абстрактной и внесоциальной сущностью. И тут идеологи погрубее скорбят о судьбе «бедных» палачей-эсэсовцев, которые уже многие годы вынуждены пребывать вдали от фатерланда в джунглях Амазонки, или о старике Гессе, единолично населяющем крепость Шпандау. Ренегаты марксизма вроде Эрнста Фишера и Роже Гароди также вносят свою более ценную лепту в дело разобществления морали и выхолащивания ее подлинного содержания. Дистиллированную мораль ведь так легко привязать к «боженьке», а затем с позиций фидеистической морали клеветать на компартию и строителей коммунизма.

Я думаю, что точное соотношение этики и эстетики в том «исповедании» своих взглядов, с каким художник выходит на трибуну, зависит от «корневой системы» его личного опыта, от *историзма* его мировоззрения и творческого пути.

Так, весомость слов К. Федина и Л. Леонова, поднимавшихся на трибуну во время Ленинградской встречи, определяло и то, что они создали сами — от романа «Города и годы» до «Первых радостей» или от «Барсуков» до «Русского леса»,— а также и сумма поступков, составлявших общественную биографию этих мастеров литературы социалистического реализма от дней гражданской войны и до времени строительства коммунизма. Оба они могли достойно и по праву опереться на весь боевой и трудовой опыт нашей литературы, неотделимый от великих завоеваний классики, не только национальной, но и мировой.

■

Из всего этого отнюдь не следует, что деятели культуры стран социализма и представители литературы капиталистических стран вели свой разговор по принципу «стенка на стенку» или — как сказал один из участников встречи — что порою спор становился диалогом глухих.

Мнение это энергично и справедливо опровергали самые разные участники дискуссии. И действительно, когда сейчас из семилетнего далека вглядываешься в «карту» этого диалога, становится очевидным, насколько сложными, извилистыми были линии границ между различными мнениями, как порою границы проходили даже внутри выступления того или другого участника диалога. Тут и проявлялось то неожиданное сходство, о

котором я говорила, сходство, основа которого всегда лежала глубже, чем область «технологии» и чисто литературных интересов.

И тогда Энгус Уилсон — член английской делегации, весьма далекий от революционной идеологии,— самым резким образом опровергал теорию формалистической игры, «кольцевого творчества», плод которого в конечном счете должен стать всего лишь произведением о произведении.

Опыт жизни художника, страсть, боль, свой личный кризис, связанный с явлениями времени,— вот откуда, по мнению английского писателя, рождается произведение искусства. И другой из членов английской делегации внес неплохую поправку в слова Тибора Дери, который, взяв пример из истории, весьма изящно развил тезис о «релятивности» идейного и политического содержания любого произведения искусства.

Так, по его мнению, писатель-англичанин, изображая битву при Азенкуре, мог бы высоко поднять подвиг английского солдата — победителя французов. Но точно так же писатель-француз мог бы не менее убедительно изобразить и подвиг солдата-француза, пусть побежденного врагом.

Возражение последовало неожиданное и весьма любопытное. Абстрактный тезис был сведен с «неба» теории на землю практики. Династическую войну изобразил во второй части хроники о Генрихе IV Шекспир. Более того, он несомненно стремился поднять образ полководца победоносной армии—принца Генриха, будущего короля Генриха V.

Однако искусство — коварная вещь, и для читателя на века от хроники этой остался в памяти и сердце не династически высокий образ полководца, а толстобрюхий и беспутный Фальстаф, который во время битвы притворился мертвым — дабы не быть убитым из-за династических распрей.

Не менее интересно и то, что из рядов писателей капиталистических стран — опять-таки далеких от марксизма и коммунизма — раздался вежливый, но и настойчивый протест против утверждения, что «отцы» современной литературы — это Кафка, Пруст и Джойс. Когда тезис этот выдвигал Джанкарло Вигорелли, расторопный администратор, возомнивший себя идеологом,— это было понятно. Но в устах писателей и критиков — Алена Роб-Грийе или Бернара Пенго — это звучало весьма странно. Потому что первое, что здесь увидит даже не критик и не писатель, а просто внимательный читатель,— это огромное несходство этих трех, несомненно, значительных художников, различие исторических, национальных, философских, эстетических предпосылок, лежащих в «корневой системе» их творчества. Объединение их в одну «обойму» в ряде случаев свидетельствовало о весьма несолидном стремлении доставить некоторую неприятность сторонникам реализма вообще и социалистического реализма в частности. Об этом говорили многие участники спора — Б. Рюриков, Овидио Крохмэлничану, Иржи Гаек, давший точную формулу «догматики модернизма», которая «беспочвенно» объединяет самые разные явления и творческие манеры.

В иных же более печальных случаях — заклинание «Джойс, Пруст, Кафка», как мне кажется, было следствием того, что в творческой практике и творческом кредо писателя или критика была сознательно разорвана связь с «корневой системой» национальной культуры, с ее лучшими, народными и подлинно гуманистическими традициями.

В свое время Ален Роб-Грийе поведал «городу и миру» о том, что искусство есть чистый прием и создается ради «приема». Так, «Мадам Бовари» Флобер написал якобы лишь для эксперимента, призванного доказать, что произведение может держаться одной лишь сослагательной глагольной формой.

В дни Ленинградской встречи, чтобы вернуться к этому же тезису, Ален Роб-Грийе выбрал другой, более близкий по времени и неклассический пример. По его словам, повесть Камю «Посторонний» существует лишь как эксперимент с одной из форм прошедшего времени.

Я не занималась анализом текста ни «Мадам Бовари», ни «Постороннего». Но я убеждена, что действительно все глагольные формы в обоих случаях использованы сознательно и последовательно.

Но еще более твердо я убеждена в том, что любое время глагола — это один из тех десятков или сотен элементов формы—больших и малых,— с помощью которых писатель воплощает содержание: мысль, чувство, понимание жизни, истории. И оставляя в стороне вопрос о «Мадам Бовари» — доказательство того, что Флобер писатель-реалист, носило бы несколько комических характер,— следует сказать, что «Посторонний» живет, конечно, не как эксперимент с глагольной формой и написан не ради нее. Значительной делают повесть те исторические и социальные черты современного капиталистического общества, которые в ней сквозят,— отчуждение атомизированной личности, механистичность и лицемерие всех законов и установлений буржуазного государства.

Теоретик нового романа Бернар Пенго попытался дать творческой практике своих «подшефных» некоторые общие обоснования. Да, конечно, романы этого направления лишены социального содержания, говорил он. Да, конечно, роман ушел в самого себя, и мы присутствуем при рождении, при становлении романа, который затем не будет развиваться, не превратится в «историю с персонажами», а будет вращаться, так сказать, вокруг самого себя, становясь, в конечном счете, романом о романе.

Впрочем, Бернар Пенго и сам ощущал, что позиция «новороманистов» уж не так неуязвима. Но *вину* за «асоциальность» и воинствующую защиту «автономного» и «субъективного» искусства Пенго возложил на исто-

---

Е. КНИПОВИЧ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ

рию, которая, вызвав общие восторги, связанные с победой над фашизмом, затем обманула, «травмировала» хрупкие индивидуальности подлинных жрецов искусства, не преподнеся им тут же, на блюдечке некое новое небо и новую землю, и тем самым загнала их в «башню из слоновой кости».

Я прекрасно понимаю, что «герметизм», хотя это и не лучший вид взаимоотношений с исторической действительностью,— все-таки явление отнюдь не простое и не однозначное. В условиях реакционной диктатуры для художника, не способного на ту или иную форму борьбы, «герметизм» действительно может стать способом «консервации» неких культурных ценностей. Но мне думается, что такой вид герметизма скорее принадлежит прошлому, пусть сравнительно недавнему. Сейчас, после второй мировой войны, когда возник мощный социалистический сектор, когда сотни миллионов граждан всех континентов и всех цветов кожи борются за свое будущее, когда самые богатые и мощные страны капитализма буквально содрогаются в накале классовых боев,— об историческом разброде и обманутых надеждах может говорить только безнадежный «пошехонец», который вряд ли способен что-то «сохранить» или «возродить». Читатель? Зритель? Конечно, в любой стране капитализма он найдется. Но думаю, что «родовые черты» этого потребителя утонченного модерна давно, больше пятидесяти лет тому назад, определил большой русский художник Александр Блок. Оставляя в стороне вопрос о новых читателях и зрителях, чей облик еще чуть наметился в конце лета 1918 года, когда написана статья, А. Блок делит массу старого интеллигентного читателя, наследия буржуазно-помещичьей России, на большинство («тех, кто так утомлен и озабочен борьбой за существование, все растущей по мере роста вавилонской башни цивилизации, что воображению почти не остается места в их запуганной душе») и меньшинство — тех, которые «страдают, напротив, расстройством воображения. Это какая-то особая болезнь нашего времени, довольно необычная, но, однако, столь распространенная (в городах, конечно), что о ней стоит говорить. Это — любители всяких искусств, которые сами не обладают творчеством, но сосут, как упыри, кровь из художников, выжимают из произведений искусства всех времен все соки, какие способны выжать, исключая единственного и главного — того, что им недоступно. Это заказчики, диктующие художественные вкусы, требующие от художников все нового и нового, истощающие вдохновение того художника, который вздумает их слушаться. Это — умные, тонкие, несчастнейшие в своем роде люди, ненасытные, больные, нищие при всем богатстве своих вкусов, а иногда и знаний, жалкие в своем искании все более экзотического и пряного». Это печальное меньшинство, по мнению Блока, любит *«разоблачение художественной техники»*. Им нравилось бы, полагает он, «чтобы стихи печатались в виде ритмических и метрических схем, формул, будто бы возникающих в мозгу у поэта». «Я думаю, что считаться с этими людьми было бы преступлением,— заканчивает свою характеристику Блок,— по-человечески их положение трагично, но в глазах художника — они комичны».

За пятьдесят три года, прошедшие с того времени, как была дана эта характеристика, слой потребителей «пряного» — в том числе и герметического — искусства стал и несколько шире и несомненно много вульгарней, что объясняется диалектикой роста «вавилонской башни» современной капиталистической цивилизации. Формулами и схемами вместо стихов сейчас уже никого не удивишь. И не случайно Бернар Пенго говорил о том, что искусство должно не только будоражить мысль, вызывать изумление, но даже и шокировать — не уточняя, кого и каким образом. Мне же думается, что точность в этом вопросе крайне необходима. Ведь даже изумлять можно по-разному. Недаром смысл этого глагола в первоначальном его значении Даль определяет следующим образом — «изумлять — сводить с ума, лишать рассудка». И шокировать можно по-разному. Несомненно, Маяковский на вечерах в Политехническом музее шокировал своими ответами неосторожных нэпманов, которые пытались состязаться с ним в репликах. Шокировал какую-то часть аудитории двадцатидвухлетний тоненький Есенин, который, закинув золотоволосую голову, восклицал:

Небо, как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя, Родина,
Я — большевик.

И, несомненно, до крайности шокировал интеллектуально утонченных поклонников «рыцаря Незнакомки» автор «Двенадцати» — Александр Блок, чья поэзия вышла на просвистанные вьюгой ночные улицы Петрограда, навстречу занимавшемуся уже «мировому пожару». Если же художник хочет шокировать *внутри* замкнутого и автономного ряда того или иного искусства, то в лучшем случае получится Сальвадор Дали, а в худшем — «смелость» некоторых пьес буржуазного театра, в которых «герои» обоего пола в совершенно неодетом виде должны по ходу действия сбегать со сцены в партер и с размаху садиться на колени зрителей.

Я думаю, что в такого рода продукции эксперимент, «чистая форма» действительно носят первичный и самодовлеющий характер.

Другой вопрос — какие «дали», какие горизонты открывает такого рода искусство для нашего современника.

Опасность превратить литературу и искусство в шутовскую погремушку, чей звон щекочет слух «сытых», достаточно реальна для всех видов творчества, которое остается в замкнутом ряду «формы» и «приемов».

Весьма характерно, что с утверждением тезиса о вторичности формы, о содержании как «ведущем» в диалектическом единстве произведения искусства выступили на Ленинградской встрече писатели и критики разных стран, направлений, эстетических взглядов. Зачин этой темы прозвучал уже в речи Федина. «Отношение художника к форме вытекает из признания ее производности от материала, взятого художником... Любой спор в области эстетики необходимо приводит к столкновению мировоззрений, потому что видение мира только и побуждает художника избрать тот, а не другой материал для своего произведения».

И опять-таки крайне далекий от нашего мировоззрения и эстетических взглядов Энгус Уилсон рассказал о том, как приступает он к решению новой творческой задачи: «Каждый раз это у меня происходит по-новому, потому что каждый раз я приступаю к созданию нового мира. Здесь не помогут формальные рецепты, будь то традиционные или, как говорят, экспериментальные, ведь стоит сформулировать принцип эксперимента — и он тут же становится штампом».

Правда, слова эти Уилсон сопроводил разумной оговоркой: «на позиции Руссо» он не стоит и считает нечестным умолчать о том, чем он обязан учителям своим — от Ричардсона до Томаса и Генриха Маннов.

Еще убедительнее определил существо «наивного модернистского догматизма» в своей речи Иржи Гаек. «В противоположность эстетике «нового романа» проблема для нас состоит не в том, чтобы любой ценой отрицать все выразительные средства так называемого традиционного романа. Мы согласны с мнением Хуана Гойтисоло, писавшего, что до тех пор, пока он искал только оригинальную форму, ему приходилось жертвовать достоверностью ситуаций и персонажей в своих произведениях».

Недиалектический спор о том, «что главнее — форма или содержание», за рубежами нашей страны не утихает и по сей день. И может быть, полезно, отвлекшись от ленинградских воспоминаний, еще раз напомнить о том, что даже, так сказать, классики новаторства, такие, как Маяковский, весьма осторожно и мудро относились к вопросу о форме и содержании, утверждая, что «искуснейшие формы останутся черными нитками в черной ночи, будут вызывать только досаду, раздражение спотыкающихся, если мы не применим их к формовке нынешнего дня — дня революции».

Может быть, еще более любопытно то, что новатор — с совсем другого края огромной карты советской поэзии — Борис Пастернак не менее категорически сказал о том же. Оценивая поиски новых форм в работах Андрея Белого, Хлебникова, Б. Пастернак признается: «Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задумываться и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов». Пример такого новаторства — для Пастернака — творчество Шопена.

Обращаясь к вопросу о рождении формы, новой и по приемам, Б. Пастернак опять-таки говорит о ведущей роли содержания. Это «новое всесторонне» произведение вступает в мир тогда, когда «кто-нибудь открывает рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать. Это производит впечатление переворота, точно распахивают двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было с Блоком».

Связь с жизнью, долг перед народом и историей, вера в человека и в его неограниченные возможности — такого рода «внеэстетические категории» были подняты на Ленинградской встрече в споре со сторонниками «автономии искусства» не только писателями социалистических стран Европы и не только писателями-коммунистами стран капиталистического мира.

И за всем многообразием этих философских, моральных, социальных категорий вставал тот спор мировоззрений, о котором говорил Федин, вставал вопрос о поведении творческой личности писателя (если воспользоваться словами М. Пришвина) или еще короче: старый и краеугольный для великой русской литературы вопрос — о художнике и гражданине, о назначении поэта в наше сложное и грозное время.

Стремление напугать безудержным и неуправляемым ростом цивилизации, «угрожающим» развитием науки стало уже почти стандартным в работах многих философов и социологов, в творениях многих поэтов, драматургов, романистов «свободного мира». Трезвое отношение в социалистических странах к этой кампании запугивания вызывает те упреки в «казенном» или «розовом» оптимизме, на которые не скупятся некоторые деятели культуры зарубежных стран.

Между тем *на деле* об угрозе, которую несут с собой «неуправляемые процессы» в мире капитализма, с наибольшей прямотой и точностью говорят именно ученые и художники социалистического мира или близкие к ним по своим взглядам деятели любой точки земного шара.

Конечно, разговор такого рода направлен не к тому, чтобы заставить человека смириться перед неотвратимостью гибели, а к тому, чтобы все силы и средства, доступные человеку и человечеству, были брошены на борьбу за предотвращение возможных и страшных бед.

В свое время — в 30-е годы — мы в кругу товарищей условно называли «скифской темой» (от «Скифов» Блока) это стремление советских художников пробудить дремлющую совесть деятелей культуры «старого мира», привлечь внимание народов зарубежных стран к опасностям фашизма и войны. Это «скифское» предупреждение прозвучало

Е. КНИПОВИЧ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ

«во весь голос» в ленинградской речи Л. Леонова — естественно, несколько иначе, чем это бывало в 30-е годы, потому что те беды, которыми грозит сейчас историческая безответственность, несравнимы даже со всеми опасностями и трагедиями 30-х и 40-х годов.

Мне довелось слышать это выступление одного из старших наших мастеров. Тема — писатель и гражданин, назначение поэта — была в ней поднята, я бы сказала, на космическую высоту.

Конечно, звучал в ней и тот законный сарказм, с каким только и можно трактовать попытки иных деятелей культуры спрятаться от исторической ответственности в эротику, мистику или формалистическое штукарство. С «чистой формой» Л. Леонов обошелся довольно сурово: «Не состоит ли эта чистая формальная новизна из открытия сущих пустяков, из игры в очаровательные мнимости, из всяких полуосязаемых ощущений, из мелочных и до такой степени социально сомнительных страстей, что иной читатель берется за эти книги не из потребности утолить душевную жажду... не из стремления вернуть себе поколебленную веру в ценности человеческого существования, а главным образом из гурманской или даже несколько худшей любознательности» .

Не менее твердо присягнул Л. Леонов той моральной традиции, той многодесятилетней привычке «ставить в строку» каждое антиэтическое «лыко», привычке, перешедшей в нашу советскую литературу от традиции классики, и прежде всего русской классики.

«Прошу извинить мне своеобразно направленный и, может быть, излишне образный строй мышления. Как давно и глубоко шутят на Западе, в нашей стране буквально каждая мошка принимается всерьез... Но, уверяю вас, после всего того, что мы вынесли в своей истории, мы имеем право относиться к будущему с особой ревностностью и настороженностью.

В силу этого мне хотелось бы кулуарно спросить у некоторых участников данной ассамблеи: все эти весьма подозрительные признаки — измельчание литературной личности, поразительный рост преступлений, падение общественных устоев, вырождение древних табу, этих незримой стали моральных обручей, в которых держится человеческое общежитие, растление веры в золотой век и торжество человеческой правды, этот гнилой, все более распространяющийся цинизм, выдающий себя то за скепсис снобов, то за юмор отчаяния,— не симптомы ли все это?» И далее, верный своей тяге к обобщениям, Л. Леонов помянул библейский город Содом, спаленный серным дождем, при помощи которого во имя «древних табу» расправился с нечестивыми разгневанный господь бог.

Реакция на слова русского мастера той (и сравнительно небольшой) части аудитории, к которой был обращен «кулуарный вопрос», оказалась достаточно неожиданной. Наиболее последовательные отрицатели «моральных обручей» вдруг обиделись на то обвинение в попрании этических норм, которое содержалось в словах Леонова. Причем обида эта носила весьма забавный и, я бы сказала, «гибридный» характер. Некоторые участники ассамблеи выразили стандартную досаду на то, что опять эти русские носятся со своей моралью. Но наряду с этим в выступлениях тех же участников звучала и совсем филистерская обида: уж вовсе мы не такие безнравственные. Эта часть аудитории, как говорится, пропустила мимо ушей и грозное, и весьма убедительное предупреждение, к какой катастрофе может привести та глухота и слепота, с какой достаточно широкие слои населения стран капитализма относятся к «неуправляемым процессам», происходящим в этой части нашей планеты. Обезвредить выступление Леонова ораторы этого направления попытались с помощью обходных маневров.

Воспользовавшись защитой «Ave Maria» от джазово-синкопических посягательств, а также и тем, что, по старой и великой традиции русской литературы, Леонов установил родство между гражданским долгом художника и пророка, ему стали приписывать морализирование религиозного характера, по поводу приверженности к которому каждому уважающему себя гражданину современного индустриального общества остается только пожать плечами.

К счастью, мудрая и справедливая аналогия эта, утвержденная в русской литературе уже Пушкиным и Лермонтовым, «пришлась по душе» большому кругу слушателей, а также впоследствии и читателей этой речи.

Думаю, что с той же, если не большей, остротой и убедительностью звучит эта «общая формула» назначения поэта и сейчас, в наши дни.

«В те отдаленные времена, приблизительно на том же уровне распада цивилизации суровые, обличающие пророки зарождались в народах, и потом босые, простоволосые идеи разгневанно, с мечом и факелом в руках врывались в действительность, чтобы произвести необходимую санитарную чистку.

Природа слишком много потратила надежд и усилий на человека, чтобы так запросто и по-собачьи дать ему сдохнуть на земле... И если у римлян словом vates обозначался одновременно и пророк, и поэт, то не надлежит ли всем людям нашей профессии в связи с вышеуказанным возложить на себя коренные наши хлопотливые, может быть мученические, но вполне благородные обязанности».

Нет, я думаю, что читатель не посетует на меня за то, что я перевернула одну страницу недавнего прошлого, которая свидетельствует о том, с какой силой и убежденностью звучит голос советских деятелей культуры и прогрессивных художников Европы в идеологической борьбе современности, как сложны и извилисты в наши дни пограничные линии в этических, философских, эстетических вопросах.

Может быть, к концу стоит еще вспомнить о том, что весьма почитаемые в «свободном мире» идеологи выступали тогда порою с почти анекдотическими заявлениями.

Так, Жан-Поль Сартр с неубедительной наивностью утверждал, что если называть буржуазным писателем Джойса или Кафку, то ведь тогда следует так же определять и Горького: ведь он тоже жил и работал в царской России. И требовать от искусства правдивости смешно. Ведь искусство — ложь по сущности своей. И когда писатель пишет: «Было пять часов вечера. Господин имярек вышел погулять», он лжет, ведь господин имярек — его выдумка, и ни по какой улице, ни в какое время он идти не мог.

Если Сартр работал на релятивистском смешении понятий, то «революционарист» Энценсбергер вообще отрицал право понятий на существование — отменив, как говорится в просторечии, чохом понятия «декаданс», «новый роман», «формализм», «социалистический реализм» и все прочее.

Понятия эти, по мнению Энценсбергера,— трусливая выдумка для духовного комфорта обывателей, и их можно волюнтаристически отменить. Ну что ж! Можно вводить их в обиход, например, описательным способом — вроде справки в словаре философских или литературных терминов. Только, пожалуй, от такого способа потянется нить к некой лингвистической школе, изображенной в «Путешествии Гулливера» Свифта: сторонники этого течения считали, что следует отказаться и от понятий отвлеченных, и от наименования конкретных предметов. Вести разговор следует с помощью самих предметов, показываемых собеседнику. Затрудняло практическое применение этой теории лишь то, что, вступая даже в простую и непринужденную беседу, участники ее подвергались опасности быть погребенными под грудой предметов разной величины и веса, которые они приволокли с собой.

Впрочем, за всеми «крайностями» ораторов скрывалось одно и то же — стремление так «раскрасить» понятие реализма вообще и социалистического реализма в частности, чтобы его даже «свои не узнали».

Об этом и сказал, кончая свое выступление в Ленинграде, Б. С. Рюриков: «В старину бывало, что жители города, возмущенные поведением одного из своих сограждан, решали проучить его, но виновник укрывался в соседнем княжестве. Тогда полные гнева граждане сооружали соломенное чучело, покрывали его смолой, проносили по городу с криками и сжигали.

Наказание постигало чучело, а не виновника недовольства. Сегодняшние противники советской литературы обычно воюют с чучелом, которое сами смастерили. Каждый может создать чучело противника согласно своему вкусу и возможностям. Воинственные люди возжигают факелы и испускают крики, но ясно, что к советскому искусству все их возгласы не имеют отношения и что на таком «теоретическом уровне» о серьезных вещах не говорят».

■

С тех пор и у нас и в различных странах мира прошло немало встреч, ассамблей, «круглых столов» (порою и «с острыми углами»), но я лично не помню, чтобы в них участвовал столь большой и мощный отряд прогрессивных деятелей культуры — прежде всего советской.

За последние годы в нашей печати занял прочное место «круглый стол», так сказать, смешанного характера: некоторые участники его действительно сидят рядом, но другие дают ответ на поставленные вопросы издалека — иногда за много тысяч километров. «Круглый стол» и вообще может быть «заочным» — ответы идут со всех концов земного шара, по-разному окрашенные, по-разному глубокие.

Мне могут сказать, что к такого рода материалу определение «круглый стол» не подходит никак: ведь участники его и не спорят и не соглашаются друг с другом, ответы их просто ложатся рядом. Это не так — и соглашаются и спорят. Потому что «спор идет» по всей нашей планете и основной, «эпохальный» спор идеологии социализма и капитализма дает тысячи ответвлений, так как не только социалистическая идеология воздействует на культуру капиталистических стран, но и тонкие «камуфлированные» флюиды идеологии буржуазной порой сбивают с толку прогрессивного писателя капиталистического мира, а иногда «просачиваются» и в творчество писателей стран социализма. Вот почему «ответы» заочного «круглого стола» тоже спорят или соглашаются друг с другом, как *объективно* спорят друг с другом различные произведения литературы разных стран, как спорят между собой и действующие в них герои.

Бывают случаи и еще более любопытные — в спор с автором (если речь идет о подлинном художнике) может вступить и герой, «самодвижением образа» вырываясь из навязанной ему идеологической схемы.

Такого рода «казусы» чаще всего приходится наблюдать в литературе тех высокоразвитых стран капитализма — ФРГ, США,— где особенно обострены социальные и политические противоречия.

Семь лет на весах истории — срок как будто бы ничтожный. Но в нашу эпоху исторический процесс движется так стремительно, драматизм событий нарастает так неудержимо, что «круглый стол» 1970—1971 годов определяет дуновение бурь земных, каких еще не знало человечество в начале 60-х годов. Новые завоевания содружества социалистических стран, мощные выступления рабочего класса стран капитализма в защиту своих прав и интересов, все более бурный темп научно-технического прогресса (со всеми сложностями, вытекающими из положения науки в странах капитализма), преступления американского капитализма в Индокитае, провокации международной реакции, приведшие к известным событиям осени 1968 года,— все это определяет иную, чем в начале 60-х годов, тональность разговора о коренных проблемах литературы. Если, скажем, на встрече 1963 года политика

Е. КНИПОВИЧ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ

в спорах нередко выступала под маской чисто литературных вопросов о примате формы над содержанием, об «автономности искусства» и т. д., и противникам «автономности искусства» приходилось эту маску срывать, то сейчас политика выступает во всех спорах открыто и писатели гораздо чаще говорят о событиях истории, о долге и назначении художника и искусства «в грозной битве наших дней», о сложных отношениях искусства и науки, чем о форме, судьбе того или иного жанра, ритме, рифме и так далее.

Эти новые черты целиком определяют нынешний «круглый стол» нашего журнала. Он был посвящен трем вопросам: роль литературы в современном обществе, будущее литературы, задачи художника в наше время.

Прежде всего необходимо сказать о том, что каким бы ни был характер ответов, во множестве полученных редакцией, везде есть одна общая черта: они исходят от людей, которые не шутят ни идеями, ни своей профессией и в самом основном и решающем споре современности стоят по одну сторону баррикады с мастерами культуры стран социализма.

Вот почему «антагонистических противоречий» в спорах этого «круглого стола» не обнаруживается. А заявления, иногда наивные, которые порой появляются в высказываниях талантливых и прогрессивных писателей, объясняются политической обстановкой в данной стране, особыми условиями работы и жизни.

Активнейший и остроумнейший разоблачитель социальных зол США Арт Бухвальд утверждает, что в этой борьбе писатель не должен соблюдать верность какому-либо флагу. Ну что ж, его можно понять — ведь речь идет о «флагах», украшенных тем или иным «внутрибуржуазным» узором.

Художник-реалист Эрико Вериссимо считает, что писатель не должен связывать себя с какой-либо группировкой, ибо в сегодняшних условиях их пути бывают извилистыми. И его можно понять. Ведь в Бразилии царит реакция, и организация, не идущая извилистым путем — Коммунистическая партия Бразилии,— запрещена.

Конечно, «для всеобщего сведения» можно было бы напомнить о том, что деятель, последовательный в своем отношении к социальному злу, не боится подвергнуть испытанию свою политическую добродетель, что последовательная в своих целях, то есть революционная, организация «просачивается» в любую щелку, открытую для легальной работы — будь то вечерняя школа, библиотека или хоровой кружок,— и что в периоды самой черной реакции партийный публицист РСДРП(б) не гнушался страницами скромно-демократических или совсем нейтральных газет и журналов.

Если человек твердо знает, чего он хочет для себя, своего народа и трех миллиардов, населяющих земной шар,— он в равной мере застрахован и от недолжного компромисса, и от интеллигентских опасений за свою политическую невинность.

В ответах, которые пришли из тех стран капитализма, где политическая обстановка особенно сложна, нередко ощущаются и горечь и тревога. Думаю, однако, что эти «отрицательные эмоции» не идут во вред ни самому художнику, ни его искусству. За ними стоит глубокое отвращение к основам бытия буржуазного общества, ненависть ко всем видам лжи и лицемерия, тревога о судьбах всего мира.

Констатация зависимого, униженного положения писателя в буржуазном обществе звучит в словах художников ФРГ без той ноты морального самодовольства или цинизма, какая нередко слышна в писаниях декадентов-всеотрицателей. Именно против этой якобы «свободы творчества» направлено сухое и горькое выступление Мартина Вальзера. «Внутрибуржуазность» нарциссического самокопания, эксцентрики внешнего поведения — всех шутовских побрякушек «ужасно левых» творцов «ужасно левого» искусства — подвергнуты в высказываниях Вальзера сокрушительной критике.

Положительная программа? Она скромна, но вызывает уважение. Если писатель в буржуазном обществе — раб (так можно перевести на язык формул мысли Вальзера), то прежде всего он должен осознать свое рабское состояние.

Правда, к этому мы могли бы еще прибавить, что «внутрибуржуазность» писателя, задумавшегося о путях истории, жизни общества и смысле своего дела, становится чем-то весьма относительным. И сам Вальзер, какие бы сложные «кривые» ни описывал его общественный и творческий путь, все-таки объективно стал «блудным сыном» буржуазного мира. Причем таким, которому вряд ли дождаться «отцовского прощения» и «упитанного тельца».

Картина идейной жизни буржуазного общества, нарисованная Вальзером, весьма выразительна, но страдает одним существенным недостатком: это мир «сплошного капитализма», каким изображал его Франц Кафка, общество, равно враждебное всем его членам — и угнетенным и угнетателям. Но ведь его — Мартина Вальзера — горечь и боль порождены именно ощущением того, что где-то есть и другой «материк», с которого дует свежий ветер — ветер будущего «Материк», где человеческое общество живет по другим, подлинно человеческим законам.

Я, недолгий гость, видела два с лишним года назад и замершие шахты и заводы Рура, и дождь листовок на улицах Дортмунда и Бонна, и колонны юношей и девушек — студентов, и колонны мальчиков и девочек — школьников, протестующих против «чрезвычайных законов». Что-то непохоже было это на «сплошной капитализм». Кстати, в этот период студенты Кёльна, объявившие всеобщую забастовку, постановили не распространять ее на курс русского языка, который вел советский научный работник.

Тревожно и выступление Кристиана Гейслера. Общество? — спрашивает он. Но о каком обществе идет речь? Тут следует перечисление различных уголков земного ша-

ра — и живущих в мире, и охваченных войной, благополучных и нищих.

Что ж тут ответить? Только то, что сказал один из коллег Гейслера — западногерманский поэт: «Герника — это так близко от Гамбурга». Кроме географической «множественности» есть еще и *одновременность* существования всех стран и континентов, горькая и великая неделимость мира — и это так же хорошо, как и я, знает автор «Холодных времен». И еще существует «диалектика» взаимоотношений прошлого и настоящего: рябь от осколков бомб на стенах в окраинных, нефешенебельных кварталах западногерманских городов, «рубцы» в сердцах и умах сограждан Гейслера — все то, о чем он с такой щемящей болью сказал в своих книгах.

И все это определяет центробежные и центростремительные процессы истории. И тут-то художник и обязан решить, где *самое главное,* в единстве с которым и должна пойти его жизнь и работа.

И это непременным условием входит в ту задачу, которую поставил перед собой Гейслер: «Я, писатель, рассматриваю себя как одного из тех, кто принадлежит к классу трудящихся, кто пытается понять и систематизировать опыт масс, то есть осмыслить его, чтобы двигаться вперед».

Мне кажется бесспорным, что за горечью и отвращением высказываний этих писателей все-таки скрывается неясная для них самих надежда, что «за гранью» их сатиры есть положительное начало, которое и дает им возможность видеть всю глубину социального и морального «зла» в «свободном мире».

И, видимо, на литературу ложится обязанность «дать имя» этой надежде, говорит в своем ответе Зигфрид Ленц. Он воздает должное — высокую хвалу — успехам науки. И вместе с тем показать человека, раскрыть, как время *живет* в нем — в его характере и судьбе,— может только литература. «Выявить истоки царящего всюду горя, объяснить крушение наших планов, найти причину опасений и дать имя надежде — все это ее задача»,— пишет он.

Я думаю, что позиция Макса фон дер Грюна неуязвима с точки зрения непосредственных пропагандистских и воспитательных задач литературы в ФРГ. Он прав во всем — и в оценке литературы «шутов» при буржуазном потребителе, чья «свобода» сведена к формалистическому штукарству, и в требовании от писателя четкой, гражданской, политической позиции, широкой общественной деятельности, и в том пафосе просветительства, которым проникнуто его выступление.

Таким я его и узнала в ФРГ, когда он, между двумя массовыми митингами против «чрезвычайных законов», нашел время прийти ко мне в гостиницу — в красной рубашке, куртке, накинутой на одно плечо, шахтер, забойщик, так похожий на некоторых моих друзей 30-х годов, из которые многие, очень многие сложили головы на полях Испании или в застенках третьего рейха.

В этой хорошей и четкой позиции таится, однако, и одна опасность — опасность «революционного прагматизма». «Корневая система» содержания, идеи необъятна, и, ратуя за сугубую «общепонятность», можно пройти и мимо того, что имеет огромную ценность как раз с точки зрения «просветительства».

■

Одна из характернейших черт очень многих ответов — это острая и тревожная постановка вопроса об отношениях литературы и науки. Научно-техническая революция, триумфальные успехи биологии и физики, отлив творческой энергии в область точных наук — все это не может не стать предметом серьезных размышлений для настоящего художника современности. Надо сказать, что ни один из участников нашего «круглого стола» не делает из науки некой колесницы Джагернаута, которая готова раздавить искусство и вместе с ним все человеческие эмоции. Речь идет скорее о разграничении областей воздействия науки и искусства, методов и сфер исследования действительности. Об этом по-разному — но равно серьезно и спокойно — говорят Пааво Ринтала и Зигфрид Ленц, Чедо Вукович и Владимир Минач, Николае Манолеску, Габор Гараи и Иштван Шимон. Отрицания или хотя бы умаления роли и задач прогрессивной литературы в современном обществе во всех высказываниях самых разных писателей обнаружить невозможно. Другое дело — и об этом мы уже говорили, — что в глазах того или иного бескомпромиссно требовательного художника и сам он, и другие писатели в буржуазном обществе могут не находиться на уровне объективных задач, поставленных перед ними историей.

Когда «нарциссом», «придворным шутом», «рабом» и «предателем» зовет своих коллег (а косвенно и себя самого) тот или иной талантливый художник страны капитализма, понять его можно. Эта несправедливость — от уважения к тому идеалу творческой деятельности, который, пусть не всегда принимая достаточно ясный облик, живет в сознании всех честных художников мира. И, с другой стороны, художник даже прогрессивный, под давлением столь модного за рубежом релятивизма, может, как это делает Гоффредо Паризе, в сущности, поставить нечто вроде знака равенства между потребительской литературой стран капитализма, проводящей идеологическую обработку масс в интересах капитализма, и «идеологически-потребительской литературой» в социалистических странах, заслуживающей, по его мнению, это название, «поскольку она руководствуется не художественными критериями (то есть критериями, рождаемыми индивидуальным чувством), а критериями идеологической пропаганды».

Если Гоффредо Паризе хочет сказать, что и в социалистических странах выходят пло-

---

Е. КНИПОВИЧ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ

хие книги, то спорить тут не приходится. Но бесспорный факт этот не имеет никакого отношения к вопросу об индивидуальных чувствах. В течение всей драматической истории народов Советского Союза и других социалистических стран совпадали миллионы «индивидуальных чувств» их граждан, причем в каждом из них чувства эти были также и глубоко личными. А то, что на Западе презрительно именуют «пропагандой», было обобщением и преломлением этих чувств в индивидуальном сознании художника.

Горше, когда недоверие к путям литературы в своей социалистической стране выражает большой художник социалистического реализма. Так, Владимир Минач и Владимир Достал, в сущности, не видят ничего ценного в том, что создали чешская и словацкая литературы за последние двадцать пять лет. Самая страстность отрицания и, я бы сказала, агрессивная несправедливость оценки показывают, с какой болью и чувством вины и ответственности восприняли они действительно сложные и действительно тяжелые испытания, выпавшие на долю их страны, народа, культуры. Я не берусь спорить с В. Миначем по каждому произведению чешской и словацкой прозы и поэзии, написанному в 40-е и 50-е годы. Напомню только, что именно тогда он, В. Минач, создал свою трилогию и что если и она для него попадает в рубрику литературы «школярской», «неодухотворенной» и т. д., то ни один советский читатель с ним не согласится и от книг его не отступится. И еще мне хотелось бы сказать, что такого «омертвения» культуры «во дни торжеств и бед народных» не бывает. Истинная картина какого-либо периода в истории культуры любого народа всегда бывает и более сложной и более богатой, чем это видит предубежденный (по той или иной причине) взгляд.

Сейчас за рубежом очень принято для поругания литературы социалистического реализма в СССР противопоставлять всему ее развитию одни лишь 20-е годы: «годы Хлебникова», «Про это» Маяковского, «школы формалистов» и т. д. Но ведь на деле-то картина была гораздо пестрее, сложнее, богаче. В эти годы, возвращаясь с фронтов гражданской войны, «детскими еще губами» (А. Фадеев) пытались сказать (и сказали) новое слово многие из будущих корифеев литературы социалистического реализма. И не только они. Иоганнес Бехер, великий поэт немецкого народа и замечательный теоретик социалистического реализма, справедливо говорил о том, что материал, поднятый в книгах молодых писателей, иногда бывает не обработан с должным мастерством, но это «золотоносная руда», и то, что художник, так сказать, учуял, где залегает золотая жила,— уже его заслуга.

Старые газеты, старые тоненькие книжечки 20-х годов непреложно свидетельствуют о том, сколько забытых ныне «горнопроходчиков» поднимали этот золотоносный пласт, из какого многоголосого хора поднялся голос автора «Чапаева» или автора «Железного потока». И если в этот хор порой вступал голос приспособленца или графомана и если не всегда в этом в ту пору можно было разобраться, так что делать? Ведь старое общество не все убежало тогда за рубеж, оно жило и догнивало тут же, среди нас. И как следствие этого (об этом вспоминает Н. Тихонов) в литературе помимо существовавших до революции футуристов, символистов, акмеистов появились экспрессионисты, неоклассики, презантисты — «а там за ними, подобно племени поэтических джунглей, ринулись, ошеломляя читателя, ничевоки, биокосмисты, появились даже кое-каки и обереуты».

Не думаю, что, как можно понять В. Минача, «все» творческие работники Чехословакии вернулись в 60-е годы к буржуазной культуре. И, говоря о 40-х и 50-х годах, не смешал ли он пусть литературно неопытных добытчиков золотоносной руды с начетчиками и приспособленцами? Конечно, приспособленцы кричат очень громко и мельтешат, раздражая глаза. Но ведь художник и теоретик обязаны слышать все — вплоть до «ультразвука», иначе суждения их рискуют стать весьма несправедливыми.

Нет, так сказать, к отдельным словам мы придираться не будем. И если Норман Мейлер, например, зовет измену художника правде и достоинству искусства «оскорблением бога», запишем этого бога в ту же освященную классической традицией рубрику, где уже стоит «божественный глагол» пушкинского «Поэта» или «вечный судия» «Пророка» Лермонтова и другие псевдонимы высоких и достойных преклонения понятий.

И все же кое-что в высказываниях участников «круглого стола» хотелось бы уточнить. Так, в талантливом выступлении Стефана Хермлина нечетко стоит вопрос о воспитательной роли искусства, о воздействии его на жизнь. «Марсельеза»,— говорит он,— это прекрасное стихотворение и прекрасная песня, кажется, захватила, даже вызвала к жизни целую эпоху. В действительности же она была написана три года спустя после взятия Бастилии». Но ведь взятие Бастилии не единственное проявление исторической активности масс в революции 1789—1794 годов. «Марсельеза» родилась в то историческое мгновение, когда была поставлена на карту судьба революционной Франции, когда массы, плебеи встали на защиту ее против иноземных интервентов, несших с собой восстановление королевской власти. «Марсельеза» была гимном борьбы и победы в справедливой, революционной войне, и именно в этом ее непреходящая слава.

Нам кажется также, что функции искусства настолько значительны и многообразны (о чем справедливо говорит в своем ответе Николае Манолеску), что не стоит, как он это делает, возлагать на него еще и функцию современной мифологии, новой «высшей реальности». И другому нашему другу, Никите Стэнеску, хочется сказать, что если в современной румынской поэзии «акцент переносится с поэтического слова на поэтическую напряженность, легче конвертируемую на язык международного распространения», если в ней — поэзии — проявляется

«интерес к своего рода коллажам», особым ритмам и редким рифмам, то причина этого несомненно существует. Однако отнюдь не та (поэзия малого народа должна-де искать и некоторые почти «надсмысловые» средства доходчивости), о которой говорит Никита Стэнеску. И поэту социалистической Румынии можно напомнить, что поэзия Эдуардаса Межелайтиса, например, сына маленькой (всего три миллиона населения) социалистической Литвы, сначала вышла за пределы родной республики, а затем Советского Союза. И то же самое произошло с поэзией Расула Гамзатова. А ведь его народ — аварцы —исчисляется даже не миллионами, а тысячами.

Нет, всех ответов — ярких, существенных для общей картины жизни литературы мира — я здесь коснуться не могу. Хотя в каждом из них живет особый «ракурс» общей правды. Так, в горячем, ярком ответе своем Ана Мария Матуте говорит, что настоящее произведение, как красный свет, останавливает читателя на пути, волнует его, заставляет задуматься о главном. «Надежды и горести народа своего» должен выразить писатель, по мысли Эрскина Колдуэлла. О долге, призвании, позиции писателя по-разному говорят ответы Мартти Ларни, Тауфика аль-Хакима, Лодонгийна Тудэва, Николая Хайтова, Никиты Стэнеску, Михаило Лалича, Габриэля Селайи, Алана Силлитоу, Германа Канта, Джованни Арпино, Алекса Ла Гумы, Пааво Рингала, Фаиза Ахмада Фаиза, Мартина Викрамасинге, Хироси Нома и многих других.

При этом немало высказываний за огромным нашим «круглым столом» не только дают картину идеологической борьбы двух миров, но и звучат как присяга великим гуманистическим и общественным традициям литературы.

«Миссия писателя и художника — служить народу, быть его голосом, оружием его борьбы»,— говорит Жоржи Амаду. «Литература современного общества не может быть ни изолированной, ни нейтральной, потому что не может быть компромисса между правдой и ложью, между добром и злом. Зло — это империализм, оккупация, эксплуатация, попрание прав человека, добро — это борьба за ликвидацию любой несправедливости»,— вторит ему Ахмад Сулейман аль-Ахмад.

О том, что литература выполняет свое назначение лишь в том случае, «если уже сегодня она способствует построению общества будущего», говорит Николас Гильен. «Будущее», роль литературы, «созданной Человеком и предназначенной для Человека» в социалистическом обществе и деле построения коммунизма стремятся определить в своих ответах Габор Гаран и Камен Калчев. «Я исповедую старомодный взгляд, что искусство есть явление общественное,— говорит Иван Скала.— ...если я высоко ценю искусство, то именно за его общественно-активную действенность, возвышающую человека».

И о том же — об общественном долге писателя перед своим народом, настоящим и будущим всего человечества — говорят и Юлиан Кавалец, и Михай Бенюк, и аргентинский критик Эктор Агости, и французские писатели Пьер Гамарра и Роже Шатонё.

Это отнюдь не декларации. Не только потому, что такая присяга величию человека и его будущему ложится на весы вместе со всем творчеством художников, и не только потому, что в этих ответах живет ненависть к социальному злу, преступлениям империализма. Но еще и потому, что в них встает вопрос генеалогии, вопрос об «отцах» современного искусства, возникают имена Горького, Маяковского, Роллана и великих творцов литературы Возрождения. Остро и беспощадно стоит в них и вопрос о лженоваторстве, о формалистических ухищрениях, о декадентской проповеди мировой бессмыслицы и всеобщего отчуждения.

Нет, речь идет не о том, чтобы предаваться розовому оптимизму, закрывать глаза на трагические и зловещие черты современной истории. Но, как говорит Антал Гидаш, надо уметь отличать демобилизующее, уничтожающее гражданственность творчество присяжных сеятелей пессимизма от того горького и гневного предупреждения об опасности, которое исходит от художника, потрясенного и возмущенного реальным ужасом и реальным преступлением. И еще одна драгоценная черта есть в высказываниях участников нашей анкеты: гордость. Гордость тем великим вкладом в мировую литературу, какой внесли художники революции, бойцы за дело рабочего класса, за социализм и коммунизм. Об этом говорит, в частности, Радован Зогович: «Если бы все сводилось, говоря о литературе, к М. Горькому, В. Маяковскому, А. Барбюсу, М. Шолохову, И. Бехеру, Б. Брехту, И. Волькеру, Н. Хикмету, Ю. Тувиму, Ж. Амаду, Я. Рицосу, и тогда бы основания для классовой гордости и веры в себя было бы достаточно».

■

Когда переворачиваешь последнюю страницу «круглого стола», публикация которого растянулась на четыре номера журнала, хочется, по традиции нашей культуры, найти и здесь ту «общую формулу», которой можно определить самую глубинную сущность разговора.

Как всегда, формулу эту определит и то, против чего повернуто в ответах понимание роли литературы и «назначения поэта». Легко убедиться, что эти «против», высказанные самыми разными художниками, стоят в одном ряду и дополняют друг друга.

Против войны, против агрессии, расизма и шовинизма, эксплуатации человека, против штампованной культуры, против унижения писателя и его работы.

«За»? Оно не всегда четко названо по имени, но какой бы «ракурс» ни принимала в разных ответах «правда века», в каждом из них по-своему живет чувство личной ответственности за будущее.

Наши публикации

ГЕНРИХ МАНН В ПЕРЕПИСКЕ СО СВОИМ БРАТОМ

К столетию со дня рождения

Перевод с немецкого и примечания С. АПТА

Предисловие Т. МОТЫЛЕВОЙ

27 марта исполнилось сто лет со дня рождения Генриха Манна — большого немецкого писателя, мастера социальной сатиры, зачинателя и крупнейшего деятеля немецкой антифашистской литературы.

Эта памятная дата была отмечена передовой литературной общественностью во всем мире. В Германской Демократической Республике столетие Генриха Манна стало крупным культурно-политическим событием. В январе 1971 года был создан Юбилейный комитет во главе с Вальтером Ульбрихтом: в состав этого комитета вошли виднейшие политические деятели республики, заслуженные антифашисты, известные писатели, ученые. В речи, произнесенной В. Ульбрихтом на первом заседании Юбилейного комитета, в докладе, сделанном им на торжественном вечере памяти Генриха Манна в Берлине 11 марта, в многочисленных статьях, опубликованных в центральной печати и литературных журналах ГДР, была дана высокая оценка заслуг Генриха Манна как писателя-новатора и как общественного деятеля.

«У литературы и политики один и тот же объект. одна и та же цель, и, чтобы не выродиться, они должны проникнуть друг в друга. Идея — это действие, совершающееся во имя человека; так пусть же политик будет мыслителем, а мыслитель — действует!» Эти строки были написаны Г. Манном в 1915 году в его известном этюде о Золя; писатели и общественные деятели ГДР не раз вспоминали их в ходе юбилейных торжеств. Вальтер Ульбрихт в своей речи, произнесенной в январе, особо отметил, что Генрих Манн — гораздо раньше, чем многие другие видные немецкие писатели и художники, раньше, в частности, чем его брат Томас Манн,— сумел преодолеть «ставший анахронизмом» разрыв искусства и политики.

Творчество Генриха Манна давно и широко известно в нашей стране. Первое собрание его сочинений на русском языке вышло в 1912—1915 годах. Его знаменитый роман «Верноподданный», который в Германии смог появиться только после крушения вильгельмовской империи, в 1918 году, в России вышел в 1915 году, в переводе с рукописи.

Лучшие произведения Г. Манна — «Учитель Гнус»[1], «Верноподданный», историческая дилогия о короле Генрихе IV — выходили у нас многократно; новое Собрание сочинений в восьми томах, включающее основные романы, рассказы, публицистику, появилось в 1957—1958 годах тиражом в 165 тысяч экземпляров.

Мы печатаем в этом номере избранную переписку Генриха и Томаса Маннов, относящуюся к 1931—1949 годам. Это — лишь часть тех писем, которые были обнародованы в ГДР Немецкой академией искусств. Переписка братьев Манн вышла двумя объемистыми сборниками в 1965 и 1969 годах — оба сборника были подготовлены и очень серьезно прокомментированы Ульрихом Дитцелем. (Тексты, вошедшие в издание 1969 года, появились параллельно также и в ФРГ под редакцией Ганса Вислинга.)

Литературная судьба Г. и Т. Маннов—явление уникальное в истории мировой литературы.

В прошедшие эпохи известно несколько случаев тесного сотрудничества, иногда даже соавторства братьев-писателей, будь то Эдмон и Жюль де Гонкуры или Поль и Виктор Маргериты. Творческая жизнь бра-

[1] В старых переводах этот роман назывался «Учитель Унрат».

тьев Манн сложилась иначе. Мысль о том, чтобы совместно написать роман, мелькнувшая у них обоих в юности, была тут же оставлена. Они были слишком несхожи друг с другом, чтобы работать вместе. Каждый из них пошел своим путем — и занял особое, самостоятельное, выдающееся место в литературе нашего столетия.

Несколько лет назад Немецкая академия искусств (Берлин) выпустила интересный сборник «Из семейных бумаг Маннов». Старинные «бюргерские грамоты», фамильная тетрадь, куда записывались важнейшие события жизни семьи начиная с 1644 года,— все это тщательно воспроизведено в виде факсимиле. Пожелтевшие от времени, исписанные готическими почерками бумаги вызывают в воображении читателя тот патриархально-бюргерский мир, в котором выросли оба брата и который многими житейскими реалиями был запечатлен Томасом Манном в его первом романе «Будденброки».

Очень любопытно завещание отца писателей, сенатора Томаса Генриха Манна, датированное «Любек, 30 июня 1891 года, за два дня до операции». Один из проектов завещания помимо имущественных и деловых распоряжений содержит размышления главы семьи относительно характеров и жизненных перспектив сыновей (Генриху Манну в то время было 20 лет, Томасу — 16): «Обязываю опекунов повлиять на воспитание моих детей в *практическом* духе. Насколько возможно, надлежит воспротивиться наклонностям моего старшего сына к так называемой литературной деятельности. Для основательной, успешной деятельности в этом направлении у него, на мой взгляд, нет предпосылок — достаточной образованности и всеобъемлющих знаний. В основе его наклонностей — мечтательная неустойчивость и недостаток внимания к другим, быть может, вследствие незрелости *мысли*. Мой второй сын способен поддаваться более уравновешенным воззрениям, у него добрая душа, и он найдет себе применение в практической профессии»[1]. Как видим, сенатор Манн не проявил дальновидности в определении будущих путей Генриха и Томаса Маннов. Но он сумел уловить в духовном облике юношей глубокое несходство, сказавшееся и в последующей судьбе каждого из них. Генрих Манн уже в молодые годы «выламывался» из бюргерской среды, с которой впоследствии решительно порвал; Томас Манн долгое время проявлял склонность к «более уравновешенным воззрениям» — в этом смысле отцовская характеристика не лишена меткости.

Различие в духовном складе обоих братьев давало себя знать с первых лет их писательской работы. Генрих Манн уже в раннем, остросатирическом романе «Земля обетованная» обнаружил способность к бескомпромиссному социальному критицизму, объявил войну буржуазному обществу. Томас Манн, несмотря на большую трезвость художнического видения, сказавшуюся уже в «Будденброках», в течение многих лет оставался кровно связан с бюргерским миром, взрастившим его.

Переписка братьев Манн отражает сложную историю их личных и идейно-творческих взаимоотношений: дружбу, связывавшую их в пору литературных дебютов, нараставшие идейные расхождения, приведшие к открытому конфликту в период первой мировой войны, примирение в 1922 году и новую крепкую дружбу в период эмиграции. Именно этот последний период представлен в письмах, публикуемых у нас.

Политический радикализм Генриха Манна принес ему немало жизненных затруднений. Однако многолетний опыт общественной, публицистической работы, направленной против империалистической реакции и ее идеологов, в высшей степени плодотворно сказался в деятельности Г. Манна, когда он очутился в эмиграции. Он сразу же отчетливо определил свою идейную позицию, активно включился в антифашистский фронт. Томас Манн, со своей стороны, пусть медленно и с трудом, постепенно втягивался в открытую борьбу против гитлеризма.

Интересны опубликованные недавно в ГДР надписи на книгах, которые оба брата дарили друг другу. Получив в 1936 году публицистическую работу Г. Манна «Настанет день. Немецкая хрестоматия», Томас Манн послал брату свой доклад о Фрейде с надписью: «Генриху с благодарностью за его свободолюбивую боевую книгу о будущем дне», а потом и свой роман «Иосиф в Египте», с таким посвящением: «Для меня, дорогой Генрих, это был способ противостоять событиям последних трех лет. И от такого способа тоже не надо отказываться!»[1] В этих словах Т. Манна сквозит некоторый оттенок самокритики, но выражено вместе с тем и твердое убеждение, что работа над романами об Иосифе с их глубокой гуманистической идеей — тоже, на свой лад, акт противостояния фашизму.

Письма, публикуемые здесь, дают возможность судить о том, как укреплялся душевный контакт обоих братьев, по мере того как борьба с гитлеризмом становилась для них главным содержанием жизни. Генрих Манн писал в предвоенные годы сотни статей,— и Томас Манн высоко ценил публицистическую деятельность старшего брата, книги и брошюры которого становились «бестселлерами запрещенной литературы» в гитлеровской Германии, Г. Манн рассказывал, что вошел в Правление Всемирного комитета борьбы против империалистической войны и фашизма; Томас Манн, со своей стороны, сообщал, что произнес в Будапеште речь о воинствующем гуманизме, «о которой потом много говорили». Положение в Германии и во всей Европе, надвигавшаяся война, задачи и перспективы немецких антифашистов, и в особенности деятелей

[1] Aus den Familienpapieren der Manns. Dokumente zu den Buddenbrooks. Berlin und Weimar, 1965, S. 47—48.

[1] Betrachtungen und Überblicke zum Werk Thomas Manns. Hrsg. v. Georg Wenzel. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1966. S. 486.

культуры,— все это волновало обоих братьев и то и дело становилось предметом заочного диалога. У Генриха Манна в этот период были тесные связи с советскими литераторами, а также с редакцией немецкого издания журнала «Интернациональная литература», во главе которого стоял Иоганнес Р. Бехер; в СССР печатались, и на русском и на немецком языках, оба романа Г. Манна о Генрихе IV и многие его статьи. Генриху Манну хотелось вместе с братом осуществить давно задуманную поездку в Советский Союз (еще тринадцатилетним подростком он побывал в Петербурге, и это навсегда ему запомнилось). Но путешествие не состоялось: началась вторая мировая война.

Когда Г. Манн вслед за Т. Манном переехал в США, их духовное общение продолжало быть интенсивным. Америка негостеприимно встретила автора «Верноподданного»: хозяева литературного рынка его игнорировали, реакционеры его травили,— ему жилось до того тяжко, что приходилось временами прибегать к материальной помощи младшего брата. В центре интересов обоих писателей и в эти годы стояли политические проблемы дня. Оба брата часто обращались мыслями к полям боев в далекой Европе. Их оценки и прогнозы не всегда могли быть вполне точны, однако все более очевидной становилась, не только для Генриха, но и для Томаса Манна, решающая роль Советского Союза, советского оружия в разгроме фашизма.

Много места в переписке занимают вопросы литературной работы. Любопытно отметить: в годы, когда оба писателя нашли общий язык в плане политическом, они стали ближе друг к другу и в плане творческом.

Зарубежные исследователи находят в книгах братьев Манн немало прямых сюжетных перекличек, «переходящих» персонажей и мотивов. Однако иной раз именно эти переклички помогают увидеть несходство. Даже самые взаимоотношения обоих братьев становились для них предметом художественного исследования, преломлялись в их книгах разных лет. Родственная или дружеская привязанность, осложняемая духовными конфликтами, встает у Т. Манна на страницах «Будденброков» (где появляются братья-антиподы Томас и Кристиан), у Г. Манна — на страницах романа «Голова» (где действуют друзья-антагонисты Терра и Мангольф). Оба художника были настолько несхожи, что не всегда могли принимать произведения друг друга без возражений. Ульрих Дитцель не без оснований замечает, что Генриху Манну была чужда «толстовская дотошность» [1] в книгах его брата,— ведь он сам предпочитал сгущение, преувеличение, гротеск. Томас Манн иной раз выражал недовольство по поводу «крутой и резкой манеры», присущей и таланту Г. Манна, и его личности.[2] Его книгу «Учитель Гнус» он оценил (в заметках для себя) как вещь легковесную и недостоверную;[1] его роман о рабочих «Бедные» он подверг критике (не называя имени автора) в своей книге «Размышления аполитичного». И даже хвалебная в целом статья Т. Манна о романе его брата «Большое дело», опубликованная в 1930 году, заключает в себе примесь иронии: развернутая в этом романе картина Веймарской республики, охваченной кризисом и всеобщей тревогой, показалась Т. Манну слишком «политизированной» и до некоторой степени карикатурной.

Единственное произведение Генриха Манна, которое еще задолго до фашистского переворота встретило у его брата безоговорочное одобрение,— роман «Маленький город». Любопытно, что на эту книгу Томас Манн сослался, полемизируя с критиками своего романа «Королевское высочество»: «В судьбе моих двух высокопоставленных братьев и их сестры — Альбрехта, Клауса-Генриха и Дитлинды — символически изображен кризис индивидуализма, который мы сейчас переживаем, внутренний поворот к демократии, к коллективу, к общению, к любви, кризис, нашедший более бурное и безоговорочное выражение в романе Генриха Манна «Маленький город», вышедшем почти одновременно с моим».[2] Это было написано в 1910 году. А три года спустя, в ноябре 1913 года, Томас Манн в доверительном письме к старшему брату горько жаловался на свое тяжелое душевное состояние, усталость, творческие трудности. Ко всему этому, писал он, «добавляется неспособность духовно и политически ориентироваться — так, как сумел ты; нарастающая симпатия к смерти, глубоко во мне заложенная: мои интересы всегда были обращены к упадку, и, собственно, именно это мешает мне заинтересоваться прогрессом»...[3] В этих самокритических признаниях Томаса Манна, конечно, была доля преувеличения, но все же они по-своему примечательны. Так или иначе, первая мировая война стимулировала, вызвала наружу глубокие разногласия между братьями Манн — разногласия, которые не так легко могли быть устранены.

Годы эмиграции ознаменовали решительный перелом в литературных взаимоотношениях обоих братьев: публикуемые здесь письма дают возможность судить об этом. Высокие оценки, которые каждый из них давал произведениям другого, написанным в эмиграции,— не просто выражение братской привязанности. Именно в изгнании, перед лицом общих испытаний и общего врага у обоих писателей возросла способность и склонность ценить то «непохожее», что от-

[1] Ulrich Dietzel. Nachwort. In: Thomas Mann. Heinrich Mann. Briefwechsel 1900—1949. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1969. S. 375.

[2] См. письмо Т. Манна к Г. Манну от 1.IV.1909 г. там же, стр. 94.

[1] См. отрывок из записной книжки Т. Манна, опубликованный Гансом Вислингом в предисловии к книге: Thomas Mann, Heinrich Mann. Briefwechsel 1900—1949. S. Fischer Verlag, 1969. S. XXXIV—XXXV.

[2] Томас Манн. Собрание сочинений, т. IX, М., Гослитиздат, 1960, стр. 35.

[3] Thomas Mann, Heinrich Mann. Briefwechsel, Berlin und Weimar. Aufbau-Verlag. 1969. S. 141.

крывалось одному в творчестве другого. (Интересен в этом смысле проницательный разбор романа «Лотта в Веймаре» в письме Г. Манна от 17.I.1940 года.)

Тот новый взгляд на творчество Генриха Манна, который возник у Томаса Манна в середине 30-х годов, примечательным образом обоснован в его письме к сыну Клаусу (автору романа «Мефистофель») от 3.XII. 1936 года:

«Наша эпоха заново открыла зло (оно достаточно ощутимо навязало себя и напомнило о себе), и если она не так уж точно разбирается, что такое добро, то все же она различает добро и зло с более сильным и простым чувством, чем это делалось в скептические эпохи. Возросшая нравственная ясность и сила чувства, почти что детски сказочный взгляд на «зло» — вот то новое, чем характеризуется наше время. Все это очень заметно в «Генрихе IV», скажем, там, где злая Катерина и злой Альба (совсем неисторично) вместе затевают Варфоломеевскую ночь,— да и в политических статьях того же автора». [1]

Именно в условиях, когда фашистское зло столь явно «навязало себя» немецкому народу, Томас Манн смог по-новому оценить «политизированное», открыто тенденциозное в борьбе с этим злом творчество старшего брата. И такие свойства этого творчества, как гротеск, гипербола, резкая контрастность, теперь уже не смущали Т. Манна, а представлялись вполне уместными.

В этой связи понятна и та высокая (быть может, даже и несколько преувеличенная) похвала, какою Т. Манн отметил поздний роман своего брата «Дыхание» в письме от 14 июля 1949 года. Такие выражения, как «грандиозный гиперболизм», относятся здесь не только к одному этому роману, но и — шире — к творчеству Генриха Манна в целом, к тем его чертам, которые прежде казались Томасу Манну сомнительными.

Очень веская и мудрая, как бы итоговая оценка деятельности Генриха Манна как художника и гражданина была дана Томасом Манном в речи, произнесенной в Нью-Йорке в 1941 году по поводу 70-летия со дня рождения старшего брата.

«Несомненно, дух вступил ныне в *моральную* эпоху»,— говорит здесь Т. Манн. Понятия добра и зла ныне резко и отчетливо противостоят друг другу. «Свобода, истина, право, человечность — дух осмеливается, снова осмеливается произносить эти слова, он не стесняется их больше, в то время как полагал, что надлежит их стесняться, пока они казались чем-то само собой разумеющимся. Так как они ныне находятся в крайней опасности, дух осознает, что они и есть для него хлеб насущный, воздух, необходимый для жизни, даже сама жизнь, и он понимает, что должен бороться за них не на жизнь, а на смерть.

Ты, дорогой Генрих, разглядел и осознал эту новую ситуацию духа, пожалуй, раньше, чем мы все; ты произнес слово «демократия», когда еще мы все мало понимали, к чему оно, и провозгласил целостность человеческого, включающую в себя политическое, в произведениях, которые в одно и то же время являются высоким искусством и пророчеством. Разве мы не воспринимаем сегодня такие книги, как «Верноподданный», «Учитель Гнус», «Маленький город», как исполнившееся пророчество? Если гений означает предвосхищение, предвидение, страстное воплощение того, что будет,— то твое творчество носит печать гениальности и помимо своих художественных дерзаний представляет собою нравственный феномен...»

«Десятилетия назад, дорогой брат, ты дал нам легенду об учителе Гнусе. Гитлер не учитель, далеко ему до этого. Но он, конечно, гнусь и не что иное, как гнусь, и скоро он попадет на свалку истории. Если у тебя — во что я верю — хватит терпения, чтобы выстоять, то твои старые глаза увидят то, что ты описал в пору твоей дерзкой юности: конец одного тирана». [1]

Проницательность суждений Томаса Манна о творческом подвиге его брата ныне совершенно очевидна. Антифашистская тема заняла и занимает важное место в литературе и искусстве XX века не только немецком, но и международном. Эта тема и поныне не утратила своей актуальности. Генрих Манн был едва ли не первым, кто разглядел в немецком бюргере вильгельмовской эпохи черты будущего фашиста и поднял знамя борьбы с фашизмом тогда, когда еще самого этого слова не было в международном политическом словаре. Мысль о неразрывной связи гуманизма и политики — мысль, которая большинству западных интеллигентов его поколения долгое время казалась (а иным людям в современном буржуазном мире и поныне кажется) странной и неприемлемой,— органически вошла в ткань его лучших художественных произведений, определила воинствующую антиимпериалистическую, антифашистскую направленность его публицистики. И Томас Манн сумел признать заслуги своего старшего брата, столь во многом непохожего на него.

Генриху Манну это признание было в высшей степени дорого. На своем долгом писательском веку он испытал немало превратностей и вовсе не был избалован доброжелательным вниманием критики. Не без горечи писал он — уже после окончания второй мировой войны, в 1948 году,— одному из своих немногих преданных друзей на Западе, мюнхенскому литератору Карлу Лемке:

«Я всегда исхожу из того, что создаю образы людей. А из них в конечном счете складываются судьбы классов. Кому это неугодно, понимает меня превратно. Некто, прочитавший «Верноподданного», написал в издательство «Ауфбау», что это, мол, не роман, а передовая статья. Он, по его собственным словам, человек молодой, да оно

[1] Die Neunzehn. Texte und Informationen. München, 1970. S. 4.

[1] Thomas Mann. Heinrich Mann. Briefwechsel 1900—1949. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1969. S. 359—361.

и понятно — продукт нацистского воспитания. Люди такого склада всегда меня не жаловали, и старшие поколения тоже... Я расплачиваюсь за свой живой интерес к общественной жизни как необходимой предпосылке жизни отдельной личности. Это шокировало в Германии в ту пору, когда я начинал,— хотя в то время работал Фонтане. Я знал его, как знал и французов — его современников. Социальные романы русских — другой счастливый образец. Бывают эпохи, которые как бы созданы для романа и прямо наталкивают на то, чтобы написать его. Чтобы стать писателем, необходимы не только личные качества, но и определенные внешние условия: почти чудо, если все эти обстоятельства совпадают и работают в таком направлении, чтобы большие романы могли родиться... А уж кого публика окрестила «политическим романистом», у того не замечают никаких красот,— так оно и будет, если Вы этому не окажете мощного противодействия. Стендаль верно предвидел, что его откроют только через тридцать лет. Ему до того повезло, что он так и умер неоцененным. У меня дело обстоит иначе,— меня оценили, но неверно. А я не хотел бы жить в памяти людей как автор передовой статьи, облеченной в форму романа»... [1]

Эти строки — не просто горестный вздох и выражение многолетних обид Генриха Манна на германскую литературную среду: в них заключено и своего рода творческое кредо. Генрих Манн — романист ставил перед собой большие социальные задачи, видел в изучении общественной жизни ключ к пониманию отдельной личности. Он мог опереться на традиции французского, отчасти и русского реалистического романа, он уважал Теодора Фонтане — одного из ближайших своих предшественников. Однако Г. Манн шел в искусстве своими, во многом отличными от предшественников дорогами,— мы легко убеждаемся в этом, сопоставляя ранний роман Г. Манна из жизни кайзеровской столицы, «Земля обетованная», с любым из берлинских романов Фонтане. Генрих Манн — мастер сатирического гротеска и социальный психолог — выработал собственную художественную систему, нашел свои, во многом неизведанные способы проникновения в немецкую действительность. Косвенным признанием, что его удары по реакции и мещанству попали в цель, были те костры, на которых гитлеровцы жгли его книги.

Иным влиятельным литературным деятелям вильгельмовской Германии, да и Веймарской республики, в самом методе писателя-сатирика чудилось нечто шокирующее и неуместное. Марксистская, прогрессивная критика в годы эмиграции многократно отмечала заслуги Генриха Манна. Его хвалили за принципиальность и страстность, за тот благородный гражданский гнев, с которым он будоражил сознание и совесть немцев. Гораздо реже хвалили его за творческий вклад в развитие немецкой прозы. Тем больше мог Генрих Манн радоваться, что его брат в те же годы сумел — как бы преодолев барьер творческой несовместимости — оценить по достоинству не только непреходящую актуальность, идейную остроту таких книг, как «Учитель Гнус» или «Верноподданный», но и печать оригинальности, художественного дерзания, которой они отмечены.

После того как оба писателя дождались «конца одного тирана», в жизни каждого из них возникла новая ситуация. Томас Манн не вернулся на родину. Непреодоленные идеологические преграды отделяли его от демократического государства на востоке Германии, но он проявлял сочувственный интерес к культурной жизни ГДР и неоднократно бывал там. Генрих Манн — сильно постаревший и тяжело больной — решил переехать в ГДР, куда его настойчиво и дружески приглашали, где ему предстояло возглавить Немецкую академию искусств,— и младший брат поддержал его в этом решении.

Генрих Манн скончался накануне намеченного им переезда в ГДР, в марте 1950 года. Томас Манн был возмущен тем, что предубежденность буржуазного литературного мира по отношению к автору «Верноподданного» сказалась и после его кончины. Он писал одному из своих корреспондентов, выразивших ему соболезнование по поводу понесенной утраты: «...то, что из Бонна, Франкфурта, Мюнхена (Академия искусств!) и из его родного Лебека не пришло ни слова,— *пакостно*. Это между нами» [1].

Посмертная литературная судьба старшего брата продолжала беспокоить Томаса Манна и годы спустя. В мае 1955 года он писал итальянскому литературоведу Гвидо Девескови: «Особенно глубоко меня тронуло Ваше замечание: «La figura di Heinrich Mann, oscurata dalla grande ombra del fratello per tanto tempo, appare oggi sempre più nella sua giusta luce e grandezza»[2]. Да будет воистину так! Усопший пользуется большим официальным почетом в нынешней коммунистической части Германии, но на Западе, за немногими исключениями, одним из которых являетесь Вы, его продолжают замалчивать, и даже любимая им Италия и еще более любимая Франция проявляют мало восприимчивости к его творчеству, носящему столь явственный отпечаток романской выучки и включающему абсолютно гениальные вершины, такие, как «Маленький город», «Учитель Гнус», «Генрих IV», а также поздний шедевр «Обзор века». Могу заверить Вас: робкое чувство неловкости по поводу падающей «grande ombra» проходит, начиная с «Будденброков», через всю мою жизнь. Конечно, я тоже способствовал европеизации немецкого романа, однако мои

[1] Heinrich Mann. Briefe an Karl Lemke 1917—1949. Berlin, Aufbau-Verlag, 1963. S. 122—123.

[1] Thomas Mann. Briefe 1948—1955 und Nachlese. S. Fischer Verlag, 1965. S. 138.

[2] Фигура Генриха Манна, на которую долгое время падала великая тень его брата, ныне все больше раскрывается в своем подлинном свете и величии *(итал.)*.

манера была в большей мере традиционно-немецкой, музыкоподобной, иронически намекающей, чем его манера,—это сомнительное преимущество, но все же преимущество в глазах немецких и латинских германистов. Притом мое внутреннее отношение к старшему и его одухотворенному отрицанием гордому творчеству всегда было таким, какое может быть у меньшего брата, смотрящего снизу вверх.

...Я был неописуемо потрясен, и мне показалось, как будто я вижу сон, когда Генрих незадолго до смерти подарил мне одну из своих книг с надписью: *«Моему большому брату,* написавшему «Фаустуса». Как это? Что это? Ведь большим братом был всегда он! И я, ударяя себя в грудь, вспомнил слова Гете о глупом споре немцев, кто больше, он или Шиллер: «Пусть будут рады, что у них есть два таких парня!»[1]

Эти строки уместно напомнить сегодня, когда наследие Генриха Манна так органически вошло в духовную жизнь народа ГДР.

[1] Thomas Mann. Briefe 1949—1955 und Nachlese. S. Fischer Verlag, 1965. S. 396—397.

17 дек. 1934
11, рю дю Конгре
Ницца (Приморские Альпы)

Дорогой Томми,

как раз сегодня я собирался написать тебе, даже если бы твое милое письмо не пришло. Уже давно жду известий от тебя и хочу поделиться своими новостями. «Нейе цюрхер цейтунг» с твоими статьями[1] успели мне показать; и о базельском твоем выступлении я тоже уже слышал. Благодарю тебя за присланное и все прочту с радостью. Эпизод с Национальным фронтом[2] я переоценил, более того — его переоценили. Твоя поправка успокаивает меня на этот счет. Надеюсь, ты можешь опровергнуть и то, что я слышал в Праге: будто со здоровьем у тебя не все в порядке? Во всяком случае, полагаю, что ты снова чувствуешь себя хорошо, если намечаешь поездку на январь. Мне осложняют жизнь быстрая утомляемость и повышенная раздражительность, с которыми я всегда был знаком; а с годами знакомство это становится лишь более близким — и в том смысле тоже, что я научился терпению и покорности судьбе. Большой опыт в распределении сил позволил мне за два года так называемого изгнания работать больше, чем когда-либо с давних пор. Роман[3] разросся; «Юность» составит, возможно, слишком много бумаги для одного тома. К новому году закончу предпоследний большой раздел. Если все будет удачно, книга выйдет весной. Пишу ее с удовольствием. Это повод поместить, что я знаю,— особенно дальше, в другой части, «Победа и распад». Это также повод для картин и сцен, которые мне было дороже всего носить в себе. Получается связь с первыми моими работами — интереснейший случай. Редакторша издательства Мондадори, Милан,— я и не знал, что она получила оттиски,— написала Стефану Цвейгу что-то о юношеской живости повествования; это действует ободряюще в моем положении. Одно несомненно — что романы республики,[4] которые мне приходилось делать доселе, по сравнению с этим старообразны. Было наглостью славить жизнь там, где все шло только к гибели. Но когда там станет иначе? Теперь они сбрасывают последнюю ширму своего так называемого национального подъема и, не стесняясь, становятся тем эксплуататорским и рабовладельческим государством, которое всегда и требовалось их кредиторам. Только в области культуры национал-социализм еще может разорять уцелевшее, в данный момент — музыку. Вернуться туда? Если бы я мог, я издавал бы там свои книги,— почему не оказать противодействия, к которому способен? Лично же я держался бы тогда, конечно, на хорошо рассчитанном расстоянии. Слишком уж далеко зашли там люди в непонимании природы. Перевоспитывать их для нормальной жизни надо очень осмотрительно. Простой революцией ничего не сделаешь; но даже и ее попытка исключена. С другой стороны, кажется, что государство, основанное на насилии, и притом неудачливое, не может держаться долго, если непосредственно рядом с ним обновляется и растет демократия. Это впечатление все явственнее складывается у меня от Франции, по крайней мере, от ее сил. Тут опять-таки сказывается противодействие страшному примеру Германии: он пробуждает здесь известную моральную силу. Спрашивается, кто одержит верх — тамошний страшный пример или здешняя тяга к нравственному обновлению.

Скажи мне, как обстоит дело с твоим третьим томом[5],— и многократно прошу тебя прислать сборник статей. Передай в Праге привет моему ребенку и ее матери[6]. На выручку от моей поездки я смог снять им квартиру. У нас были

чудесные дни. Желаю тебе таких же с Эрикой [7]. Всех благ в новом году тебе, Кате [8] и твоим детям!

Сердечно твой
Г.

---

[1] По-видимому, эссе «Путешествие по морю с Дон Кихотом», печатавшееся в «Нейе цюрхер цейтунг» в ноябре 1934 года.

[2] Швейцарские «фронтисты» пытались сорвать гастроли возглавляемой дочерью Томаса Манна Эрикой маленькой труппы, выступавшей в Цюрихе с антифашистским сатирическим обозрением.

[3] «Юность короля Генриха IV».

[4] То есть романы, написанные во времена Веймарской республики (1919—1933).

[5] Имеется в виду третья часть тетралогии «Иосиф и его братья».

[6] Первая жена Генриха Манна, чехословацкая артистка Мария Канова, жила с дочерью Леонией (Гоши) в Праге.

[7] Эрика Манн (1905—1969) — старшая дочь Томаса Манна.

[8] Катя Манн (род. в 1883 году) — жена Томаса Манна.

3 окт. 1935
11, рю дю Конгре
Ницца (Приморские Альпы)

Дорогой Томми,

на твое письмо мне очень хотелось ответить сразу, в первый же день, такое оно прекрасное. Но я как раз приехал из Парижа, и каждый день надо было писать по статье, помимо подготовительной работы для дальнейшей жизни короля Генриха IV. Честное слово, я надеялся, что твои впечатления будут именно такими, я предвидел даже, что ты особо упомянешь раздел «Мамка и смерть». Но больше осчастливлен я твоей безоговорочной приязнью к этой книге, дружеским чувством к предмету и к руке, которая им занята. Это-то нам теперь и нужно — вместе с подтверждением, что за эти последние годы мы не сдали, а выросли. Взять себя в руки и утвердить себя сейчас и правда важней, чем когда-либо.

Ты, конечно, заметил цитаты. Думаю, что решающим тут было просто чувство: в этих крайних обстоятельствах надо пустить в ход все, что играло очень большую роль в жизни, весь гуманитарный факультет, в том числе, разумеется, Фауста. От Монтеня до Гете тянется одна и та же эпоха — это теперь ясно, так как она, кажется, уже совсем померкла. И только по велению чувства я прибавил «моралите» [1] — в стиле классических моралистов, что по собственному почину, но взволнованно засвидетельствовал мне наш друг Берто [2]. Мне хотелось, чтобы один этот раз немецкий и французский перемешались. От этого я всегда ждал самого лучшего для мира. По крайней мере, одну книгу дало это мне самому.

По-твоему, это должно бы дать мне еще кое-что, к примеру, розетку [3]. Но не таковы времена и не таковы современники, и кто подозрителен власти в своей стране, становится подозрителен всякой власти. Одиночка без тыла значит в нынешних условиях так мало, что я даже удивляюсь, как это еще делают исключение для тебя и в общем-то для меня. Знают, правда, что ты — особь статья, но все-таки считают тебя эмигрантом. С недавних пор я состою в Правлении Всемирного комитета борьбы против войны и фашизма; определил меня туда еще Барбюс — там Роллан, Ланжевен [4], много других французов, кажется, один англичанин, если нет, то я там единственный извне. Комитет достаточно силен, чтобы я смог этим путем стать французом [5], особенно если в будущем году к власти придет Народный фронт. Есть причины подождать. Есть и та причина, что моей дочери в Праге разрешат работать, только если у меня будет чешский паспорт.

Как ты поживаешь? Это, собственно, я все время хочу спросить тебя, вместо того чтобы говорить самому. Сообщи мне, пожалуйста, что ты поправился и готов продолжать работу. Она так важна и так прекрасна. Как это примечательно, если третий том твоего большого труда все-таки выйдет в Цюрихе и Лондоне. Не задержать хода событий. Считаете ли вы, что Берману [6] придется отказаться от продажи в Германии? Даже если ему не запретят ее, перестраховка за границей только на пользу. Внутри страны, независимо от того, продержится ли третья империя или рухнет, можно ждать только еще худшего — для книг и людей. В числе прочего краденого товара эта компания иногда извлекает на свет словцо «план работы». А вся их работа — это подготовка большого разбойничьего набега, и только перед самой смертью они приступят к нему. Какое разложение!

Ты в последнее время много ездил и, наверно, думать не хочешь о том, чтобы сесть в поезд. Я, впрочем, тоже не хочу об этом и думать; но если бы нам удалось повидаться, мы бы, может быть, все-таки подумали бы, не предпринять ли нам вместе большой, по-видимому, необходимой познавательной поездки в Советский Союз. Ты тоже наверняка получаешь частые приглашения. Скорее, это напоминания, и уже чувствуешь себя в долгу перед большевиками. Не будь их — какая еще

реальная опора была бы у левых? Об одном совещании немецких левых хотелось бы тебе рассказать. Больше нет никого, кто счел бы само собой разумеющимися радикальные социалистические мероприятия — при случае. В числе наиболее достойных упоминания был один молодой католик, который сказал мне, что время от времени ему случается видеть тебя.

Что касается русского путешествия, то до Константинополя нужно было бы, вероятно, ехать самостоятельно. Начиная оттуда, устроители все возьмут на себя. Фейхтвангер настаивает, чтобы я в будущем мае присоединился к нему. До сих пор все ищу способа уберечься от перенапряжения. Пиши мне, будь здоров, и сердечный привет.

Г.

---

[1] К некоторым главам романа о Генрихе IV прибавлены краткие назидательные послесловия на французском языке.

[2] Ф. Берто (1881—1948) — французский германист, переводчик некоторых произведений Томаса Манна.

[3] То есть орден Почетного легиона.

[4] Поль Ланжевен (1872—1946) — выдающийся французский физик, член компартии Франции.

[5] То есть получить французское подданство.

[6] Готфрид Берман Фишер (род. в 1897 году) — зять известного издателя Самуэля Фишера, возглавляющий с 1934 года издательство «Фишер».

Кюснахт, 2.VII.36

Дорогой Генрих,

спасибо за твою открытку. Там, наверху, сейчас, наверно, чудесно, и я от всей души радуюсь твоему строго заслуженному отдыху. Я слишком часто делал перерывы, если не для отдыха, то для рассеяния: последняя наша поездка в Будапешт и Вену была довольно занятна, особенно пребывание в Будапеште с заседаниями «Кооперасьон» [1], докладом о Фрейде и вторым чтением в Центральном театре, а также со всякой оперной парадностью и банкетами. Венгерское правительство вовсю старалось показать себя цивилизованным, но мы не принимали приглашений, которые, хотя мы и остановились у Гатвани, поступали к нам от министров. Пикантней всего было, что германский посол позвонил в министерство внутренних дел и попросил позаботиться, чтобы пресса не уделяла мне столько внимания. Дело в том, что я произнес в «Кооперасьон» речь о «воинствующем гуманизме», о которой потом много говорили. Да и замечания посла никто не принял всерьез. Но разве это не восхитительно: немецкий посол протестует против того, что пресса интересуется единственным немцем, который участвует в собрании европейских интеллигентов... Потом так продолжалось некоторое время и в Вене. После тамошнего моего выступления мы пошли еще на третий акт «Тристана» — дирижировал Вальтер [2] — и театр встретил нас страшной вонью. Оказалось, что нацисты разбросали зловонные бомбы, но спектакль все-таки шел — под конец, правда, с участием только оркестра, ибо Изольда, которую весь антракт рвало, лишь выразила изнеможение красивым жестом и так уж и не поднялась от трупа Тристана. То же самое, впрочем, и минута в минуту, произошло в «Бургтеатре» и в трех кинематографах—это выходка против летнего фестиваля. Надо однажды испытать такое, теперь, по крайней мере, точно знаешь, чем пахнет национал-социализм,— потными ногами в высокой степени.

Теперь мне приходится расплачиваться за праздники, исполняя отложенные дела, а, кроме того, «Иосиф в Египте», который должен в октябре выйти в Вене и уже печатается, совсем еще не готов, и я очень боюсь, что мне придется с этим спешить. Осталось сделать несколько важных заключительных глав, и при теперешней моей усталости я сомневаюсь, что кончу уже в этом месяце. А надо бы, собственно. Потом мне действительно потребуется отдых, и в последнее время я подумываю о Майорке, где недавно были наши старшие и которую они очень рекомендуют. Что ты об этом думаешь? Как раз к осени это было бы, пожалуй, самое лучшее.

Франция вызывает только любовь и восхищение [3]. Отношение буржуазной мировой прессы, например «Нейе цюрхер цейтунг», к таким событиям несказанно подло. Немецкая, конечно, упивается надеждами на разложение.

Сердечно твой

Т.

---

[1] Полное название организации, в заседании которой участвовал Томас Манн в Будапеште, — „Institute International pour la Cooperation Intellectuelle".

[2] Дирижер Бруно Вальтер (1876—1962) — близкий друг Томаса Манна, эмигрировал в 1933 году из Германии в Австрию.

[3] Гитлеровская оккупация демилитаризованной по Версальскому договору зоны Рейнской области вызвала во Франции всеобщее возмущение, за которым, однако, решительных действий французского правительства не последовало.

Кюснахт-Цюрих, 20.VII.36
Шидхальденштрассе, 33

Дорогой Генрих,
прежде всего: твоя хрестоматия [1] пришла — захватывающее чтение. Я читал ее, не отрываясь, два дня и, вобрав в себя сначала все новое, повторил и все уже мне знакомое. Это великое наслаждение и великое удовлетворение. Я убежден, что эти манифесты сыграют когда-нибудь в будущем самую почетную историческую роль — спасительную для чести Германии — вместе с немногими другими, например, обращением Нимёллера [2] и его близких к Гитлеру, которое этот жалкий субъект препроводил к своему «министру церкви». Особенную благодарность вызывает комизм, которому ты даешь волю. Я то и дело громко смеялся, а позднее смеяться будут еще свободнее, сердечнее и не так измученно.

Твои предложения насчет поездки кажутся нам убедительными. Совсем не обязательно Майорка. Так как до конца августа мне безусловно не кончить по-настоящему [3], то Сент-Максим вполне подойдет. На том и договоримся. Мы хотим поехать на машине хотя бы до Женевы, а, может быть, затратив два-три дня, и до самого места назначения, чтобы иметь ее там при себе. Как решит Гоши [4], мы скоро, наверно, узнаем. Если мы будем без детей, она могла бы поехать с нами на машине.

Посылаю тебе последнее мое «отклонение» [5], которое, впрочем, не так уж и отклонило меня от темы. Берман красиво оформил эту брошюру. Она — его дебют. Выйдет она только через месяц.

Сердечно твой
Т.

Сейчас я, конечно, не думаю о Вене, но и на другое решиться не могу. Если мы останемся здесь — а ведь похоже на то,— то года через три я смогу стать швейцарцем. Я считал бы это самым правильным. Но Флейшман [6] вскоре побывает у нас.

---

[1] Генрих Манн. «Настанет день. Немецкая хрестоматия». Цюрих, 1936.
[2] Протестантский священник, известный антифашист и борец за мир, с 1937 по 1945 год — узник Дахау и Бухенвальда.
[3] Имеется в виду окончание третьего романа тетралогии об Иосифе — «Иосиф в Египте».
[4] См. примечание 6 к письму от 17 декабря 1934 года.
[5] Доклад «Фрейд и будущее».
[6] Рудольф Флейшман хлопотал о чехословацком подданстве для братьев Манн.

Кюснахт-Цюрих, 4.VIII.36
Шидхальденштрассе, 33

Дорогой Генрих,
ты прав, отставим эту мысль. Что в Венеции с кем-либо из нас может что-нибудь стрястись, я, правда, не думаю, и после того как я недавно побывал в Трибшене, где Вагнер, кстати сказать, среди великолепной природы, провел шесть лет эмиграции (это было время его теснейшей дружбы с Ницше, по чьим следам мы направились затем в Сильс Мария), меня снова потянуло в Венецию. Я думал: что дозволено одному, разрешено и другому. Это было анахронизмом, а за те дни, что прошли с тех пор, как я отправил письмо, становилось анахронизмом все больше и больше. И у меня нет ни малейшего желания гостить у пособников патриотов, которые заявляют, что «марксизм» в Испании должен быть уничтожен, даже если при этом половина народа погибнет... Если испанская республика победит, это будет при нынешних обстоятельствах подвиг, не имеющий себе равных. Непостижимо гнусно усердие, с каким капиталистическая печать, например, и наша «Нейе цюрхер цейтунг» стоит на страже французского невмешательства, тогда как до невмешательства итальянского и германского ей нет никакого дела. Кто радуется наивности, то есть бесстыдному преобладанию корысти над всякой духовной порядочностью, для того настали славные дни.

Горькие твои слова, что Франция «не даст себя спровоцировать», выражают всю злосчастную суть дела. Мысль, что Германия может таким путем стать **очень** большой, а Гитлер отправиться на тот свет с почетом и славой, часто не дает мне уснуть.

Итак, остановим выбор на твоем побережье. Что мы приедем, в конце этого или в начале следующего месяца, решено окончательно. Но точно указать день я не могу, потому что он зависит от окончания моей заключительной главы, которую нельзя сделать наскоро, и до самого последнего слова я не смогу предсказать, сколько дневных уроков мне понадобится. И поездку Гоши не следует связывать с нашим неопределенным часом отъезда. Лучше бы ты вызвал ее раньше, а мы присоединились бы к вам, когда сможем. А на обратном пути мы, может быть, прихватили бы ее на машине.

Я послал тебе бандеролью брошюру. Похоже на то, что она и одно письмо, последнее перед тем, где было предложение насчет Венеции, пропали. Если же они все-таки дошли до тебя, прошу держать ее покамест в секрете. Она выйдет только к концу месяца, и Берман, собственно, запретил мне рассылать ее раньше.

Сердечно твой
Т.

22 ноября 1938
2, рю Альфонс Карр
Ницца (Франция)

Дорогой Томми, большое спасибо, что ты принял моего «Ницше»[1]. При всем несогласии я ни разу не сбился на неуважительный тон и надеюсь, что в своем сочувствии, насколько его хватает, я не только «добр», но и почтителен. Что-то похожее на «доброту» почувствовал Голо[2], когда ему довелось читать эту вещь. Он написал мне о ней очень тепло; он сделал замечание по поводу слов о будущем рабочих. Слова эти, заметил он, нельзя брать безоговорочно, им противостоит вся враждебность Ницше социализму. Это верно, если дело идет о социализме. В словах о будущем рабочих как класса господ ничего социалистического нет. И мне наплевать, что Лей[3] и его сообщники говорят с целью обмана что-то подобное. Но я вижу, что для книги это место нужно расширить. Пока можно оставить его как есть. Речь идет, наоборот, о сокращениях, и те, которые предложил ты, по-моему, смыслу не угрожают. Признателен тебе за твой труд. Времени у тебя, понятно, мало, а нагрузка большая.

У меня сейчас тоже. Во-первых, я должен спешно закончить книгу статей последних двух лет. Во-вторых, я сижу в еще не устроенной квартире, за столом в стиле «ранний ампир» времен египетской авантюры[4]; соответствующий ему шкаф также украшен бронзовыми головами сфинксов и гениями славы, а все вместе оказалось дешевле современного «кабинета». Третья моя забота — это полученное от Берто известие, что моя дочь Гоши обручена с каким-то американцем. Больше я ничего не знаю и только задаюсь вопросом, что же это за американцы такие, которые нынче обручаются в Праге, и притом с моей дочерью. Она решительно не хочет ехать в единственную страну, где ее бы дружески приняли; а там, где она живет, ей, несомненно, грозят всякие опасности. Обручение, происходящее при таких обстоятельствах,— «вот и он, как раз кстати»[5],— покамест меня совсем не успокаивает. Я послал телеграмму, но оплаченный ответ заставляет себя ждать, как все ответы, с тех пор как это государство находится под защитой и под надзором. Гоши хотела, чтобы я встретился с ней в Цюрихе; я попросил ее прилететь в Канн. Придется Берто повторить мою просьбу от своего имени. Так мы живем.

К тому времени, когда это письмо дойдет до тебя, вдруг, кто знает, наступит счастье, придет спасенье. Я был бы бесконечно благодарен за чуточку покоя. Сейчас дела таковы, что сам не знаю, что мне предстоит говорить и делать. Одно ясно, что от нас требуется мужество; великие потрясения выпадают на нашу долю недаром.

С приветом твоей семье

всем сердцем твой
Г.

Твоего манифеста[6] — думаю, что это манифест,— с нетерпением жду каждый день. Может быть, напомнишь о нем издательству, если сам его не послал.

---

[1] Статья Генриха Манна «Ницше» предназначалась для литературно-художественного журнала «Мас унд верт», одним из издателей которого был Томас Манн.
[2] Голо Манн (род. в 1909 году) — сын Томаса Манна, историк.
[3] Рейхслейтер фашистской организации «Немецкий трудовой фронт».
[4] Имеется в виду египетский поход Наполеона (1798—1799).
[5] Цитата из трагедии Лессинга «Филот».
[6] Имеется в виду статья «Этот мир» — отклик на Мюнхенское соглашение.

29 дек. 1938
2, рю Альфонс Карр
Ницца (Франция)

Дорогой Томми,
обе твои работы[1] с братскими посвящениями доставили мне радость. В статье «Этот мир» сказано, и притом мастерски, все, что надо было сказать по поводу последней покамест главы пессимистического романа «Европа». Ты будешь комментировать его дальше. У меня почти пропала охота, да и разрешенье могут

отнять. Если результат, который ты предвидишь, действительно объявится — общая фашизация Европы с оговорками и оттенками в зависимости от предыстории народов, тогда... «копайтесь в своем дерьме сами», сказал один мудрый, хотя и пьяный король[2]. Сколь изысканно ни выражайся, ничего другого все-таки не останется. И не надо — говорят герои Фонтане. Можно и так — говоришь ты.

Получил ли ты тем временем мой роман[3]? Он вышел в прошлом месяце, но мои экземпляры пришли только вчера, и у меня не было возможности сделать на твоем дарственную надпись. Она звучала бы примерно так: «Единственному, кто мне близок».

Моя дочь действительно вышла замуж за своего д-ра Ашермана и предается супружескому счастью перед тем, как исчезнуть от меня в Америке. Промышленная фирма, возглавляемая отцом этого молодого человека, перебирается туда, как теперь водится. Хотя генеральному директору полагалось бы иметь средства, роль отца, который платит, досталась мне — лестно для человека, скажем мы, независимого. Ребенка своего я недавно видел в Женеве, не знаю, не в последний ли раз; ведь за океаном-то уж она совсем исчезнет.

Гораздо сильнее надеюсь я, что ты сам снова найдешь путь — в какую Европу? Посмотрим. Попугать нас еще раз войной, чтобы нас потом спасли от нее, будет нелегко. Этому типу в Берхтесгадене[4] придется, конечно, что-то предпринять, а то какое же он чудо-юдо. Тереза фон Коннерсрейт[5] была тоже великим аттракционом и не хотела, чтобы о ней забыли. Серьезно говоря, в тунисском случае фашизм, кажется, встречает первое сопротивление. Нужна еще одна проигранная битва в Испании, чтобы... Но нашим надеждам уже шесть лет. Только здешние астрологи датируют падение одного 1940-м, а другого 1941 годом[6].

Желаю тебе в 1939-м всяческого личного счастья, это самое верное. Пусть все твои будут благополучны. Пусть мы снова увидимся.

С сердечным приветом
Г.

---

[1] Статья «Этот мир» и сборник «Внимание, Европа!».
[2] Фридрих-Август III Саксонский. Он произнес эти слова в 1918 году, когда ему предложили отречься от власти.
[3] «Зрелые годы короля Генриха IV».
[4] В Берхтесгадене находилась частная резиденция Гитлера.
[5] Кликуша, прославившаяся в 1926 году, когда во время великого поста у нее появились стигмы.
[6] Имеются в виду Гитлер и Муссолини.

65, Стоктон-стрит
Принстон, Н. Дж.
14 мая 1939

Дорогой Генрих,

при всей сумятице и неопределенности, при угрозе войны и новой опасности «appeasement»[1] одно становится все яснее, принимает все более четкие контуры: решение должно быть и будет принято в Германии. Покуда немецкий народ не освободится от этого «руководства», прочного мира не будет. Мы знаем это давно, а мир начинает это понимать. Мы знаем также, что немцы, в сущности, ненавидят свой режим и что только войны они боятся больше, чем Гитлера. Глубокая, недоверчивая и полная страха неприязнь немецкого народа к своему нацистскому правительству не первично-«политического» свойства. Лучшим из немцев ужас внушает нравственная бездна, грозящая поглотить их,— гнуснейший упадок морали и культуры. Известно, что за последние полгода родину покинуло значительное число немцев, которых нельзя считать «неблагонадежными» ни в «политическом», ни в «расовом» отношении,— просто потому, что после ноябрьских погромов[2] и пропагандистской травли Чехословакии терпение их лопнуло. Они рассказывают о жадности, с какой, хоть это и было опасно, они ловили все, что писалось и говорилось за границей, на воле, о мучительной жажде не только правды, но прежде всего порядочности — достоинства, спокойного размышления, о своей тоске по голосу ума и культуры. И в то время как при всей пропагандистской шумихе книги премированных государственных писателей уже не находят в Германии спроса, немцы буквально проглатывают работы нескольких «дозволенных» зарубежных авторов. Как же велика, как же нетерпелива потребность наших друзей в Германии услышать о нас! В ходе кампании против интеллигенции «Шварцес кор»[3] — несколько недель назад — ополчилась на книготорговцев: дай им волю, они бы вообще с утра до вечера ничего, кроме эмигрантской литературы, не продавали. У нас есть все основания поверить в этом вопросе газете «Шварцес кор».

И немцам внутри страны, и нам, представителям духовной Германии за границей, надо установить друг с другом связь. Надо покончить с нынешним неестественным положением, когда мы, которые должны бы напоминать немцам

о самом лучшем в них, лишены контакта с ними. Наши голоса будут услышаны дома, если только они прозвучат достаточно убедительно.

Как следует все обдумав, я принял такое решение:

В течение примерно 12 месяцев я хотел бы отправить в страну примерно 24 брошюры, написанные представителями немецкой мысли **для немцев.** Серия вовсе не должна носить исключительно политический характер, она должна апеллировать к лучшим инстинктам наших соотечественников, в то время как Гитлер умеет пробуждать лишь самые опасные их инстинкты. Комитет американских друзей (chairman[4] доктор Франк Кингдон, президент Ньюаркского университета) возьмет на себя финансирование этого проекта, а я в течение этого года обращусь с предложениями примерно к 24 немецким писателям, ученым, богословам и работникам искусств. Я хотел бы внести в список моего немецкого Committee[5] твое имя, которое хорошо, располагающе звучит в Германии и во всем мире.

С этой же почтой уйдут аналогичные письма к следующим друзьям и коллегам:

к Вильгельму Дитерле; Бруно Франку, профессору Джемсу Франку, Леонгарду Франку, Лотте Леман, доктору Герману Раушнингу, Людвигу Ренну, профессору Максу Рейнгардту, Рене Шикеле, профессору Эрвину Шрёдингеру, профессору Паулю Тиллиху, Фрицу фон Унру, Францу Верфелю, Стефану Цвейгу.

Сам я в ближайшие недели начну одну работу, которую надо сделать для немцев.

Что касается способов распространения, то их много, даже почта — способ: мы рассчитываем распространить 5000 экземпляров каждой брошюры, с учетом, что каждый экземпляр будет прочитан множество раз. Работы будут оплачиваться — скромно и в рамках гонорара за статьи этого объема в здешних еженедельниках («Нейшн», «Нью рипаблик»).

Позволь резюмировать, дорогой Генрих: наряду с нашими насущнейшими задачами, наряду с «требованием дня» и помимо этого существует наш долг, наша обязанность — использовать свое влияние на немцев. Только если немцы покончат с Гитлером, можно избежать войны. Только если — коль скоро избежать ее не удастся — немцы откажутся повиноваться этому режиму **до поражения,** мы можем надеяться на мир, который не будет снова носить в себе зародыша новой войны. Немцев нужно образумить, а кто это сделает, если мы будем молчать?

Дай побыстрее знать о себе и прими сердечный привет от твоего Т.

P. S. Это письмо пусть послужит для информации о моем плане и как просьба о твоем формальном согласии. Поскольку твои работы стали несколько лет назад бестселлерами запрещенной литературы в Германии, я знаю, конечно, что в принципе ты согласен со мной.

---

[1] Умиротворение, разрядка *(англ.)*. Имеется в виду политика попустительства Гитлеру, которую проводили западные державы.

[2] Имеется в виду так называемая «Хрустальная ночь» — погром 9 ноября 1938 года, послуживший началом массового истребления евреев в фашистской Германии.

[3] Эсэсовская газета.

[4] Председатель *(англ.)*.

[5] Комитет *(англ.)*.

Нордвик ан Зе
(Голландия) 28.VI.39

Дорогой Генрих,

сегодня, еще через несколько дней после твоего письма, пришло из Принстона «Мужество»[1], прекрасный твой подарок на день рождения. Аннотация на обложке безусловно не преувеличивает, говоря об историческом документе. Все это останется и будет свидетельствовать и вызывать восхищение, когда чума уйдет в далекое прошлое. Кстати, и правда не надо терять мужества. Именно в том случае, если все сложится самым уж мерзким образом, возникнет замкнутое сообщество лучших, которое, как-никак, предоставит известное жизненное пространство нашим трудам и мыслям.

Сердечно твой
Т.

---

[1] Сборник статей Генриха Манна, вышедший в Париже в 1939 году.

Принстон, 26 ноября 1939

Дорогой Генрих,

ты помнишь, как прервалась наша связь. После нашей счастливой встречи в Париже, благотворных семи дней, проведенных нами в Голландии, поездок в Швейцарию и в Лондон мы отправились в Швецию на P.E.N.Club Congress[1], ко-

торый так и не состоялся. Началась война, и пошло прахом наше намерение вернуться из Стокгольма еще раз в Швейцарию и устроить оттуда продолжение свидания с тобой. Ради нашей безопасности нас уговаривали «провести военное время в Швеции». Слава богу, что мы не послушались! Правда, обратный путь был сопряжен с известным риском. Шведским судном, как раз из соображений безопасности, воспользоваться мы не могли. Нам пришлось полететь назад в Лондон, чтобы попасть на американское судно, увозившее на родину citizens[2], и полет от Мальме до Амстердама, на небольшом расстоянии от Гельголанда, был довольно-таки неприятен. Но все обошлось благополучно, и из Саутгемптона мы добрались сюда на американском лайнере «Вашингтон» — в сутолоке 2000 человек, которые проводили ночи на импровизированных нарах в салонах, переоборудованных в Concentration camps[3].

Мы были очень рады — насколько вообще возможно сегодня радоваться,— что снова обрели базу. Но переписка с Европой обескураживающе затруднена и осложнена. Оставим политику. Пишу-то я тебе, наконец, главным образом для того, чтобы поздравить вас от души с бракосочетанием[4] — в такой же мере от имени Кати, как и от своего. Это хороший, прекрасный, успокаивающий поступок. Он закрепляет проверенный союз, который уже не так нуждается в искренних пожеланиях счастья, как союз нашей маленькой Меди[5] с ее теперешним супругом Дж. А. Борджезе[6]. Да, у нас тоже была свадьба. Меди вышла замуж за своего профессора-антифашиста, который в свои 57 лет и думать не думал, что ему достанется столько молодости. Но девочка этого хотела и своего добилась. Он человек умный, милый, очень хорошо сохранившийся, это надо признать, и лютый ненавистник своего дуче, которого он из чистого национализма считает самым худшим из всех. Этот национализм он бичует такими, например, замечаниями: «Германия — орган, а Италия — всего-навсего скрипка». Но словечко «всего-навсего» ничего не значит. Однажды он договорился до формулировки: «Europe, that is Germany with fringes».[7] (С бахромой.) Да ведь это, пожалуй, и Гитлеру понравилось бы. При этом он убежденный американец, и хотя Меди знает итальянский, а он — немецкий, говорят они между собой только по-английски.

Они будут жить в Чикаго, где преподает Борджезе. Итак, мы остались в большом доме совсем одни, в обществе чудесного черного пуделя французской породы, которого подарила мне одна меценатка. Катя успокоилась, узнав, что ее древние родители все-таки действительно попали в Швейцарию. Удалось это, наконец, благодаря фирме Ванфрид, и на тот срок, который им еще отпущен, старикам, бывшим миллионерам, средств хватит. А вот увидят ли они еще свою дочь? Это зависит от того, от чего все зависит.

Я здоров, что значит — не болен, и этим приходится в наши годы довольствоваться. Пребывание в Нордвике так удачно подтолкнуло к концу роман о Гете[8], что я его здесь закончил в первые же недели по возвращении. Заключительная часть рукописи благополучно (через Португалию, со швейцарской дипломатической почтой) прибыла в Стокгольм, и, значит, немецкое издание может «появиться» еще до рождества. Интересно, каково покажется оно любопытной кучке швейцарцев, голландцев и скандинавов, которые составят его публику. И тебе.

Нескоро, наверно, получишь ты это письмо. Пожалуй, поздравлю уж тебя сразу и с Новым годом. Дай нам тоже знать о себе, если будет возможность. За интернированных немецких и австрийских писателей я вступился в меру своих сил. Жироду дал мне очень милый и обстоятельный отчет, и Ж. Ромен тоже сделал что мог. И довольно много денег послано отсюда тем, о ком идет речь.

Сердечный привет и лучшие пожелания

Т.

---

[1] Конгресс ПЕН-клуба *(англ.)*.
[2] Американских подданных *(англ.)*.
[3] Концлагеря *(англ.)*.
[4] В ноябре 1939 года Генрих Манн юридически оформил свой давний уже брак с Нелли Крёгер.
[5] Так называли близкие младшую дочь Томаса Манна — Элизабет.
[6] Джузеппе Антонио Борджезе (1882—1952) — итальянский профессор-германист, проживший двадцать лет в Америке.
[7] Европа — это Германия с бахромой *(англ.)*.
[8] «Лотта в Веймаре».

17 января 1940
2, рю Альфонс Карр
Ницца (Приморские Альпы)
Франция

Дорогой Томми.

вчера утром до 12.40 я читал конец «Лотты в Веймаре». Конец — самое захватывающее, как ты, наверно, знаешь. Когда я получил книгу несколько дней назад, я начал там, где оборвалось в «Мас унд верт»[1]; вскоре я дошел до Гете. Его

первое появление, собственно, лежание, совершается тихо и тайно. Не сразу понимаешь, что ты в его обществе. И надворная советница Кестнер, урожд. Буфф, под конец, в карете, тоже лишь чуть спустя замечает, кто сидит рядом с ней. Оба раза это действует тонко и сильно — во втором случае есть какая-то призрачность, а в первом — сходство со сновидением.

Седьмая глава — это чередование и смесь внутренней жизни и внешних поводов, на вымеренном пространстве она создает фигуру и общее от нее впечатление — из величия, сомнительности, бессильных попыток других людей подступиться к нему и удавшихся раньше попыток воспользоваться им. «Господин секретарь Джон» был необходим. И ход Августа тоже, который предоставляет отцу определить день для приглашения, а сам уже определил его совершенно точно. Мало того что сверхвеликого по существу ненавидят, над ним и потешаются — единственный способ его все же любить. Но как он сам ненавидит и любит, эти непрестанные возвращения к Шиллеру — вот что мне ближе всего.

Когда в восьмой главе начинается показ, настоящий Гете уже был. Седьмая — точная подготовка; иначе восьмая не имела бы того же значения. В восьмой дом и статисты тоже участвуют в игре, я вижу оперное оформление, движения «регламентированы» — и это совпадает с особым «регламентом» для Шарлотты, чтобы оставить ее в отдалении. Этот акт, как я непроизвольно выражаюсь, поставлен необыкновенным режиссером. Но я очень огорчился бы, кончая первое чтение, если бы не последовало темного прощания в девятой главе. Я предчувствовал его, хотя человек в плаще испугал меня немного больше, чем благоразумную женщину, которая его обнаружила.

Таковы впечатления. Надеюсь, они выражают заодно и то, как я отношусь к твоей книге,— с совершенно особенной симпатией. Я думаю, что она самое прекрасное из того, что ты сделал в нынешнем твоем возрасте: лучше, чем «Иосиф», она, конечно, не может быть. И «самым прекрасным» она представляется мне только потому, что она очень меня задела. Долгие занятия прекрасным делают человека плаксивым, как я, кажется, вычитал из «Лотты в Веймаре». Особенно в это время. В конце концов сравниваешь себя с коридорным Магером, которого ты иносказательно соотносишь с автором на последней странице[2].

Благодарю тебя от души

Г.

Теперь я снова прочту «Вертера», по-французски, какой уж у меня есть при себе, со статьей Сент-Бёва, очень прочувствованной.

---

[1] Первая, третья, пятая, шестая и седьмая главы «Лотты в Веймаре» печатались в 1937—1939 годах в журнале «Мас унд верт».

[2] Ср. заключающую роман реплику коридорного Магера: «Боже милостивый, госпожа советница, помогать героине Вертера при выходе из экипажа Гете — это событие. Как мне назвать его? Событие, достойное увековечения».

Принстон, 3 марта 1940

Дорогой Генрих,

твое прекрасное письмо от 17 января я получил где-то в глубине штата Техас, среди турне с выступлениями, о котором я, кажется, писал тебе, что оно предстоит. Перед возвращением в Нью-Йорк, продолжавшимся 40 часов, у нас было несколько дней передышки в Сан-Антонио, близ Мексиканского залива, где стояла уже совсем летняя погода. Население там с сильной мексиканской примесью, это часто очень привлекательный тип внешности и отдохновение для глаз после сплошных янки. Есть там еще чудесные испанские миссионерские постройки XVII века, самое живописное, что мне случалось видеть в Америке.

Меня очень тронуло, что ты еще раз с такой любовью заговорил о моем романе, и я счастлив, что он захватил тебя и задел за живое. Не знаю, самое ли он прекрасное мое произведение, но самое любимое во всяком случае, потому что в нем больше всего любви и любовного слияния, несмотря на все колкости, на все иронические веризмы, в которые рядится эта любовь. Его слабости и педантичности я вижу поэтому особенно ясно. Это был бы совсем не роман, а что-то вроде диалогизированной монографии, если бы не элемент волнующего, принадлежащий замыслу и, кажется, сохранившийся при исполнении. Конечно, это связано с реализацией мифа, в которой я поупражнялся благодаря «Иосифу». У читателя возникает иллюзия, что он совершенно точно узнает, как все было на самом деле, и он верит, что при этом присутствует. Это приключение, и поэтому, вероятно, в одной швейцарской газете кто-то смог написать, что проглотил мою книгу так, как проглатывал в детстве истории об индейцах... То, что ты говоришь о заключительной главе, показывает мне еще яснее, чем я уже знал, что я хорошо сделал, придумав ее. В действительности второй встречи не было, и я вышел из затруднительного положения, заставив самое славную Лотту, взволнованную ямбическим спектаклем, ее вообразить. Это единственная нереальная сцена, хотя и другие разговоры достаточно платоничны.

У нас тут после летних дней в Сан-Антонио опять снег. Дел у меня много, надо готовить lectures для boys об art of the novel [1], причем главное усилие надо направить на то, чтобы не сделать этого слишком хорошо. Я часто задаюсь вопросом, чем ты сейчас дышишь и что пишешь. Не могу вполне поверить в роль зрителя, на которую ты намекаешь, потому что сам, признаюсь, весьма далек от нее и часто разрываюсь от ненависти и жажды возмездия. Во время этой поездки я снова агитировал до предела дозволенного установкой на «нейтралитет» и написал, в пару к «This peace» [2] «This war» [3], которая вскоре выйдет в Лондоне и будет broadcasted [4] в Германию.

Будь здоров! Голо [5] в Цюрихе очень хорошо делает свое дело. Не дашь ли ты ему как-нибудь статью?

Т.

---

[1] Лекции для мальчиков об искусстве романа *(англ.)*.
[2] «Этот мир» *(англ.)*. Статья вышла в 1938 году на немецком и английском языках.
[3] «Эта война» *(англ.)*. Статья вышла на немецком и английском языках в 1940 году.
[4] Передана по радио *(англ.)*.
[5] Голо, сын Томаса Манна, редактировал в это время в Цюрихе журнал «Мас унд верт».

16 ноября 1940
Голливуд
Кентербери-Хаус
Норт Чироки

Дорогой Томми,
большое спасибо тебе за привет, он дошел раньше моего. Поскольку дорогая моя жена сперва написала нашему спутнику Голо, я сразу сделал приписку, которую и ты должен был прочесть. А это письмо ты, надеюсь, получишь в Чикаго.

Меди и ее родителям я желаю, чтобы предстоящее событие тем временем благополучно прошло. Передай ребенку, который сам уже ждет ребенка, что я действительно о ней думаю. Немного чужой дядюшка, и с супругом ее я еще не знаком; но участие приходит порой издалека; наши читатели поражают нас неожиданными связями (здесь театральный деятель Чарелл восторженно говорил мне о Генрихе, и как раз о «Зрелых годах», важнейшей, менее известной части).

Мое положение здесь складывается так, как можно было ждать. Колеблются между почтительностью или бережностью и потребностью запрячь меня по-настоящему. Покамест я делаю «новеллу», как называют здесь сокращенный роман, дома. Наверно, уже завтра мне придется перебраться в служебный кабинет «студии», чтобы от 10 до 1 терять время на совещания и болтовню. Разумеется, каждый, у кого вышел фильм, хочет, чтобы я его посмотрел. Я смотрю и говорю. Говорить, впрочем, я мог бы и не посмотрев.

Светская занятость умеренна, и ссылкой на занятость деловую я могу умерить ее еще больше. Только в отношении трогательной фрау Лизль Франк я верен действительному своему долгу. Заботы о доме и машине лежат на моей жене, все затруднительно, если так продлится неопределенное время.

В ночь выборов персонал поезда был страшно взволнован; нас хотели, кажется, позвать послушать радио, но скоро, приняв нас за идиотов, махнули на нас рукой. Я отупел от усталости и предоставил судьбе полную волю. «Все опять прошло прекрасно». Но как подумаешь о 4th term...[1] Пора бы уже лжепобедителю Гитлеру перестать загребать ставки. Это переходит меру — и переходит легально. Говорят, герцогиня Виндзорская проявляет тут отвратительную активность, молчу уж о всяких других опасностях.

В Принстоне вы, надо надеяться, разделаетесь быстро и благополучно [2]. Хорошо бы нам в скором времени встретиться здесь! Кате благодарный привет от меня и не менее дружеский — от Нелли.

Всем сердцем твой
Г.

В моих письмах к Голо и Клаусу была просьба, чтобы ты дал рекомендацию для Rescue Committee [3] обоим Роттенбергам, которые с тревогой ждут в Лиссабоне и, право, заслуживают спасения. Они достаточно натерпелись, пора уже дать им визу. Когда лично знаком с людьми, как я с этими, мучительно думать об их потерянных сыновьях, о бедности, в которой они несправедливо оказались, и о грозящей им смерти. Мое поручительство со всеми справками находится в Committee.

---

[1] Четвертый срок *(англ.)*. В 1940 году Рузвельт был в третий раз избран президентом США, в 1936 году — во второй и в 1932 году — в первый.
[2] Имеется в виду предстоявшее переселение Томаса Манна из Принстона в Калифорнию.
[3] Emergency Rescue Committee *(англ.)* — «Комитет экстренной помощи» (немецким эмигрантам) был образован в США в 1940 году при участии Томаса Манна.

28 февраля 1941
264, Дюгени Драйв
Беверли-Хилс, Калиф.

Дорогой Томми,
большое тебе спасибо за заботу обо мне, которую ты берешь на себя. Моя Нелли тем временем решила, что для нее самые близкие, пожалуй, ее родственники. Это давно натурализовавшиеся коммерсанты, люди, так сказать, обеспеченные, не имея в виду их неизвестного текущего счета. Но мало ли что неизвестно на свете. Если бы на меня не наседали, я остался бы просто visitor [1], полагая, что при вспышке всеобщего национализма все всё равно отправятся в лагерь; исключения возможны лишь благодаря сильнейшей протекции. Мне уже анонимно звонили по телефону: предлагали немедленно покинуть страну. Телефон и дом находятся теперь под надзором полиции. Такого за $7^1/_2$ лет Франции ни разу не было, несмотря на войну и на поражение. Зато Лос-Анджелес со своими оружейными фабриками переполнен нацистскими шпионами. Одного уволили из кинопромышленности — военная промышленность его пристроила. Мир хочет быть самим собой; на свои маленькие слабости он смотрит сквозь пальцы. Последствия через шесть лет тоже не прервут вечности.

В подходящий момент написал роман музыкант Фридрих Голлендер, написал даже по-английски, и просит меня, чтобы я представил его тебе. Твое предисловие — его мечта [2]. Я ответил ему: «А вы пошлите. Не так уж много, наверно, приходит нынче корректурных листов; кто может позволить себе писать романы». Впрочем, кто знает, вдруг у него и правда какое-то озарение. Я не сумел сразу предостеречь его от посылки, да и вряд ли бы он успокоился на этом.

На сегодняшнее утро хватит. Сейчас опять принимаюсь за свой кинороман; это пока дозволенный, даже угодный жанр.

С сердечным приветом
Г.

[1] Гостем *(англ.)*.
[2] Роман Голлендера «Оторванные от почвы» вышел в Нью-Йорке в 1941 году с предисловием Томаса Манна.

15 апреля 1942
301, С. Суолл Драйв
Лос-Анджелес

Дорогой Томми,
ты очень тронул меня. Отрадно сознание, что мое положение так серьезно занимает другого человека, которым можешь быть единственно ты. Стыдиться запрещает мне наша естественная близость и еще моя — скажу лучше — покорность воле божьей, чем тупая усталость. Так как обстоятельства постоянно меняются, отказываться, может быть, как раз и не время. Россия, эта страна судьбы, показывает мне, что и я не стал вдруг не нужен: они приобщают к своему великому делу и то, что сделано мной. Если они сверх того дадут мне деньги, это будет. право, больше наградой, чем платой, и зачтется в многократном размере, если учесть их собственное, донельзя напряженное существование.

Теперь прямой вопрос, сколь велика может быть сумма. До Нью-Йорка и чуть больше, надеюсь, а причины для переезда у меня те самые, которые ты называешь. Правда, из 750 долларов, как только они придут, надо вычесть много необходимых платежей, в особенности зубному врачу, фигуре вдруг жизненно важной. К нему я явился с необычайно запущенной кистой; устранить ее оказалось недостаточным, он удалил все следы моих собственных зубов, голые десны ждут теперь новых; вся операция обойдется по самому скромному подсчету в 225$ — жестокий удар. Если выплачивать в рассрочку, счет поступит в банк, что увеличит стоимость и обременит меня надолго — страшное дело, как я знаю после покупки автомобиля. За самый автомобиль осталось выплатить еще 300$, до этого я не имею праза отдать его. После вычета обоих взносов от ожидаемых 750 осталось бы только 225, но после поездки, которая на машине обошлась бы дешевле всего, машину можно было бы продать там, и на несколько месяцев денег хватило бы.

Большего, чем несколько обеспеченных месяцев, требовать я не вправе; и все-таки мне жутковато от неудач, которые постигли и, значит, вероятно, еще постигнут меня в этой стране. Рад разделить твое предположение; быть на месте — это уже кое-что; только сейчас я как раз не в самом подходящем состоянии, физически и в смысле легкости на душе, чтобы выступить и заставить считаться с собой. Между тем тут нет ничего необычного; даже с молодежью теперь такое случается. Ощутимее задерживает меня то, что передо мной лежат три незаконченные работы и что продолжение их мне придется, надеюсь ненадолго, отложить. Если бы оказалось, что кто-нибудь их ждет и готов заплатить за них, у меня бы настроение поднялось раньше. Итак, поеду и попытаю удачи.

Если же она заставит себя ждать, вскоре встанет вопрос, вправе ли я еще раз обращаться к тебе за помощью. Это и здесь нахальство, а в Нью-Йорке будет еще большее. Я прекрасно знаю, в каком ты долгу перед собой и своей семьей; и дом тоже оправдывает себя, на нем ты на поверку ничего не потеряешь. Но сделаться самому лектором, хотя и казенным, и притом еще содержать брата — это уж переходит границы дозволенного. Постараюсь обходиться без твоего ежемесячного подспорья после того, как Литвинов [1] переведет деньги. Поблагодарю господина Литвинова, как только их получу.

В Нью-Йорке, если доберусь туда, видеть тебя удастся еще реже: уже здесь это случалось слишком редко, хотя у меня всегда было время. Ты занят — помимо всего, конечно, людьми: меня они оставляют в покое, что не имеет никакого значения. Только с тобой что-то упущено и уже не наверстается, впрочем, это несвоевременное представление. Возможно, что под конец личное присутствие заслоняют воспоминания. Без всякого умысла и сам не знаю почему я вдруг начал читать «Будденброков».

Сердечно твой
Г.

[1] М. М. Литвинов, тогдашний советский посол в США, передал Генриху Манну гонорар за его произведения, опубликованные в Советском Союзе.

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния
19 мая 1942

Дорогой Генрих,

хорошо все же, что деньги пришли. Рубль учету не поддавался. Но ты прав: это все-таки прекрасный факт в нравственном смысле, да и облегчение тоже. Если ты считаешь, что покамест, в июне, я могу отступить [1], принимаю это с благодарностью. Ты дашь мне знак, как только мое вмешательство будет снова желательно.

Прав ты и в том, что ваш переезд в Нью-Йорк следует отложить, покуда там, благодаря деятельности твоих друзей, не откроются несомненные возможности. Вообще, по мере того как приближается лето, эта идея становится мне все более чужда и неприятна. Невыносимо думать, что ты там, да еще по моему совету, сидишь в маленькой квартире во влажной жаре. У Голо недавно родилась остроумная мысль. Если уж все равно откладывать, то почему уж не в Мексику? Это сулило бы горный воздух, испанский язык вместо янки-дудля и располагающую политическую атмосферу. Неглупо. Но я бы слишком хорошо понял тебя, если бы ты предпочел остаться там, где находишься. Может быть, осенью война кончится. Боюсь, однако, что она затянется. Русским одним не справиться, и я не верю в возможность победы, если в наших странах не произойдут революции, которые сметут реакционных вождей, не столько желающих победы, сколько боящихся ее, и на самом деле превратят эту войну в освободительную войну народов.

Сердечно твой
Т.

[1] То есть не присылать ежемесячного в тот период денежного подспорья брату.

Отель Уиндермир, Чикаго
24 марта 44

Дорогой Генрих,

приближается 27-е [1], и пора, если не давно пора, нам обоим, Кате и мне, послать тебе наши сердечные поздравления с этим торжественным днем, таким важным для множества людей и по ту, и по эту сторону. Большóе удовлетворение вызвал у всех явно блестяще удавшийся канун празднества в нью-йоркской «Трибюн». В твоем послании [2], которое я прочел в одной эмигрантской газете, ты говорил о фениксоподобном возрождении твоего творчества после прошлой войны. Это касалось тогда главным образом Германии. На сей раз, судя по всему, это повторится в мировом масштабе. Не далее как вчера один американский писатель, Луис Бромфилд [3], выразил мне свою убежденность в том, что после войны у нас непременно будут соединенные советские республики Европы. Что ж, это был бы совсем другой простор для расправленных крыльев феникса, чем в бедной немецкой республике.

Наша Меди очень быстро и благополучно родила вторую дочку, но побледнела и похудела и, безусловно, слишком рано активизировалась. Надеемся, что у нас в Пасифик Пэлисейдз она оправится, ибо в начале сентября эта маленькая семейка снова приедет туда к нам в гости на три месяца. Эрика покажется там уже в апреле, перед тем как, по-видимому, опять отправится в Европу. Голо, назначенный в Англию, еще появится здесь на несколько дней. От Клауса мы получаем из

Италии скудные вести, свидетельствующие, однако, о благополучии и удовлетворительной деятельности,— в личном смысле; ведь в общем на этом театре военных действий удовлетворительного как будто мало.

News[4] 1925[5] года: «The Russians enter Toulon. Fierce fighting continues near Cassino» [6]. (Американский народный юмор.)

Итак, желаем прекрасного, веселого дня, крепкого здоровья вам обоим и самых больших удач во всех предприятиях.

Т.

[1] День рождения Генриха Манна.
[2] «Глубокоуважаемые слушатели!» — приветствие Генриха Манна участникам торжественного заседания в Нью-Йорке, посвященного его 73-летию.
[3] Луис Бромфилд (1896—1956) — автор популярных в свое время романов «Ранняя осень» (1926) и «Пошли дожди» (1937).
[4] Новости *(англ.)*.
[5] Описка, вместо, по-видимому, «1952».
[6] Русские вступают в Тулон. Ожесточенные бои продолжаются близ Кассино *(англ.)*.

Сент Риджис
Нью-Йорк
9 июня 45

Дорогой Генрих,

строчки письма, которые ты еще прибавил к великолепной статье в «Рундшау» [1], я, как и статью, не мог читать без слез. Позволь мне поблагодарить тебя, насколько это осуществимо в суете этих дней — я не искал ее, но, как-никак, и не избежал, не избежал из «приветливости»,— за всю твою любовь и верность, которая не взволновала бы меня так, если бы моя душа горячо не отвечала ей тем же.

Вообще же не так-то просто, при всем том, что мне оказывают сейчас добрые люди, надлежаще держаться внешне и внутренне. Растроганность тоже очень смешна. Надо воспринимать это больше как нервное усилие и не ударить лицом в грязь, несмотря на основательный скепсис, больше того, меланхолическую уверенность, что самому-то виднее. Иосиф [2] прекрасно знает, что его жизнь была «игрой и намеком на благодать». С другой стороны, есть и Иуда, который говорит про себя: «Кто бы подумал. Каплет на мою голову. Боже, помоги мне, но это я». Устами обоих говорит доля опыта.

Твоя статья, разумеется, гвоздь берманского номера [3], она восхитительна в личной своей части, особенно волнует она воспоминаниями о папе, о котором и мне так часто в жизни случалось думать, и это чудесный документ, из которого видны братские разновидности нашей связи с Германией. Проза неповторима. У меня не в первый раз возникает чувство, что эта насыщенная и интеллектуально собранная простота есть язык будущего, язык нового мира.

До свидания, как только мы вернемся!

Т.

[1] Статья «Мой брат», написанная к семидесятилетию Томаса Манна и вошедшая в «Обзор века».
[2] Иосиф и, ниже, Иуда — герои тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья».
[3] Издательство «Берман-Фишер» (Стокгольм) посвятило первый номер основанного им в 1945 году журнала «Нейе рундшау» семидесятилетию Томаса Манна, и статья Генриха Манна «Мой брат» вошла в этот номер.

Весна 1946 г.

Чикаго
профессору Антонио Борджезе
для передачи миссис Кате Манн

Доктор Розенталь [1] дал мне подробный отчет тчк стараюсь не терять веру и прошу Томми хранить свое восхитительное мужество тчк любимый мой брат ты должен найти и найдешь силу для жизни тчк ты необходим для своих великих планов и для всех кто тебя любит тчк есть человек который счел бы бессмысленным продолжать без тебя тчк вот самое время заверить тебя в своей безмерной привязанности тчк пусть мои горячие пожелания помогут тебе устоять перед лицом опасности и вновь обрести здоровье тчк

Сердечный привет Генрих
Отправитель: Г. М.

Рукописный набросок телеграммы на английском языке

[1] В апреле 1946 года Томасу Манну была сделана в чикагском госпитале операция по поводу рака легкого.

Вульпера, Энгадин
14 июля 1949

Дорогой Генрих,

разные тяготы и волнения всех этих недель (ребяческие, по поводу германских подлостей [1], намерения посетить Веймар etc) вместе со здешним низким давлением вызвали несколько сильных кровотечений из носу (лопнула вена), с последним из которых здешний курортный врач никак не мог справиться полтора часа. Впрочем, крови у меня скорее слишком много, так что случившееся надо рассматривать не как нежелательное, а только как очень неудобное и в высшей степени неопрятное кровопускание. Но вполне хорошо я уже давно (с «ухода моего сына») [2] себя не чувствую, а здесь мне надо было готовить для Франкфурта [3] речь — с великим трудом. Поэтому я и не писал вопреки своему желанию так долго, впрочем, и теперь оставляю рассказ о ходе поездки до личной встречи.

Некто по фамилии Гросхут прислал мне из Швеции хвалебную рецензию на «Дыхание» [4], появившуюся в «Экспрессен». Он просит переслать ее тебе. Уже несколько дней, как книга твоя у нас, и мы с Катей читаем ее по очереди. Незачем говорить, что это нечто уникальное и ни с чем не сравнимое в современной литературе, вернее, в современных литературах, которые твоя книга, не будучи уже национальной, переросла, так что видишь: превыше языков язык. В этой предельной продвинутости личной линии есть стариковский авангардизм, который хоть и известен по некоторым великим примерам (Парсифаль, Гете, также Фальстаф), но здесь производит сильное впечатление и кажется чем-то совершенно новым. К тому же авангардисты нынче обычно реакционны, а ты составляешь исключение (Лукач, наверно, сказал бы: подобно тому, как я составляю исключение как традиционалист). Впрочем, традиционного и у тебя достаточно: от Бальзака идут этот грандиозный гиперболизм и это гениальное вранье в политической интриге, авантюрность которой, однако, вполне **реалистична** и соответствует эпохе. Очень зло и волнующе. Я теперь ни о чем не думаю, кроме как о «синархизме» и обо всем, что только может еще появиться в этом стиле. Мы хотели спросить, придумал ли ты это слово или заговор действительно так назывался и называется. Я выставил против этого довод, что managerial revolutionaries [5] и капиталистические предатели народа любят анонимность... Это поразительно, как резкий, даже режущий, ясный и все-таки скрытый, холодный и сверхсосредоточенный эссеизм интонации приобретает вдруг лирическое звучание, и волнующие места в самом деле волнуют.

Вот несколько более или менее запомнившихся, но, наверно, и беглых замечаний. Не обессудь!.. С 19 по 22-е мы пробудем еще в Цюрихе, а 23-го поедем со швейцарскими друзьями на автомобиле во Франкфурт. Большая любезность со стороны Military Permit Office [6], к моему удивлению. Military facilities [7]. С другой стороны, русские отвезут меня на автомобиле **из Франкфурта** в Веймар. Не верится. На 5 августа мы заказали каюту на «Нью Амстердам», надеемся, значит, в середине месяца быть дома.

Еще раз — не обессудь!

Сердечно твой
Т.

---

[1] Узнав о намерении Томаса Манна посетить Веймар, реакционная западногерманская печать выступила с резкими нападками на писателя.

[2] В мае 1949 года покончил самоубийством сын Томаса Манна — Клаус. «Уход моего сына» — цитата из письма Гете от 10 декабря 1830 года. Этими словами Гете упомянул о смерти своего сына Августа.

[3] В июле 1949 года Томас Манн выступил с речью о Гете во Франкфурте-на-Майне.

[4] Название романа Генриха Манна.

[5] Верхушечные революционеры *(англ.)*.

[6] Отдел пропусков и виз военной администрации *(англ.)*.

[7] Военные удобства *(англ.)*.

Дневники, воспоминания

НИКОЛАЙ Т. ФЕДОРЕНКО

ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ВСТРЕЧ

Мгновение и вечность

...Неторопливый шум моря, не смолкающего ни днем, ни ночью. Под ногами ощутимо уплотняется влажный песок. С шипением тают белые кружева морской пены. Воздух насыщен вязким пряным запахом белого и красного жасмина. Вдали — облака, словно паруса плывущих на горизонте каравелл. А над головой у нас тусклый смешной месяц. Лишь в осенние ночи луна как-то остро блестит, переливается над округлыми холмами, отражающимися в воде. И здесь, в древней Камакуре на побережье океана, под чужим и далеким небом особенно отчетливо осознаешь себя беспокойным скитальцем, о которых поэт сказал: «Их друзьями были горы, отчизной — гордый океан».

На японской радиоволне, передающей известия о событиях в мире, вдруг прозвучало слово «Россия»... Необъятная панорама, земля предков, моя земля. Ее вольные края, неохватные взглядом степные просторы. Заснеженные вершины ее гор, которые, словно в легенде, поддерживают небесный свод. Богатства недр, которым несть числа. Люди, прославленные своей душевной широтой, сказочным мужеством, трудовыми подвигами, одержимой устремленностью в будущее. И чудится мне родной город на берегах Подкумка, столь любезный сердцу Пятигорск, жизнь у подножия поэтического Машука, отроги Кавказа, Эолова арфа над лермонтовским гротом, вырубленным в скалистой глыбе. На всякое движение воздуха отзывается она для меня, для многих поколений моих земляков самыми мелодичными, сладостными тонами. Она словно пчела, которая собирает сок с разных цветов в благостном горном воздухе и создает целебный мед восторженной человеческой радости.

Но вот начинается концертная программа. И будто в тон морской симфонии из стереофонического транзистора вдруг полились обворожительные звуки скрипки. Они говорят о своем, об удивительном. Мир мелодии обретает непонятную власть над сознанием, становится невыразимо важной частью твоего собственного существования, твоего восприятия искусства. И будто вот-вот увидишь на взметнувшихся вершинах гор, над знакомой цепью силуэтов Кавказского хребта нечто недоступное нашим глазам, человеческому разуму.

— Играет известный виртуоз Эльман, между прочим, обладатель исторической скрипки Страдивариуса 1717 года, которая, согласно легенде, принадлежала в свое время Наполеону,— поясняет Леонид Коган, с которым мы оказались в древней Камакуре, неподалеку от Токио.

— Успеет ли виртуоз закончить игру к началу последних известий? — спрашиваю я своего собеседника.

Коган с каким-то смешным отчаянием разводит руками, а затем твердо отвечает:

— Ему осталось играть Второй романс Бетховена ровно одну минуту и семнадцать секунд.

— Ровно... по секундам?..

— Сейчас осталась уже одна минута и пятнадцать секунд. Последние известия, по-видимому, не пострадают...

И ровно через одну минуту и пятнадцать секунд Леонид Коган в моих глазах, которые инстинктивно прикованы к циферблату часов, превращается в загадочного мага.

— Да, но Второй ли это романс Бетховена и Эльман ли?..—вырывается у меня нелепый вопрос, лишь выдающий мою растерянность.

— Сейчас утихнут рукоплескания и, быть может, диктор объявит...— спокойно парирует Коган мою неуклюжую реплику.

[1] Глава подготовленной к печати книги «Дипломатические записи». См. «Иностранную литературу» № 2, 1968.

И прогноз скрипача тотчас подтверждает голос из транзисторного приемника. Испытывая растерянность, я решаю, на любой конец, как могу, изобразить изумление. Но в одном я уверен: часы у этого человека бесспорно с секундной стрелкой.

— Все это кажется на грани мистификации, оракульской магии... Не могу понять, как вам удается такая диагностика, без малейшего просчета и ошибок?! — продолжаю я.

Коган как будто грустнеет, уходит в себя, точно мои слова причинили ему боль. О серьезном нужно говорить серьезно. Вскоре, однако, на лице его появляется прежнее выражение, которое бывает после раздумья.

— Музыка, на мой взгляд,— искусство столь же точное, сколь и ответственное,— отвечает мой собеседник.— Она не терпит ни фальши, ни произвольности, ни просчетов... Думается, кстати сказать, что мир выглядел бы совсем по-иному, если бы во всем, особенно, например, в области атомной стратегии и глобальных расчетов, была «запрограммирована» такая же непримиримость к ошибкам...

Я смотрю на скрипача и вижу, как мышцы под кожей его лица внезапно напрягаются и передвигают скрытые сухожилия. Конечно, эта смена выражения вызвана какими-то глубокими эмоциями, движением сердца...

Мне вспомнился этот эпизод спустя много лет, когда в Нью-Йорке перед моими глазами оказалась рецензия американского музыкального обозревателя З. Геллер в «Газетт» под заглавием «Совершенство Когана ставит его в ряд величайших скрипачей». В ней, в частности, говорилось: «Нерушимая серьезность отношения к музыке, чистота артистизма делают Когана одним из величайших скрипачей нашего времени».

...Японский диктор перешел к известиям о событиях в международной жизни, а я по-прежнему слышу голос скрипача, рассуждающего о многосложных взаимосцеплениях проблем, о которых люди обязаны думать перед лицом непрестанно изменяющегося мира. Каждый простой факт, если он является истинным, корреспондирует с любыми другими действительными фактами, тогда как фальсификация и лицемерие не соответствуют ничему, кроме другой фальсификации и лицемерия, используемых в целях извращения правды. И разве может не волновать человека самый тревожный вопрос: допустимы ли в наш грозный век просчеты, своеволие, ошибки? Нет, небывалая эпоха, в которую суждено нам жить, должна быть абсолютно нетерпима к ошибкам. Последствия их могут оказаться слишком опасными, если не роковыми.

На берегу Токийского залива

...Крупнейший концертный зал Токио набит до отказа. Третий день аншлаг. Идут сольные концерты Леонида Когана, совершающего гастроли по Японским островам.

Появление на сцене советского скрипача вызывает бурную реакцию аудитории. Зал наполнился дыханием жизни. Невысокий худощавый Леонид Коган выглядит в черном фраке совсем моложаво, совсем юным. Как-то по-особому несет он в левой руке скрипку, будто подвешенную на его пальцах, несет почти с благоговением, как нечто священное. И когда скрипач проводит смычком по струнам инструмента, покоящегося на его плече, словно нежно обласканного щекою и подбородком, мне начинает казаться, что он вновь, как на побережье в Камакуре, приступает к своему колдовству, взмахивая волшебной палочкой. Будто поддавшись ворожбе этого чародея скрипки, я не в силах оторвать от него глаза. И не могу понять, действительно ли ушли в прошлое предания и мифы. Уже первые ноты, раздавшиеся словно в безлюдной аудитории, берут в плен. Да, это тот музыкант, ради которого, видимо, и создавал свои скрипки легендарный Страдивариус. Из звуков, изначально простых и бесконечно богатых, рождается совершенное творение Д. Шостаковича, феноменального нашего современника и предвестника музыкальной культуры грядущего,—Концерт для скрипки с оркестром. И вместе с композитором и скрипачом мы ощущаем полноту соразмерности со временем этой музыки, свежесть чувств, которые будто ничему неподвластны. И невозможно уловить, в чем именно заключено это волшебство.

Исполнительское мастерство Леонида Когана словно говорит нам о том, что подлинное искусство не застывает в своем движении. И если не прервется связь художника, которому ведома высокая мера взыскательности, с реальной жизнью, вечным и благотворным источником его творческого вдохновения, талант и способность к созиданию не иссякнут. В этом непреходящее значение художественной культуры для жизни общества, в этом духовный подвиг истинного художника. И все время, пока звучит музыка, пока во всей глубине развертывается мир мятежной души композитора, огромная аудитория затаив дыхание следит за каждым движением великого мастера, виртуоза скрипки.

Изумляют совершенство его техники, бесконечная проникновенность и артистизм, опрокидывающие представление о возможном. Редко исполнительское мастерство встречало столь высокую оценку у японских любителей скрипичного искусства — взыскательных и тонких его ценителей.

Замирают последние ноты Концерта Шостаковича, и многотысячная аудитория разражается шквалом оваций в честь композитора, скрипача, советского искусства, нашей музыкальной культуры. В этой восторженности — высокое признание великого ее масштаба.

Изумление вновь овладевает переполненной аудиторией, когда смычок чародея погружает ее в мир образов сонат Баха и Генделя, заставляя с необыкновенной силой и свежестью сверкать все краски музыкальной палитры барокко. Как для сказочника, для Когана не существует понятий «звуковых и

эпохальных барьеров». В его игре равно выразительны и оттенки звука, и бурная динамика, и настроение, здесь органически слиты в единое гармоническое целое элементы драматические, эпические, бурные чувства, мягкий лиризм, строгая созерцательность.

Воля мастера властно вселяет в душу слушателя веру в могущество людей, дарит богатство переживаний, раскрывает всю гуманистическую насыщенность содержания скульптурно осязаемых музыкальных образов, словно добываемых смычком художника из самых глубин его души и оттого единственных, неповторимо ярких. Кажется, нет силы, которая была бы в состоянии когда-либо разлучить нас с бесценными этими эстетическими радостями. Часто волнует не только образ, не только герой произведения, а сам художник, личность, наделенная даром будить чувство и воображение человека. Именно авторское настроение способно вызвать в нас восхищение, сочувствие, глубокую гуманность.

Чувство восторга, человеческого изумления, конечно, далеко не односложно. И восточная поговорка «мало видевший много удивляется» едва ли исчерпывает всю полноту этого состояния. Способность человека реагировать эмоционально, выражать восторг при соприкосновении с прекрасным принадлежит к числу драгоценнейших даров, которыми люди наделены щедростью природы. Сама жизнь представляет собой многообразную палитру красок, неиссякаемую гамму звуков. Человек, однако, не всегда и не в полной мере постигает их поэтическое значение. Краски и музыкальные тона — удивительное явление, чудо самой природы и жизни человека. И чем беднее люди душой, тем больше в них свинцового безразличия.

Но разве не жаль тех, кто лишен чувства удивления, не способен восторгаться поразительными творениями природы, свершениями человека, дерзанием его гения? Разве чувство цвета, чувство мелодии, способность воспринимать окружающий мир не доставляют людям подлинную радость? Однако истинному художнику дано большее: с помощью красок и звуков он воплощает гражданственную идею искусства, как бы творя целый мир, всю вселенную. И конечно, здесь необходима необыкновенная творческая и интеллектуальная собранность, целеустремленность. Верное понимание прошлого, традиций, пытливый непрестанный поиск в сфере непознанного и неиспытанного. В этом созидательная неутомимость духа истинного художника. И его творческие находки, художественные удачи делают жизнь человека неизмеримо значимее, одухотвореннее, прекраснее...

Мысленно возвращаясь к выступлению советского скрипача в Токийском концертном зале, я испытываю каждый раз такое чувство, словно вновь присутствую на большом празднике, где торжествовало нечто очень светлое, величественное. И хотя это было мгновение, но всякая проходящая минута, как знать, может отозваться и вечностью.

С тех пор минули годы. Позади пролегли дальние пути через океаны в другие земли. Но время не было разорвано. И мгновение будто остановлено, испытанное возвращается, и вновь слышится звучание скрипки, по-прежнему волнующее и тревожащее своей восхитительной простотой и обаянием.

Время поистине обладает удивительным гением! Случается, что оно будто замедляет стремительное свое движение, чтобы память сохранила однажды услышанное человеком, навсегда запечатлела сокровенное, дорогое сердцу, неповторимое.

Своим огромным дарованием и напряженным трудом Леонид Коган снискал себе известность и высокое признание среди японской художественной интеллигенции и любителей скрипичного искусства. Этому, несомненно, способствовала японская национальная традиция эстетического восприятия мира, тонкости вкуса, деятельности мысли. Когда советский скрипач, совершая гастроли, прибыл в Осаку, на перроне станции его встречал оркестр юных скрипачей, насчитывавший свыше двухсот японских детей. Они исполнили в его честь Концерт для скрипки Чайковского, отдавая дань уважения музыканту и искусству его отечества, словно говоря: то, что не принадлежит Родине, едва ли может принадлежать человечеству. Не может быть признания международного без признания своего народа, художника породившего. Японцы умеют ценить землю, одарившую человека чувством прекрасного, чувством неизбывной к ней тяги.

Здесь я позволю себе небольшое отступление. Однажды мы встретились с Леонидом Коганом в его отеле, расположенном на берегу Токийского залива. Густая, почти черная мгла затягивает и скрывает от нас раскинувшиеся впереди морские дали. Но песок на побережье кажется каким-то необыкновенным, покрытым мелкой чешуйчатой рябью, рожденной затихающей морской зыбью. Вода вдали будто совсем неподвижна, и сухие листья на зеркальной глади словно застыли навсегда, невесомо опустившись с оголенных, точно обугленных ветвей.

Нас окружает обстановка европеизированного ресторана. Здесь царят изысканность и традиционность. Обед при стеариновых свечах в бронзовых канделябрах. Старинный обычай, истоки которого восходят к отдаленным временам общинной трапезы при священных огнях костра. В своем историческом движении люди никогда не утрачивали изначального чувства инстинктивной привязанности к горящим поленьям, взрывчатому треску сушняка, медленно тлеющим углям и серому пеплу, под ажурным покровом которого таится благостный жар сгорающей древесины.

Интерьер ресторана выдержан в духе зам-

ковой архитектуры: темно-коричневые панели из натуральных дубовых пластин, массивные балки мореного дуба по всему пролету — от стены к стене. Дерево, то в виде целых бревен, то распиленных досок или брусков, сохраняющих первородное строение древесины, обнаруживающих внутреннюю природу могучего ствола, неистребимо влечет человека, возбуждает в нем затаенные ощущения, тяготение к естественной природе...

Но вот посыльный, назвав фамилию советского скрипача, вручает ему визитную карточку с иероглифическими знаками. Оказывается, что японка по фамилии Като просит Когана-сэнсэй [1] уделить ей минуту для беседы по личному поводу. Вскоре приходит гостья. Она не одна. С нею девочка, ее дочь Сокко-сан [2], которой около девяти лет.

— У ребенка очень рано обнаружились музыкальные склонности. Ее более всего увлекает скрипка, которая стала захватывающей мечтой ее жизни. Но это лишь сон, о котором судить надо, когда он сбывается, как о соколе — после охоты. Сокко не пропустила ни одного концерта Когана-сэнсэй в Токио. Ее потрясло исполнительское искусство советского скрипача...

Японка на какое-то мгновение умолкла, словно затем, чтобы подыскать нужные слова для более точного изложения своей мысли.

— Знакомые музыканты одобряют Сокко-сан, хвалят ее игру, рекомендуют учиться. А я думаю, быть может, «она не за тот конец хаси [3] держит» или «ворону цаплей называет». Судьба ребенка теперь зависит от верного решения. Рисковать нельзя. Посвятить себя музыке можно, только если есть задатки, если есть дарование. Мы надеемся, и это причина нашего визита к вам, Коган-сэнсэй, что вы поможете нам определить будущее Сокко, предостеречь от непоправимого шага... Она у меня одна. И у девочки нет никого, кроме матери. Рассчитывать нам не на кого, а сила и слава послушны лишь богатству...

Коган реагирует на это несколько неожиданным для меня образом. Светлые человеческие чувства скромной японки словно разбудили нечто затаенное в глубине его памяти, вызвали необычные движения души. Будто что-то в нем дрогнуло, и по его лицу скользнула усмешка. Молча, как-то загадочно он поднимается со стула, стремительно приближается к девочке, которая уже успела извлечь из футляра свою скрипку и приготовилась играть, и, схватив ее за руку, мгновенно покидает нас, не проронив ни единого слова.

За традиционным зеленым чаем, который нам подали в японских национальных пиалах из грубой, крупнозернистой керамики, Като-сан все с тем же смирением продолжает рассказ, бесхитростное описание своей жизни. И ее искреннее повествование похоже на мечтания в сумерках. Воспитанная в канонах домостроя и покорности, она верит, что добро выше зла, хотя давно убедилась в том, что сила закон ломит.

— Иные друзья,— говорит японка не без горечи,— пригодны лишь чай пить. Они часто говорят, что очень большой талант — уметь радоваться жизни, уметь жить.

Поправив прическу, а затем пригубив из керамической пиалы с чаем, которую она изящно поддерживает двумя руками, Като-сан продолжает говорить:

— Любить жизнь, по мне, нужно не всякую, а лишь осмысленную и справедливую. И нужно уметь презирать тех, кто ведет жизнь неправедную, преступную. Чем больше золота, тем ярче и Будда сияет. Но не всякий, кто с четками, бонза.

— Разумеется, каждый должен знать, на какой ноге танцевать,— замечаю я в свою очередь.

— И самое страшное — безразличие, индифферентность человека к окружающим людям, к их судьбе, всему, что с ними случается,— с волнением говорит японка.

Видимо, недаром принято считать, будто на Востоке ничто не имеет конца. Не потому ли так трудно и мне, к примеру, отрешиться сейчас от сомнений, озабоченности, рефлексий? Вижу, что моя учтивая собеседница вся во власти тревоги по поводу судьбы Сокко, которая решается в этот момент где-то совсем рядом.

Мы идем на мелодию скрипки, которая льется как поющая река из глубины внутренней комнаты. Като-сан полушепотом говорит, что это любимая вещь ее дочери. Сокко всегда исполняет ее, когда хочет доставить кому-либо радость. Виртуозность исполнения, эмоциональная взволнованность, искренность звучания, кажется, не оставляют сомнения в незаурядности дарования юной скрипачки.

Мы входим в комнату, и перед нами возникает статуэтка японской девочки, одинокое изваяние. Но странно, ее облик до неузнаваемости изменился. Будто это уже не миниатюрная Сокко-сан, застенчивая, робкая, с опущенными глазами, какой она была лишь мгновение тому назад. Теперь перед нами—олицетворение вдохновения, пафоса, эмоционального динамизма...

Сидя в кресле с закрытыми глазами, Коган, кажется, заворожен юной волшебницей. Мы все еще продолжаем стоять у дверей в нерешительности, точно в оцепенении. Но вот наступает момент пробуждения, приоткрываются глаза скрипача, и, увидев нас, он не скрывает своего изумления...

— Сумимасэн,— извините, сэнсэй,— приглушенным, молитвенным голосом произносит Като-сан, которая не в состоянии совладать с охватившим ее волнением.

И в моей памяти всплывает когда-то услышанная пословица: «Поздно молиться, когда в руки к дьяволу попал».

— Ах, да...— с нескрываемой досадой вырывается у Когана — слишком уж резок переход.

---

[1] Сэнсэй — учитель, господин, почтительное обращение.

[2] Обращаясь к именам собственным, автор позволил себе в некоторых случаях отойти от строгой документальности.

[3] Хаси — палочки, употребляемые японцами в качестве столового прибора.

— Это Страдивариус? — спрашиваю я Сокко, стремясь «навести мост», который будто исчез, как только наша компания разделилась.

— Нет, это скрипка,— непосредственно и наивно отвечает девочка.

— Сокко-сан,— говорит Коган, в глазах которого появилась тень улыбки,— несомненно, музыкально одарена, обладает живым темпераментом и врожденной артистичностью. И все же никому еще не удавалось перейти реку, не ступив в ее воды...

— Что это значит? — растерянно восклицает японка, у которой, кажется, «от испуга язык в трубку свернулся».

— Мудрому достаточно,— пытаюсь я сделать пробный шаг по мосту оптимизма с помощью латинской пословицы.

— При всей одаренности и многообещающих задатках, если судить взыскательно, девочке предстоит путь упорного труда: как алмазу нужна шлифовка, так человеку — образование. Без шлифовки и драгоценный камень не заблестит,— подкрепляет свой вывод скрипач, с завидной точностью обращаясь к японской народной мудрости.

— Домо аригато годзаймас,— взволнованно благодарит Като скрипача.— Только как это сделать? Где, на какие средства?

И глаза японки, которая столь же окрылена, сколь и озабочена заключением непогрешимого судьи, заметно увлажнились, покрылись туманной пеленой, совсем сузились. Женщина осознает вещи скорее сердцем, чем головой. Но именно в сердце, по слову Льва Толстого, рождаются лучшие мысли.

Коган, подумалось мне, сжигает свечу с обоих концов. Все умолкли. Сокко-сан, держа скрипку в руках, стоит неподвижно, потупив взгляд. Девочка словно застыла в сознании безысходности. Мгновенный переход от бравурных музыкальных каскадов к воцарившемуся безмолвию поверг нас в состояние растерянности. Никто из нас, видно, не склонен к проявлению конструктивной инициативы. И я начинаю чувствовать, что мое поведение напоминает человека, которого восхищенно называли талантливым, искусным дипломатом, потому что он старался ничего не сказать... Воцарившееся молчание действует угнетающе. Люди чувствуют себя стесненными, как рыба в корзине.

Но вот оно прерывается. Людям самой природой дано разным образом выражать свои мысли, чувства, надежды. Начался диалог. И он не был общением глухонемых и черствых сердцем. Движимая каким-то инстинктом, Сокко бросается к скрипачу, падает перед ним на колени и застывает в этой неподвижной позе, едва удерживая в своей тоненькой, словно тростинка, трепещущей руке умолкнувшую скрипку. Она, будто вспорхнувший на мгновение мотылек, сложив крылья из скрипки и смычка, припала к благодатному источнику жизни, который чудом ниспослан ей самой судьбой. Ребенок, она почувствовала это, быть может, подсознательно, но интуиция ее не обманула. И передо мною из драматической ситуации вдруг вырастает поэтический символ...

В смятении обращает на меня умоляющий взгляд мать девочки.

— Высокая должность посла — патент власти,— шепчет японка едва слышно.

Горю нужно участие, сострадание. В одиночестве человеку его не снести. Так судьба юной скрипачки переместилась в сферу межгосударственных отношений, стала предметом дипломатических и консульских процедур. Строгая логика практической дипломатии завершилась выдачей Сокко Като визы в Москву.

Прошла с тех пор не одна весна и осень. Напряженные занятия в консерватории. Все необозримее раскрывался перед юной душой чудесный мир искусства. И двадцатого июня 1966 года, просматривая статью Давида Ойстраха об итогах конкурса скрипачей, я не мог справиться с охватившим меня волнением, увидев имя шестнадцатилетней японки (класс профессора Л. Когана) среди тех, кто повезет теперь по свету гордое звание лауреата конкурса имени П. И. Чайковского. «Хотя конкурс, по моему мнению,— отмечал автор,— застал ее в тот момент, когда она из чудо-ребенка превращается в зрелого артиста», скрипачка вновь подтвердила свою высокую репутацию...

И не без чувства восхищения узнал я от Давида Ойстраха, что юная подруга наша Сокко-сан не одинока среди победителей прославленного конкурса. Вместе с нею, в созвездии лауреатов, подтвердивших превосходство советской скрипичной школы, стоит имя ее японской землячки — Масуко Усиди, ученицы ленинградского профессора М. Ваймана. Она также продемонстрировала на конкурсе необыкновенную экспрессивность и внутренний темперамент.

Таков сюжет повести-правды, той, что случилась и, видно, не могла не случиться.

А теперь я вернусь к встречам с искусством скрипача Леонида Когана в «нью-йоркской глухомани».

На Ист-Ривер

Роскошный особняк, один из тех старинных замков, которые в наше время стали редкостью даже в «старой доброй» Англии, где они воздвигались и щедро заполнялись награбленным добром из былых колониальных владений Великой Британии. Цветной мрамор, порфир, лабрадор. Здесь встречается избранное общество, аристократическая элита, дипломаты. Люди в отличного покроя сюртуках, в блестящих белизной манишках. Экзотические регалии украшают их элегантные фраки, расшитые золотом мундиры. Благообразные лица, густое серебро на висках. Многоопытные, в огромных роговых очках, некоторым из их обладателей они служат одновременно и слуховым аппаратом.

Хозяин этого редкого архитектурного памятника — американский миллионер, фанта-

стически разбогатевший на нефтяном бизнесе. Движимый, очевидно, инстинктом полудикого скотовода, какие до сих пор почти безраздельно владычествуют в Техасе и на всем американском Западе, Пратт, совершая полвека тому назад путешествие по Ирландии, царственно распорядился погрузить на суда и доставить облюбованный им старинный ирландский замок, красовавшийся на побережье близ Дублина, в свои земельные владения на Лонг-Айленде. Эта неожиданная прихоть экстравагантного янки, как ни странно, была воспринята ирландскими «туземцами», пользуясь современной терминологией, почти как несомненный признак комплекса неполноценности заморского вояжера. Смысл их благожелательных соображений сводился к тому, что этот средневековый замок не совсем «подвижен» и что, быть может, джентльмен из Нового Света удовлетворится архитектурной копией — воссозданием сего редкостного экземпляра по образу и подобию оригинала на территории его нефтяного графства неподалеку от Манхэттена.

Ирландцы, как и французы, исходили из того, что едва ли разумно приобретать Эйфелеву башню в Париже и перевозить через океан, чтобы украсить ею угодья американских степняков, если даже под это подводится соответствующая финансовая основа нью-йоркских банковских концернов. Но преуспевший в бизнесе янки, который привык к всемогуществу доллара, менее всего задумывался о том, что кроме ажиотажа на учетной бирже в сердце Манхэттена есть еще вековые традиции народов других земель — исторические, архитектурные, этнографические. Иссушающая страсть к наживе, увы, не способна была погасить в душе миллионера азартное желание скупать замки на корню.

Тоскливая пустота царит обычно в этом загроможденном сокровищами особняке, воссозданном ирландцами среди вековых елей и лиственниц в латифундии нефтяного короля на Лонг-Айленде, почти у самого морского залива. В облике его видятся живые черты тех, кто создал этот архитектурный монумент, вдохнул в эту каменную громаду человеческую душу. Но временами властелины средневекового замка устраивают здесь своего рода рауты в честь знаменитостей из мира бизнеса, дипломатии и искусства, на свой лад заполняя пустоту праздной жизни, рассеивая гробовую скуку.

Здесь особенно ощутимы причуды «накрахмаленного общества», которое словно впадает в некую манерность, в изысканную нарочитость, как только оказывается под светом хрустальных люстр. В этом, несомненно, обнаруживается своеобразный снобизм денежных янки, силящихся показать свою просвещенность, а главное — меценатскую фамильярность с миром искусства.

Среди толпы собравшихся ценителей и поклонников «эстетических сокровищ» выделяется один из наследников миллионов нефтяной империи, этакий «бонвиван» — типичный пустоватый завсегдатай кафе. Он манерно жестикулирует, явно все время любуясь своими драгоценностями. На мизинце его правой руки красуется изысканный перстень, тонко граненный и кованый, с рубином, густо-малиновым, редкой глубины. В условном лексиконе камней рубин такого строения олицетворяет «большое, нежданное, яркое чувство, увлечение». И его обладатель не устает повторять легенду, согласно которой этот перстень в свое время был преподнесен Ф. И. Шаляпину одной из поклонниц, но затем знаменитый русский певец расстался с кольцом по причинам неразгаданного свойства...

Весьма предупредительные негры в белоснежных куртках непрестанно разносят напитки.

Время коктейля и застольной трапезы — пора суждений и обмена взглядами «джентльменов с ватными мозгами».

— Мартин сказал, что не будет пить больше... и меньше,— бросает фразу психоаналитик, представитель весьма популярной сейчас в Америке профессии.

— Это, кажется, не единственная декларация Мартина. Помнится, что он поклялся не жениться, пока не встретит идеальную невесту. А когда он, наконец, нашел ее, оказалось, что она, увы, мечтала встретить идеального жениха...

— А как дела в Совете Безопасности? — спрашивает почтенный старец, одержимый зудом международной проблематики.

— Нормально! Там продолжается великолепное избиение друг друга. Таковы исторические катаклизмы века...— многозначительно отвечает психоаналитик, который явно не знаком с пословицей «и близ божьего дома в болоте гадюки водятся».

— И джентльмены, конечно, стреляют первыми,— иронизирует другой собеседник, демонстрируя собравшимся, как хорошо он знает Бернарда Шоу.

— Трагедия современных дипломатов в том, что они совсем не закрывают рта. «Минута молчания и молитвы», которая по традиции провозглашается президентом Генеральной Ассамблеи при открытии сессии и которая соблюдается всеми делегатами стоя, кажется, единственное мгновение в ООН, когда «смыкаются уста» делегатов, прекращаются их речи.

— Умение молчать искони почиталось высокой добродетелью дипломатов. Именно этот бесценный дар выгодно отличал их деликатную службу,— произносит человек, в речи которого ощущается грассирующий акцент классического дипломата.

— Понятия радикально меняются. Марафонские речи дипломатов на международном форуме напоминают флибустьерство парламентских тори...

— Какие это дипломаты? Это — язычники... полиглоты, которые, владея дюжиной языков, ведут себя как одержимые, неукрощенные бестии,— изрекает седовласый джентльмен.

— В былое время дипломаты не хуже владели иностранными диалектами, но они умели не только говорить, а и молчать на всех десяти языках...

— Послушайте, но почему бы не говорить, ведь пословица гласит: «Горько на языке, сладко в животе»!

— Под сенью посольской неприкосновенности дипломаты игнорируют мудрость речения «молчание — это чудесный цветок»...— изрекает обладатель партикулярного серого фрака с таким видом, будто он только что открыл секрет дипломатического искусства всех эпох.

— Мы не можем изображать из себя безгласные экземпляры этакого ботанического сада, когда бросается вызов нравственной свободе и моральным ценностям, когда нашему демократическому обществу грозит крушение устоев гуманизма,— раздается возражение человека, лицо которого не покидает выражение желчного самодовольства.

Но вот к этому подагрическому брюзге подходит человек в элегантном фраке, чтобы шепнуть ему, видимо, нечто вроде «Замолчи, старая скотина!» Вид его воскрешает в памяти циничные фарсы алабамских расистов, фигуры деятелей времен маккартизма...

— Не только моральным ценностям... На картине цветы не пахнут,— не без иронии восклицает осыпанная бриллиантами молодящаяся американка.

— Обожаю ювелирные изделия, особенно старинные, хранящие память о традициях и легендах,— замечает обладатель шаляпинского перстня.

— Между прочим, их очень любят и коллекционируют и гангстеры. Однажды они присоединили к своим коллекциям все мои драгоценности, когда я имела вольность на минутку отлучиться из отеля в Чикаго,— бросает сверкающая бриллиантами американка.

В Чикаго, вспомнилось мне, кажется, ощутимее, чем в других американских городах, запах заводских механизмов, долларов, людской беды. Это — один из центров преступности, феноменальных ограблений банков, фантастического гангстеризма, кровавых расправ, насилия, непрекращающихся убийств днем и ночью...

— В небоскребе на Ист-Ривер преданы анафеме учтивость и деликатность, которыми в былое время отличалась классическая дипломатия,— произносит мужчина с надменно-презрительным взглядом.

— Чрезмерная церемонность отравляет откровенность диалога на международном форуме,— бросает в ответ другой собеседник с каменно-неподвижным лицом.

— Вообще ООН терпима, но уж слишком много там иностранцев,— вмешивается ловкий бизнесмен и лицедей...

— Какая ирония судьбы,— замечаю я, обращаясь к Леониду Когану,— ведь вся Америка — это пришельцы, эмигранты, иностранцы. И не только в прошлом. Присмотритесь к нынешнему миру искусства. Оперные примадонны и премьеры американских театров импортируются положительно со всей планеты, так же как для сольных гастролей приглашаются выдающиеся иностранные пианисты, скрипачи, виолончелисты, балерины и балетмейстеры. И хотя в Америке оркестровая культура весьма высока, эта культура в свою очередь импортирована, пришла с иноземных берегов, заимствована у других народов.

Не парадоксально ли, замечу в скобках, что многие популярные джазовые мелодии и некоторые известные песни «вестерн» созданы американскими композиторами русского происхождения? Нередко о творчестве этих композиторов говорят, что они привносят традиции русской музыки в американское искусство. Среди выдающихся исполнителей также немало выходцев из России.

Свои традиции здесь, кажется, не очень давние. В массе своей американцы слишком прагматичны. Да и не только в области музыкальной культуры, думается мне, но и во многом другом им недостает чувства истории, традиции, преемственности, поэтому здесь и не слишком прививается классическая музыка.

Продолжая беседовать, мы переходим в соседнюю комнату в интерьере которой чувствуется налет старомодной французской элегантности. Вокруг — деревянная скульптура, медная кованая утварь, тяжелые глиняные изделия, которые едва ли удастся заменить термосами из стекла и легковесных пластических масс.

Этика и эстетика

— Из Америки я уезжаю каждый раз со смешанным чувством, хотя принимают меня здесь блестяще,— замечает Коган.— Американцы, на мой взгляд, слишком часто жертвуют созерцанием ради неистребимой суеты и нудной, ежечасной рутины, которые не только обедняют человека эмоционально, но порой безжалостно убивают в нем естественный интерес к художественным ценностям, высоким эстетическим идеалам. На концертах симфонической музыки в различных штатах и городах я видел в основном американцев старшего поколения. Молодежь в своей массе к классической музыкальной культуре довольно равнодушна.

На огромном экране цветного телевизора, который мы включаем с помощью дистанционного электронного устройства, вспыхивают красные пучки молний. И вскоре раздается оглушительное неистовство многотысячной аудитории юношей и девушек. Это вышли на сцену кумиры фанатических поклонников — четыре скомороха с первобытными прическами и электрогитарами. Квартет «Поющие обезьяны». Но это не пение, а скорее акробатика, представление ряженых. Душераздирающие звуки электрических гитар и ударных инструментов в руках «длинноволосых» и «крикунов», грохот взвинченных модерновых ритмов...

А затем «Поющих обезьян» сменяет «Ванильная стряпня» — квартет каких-то диких

личностей. Длинные распущенные волосы, подчеркнуто неопрятные усы и бороды. Причудливые сарафаны и шаровары... Вид юродивых.

Невероятные эти личности вместо пения, истерически надрываясь, воют истошными голосами. Временами они вздрагивают и трясутся в конвульсиях, будто припадочные: законченные психопаты, наркоманы. Неужели и впрямь прав ведущий программу, будто это несусветное кривляние и есть «новейшее феноменальное достижение американской культуры»? Варварам нравится варварское.

Думается все же, что подлинное искусство начинается с ужаса и гнева перед пошлостью и кривлянием. История народного негритянского джаза знает истинные свершения. Не без оснований американцы называют джаз высшим достижением национальной музыкальной культуры. Правда, не обходится и без цинизма. Мисс Дайямонд, известная «звезда стриптиза» в бродвейском бурлеске, выступая 23 июля 1967 года в телевизионной программе Дэвида Сэскайнда, заявила, например, что «единственный вклад американцев в сокровищницу культуры — негритянский джаз и стриптиз. Поэтому я вправе считать себя подлинной американкой»... Но это между прочим.

Конечно, у американцев колоссальное техническое развитие, материальный прогресс. Но не приведет ли их империя технократии к автоматизму в душе? Воистину страшны некоторые порождения механической цивилизации, следствием которых оказывается катастрофическое духовное опустошение. Не раз мне приходилось слышать сравнение современных янки с древними римлянами. Разумеется, исторические условия античного мира и современности различны, но сходство распада — огромное. И там, и здесь — невероятная тяга к «сильным ощущениям», к катастрофическим крайностям. Это зловещие признаки духовного оскудения, моральной опустошенности. И разве не прав сенатор Фулбрайт, назвавший недавно США «больным обществом»? Слишком симптоматично состояние агонии и истерии, глубокого душевного заболевания, таящего в себе роковые последствия...

И недаром, видимо, хотя богатые американцы за свои миллионы скупают во всем мире произведения искусства выдающихся художников, все чаще звучит в печати тревога по поводу «поколения пепси-колы и рок-н-роллов». Было бы, разумеется, вульгаризацией и упрощением строить чрезмерно далеко идущие обобщения на широкой популярности кока-колы или пепси-колы. Сами американцы давно уже открыто бьют тревогу по поводу того, что чудовищное распространение виски и наркотиков стало подлинной трагедией американского общества. Как стала национальной трагедией преступность в стране.

По официальным данным полицейских властей, опубликованным на страницах газет, число убийств в Нью-Йорке за первые три месяца 1967 года возросло на двадцать восемь процентов по сравнению с тем же периодом в 1966 году. За это время преступными элементами были убиты сто шестьдесят четыре человека. В 1966 году жертвами гангстеризма оказались шестьсот пятьдесят четыре человека. Атмосфера американских городов насыщена бациллами насилия и убийств. Еще в 1958 году, по официальному свидетельству Федерального бюро расследований, каждые «шестьдесят четыре минуты и две секунды в Америке совершалось убийство, а каждые тридцать шесть минут и одну секунду — изнасилование, каждые семь минут — вооруженный грабеж».

С тех пор преступность устрашающе возросла. В послании президента Джонсона в 1966 году отмечалось, что уже каждые двадцать шесть минут властями регистрировалось изнасилование, каждые пять минут — ограбление, каждые двадцать восемь секунд — воровство. «В войне против преступности,— с горечью отмечала газета «Нью-Йорк геральд трибюн»,— американский народ терпит поражение самое тяжелое за всю его историю». Разве не симптоматично, говорилось далее, что преступность в Америке растет в пять раз быстрее, чем население страны? «Статистика показывает, что число людей, убитых и раненных преступниками, уже превзошло потери США в первой мировой войне, причем число жертв преступлений увеличивается с каждым днем».

Многие представители американской творческой интеллигенции выражают озабоченность моральной деградацией части молодежи, больной атмосферой в стране, преступной внешней политикой Белого дома.

Буржуазный критик Алфред Кейзин как-то поделился с читателями журнала «Харперс» своими мыслями о современном состоянии американской культуры. «Наша цивилизация уродлива. Наши города вызывают отвращение, в больших городах даже воздух отравлен,— пишет он.— Американские парни гибнут во Вьетнаме, а в то же время дельцы богатеют, и деньги становятся все более мощным фактором во всех сферах нашей жизни... Ежедневно мы видим на экранах наших телевизоров, как убивают людей во Вьетнаме, и в это время спокойно пьем и закусываем. Наша цивилизация безумна, бесчеловечна и агрессивна. В таких условиях искусство становится пустой забавой».

При этом Алфред Кейзин отмечает, что в современной Америке существуют художники, которые мужественно возвышают свой голос в защиту гражданских свобод, против разгула человеконенавистничества во Вьетнаме. «Подлинная литература,— говорит Кейзин,— помогает нам жить... Она дает духовную поддержку молодым американцам, отказывающимся служить в армии и ненавидящим войну во Вьетнаме»...

Когда на телевизионном экране отгремели раскаты дикой вакханалии звуков, словно воспроизводящих атмосферу землетрясения, пожара или железнодорожной катастрофы, появились исполнители фольклорных мелодий...

В последние годы в стране широкое распространение приобрел своеобразный жанр

деревенских «страданий» и «частушек» — «каунтри мюзик», а также характерные ковбойские песни «вестерн». Истоки этого песенного творчества связаны с историей западных степных районов страны, известных интенсивным скотоводством и целым легионом пастухов-ковбоев. Песни «каунтри мюзик», в которые нередко вплетаются речитативы, шуточные куплеты, исполняются обычно под нехитрый аккомпанемент струнных инструментов — банджо, гитары, мандолины, разного рода гуслей. Теперь эта жанровая музыка пользуется огромной популярностью не только в сельской местности, но и в крупных американских городах. Пластинки с записями нашумевших мелодий нередко расходятся многомиллионными тиражами.

Образцы «каунтри мюзик» и ковбойские песни «вестерн» нередко примитивны, несмотря на то, что многие деревенские песни приобрели статус классических — «каунтри классик». Исполнение деревенских мелодий в основном является импровизированной самодеятельностью, хотя наиболее яркие звезды «каунтри мюзик» становятся профессиональными артистами, получающими титулы «королей» и «королев»...

Примечательно, что песни «каунтри мюзик» исполняются обычно на местном, сельском диалекте или говоре, лексика которых изобилует жаргонными выражениями. И чем манернее, провинциальнее произношение певца, чем характернее у него деревенская дикция и акцентировка, тем выразительнее и оригинальнее считается его исполнение.

В эстрадных концертах и в телевизионных программах популярные певцы «каунтри мюзик» выступают в живописных костюмах ковбоев и фермеров, на фоне идиллических деревенских пейзажей, иногда верхом на конях в нарядной сбруе — красочные поводья и уздечки, отменные седла, экзотические попоны с золотым шитьем. Нередко сценическим фоном ковбойских «вестернов» вместо декорации служит настоящий фургон с брезентовым верхом. Именно в таких фургонах янки свирепствовали на необъятных просторах благодатных земель Кентукки, Айдахо, Дакоты, Юты, Оклахомы, Вайоминга, Монтаны, Омахи в пору «открытия Запада». Эти географические названия и сейчас хранят имена былых обитателей и властелинов североамериканского континента до нашествия янки, которые мечом и огнем, с помощью многозарядных кольтов, маузеров и длинноствольных винтовок «бетси» варварски истребляли неисчислимые индейские племена, отнимая их земли и имущество.

И среди сохранившихся индейских названий — Манхэттен, ставший сердцевиной современного Нью-Йорка. Ссылаясь на результаты подсчетов электронных компьютеров, нью-йоркское радио шестого декабря 1968 года широковещательно объявило, что если бы индейцы не были столь легкомысленны и своевременно вложили в американский банк «в рост» те двадцать четыре доллара, которые они получили за Манхэттен от предприимчивых европейцев, то теперь они получили бы капитал, достаточный для выкупа нынешнего Манхэттена...

Мы покидаем особняк в поздний час. Под нью-йоркские крыши людей приводят разные судьбы. Этот город и сейчас, кажется, не отвергает ни паломников, ни пиратов, ни беглых преступников, ни профессиональных грабителей...

В Карнеги-холле

Ливень, прошедший над городом, словно промыл отравленный воздух Нью-Йорка, освежил на мгновение насыщенную отработанными газами атмосферу в ущельях небоскребов. И дождь этот должен напоить землю в округе, заполнить водой жаждущие бассейны, дать жизнь, труд, хлеб людям, живущим в этих каменных джунглях.

Но истина, кажется, ухватистее: не хлебом единым сыт человек... Так было в минувшие эпохи. Движимы этим чувством и наши современники. Неутолима и неистребима духовная жажда человека земли нашей. Современность отнюдь не статична: она по сути таит в себе куски прошлого и будущего, складывается в непрестанном процессе борьбы и взаимодействия двух начал жизни — уходящего и нарождающегося. И существенно здесь то, чему суждено взять верх, что людьми повелевает... «Величайшие эпохи возбуждения духа,— писал А. М. Горький,— творились, творятся и долго еще будут зависеть от духовной энергии индивидумов»[1].

...Карнеги-холл, знаменитый концертный зал Манхэттена, переполнен нью-йоркскими любителями скрипичного искусства. Даже всю сцену пришлось заставить дополнительными стульями. Свободным остался лишь узкий «коридор» — проход к авансцене.

Сегодня здесь не просто тысячи слушателей, которых влечет искусство. Среди публики множество музыкантов, композиторов, профессиональных критиков — завтра на страницах утренних газет читатели увидят их суждения о московском посланце. И как правило, в рецензиях этих не оказывается места для субъективной недоброжелательности. Некоторым из присутствующих критиков уже доводилось писать ранее об искусстве Леонида Когана. Критик «Нью-Йорк таймс» Говард Клайн, например, отмечал, что концерт скрипача, закончившийся долгими овациями, криками «браво» и «бис», явился «подлинным триумфом музыкального искусства». В других рецензиях отмечалось, что игра Когана — это идеальная чистота тона, от самых мягких до могучих по силе звуков, художественная мера и совершенная красота; трудно до конца осмыслить богатство и многообразие средств, красок, оттенков, столь ярко раскрывающих

[1] К. Федин. Горький среди нас. М., «Молодая гвардия», 1967, стр. 217.

содержание и стиль исполняемого произведения. Музыковед Говард Таубмен подчеркивал, что Леонид Коган — скрипач «милостью божьей» — демонстрирует первоклассную игру, которую можно сравнить лишь с исполнением лучших современных виртуозов... С каким проникновением играет он величественный концерт Брамса, с каким темпераментом, который, впрочем, всегда остается под контролем,— в основе его не аскетизм, а бескомпромиссная требовательность и безупречная тонкость вкуса.

Крупнейшие музыковеды и критики считали своим долгом высказаться об исполнительском мастерстве советского скрипача. Каждый, кто присутствовал на концерте Когана, должен считать, что ему выпало счастье присутствовать на этом вечере триумфа музыки, писал обозреватель Сайрус Дурбин. В журнале «Мюзикал Америка» говорилось о том, что, будучи великим мастером, Коган никогда не жертвует серьезностью трактовки ради эффекта и сенсации, как это делают иные известные исполнители, его исполнение подчиняет слушателя многообразием красок, совершенством вкуса и меры даже в самых «неистовых» пассажах. Он одарен богатством воображения, огромным артистическим обаянием и силой. Его смычок извлекает звуки, рожденные самыми глубокими движениями души...

Собравшиеся восторженно приветствуют появление Леонида Когана, который едва пробирается между плотно сдвинутыми стульями. Впереди музыканта чуть заметно колышется в воздухе знакомая скрипка, которую он изящно подвесил на крючке своего пальца и бережно проносит над головами зрителей. Сделав поклон в сторону зала, Коган принимает привычную позу и на какое-то мгновение будто застывает в задумчивой неподвижности. Замирает и зал. Я чувствую, что меня начинает раздражать биение сердца, которое, кажется, только и нарушает воцарившуюся тишину. Я замечаю косые взгляды своих соседей, и от того мое негодование на себя еще более усиливается...

Но вот ударом смычка по струнам скрипач, словно богатырским булатом, мгновенно рассекает царящую тишину, ввергая нас в мир благостных звуков, которые с немыслимой щедростью исторгает скрипка. И возникают образы, которые задевают наиболее чуткие нити сердца. И малая эта вещица из поющей щепы начинает представляться мне каким-то неправдоподобным, загадочным существом, которое временами то гигантски разрастается, то непрестанно раздваивается, обращаясь во множество себе подобных, и я уже слышу звучание не одного, а бесконечного числа фантастических творений Страдивариуса, совсем заслонивших собою фигуру музыканта.

Оглушительные, будто разряды чудовищной грозы, рукоплескания в дрогнувшем зале внезапно вывели меня из этого состояния завороженности, которое неизвестно сколько длилось, но вызвало во мне столь необыкновенное ощущение. Бывают мгновения, которые хочется остановить, потому что они прекрасны, достойны вечности. И осталось в сознании уловленное слуховой памятью и закрепленное в зримом образе нечто неотделимое от личности художника — будто излучаемое волшебство скрипача.

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

ИДЕИ, ОБОГАЩАЮЩИЕ ИСКУССТВО

Новым подъемом политической и творческой активности был отмечен год ленинского юбилея в литературах стран социализма. Наиболее характерны и показательны в этом смысле два факта.

Во-первых, обращение к ленинскому наследию направило интерес участников творческих дискуссий к наиболее значительным, фундаментальным проблемам литературной теории и эстетики. Взаимоотношения писателя с действительностью и историей, взаимосвязи содержания и формы, определяющая роль партийности и народности для искусства социалистического реализма — на уровне таких теоретических вопросов выносились отдельные суждения и давались оценки целым периодам развития литературы (кстати, в эти же месяцы литературы стран социализма отмечали 25-летие освобождения своих народов от фашизма и движения по новому пути).

Во-вторых, при всей серьезности эстетических проблем эти дискуссии, как правило, были далеки от абстрактных разговоров «на общие темы» — наоборот, в центре внимания неизменно оказывались как раз те вопросы, которые наиболее важны именно сейчас и именно для данной литературы. В одном случае это вопрос, насколько полно отражаются в литературе «особенности революционной эпохи» и нужна ли «революция качества» (Венгрия), в другом — это проблема гражданской ответственности художника и поиск в литературе «героя, ответственного за происходящее» (Польша), или, иными словами, вопрос «общественной ангажированности» литературы (Румыния). Даже эти примеры, конечно же никак не исчерпывающие и не охватывающие нынешние дискуссии во всем их размахе, наглядно свидетельствуют об устремленности теоретического поиска к наиболее жгучим, насущным вопросам сегодняшней практики искусства. И сама живая связь теории с практикой, быть может, наглядней всего характеризует стиль этих коллективных размышлений.

> «Исполнилось шестьдесят пять лет с того времени, когда в газете «Новая жизнь» была напечатана статья Ленина «Партийная организация и партийная литература». В ней Ленин точно и определенно сформулировал принципы партийности литературы и печати. Может ли эта статья сказать что-либо новое сегодняшнему читателю? Или за шестьдесят с лишним лет она устарела...»

С этих раздумий начал свое выступление в Праге на общегосударственной конференции «Ленин, интеллигенция и современность» Штепан Влашин. К той же работе Ленина обращается и ученый-эстетик Эрхард Ион в статье «Свобода художника и социалистическая партийность» (журнал «Айнхайт», ГДР), и молодой болгарский критик Чавдар Добрев, начавший своей статьей в журнале «Септември» горячую дискуссию о партийности в литературе и отношении к модернизму. Они обращаются к ленинской работе не столько затем, чтобы напомнить ее общеизвестные положения, сколько затем, чтобы с ее самых высоких позиций увидеть и оценить реальное движение литературы у себя в стране и во всем мире. Исторический процесс неизменно подтверждает научную правоту и объективность знаменитых ленинских заключений.

> «Характер социалистического общества принципиально изменяет положение художника в общественной жизни,— пишет Э. Ион.— Как каждый гражданин, он все более становится субъектом исторического процесса, вплоть до участия в ра-

боте органов исполнительной власти (классическим примером здесь может служить И. Бехер), и должен поставить перед собой вопрос, какой специфический вклад он хочет внести как художник в прогресс «царства свободы».

К аналогичному выводу приходит и Ш. Влашин:

«Сущность ленинских положений о партийности литературы время не изменило, точно так же, как и позднейшие его положения о народности культуры, о культурном наследии, о двух культурах в антагонистическом обществе».

Бывали и бывают попытки деформировать марксистское учение: либо подчеркивать и выделять лишь ту сторону ленинских размышлений о партийности литературы, которая подчиняет литературную и издательскую деятельность интересам рабочего движения и революционной партии, либо усиленно акцентировать отмеченное Лениным право литераторов на индивидуальность, на развитие индивидуальных склонностей, а также право на определенную широту в руководстве литературой и искусством вообще.

«Только единство обоих положений,— настаивает Ш. Влашин,—может стать правильным исходным пунктом для политики коммунистической партии в области культуры».

«Единство обоих положений» всегда учитывалось и учитывается в литературной политике рабочих и коммунистических партий. Опыт многолетнего строительства социализма убедительно показывает, сколь плодотворным для развития искусства оказался мудрый и гибкий ленинский подход к искусству и какой серьезной помехой в этом развитии может оказаться любое, даже малейшее отступление от четких ленинских принципов. О том, как партийная зоркость и принципиальность позволяют «умными методами и средствами, учитывающими особенности литературы, помочь укреплению социалистической идейности», рассказал на дискуссии в Будапеште председатель Союза венгерских писателей Йожеф Дарваш (журнал «Критика»).

«Политика, наука, искусство,— говорил он,— это три пути, три способа познания, формирования, изменения действительности. Самые сильные рычаги для преобразований находятся в руках политики».

Тем важнее каждый практический шаг в области культурной жизни общества надежно опирать на науку, литературу и искусство, взвешивая и учитывая «их внутренние законы».

И, ссылаясь на опыт социалистического строительства в Венгрии, Й. Дарваш продолжал:

«Основой этой трезвой, реалистической культурной политики является признание, что у нас (в Венгрии.— **С. В.**) марксистско-ленинское мировоззрение еще не находится в монопольном положении, его руководящее положение гегемона — также не однозначно, за него еще нужно бороться. Это принципиальное понимание реального положения в литературной жизни подводит нас к некоторым конкретным выводам, актуальным сегодня».

Развитие ленинского подхода к пролетарской культуре и ее попутчикам в искусстве Й. Дарваш видит в успешном осуществлении «тройственного принципа» в культурной политике сегодняшней Венгрии:

«поддерживаем социалистическое, учитываем несоциалистическое, но обладающее эстетической ценностью и гуманистическим духом и запрещаем враждебное» —

при этом главное — последовательная поддержка и пропаганда произведений социалистического направления.

Ищет правильный подход к новым, современным и сложным явлениям культуры и искусства и молодой болгарский критик Чавдар Добрев в своей статье «Революционность, классовое сознание, партийность в литературе».

«Какой должна быть наша позиция,— спрашивает он,— по отношению к таким явлениям искусства, в которых автор использует художественные средства модернизма или выражает отдельные его положения?» Речь идет о произведениях, обличающих буржуазный мир и вскрывающих его пороки, но делающих это «в сложной комбинации формальных средств, иногда, быть может, о модернистском произведении, написанном с прогрессивных позиций».

Разумеется, отвечает сам себе Ч. Добрев, мы не должны прощать недостатки, идейные просчеты, мы должны критиковать такого автора, спорить с ним. Но

«принципиальным разговором с таким настоящим или потенциальным нашим союзником мы должны способствовать его сближению с нами и создавать реальную возможность идеологического наступления». Ведь умел же Ленин, продолжает Ч. Добрев, «в такой обстановке использовать каждую демократическую и антибуржуазную тенденцию».

Решительно не соглашаясь со статьей Ч. Добрева, выступил в газете «Народна култура» Александр Атанасов. Ленин, подчеркивает он, «никогда не считал и не мог считать модернизм прогрессивным явлением, союзником социалистического искусства». Оценка модернизма, по мнению А. Атанасова, должна быть единой и незыблемой во всех случаях.

«Интеллигентский индивидуализм, мелкобуржуазное отчаяние и отсюда анархистский бунт остаются «вывернутой наизнанку буржуазностью» и обыкновенно враждебны (по крайней мере — объективно) пролетарской революционности, социализму».

Ч. Добрев ответил своему оппоненту статьей «За творческий подход к художественной действительности».

«Главная моя мысль состоит в том, что нужно расширять фронт социалистического и демократического искусства в различных кругах современной художественной интеллигенции Запада, что любой отход от мировоззренческих основ модернизма и декадентства следует поддерживать и использовать во имя целей новой, социалистической идеологии и культуры...

И в этих положениях своей статьи я прежде всего подчеркиваю проблему центробежных сил внутри модернизма на Западе, наличия тех «пограничных зон», где разрушается философия и эстетика модернизма».

В теоретической дискуссии, продолжавшейся на страницах болгарской печати в течение многих месяцев юбилейного года, сегодняшний подход к художникам-«авангардистам» обсуждался разносторонне и глубоко. Цель, объединившая всех участников спора,— не поступаясь принципами марксистско-ленинской эстетики, найти пути сближения с теми мастерами европейской культуры, которые склонны вырваться в творчестве за рамки буржуазной ограниченности, но ищут пока в потемках и на ощупь. Существуют, как резюмировал А. Атанасов в статье «Мысли о подходе к модернизму», опубликованной газетой «Работническо дело», по крайней мере три подхода к этой актуальной проблеме: подход

«догматика-сектанта, для которого модернизм (включая и творчество честных и талантливых художников) есть или разложение, или антигуманизм, или просто глупость; подход эклектика-объективиста, который формально признает реакционность модернизма, но стремится толковать его так тонко, что по существу вообще перестает его критиковать; и наконец настоящий ленинский подход к модернизму... Марксист-ленинец подробно исследует особенности, противоречия и социально-психологическую механику модернизма для того, чтобы лучше познакомиться с ним и эффективнее бороться против него...

Ленинский подход обязывает нас делать все, чтобы привлечь в ряды борцов за социализм и демократию каждого честного художника и особенно тех, кто трагически заблуждается. Но в то же время (именно для того, чтобы помочь по-настоящему честным!) мы должны во всеуслышание повторять, что модернизм как мировоззрение и метод отражает не протест, а полную капитуляцию перед силами отчуждения, служит стратегическим целям реакции и губит художника. Вот почему борьба против попыток распространения яда модернизма есть одновременно и борьба за спасение талантов, за будущее культуры».

Один из участников болгарской дискуссии — Венко Христов — предложил расширить обсуждаемую проблему: ведь модернистская литература, на его взгляд,

«не имеет широкого распространения и на Западе, в то время как реалистические по форме, но реакционные по существу произведения находят спрос у массового читателя. Не мешает ли нам старый миф об «опасном Джойсе» увидеть, как сотни «маленьких людей» и десятки «суперменов» благополучно шествуют по страницам наших переводов?»

Так вопрос о принципиальной партийности художника-реалиста сомкнулся с проблемой народности творчества, его массовости и доступности. К проблеме этой обратились сегодня не только болгарские литераторы.

«Ленинское понимание народности искусства,— говорил на дискуссии в Праге Ш. Влашин,— было в последнее время подменено некоторыми критиками грубым разделением искусства на искусство «для народа» и искусство «для избранных». Дифференциация литературы — явление бесспорно здоровое. Мы уже отказались от нереального призрака универсального зрителя и читателя, к которому должно быть адресовано каждое произведение (например, роман, который должен в равной мере отвечать вкусу университетского профессора и деревенской бабушки). Но скопление детективов и другого чтива на одном полюсе и исключительно экспериментальных произведений на полюсе другом — это тоже вызывает серьезное беспокойство».

И на собрании венгерских писателей Й. Дарваш в полемически заостренной форме говорил о «глубокой пропасти», наметившейся между «литературой, обращенной к узкой «элите», и культурным «ширпотребом», рассчитанным на пониженные вкусы и запросы масс».

«Эта пропасть, как мне кажется,— говорил Й. Дарваш,— проявляется во многих областях. Например, в тиражной политике: высококачественная современная литература не выходит за рамки восьми-десяти тысяч экземпляров (причем и этот «средний тираж» скорей понижается, чем растет), а «бестселлеры» в виде детективов и полубульварной литературы издаются сотнями тысяч. Хорошая книга, тем самым, попадает далеко не в каждую библиотеку. А ведь это не просто вопрос тиража — это показатель сферы влияния».

Вопрос об ответственности писателя перед народом и обществом не раз вставал и в ходе дискуссии польских литераторов в Кракове (газета «Жице литерацке»). Конечно же, первый и главный ответ на него даст само творчество писателя, его литературный герой.

«Создать образ такого героя,— говорил, открывая дискуссию, критик Владзимеж Мационг,— это и значит найти в жизни человека, ответственного за происходящее».

Другой участник краковской дискуссии, Витольд Навроцкий, предложил на обсуждение свою дилемму: гражданская ответственность писателя проявляется «либо как дискуссия с общественной действительностью, либо как согласие с ней». Свою мысль о «дискуссии с действительностью» В. Навроцкий аргументировал следующим образом:

«Речь идет о том, чтобы литература нашла свой подход к действительности, в которой за двадцать пять лет существования народного государства, естественно, были и есть разного рода конфликты, драмы и, я бы даже сказал, трагедии. Литература не всегда сразу и верно находит форму их изображения... Оттого и нет у нас сегодня современного героя, который бы вступил в острый конфликт, в столкновение с обстоятельствами и ситуациями действительности».

Не все участники польской дискуссии согласились с таким поворотом проблемы. А быть может, рассуждал Ян Пешчахович, масштаб современного героя сковывают иные причины —

«например, участившиеся суждения о том, что литература не может и не смеет предвосхищать, а должна ограничиться описанием явлений, ни в коем случае не оценивая их. Может, поэтому наиболее существенные проблемы действительности перекочевали сегодня из романов и повестей в эссе и репортажи?»

Юбилейный «круглый стол» в бухарестском ежемесячнике «Вьяца ромыняскэ» был посвящен вопросу об «ангажированности» художника в современном обществе. Само понятие «ангажированности» творчества при социализме прежние и нынешние ревнители «абсолютной свободы и независимости» уже не раз пытались демагогически противопоставить ленинской теории партийности искусства. И, видимо, помня об этом, поэт Дамьян Некула, отражая общее мнение собравшихся, отмел с порога всякие кривотолки такого рода:

«Проблема «ангажированности» — ложная проблема. Она не встает перед настоящим художником по той простой причине, что подразумевается уже в процессе замысла произведения. Человек, имеющий призвание к литературе, ищет способ самовыражения как гражданин своей эпохи — только так он может стать писателем. Его судьба — склоняться вечно над чистым листом бумаги и вечно задумываться над происходящим в мире. Оттого он и размышляет, судит, задает вопросы. Ангажированность так же естественна для писателя, как подлежащее и сказуемое — для фразы. Разумеется, в нашем обществе ангажированность означает активную поддержку социализма, постановку новых для него проблем».

Молодой прозаик Петру Попеску подхватил и продолжил эти мысли:

«Для иных «ангажированная литература» звучит как синоним литературы тенденциозной или, точнее, литературы «тезисной». Это унизительное толкование я могу объяснить лишь как реакцию на литературный догматизм и схоластическую эстетику. Высказывание всегда ангажирует высказывающегося. Конечно, автор может и симулировать ангажированность—как в другом случае можно симулировать и «неангажированность»,— но это означает лишь, что обязательным условием, обязательным спутником ангажированности в произведении является правдивость и искренность. Ангажированность раздражает только тогда, когда она искусственно сфабрикована и существует в произведении отдельно от души и таланта художника. Но это уже не ангажированность, а прямое бегство автора от честного общения с читателем, мистификация, бегство от ответственности. Оно-то и вызывает естественное отвращение и возмущение».

Прозаики Пауль Джорджеску и Александр Ивасюк говорили о марксистско-ленинском понимании ангажированности — о конкретно-исторической обязанности искусства не только отражать действительность, но и стремиться изменить ее. Постигать ради перемен к лучшему! Конечно, заметил А. Ивасюк, для этого

«литература должна быть подлинной литературой, или как сказал однажды Грамши: «Если произведение не является искусством, оно не может быть и пропагандой».

Взволнованно и горячо рассказывали «о своей личной ангажированности» Вероника Порумбаку и Мария Бануш.

«Как все люди, я испытала все радости и разочарования моего времени. Я не раз ошибалась, но никогда не писала о том, во что не верила,— свою литературную веру и приверженность я не могу менять, как меняют юбки: от макси до мини и наоборот...» (В. Порумбаку)

«Свой решающий в жизни выбор я сделала давно, еще в молодости, накануне второй мировой войны. Это — выбор революционного ленинского пути. По сути своей я — не человек действия. В книгах и в собственной душе искала я ответы на то, как жить, как выполнить свой долг перед временем, перед людьми... Я не ошиблась в своем выборе — в самые трудные, трагические минуты жизни в нем находила я силу и утешение. И сегодня гениальная ленинская мысль сохраняет для меня ту же притягательность, тот свет, что освещал нашу молодость» (М. Бануш).

Правоту ленинских идей и принципов писатели разных стран и разных поколений смогли проверить и подтвердить сегодня и личным опытом, и накопленным за четверть века опытом социалистического обновления своей родной литературы. Оглядываясь на пройденный путь и сегодняшнее состояние искусства, обсуждая десятки важнейших проблем жизни и творчества, художник-реалист всегда стремится проанализировать самое сложное явление до конца, найти его первопричину. Стремление это не трудно проследить и по тем дискуссиям, которыми был богат год ленинского юбилея. А общее мироощущение, общее настроение своих товарищей-литераторов стран социализма выразил Й. Дарваш:

«Не сразу, не в один день между нашей литературой и политикой сформировались плодотворные и хорошие отношения... Писатели редко говорят об этом громогласно. И главное — редко пишут. Никто и не требует от них деклараций верности. (В скобках скажу: может быть, именно это является одним из показателей хороших отношений). Мы тоже не привыкли в докладах это формулировать подобным образом, но мне бы хотелось вот так кратко сказать об этом именно сейчас, сегодня».

С. ВАДИМОВ

К СПОРАМ О ФАНТАСТИКЕ

Еще недавно англо-американские (да и прочие) фантасты справедливо сетовали на то, что профессиональная критика упорно обходит их молчанием, что научная фантастика развивается в условиях духовной изоляции. Но за последние годы положение дел в этой области существенно изменилось и продолжает меняться. Произведения фантастов теперь все чаще появляются на страницах общелитературных изданий. «Клуб лучшей книги месяца» (Лондон) стал включать в свои списки научно-фантастические вещи — избраны были, например, романы «Штамм Андромеды» М. Крайтона и «Бойня номер пять» К. Воннегута. Появилась даже антология научно-фантастической поэзии («Сложив свои восемь рук») — книга, само собой понятно, рассчитанная не на любителей легкого чтения, а на квалифицированную читательскую аудиторию. Спецкурсы и спецсеминары по научной фантастике включены уже в программы многих колледжей и университетов США, Канады, Англии.

Так что сейчас было бы неправильно утверждать, будто научная фантастика находится в прежнем положении. Однако полного, «официального» признания она все же еще не получила, а последствия изоляции продолжают сказываться на ее развитии.

Одним из таких последствий является неразработанность теории; строго говоря, теории фантастики в каком-то более или менее цельном виде на Западе попросту не существует. В последние годы все чаще делаются попытки разработать хотя бы основные теоретические положения научной фантастики — попытки определить суть этого явления, его место в современной культуре, перспективы его развития, уяснить соотношение научной фантастики с современностью, с наукой, с реалистическим искусством, ее отличие от всяких иных видов фантастики.

В частности, английский фантаст Брайан Олдисс в своей статье «Научная фантастика — серьезная, популярная и фантастика шпаги-и-колдовства», опубликованной в журнале «Лондон мэгэзин», попытался классифицировать продукцию современной науч-

ной фантастики. Несмотря на произвольность и хаотичность этой классификации, статья Б. Олдисса не лишена интереса, так как приоткрывает одну из существенных причин, по которым участились и обострились споры о том, что такое научная фантастика.

По классификации Олдисса, существуют два основных вида современной научной фантастики: фантастика «серьезная» и фантастика «популярная» (о третьем виде — фантастике «шпаги-и-колдовства» — и о творчестве «короля» этой школы, Дж. Толкина, Олдисс упоминает лишь вскользь).

В число «серьезных» фантастов у Б. Олдисса попали столь разнородные авторы, что он сам назвал свой список «удивительным». Мы видим здесь, во-первых, крупнейших писателей, так сказать, корифеев научной фантастики — Карела Чапека, Станислава Лема, Олафа Стэплдона; рядом с ними названы О. Хаксли и Дж. Оруэлл; тут же фигурируют К. Циолковский, некий «философ Успенский» и почему-то Стефан Цвейг. И всех поименованных авторов Б. Олдисс одинаково считает любителями, которые обращаются к фантастике лишь при случае — когда хотят выразить какую-то новую идею; «серьезная» фантастика, говорит он, дидактична по исходным позициям, а вследствие этого обычно скучна.

Традиции «популярной» фантастики Б. Олдисс ведет от Хьюго Гернсбека и его журнала «Эмэйзинг сториз» («Удивительные истории»). Этот журнал и другие ему подобные издания, пишет Б. Олдисс, вырастили многих знаменитостей, но все писатели этой школы — по сути дела ремесленники, которые в погоне за дешевой сенсационностью вульгаризируют серьезные проблемы. К «популярным» фантастам он причисляет Клиффорда Саймака, Джеймса Блиша, Роберта Хайнлайна, Айзека Азимова и Пола Андерсона.

«Тем не менее,— продолжает Б. Олдисс,— эти авторы касаются наиболее фундаментальных проблем своей эпохи и внятно о них говорят».

Б. Олдисс высоко оценивает роль научной фантастики в современной культуре: она отражает меняющийся мир, ассимилирует изменения и «вонзает в нас кинжалы новых мыслей»; «проблематика ее неизмеримо важнее, чем проблематика реалистической литературы». Она до сих пор не заняла должного места в литературе только из-за того, что «серьезная» фантастика скучна, а «популярная» — несерьезна и отдает дешевкой.

Нарисовав такую печальную картину, Б. Олдисс, однако, тут же утешает читателя: есть, оказывается, настоящая фантастика и настоящие писатели. Кто же они?

«Это А. Ван-Фогт... Олаф Стэплдон (который только что был зачислен в «любители».— **Прим. авторов**) и ряд ярких индивидуальностей, составивших «новую волну»... Лучший из них, по-моему, Филипп К. Дик... Другие — это Курт Воннегут, Уолтер Миллер, Майкл Муркок, Дж. Г. Боллард и я сам».

Б. Олдисс добавляет сюда американских представителей «новой волны» — Нормана Спинреда, Джона Слейдека, Роджера Желязны и других.

Видимо, вся эта причудливая схема была вычерчена лишь для того, чтобы возвеличить «новую волну» за счет остальной фантастики. К тому же Б. Олдисс располагает явно недостаточной информацией о многих литературных явлениях. В результате у него получилось, что Станислав Лем и Карел Чапек — всего лишь дилетанты, вдобавок нудно-дидактичные, а в разряд безответственных ремесленников попали Айзек Азимов, создавший интереснейшие социально-аналитические конструкции («Конец Вечности», «Наше солнце» и др.), Артур Кларк, чьи произведения отличаются сугубой научной точностью и «серьезностью», и другие крупные писатели, во многом определившие своим творчеством облик современной англо-американской фантастики.

В сущности, и о «новой волне», которую Б. Олдисс считает оазисом подлинного искусства среди бесплодных пустынь нудной дидактики и ремесленных поделок, он дал не очень точную информацию. Заявив, что «новая волна» — это «ряд ярких индивидуальностей» и что они идут своим путем, Б. Олдисс не сообщил, что же это за путь и в чем его оригинальность, зато высказал убеждение, что это — путь единственно верный.

Такое убеждение характерно для «новой волны» в целом. Ее представители, продолжая числить себя в рядах научных фантастов, безоговорочно отвергают всю «старую» научную фантастику. Активная пропагандистка этой группы, влиятельный критик Джудит Меррил считает, что для научной фантастики наступило время капитальной переоценки ценностей.

«То, что до недавнего времени казалось в ней наиболее важным, ныне перестало быть таковым»,— заявляет она в предисловии к антологии «Сайенс фикшн 12» («Научная фантастика 12»).

Английский фантаст Дж. Боллард, один из наиболее талантливых представителей «новой волны», склонен даже отказаться от наименования «научный фантаст» — настолько ему не по душе вся прежняя научная фантастика.

«Я не считаю себя научным фантастом в том смысле, в каком Айзек Азимов или Артур Кларк являются научными фантастами,— пишет он на страницах журнала «Спекулейшн» («Размышления»).— Точнее говоря, я считаю себя научным фантастом в том смысле, в каком сюрреализм является научным искусством».

«Новая волна» возникла на английской почве; ее организационным центром стал журнал «Нью уорлдз» («Новые миры»). Как пишет Дж. Меррил, это

> «журнал, посвятивший себя современному искусству и дизайну, авангардистской психологии, противоречивой физике и философии — наравне с научной фантастикой, сюрреализмом и символизмом — и стремящийся к созданию межвидовых, многослойных, транскультурных гибридов и комбинаций».

Действительно, для «новой волны» характерна прочная связь с авангардистским искусством. «Классическая» научная фантастика пополняла свои ряды в основном за счет ученых и вообще людей, так или иначе связанных с наукой (А. Азимов, Ф. Хойл, Р. Хайнлайн, А. Кларк, У. Тенн и многие другие), а в «новой волне» преобладают поэты, музыканты, художники, певцы, критики, журналисты. В этой пестроте профессий, имен, индивидуальных стилей все же нетрудно уловить некую общую ориентацию. И по декларации, и по художественной практике «новой волны» можно заключить, что основное внимание здесь уделяется экспериментам в области формы — и притом экспериментам модернистского толка.

«Новая волна», по-видимому, порождена кризисом, давно уже исподволь нарастающим в «классической» фантастике: исчерпали себя (или кажется, что исчерпали) некоторые коронные темы и проблемы; многие виднейшие авторы отошли от научной фантастики или утратили активность. Пытаясь преодолеть этот кризис, часть фантастов увидела выход в сближении с «большой литературой». Представители «новой волны» декларируют, что «беллетризация» фантастики, к которой они стремятся, даст им возможность разрабатывать глубокие, значительные, «подлинно человеческие» проблемы, которых якобы избегает «традиционная» научная фантастика. Однако эти декларации явно расходятся с практикой. «Новая волна», правда, имеет на своем счету романы, проникнутые обличительным пафосом, где остро (хотя по преимуществу в эмоциональном плане) критикуются уродства буржуазной цивилизации («Лагерь концентрации» Томаса Диша, «Баг Джек Баррон» Нормана Спинреда), но такого рода произведения не определяют ее облика. В действительности «новая волна» представляет собой отход от глобальных социальных проблем, специфичных для научной фантастики, в глубины языковых и композиционных поисков формального плана (С. Делани, Дж. Боллард, Б. Олдисс) или в закоулки «овеществленной» фантастическими средствами больной человеческой психики (Р. Желязны, М. Муркок). В таких произведениях реальная действительность дробится, «атомизируется», теряет цельность и смысл. Эту тенденцию «новой волны» точно подмечает американский фантаст и критик П. Шуйлер-Миллер.

> «Наука принимает за аксиому,— пишет он в журнале «Аналог»,— что вселенная имеет смысл и мы можем его понять. Научная фантастика исследует этот смысл. Аксиомой «новой волны» (как и «театра абсурда», с которым она себя связывает) является утверждение, что мир не имеет смысла, и «новая волна» посвящает себя передаче этого без-смыслия».

Таким образом, выясняется, что «большая литература», на сближение с которой ориентируется «новая волна»,— это современные авангардистские течения, а сближение с ними достигается ценой отказа от важнейшей, общественно-значительной проблематики научной фантастики. Понятно, что «новая волна» не может претендовать на роль пролагателя новых путей для подлинной научной фантастики.

За последние годы состоялось немало встреч фантастов — в том числе и на международном уровне,— и на многих из этих встреч разгорались ожесточенные споры между представителями «традиционной» научной фантастики и «новой волны», споры, спровоцированные шумными претензиями «новой волны». Такой спор, в частности, произошел на форуме фантастов, созванном при содействии Ассоциации современной лингвистики; материалы этого форума были опубликованы в журнале «Экстраполейшн».

Айзек Азимов, выступавший в качестве одного из основных докладчиков, заявил, что научная фантастика прочно и неразрывно связана с наукой и что основная ее задача — давать глубоко обоснованные прогнозы будущего. Известный фантаст и редактор журнала «Гэлэкси» («Галактика») Фредерик Пол сказал, что научная фантастика — это «часть общей литературы социального комментирования», что кроме проблем, связанных непосредственно с научно-техническим прогрессом, фантастика анализирует также следствия этого прогресса — такие, как рост материального благосостояния, обострение социальных конфликтов, деградация среды человеческого обитания.

> «Для фантаста все существующие институты являются всего лишь неким вариантом из множества возможных миров. Научная фантастика — это один из лучших и наверняка один из наиболее гибких способов художественного исследования тех перемен, к которым мы приближаемся»,— заявил Ф. Пол.

Уильям Тенн подчеркнул, что интеллектуализм является органическим свойством научной фантастики, что разум в ней преобладает над эмоциями, а профессор Дарко Сувин назвал научную фантастику «познавательным остранением», обращенным к новому виду эмоций — к эмоциям интеллектуальным, вызванным красотой научной картины мира.

Словом, «старшие» фантасты дружно утверждали высокую познавательную, аналитическую, прогностическую ценность научной фантастики. Представители «новой волны» тоже действовали в основном согласованно — они решительно отвергали познавательную и прогностическую функцию фантастики (и вообще литературы).

«Если вы собираетесь поучать, пророчествовать, предсказывать, зачем для этого писать роман? — спрашивала, например, Джоана Расс.— Почему бы вам не поучать, не пророчествовать, не предсказывать непосредственно?»

Этим высказыванием, к которому присоединились Роберт Силверберг и ряд других, представители «новой волны» продемонстрировали непонимание самой сути и специфики научной фантастики, в которой «пророчества» и «предсказания» есть своеобразная форма художественного анализа острейших проблем современности. Они продемонстрировали непонимание того, что «поучения», то есть нравственная оценка изображаемого, есть неотъемлемая функция всякого искусства, в том числе и научной фантастики, в которой содержится нравственная оценка возможных влияний научно-технического прогресса на судьбы людей. Подобное непонимание вытекает из установки «новой волны» на формально-эстетические поиски, в которых она видит главную задачу «настоящей» литературы. Недаром программа «молодых» на форуме выглядела весьма туманно: они заявили, что искусство должно строиться на эмоциях, а не на размышлениях.

«Мы творим с помощью картин, и образов, и мечтаний и желаем чего-то более волнующего, более художественного»,— провозгласил Р. Силверберг.

Но, разумеется, желание «чего-то более волнующего» само по себе не может быть платформой литературного направления вообще. Не может оно и стать программой для научной фантастики. Современная научная фантастика имеет вполне определенную сущность и специфику, что, собственно, и позволяет говорить о ней как о самостоятельном литературном явлении. Такое понимание научной фантастики разрабатывается в последние годы в советском литературоведении (в частности, авторами данной статьи); близки к нему, как это видно из выступлений на форуме (и других высказываний), и «старшие» представители западной фантастики. Специфическая сущность современной научной фантастики, которую либо не понимают, либо внутренне не приемлют представители «новой волны», состоит в том, что она является принципиально новым способом художественного познания и отражения действительности, органически сочетающим приемы научного и художественного анализа. Она действует на более высоком уровне абстрагирования, чем реализм,— на уровне, близком к научному исследованию, пользуется гипотетическими («пророческими») конструкциями и моделями, и это обеспечивает ей возможность разрабатывать глобальные проблемы, которые столь характерны для современной действительности. Ведь эти проблемы, наиболее острые и важные для судеб человечества, в то же время далеко выходят за рамки индивидуального опыта и не находят художественного выражения в «формах самой жизни».

Все это не устраивает представителей «новой волны», и они всячески корят «старших» за стремление подчинить фантастику науке, логике, социальной проблематике. Обрушиваются они на «традиционную» научную фантастику и за ее обличительный, пропагандистский пафос. Это и понятно — ведь «новая волна» в своих формальных экспериментах уходит от острых и злободневных проблем современности, а для современной научной фантастики основной предмет анализа и изображения — даже не будущее (хотя она, естественно, включает в себя жанр утопии и «антиутопии»), а настоящее, специфически исследуемое как совокупность его возможных продолжений.

«Научная фантастика,— пишет американский литературовед Р. Уилсон в журнале «Экстраполейшн»,— это литература идей, стремящаяся критически подойти к настоящему путем исследования будущего».

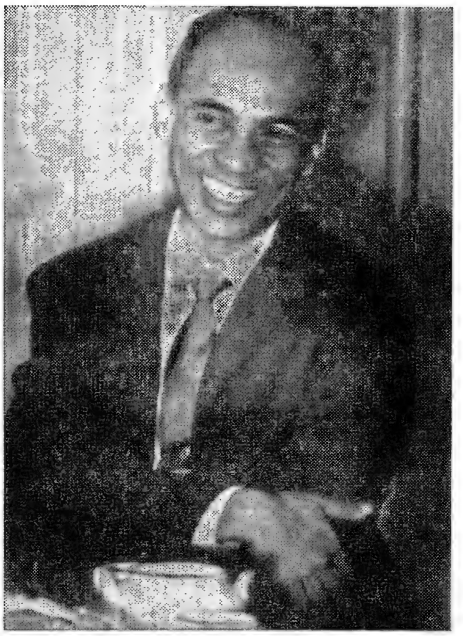
Ту же мысль развивает президент Британской ассоциации фантастов Э. Криспин:

«Вопреки тому, что думают многие, фантасты... не стремятся предсказывать будущее. Поскольку они часто пишут о будущем, какая-нибудь из их догадок неизбежно осуществляется... В современной научной фантастике наиболее важное состоит в комментировании некоего аспекта настоящего».

Таким образом, в спорах о фантастике, развернувшихся на Западе, с очевидностью выявляется несостоятельность теоретической и бесперспективность практической линии «новой волны», постепенно утверждается понимание научной фантастики как метода художественного анализа, обращенного к современности в ее специфическом, глобальном аспекте, в ее тенденциях и проблемах, касающихся судеб человечества в целом.

АРИАДНА ГРОМОВА
РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Наши гости



«ТЕАТР — МОЯ ЖИЗНЬ»

(Бадул Сиркар в «Иностранной литературе»)

Когда Бадул Сиркар вошел в редакцию «Иностранной литературы», его представили как одного из ведущих драматургов Индии, удостоенного недавно Национальной премии. Однако сам Бадул Сиркар счел нужным добавить:

— Я — архитектор. Работаю планировщиком в калькуттском муниципалитете. Это моя работа, я люблю ее и не хочу оставлять. Театр — моя жизнь, с ним я просто не могу расстаться. Жаль только, что не хватает жизни ни на градостроительство, ни на театр. На театр к тому же не хватает и денег.

Бадул Сиркар убежден, что драматургами становятся нечаянно — как он. Он родился и вырос в Калькутте, пишет на бенгальском языке, а театром увлекается с детства. Играл в школьных и университетских постановках, но, по его словам, без особого успеха. Когда однажды университетский театр не мог найти подходящую пьесу — минимум действующих лиц, несложные женские роли,— Сиркар написал комедию. Поставили, смеялись, понравилось. Написал еще...

— Хочется, чтоб мои пьесы смотрело как можно больше людей, но этого хочется каждому драматургу. Те, кто уверяет, будто пишут для избранных, для интеллектуальной элиты,— тоже этого хотят. Я пишу не для интеллектуалов. Я хочу, чтобы пьесы мои не только смотрели, но и понимали. Проблема в том, как сделать серьезные вещи понятными для всех. Лучше всего этого можно добиться через комедию, через фарс. Есть и другая, вполне субъективная причина, почему я стараюсь писать для массового зрителя. Мне нравится, когда мои пьесы нравятся. Для меня это важно, это позволяет мне по-особому ощутить радость творчества.

Бадул Сиркар хорошо знает своего зрителя, его вкусы и запросы. Поэтому, вопреки протестам своих «интеллектуальных» друзей, он упорно писал и ставил комедии: сначала совсем незатейливые, где, по его словам, «комедийные ситуации становились сатирическими помимо воли автора», как, например, в комедии о выборах, потом все более серьезные и глубокие — по мере того как росла требовательность зрителя.

Независимость Индии вывела на сцену нового героя. Он — горожанин, не вполне отрешившийся от традиционных связей с деревней, но включенный в новый, быстро растущий и развивающийся мир новых отношений. Он получил образование, достаточное для того, чтобы понять свою психологическую принадлежность к Большому Миру, но и физически и нравственно остается весь в Индии. Он участвовал в борьбе за независимость, но чувствует себя обнесенным ее плодами.

Новый герой — звено в цепи существующих проблем Индии сегодняшнего дня и нарождающихся проблем завтрашней Индии, поэтому ему подчас кажется, будто проблемы развитых индустриальных держав соотносятся и с его существованием. Иной же раз ему кажется, будто он живет на другой планете.

В очень значительной степени — это портрет и самого Бадула Сиркара.

Новый герой, вышедший на историческую сцену, требовал своего воплощения на сцене театральной. Бадул Сиркар рассказывает, как на это требование откликнулась одна из лучших бенгальских трупп — «Бахурупи» («Хамелеон»), которой руководит талантливый режиссер и актер Шамбху Митро.

Сначала у Шамбху Митро не было бенгальских пьес на современные темы, и

«Бахурупи» обратилась к переводному репертуару в поисках пьесы, которая, по словам Сиркара, была бы «сопереживанием того, что испытывали в те годы индийцы».

Ставили Пиранделло, ставили Чехова и Ибсена, перешли к Брехту, Сартру, Уэскеру, Миллеру, Беккету и Ионеско. Все чаще, однако, приходилось давать не просто переводы, а — чтобы приблизить пьесы к образу мышления зрителей — адаптации пьес. По возможности, действие переносилось в Индию, действующие лица получали индийские имена, но все это оставалось паллиативом.

Бадул Сиркар считает, что успехом своих пьес он обязан прежде всего своевременности их появления.

Наш гость получил известность не комедиями, хотя они популярны, а двумя предельно серьезными пьесами. Одна из них называется «Другая история», вторая — «И Индраджит тоже», обе пьесы впервые поставил Шамбху Митро.

«Другая история» — пьеса о семье, достаточно обеспеченной, достаточно интеллектуальной, достаточно «модерной», чтоб не заводить детей. Женаты уже лет десять, муж преподает в колледже, жена ничем особо не занята и от скуки пишет рассказики.

Однажды вечерняя газета сообщает о самоубийстве человека, немного знакомого и мужу и жене. Кажется, он был женат на ком-то, кажется, он хотел детей...

Жена пишет слезливую, правдоподобно мелодраматическую историю. Мужу это не нравится — он пишет свой вариант, сугубо психологический, с применением «потока сознания», монтажа и других канонов «современной» прозы, теорию которой он преподает в своем колледже. Но что же на самом деле толкнуло человека на самоубийство?

Появляется самоубийца и рассказывает историю своей жизни, неотличимо похожую на жизнь этих супругов. Но почему же, почему? — недоумевают они. Он же не был доведен до отчаяния, он кое-чего добился в жизни... А кому все это было нужно? — спрашивает самоубийца. Но он же был женат... И в этом смысл жизни? — удивляется самоубийца.

— Ничего нового я не хотел сказать этой пьесой,— говорит Бадул Сиркар.— Просто задумался: есть ли смысл в жизни человека, живущего собой и для себя. Или осмысленно только существование человечества в целом? И еще одно — насколько совпадает наша самооценка с ценностью нашей жизни в глазах других? Человек думает, что совершил нечто значительное, но в оценке других он ничего особенного не сделал, и получается, что живет человек зря.

— Вы тоже так считаете? — спрашиваем мы.

— Никогда не отвечаю на такие вопросы! — быстро реагирует Бадул Сиркар.— Я знаю, как много людей живет той же жизнью, что и мои герои. Я их вижу каждый день. Не хочу расставлять за них точки над «i». Пусть зрители думают и делают выводы.

Заставляет думать и вторая известная пьеса Бадула Сиркара «И Индраджит тоже». Жизненная суета выплескивает на сцену трех стандартных — или типичных — молодых людей, которых и зовут почти одинаково—Амал, Бимал, Камал. Появляется и четвертый — Нирмал. Впрочем, подлинное имя Нирмала — Индраджит, он пытается выдать себя за Нирмала, потому что не хочет отличаться от других.

Об этих «других» Бадул Сиркар писал:

«По переписи 1961 г. население Калькутты составляет два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч двести восемьдесят девять человек. Два с половиной процента населения имеют университетские дипломы. Их называют по-разному, но все они составляют «средний класс». По заработку эти люди делятся на разные категории. Это — «интеллектуалы», хотя, доведись им жить своим интеллектом, многие из них умерли бы с голоду. Это — «образованные люди», если университетский диплом можно считать свидетельством образованности. Это — «джентльмены», потому что они чувствуют себя выше массы. Это — Амал, Камал, Бимал».

Три стандартных героя пьесы хотят одновременно и быть такими же, как все,— получить диплом, потом устроиться на работу, где делаешь мало, а получаешь много, выгодно, но по любви жениться и т. д.— и хоть чем-то выделиться, отличиться от «всех», потому что во всех учебниках говорится о неповторимости человеческой личности. Индраджит — тоже. Трое спорят о спорте, кино, физике, политике и литературе. Индраджит — тоже, но он, отождествленный отчасти с автором, еще наблюдает жизнь, пытаясь понять ее смысл.

В ритме, не ими заданном, три героя пьесы выполняют все предназначенное им жизнью. Индраджит — тоже, хоть он и спрашивает себя непрестанно, а нужно ли все это делать? Нужно ли подчиняться писаным и неписаным правилам?

Индраджиту противостоит Манаси — женское начало, без рассуждения приемлющее жизнь и все, что она несет в себе, потому что это — жизнь. Но как бы ни вели себя герои пьесы, приемлют ли они жизнь покорно или пытаются противиться— «все идет кругами и кругами, прошлое с будущим смыкается в нас».

Пьеса выдержала свыше 300 постановок, она переведена на несколько индийских языков. Недавно состоялась ее премьера в Дели.

Бадул Сиркар рассказал об истории возникновения пьесы — она родилась из стихотворения о паломнике, идущем к храму, которого на самом деле нет. Есть путь, есть процесс движения к цели. Цели — нет.

Может быть, чтобы до конца понять эту пьесу Бадула Сиркара, нужно быть индийцем.

Пьеса получила много рецензий; значение ее для современного индийца суммирует театральный обозреватель газеты «Таймс оф Индиа»:

«Действующие лица пьесы — не характеры, а типы, взаимозаменяемые даже во времени. Это — маленькие люди, которые движутся по прямой к заранее намеченным точкам житейского успеха... Индраджит — бунтарь, но бунтарь, обреченный заранее; это не прометеев бунт: Индраджит тоже пойдет по заранее отмеченным точкам на прямой, но он, в отличие от остальных, избрал бы иной путь — будь у него выбор,— поэтому он страдает.

Автор мечтает разбить циклическое однообразие жизни, в которой сын сменяет отца, поколение сменяет поколение, где прямая оказывается замкнутым кругом, но автор не в силах сделать это. Ему не победить сизифово проклятие. Зато он отказывается принять его как проклятие — он рассматривает его как паломничество к храму. Пусть даже храма нет в конце пути — жизнь все равно паломничество».

— Обо мне часто говорят,— замечает Бадул Сиркар,— будто я подражаю Камю. Я люблю Камю, но если бы он стал писать о том, о чем пишу я, он написал бы по-другому. Кстати, «Индраджита» я написал до того, как прочел «Миф о Сизифе».

Бадул Сиркар считает, что в основе современной индийской литературы — включая драматургию — лежит проблема отчуждения. Однако хотя в литературном своем преломлении эта проблема приобретает внешние черты сходства с отчуждением, как оно существует в высокоразвитых странах Запада, причины, вызывающие его к жизни в Индии, принципиально отличны от западных.

Индийские литераторы, драматурги, как правило, представляют потомственную интеллигенцию, удаленную от народных масс и их повседневной жизни. Они понимают и проблемы, стоящие перед народом, и необходимость отражения этих проблем в литературе, но отождествить себя с народом они не могут в силу огромного числа социальных и экономических особенностей Индии.

Бадул Сиркар приводит для примера пьесу о шахтерах «Раскаленные угли» Утпала Датты и говорит:

— Пьесу охотно смотрела городская молодежь, но я сильно сомневаюсь, интересна ли она для тех самых шахтеров, о которых написана. Дело в том, что пьеса не столько отражает образ мышления рабочего, сколько показывает, что думает о рабочем горожанин, как, с точки зрения горожанина, должен бы рассуждать и вести себя шахтер.

Поэтому основной причиной отчужденности творческой интеллигенции Индии Бадул Сиркар называет раздвоенность ее сознания: художник понимает, что он — клетка громадного тела, нерв этого организма, остро чувствующий, мгновенно реагирующий. Но он не в силах слиться с ним до конца, он уходит в себя, у него рождается чувство безысходности, ненужности и вместо социально значимого протеста — глубоко личное ощущение крушения надежд.

Бадула Сиркара спрашивают, есть ли в Индии «сердитый молодой театр».

— «Сердитые молодые люди» у нас пьес не пишут,— отвечает драматург.— Они занимаются революцией отнюдь не в театре,— и революция им нужна не позднее, чем завтра. Им, конечно, хотелось бы иметь своего драматурга, который сумел бы выразить чувства молодежи, как правило, студенческой молодежи, неуверенной в своем завтра. Неуверенной в том, что ее сегодня учат тому, что надо, и уверенной, что ей никто не придет на помощь, что ее будущее должно быть делом ее собственных рук.

Пожалуй, Утпал Датта — единственный драматург, чьи пьесы волнуют молодежь. Протест Утпала Датты против всего, что покрыто лоском незыблемости, находит у них отклик.

Бадул Сиркар впервые приехал в Советский Союз, «открыл для себя советский театр». В Театре на Таганке он провел почти четыре часа, присутствуя на репетиции «Матери».

— Мне кажется,— говорит Бадул Сиркар,— очень важно, что монтажи и приемы этого театра адресуются не единицам, а массам зрителей. Буффонада — способ поговорить о серьезном, а это главная задача театра сегодня.

Недавно пришло письмо от Бадула Сиркара, в котором он пишет, с каким интересом была принята его лекция о современном советском театре, прочитанная им в прославленном Тагоровском университете Шантиникетан, и с каким успехом прошла премьера его новой пьесы «Пратан», в которую он, по его словам, «вложил так много из того, о чем говорилось в Москве».

М. САЛГАНИК

Изобразительное искусство за рубежом

Габриэль Брачо, художник-борец

«Часто говорят, что Габриэль Брачо является как бы моим венесуэльским последователем или преемником; в этом утверждении — свой свет и своя тень. Брачо — в высшей степени одаренный художник... Сознательно и эмоционально — как в теории, так и на практике — он приблизился к нашему мексиканскому художественному движению, которое по сути своей есть движение интернациональное в противовес псевдоинтернационалистским претензиям модерного формализма... Путь, избранный Габриэлем Брачо, ведет к глубокому пересмотру критериев изобразительного искусства нашего времени...» — писал о своем друге Давид Альфаро Сикейрос, подчеркивая, что венесуэльский художник «явно и решительно претворяет в искусстве идеи нового реализма».

Габриэль Брачо — художник резко обозначенной индивидуальной манеры. Но прежде всего он — художник-борец, неизменно выражающий и утверждающий в своем творчестве передовые идеи современности.

Среди его последних работ выделяется большое полотно под названием «Гриб-абстракция»... На фоне иссиня-черного неба, над землей, объятой пламенем, в котором видны конвульсирующие тени — силуэты мирных жителей,— мрачно повис зловещий гриб атомного взрыва. Апокалипсическая сцена потрясающего буйства красок, невероятного накала. А в правом нижнем углу полотна изображен некий абстракционист; не обращая никакого внимания на страшное зрелище, развернувшееся перед ним, он равнодушно и бездумно расцвечивает аккуратненькие квадратики в стиле «оп-арт»— и никакого дела ему нет до нависшей над человечеством угрозы новой империалистической войны... Эту картину воспринимаешь как своего рода декларацию эстетических принципов художника, выступающего с гневным обвинением в адрес тех, кто хотел бы в наше напряженное, сложное время остаться «в стороне», «быть над схваткой». А Габриэля Брачо, как говорят в Венесуэле, можно найти лишь на поле сражения: художник выполняет свой долг перед народом.

Искусство Брачо — воинствующее, революционное. Художник солидарен с теми, кто борется за лучшее завтра его родины — Венесуэлы, за свободу и независимость Латинской Америки. Его картины — призыв к борьбе против американского империализма, чьи монополии, захватив национальное богатство Венесуэлы — нефть, принесли столько горя, столько несчастий венесуэльскому народу.

Репродукция с известной картины Габриэля Брачо «Знаменосец» была напечатана на обложке № 2 нашего журнала за 1971 год. В этом номере публикуются репродукции других его работ.

Некоторое время назад Габриэль Брачо посетил Советский Союз, ближе познакомился с творчеством советских художников, побывал в редакции «Иностранной литературы». Эта поездка, как он заявил на страницах венесуэльской печати, еще более укрепила его на позициях прогрессивного реалистического искусства.

Д. ЮРЬЕВ

Из работ венесуэльского художника Габриэля Брачо

Автопортрет. 1965 г.

Манифестация. 1964 г.

Нефть. 1949 г.

Ночной Каракас. 1967 г.

Отклики, встречи, впечатления

Ю. КУЗЬМЕНКО

ОРУЖИЕ ЕДИНСТВА

К итогам IV конференции писателей стран Азии и Африки

Листаю блокнот, заполненный в ноябре минувшего года в Дели. Торопливые строчки записей вызывают в памяти множество впечатлений, которые оставила встреча писателей в столице солнечной Индии.

Большой зал делийского Вигья Бхаван — Дворца науки, где проходят многие международные конференции. Над сценой изображение земного шара с факелом в скрещенных руках — эмблема Ассоциации писателей стран Азии и Африки. А в зале, поднимающемся амфитеатром, сама эта писательская организация во плоти: представители пятнадцати независимых и борющихся народов черной Африки, девяти арабских, девяти азиатских стран. Разумеется, много хозяев встречи — индийских писателей. Они представляют литературу, которая создается на хинди, урду, бенгали, гуджарати, маратхи, телугу, ассами, раджастани, кашмири и других языках Индии. Почти столь же многоязыка советская писательская делегация. Она говорит и пишет на узбекском и аварском, таджикском и якутском, грузинском и русском, бурятском и киргизском, туркменском и казахском...

На трибуне индийский писатель и общественный деятель Мулк Радж Ананд — давний друг советских литераторов, ветеран афро-азиатской писательской организации. На этот раз он выступал в роли одного из организаторов конференции. И мы видели, сколько забот и трудов потребовала эта встреча от индийского подготовительного комитета.

Открывшуюся конференцию Мулк Радж Ананд называет «конференцией гуманизма». Он призывает писателей крепить солидарность, бороться против всяких проявлений сектантства, национальной ограниченности.

— Каждый из нас отвечает за судьбу человека в мире,— говорит оратор.— Мы должны создавать новую, здоровую культуру, впитывающую в себя лучшие достижения прошлого. Мы должны строить мосты через пропасть, все еще разделяющую литературу и жизнь, помогать людям приобщаться к культуре. Мы должны в своих книгах открывать себя, открывать других, обмениваться нашими идеалами, создавать человеческие ценности, которые переживут века.

После вступительной речи зачитываются приветствия, присланные в адрес конференции. Бурными аплодисментами встречают посланцы двух континентов приветствие Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Желают новых успехов писателям государственные деятели ОАР, Судана, Ливана, Монгольской Народной Республики.

Принимается повестка дня конференции. Намечено обсудить задачи писателей в борьбе за единство всех антиимпериалистических сил, развернуть творческую дискуссию по вопросам: «Новые жанры и новая тематика в афро-азиатских литературах и роль, которую они призваны сыграть в деле борьбы за национальное освобождение, демократию и прогресс», «Исторические культурные связи между странами Азии и Африки и необходимость их возрождения сегодня».

Все обычно и необычно в этот день под высокими сводами Бхаван Вигья. Утверждается порядок работы, проходят в президиум главы делегаций, звучит многоязыкая речь — что нового в этой привычной картине открытия междуна-

родных конференций? Но таких, как эта, состоялось за все минувшие годы только три. И, конечно, были они не совсем такими: единство литераторов Азии и Африки стало прочнее, писательская организация двух континентов прошла большой путь, вступила в новый этап своей деятельности. Не случайно многие ораторы вспоминали об этом пути, говорили о заметных изменениях, происшедших в жизни народов афро-азиатских стран, а следовательно, и в их литературах.

— В 1958 году, когда я был единственным представителем Японии на первой, Ташкентской конференции,— сказал известный японский писатель-прозаик Йосиэ Хотта,— мы еще очень мало знали друг о друге. За время, прошедшее между встречами в Ташкенте и Дели, наши творческие связи окрепли, мы приобрели новых друзей. Прежде всего это друзья из африканских стран, добившихся политической независимости. Остались позади некоторые проблемы и трудности, поставившие нашу организацию перед серьезным испытанием. Мы сумели создать журнал, публикующий наши произведения, учредить литературные премии. Главное, что придает нам силы,— это вера в правоту нашего дела. Вера, замечательный пример которой показывают наши вьетнамские товарищи...

О каких трудностях шла речь? Конечно, о тех, которые возникли после второй, Каирской конференции (1962 г.) в результате попыток китайского руководства подорвать изнутри многие международные организации. Тогдашнее Постоянное бюро Ассоциации во главе с цейлонцем Сенанаяке занялось деятельностью, не имеющей ничего общего с развитием творческого сотрудничества между писателями. Делегации Постоянного бюро разъезжали по странам Азии и Африки, вербуя среди литераторов сторонников раскольнического антисоветского курса. Ассоциация оказалась парализованной. И понадобились усилия многих писателей, чтобы вывести эту организацию из тупика, возобновить ее деятельность на иной, действительно прогрессивной и творческой основе. По инициативе писательских организаций ряда стран было решено перевести Постоянное бюро Ассоциации из Коломбо в Каир. Состоялась представительная встреча литераторов афро-азиатских стран в Баку. Наконец в марте 1967 года в столице Ливана была проведена полномочная III конференция писателей стран Азии и Африки — важная веха в истории афро-азиатской писательской организации.

Были протесты за подписью того же Сенанаяке против «незаконного» характера решений Бейрутской конференции. Были нападки на Ассоциацию писателей слева — за то, что она занимается литературой, и справа — за то, что она занимается политикой. А караван шел вперед: появились первые номера журнала «Лотос», было торжественно отмечено десятилетие организации, состоялись содержательные творческие дискуссии, накапливался опыт международного сотрудничества прогрессивных писателей, набирала силы литература народов, вступивших в пору подъема национального самосознания, выходящих на стремнину исторического развития. И все это так или иначе отразилось на содержании работы писательской конференции в Дели.

— Великую французскую революцию,— говорил поэт из Дагомеи Юсташ Пруденсио,— нельзя представить без имен Руссо и Монтескье. Великая Октябрьская революция неотделима от имени Ленина... Мы, писатели, можем немало сделать, чтобы народы наших стран успешнее шли по пути прогрессивных социальных преобразований. Мы можем проникать в сознание людей, заставлять звучать струны человеческой души. Давайте же бороться за то, чтобы литература лучше выполняла свою освободительную роль, чтобы наши произведения доходили до тех, кому они предназначены.

Перечитывая эту запись, я вспоминаю триумфальное выступление Юсташа Пруденсио на международном поэтическом вечере — традиционной «мушаире», состоявшейся после конференции. Он прочел там блестящее по форме и остросоциальное по содержанию стихотворение «Parce qué...» («Потому что...») — поэтическую декларацию равноправия наций, манифест человеческого достоинства. Юсташа обнимали, когда он под гром аплодисментов шел со сцены на свое место. Да, подлинная поэзия, пронизанная глубокими чувствами, объединяет людей, заставляет звучать лучшие струны человеческих душ!

На трибуне — молодой малийский поэт Гаусу Диавара. Обычно улыбающийся, готовый поддержать любую шутку, на этот раз он очень серьезен.

— Империализм имеет в своем распоряжении самые могучие и коварные средства воздействия на духовную жизнь развивающихся стран. Противостоять этому воздействию можно только общими усилиями. Наша задача — выражать трагедии и надежды двадцатого века средствами искусства, формировать новый гуманизм, неустанно выявлять все человеческое в человеке. Это самый короткий путь к народу.

Выступает сирийский писатель Ахмад Сулейман аль-Ахмад:

— Искусство — необходимость для современного мира. Конечно, оно не может непосредственно разрешать волнующие нас политические и социальные проблемы, но кто усомнится в том, что мир во многом был бы иным без прогрессивной художественной культуры? Писатель — не небожитель, обитатель Парнаса. Его касается все, что происходит на

земле. И именно борьба за лучшее будущее собрала нас в этом зале.

Оружие единства — важнейшее оружие, которое народы арабских стран должны использовать против наступления империализма. Такова главная мысль выступления палестинского писателя Муина Бсису. С этой точки зрения он рассматривает и первоочередные задачи литераторов.

— Когда писатель отказывается от борьбы за интересы своего народа, не защищает свои идеи и принципы, его чернила превращаются в грязь.

О высокой ответственности художника говорит и известный южноафриканский писатель Алекс Ла Гума:

— В наши дни нет третьего пути: надо быть либо против империализма, либо за него. Это относится и к области культуры. Мы не можем поддаваться тем стандартам, которые навязываются нам буржуазными издателями. Как это ни трудно в наших условиях, когда писатель нередко попросту бесправен, необходимо бороться с чуждыми влияниями, отстаивать подлинные духовные ценности.

— По сути дела,— заметил посланец Конго (Браззавиль) Тати Лютар,— мы говорим на одном языке. Мы прибыли сюда, чтобы продемонстрировать солидарность со своими народами и друг с другом. Колонизаторы ушли из большинства стран, но колониализм жив во многих представлениях и традициях. Возьмите, например, такой факт. В школах до сей поры пропагандируются взгляды Теофиля Готье, литература предстает как изысканный продукт для избранных. Мы выступаем за другое понимание литературы и искусства. Для нас литература — неотъемлемая часть жизни народа. Народа, который только выходит из мрака отсталости, продолжает трудную борьбу за свободу. Вот почему для нас создавать книги — это больше, чем просто писать. Писатели участвуют в формировании душ, кристаллизуют помыслы, стремления своих соотечественников. Каждая удавшаяся книга — место встречи с читателем, который, может быть, станет нашим единомышленником и другом.

Признание высокого общественного назначения литературы, решительное неприятие навязываемых буржуазной пропагандой элитарных теорий искусства — лейтмотив подавляющего большинства выступлений, та атмосфера, в которой развертывалась на конференции общая дискуссия. И естественно, что в этой атмосфере получало отчетливую социальную направленность обсуждение и собственно творческих, профессиональных вопросов — например, проблемы традиций и новаторства. Она связывалась с многообразными изменениями в жизни народов Азии и Африки в годы завоевания политической самостоятельности, ускоренного экономического и культурного развития.

— Культура,— говорил тот же Тати Лютар,— это динамический процесс реакции народа на современную реальность. Когда народ находится в движении, система его представлений не может не меняться. В этих условиях мы имеем дело с **движущимися традициями,** с закономерным обновлением существующих жанров и форм художественного творчества.

Плодотворный подход к решению проблемы традиций и новаторства был намечен в выступлении марокканского писателя Мухаммеда Знибера.

— Традиции существуют для того, чтобы служить нашим целям, а не наоборот. Есть и узкие традиции, мешающие идти вперед. Некоторые традиционные формы потеряли свою целесообразность, другие же вполне жизнеспособны, помогают выражать современное содержание. Так произошло в марокканской литературе с древним жанром новеллы, где традиционное и новое предстают сейчас в органическом сплаве.

Общая дискуссия, о которой мне удалось сказать здесь, разумеется, лишь очень немногое, получила продолжение в работе комиссий. В одной из них под председательством уже знакомого нам Юсташа Пруденсио обсуждался именно этот вопрос — о взаимодействии в литературах афро-азиатских стран на современном этапе традиций и новаторства. Могу засвидетельствовать, что это был содержательный разговор, «запевкой» которого стало прочитанное южноафриканским поэтом Космо Питерсом прекрасное стихотворение Жозе Краверинья «Я хочу быть барабаном». Как истолковать содержащуюся в этом стихотворении символику барабана — негритянского тамтама? В чем состоят приметы времени, наложившие отпечаток на форму произведения?

Дискуссия, начавшаяся с конкретного примера, постепенно перешла на более широкие явления современной литературы. В ней приняли участие писатели из Японии, Индии, ряда африканских стран. Выступали советские литераторы — Габит Мусрепов, Алим Кешоков, Чингиз Айтматов, Ануар Алимжанов, сумевшие о многом сказать кратко и ярко, подчас чередуя серьезные теоретические положения с красочной метафорой, непринужденной шуткой.

Передо мной не стоит задача написать отчет о конференции. В этом случае следовало бы полнее очертить круг проблем, поднимавшихся писателями, перечислить все комиссии, рассказать о горячем приеме, оказанном участниками конференции объединенной вьетнамской де-

---

Ю. КУЗЬМЕНКО
ОРУЖИЕ ЕДИНСТВА

легации, об активной работе советских литераторов и важном вкладе в обсуждение насущных вопросов литературной жизни представителей писательских организаций европейских социалистических стран, о торжественном вручении премии «Лотос» премьер-министром Индии Индирой Ганди первым пяти лауреатам.

А ведь конференция в Дели — не только то, что происходило в те дни в больших и малых залах Дворца науки. Помимо заседаний были многочисленные встречи и беседы писателей в двух отелях на улице Джан патх (Путь народа), где жили участники конференции. Были дискуссии за «круглым столом» по вопросам развития национальных литератур и языков, литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, выступления перед читателями, организованные Агентством печати «Новости», состоялась упоминавшаяся уже поэтическая «мушаира». Наконец, была Индия с ее поразительным богатством и бедностью, острейшими социальными проблемами, очень непростыми процессами литературного развития.

Международная писательская конференция стала катализатором, сделавшим внутренние идейно-творческие процессы в литературе Индии более отчетливыми. Активизировались попытки местного капитала «приручить» писателей, использовать литературу в своих целях. Одна из монополий, например, объявила об учреждении литературной премии, сумма которой в двенадцать раз превосходит государственную. Оформились группировки левацкого толка, питательная почва которых — наличие значительного мелкобуржуазного слоя, разочарование части писателей в направленности и темпах социальных преобразований. Возникшая в Пенджабе незадолго до конференции группка «Писательский фронт» издала брошюру под названием «Взорвать буржузный штаб», где навесила ярлыки «предателей», «агентов империализма» многим видным писателям страны. Накануне открытия конференции кучка бородатых молодых людей устроила во Дворце науки хоровое представление с выкрикиванием тех же лозунгов. В остальные дни они вели себя тихо, но регулярно появлялись у входа в зал заседаний с отпечатанными на ротопринте воззваниями и резолюциями. Характерно, что демарши ультралевых, особенно с антисоветским душком, получили отражение только на страницах крайне правой печати.

В сложной и противоречивой литературной жизни Индии дают о себе знать, однако, и иные, позитивные тенденции. Происходит заметная политизация литературы. Растет общественная активность писателей. Становятся более глубокими линии идейно-творческого размежевания. Усиливается тяга к объединению литераторов на прогрессивной антиимпериалистической и демократической основе — с созданием региональных писательских организаций, которые были бы представлены в общеиндийском творческом союзе. С этим связан глубокий интерес писателей Индии к опыту развития многонациональной советской литературы, ярко проявивший себя в дни работы конференции. Этим прежде всего определяется важное значение конференции для самих индийских литераторов.

IV конференция писателей стран Азии и Африки — свершившийся факт. Она явилась впечатляющей демонстрацией солидарности передовых деятелей культуры двух континентов, решимости писателей бороться за высокие гуманистические идеалы. Она показала возросшее умение литераторов находить свое место в решении общественно-исторических задач, рассматривать вопросы политики через призму идейно-творческих проблем. Мы увидели на трибуне конференции людей образованных, убежденных, серьезно размышляющих о путях развития современной мировой культуры.

«Мы, писатели афро-азиатских стран, собравшиеся в Дели на свою IV конференцию, — говорится в принятой на заключительном заседании Общей декларации, — с удовлетворением отмечаем, что этот форум останется важной вехой на пути развития нашей литературы и будет содействовать сплочению творческой интеллигенции, которая служит великому делу освобождения народов, а также делу социального и культурного прогресса». В декларации подчеркивается необходимость упорной борьбы с идеологическим наступлением империализма в области культуры, которое простирается «от утверждения абсурдности мира и невозможности общения между народами до подчеркивания реакционных аспектов наших традиций — то есть тех аспектов, которые порождены самим колониальным гнетом». Конференция в своем главном документе заявила: «Сегодня афро-азиатский писатель находится на переднем крае великих процессов преобразования, имеющих место в странах, добившихся независимости или борющихся за свое освобождение. Его творческая активность неотделима от борьбы за свободу и социальное равенство. Он не только помогает своему народу в этой борьбе, но также учится у народа, черпает у него вдохновение».

Ассоциация писателей стран Азии и Африки приступила к осуществлению задач, намеченных в Дели. Идет подготовка к встрече поэтов в Сенегале. Формируются очередные номера журнала «Лотос». Разрабатывается перспективный план деятельности писательской организации вплоть до следующей, V конференции.

Место и время этого предстоящего форума определены: сентябрь 1973 года, Алма-Ата.

Среди книг

Издано в СССР

ПОСЛЕДНИЙ РОМАН ФРАНСУА МОРИАКА

Франсуа Мориак. Подросток былых времен. Роман. Перевод с французского Р. Линцер. «Новый мир», № 1, 1970.

... Вечером 31 августа 1970 года мы бродили по улицам Бордо, города, о котором Мориак писал: «Бордо — мое тело и моя душа. Его дома и улицы — события моей жизни» Пройдя Пассаж — там некогда помещалась книжная лавка, где торговала Мари, любовница Алена, мы свернули с ярко освещенной улицы Сент-Катрин и оказались в районе, который называют кварталом «буржуазии винной пробки». Это — квартал персонажей Мориака. Еще не поздно, но на темных улицах стояла полная тишина. Не было видно ни души. Можно подумать, что город вымер, если бы не узкие полоски света, пробивавшиеся сквозь плотно закрытые ставни. Забранные решетками окна, опущенные жалюзи, ставни, ставни без конца. За такими же вот ставнями вел дневник старый адвокат из романа «Клубок змей» и задыхалась Тереза Декейру. Отсюда лежит «дорога в никуда».

На следующий день, перед началом работы международного конгресса литературоведов, профессор Робер Эскарпи попросил почтить память Франсуа Мориака, скончавшегося в ночь на 1 сентября. «В Бордо,— сказал Эскарпи,— мы повседневно чувствуем присутствие Мориака, последнего великого романиста поколения, уходящего со сцены».

Действительно, из жизни ушел большой французский романист.

Раскрывая «Подростка былых времен», самый молодой роман Мориака (опубликован в 1969 году, через шестьдесят лет после выхода в свет его первой книги), читатель погружается в привычную атмосферу произведений писателя. Как обычно, действие происходит на юго-западе Франции, в краю сосновых лесов и виноградников, в Бордо и его окрестностях. Возникают характерные для писателя образы, звучат издавна знакомые темы: поиски истинной веры; борьба духа с плотью; страдания неповинного ребенка. Две центральные фигуры— юный Ален и его мать, хозяйка поместья Мальтаверн. «Воспитание чувств» Алена (сначала в родовом имении, затем в Бордо, наконец, в Париже) протекает в сложном, мучительном противодействии, в конфликте, то погаенном, то открытом, с его матерью, конфликте неизбежном, ибо между ними «стояла собственность». Мать по-своему любит сына, но ей куда более мила ланда — две тысячи гектаров соснового леса, которые Ален унаследовал от отца.

Однажды в беседе с Франсуа Мориаком в декабре 1963 года речь зашла о его статье, посвященной памяти Роже Мартена дю Гара. Он расценивал «Семью Тибо» как «безапелляционное обвинительное заключение, предъявленное своему классу этим сыном крупной буржуазии». На мой вопрос, не могут ли быть отнесены эти слова к его собственному творчеству, Мориак ответил утвердительно «С той лишь разницей,— заметил он,— что Мартен дю Гар обвинял совершенно сознательно, а я просто описывал свою среду». Последней частью обвинительного акта Франсуа Мориака по делу

французской буржуазии и стала книга о подростке былых времен.

Итак, казалось бы, в романе этом все, как в прежних вещах Мориака. Но первое впечатление обманчиво. Старые темы звучат по-новому. Объясняется это, очевидно, автобиографическим характером произведения. Конечно, нельзя отождествлять Алена Гажака с Франсуа Мориаком. Но в образ Алена, более чем в какой-либо другой, писатель вложил частицу своего собственного «я». Личное, сугубо личное восприятие сочетается с той особой достоверностью, которая присуща документальной литературе. В результате получился удивительный сплав романа и мемуаров, поэзии и правды. Написан «Подросток былых времен» с неподдельным литературным блеском.

И снова Мориак заявил о себе как о продолжателе бальзаковской традиции. Пожалуй, ни один французский романист XX века не показал столь наглядно, до какой степени может быть страшна власть денег. Мир, что он описывал, был его собственный мир, и рисовал его Мориак не со стороны, а «изнутри», с испепеляющей ненавистью к одним, с чувством щемящей боли за сломанную, покалеченную жизнь других — будь то Мари, которая любит Алена, а выходит замуж за состоятельного старика, будь то малютка Сернис, зверски изнасилованная, убитая. Страдальческая боль за людей помогала реализму Мориака восторжествовать над его консервативными политическими взглядами. За верой в бога, а Мориак был ревностным католиком, у него таилась вера в человека. И в тяжкие дни испытаний, во времена фашистской оккупации, гуманизм писателя помог ему избрать верный путь.

В «Черной тетради», вышедшей под псевдонимом Форез в подпольном «Полночном издательстве», Мориак воздал должное своему народу, рабочему классу, единственному классу, который «в своей массе остался верен обманутой Франции». В 1943 году Мориак писал: «Мы верим, что человек не подвластен закону взаимного истребления и не просто ему не подвластен; все достоинство человека состоит в том сопротивлении, которое он, от всего сердца и всем своим разумом, этому закону оказывает».

Как художник, как исследователь человеческой души, бесстрашный, ни перед чем не останавливающийся, Мориак, подобно Роже Мартену дю Гару, опирался и на опыт своих любимых авторов — великих русских писателей. «Потребовался бы целый том, чтобы рассказать вам обо всем, чем я обязан Толстому и Достоевскому, разумеется, не меньше, чем Бальзаку. Что касается Чехова, которым я бесконечно восхищаюсь, то с его творчеством я познакомился значительно позднее. Особенно много думал я о нем, когда, лет около пятидесяти, я обратился к театру. Моей заветной мечтой, мечтой не сбывшейся, было проложить у нас дорогу к традиции Чехова. Я и до сих пор считаю, что это мог бы осуществить только романист» (из письма Ф. Мориака автору этих строк от 19 декабря 1967 года).

Несмотря на консерватизм политического мышления, набожность почти фанатическую, романист показал обреченность общества, где все может быть сведено к денежному расчету. «Франсуа Мориак — один из самых замечательных и едва ли не самый замечательный из современных французских писателей...» — говорил И. А. Бунин. Сказанные много лет тому назад, слова эти убедительно подтвердил и последний роман Мориака «Подросток былых времен».

Ф. НАРКИРЬЕР

ОБЫДЕННАЯ АМЕРИКА

Джон О'Хара. Жажда жить. Роман и рассказы. Перевод с английского. Предисловие А. Зверева. Редактор К. Федорова. Москва, «Прогресс», 1970. 349 стр.

Джон О'Хара не принадлежит к числу тех писателей, которых по достоинству оценивают лишь после смерти, с отдаленной исторической вышки. Слава пришла к нему с дебютом — роман «Свидание в Самарре» (1934)—и неизменно сопутствовала ему в течение трех с половиной десятков лет литературной жизни. Причины этой стабильной популярности объяснить как будто бы нетрудно. Во всех буквально своих сочинениях — а их, очень разноценных, у О'Хары накопилось немало — писатель непосредственно, всячески подчеркивая это, апеллирует к опыту «среднего» американца — такому, каков он есть сейчас, вот в этот момент, он буквально вгрызается своей прозой в повседневность быта. На это указывают уже самые зачины произведений О'Хары. В середине рассказа он может и сфальшивить, в финале позволить себе подчас голое назидание, но она, эта первая фраза, всегда выверена точно. «Ховард Эмбри остановился у ворот, высадил жену, потом отвел машину в гараж...»

«Миссис Дэбнер храбро шла по Мэдисон-авеню, размышляя о том, какой она представляется тем, кто смотрит на нее из автобуса...» «Артур Фелзер остановился возле конторки, где сидел клерк, и пропустил подошедшую за ним женщину вперед...» Ощущение реальности, сиюминутности, всеобщности происходящего достигается безотказно.

В мире совершались литературные революции, традиционная техника письма претерпевала коренные изменения, классический реализм XIX века подвергался ревизии — Америки эти процессы коснулись в полной мере. Но О'Хара оставался верен раз навсегда найденной манере: выпуклая четкость детали, жесткий контур сюжета, лаконизм слога, предельная простота, психологическая однолинейность характера. Неизменным оставался и сектор изображаемой О'Харой действительности — американская провинция, ее люди, ее нравы.

Составители рецензируемого сборника включили в него помимо романа «Инструмент» рассказы, написанные О'Харой в последнее десятилетие его жизни (в 1970 году писатель умер). Тем не менее книга вполне представительна — так же и о том же О'Хара писал и тридцать лет назад.

Конечно, оставаясь постоянно в одной и той же общественной среде и упрямо пользуясь при этом давно опробованными литературными приемами, О'Хара сильно облегчал свою задачу как художника. Фолкнер как-то высказался в том роде, что жизнь писателя — это непрекращающийся поиск, а следовательно — постоянный риск. О'Хара предпочитал не рисковать, и это, наверное, помешало ему до конца использовать возможности своего таланта. С другой стороны, слишком наивно было бы видеть оправдание литературного успеха О'Хары только в его буквальной, дотошной верности жизни.

Когда читаешь романы, а еще более рассказы О'Хары, поначалу не оставляет ощущение, что перед тобой нечто пройденное, уже открытое и освоенное другими — Андерсоном, Синклером Льюисом. Гиббсвил, Ист-Хэммонд, где обитают герои О'Хары, сильно напоминают андерсоновский Уайнсбург или Гофер-Прери Льюиса — с их душной, застойной, сугубо бездуховной атмосферой не бытия, а быта; и даже порою кажется, что сама проза О'Хары складывается из готовых блоков, над которыми трудились старшие и более искусные мастера.

И все же нет, не то... Дальняя цель и у Андерсона, и у Льюиса, и у О'Хары (к этому списку, понятно, можно подключить еще многих) одна — обнажить фальшь, скудоумие, жестокость американской провинциальной жизни, но идут они к ней разными путями. Льюис и Андерсон эту жизнь остраняют, показывают ее как *не-жизнь* — один откровенно сатирическими средствами, другой — помещая носителя более высокого уровня сознания в эту среду людей-гротесков. О'Хара же кропотливо, настойчиво, бесстрастно воссоздает жизнь в ее мельчайших подробностях. Тут возникает риск самому быть поглощенным этой рутиной лжи, бессмыслицы, жестокости, но тогда-то и обнаруживается истинный (а не поверхностный: литература — слепок жизни) эстетический смысл художественной манеры писателя: именно бесстрастием, подчеркнутой безэмоциональностью тона, именно чередой повторяющих друг друга характеров и ситуаций — таких живых, таких обычных — стремится автор пробудить в читательском сердце протест против заведенного хода жизни.

Вот она, эта клеточка сегодняшней Америки, этот стандартный Гиббсвил, где усреднено все — улицы, дома, а там дальше — люди, их переживания, их мысли, даже события их жизни. Крамер (герой рассказа «Фермер»), смутно догадывающийся о существовании иной, более богатой и интересной жизни, нежели та, что обречен вести он, ничем не отличается от владельцев бензоколонки («Удачное местоположение») с их неизменным уделом—прозябанием. Удачливый бизнесмен Фелзер («Я тебе так благодарна»), позволивший себе маленькое отклонение от нормы — интрижку с местной учительницей,— есть точная копия героя рассказа «Болонка», что разнообразит свою жизнь, постоянно провоцируя жену на ложь.

Впрочем, унылая бездуховность этого мира не столь уж и невинная — порой он выделяет из своей среды людей активных, деятельных, но тогда эта деятельность обретает жестокие и безнравственные формы агрессивного стремления к материальному успеху. Но это стремление — а точнее, именно оно безжалостно стирает всякие приметы человеческой индивидуальности, и в конце концов все они — и Локвуды (роман «Дело Локвудов»), неправедные пути которых к обогащению прослежены со скрупулезной точностью, и Клейтон Бантер (из одноименного рассказа), чья дорога к богатству осталась за рамкой, и бывший боксер, а ныне владелец салуна («Броненосец и Мэдж»),— все они повернуты к читателю единым, страшным в своей стертости лицом.

Говорят, О'Хара избегает психологической детализации создаваемых им характеров. Это верно. Но в его антипсихологизме скрыт свой эстетический смысл: писателю важно показать, что общество, положившее в основу своего процветания лишь материальные стандарты, неизбежно порождает и стандарты духовные.

О'Хара пришел в литературу в знаменательное время — в пору «гремящих» тридцатых, и хотя и случалось ему отступать и оступаться, он, в общем, оставался верен критическому отношению к машине буржуазного подавления личности. Но все-таки — проявляет ли себя хоть как-нибудь в созданном О'Харой мире сама эта личность, пытается ли преодолеть назначенный ей удел винтика и выйти к дальним горизонтам человечности?

Сборнику О'Хары дано название одного из романов писателя (не включенного, правда, в сборник) «Жажда жить». Не уверен, что этот выбор безусловен — в большинстве его произведений люди только туманно ощущают пустоту своей жизни, а попытки оборвать ее заведенность и обрести свободу носят откровенно обреченный (как у героя «Свидания в Самарре») либо даже извращенный характер — когда главный персонаж рассказа «Сигареты и поцелуи» убивает свою жену и детей. До серьезного же осознания своего человеческого предназначения в мире и тем более попыток его осуществить дело не доходит.

Думается, что заглавие книге дано с ориентацией на главную ее составляющую— роман «Инструмент». В романическом наследии О'Хары это не самая сильная вещь— и «Свидание в Самарре», и «Дело Локвудов» написаны куда более цельно, эстетически завершенно, «Инструмент» же отличается крайней художественной неровностью. О'Хара по-прежнему уверенно чувствует себя в провинции — Ист-Хэммонд, штат Вермонт, с его привычной безликостью, с его мелкими сплетнями и скучным адюльтером воссоздан писателем, как всегда, точно.

Но в большом городе — а герой начинает свой путь в Нью-Йорке — О'Хара порой теряется. И дело даже не в том, что здесь возникает стилевой разнобой — чисто беллетристические эпизоды то и дело перемежаются элементами явной документальности (описывая театральный Нью-Йорк, О'Хара называет подлинные имена режиссеров, актеров, критиков, насыщает текст наугад выхваченными цитатами из театральных колонок газет). Хуже то, что самый этот мир театра построен из готовых кусков, взятых напрокат из текущей театральной прессы США. Здесь трафаретны ситуации и стандартны фигуры — талантливой актрисы, вынужденной прокладывать путь к славе через постели режиссеров и продюсеров, принципиально-безнравственного пресс-агента, театрального дельца, эксплуатирующего талант актрисы, и так далее. И лишь одна личность выделяется на этом скудном фоне — Янк Лукас, начинающий драматург,— ради него-то и написан, по существу, роман.

Первая же пьеса Лукаса — бывшего журналиста провинциальной газетки, бывшего мойщика посуды, бывшего...— да кем он только не был за недолгую свою жизнь — имела необыкновенный успех на Бродвее. Вчера еще безвестный, сегодня Янк Лукас проснулся знаменитым.

В творчестве О'Хары обозначились два типа героя — безвольный, полностью поглощенный рутиной жизни обыватель и агрессивный, заранее лишенный признаков человечности накопитель — Мозес Локвуд, к примеру. Янк Лукас выпадает из этой четко ограниченной рамки. Сюжетный ход, избранный тут О'Харой, довольно тривиален: сразу же после премьеры Лукас бежит от болтливой и опасной суеты Бродвея в тишь провинции, где ему предстоит написать новую пьесу. Но в заурядной оболочке скрыто новое — в рамках творчества О'Хары — содержание. Бегство героя равно вызову духовным стереотипам буржуазного общества. И если талант его все же гибнет, то винить в этом только общественную систему (хотя и ее разрушительная роль велика) не приходится.

Янк Лукас тем и интересен, что в ряду бесчисленных персонажей, созданных О'Харой, это — человек, совершающий выбор и несущий за него ответственность. Но тут же естественно возникает и новая проблема — правильности выбора. В финале книги Лукас терпит поражение, однако — романист явно подчеркивает это — причиной тому не безнадежность всякой попытки борьбы с нормами буржуазности, а ложные средства, избранные героем для достижения своей высокой в изначале цели.

В жизни, характере Лукаса возникает непримиримое противоречие: он свято относится к своему искусству, но люди, ради которых оно создается, оказываются для него лишь инструментами творчества, своего рода творческим допингом. Такая душевная черствость, впрочем, нет, скорее принципиальный эгоцентризм художника, становится причиной драм, надлома, гибели жизней людских. В любви к Янку ищет путь к обретению человеческого достоинства популярная бродвейская актриса Зена Голлом, но для него она оказывается лишь персонажем будущей пьесы, и когда роль ее в этой пьесе определяется, Лукас бросает ее. В финале романа Зена кончает самоубийством, оставив страшную предсмертную записку: «Дорогой Янк, благодарить тебя не за что».

Обманутыми оказываются и надежды Шейлы Данем — Лукас не может дать ей того тепла человечности, что могло бы преодолеть установившийся склад жизни — попойки, измены, душевную неустроенность.

И может быть, самым тяжелым обвинением герою оказывается судьба юной Бесси — для нее хватило лишь мимолетной встречи с ним: возвращаясь со свидания, девушка гибнет в автомобильной катастрофе. Символ, конечно, довольно прямолинейный — Лукас выступает в роли ядоносного анчара,— но ведь О'Хара никогда и не питал доверия к психологическим сложностям.. (правда, в новом романе подобная прямолинейность входит в противоречие с характером героя).

В стремлении к абсолютной творческой свободе герой переступил черту, за которой его «святое ремесло» оказалось отключенным от жизни людей вообще. Тут даже не выбор, а сама антиномия — или искусство, или жизнь в обществе — оказалась ложной. Мерой расплаты за ошибку становится талант художника, его дело.

Верный привычке расставлять все фигуры по своим местам, четко формулировать условие задачи и ее решение, О'Хара завершает роман следующим образом: «Он (Янк.— *Н. А.*) быстро дочитал до конца некролог Зене Голлом, который был одновременно и некрологом таланту Янка Лукаса.

Если, конечно, он не найдет кого-нибудь ей в замену». Романист тут явно развенчивает героя, указывает на то, что талант, отчужденный от человеческого счастья, неизбежно обречен на вырождение и гибель.

Подобного рода финал не исчерпывает, однако, как это раньше бывало у О'Хары, всего интереса рассказанной здесь истории. Под занавес жизни, имея за спиной очень удачливо и покойно прожитую литературную жизнь, писатель вдруг рискнул.

Что же получилось? Разумеется, столь крутая перемена во взгляде на героя, отход от собственных, отработанных, выверенных десятилетиями представлений о человеке, наконец, показ личности крупным планом (а Янк Лукас — все время на авансцене действия) — все это требовало и новых, непривычных для писателя, художественных средств характеристики. Именно: инструментов психологического анализа. Прямо надо сказать — инерцию собственного художественного мышления О'Харе преодолеть не удалось. Перед нами во многом все-таки не образ, а схема образа, действия героя носят отчетливо заданный характер, самодвижения личности не ощущается, за Лукасом явно присутствует фигура самого Джона О'Хары, властно направляющего действия и жизнь героя.

Так что же — неудача? Может быть, и неудача. Только не надо упускать из виду, что в этой неудаче заключен и некий позитивный момент. Писатель решительно отрицает путь, избранный Лукасом, но доверие его к личности вообще, к абстрактному, так сказать, человеку повышается. Цена такого доверия (именно в силу абстрактности его), конечно, не слишком высока, но важен уже сам этот сдвиг.

Н. АНАСТАСЬЕВ

Издано за рубежом

АРАБСКАЯ ПОЭМА О ЛЕНИНЕ

Ридван аш-Шаххаль. Ленин. Нашид ли маджд аль-инсан вальард. Бейрут, 1970. (На арабском языке.)

В апрельские дни юбилейного, 1970 года в Бейруте вышла в свет отдельной книгой поэма «Ленин. Гимн во славу Человека и Земли». Ее автор — известный ливанский поэт и художник Ридван аш-Шаххаль посвящает свой «арабский гимн победным знаменам Ленина».

Видный ливанский литературовед Мухаммед Итани в предисловии к книге называет поэму первым удачным образцом пролетарской поэзии в арабской литературе.

На 128 страницах в хронологической последовательности развертывается поэтический рассказ о вожде революции, о его жизни, о борьбе трудового народа против гнета царизма, о торжестве освободительных идей Ильича.

Красная площадь. Через нее проходит «весь мир, склонив головы с благоговением и почтительностью». «Здесь сердце крепнет в единении с другими сердцами. А каждая колонна растет и ширится, сливаясь с другими потоками». Полвека, пройденных советскими людьми по ленинскому пути, поэт называет великой эпопеей. Повествуя о роли вождя, «поднявшего историю на высшую орбиту», поэт с гордостью утверждает, что идеи его, озарившие весь мир, озарившие Восток,— это «паруса человечества, новые люди с пылкими сердцами, авангардные отряды, которые прокладывают путь шествию народов и поют «Интернационал».

Арабский поэт старается просто и доходчиво объяснить соотечественникам русское произношение фамилии вождя и дать толкование смысла этого имени:

Его имя русский произносит: Ленин,
Мы же, арабы, произносим: Линин —
Так оно пишется по-арабски.
Оба звучания — как алмаз,
Как золото,
Слух услаждает оно, как мелодия,
Как музыка нежная.
Радует глаз, как светильник бесценный.
Знают все люди,
Что значит оно:
Товарищ, Друг.
Гражданин [1].

Для воссоздания образа народного вождя, его человеческих черт Р. аш-Шаххаль использует обыденные и, как порою кажется, очень уж бытовые слова. Но, может быть, именно благодаря этому поэт достигает большой правдивости: «Был он прост, как сама жизнь; такой же, как все люди на Земле, из крови и плоти», «искренний и смелый, улыбчив, как ребенок». Эта простота Ильича, обыкновенного человека, сочеталась в нем с гениальностью исторической личности.

Автор рассказывает о вековой мечте бедняков о счастье, мечте, что живет в народных легендах. Одна из них — романтическая история об украденном кладе. Клад этот — людская радость. Захватил ее девятиглавый дракон, который живет в пустыне. Непременно освободит и вернет эту радость людям «рыцарь с добрыми руками, из страны Зари, беззаветно любящий Человека и Землю, всех бедняков». И как бы подтверждая эту сказку горькой былью, поэт вспоминает историю царской России («Россия — тюрьма народов. Россия — царство дьявола»), где «трудовой человек работал, как вол, сеял хлеб и жил без хлеба, создавал все и взамен получал голод, а в благодарность — кнут».

[1] Стихи приводятся в подстрочном переводе.

Ленин и Октябрь — центральная тема поэмы. Рассказывая о жизни Ленина, о рождении «рыцаря на берегах Волги в весеннюю пору», Р. аш-Шаххаль знакомит арабского читателя с семьей В. И. Ленина, с «любящей стойкой матерью», с отцом, который «не был эмиром, а просто человеком с сердцем, умом и совестью» и который «соками души своей поил всех детей». А затем поэт рисует этапы революционной деятельности вождя: первые кружки рабочих, кропотливую и титаническую работу Ленина по воспитанию революционеров, тюрьмы, ссылка, эмиграция, Ленин и Октябрь.

И если в рассказах о детстве вождя, его юности мы ощущаем спокойный дух повествования, мягкий лиризм, то когда речь заходит о революции, ее основной силе—пролетариате, в стихи врываются слова, призывные, как набат, бушующие, как море. Эти строки напоены большой силой оптимизма. В них мы чувствуем, как глубоко поэт осмыслил революционную сущность учения Ленина. В поэме Ленин говорит рабочим:

Взметните руки свои стягом единым,
Сомкните их партией борющейся.
Пусть в небе высоком станут они маяком.
Пусть строят они на Земле счастливое
здание!

И вот звучит гимн свободному человеку, раскрепощенному мирному труду. Государство трудящихся выстояло против всех испытаний и невзгод. Могучая воля народа победила.

Плавится сталь в новых печах,
Как знамя колышется над трубами дым,
Зацвели города и сады.
Повсюду зажглись лампочки Ильича,
Озарилась тем светом Россия великая.

Бессмертие Ленина, триумф его освободительных идей составляют тему заключительной части поэмы. «Ленин жив в делах и борьбе народов». «Это был один человек, но воплотился он в народ, в народы, в партии, в многомиллионные массы народов». В ви́дении поэта Ленин — это «кремлевские звезды, что никогда не гаснут». Он был с народом на стройках социализма, а в годы войны вместе с советскими воинами «преследовал врагов в снегах Подмосковья, громил фашистские орды в великой битве на Волге, водрузил знамя победы над рейхстагом».

Ленин и сегодня возглавляет колонны борцов во всем мире. «Он — отец революционеров и зари. Ленин — совесть эпохи». Друг и защитник народов Арабского Востока, «он нынче в нашем море, как меч суровый, охраняет безопасность наших прекрасных берегов».

Эта поэма Р. аш-Шаххаля — новое слово в арабской и мировой поэтической лениниане. Написана она просто, но величественно. Только так и можно писать о Ленине. Проникнута она искренностью и верой. Так любят народы Ленина.

Г. ШАРБАТОВ

ГОРДОСТЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ США

New Masses — An Anthology of Rebel Thirties. Edited with a Prologue by Joseph North. Introduction by Maxwell Geismar. New York, International Publishers, 1969.

О выходе этой книги впервые объявил ее редактор-составитель Джозеф Норт в октябре 1969 года, когда его, ветерана пролетарской публицистики США, чествовали в день 65-летия.

Книга представляет собой антологию широко известного в тридцатые годы литературно-художественного журнала «Нью мэссиз»; одним из его редакторов был тогда Дж. Норт. В антологии достойно представлены различные литературные жанры, причем особенное внимание привлекают разделы репортажа и поэзии. Она отлично издана и богато иллюстрирована произведениями известных мастеров графики, блестящая плеяда которых долгие годы работала в изданиях прогрессивной газетно-журнальной периодики США.

Творчество Дж. Норта знакомо советским читателям по неоднократным выступлениям в нашей печати, по замечательной книге воспоминаний «Нет чужих среди людей» — ее русский перевод вышел в 1959 году. Читателям «Иностранной литературы» знаком и его «Пролог» к рецензируемой книге, который перекликается со статьей «Вокруг тридцатых», опубликованной в одиннадцатом номере журнала за 1969 год.

«Пролог» — рассказ «о времени и о себе», о бурном, клокочущем, насыщенном событиями двадцатом веке и о месте художника в нем, об истоках идейной убежденности пролетарского публициста и действенной силе этой убежденности. Мастерски выписанный исторический фон пронизан исповедальными мотивами, столь характерными для Дж. Норта. Как убедительно показано в «Прологе», само название книги «Нью

мэссиз» — антология бурных тридцатых» точно выражает и ее суть, и значимость, и актуальность.

Тридцатые годы — время резкого обострения противоречий в американском обществе, время поляризации социальных сил. Особенность этих лет — и в том, что массы американских тружеников осознали не только силу несправедливостей, творящихся в их стране, но и силу своей организованности. Масштабность демократического движения против угрозы фашизма и войны, несомненный авторитет левых сил, американских коммунистов, породили качественно новые явления в литературе, искусстве, журналистике Америки тех лет.

Прогрессивная печать в такие исторические периоды — важный фактор общественной жизни. Она отражает подъем демократического движения и одновременно влияет на его развитие. Верный передовым идеям своего времени, литературно-художественный журнал становится своеобразным магнитом, притягивающим многих деятелей культуры, организационным центром, сплачивающим честных художников, их трибуной. Именно таким журналом в Америке тридцатых годов был «Нью мэссиз».

Сегодня в США немало пишут об американской литературе и журналистике тридцатых годов. Уже не одно десятилетие буржуазные ученые упорно стараются принизить значение «Нью мэссиз» и других прогрессивных журналов. Можно назвать работы Теодора Петерсона, Фрэнка Лютера Мотта, Уилларда Торпа. Порою эти журналы изображаются случайным явлением, порою — изданиями, порожденными исключительными обстоятельствами, порою о них просто стараются не упоминать.

Максуэлл Гейсмар — автор «Введения» к антологии — подчеркивает: «Нью мэссиз» — часть исторического наследия, о котором я уже начал думать как о похороненном в годы «холодной войны». В эпоху маккартизма, когда о самих тридцатых годах приходилось говорить «в обстановке подозрительности и пренебрежения к ним», именно «Нью мэссиз» находился в самом центре истории, подвергшейся ревизии, именно «Нью мэссиз» был объектом оскорблений, нападок, бранных словоизлияний и тяжких обвинений».

Об актуальности антологии с полным основанием говорит Дж. Норт: «Эта книга — не потакание тоске по прошлому. Ее цель — показать, как много общего имели с тридцатыми шестидесятые годы. Но самая насущная цель антологии — помочь найти ориентир в семидесятые годы. Она показывает силу, присущую нашему народу в насыщенные схватками времена».

Безусловно, украшение антологии — раздел репортажа. «Быть может, ни одно другое десятилетие не породило такого количества хороших произведений этого жанра, как тридцатые годы... Документальные в своей основе произведения расположены в самой сердцевине тома и представляют ценность как с точки зрения исторической значимости, так и по несомненным литературным достоинствам»,— справедливо подчеркивается во «Введении». Некоторым репортажам «Нью мэссиз» суждено было стать классикой прогрессивной публицистики. Вспомним, например, «Письмо президенту Рузвельту», написанное Джоном Спиваком от имени пятнадцатилетней девочки, выросшей среди сезонных сельскохозяйственных рабочих Калифорнии, или его работы, разоблачающие американских фашистов, которые усердно перенимали идейки и методы своих наставников с другого берега Атлантики.

Постановка вопросов большого общественного звучания в репортажах во многом определяла дальнейшее творчество писателей. Репортаж Эрскина Колдуэлла о нравах одного из штатов «черного пояса»—Джорджии—характерен для писателя, темой творчества которого стало расовое неравноправие, беспредельный трагизм бытия негров в США.

Как первооснова освоения жизненного материала, репортажи порой вызывали появление произведений иных жанров. Знаменитому репортажу самого Дж. Норта о забастовке сорока тысяч шоферов такси Нью-Йорка обязана своим созданием пьеса Клиффорда Одетса «В ожидании Лефти». За короткий срок она была поставлена на многих сценах страны.

На страницах «Нью мэссиз» особенно высоко и тревожно звучал мотив борьбы с войной и фашизмом, тема солидарности с республиканской Испанией. О детях Испании, которые пережили ужасы фашистских бомбардировок и в своих рисунках передают недетские впечатления об убитых и о руинах, об ужасах войны, рассказывает в репортаже «Невероятно, фантастично, но... это правда» Дороти Паркер. Строки ее репортажа вобрали в себя не только страдания, но и стойкое благородство испанского народа на крутом изломе его истории. Читая репортаж Барри Стэвиса «Ужас Барселоны», сознаешь, что его назначение — не поразить воображение читателя тщательно выписанными натуралистическими подробностями последствий бомбардировки, не показать торжество иррационального в реальном мире. Цель работы — пробить панцирь изоляционистских настроений у многих американцев.

В антологии — немало выступлений прогрессивных писателей, говорящих о необходимости единства передовых деятелей культуры в борьбе с милитаризмом и фашизмом. В публицистическом реквиеме Э. Хемингуэя «Американцам, павшим за Испанию», в антимилитаристском выступлении Т. Драйзера «Чему меня научила мировая война», в «Письме» У. Сарояна, в работах А. Барбюса и Р. Роллана бьется тревожный пульс эпохи. Стихотворение Кеннета Фиеринга, исполненное в форме программы театрального спектакля, без преувеличения — явление уникальное. Оно опубликовано в сентябре 1934 года и потрясает точностью

сделанных прогнозов о многих тяжелых испытаниях, которые ожидали мир.

На страницах журнала не только звучал призыв к борьбе с войной и фашизмом; в его материалах была выражена готовность всех истинных демократов к конкретному действию. Готовность эту подтвердила история: «Когда я позже встретил Хемингуэя, Винсента Шиэна и других в Испании,— вспоминал недавно Дж. Норт,— они считали нас, «Нью мэссиз», марксистов, коммунистов лучшими борцами за республиканскую Испанию».

Одно из направлений постоянных атак реакционной печати США на демократическое культурное наследие — упорное отрицание ими художественной ценности прогрессивной литературы и публицистики, упреки в плакатности, схематизме, прямолинейности. Материал, собранный в антологии, убеждает в полной бездоказательности подобных утверждений.

Бесценно и актуально для прогрессивной Америки содержание произведений, собранных в «Антологии». Борцы за социальную справедливость, борцы с фашизмом — что особенно характерно — герои стихов о «людях революции» Эдвина Ролфа, о Джо Хилле — Кеннета Пэтчена, о погибших бойцах Интербригад — Сола Фунароффа. Жемчужина антологии — стихи Федерико Гарсиа Лорки в переводе известного негритянского поэта и писателя Лэнгстона Хьюза.

Нельзя не согласиться с мнением автора «Введения» о том, что в антологию включены по-настоящему прекрасные образцы поэзии, они «отвергают раз и навсегда обвинения в литературной посредственности произведений, заполнявших страницы «Нью мэссиз». Спорным представляется другое утверждение М. Гейсмара: о разделе прозы, который будто бы является «самой слабой частью» антологии. Быть может, произведения, включенные в антологию, нельзя назвать шедеврами мировой новеллистики. Но несомненное их качество — обращение к судьбам людей, достойных внимания прогрессивных художников, подлинная человечность, согревающая написанное ими. Произведения Л. Хьюза, А. Мальца, А. Бесси и других писателей убеждают в том, что прогрессивная журнальная периодика США вообще и «Нью мэссиз», в частности, внесли весомый вклад в развитие новеллы — одного из ведущих и традиционных жанров американской художественной литературы.

В книге есть и раздел критики. Характерная особенность многих критических выступлений, включенных в антологию,— их страстная полемичность. Они сохранили навеки накал борьбы тридцатых годов за мир, хлеб, свободу.

Одной из основных причин высокого авторитета журнала были принципы работы его редакции с авторами, работы терпеливой, многогранной, дальновидной, лишенной сектантской нетерпимости «Они один за другим переступали порог нашей редакции в Байбл-хаус или на Четвертой авеню — сыновья иммигрантов или сыновья янки, белые и черные... мужчины и женщины... молодые и старые, знаменитые и никому не известные, и на наших страницах появлялись имена все новых и новых поэтов, романистов, эссеистов, критиков, художников, бесшабашных журналистов...» — пишет об авторах Дж. Норт. Авторами «Нью мэссиз» были известные мастера слова, «чьи имена сияли в ореоле славы»,— американские и зарубежные — М. Горький, Т. Манн, Б. Брехт, Л. Арагон, Ш. О'Кейси, И. Эренбург... И по содержанию и по кругу авторов журнал характеризовал дух подлинного интернационализма. Приносила свои плоды устремленность редакции к поискам «новых талантов, особенно среди рабочих, среди тех, кто не получил образования». Свое первое стихотворение в журнале напечатал, например, молодой и тогда неизвестный негритянский литератор Ричард Райт. Страницы журнала были открыты и людям со сложной литературной судьбой, но искренним в своих поисках, таким как Томас Вулф.

Высокий авторитет журнала — в словах Теодора Драйзера из его заявления «В защиту «Нью мэссиз» о том, что этот журнал «осмелился сказать правду... всей трудящейся Америке». Авторитет журнала — в строчках выдающегося французского пролетарского публициста Габриеля Пери: участник Сопротивления, расстрелянный немецкими фашистами, в написанном перед казнью послании с гордостью упомянул о своем сотрудничестве в «Нью мэссиз».

Эта антология — убедительный аргумент в том остром идеологическом споре, который идет сегодня в Америке вокруг наследия тридцатых годов. Материалы антологии вновь убеждают и в том, что демократическое культурное наследие американского народа необходимо изучать. Не только ради прошлого. Прогрессивная культура всегда устремлена в будущее.

ВИКТОР ПРЕСС

БЕЗ БОЖЕСТВА, БЕЗ ВДОХНОВЕНЬЯ...

friedrich achleitner. prosa, konstellationen, montagen. dialektgedichte, studien. hamburg, rowohlt, 1970.
oswald wiener. Die verbesserung von mitteleuropa. roman. hamburg, rowohlt, 1969.
Friederike Mayröcker, Minimonsters Traumlexikon. Texte in Prosa. Hamburg. Rowohlt, 1968.

В послевоенной австрийской критике нередко можно было услышать сетования на «провинциализм» австрийской литературы. Известный писатель Герхард Фрич, например, обвинял в «провинциализме» всю австрийскую словесность 50-х годов, невзирая на такие ее весомые достижения, как романы Додерера и

Леберта, новеллистику Эйзенрейха и Айхингер, драматургию Чокора и Хохвельдера, лирику Гюпперта и Бахман. В 1967 году Г. Фрич с удовлетворением констатировал, что «экспериментирующий авангард» в лице Э. Яндля, Ф. Майрёкер и представителей «Венской группы» привлек к себе наконец подобающее внимание, придав австрийской литературе «интернациональный масштаб» и избавив ее от «эпигонства».

У Г. Фрича, должно отметить, странные представления об эпигонстве; по нему получается, что «Волчья шкура» Леберта или «Сборщик малины» Хохвельдера — сильные и талантливые произведения, к тому же затрагивающие характерные именно для Австрии общественно-психологические проблемы, суть произведения эпигонские, а вот «тексты» Яндля, которые совершенно невозможно отличить от опусов швейцарца Гомрингера или немца Мона, обеспечивают достойный и самобытный австрийский вклад в современную мировую культуру.

В то же время следует признать, что шумная деятельность «новых левых», низвергающих «буржуазные» традиции в культуре — а буржуазной многие из них считают даже грамматику,— действительно вынесла на своем гребне упомянутых австрийских экспериментаторов. Пятеро бывших членов «Венской группы» — Г. К. Артман, Ф. Ахлейтнер, К. Байэр [1], покончивший с собой в 1964 г., О. Винер, Г. Рюм, а также Э. Яндль и Ф. Майрёкер, иногда выступающие совместно («тотальная звукопьеса» «Пять человек мужчин». 1969), пожалуй, исчерпывают «модный» австрийский авангард — если не считать П. Хандке, живущего в Западной Германии, о котором мало кто помнит, что он австриец и начинал с группой сверстников в неодадаистском объединении «Форум штадтпарк» в Граце.

Однако в самой Австрии продукция этих «авангардистов» почти не находит сбыта. Мода на нее идет из Западной Германии: подавляющее большинство книг довольно плодовитых деятелей австрийского авангарда вышло в гамбургском издательстве Ровольта.

Освальд Винер определил жанр своей книги «улучшение центральной европы», как роман. Выглядит она достаточно причудливо для романа: не говоря уже о последовательном игнорировании автором большой буквы, каждый абзац его сочинения снабжен заглавием, что напоминает скорее сборник кулинарных рецептов, чем художественную прозу.

В каждом абзаце книги — обрывки зачаточных рассуждений, не доведенных до состояния зрелой мысли, как бы недовыявленных в слове, просто промелькнувших, как комета, в авторском сознании или поставленных как задача, как план будущей мыслительной работы. Например, абзац, озаглавленный «философия», гласит: «философия — та же наука вообще: то есть ни на что не годится, объяснить — почему она вообще существует; идея имеет лишь политическое значение, напечатал в 1843 году Фейербах. Прогресс — это аргумент, каждый человек хочет быть прогрессивным».

Примерно такие же глубокомысленно-непережеванные сентенции изрекаются о сущности героизма, возможности, необходимости, науки, универсума, любви, смерти и т. д. и т. д. Вместо оглавления дается реестр имен собственных и затронутых тем. Он далеко не полон, хоть и занимает десять крупноформатных страниц, набранных двухколонным петитом: поистине «тотальный интеллектуальный роман»!

В конце «романа» приложен список использованной литературы — то есть всех прочитанных автором в жизни книг.

В происхождении такого романа повинна глубоко натуралистическая тенденция: бесстрастно фиксировать данность, механически перечислять и описывать все, что попало в поле зрения. Только направлен этот фотографический объектив не вовне, как у натуралистов прошлого века, а внутрь, обращен к текучему и довольно-таки неглубокому содержимому собственного сознания.

Эта «точка зрения» выдается за великое новаторство (равно как и непризнание большой буквы или арабских цифр, знаков препинания или традиционного правописания) и другими участниками ныне распавшейся «Венской группы» (1953—1964).

Разрозненно выступающие теперь члены бывшей группы, поражавшей некогда венцев не столько словесной заумью, сколько экстравагантными уличными манифестациями (которые мы бы теперь назвали «хэппенингами»), продолжают придерживаться тех же принципов словотворчества, какие были начертаны на их задорных штандартах лет пятнадцать-двадцать назад. В своих теоретических установках они исходят из произвольной аналогии между языком, как материалом произведения литературы, и краской, звуком, как материалом соответствующих искусств. Существенным в языке они признают только его чувственно воспринимаемую оболочку — графичность, шрифт, звукопись и т. д. Выхолащивая из языка значение, эти экспериментаторы словно выбрасывают содержимое ореха, оставляя себе скорлупу, из которой складывают более или менее занятные узоры. Они, по их выражению, «работают с языком» как с оторванной от реальной действительности, самодовлеющей знаковой системой, только и пригодной в наше время— за полной сказанностью всего, что можно было сказать,— к заумным «играм», в которых-де и откроется «новая эстетическая реальность».

Идейный пестун «Венской группы» — философ-неопозитивист Людвиг Витгенштейн, произнесший «сакраментальные» слова о том, что каждый элементарный факт жизни выражается элементарным предложением, а

[1] Рецензия на книгу К. Байэра «Шестое чувство» была опубликована в «Иностранной литературе» № 9 за 1969 г.

каждое сложное предложение есть сумма элементарных. Целостную картину органически связанных явлений мира, которая составляла природу классического искусства, авангардисты пытаются подменить произвольным подбором различных «элементарных предложений», холодным — с помощью циркуля — вычислением «оригинальных композиций», механической игрой в разъятые части слова и разорванные части предложения.

Образцы этих инфантильных «игр» собраны в антологии «Венской группы» (1967) и в авторских сборниках Ф. Ахлейтнера «Проза» и Г. Рюма «Окно».

Вот, например, как осуществляет Ф. Ахлейтнер свой «монтаж с белым»:

белый как снег
белый — цвет невинности
белые муравьи
белые руки
белая краска
белые гамаши
белые ладони
белые перчатки
белые чулки —

и так далее... на трех страницах.

По-видимому, здесь реализуется упомянутый витгенштейновский тезис: суммой элементарных высказываний Ахлейтнер пытается достичь исчерпывающей характеристики понятия белого цвета.

Не менее «оригинально» разрабатывает другую тему Г. Рюм в своем пространном «Описании дерева». Название опуса занимает всю первую страницу. Посредине второй помещается слово «ствол», внизу, в скобках — «корни». На следующей странице, внизу, строчки, заполненные набором слов.

«мои ноги, почва, бессознательные, приятно, болезненные и равнодушные прикосновения удаляющихся движений: идти, жить, скинуть меня может то, что меня несет, эта вот часть, я удаляюсь по частям?»

Три строчки — уже сверху — четвертой страницы: «я просыпаюсь, встаю, говорю, иду, тороплюсь, толкую, подзываю, кричу, тихо вскрикиваю, из-за потери, бросаюсь на землю и скольжу в вечер».

Наверху четвертой страницы строка: «утро вечер дождь полдень солнце вечер облака звезды ночь».

Посредине, более крупным шрифтом: «ветви, сучья».

Чуть ниже, мелким шрифтом: «лето осень зима весна».

Затем следует страница, вся заполненная одним-единственным словом «лист»—тринадцать колонок по тридцать восемь слов в каждой. Что и говорить — исчерпывающее «описание»! Не много нужно труда, чтобы заполнить такими «описаниями» сотню-другую страниц роскошной атласной бумаги.

Как уже говорилось, выходцы из «Венской группы» не исчерпывают литературный «авангард» современной Австрии. К нему следует отнести также «конкретника» Э. Яндля и «ассоциативников» — М. Шаранг и Ф. Майрёкер.

В двух последних книгах Ф. Майрёкер — поэтической «Смерть от муз» и прозаической «Лексикон снов минимонстра» — подводятся итоги словесных экспериментов, которые на протяжении четверти века составляли досуги этой преподавательницы английского языка одной из венских гимназий.

Принцип, с помощью которого Ф. Майрёкер конструирует свои поэтические и прозаические «тексты»,— монтаж, основанный на ассоциации и близкий к сюрреалистическому «автоматическому письму».

Чтобы показать этот принцип «в деле», возьмем наугад любой пример из последней книги писательницы. Скажем, отрывок из первого текста, слагающегося из двадцати одного абзаца, каждый из которых обозначен буквой А и соответствующей цифрой. Вот как выглядит абзац A_3:

«и наклон песка к побережью и наклон побережья к патеру и наклон патера к высотному дому вдали где срединная суша делится на порции. Они целят из кустов недозрелыми фруктами. Песочная лапа ил однорукий поток. Страх дыхание идти вслед бежать вслед по улице навстречу автобусу наискось к перешейку море за спиной — собиратель огрызков голод нагота осиновый лист больница повреждение душа склон сад посадки тени кино».

С определенной степенью вероятности можно догадаться, что перед нами «поток сознания» человека, идущего с пляжа. Но реальность окружающего мира выступает здесь деформированно и бессвязно, как во сне. «Сюжетные повороты» сна — они же отдельные ходы ассоциации (иногда довольно простые: тень — кино, нагота — осиновый лист, то есть «дрожать, как осиновый лист» и т. д.) — фиксируются отдельными словами, словосочетаниями и короткими фразами, не согласованными с соседними, смежными, подчиняющимися своему внутреннему строю. Но поток сознания в книге Ф. Майрёкер (в отличие, например, от «Улисса» Д. Джойса), не обладая никакой социальной характеристикой, не поднимается до уровня общезначимого смысла. Он — код, расшифровать который в полном объеме может один только автор. У «текстов» Ф. Майрёкер, таким образом, может быть только один полноценный читатель — сама Ф. Майрёкер. Конечно, мы могли попытаться расшифровать текст на свой страх и риск, но это уже удовольствие для любителей шарад и ребусов, а не для читателей художественной литературы.

Подобные же шарады и ребусы предлагает своим читателям и Эрнст Яндль, автор сборника «Звук и Луиза» (1966). (В переводе пропадает важная, должно быть, для автора аллитерация: «Laut und Luise».) «Тексты» Э. Яндля представляют собой всевозможные геометрические фигуры из слов — ромбы, трапеции, прямоугольники, треугольники; ниточки и узоры из отдельных букв и цифр и т. д. Все это размещается вдоль, поперек и наискось книжной страницы, а «кинетические», то есть «дви-

жущиеся» стихи, изобретателем которых был О. Гомрингер, «наносятся» таким образом, что продолжают свое поперечное «движение» (обозначенное последовательным увеличением или сокращением размера букв) и на следующей странице.

Механически-комбинаторный принцип «стихосложения» Э. Яндля можно увидеть на примере стихотворения «chanson», первая строфа которого выглядит следующим образом:

l'amour
die tür
the chair
der bauch

В последующих «строфах» осуществляются все мыслимые перестановки этих разноязычных слов и их артиклей, так что немецкое слово оказывается то с французским, то с английским артиклем и т. д.

Или, в другом стихотворении, итальянское заглавие «canzon» разлагается в самом тексте на немецкие слова «ganz» (целый) и «ohne» (без) и все три слова размещаются в геометрическом беспорядке на листе бумаги. И так далее...

Покровительствуют молодым австрийским авангардистам их старшие западногерманские собратья — Х. Хайссенбюттель и М. Бензе, тот самый штутгартский профессор-кибернетик, который обещал с помощью электронно-вычислительных машин «очистить» мировую классику от всех «случайных» рифм, фраз, слов, размеров, интонаций и прочего — поскольку все это было, по его мнению, вынужденной данью поэта косной традиции и эстетической среде, обременявшей творца своими императивами [1].

В послесловии к прозе Ф. Майрёкер М. Бензе, благоразумно избегая хлопот по толкованию «текстов» писательницы, ограничивается весьма отвлеченной апологией ее метода и «эксперимента вообще». «Цивилизация,— пишет он,— основывается на коммуникации, а коммуникация в свою очередь зависит от языка. Отсюда следует, что о состоянии цивилизации можно судить по свойствам ее языковой системы». Таким образом, в «кризисе языка» дан кризис мира, насильственные его деформации выражают «крик мировой души». Нетрудно заметить, что этот лингвистический идеализм вытекает из модных теорий Л. Витгенштейна и других неопозитивистов, обладающих непререкаемым философским авторитетом в глазах деятелей «авангарда».

Современные «авангардисты» любят говорить, что своими произведениями не отражают, а «дополняют» мир. Они презирают гражданский пафос «ангажированной» литературы, не ведающей «радостей» разудалой и бесшабашной игры в исковерканный язык. «Ужасные дети» искусства, для которых все удовольствие от игрушки заключается в том, что можно безнаказанно ее поломать, они упорно отказываются взрослеть, страшась неизбежно тяжкой духовной работы или чувствуя себя неспособными к ней, слишком хлипкими для значительных интеллектуальных и душевных усилий, без которых бесформенность однобоко воспринятой жизни никогда не отольется в совершенную художественную форму.

«Авангардисты» предпочитают ловить славу не учась и не перенапрягаясь. Не беда, что «профаны» будут смеяться над абракадаброй, при родах которой пострадала только бумага. Спасет собственная уверенность в том, что не стоивший ни малейших душевных затрат словесный произвол — истинный шедевр, потому что возник он в недрах художественного «я». Говорил же некогда Курт Швиттерс, что его плевок — уже художественное произведение.

Ю. АРХИПОВ

[1] См. статью Е. Головина в «Иностранной литературе» № 7, 1966.

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

Ч. П. СНОУ — «РОМАНИСТ ВЕКА КИБЕРНЕТИКИ»

Чарльз П. Сноу завершил эпопею «Чужие и братья»: вышел в свет одиннадцатый ее том под названием «Последние страницы». Все эти книги, созданные писателем на протяжении 30 лет,— не просто история одного героя Льюиса Эллиота, но прежде всего хроника жизни Англии первой половины XX века. Писатель стремился нарисовать широкую картину современного английского общества и дать читателю своеобразное исследование быта и нравов целого пятидесятилетия.

Романы, составляющие эпопею, созданы в разные периоды творчества писателя и обладают неодинаковыми художественными достоинствами. Последний роман Ч. П. Сноу английская критика встретила довольно прохладно. Воздавая должное Сноу как «первому великому романисту века кибернетики», многие рецензенты считают, что роман «Последние страницы» слишком растянут, перегружен подробностями и суховат по манере. Один из обозревателей сравнил даже читателя романа с «муравьем, ползущим по куску коричневого бархата» («Санди телеграф»). Однако большинство рецензий не отличается глубиной анализа, а изобилует броскими фразами о погрешностях стиля.

К числу наиболее интересных и содержательных рецензий относится статья известного писателя Джона Ле Карре в газете «Санди таймс», автор которой стремится связать общую идею и философскую концепцию романа со взглядами Сноу на судьбы буржуазной культуры. Именно поэтому Ле Карре прежде всего обращает внимание на отнюдь не оптимистический финал романа. По его мнению, всех пережили «не Льюис и даже не его сын, а их сомнения». С точки зрения Ле Карре, Сноу — писатель, отдавший себя изучению общества, чтобы вскрыть его болезни, разного рода «неврозы». Главный из них — «одержимость человека насилием», которая может привести его к самоуничтожению; второй — тесно связанный с первым — честолюбие, корысть. Ле Карре считает, что Сноу боится за человечество, ищет путей к спасению от надвигающегося хаоса: «Сноу добр и человечен, он не поучает, он хочет, чтобы люди просто выжили». Но он не знает как и приходит к выводу, что в этом мире все лучшее непрочно. Этим, по мнению Ле Карре, и объясняется нарастание пессимизма в конце эпопеи: «Стоила ли игра свеч? И какова награда?» Сын Эллиота уходит. Но куда и зачем — неизвестно. «Слиться с толпой? — спрашивает Ле Карре.— Или бороться против нее? Поднять знамя или бросить его? Будущее смутно и загадочно». Нотой смутного отчаянья и кончается цикл романов о жизни Льюиса Эллиота и судьбах современного английского общества.

Подводя итоги, Ле Карре пишет, что Сноу в своей эпопее «дал представление о человеке, в бессилии остановившемся перед приливами и отливами жестокости в жизни; о человеке, который жаждет справедливого разрешения сложных конфликтов перед лицом роковых сил истории».

Констатируя крах гуманистических идеалов Ч. П. Сноу, Ле Карре говорит о противоречивости взглядов писателя: «В общественной деятельности его отличают своеобразные социалистические взгляды, если можно их так толковать: они отражают глубокую человечность писателя, а его консерватизм — не что иное, как признание едва скрываемого отчаянья».

ДЖОН КОЛДЕР О ПОЛОЖЕНИИ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ

Английский издатель Джон Колдер, совладелец издательства «Колдер и Боярс», опубликовал во французском журнале «Кензен литтерер» статью о положении в издательском мире.

В настоящее время в Англии насчитывается 1400 издательств, но только 300 из них вполне самостоятельны, отметил Колдер. Большинство же издательств принадлежит банкам, газетам, телевизионным компаниям; растет зависимость английских издательств от американских издателей.

Недавно американское издательство «Макгроу Хилл» сделало попытку подчинить себе известное английское издательство «Пенгуин букс» (19% его акций уже принадлежит американцам). Попытка эта пока оказалась неудачной, но, как пишет автор статьи, «возникает вопрос: что если требование качества, до сего дня являвшееся отличительным признаком «Пенгуин», уступит соображениям коммерции?»

В условиях обостряющейся конкурентной борьбы каждый издатель стремится заполучить книги, сулящие успех, а это соперничество ведет к увеличению авансов. «Литературным агентам весьма ловко удается придать этому соперничеству особую остроту,— продолжает Колдер.— Издатель, первым публикующий книгу иностранного автора, часто вынужден пускать книгу в продажу еще до заключения окончательного договора на ее переиздание в мягкой обложке, а издатель таковой в свою очередь идет на риск пустить свое издание в продажу, еще не отпечатав тираж полностью. Цены, которые предлагают издательства, специализирующиеся на издании книг карманного формата, растут в результате конкуренции, а издатели оказываются по-прежнему обманутыми в своих ожиданиях, поскольку фактический сбыт книги в большинстве случаев далек от предполагаемого».

В результате издатели терпят убытки, поскольку выплачивают столь большие авансы в погоне за бестселлерами, что впоследствии не в состоянии их окупить. Все другие последствия вытекают из общей нестабильности положения: слишком частые перемены владельцев, постоянные изменения штата и т. д.

«То, что происходит сегодня в Великобритании, можно описать в двух словах: деловые люди, отнюдь не интересующиеся книгами, захватили издательства, рассматривая их всего лишь как вспомогательные средства для своих газет, рекламных агентств и агентов по распространению,— пишет в заключение Колдер.— Сокращение числа издательств сопровождается все большим укрупнением оставшихся предприятий при снижении общего интеллектуального уровня, а среди управляющих все меньше интеллектуалов и все больше — обычных деловых людей».

«СКРУДЖ»

На экраны страны вышел новый фильм «Скрудж», созданный по мотивам рассказа Ч. Диккенса «Рождественская песня в прозе». Фильм назван по имени главного героя. Постановщик фильма — режиссер Рональд Ним. В главных ролях заняты — Альберт Финни, Кэннет Мор, Алек Гиннес и Дейм Эванс.

Кинокритики отмечают, что это уже не первая экранизация рассказа Диккенса. В 1908 году Диккенс впервые был экранизирован в Англии: был выпущен короткий фильм, созданный по «Рождественской песне в прозе». С тех пор экранизированы почти все крупные произведения писателя. Кинокритики сходятся во мнении, что наибольшим успехом у зрителей пользовались фильмы «Давид Копперфильд», «Оливер» и «Большие ожидания».

Кадр из фильма «Скрудж»: рождественское привидение — Пэдди Стоун; Скрудж — Альберт Финни.

(Журнал «Филмз энд филминг»)

БОЛГАРИЯ

«СОВРЕМЕННОСТЬ И ПРОЗА»

В издательстве «Болгарски писател» вышло исследование Ефрема Каранфилова «Современность и книга» — вторая часть труда «Современность и проза». В первом разделе книги рассматриваются некоторые общие вопросы болгарской литературы наших дней. Раздел включает главы: «Героическое в нашей жизни и современная проза», «Наша современная проза и творческое начало в социалистическом труде», «Проблема патриотизма и современная болгарская проза» и другие. Во втором разделе представлены творческие портреты одиннадцати современных болгарских прозаиков.

Рецензент Ваня Бояджиева в журнале «Септември» пишет, что исследование Е. Каранфилова свидетельствует о его глубоком творческом поиске, о стремлении отразить разные аспекты современного литературного процесса. Особого внимания, по мнению рецензента, заслуживает критический анализ романа Г. Караславова «Простые люди». В числе лучших литературных портретов в книге рецензент называет эссе об Ангеле Каралийчеве и Стояне Загорчинове.

ПОСТАНОВКА «ВАРВАРОВ»

В софийском Народном театре молодежи состоялась премьера пьесы М. Горького «Варвары».

Впервые постановка горьковской пьесы в Болгарии была осуществлена в начале нынешнего века — тогда театр Варненской коммуны показал зрителям пьесу «Враги». Вслед за этим в разных театрах страны были поставлены «На дне», «Мещане» и другие пьесы, а также инсценирован роман «Мать».

Автор нынешней постановки «Варваров»—молодой режиссер, Заслуженный артист Болгарии Николай Луцканов. Это первая постановка «Варваров» в профессиональном театре.

ГДР

«ИСТОРИИ УКРАДЕННОГО ДЕТСТВА»

«Жонглер в кино, или Остров мечтаний» — так называется новый сборник рассказов известного писателя ГДР Франца Фюмана, выпущенный издательством «Хинштorф» в Ростоке. «Историями украденного детства» называет этот сборник корреспондент еженедельника «Зоннтаг», в котором помещены отрывок из рассказа, давшего название сборнику, а также интервью с писателем.

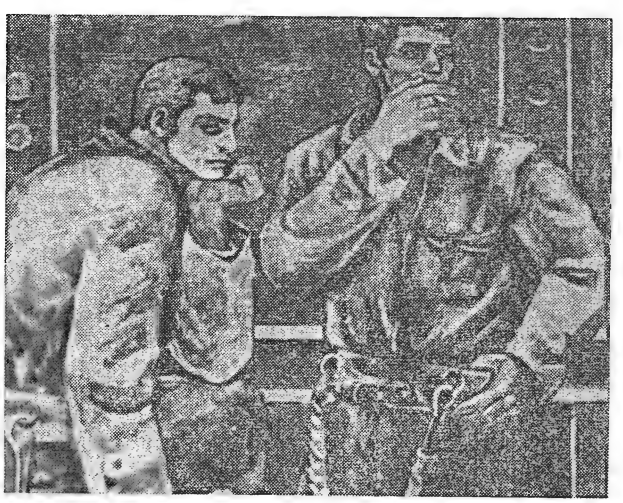
«Дети всегда играли огромную роль в моем творчестве,— сказал Фюман корреспонденту.— Именно они больше всего пострадали от фашизма, их сильнее всех изломало наше страшное прошлое. Меня всегда интересовала психология детей, их развитие, постепенное познание ими окружающего мира».

«Этюды буржуазного общества» — такой подзаголовок дал Фюман своему сборнику, включающему четыре рассказа. События в нем передаются через восприятие ребенка. В одном мальчик рассказывает о том, как мать выживает из дому бабушку, так как это — бесполезный едок в семье («Изгнание бабушки»), в другом — об открытии первого кино в маленьком городке и неудачном выступлении там жонглера («Жонглер в кино»). В рассказе «Индейская песня» главное действующее лицо — священник, «воспитывающий» окружающих садистскими методами; рассказ «Мой последний полет» посвящен шумному вторжению родни из нацистского «рейха» в маленький городок на чехословацкой границе, где живет мальчик-рассказчик.

«Жизнь буржуазного общества показана как бы сквозь увеличительное стекло,— пишет рецензент «Литератур-70».— Только ребенок может так остро чувствовать противоречия в окружающей его жизни, деформацию буржуазного общества и привычных представлений, антигуманное начало фашизма».

Корреспондент «Зоннтаг» назвал рассказы Фюмана обзором былых времен, противоречия которых привели к господству немецкого фашизма.

«Монтажники» — рисунок Михаила Саздова.
(Журнал «Пламк»)



Сцена из спектакля «Окольные пути».
(Газета «Нейес Дейчланд»)

ПЬЕСА О ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВ

В дрезденском Государственном театре недавно состоялась премьера пьесы Пауля Грацика «Окольные пути». Это — первая пьеса 35-летнего автора. Зрители уже познакомились с этим драматургом по успешно осуществленной им инсценировке «Мальвы» М. Горького.

Столяр по профессии, Грацик, стал затем воспитателем юношеской трудовой колонии. Наблюдения за «трудными» юношами и легли в основу его пьесы. Грацик показал в «Окольных путях» жизнь группы молодежи в колонии, роль воспитателей в их жизни.

Пьеса имеет подзаголовок «Картины из жизни молодого слесаря Михаэля Рунна». Большие и маленькие события, показанные автором, так или иначе связаны с Михаэлем, мятущимся, неопределившимся юношей, постепенно взрослеющим и обретающим свое «я». Его любовь к молодой воспитательнице, смерть старого борца-антифашиста, эпизоды из жизни друзей Михаэля — все это живо преподнесено автором.

«Пьесой о воспитании чувств» называет Райнер Кернцдль «Окольные пути» Грацика в газете «Нейес Дейчланд», отмечая при этом «глубину и поэтичность» диалогов в пьесе.

«Грацик хорошо знает материал, на котором построена его пьеса,— пишет рецензент журнала «Форум».— Драматург любит своих героев, чувствует ответственность за них. Он верит в то, что они найдут правильный путь, и это делает его произведение оптимистичным».

Пресса ГДР отметила большую работу, которую проделали актеры, занятые в спектакле. Под руководством режиссера Йенса-Петера Дирихса молодые артисты, в основном учащиеся студии при театре, знакомились во время работы над спектаклем с жизнью трудовых колоний и других воспитательных учреждений.

ФРГ

РАСШИФРОВАНА ПИСЬМЕННОСТЬ ИНКОВ?

Профессор тюбингенского университета Томас Бартель заявил, что ему удалось расшифровать 75 из 400 разноцветных геометрических фигур, представляющих собой условную систему знаков (узелковое письмо), которыми пользовались представители древнейшего племени инков. По мнению ученого, эта письменность исчезла после испанского нашествия. Профессор Бартель усматривает сходство между письменами инков и иероглифами эпохи первой династии египетских фараонов.

«ПОРТРЕТ ПЛАНЕТЫ» — НА СЦЕНЕ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ

Театр «Шаушпильхауз» в Дюссельдорфе поставил новую пьесу Фридриха Дюрренматта «Портрет планеты».

Среди действующих лиц— разные люди: политики, филистеры-духовники, бунтующие студенты. В 25 сценах, каждая из которых имеет самостоятельный сюжет, автор дает картину «разрушительного и парадоксального отношения человека к планете», на которой он живет. Сцены эти посвящены острым проблемам нашей современности: войне во Вьетнаме, расизму, возрождению фашизма, наркомании среди западной молодежи и т. д. Кульминационный момент пьесы — взрыв Солнца, уничтожающий Землю,—звучит как грозное предупреждение людям.

Как и в других своих пьесах, Дюрренматт, по словам рецензента журнала «Шпигель», показал себя здесь мастером остроумных диалогов. В пьесе смешаны фантастические и реальные ситуации, причудливо пере-

«Портрет планеты» — сцена из спектакля в театре «Шаушпильхауз» в Дюссельдорфе.

(Журнал «Шпигель»)

плетается жуткое и смешное, ирония часто переходит в злой гротеск.

ГОЛЛАНДИЯ

КАТАЛОГ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВАН-ГОГА

Вышедший в Бельгии в 1928 году и переизданный в ограниченном количестве несколько лет спустя во Франции четырехтомный полный каталог произведений Винсента Ван-Гога, составленный доктором де ля Файя, ныне стал библиографической редкостью. Недавно книга вышла в Голландии в дополненном и переработанном виде в одном томе: в нем воспроизведено более двух тысяч репродукций. Текст, составленный на английском языке, помимо указания обычных основных данных — места и даты создания полотен и рисунков и их нынешних владельцев — содержит все выдержки из писем художника, имеющие отношение к данной работе, а также библиографию.

В предисловии председателя комиссии министерства культуры Голландии по подготовке нового издания каталога профессора, доктора А. М. Гамахера дается краткий обзор оценок искусства Ван-Гога в разные периоды.

ИНДИЯ

«ЛЕНИН ГЛАЗАМИ ИНДИЙЦА»

Книга под таким названием опубликована делийским издательством «Викас пабликейшн». Ее автор — известный общественный деятель К. П. С. Менон, бывший посол Республики Индии в Советском Союзе.

Индия широко праздновала ленинский юбилей, пишет рецензент еженедельника «Линк». Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор и Джавахарлал Неру приветствовали победу русского пролетариата в Октябре 1917 года. И с тех пор Ленин и его идеи неизменно привлекают широкие круги индийского народа, пишет рецензент. Возникновение в Индии рабочего класса и революционной молодежи, освободительная борьба против британских колонизаторов и особенно завоевание страной независимости значительно усилили интерес к ленинскому учению.

Книга Менона — сборник статей, написанных автором к 100-летию В. И. Ленина. Он попытался показать в ней Ленина — государственного деятеля, строителя общества нового типа, человека, пишет рецензент.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ РАССКАЗОВ ЯШПАЛА

«Правосудие императора», «Купленная любовь», «Две несчастные души», «Купленное счастье» — таковы названия некоторых рассказов из сборника произведений Яшпала, вышедшего недавно на английском языке. Яшпал с полным основанием считается достойным продолжателем традиций, заложенных в индийской художественной литературе Свами Даянандом Сарасвати и Прем Чандом.

В предисловии к сборнику его составительница Коринн Фрэнд пишет: «Яшпал своей заботой о простом человеке и чувством социальной справедливости, своим пониманием человеческих поступков и способностью эмоционально и с юмором изображать людей, своим простым и энергичным стилем повествования наследует традиции Прем Чанда в индийской литературе». Название сборника «Короткие рассказы Яшпала — автора и патриота», по словам К. Фрэнд, отражает две стороны личности Яшпала — писателя и борца.

Вошедшие в сборник рассказы написаны Яшпалом за тринадцать лет (с 1946 по 1959 год) и представляют собой, по мнению исследователей его творчества, лучшие образцы его произведений этого жанра; мотивы некоторых из них позднее были развиты в больших произведениях писателя. Так, тема рассказа «Одна сигарета», повествующего о борьбе деревенской женщины за свои права, прослеживается в вышедшем позднее романе «Человеческое лицо».

ПРЕМИЯ СТАРЕЙШЕМУ ПОЭТУ

В Дели состоялась церемония вручения премии в сто тысяч рупий одному из старейших поэтов Индии — Рагхупати Сахай Фирак Горакхпури (род. в 1896 году). В 1935 году он был среди тех литераторов страны, которые выступали за объединение прогрессивных писа-

телей в одной организации. После второй мировой войны, когда Индию охватила борьба за независимость, стихи Фирака призывали народ к действию.

Премию, которая была присуждена издательством «Бхаратия гьянпитх» за сборник стихотворений «Роза песен», вручила поэту премьер-министр Индира Ганди. Она сказала при этом, что индийская цивилизация подобна реке, которая объединяет множество притоков, —точно так же «Бхаратия гьянпитх» объединяет писателей и читателей литератур, развивающихся на разных языках страны. Фирак тоже является собой пример слияния страны и ее литературной традиции. Творчество Фирака одинаково близко литературе как хинди, так и урду. Оно не исповедует какую-либо одну веру, оно принадлежит всей Индии. Подлинная литература способствует познанию истины и решению проблем, стоящих перед обществом. В заключение Индира Ганди призвала литераторов страны вести народ по пути прогресса.

ИТАЛИЯ

ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 70-х ГОДОВ

Литературный критик газеты «Унита» Микеле Раго выступил со статьей «Как литература вступила в 70-е годы», в которой дает широкий обзор нынешнего положения в итальянской литературе и литературоведении. Первый вывод Раго: минувший 1970 год не был для итальянской литературы ни легким, ни спокойным, ни выдающимся. Среди наиболее интересных публикаций критик называет незаконченный роман Карло Эмилио Гадды «Механика», а в числе новых произведений известных писателей — сборник рассказов Альберто Моравиа «Рай», роман Марио Солдати «Актер» и роман Карло Кассолы «Страх и печаль». В области поэзии наиболее значительным событием Раго считает выход сборника стихов Нело Ризи «О некоторых вещах», который «смело занял центральное место во всех полемиках между сторонниками различных традиций и явился чем-то новым, ибо носил политический характер». Из литературоведческих работ истекшего года критик выделяет исследование Дж. Ч. Рошони «Преднамеренная дисгармония», посвященное творчеству писателя Гадды, работу С. Агости «Лебедь» Малларме» и «Жизнь одного поэта» Л. Пиччони — о жизни и творчестве Унгаретти. Одним из главных упущений литературной критики Раго считает недостаточное внимание к молодым писателям и вообще малоизвестным именам. Некоторых из них Раго называет: это Дж. Бонура («След минотавра»), У. Аттарди («Наследник-дикарь»), П. А. Солдини («Человек в городе»), Дж. Креспи («Течение»), Д. Вирджили («Разрушение»), У. Десси («Вторжение на Сардинию»), С. Амброджи («Поттапиа»).

Однако все эти книги — и известных и новых авторов,— по мнению Раго, дают лишь косвенную возможность делать какие-либо обобщенные выводы о литературе Италии в настоящее время. Все они, утверждает критик, носят следы усталости, свидетельствуют о драматическом кризисе художественного выражения как в области прозы, так и в области поэзии. Этот кризис итальянской литературы начала 70-х годов, продолжает Раго, полностью охватил и так называемую неоавангардистскую литературу, которая лет десять назад столь яростно выступила против «всех традиций и всех реализмов». Причину кризиса неоавангарда, например, Марио Спинелла видит (как он указал в своем интервью в журнале «Уомини е либри») в том, что новые течения не имели теоретического фундамента, и утверждает, что «в этом смысле... последним большим авангардистским направлением был и до сих пор остается сюрреализм». Возражая Спинелле, Раго указывает, что одной из заслуг новаторской группировки итальянских писателей «Группа-63» было как раз то, что она вызывала «итальянскую замшелую литературную культуру на теоретический разговор».

К сожалению, пишет далее Раго, «Группа-63» впоследствии вела свою проповедь «программного искусства» с чисто интеллектуальных и «герметических» позиций. Выступая против «коммерциализации» и «индустриализации» буржуазной культуры, неоавангардисты самоизолировались, их произведения превратились в «антибуржуазное» чтиво, в «товар» для избранных, были интегрированы, как и сам их протест, «обществом потребления». На своем последнем конгрессе в Фано в 1967 году «Группа-63», пишет Раго, уже казалась уставшей и устаревшей.

Переходя к литературной критике, Микеле Раго высказывает мнение, что место критики как методологии определения или открытия постепенно занимает в Италии псевдокритика — тяга к прикладной экзегетике, то есть истолкованию, интерпретации литературных произведений. Общий вывод, к которому приходит автор статьи, говоря об итальянской критике, пессимистичен: в последние годы критика, как таковая, переживает упадок, задушена и подменяется экзегетикой, превращающейся в новый вид литературы — «литературный жанр нового типа».

В чем же причины столь хаотического состояния литературоведения и критики в Италии?— спрашивает Раго. Помимо причин общего — политического и социального—характера, критик усматривает одну из них в «деквалификации» культуры в целом, в том, что университеты становятся «массовыми», растет количество научных работ и лиц с учеными степенями, а вместе с тем литературоведение и критика вновь, как некогда, принимают ложно-

«Нетерпимость 1920» — так называется фильм режиссера Джулиано Монтальдо, рассказывающий о жизни, борьбе и гибели в США итальянских эмигрантов, борцов за рабочее дело Сакко и Ванцетти. Фильм разоблачает полицейский произвол и лжесвидетельство в суде США. На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Унита»)

академический характер, становятся аполитичными. Появляется множество разных «школ», которые борются друг с другом, но все они едины и выступают общим фронтом против всего, что связано с «политикой». Другая причина, по мнению Раго, в том, что некоторые издатели, раньше поддерживавшие активную критику, постепенно отказались от этой задачи и их книгоиздательства стали тоже полуакадемическими, начав выпускать «массовый культурный товар» — занимательные романы, комиксы и т. д. Выход из подобного положения, заканчивает свою статью Раго, только один: начать широкий подлинно профессиональный, «литературный» разговор, отказаться от дискуссий и полемик по отдельным, частным вопросам.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ПАЗОЛИНИ

Корреспондент газеты «Паэзе сера» Берениче обратилась к известному поэту и кинорежиссеру Пьеру Паоло Пазолини с просьбой ответить на несколько вопросов.

— Над каким кинематографическим произведением вы сейчас работаете? — спросила корреспондент.

— Я снимаю фильм «Декамерон». Это будет картина и о самом Боккаччо. Съемки ведутся в Неаполе, где прошли все основные события жизни замечательного поэта.

— Каковы ваши отношения с итальянским телевидением?

— На телевидении отказались показывать мой документальный фильм «Заметки об африканской Орестиаде», хотя он был снят по заказу телевидения. Причины отказа мне так толком и не объяснили.

— Вы все еще ненавидите студентов? (Корреспондент имеет в виду нашумевшее стихотворение Пазолини «Я ненавижу вас, дорогие студенты», опубликованное в 1968 году журналом «Эспрессо». См. «Иностранную литературу» № 10, 1968.)

— У меня никогда не было никакой ненависти к студентам. Название к моему стихотворению было придумано редакцией «Эспрессо». Это — одно из проявлений буржуазной «массовой культуры».

— Часто ли вы ходите в кино?

— Очень редко, только чтобы посмотреть фильмы известных авторов.

— Что вы сейчас читаете?

— «Фауста» Гёте.

— Кстати, по поводу книг. Верите ли вы в «смерть романа»?

— Подождем, пока выйдет роман «Я и он» Моравиа.

— Одно время вы занимались живописью. Продолжаете ли вы писать картины?

— Я создаю цветные картины несколько необычными, я бы сказал рудиментарными, средствами: с помощью цветов, травы, уксуса и других материалов.

— Почему вы их не выставляете?

— Если бы я намеревался устраивать выставку своих полотен, я должен был бы «рисовать» более серьез-

но. А пока что — это занятие для себя.

— Чего вы больше всего боитесь?

— Боюсь написать что-либо, противоречащее правде.

— А что вы больше всего любите?

— Люблю оставаться в одиночестве.

— Вы много пишете и снимаете об Африке. Говорят, вы просто влюблены в этот континент. Так ли это?

— Да, ведь именно в Африке происходят разительные перемены.

— И последний вопрос: ваше самое горячее желание?

— Хочу написать хорошие стихи.

«НА ДНЕ» В ТЕАТРЕ «МЕТАСТАЗИО»

Внимание театральной критики и зрителей привлечено к новой постановке горьковской пьесы «На дне», осуществленной видным итальянским режиссером Джорджо Стрелером на сцене театра «Метастазио» в тосканском городе Прато. Спектакль поставлен руководимой Стрелером драматической труппой «Театр и действие». Итальянской публике пьеса М. Горького хорошо знакома: одну из первых ее постановок в Италии осуществил в 1947 году сам Стрелер, сыгравший в ней тогда также роль Алеши.

В интервью для газеты «Унита» режиссер рассказал, что мысль возобновить постановку «На дне» пришла ему уже давно — еще тогда, когда он надеялся стать художественным руководителем римского драматического театра «Стабиле». Стрелер подчеркивает, что он совершенно не стремился «к историческому или филологическому воссозданию горьковского текста», а хотел придать пьесе современное звучание — ведь и сегодня в капиталистическом мире так много трущоб, разных «бидонвилей», где ютятся бездомные. Стрелер настаивает на сохранении горьковского названия пьесы: именно «На дне» (подразумевая «На дне жизни», как и было у русского писателя), а не «Ночлежка», «Ночлежный дом» и тому подобное, как пьесу раньше называли при постановках за границей. Режиссер ссылается при этом на известное высказывание Станиславского, подчеркивавшего важное значение того, как звучит название, для интерпретации идеи пьесы.

Стрелер отметил далее, что горьковские герои, эти парии общества, не впали в беспросветное отчаяние, этим героям светит луч надежды. «В монологах, в повторе реплик, мыслей, подобных навязчивым идеям, постоянно ощутимы следы другого мира, иного образа существования, который полностью отличен (хотя и неясно выражен) от жизни «на дне», от духовной нищеты, от деградации. Противоположность холоду, тьме, повседневным тоске и отчаянию, одиночеству, невежеству — это, как сказал бы Брехт, быть вместе. Эти люди,— продолжает Стрелер,— опустились на дно, но откуда-то знают, что это не является неизменным и бесконечным человеческим состоянием, а представляет собой состояние бесчеловечное. Они знают, что их тоска, отчаяние не навязаны чьей-то неисповедимой волей, а являются вполне конкретным порождением социальной системы, созданной другими людьми».

После премьеры, состоявшейся в Прато, новый спектакль Стрелера будет показан зрителям многих городов Италии — Турина, Болоньи, Модены, Феррары, почти всей Тосканы, а затем — Триеста, Милана и Рима, а также островов Сицилия и Сардиния.

ОАР

ОСНОВОПОЛОЖНИК АРАБСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Интерес к личности и творческому наследию Джирджи Зейдана (1861—1914) проявляется на Арабском Востоке по сей день. Как сообщает журнал «Аль-Адиб», недавно египетский поэт и историк литературы Мухаммед Абд аль-Гани Хасан закончил большой труд, который называется «Джирджи Зейдан — историк мусульманской культуры и арабской литературы». В книге всесторонне освещается жизнь и деятельность этого выдающегося арабского ученого и писателя, стремившегося сделать науку и литературу доступными широким массам.

Необыкновенна судьба этого человека. Начав свой жизненный путь в Бейруте мальчиком — чистильщиком сапог, он впоследствии стал одним из «властителей дум» в арабском и мусульманском мире, крупнейшим представителем арабской культуры. Зейдану принадлежат фундаментальные труды — «История мусульманской цивилизации», «История арабской литературы» и некоторые другие работы исторического, литературоведческого и филологического характера. В 1892 году Зейдан основал популярный литературно-художественный журнал «Аль-Хиляль» («Полумесяц»), который издается в Каире по сей день.

Однако Джирджи Зейдан прославился, главным образом, не как ученый и публицист, а как автор исторических романов. Его по праву считают основоположником арабского исторического романа, хотя и до него предпринимались попытки создания произведений этого жанра.

Зейдан написал 22 исторических романа, приобретших огромную популярность во всем мусульманском мире. Большинство его романов составляет единый цикл, посвященный ранней истории ислама. Еще при жизни Зейдана почти все его романы были переведены на персидский, турецкий и азербайджанский языки. Они были изданы также на урду и других языках Востока и Запада. Некоторые произведения Зейдана, как, например, «Бежавший мамлюк», еще в начале нынешнего века переводились на

русский язык. Его творчеству посвящены специальные исследования советских востоковедов.

ПРЕМИИ ЕГИПЕТСКИМ ФИЛЬМАМ

Корреспондент журнала «Аль-Мусаввар» сообщает о большом успехе египетских фильмов на третьем Международном фестивале африканских и арабских фильмов в Карфагене (Тунис), в котором приняли участие кинематографисты 40 стран.

Первую премию фестиваля — «Золотую богиню Танит» — получил фильм египетского режиссера Юсуфа Шахина «Выбор», выпущенный «Государственной организацией кино». Как отмечает корреспондент, это первый случай присуждения главного приза египетскому фильму на такого рода фестивале (Египет принимает участие в международных кинофестивалях с 1936 года).

На этом же фестивале другой египетский фильм — «Мумия» молодого режиссера Шади Абд ас-Салама — получил премию кинокритиков за оригинальное воплощение темы связи древности с современностью.

Из фильмов ОАР, показанных на фестивале вне конкурса, наибольший успех выпал на долю ленты «Пропавшая любовь» (режиссер Баракат). Это первый совместный египетско-тунисский фильм, снятый по мотивам произведений классика современной арабской литературы Тахи Хусейна. В фильме заняты египетские и тунисские артисты. Одну из главных ролей в нем исполняет известный тунисский театральный актер Али Бен Айед.

Сауд Хусни и Иззат аль-Аляили — исполнители главных ролей в фильме «Выбор» — на фестивале в Карфагене. *(Журнал «Аль-Мусаввар»)*

ПОЛЬША

ПОЛЬША И ПОЛЯКИ В ПОСЛЕВОЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ НЕМЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Статью под таким заголовком опубликовал информационный бюллетень «Современная Польша». В статье говорится, что на протяжении всей своей 800-летней истории немецкая литература проявляла интерес к польской тематике. В немецкой литературе о Польше XIX и XX веков (до второй мировой войны) можно различить два течения: одно дружественное, второе враждебное Польше, в зависимости от политической ориентации писателей. Два разных направления характеризуют также и послевоенную литературу о Польше, причем в ГДР она носит дружественный Польше характер, а в ФРГ в ней до сих пор заметно преобладало негативное направление — результат реваншистской политики аденауэров и кизингеров.

Далее в статье говорится, что примерно из 500 писателей, работающих в ГДР, около 100 создали произведения на польские темы; в ФРГ о Польше пишут меньше. Среди наиболее важных проблем, затрагиваемых в произведениях писателей ГДР и ФРГ о послевоенной Польше, на первый план выдвигаются две: граница по Одеру и Нейсе и связанная с ней проблема переселенцев с Западных и Северных польских земель.

В отличие от четкой позиции, занимаемой в этих вопросах писателями ГДР, отмечается в статье, произведения западногерманской литературы на эту тему носят неоднородный характер: наряду с немногочисленными пока, трезвыми голосами раздаются высказывания, окрашенные шовинизмом.

В статье подчеркивается, что в произведениях западногерманских авторов нет информации о жизни поляков на Западных и Северных землях до второй ми-

ровой войны и после нее. Это объясняется, по-видимому, тем, что западногерманские писатели пользуются в основном теми сведениями о жизни на этих землях, которые распространяют тенденциозная печать и радио ФРГ.

В статье выражается надежда, что заключение польско-западногерманского договора, в котором признается существующая по Одеру и Нейсе западная граница Польши, будет способствовать росту реалистических тенденций в литературе ФРГ — в освещении современной жизни Польши и ее истории.

ВНОВЬ «В ПОГОНЕ ЗА АДАМОМ»

Советским читателям знакома повесть Ежи Стефана Ставинского под таким названием, опубликованная в «Иностранной литературе» (№ 4, 1964). Теперь по мотивам этого произведения режиссером Ежи Зажицким снят одноименный цветной фильм.

Главный герой фильма кинорежиссер Завада, принимавший участие в войне против гитлеровцев, а затем эмигрировавший в Латинскую Америку, в наши дни приезжает в Польшу, чтобы разыскать своих близких и друзей. О прошлом Завады зритель узнает из ретроспекции и фильма, снятого самим Завадой в годы войны.

Съемки фильма «В погоне за Адамом» велись в Польше и на Кубе, во Франции и Италии. Его постановщик Ежи Зажицкий — старейший польский режиссер, пришедший в кино еще до второй мировой войны. В годы войны он руководил киногруппой Армии Крайовой. «Варшавское восстание я пережил с камерой в руках,— вспоминает Ежи Зажицкий,— и знаю, как все выглядело на самом деле». Его военный опыт оказался очень полезным при работе над фильмом «В погоне за Адамом».

«В этом фильме я рассказываю о людях, которых война забросила на чужбину и которые не вернулись на родину,— говорит режиссер.— Несмотря на то что им удалось добиться обеспеченного существования, они так и не нашли своего места в чужом обществе. Мне хотелось бы, чтобы фильм развенчал мнимый героизм и воспел подлинный патриотизм. В те годы было немало таких людей, которые совершали героические поступки напоказ, «для публики». Оставшись наедине с самими собой, как и наш идеализированный и недосягаемый Адам, оторванные от родины, они оказываются на распутье».

Кадры из фильма «В погоне за Адамом».

(Еженедельник «Фильм»)

В фильме «В погоне за Адамом» заняты многие известные польские актеры: Ян Махульский, Станислав Микульский, Эмиль Каревич, Леон Немчик, Эдмунд Феттинг, Поля Ракса, Магда Завадская и кубинская актриса Майда Лимонта Родригес.

«БИБЛИОТЕКА ПОЭТОВ»

Варшавское издательство «Людова спулдзельня выдавнича» начиная с 1967 года выпустило несколько серий сборников из цикла «Библиотека поэтов». Каждый сборник посвящен твор-

честву одного поэта — в нем представлены избранные стихи, обширное вступление о творчестве автора (или авторское слово), а также биографическая справка.

«Библиотека поэтов» знакомит читателей с лучшими произведениями выдающихся польских и зарубежных поэтов современности и прошлого. В 1970 году, как сообщает корреспондент еженедельника «Польское обозрение», издательство выпустило сборники Горация, Пушкина, Рея, Уитмена, а также Я. Лехоня, Е. Гарасимовича, В. Слободника, Я. Леманьского, Т. Боровского, А. Рымкевича и Э. Межелайтиса.

РУМЫНИЯ

На северо-западе Румынии, в Марамурешском крае, есть село Мойсей — древнее поселение пастухов, лесорубов и резчиков по дереву. В годы второй мировой войны жители деревни оказывали стойкое сопротивление гитлеровцам и их прихвостням — хортистам, помогали партизанам. 15 октября 1944 года нацисты расстреляли 29 крестьян и подожгли село, уничтожив 260 домов. Ныне у братской могилы погибших возведен монументальный скульптурный ансамбль из дерева работы местного скульптора, резчика по дереву Виды Геза.

(Еженедельник «Румыния»)

США

ДЖЕЙМС БОЛДУИН: «МОИ ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫЛИСЬ»

Американский негритянский писатель Джеймс Болдуин, ныне живущий в Париже, дал интервью корреспонденту американской газеты «Интернэшнел геральд трибюн» Мэри Блюм. В беседе с писателем она назвала Болдуина «оракулом», напомнив о его книге «В следующий раз — пожар!», вышедшей в 1963 году, в которой предсказывались негритянские волнения в США.

«Это очень обязывающий титул,— откликается Болдуин.— Мои предсказания сбылись, но лучше бы они не сбывались. Книга была написана как призыв о помощи, и тот факт, что она оказалась пророческой, невероятно затрудняет мою дальнейшую писательскую деятельность. В некотором смысле я — единственный уцелевший представитель целой эпохи. Последние годы были тяжелыми — все мои друзья в США были убиты. Это был на редкость кровавый период американской истории».

Говоря о перспективах борьбы американских негров за свои права, Болдуин подчеркнул, что «негритянская проблема не может быть решена, пока не изменится сама Америка».

«Я люблю Америку, как ни одну другую страну в мире, и именно поэтому настаиваю на своем праве беспрестанно критиковать ее»,— сказал как-то Болдуин в одном из своих заявлений для печати.

Писатель рассказал также, что вскоре должна выйти книга его бесед с известным американским антропологом и социологом Маргарет Мид «Удар по нации», в которой затрагиваются многие социальные проблемы современных США, и что сейчас он работает над книгой «На безымянных улицах» — о гражданских правах негров. Однако большую часть его времени и энергии отнимает общественная деятельность. «Где-то в глубине души,— говорит Болдуин,— я остаюсь писателем. Отказ от общественной деятельности — разновидность смерти, во всяком случае для меня. Проблема же совмещения художественного творчества и этой деятельности постоянно усложняется. Цена, которую я как художник должен платить, с каждым годом растет, сегодня она уже почти непосильна. Но для меня между этими двумя видами деятельности нет большой разницы. Жизнь важнее искусства, но это и делает искусство значительным. Жизнь сводится к работе, и какова бы ни была эта работа — я хочу ее делать».

АССИГНОВАНИЯ НА КУЛЬТУРУ: 7,5 ЦЕНТА НА ЧЕЛОВЕКА

«Наша цель — обратить внимание общественности на тяжелое финансовое положение, в котором находятся изобразительные и исполнительские искусства США» — такими словами начинается брошюра, выпущенная образовавшейся недавно ассоциацией «Партнерство ради искусств». Президентом этого своего рода координационного центра по борьбе «за спасение искусств» стал Эмайас Эймс (он же — президент отделения исполнительских искусств в Линкольновском центре и директор Нью-Йоркской филармонии).

Газета «Нью-Йорк таймс» приводит данные (представленные новой ассоциацией), характеризующие нынешнее, далеко незавидное, положение некоторых видов американского искусства. Там отмечается, что в настоящее время ежегодные ассигнования правительства США на изобразительные и исполнительские искусства страны составляют 7,5 цента на человека.

Ассоциация «Партнерство ради искусств» поставила перед собой цель добиться в ближайшие годы от федерального правительства ежегодных ассигнований на нужды искусства в размере 200 млн. долларов. Без такой финансовой поддержки,

как заявил Э. Эймс, «придется свертывать деятельность наших музеев, музыкальных коллективов, театров, танцевальных ансамблей...»

ТУНИС

ИССЛЕДОВАНИЕ «О ТУНИССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

По сообщению журнала «ИБЛА», вышла из печати книга «О тунисской литературе», написанная одним из старейших арабских критиков — Мухаммедом Хиливи. Книга содержит более трех десятков статей, опубликованных автором в различных журналах с 1930 по 1968 год. Она открывается большим исследованием о тунисском поэте Абу-ль-Касеме аш-Шабби (1909—1934). Вторая часть книги посвящена творчеству малоизвестных или забытых ныне тунисских писателей и поэтов, подготовивших в начале XX века основу для нынешнего возрождения тунисской литературы (Башруш, Салах Сувейси, Бушарбия, Карабака, Фаиз Кайравани, Ларби Кабади, Бен Шаабан, Жаувахду).

«ИСТОРИЯ КИНО В ТУНИСЕ»

Такое название носит первая книга, посвященная отечественной кинематографии, написанная кинорежиссером Аммаром эль-Халифи, автором фильмов «Заря» и «Мятежники». Национальная кинематография, как известно, еще очень молода: она зародилась около пятнадцати лет назад. Однако тунисские полнометражные и короткометражные фильмы не раз удостаивались наград на международных кинофестивалях стран Азии и Африки. (Среди этих смотров большой популярностью пользуется фестиваль африканских и арабских фильмов в Карфагене.)

В стране действует обширная сеть клубов киноюбителей, объединенных в Тунисскую федерацию киноклубов, которая издает журнал «Навади синема» («Киноклубы»). Эта федерация начиная с 1965 года проводит ежегодные встречи, на которые съезжаются киноюбители со всей страны. Во время этих встреч демонстрируются лучшие зарубежные и тунисские профессиональные и любительские фильмы, которые затем широко обсуждаются.

ФИНЛЯНДИЯ

ЮБИЛЕЙ ВЯЙНЕ ЛИННА

Известному финскому писателю Вяйне Линна недавно исполнилось 50 лет. Он родился в бедной крестьянской семье и с ранних лет начал зарабатывать себе на жизнь. Восемнадцатилетним юношей он пошел работать на завод в городе Гампере. В 1954 году вышел его роман «Неизвестный солдат». Эта книга сразу же привлекла внимание финского читателя и критики. Роман вызвал нападки реакции, поскольку автор недвусмысленно заявил своим произведением, что война на стороне гитлеровской Германии вовсе не была «священной» и противоречила национальным интересам финского народа.

Тираж «Неизвестного солдата» был беспрецедентно большим в истории финской литературы и разошелся полностью. Его читали все — бывшие участники войны и домохозяйки, студенты и школьники, рабочие и крестьяне.

Перу В. Линна принадлежит также трилогия «Здесь, под Полярной звездой». В ней воссоздана широкая панорама жизни деревенской бедноты Финляндии за 50 лет. Главный герой трилогии — финский красногвардеец Аксели Коскела. События развертываются на фоне классовых боев 1905—1906 и 1918 годов в Финляндии, а также во время второй мировой войны.

Трилогия заканчивается рассказом о том, как Аксели Коскела обрабатывает дорого доставшийся ему клочок земли. Он стар, позади — годы гражданской войны и лагеря смерти. Трое его сыновей погибли. Но Коскела рад, что на смену уже идет новое поколение, которое продолжит борьбу за новую жизнь в Финляндии.

Трилогия «Здесь, под Полярной звездой» по праву считается самым значительным произведением современной финской литературы. Творчество В. Линна в целом направлено против реакционной идеологии, застоя и лжи как в литературе, так и в общественной жизни.

ФРАНЦИЯ

«НОЧЬ КОНЧАЕТСЯ В ТУРЕ»

«Наши соратники, и особенно самые молодые из них, получили к 50-летию нашей партии неоценимый подарок от писателя, известного своим мастерством, добросовестного и опытного исследователя»,— пишет в газете «Юманите» Жорж Коньо о новой книге Жана Фревиля «Ночь кончается в Туре», выпущенной «Эдисьон сосьяль».

Книга Жана Фревиля посвящена рождению ФКП — событиям, предшествовавшим съезду в Туре, на котором было провозглашено создание компартии, и самому съезду. Жорж Коньо отмечает, что автор проявил себя в этой работе как историк, располагающий исчерпывающей информацией, изучивший все источники и работы специалистов. Жан Фревиль посвятил этой теме уже две работы — в 1950 и в 1960 годах. Новая книга — их продолжение. «Поражают новизна и свежесть суждений автора, широта обобщений. Для изучения истории нашей партии нет лучшего путеводителя, чем книга Жана Фревиля»,— пишет Коньо.

Фревиль прослеживает историческую роль Октябрьской революции и В. И. Ленина в формировании партии французского пролетариата и возрождения его революционных традиций,

возникших в период «от июня 1848 года до Коммуны».

В заключение Коньо пишет, что книга Фревиля — не только политическое и историческое исследование, но и высокохудожественное произведение: «Это великолепный пример гармонического сочетания научности, классового подхода к проблеме и эрудиции с художественными достоинствами литературного произведения».

ФИЛЬМЫ «ДИНАДИИ» И РАБОЧИХ КИНОСТУДИЙ

В Париже на улице Бургонь в двух комнатушках разместилась «Динадия» — небольшая киностудия, объединяющая группу прогрессивных деятелей кино, многие из которых — коммунисты. Студия возникла после майско-июньских забастовок 1968 года во Франции по инициативе прогрессивных работников кино, телевидения и фотографии. Перед «Динадией» была поставлена задача создать кино, пропагандирующее борьбу Французской компартии за интересы рабочего класса и нации.

«Динадия» успешно справляется с этой задачей. Здесь создаются короткометражные фильмы, предназначенные главным образом для демонстрации в рабочих клубах, партийных ячейках и на собраниях массовых профсоюзных и демократических организаций.

За неполные три года «Динадия» выпустила такие фильмы, как «Коммунисты в борьбе» — об избирательной кампании Жака Дюкло на президентских выборах; «Фан Тхи Лиен» — взволнованная киноповесть о вьетнамской девушке, которая чудом избежала кровавой расправы, учиненной американской солдатней в южновьетнамской деревне Сонгми.

В «Динадии» монтировался фильм «Спасенные кадры», снятый в трудных фронтовых условиях в Лаосе известной французской журналисткой Мадлен Риффо (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1971). Фильм этот получил премию на Международном фестивале документальных фильмов в Лейпциге. К этой же серии относится одна из последних работ студии — фильм «Завещание Хо Ши Мина».

Острой социальной проблеме — положению иностранных рабочих во Франции, подвергающихся жестокой эксплуатации монополистического капитала. была посвящена короткометражная лента «Иммигранты во Франции».

Одна из последних работ «Динадии» — документальный фильм «Вашему будущему — 50 лет», посвященный полувековому юбилею Французской компартии.

Создаются киностудии, родственные «Динадии», в частности студия в Безансоне, основанная рабочими завода синтетического волокна. Совместно с известным документалистом Крисом Маркером рабочие создали фильм «Борющийся класс», рассказывающий о стачечной борьбе и росте классового сознания рабочих. Героиня фильма — задавленная материальными трудностями Сюзанна, работница часового завода под Безансоном. В дни майских забастовок 1968 года она становится профсоюзной активисткой, сознательным участником классовой борьбы.

Студия «Слон» создала фильм «Далеко от Вьетнама», направленный против варварской войны США в Юго-Восточной Азии. В работе над фильмом приняли участие Йорис Ивенс, Клод Лелуш, Жан-Люк Годар, Уильям Клейн, Ален Рене.

КНИГИ О ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКАХ

Во Франции выпускается большое количество монографий, посвященных мастерам живописи. Особенно ценной, по мнению специалистов, является серия «Библиотека великих художников», выпускаемая издательством «Сёркль д'ар». Хорошо продуманная взаимосвязь пояснительных текстов и иллюстраций помогает читателю разобраться в своеобразии творчества отдельных художников и правильно оценить достоинства их произведений.

Во Франции продолжаются выступления в рамках движения «За 1% бюджета на культурные нужды». Эти актеры парижских театров провели на Больших бульварах демонстрацию против засилья цензуры.

(Газета «Юманите»)

Каждая книга этой серии содержит вступительную статью, в которой излагается биография художника, дается характеристика его творчества. Многочисленные цветные иллюстрации, сопровождающиеся пояснительным текстом, превращают книгу в своеобразный путеводитель; с его помощью читатель постепенно прослеживает все этапы творческого пути художника.

В серии «Библиотека великих художников» вышло уже немало монографий, ставших полезным пособием для всех, кто интересуется искусством. В самое последнее время вышли издания, посвященные творчеству Гойи, Боннара, Сера и Эль Греко.

ИЗДАНИЕ РИСУНКОВ ПИКАССО

Три издательства одновременно — парижское «Сёркль д'ар», бременское «Карл Шюнеман-ферлаг» и нью-йоркское «Гарри Н. Абрамс» — выпускают альбом-

кассету с шестьюдесятью еще не опубликованными рисунками Пабло Пикассо, которые относятся к 1964 году.

«Каждое издательство,— пишет рецензент литературного приложения к газете «Вельт»,— выпускает строго ограниченное количество экземпляров — 666. Стоимость одного альбома-кассеты этого библиофильного издания, названного «Вкус счастья», довольно высока — в ФРГ, например, 1400 марок».

ШВЕЦИЯ

НА ТЕЛЕЭКРАНЕ — «ЗАПОВЕДНИК» ИНГМАРА БЕРГМАНА

Недавно в Швеции состоялась премьера нового цветного телеспектакля «Заповедник». Автор пьесы — известный шведский кинорежиссер Ингмар Бергман. Пьеса рассказывает о современной жизни в странах Запада, о том, «куда этот образ жизни ведет». На протяжении трех действий перед зрителями развертывается сложная человеческая драма, достигающая кульминации в последнем акте. «Трагикомедией банальности» назвал ее сам автор. «Это вещь — самая доступная для понимания из всего того, что создано Бергманом»,— заявляет режиссер телеспектакля Ян Моландер.

Идея пьесы раскрыта в письме одного из персонажей. «Мы совершаем ошибку,— пишет он жене,— живем неправильно, изолируем самих себя от общества, создаем касту избранных. Но все это жалкий обман. Я хочу изменить обстоятельства, но в силах ли мы изменить их? Или мы крепко застряли в своем заповеднике?» Жизненное кредо героя пьесы отражает мировоззрение самого Бергмана, пишет корреспондент газеты «Дагенс нюхетер». Своей пьесой он подчеркивает, что повседневность и банальность существования оборачивается трагедией даже для привилегированной части общества, как бы ни стремились его члены оградить себя от «серой массы». Самоизоляция превращает людей в обитателей «заповедника», с той лишь разницей, что, в отличие от зверей, они могут заботиться не только о хлебе насущном.

Корреспондент сообщает некоторые технические подробности постановки телепьесы, которая была снята на цветную пленку. При этом было использовано новейшее электронное оборудование. Возникли некоторые технические трудности, что, возможно, было одной из причин того, что Бергман, тесно связанный с традиционной техникой кино, отказался на этот раз от режиссуры, возложив все обязанности режиссера на Яна Моландера.

Сцена из телеспектакля «Заповедник».
(Газета «Дагенс нюхетер»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

По сообщению газеты «Руде право», в Праге состоялось общегосударственное собрание партийного актива работников культуры и искусства, созванное ЦК КПЧ. С докладом о результатах декабрьского Пленума ЦК КПЧ и об актуальных проблемах культуры и искусства выступил секретарь ЦК КПЧ Я. Фойтик. Некоторые вопросы деятельности творческих союзов осветил в своем выступлении министр культуры ЧСР М. Бружек. Участники собрания приняли резолюцию, в которой выразили поддержку решений декабрьского Пленума ЦК КПЧ и одобрили состав подготовительных комитетов по созданию творческих союзов писателей, художников, композиторов и деятелей театра.

ЮГОСЛАВИЯ

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ В БЕЛГРАДЕ

В столице Югославии состоялась XV Международная книжная выставка, на которой была представлена продукция двадцати югославских и семидесяти зарубежных книгоиздательств.

Посетители выставки познакомились с книгами почти пятнадцати тысяч наименований, предложенными издательствами Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Голландии, Франции, ГДР, Англии, Италии, Японии, Польши, США, СССР, ФРГ, Швейцарии, Ирландии, ОАР, Греции, Румынии и многих других стран, а также ООН.

Продукция югославских издательств была представ-

лена на выставке тремя тысячами книг. Как отмечали зарубежные корреспонденты, высокое качество их оформления свидетельствует о несомненных успехах полиграфической промышленности Югославии.

На выставке была организована экспозиция, посвященная В. И. Ленину, а также экспозиции лучших книг, югославских газет и журналов, изданий книг югославских авторов за рубежом и т. д.

Специальная премия за лучшее оформление книги была присуждена югославским авторам Драголюбу Кажичу и Степану Филеки за книгу «Художественные ценности Югославии».

* * *

К XV Международной книжной выставке в Белграде некоторые югославские книжные издательства приурочили выпуск произведений иностранных писателей, в том числе русских и советских. Так, издательство «Минерва» в городе Суботица выпустило сборники произведений А. Куприна, К. Паустовского и М. Булгакова. Белградское издательство «Нолит» предложило своим читателям сборник «Антология советской фантастики», произведения А. Блока, В. Маяковского, В. Каверина. Кроме того, изданы такие произведения, как «Мои университеты» М. Горького, «Обломов» И. Гончарова, «Вешние воды» И. Тургенева, «Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевского.

Македонские книжные издательства «Мысль» и «Македонская книга» предпринимают выпуск произведений классиков мировой литературы. В их числе издаются сборники «Во весь голос» В. Маяковского в переводе С. Мицковича, «Война и мир» Л. Толстого в переводе С. Дракулы, «Тихий Дон» М. Шолохова в переводе Е. Манева.

ЮБИЛЕЙ ЗАГРЕБСКОЙ ОПЕРЫ

Исполнилось 100 лет со дня основания постоянного оперного ансамбля Хорватского народного театра в Загребе (первый оперный спектакль был дан 125 лет назад). Никша Береза рассказал на страницах ежемесячника «Югославские новости», что этот юбилей отмечается театром в течение всего сезона 1970—1971 годов. Загребская опера только после второй мировой войны показала 200 оперных премьер, как на сцене Хорватского народного и других югославских театров, так и за рубежом. На сцене оперы выступали известнейшие солисты мирового оперного искусства и дирижеры, среди которых был и Штраус. Загребская опера дала знаменитых певцов, начиная с Милки Трнины и Зинки Кунц-Милановой до сегодняшних — Владимира Руждяка, Томислава Нералича, Ружи Поспиш-Балдани, Сены Юринац и т. д.

Юбилей загребской оперы, по словам Березы, отмечается не только в Хорватском народном театре, но и в нескольких крупнейших оперных театрах Европы. Загребская опера включила в репертуар юбилейного сезона лучшие оперы мировой классики, в том числе югославские. Среди них — «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Фиделио» Бетховена, «Травиата» Верди, премьера оперы загребского композитора Милко Клемана «Осадное положение». Возобновляются постановки нескольких опер, которые прежде были в репертуаре театра, как, например, «Аида» Верди, «Пиковая дама» Чайковского, «Катерина Измайлова» Шостаковича. «Самсон и Далила» Сен-Санса. «Лючия ди Ламмермур» Доницетти и другие.

К юбилею театра выпущена монография о его столетии.

ЯПОНИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ТАНИДЗАКИ

Присуждена литературная премия журнала «Тюокорон», учрежденная руководством его редакции несколько лет назад в память недавно умершего крупнейшего японского писателя Дзюнитиро Танидзаки. Этой премии были удостоены всего пять писателей: Нобуо Кодзима, Сюсаку Эндо, Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ и Фумико Энти.

Литературную премию Танидзаки 1970 года получили Ютака Хания — за повесть «Черная лошадь во тьме» и Дзюнноскэ Ёсиюки — за повесть «Темная комната».

ЮНЕСКО

КАРТИНА РАФАЭЛЯ В СЕЙФЕ

«Иностранная литература» уже неоднократно писала о хищениях художественных ценностей и спекуляциях ими на международном «черном» рынке. Эта проблема была предметом специального рассмотрения на одной из последних генеральных сессий ЮНЕСКО.

Стал известен еще один случай подобного злоупотребления.

Как сообщают нью-йоркские газеты, итальянское правительство потребовало провести расследование, каким путем картина кисти Рафаэля, незаконно вывезенная из Италии ловкими дельцами в 1969 году, попала в Бостонский музей изящных искусств. Небольшой портрет молодой итальянской знатной дамы, написанный великим живописцем около 1505 года и оцениваемый в полтора миллиона долларов, был экспонирован на выставке, которой Бостонский музей отмечал свое 100-летие.

Картина снята с экспозиции, заключена в сейф и опечатана правительственной печатью. Директор музея Перри Ратборн отказался сообщить прокурору, каким образом она попала в его музей.

Авторы этого номера

ПАБЛО НЕРУДА — PABLO NERUDA (род. в 1904 г.).

Выдающийся чилийский поэт, публицист, общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В настоящее время — посол Чили во Франции. Перу Пабло Неруды принадлежат многочисленные сборники стихов, поэмы, оды, бо́льшая часть которых переведена на русский язык: «Испания в сердце», «Всеобщая песнь», «Виноградники и ветры», «Оды изначальным вещам», «Плаванья и возвращения», «Сто сонетов о любви», «Птицы Чили», «Четыре времени сердца» и другие произведения. «Иностранная литература» также не однажды обращалась к его творчеству, на ее страницах были напечатаны фрагменты из книг «Камни Чили» (№ 3, 1963) и «Мемориал Черного острова» (№ 7, 1964), очерки «Скитаясь по Вальпараисо» (№ 7, 1966), пьеса «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (№ 2, 1968).

Поэма «Руки поэта», фрагменты которой мы публикуем, была напечатана в венесуэльской газете «Эль насьональ».

■

ГАУСУ ДИАВАРА (род. в 1939 г.).

Малийский поэт. Окончил Литературный институт имени Горького в Москве. В настоящее время живет в Бомако. Автор сборников «Рождение Мали» (1965) и «Черные звезды» (1967).

Г. Диавара был участником Международного симпозиума в Ташкенте в 1968 году и Четвертой конференции писателей стран Азии и Африки в Дели в 1970 году.

«Поэма Ленину» получена от автора в рукописи.

■

ВИЛЕМ ЗАВАДА — VILÉM ZÁVADA (род. в 1905 г.).

Чешский поэт, Заслуженный писатель Республики. В 30-е годы был редактором ряда литературных журналов. Более двадцати лет работал в Национальной и Университетской библиотеках Праги. В одной из ранних книг его стихов «Дорога, пройденная пешком» («Cesta pěšky», 1937), воссоздан образ шахтерской Остравы, где провел юные годы поэт. Перу В. Завады принадлежит много книг стихов. Наиболее известны — «Крепостная башня» («Hradní věž», 1940), «Воскресение из мертвых» («Povstání z mrtvých», 1946), «Город света» («Město světla», 1950), «Полевые цветы» («Polní kvití», 1955), «Воздух и свет» («Vzduch a světlo», 1960), «На пороге» («Na prahu», 1970) и др.

В русском переводе стихи В. Завады публиковались в нашем журнале (№ 5, 1965) и других изданиях; в 1967 году вышел его поэтический сборник «Одна жизнь».

Стихи, предлагаемые читателю в этом номере, получены в рукописи.

ИВАН СКАЛА — IVAN SKÁLA (род. в 1922 г.).

Чешский поэт. Начинал как журналист, вел рубрику культуры в «Руде право», работал литературным редактором, с 1959 по 1964 год был первым секретарем Союза чехословацких писателей. Иван Скала — автор многих книг стихов. Советские читатели знакомы с его творчеством по стихам, неоднократно публиковавшимся в периодической печати. «Иностранная литература» печатала стихи из его поэтических сборников «Утренний поезд надежды» (№ 6, 1960), «Голубой календарь» (№ 4, 1964), «Приветствую вас, окна» (№ 11, 1968).

Стихотворение «Дерево» взято из сборника «Четыре стихотворения о смерти и дереве» («Čtyři básně o smrti a strom», 1969), стихи «Я спрашиваю» и «Дома» — из сборника «Гонец приходит пешком» («Posel přichazi pěšky», 1968).

■

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — JAMES BALDWIN (род. в 1924 г.).

Известный американский негритянский писатель, публицист, драматург. В 1946 году

Дж. Болдуин покинул США и десять лет жил в Европе. Там были написаны первые его романы: «Идите, поведайте это с горы» («Go Tell It on The Mountain», 1953), рассказывающий о жизни негритянской семьи в Гарлеме, где родился и вырос писатель, «Комната Джованни» («Giovanni's Room», 1956) и книга «Записки сына Америки» («Notes of a Native Son», 1955). Возвратившись на родину, Дж. Болдуин оказался в центре борьбы за гражданские права негров. Одна за другой вышли его гневные публицистические книги: «Никто не знает моего имени» («Nobody Knows My Name», 1961), «В следующий раз — пожар!» («The Fire Next Time!», 1963), представляющие собой дневник и политический памфлет, исповедь и социологическое исследование. После убийства Мартина Лютера Кинга Дж. Болдуин вновь уехал из США и живет сейчас в Париже.

Наш журнал познакомил своих читателей с его творчеством, опубликовав пьесу «Блюз для мистера Чарли» (№ 1, 1964). В этом номере печатаются рассказы Дж. Болдуина из сборника «Поехали смотреть на него» («Going To Meet The Man», 1965).

МЕЧИСЛАВ ЯСТРУН — MIECZYSLAW JASTRUN (род. в 1903 г.).

Польский поэт, прозаик, эссеист, лауреат двух Государственных премий ПНР первой степени, которыми удостоен за биографический роман об Адаме Мицкевиче (1950) и за совокупность поэтического творчества (1955). Роман «Мицкевич» вышел на русском языке в издательстве «Молодая гвардия» в 1963 году. Наряду с поэтическими сборниками из-под пера М. Яструна в последние годы вышли книги очерков и эссе: «Средиземноморский миф» («Mit śródziemnomorski», 1962), «Поэзия и действительность» («Poezja i rzeczywistość», 1965).

М. Яструн известен также как переводчик русской, французской и немецкой поэзии. На польском языке в его переводах вышли произведения Пушкина, Багрицкого, Аполлинера, Элюара, Рембо, Рильке. Совместно с С. Поллаком он выпустил антологию «Два века русской поэзии» («Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia»).

ХАННА МИНА (род. в 1924 г.).

Сирийский писатель. Родившись в бедной арабской семье, Ханна Мина рано начал трудиться и, прежде чем стать писателем, переменил много профессий — был продавцом в бакалейной лавке, помощником провизора, парикмахером; сочетал работу с учебой.

Первые же публикации его рассказов на страницах дамасских газет и журналов привлекли внимание читателей к новому имени. В 1954 году вышла его повесть «Синие лампы», отражающая стремление сирийского народа к национальной независимости. Повесть нашла живой отклик у общественности Сирии, Ливана и Египта и получила высокую оценку критики. В 1958 году она была издана в СССР на русском языке.

Ханна Мина впервые перевел на арабский язык произведения М. Горького.

Роман «Парус и буря», публикуемый в журнальном варианте, в 1968 году был удостоен премии как лучшая книга года.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 04255. Сдано в производство 8/II-71 г. Подписано к печати 25/III-71 г. Бумага 70×108$^{1}/_{16}$=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) + 1 вкл. Уч.-изд. листов 29,69. Зак. 570.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394